



*Бригита Райман*

ФРАНЦИСКА ЛИНКЕРХАНД



---

БИБЛИОТЕКА  
ЛИТЕРАТУРЫ  
ГЕРМАНСКОЙ  
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ  
РЕСПУБЛИКИ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

А. А. ЦЕБЕИЗЯ  
И. Е. ГОЛИК  
Е. Ф. КНИПОВИЧ  
Н. С. ЛИТВИНЕЦ  
И. В. МЛЕЧИНА  
Т. Л. МОТЫЛЕВА  
В. О. ОСИПОВ  
В. П. РЫНКЕВИЧ  
В. Н. СЕДЫХ  
П. М. ТОПЕР



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОГРЕСС»  
МОСКВА 1981

# БРИГИТА РАЙМАН

---

ФРАНЦИСКА ЛИНКЕРХАНД

РОМАН

ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОГРЕСС»  
МОСКВА 1981

Перевод Е. Вильмонт (гл. 1—7) и  
И. Зильбермана (гл. 8—15)  
Предисловие И. Млечиной  
Редактор А. Смирнова

Райман Б. Франциска Линкерханд: Роман. Пер. с нем.—М.:  
Прогресс, 1981.— 544 с.— (Библиотека литературы ГДР).

Героиня романа талантливой писательницы принадлежит к людям, которые через всю жизнь пронесли верность своим идеалам и высокую принципиальность. В работе она стремится творчески решать поставленные суровой послевоенной действительностью задачи. В личной жизни Франциска несчастлива, но, будучи сильной, волевой натурой, борется за любовь, за равноправный союз двух свободных людей.

Р 70304-145  
006(01)-81 89-82

4703000000

© Verlag Neues Leben, Berlin 1974

© Предисловие и перевод на русский язык издательство «Прогресс»,  
1977, 1981

*Бригита Райман*

ФРАНЦИСКА ЛИНКЕРХАНД

ИБ № 10973

Редактор А. А. Гизгин  
Художник Ю. А. Воярский  
Художественный редактор А. П. Кутцов  
Технический редактор Г. И. Немчинова  
Корректор И. М. Лебедева

Сдано в набор 15.5.81. Подписано в печать  
6.10.81. Формат 84×108<sup>1/32</sup>. Бумага типограф-  
ская № 1. Гарнитура обыкновенная новал. Пе-  
чать высокая. Услови. печ. л. 28,56. Уч.-изд.  
л. 30,94. Тираж 50 000 экз. Заказ № 2832.  
Цена 3 р. 80к. Изд. № 33870.

Ордена Трудового Красного Знамени  
издательство «Прогресс»  
Государственного комитета СССР  
по делам издательства, полиграфии  
и книжной торговли.  
Москва, 119021, Зубовский бульвар, 17

Ордена Октябрьской Революции  
и ордена Трудового Красного Знамени  
Первая Образцовая типография имени  
А. А. Жданова Союзполиграфпрома при  
Государственном комитете СССР по делам  
издательства, полиграфии и книжной торговли.  
Москва, М-54, Валовая, 28

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Бригите Райман было двадцать три года, когда вышла ее первая книга — «Женщина у позорного столба» (1956). Но настоящую известность принес ей роман «Вступление в будни» (1961), название которого послужило символическим обозначением целого этапа в развитии литературы ГДР. После появления этой книги родилось выражение «литература вступления». Речь шла о произведениях, в которых отражался многосложный процесс «вступления» миллионов немцев в новую, социалистическую действительность. И в этом произведении, и в романе «Сестра и братья» (обе книги знакомы советскому читателю) отчетливо выявились особые черты творческой натуры Бригиты Райман: искренности, темперамент, обостренное чувство актуальности — способность выхватывать из потока жизни самые злободневные проблемы, волнующие ее современников.

Писательница не дожидаясь до выхода в свет своего последнего романа, «Франциска Линкерханд», — она скончалась в 1973 году, на пороге сорокалетия. Бригита Райман отличалась беспредельным жизнелюбием и стойкостью духа, которые помогали ей долгие годы противостоять тяжелому недугу и работать до последних дней.

Героиня романа Франциска Линкерханд вспоминает услышанную в детстве и поразившую ее легенду Кристофера Марло о персидском архитекторе, полюбившем прекрасную жену Тимерлава. Любовь была так велика, так безгранична, что у молодого перса выросли крылья и ему удалось спастись от мести жестокого властителя. Легенда вызывает у юной Франциски одну мысль, одно чувство: лучше прожить короткую, но бурную, насыщенную жизнь, чем длинную, но серую и унылую. Размышлениям героини, которую писательница наделила необычайно активным восприятием бытия, близко мироощущение самой Б. Райман. В одном из писем она пишет: «Пусть судьба не додаст мне десяти лет жизни, я умру с мыслью: я была счастлива — я жила, я жила, я жила».

Б. Райман писала свой роман с перерывами около десяти лет, писала увлеченно, со страстью, целиком отдаваясь делу. «Никогда еще работа не доставляла мне больше радости, чем теперь», — сообщает она своему корреспонденту. По свидетельству друзей, сотрудников издательства, помогавших писательнице, она, уже понимая, что дни ее сочтены, упорно работала над рукописью, снова и снова возвращалась к отдельным главам, надеялась еще раз внимательно просмотреть, отшлифовать занесенное.

Роман остался незавершенным, недописанным — последняя глава. И все же — читатель убедится в этом — роман оставляет ощущение целостности, законченности, единства художественного замысла и его воплощения. Более того, он подтверждает, насколько масштабнее стало дарование Б. Райман, насколько более зрелым и многогранным ее художественное мастерство.

Опубликованная после смерти писательницы переписка помогает понять, как в ходе работы расширялся ее кругозор, оттачивались и углублялись положенные в основу книги идеи. Поначалу Б. Райман собирается писать «просто историю одной любви», точнее, «историю об открытии любви». Потом вопрос ставится шире и глубже: «как выглядит любовь сегодня», каковы «масштабы добра и зла, утерянные буржуазным обществом», и каковы новые нравственные критерии, пришедшие им на смену, «законы социалистической морали». Выйдя за пределы первоначального плана («история любви»), писательница начинает изучать архитектуру и делает это, как все в жизни, истово, с нетерпением, с горячностью. «Я итенисивно занимаюсь архитектурой (сфера деятельности моей новой героини), — говорится в одном из писем. — «Мать искусств» захватила меня в плен еще сильнее, чем живопись, может быть, потому, что так неразрывно связана с людьми, так непосредственно им служит».

Служение людям — в этих словах ключ к роману, важнейшая его мысль. «Франциска Ливкерханд» — роман о новых нравственных принципах человеческого общежития, о духовном и моральном совершенствовании, «самоосуществлении» личности в условиях социализма. Обостренный, пристальный интерес к нравственной сфере жизни социалистического общества особенно заметен в литературе ГДР последних лет. Пожалуй, никогда прежде писатели этой страны не обращались с такой настойчивостью к художественному исследованию новых норм человеческих взаимоотношений. В ряду книг этой проблематики «Франциска Ливкерханд», безусловно, занимает видное место.

Как во всяком значительном произведении, через судьбу героя здесь просматриваются судьбы целого поколения. Выйдя за рамки «любовной истории», писательница создает впечатляюще яркий коллективный портрет, психологически убедительную картину жизни своих современников, точно прочерчивает путь, пройденный молодой республикой за два с лишним десятилетия ее истории.

В романе Б. Райман «Сестра и братья», как и во многих других произведениях литературы ГДР на рубеже 50—60-х годов, изображалась ситуация «решения»: молодой герой оказывался перед необходимостью выбора — в пользу социализма или против него. Для Франциски Ливкерханд проблема такого выбора уже не существует. Она сформирована новой действительностью, и лучшие свойства ее личности раскрываются, осуществляются именно в условиях этой действительности; здесь она чувствует себя дома. Социализм Франциска воспринимает как единственную систему, гарантирующую человеку возможности совершенствования, духовного и нравственного. Она кровно заинтересована в улучшении, украшении жизни в своей стране.

Узнав о решении родителей перебраться в Западную Германию, Франциска бросает им в лицо презрительные слова. Ее, в сущности, не удивляет их поступок: они не могут и не хотят понять жизни в ГДР, потому что «ничего не вложили» в нее, «даже

надежды». Франциска же вкладывает в свою республику самый возвышенный и самый весомый из всех возможных капиталов: пе скупясь, без оглядки, она отдает этому обществу свой талант, свою энергию, свою молодость.

Франциска Липкерханд отнюдь не «голубая» героиня, и Б. Райман меньше всего хотела создать однозначно благополучный образ. Франциска резка, горяча, строптивая, ей не хватает гибкости, умения выжидать — «она хочет всего и всего сразу». Многие в ее характере, в системе представлений объясняется происхождением, воспитанием, семейным укладом. Детство в мелкобуржуазной среде, деспотизм и жестокость матери, безразличие отца, лицемерие и фальшь их жизненных канонов — все это рождает в ней чувство активной неприязни, желание противостоять навязываемым шаблонам и догмам. Из протеста девушка вступает в брак с невежественным и ограниченным Вольфгангом Эксом, который возводит в абсолют свое «пролетарское происхождение» и туго кичится крайним бескультурьем — противоположный полюс все того же обывательского недомыслия, воинствующего мещанского духа, который героиня презирает с юных лет.

Порвав с прошлым, Франциска решает начать жизнь заново, «уйти, не оборачиваясь». Она отправляется в «провинцию», в Нейштадт — строящийся город, точнее, пока еще только проект города, большой рабочий поселок где-то у восточной границы ГДР. Репетитория такого рода принимаются не просто. Франциска — способный архитектор, любимая ученица и надежда знаменитого профессора Регера. Знакомые уверены, что она «сделает карьеру», ей сулят победу на конкурсах, награды, славу. К тому же по складу, привычкам она горожанка, «ее мир — это архитектурная мастерская, неоновый свет, асфальт под полами...». Иногда ей кажется, что без этого «можно погибнуть». И все же Франциска полна решимости жить и работать в новом, только создающемся городе — вопреки всем трудностям, бытовым и творческим.

Героиня совершает ошибки, нередко проявляет незрелость разума. Но она начисто лишена того душевного, или, точнее, социального, порока, столь часто присущего людям ее происхождения и воспитания, который Горький называл «социальной слепотой и глухотой», — свойства, мешающего человеку видеть и слышать мир. В ней нет и следа безразличия к окружающим, сосредоточенности на собственных душевных царапинах. Она бескорытна, по долгу совести, служит людям, готова жить их бедами, их заботами. В этом смысле Франциска Липкерханд близка своим предшественницам, другим героиням Б. Райман, особенно молодой художнице Элизабет из романа «Сестра и братья», но она, безусловно, значительнее, крупнее как личность, масштабнее как художественное обобщение.

В романе предстает множество моделей социального поведения. Есть среди них и негативные, неприемлемые для Франциски. Ее сверстники — это и Вольфганг Экс, самодовольное ничтожество, и процветающий архитектор Изваук с его доморощенной философией гедонизма, и убежденная в непоколебимости зла, неспособная противостоять пороку и потому бессмысленно погибающая Гертруда. Избегая всякой назидательности, Б. Райман убедительно и тонко развешивает несостоятельность этих антиобщественных по своей сути жизненных концепций, противопоставляя им творческий поиск и устремленность в будущее Франциски и ее старшего

брата Вильгельма. Бесплезно искать в романе подсказок, гарантирующих успех на большом экзамене жизни,— героиня и писательница рассуждают о важнейших проблемах бытия вместе с читателем, требуя от него самостоятельности суждений.

Сознание своей ответственности перед людьми и стремление всегда и во всем руководствоваться велением совести и является основой той нравственной непреклонности, того ригоризма, который Франциска неизменно проявляет в ситуациях, требующих от нее четкой линии поведения. Она органически неспособна на компромиссы, не терпит половинчатости, полурешений, уступок. Заметно уже сейчас, что именно эта моральная непреклонность заставляет ее расстаться с человеком, которого она любит,— логика ее характера такова, что и личное счастье для нее невозможно, если оно требует нравственных потерь.

Иногда, в моменты крайнего разочарования, даже отчаяния, Франциска кажется, что ей, словно в знаменитой сказке Андерсена, попал в сердце осколок кривого зеркала, превращающий сердце в лед. Как известно, в этом зеркале все представало в искаженном виде, все «негодное и безобразное» казалось еще хуже, еще страшнее. Человеку менее цельному, с меньшим запасом доброты и человечности, выпадает на его долю столько душевных испытаний, и в самом деле угрожала бы опасность, что в его сердце угнездится коварный осколок. Но люди, подобные Франциске, надежно защищены от осколков зеркала злого тролля: неудачи, трудности, чувство обиды не могут разрушить ее личность, сломать ее цельную натуру, заставить ее видеть мир «навыворот».

Пожалуй, будет вполне справедливо сказать, что Франциска свойственна та нравственная активность, которая, по известной мысли Гегеля, является признаком героической личности. И раскрывается, реализуется это утверждающее, продуктивное начало в труде, который героиня романа безоговорочно отождествляет с творчеством,— в нем Франциска, наполняя реальным содержанием высокие слова, видит смысл жизни. Вне труда она чувствует себя незащищенной и слабой, только работа рождает у нее ощущение полноценности, осмысленности бытия, надежной перспективы. Труд предстает здесь в философском плаце как беспощадное, неиссякающее творчество, как протест против смерти, как желание оставить свой след в истории, в памяти людской.

Делая свою героиню архитектором, Б. Райман обращается к одной из важных проблем социалистического общества — проблеме современного города. Писательницу вопросы градостроительства (являющегося, по мнению ее героини, «мировой проблемой номер один») волновали давно. Наблюдая за жизнью промышленного города Хойерсверда, где она прожила несколько лет, Б. Райман писала, что подобные «города-спутники» заключают в себе «интересные психологические проблемы». Еще в начале 60-х годов она выступила со статьей о проблемах современного зодчества, которая вызвала в ГДР бурю откликов, самых разнообразных суждений. «Конечно, для моей работы прекрасно,— писала она в одном из писем,— что я попала меж двух огней, я знаю аргументы обеих сторон и могу направить мою героиню по пути «золотой середины», который лежит между строительным искусством и индустриализацией», по пути «возможно более полного сочетания художественного и технического начал».

Возникающие в романе споры, ожесточенные столкновения во-

круг проблемы градостроительства чрезвычайно интересны сами по себе. Советский читатель легко обнаружит здесь перекличку с теми дискуссиями, которые велись и в нашей прессе, в литературе. Как удовлетворить огромные потребности в жилье, как строить быстро и дешево, не пренебрегая эстетическим аспектом, не забывая о красоте, индивидуальном облике домов? Как избежать того унылого однообразия, когда жилые массивы походят друг на друга, словно близнецы, — всеобщим комическую ситуацию в телефильме «С легким паром, или Ирония судьбы», его герой перепутал свой дом с чужим в другом городе. Ситуация эта не всегда приводит только к комическому эффекту — известно, что существует прямая зависимость между эстетическим обликом города и настроением, душевным состоянием живущих в нем людей.

В романе Б. Райман размышления о том, каким должен быть социалистический город, неотделимы от человеческих судеб, от размышлений о счастье и будущем людей. Проблемы архитектуры предстают здесь не в «чистом» виде — они повернуты своей нравственной стороной и потому волнуют вдвойне.

Франциска вдохновляет, очаровывает возможность строить совершенно новый город, она видит в этом неслыханный, редкий шанс для творческого человека. В Нейштадте преобладает молодежь, здесь решена (или почти решена) проблема жилья, здесь самая высокая рождаемость во всей республике. Главный архитектор города Шафхойтлин говорит об этом с естественной гордостью. Но Франциска, полная грандиозных творческих замыслов («вертикальный город», дворцы из стекла и стали), видит недостатки планирования, однообразие и монотонность блочных строений, унифицированность городского облика. Она понимает, что такая монотонность рождает скуку, не способствует человеческому общению.

Писательница не обходит недостатки, возникающие на трудном пути построения нового общества, говорит о них с болью и гневом, — говорит ради того, чтобы помочь, как можно быстрее помочь их преодолению. Ее героиня яростно сражается против косности, равнодушия, серости. Она убеждена: если кому-то плохо в новом городе, если здесь у людей возникает чувство тревоги, тоски, неудовлетворенности, чувство одиночества, то в этом повинны и архитекторы, повинна и она. Спор, который Франциска ведет с Шафхойтлином, выходит за пределы профессионального спора, полемик специалистов. Он включает в себя большие, социально значимые, духовные и моральные проблемы. Франциска ожесточенно воюет с бюрократическим подходом к архитектуре, она отвергает чисто утилитарный взгляд на задачи градостроительства, никогда не примирится с теми, кто пытается превратить архитектуру из искусства в ремесло. Однако она столь же ограниченно не приискивает и другие крайности: реакционно-утопический взгляд на архитектуру, который олицетворяет ее отец (для него всякое искусство кончается где-то в XIX веке, а современные инженеры — всего лишь мастера, лишены собственных идей), и артистический, художнический максимализм Регера, привившего своим «апостолам» взгляд на архитектуру как на «чистое искусство».

Франциска с горечью думает о том, что оказалась в «коконо из идеалов и иллюзий», плохо подготовленной к повседневности, к кропотливой будничной работе. Сознывая это противоречие, героиня стремится связать воедино идеальные представления о со-

временном градостроительстве и рожденную реальными потребностями практику. В этом желании соединить фантазию и повседневность нет и следа компромисса — напротив, здесь проявляется та же непреклонность, жажда совершенства и гармонии. Героиня отрицает абстрактный, оторванный от жизни идеал. Мечта в этом романе диалектически проверяется действительностью, желаемое соразмеряется с возможным, но и достигнутое меряется строгой меркой прекрасного идеала, к которому надо стремиться.

Нечто похожее мы ощущаем и в отношении героини к возлюбленному. История отношений Франциски с Беном, ее «большой любовью», — особая глава ее жизни; вне этого безоглядного чувства не мог бы раскрыться сложный характер героини, не было бы самого романа. Ибо при всей широте охвата жизни это прежде всего роман о любви.

Бен — имя, выдуманное Франциской; Бен — олицетворение ее мечты о прекрасной, всеобъемлющей любви. Человека, которому она дает это имя, на самом деле зовут Вольфганг Троянович. У него трудное прошлое, о котором он вспоминает неохотно и урывками, и трудный нрав, скептический склад ума. Героиня пытается сплавить воедино реального, живого человека и созданный ею образ, мечту об идеальном возлюбленном. Меньшим она довольствоваться не может — в любви, как и в работе, как вообще в жизни, ей необходимы всецелость, нераздельность, безграничность.

История этой любви, ее крушения, история всей жизни Франциски столь же нетрадиционна, не банальна, сколь и достоверна, психологически и социально мотивирована. И хотя в романе есть страсти, написанные торопливо, характеры, обрисованные бегло, Б. Райман раскрывается здесь как художник, тонко улавливающий сдвиги в общественном сознании, чутко прислушивающийся к человеку, его тревогам, его боли.

Писательница создает характеры свежие, оригинальные, «самобытные». Каков был соблазл, например, представить Шафхойтлина «чистым» бюрократом и сухарем, ограниченным и упылым догматиком. Но Б. Райман показывает живого, меняющегося, «многомерного» человека. В чем-то Шафхойтлин — антипод героини романа, но в чем-то он ей душевно и духовно сродни. Франциске импонирует его честность, его последовательность, его верность себе — у этого человека нет в запасе «коллекции лиц», которые надеваются в зависимости от требований дня. За бюрократической черствостью и чиновничьей односторонностью она обнаруживает душевную мягкость и даже какую-то незащищенность, готовность вступить в опасный момент за обиженных, преградить путь хулиганам и насильникам. Шафхойтлин — одна из интереснейших фигур в романе — одержим чувством долга. Но он демонстрирует своеобразную форму максимализма — он «пережимает» в служении долгу. Вместо того чтобы руководить людьми, он ими командует; подчиняясь логике цифр, он изгоняет из отношений чувства. Незаметно понятие долга превращается в его сознании в сухую догму, рутинна теснит творческое начало, панцирь бюрократической сухости сдвигает его, лишает непосредственности.

Пожалуй, здесь можно уловить некоторую переключку с мотивами пьесы советского автора И. Дворецкого «Человек со стороны». Каким должен быть современный руководитель, как добиться нераздельности честного служения профессиональному долгу и человеческого отношения к людям, соединения «технического» и «прав-

ственного» начал, как сделать, чтобы технократ не подавил, не заглушил в руководителе человека? Трудные эти проблемы воплощены в характере Шафхойтлина столь же впечатляюще, как и в образе инженера Чешкова, при всем различии этих людей, при всей несхожести изображенных ситуаций. Б. Райман не могла, конечно, знать эту пьесу. И тем более интересен, примечателен намотившийся здесь элемент сходства проблематики, подтверждающий идейную, типологическую общность в литературах социалистических стран, рожденную диалектической близостью характерных для социализма общественных процессов.

В литературе ГДР последних лет весьма прочно укоренилась форма романа, обозначенная критикой как «отчет» — отчет героя перед самим собой, перед людьми, подведенные определенных жизненных итогов, своего рода морального балласта. Обращение к подобной форме свидетельствует об углубившемся стремлении художников к философскому осмыслению жизни, проникновению в суть ее противоречий и коллизий. Отсюда и столь часто возникающий в романах последнего времени прием чередования временных плоскостей, свободного перехода от настоящего к прошлому, «шапизывания» эпизодов, в которых концентрируются главные события жизни героев. В таком — на поверхностный взгляд произвольном, а по существу, глубоко продуманном — обращении с временем заключена тяга к обобщению, сопоставлениям, параллелизмам, желание выявить главное, отыскать философский ключ к современной истории. Так построена и «Франциска Ляпкерханд».

Читатель обратит внимание, что, помимо повествования от третьего лица, то есть «объективного» изложения событий, и рассказа самой Франциски — страниц, написанных от ее имени, — здесь есть еще одна плоскость изображения: «отчет» героини перед Беном, прямое обращение к возлюбленному, которое Б. Райман в одном интервью назвала «рефлексивной плоскостью» изображения. «Процесс обретения зрелости, зрелости мировоззрения, через который проходит Франциска, я не могу показать, лишь изображая самое действие, — отмечала она. — Мне надо было найти средства и пути, чтобы соединить тему развития героини с соответствующими размышлениями. Бен... является для Франциски чем-то вроде внутренней судебной инстанции. Она отчитывается перед Беном». Обращаясь к возлюбленному, Франциска вершит суд над прошлым, безжалостно оценивает собственные поступки, комментирует происходящее.

Кроме того, героиня пишет книгу, о которой мы узнаем, правда, очень мало (например, что Франциска страдает «неспособностью формулировать»). Создаваемая книга — еще один, осмысляющий, уровень изображения, который объясняет и оправдывает вклинивающееся в повествование отступление, нарушение хронологии. Героиня вспоминает — поэтому ей не нужна, даже мешает последовательность изложения. Настоящее здесь чередуется с минувшим, непосредственно изображаемое — с вспоминаемым. Франциска выбирает из потока воспоминаний главное, достойное войти в ее книгу, то, что ярче другого зафиксировала, встала ее память. Вот она описывает улицу, и из сотен улиц, которые пересекаются в ее памяти, сознание мгновенно выхватывает одну, словно «сфотографированную» отчетливее других, — улицу, по которой встречу ей шел ее возлюбленный.

Такая смена угла зрения: переход от «я» к «она», иногда в рамках одной фразы, от настоящего к прошлому, от импульсивной, субъективно окрашенной интерпретации событий героиней к более «умеренному» и объективному повествованию от автора, включенные «рефлексивного уровня» — все это расширяет художественный диапазон романа.

Интеллектуализм этой книги особенно заметен по сравнению с ранними произведениями Б. Райман. Но она остается верна себе в страсти к яркой, врезающейся в память детали, в стремлении передать чувственное многообразие жизни, яркость и сочность ее красок, выразить всю полноту переживаний современного человека. В романе «Франциска Линкерханд» это кипение жизни, пульс стремительно развивающегося, движущегося вперед социалистического общества переданы так же точно и полнокровно, как и нюансы человеческой психологии, боль и ликование человеческого сердца. Мы ощущаем здесь ту же безудержную энергию, то же взволнованно-искреннее отношение к жизни.

Ни в одно свое произведение Б. Райман не вложила столько души, столько нравственных сил, сколько в последний роман. Ее книга согрета искренним теплом, ибо писательница безгранично верит в человека, строящего новую жизнь, в его творческие возможности, в его будущее. Именно эта вера и придает роману, лишенному «счастливого конца», жизнеутверждающий, оптимистический смысл.

*И. Мясина*

Ах, Бен, Бен, где ты был год назад, три года назад? По каким улицам ходил, в каких реках купался, с какими женщинами спал? Неужели это всего-навсего заученный жест, когда ты целуешь меня в ухо или в сгиб локтя? Я с ума схожу от ревности... Настоящее меня не пугает... но твои воспоминания, от которых мне не спастись, картины в твоём воображении, которых я не могу увидеть, боль, которую я с тобой не делила... Я бы хотела прожить три жизни, чтобы наверстать то долгое-долгое время, когда тебя не было.

Мой испуг, когда ты сказал, что двенадцать лет назад был однажды в нашем городе, сидел в зале ожидания... а я, в каких-нибудь ста метрах оттуда, в школе — разве я не могла стоять на перроне, разве не могла уже тогда, двенадцать драгоценных лет назад, встретиться с тобой?.. Ах, ты бы меня и не заметил, я училась в девятом классе и была до ужаса уродливой, кожа да кости да шапка волос, я была певичка и впервые влюблена... не в тебя. А спустя семь или восемь лет, снова проездом в нашем городе, ты шел по Старому рынку, шел с женой — кажется, в июле, у нас уже начались студенческие кашкулы, — и ты был всего одной из тех пестрых фигурок внизу, на которые я смотрела с лесов на высоте шестого этажа...

Где ты был, когда меня вызвали на экзамен и я чуть не умерла со страху? Почему ты не держал меня за руку тогда, в коридоре университета? Почему не ты сидел у моей постели, когда я болела? Почему не ты танцевал со мной по вечерам в студенческой столовке — низкий барак, жарко, пакурено, магнитофон, голос Элвиса, вихлявого короля рок-н-ролла, — не ты пил со мною пиво из одной бутылки? Кто-то другой, уже не помню его лица... Это несправедливо, Бен, так долго быть без тебя, без твоих губ,

без твоей маленькой твердой руки, которую ты, когда мы идем рядом, кладешь мне на шею... Сотни одиноких почей у окна в парк, что зеленел над братскими могилами, а все остальные — кто где: мои родители за границей, Важная Старая Дама умерла, Вильгельм в Дубне, где-то под Москвой, и этот человек в пивной, а может, у девушки, почему я знаю... А где ты был тогда, в мае — цветущие вишневые деревья, проселочная дорога под солнцем, — в последний день войны, когда пришли русские?..

На заре в соседском саду раздались выстрелы. Вильгельм нашел убитых, они лежали на газоне: двое детей, похожая на куклу женщина и главный инженер. Петтингер был славный поиноватый молодой человек, он ненавидел военную форму, зато, как форму, всегда носил брикигольф, блекло-полосатую рубашку и галстук-бабочку, каждое утро на велосипеде, бодро крутя педали, он отправлялся за город, на прокатный стан, укрытый среди сосен и маскировочных сетей, дочернее предприятие рейнского сталепромышленного концерна... Вильгельм готов был поклясться, что этот милый сосед, нежный отец вечно щебечущего семейства, даже понятия не имел, как держать пистолет.

На лбу маленькой девочки кишели черные муравьи, вишни цвели как сумасшедшие, воздух был полон низкого, возбужденного жужжания пчел. (В последнюю неделю фугаска угодила в бомбоубежище на вокзале. Они работали в резиновых перчатках, пьяные в дым, из первого же пролома на них обрушилась лавина трупов, и Вильгельму стало плохо — он сказал, что это от водки.) Он перевернул женщину, которая лежала, широко раскинув руки, а под ней — грудной ребенок.

Сестра Вильгельма, точно хорек, проскользнула между планками забора. «Катись отсюда!» — крикнул он, схватил ее за руки и за ноги, перебросил через ограду, и она на четвереньках поползла по траве, ругая его на безопасном расстоянии пронзительным девчоночьим голоском.

Днем опять загрохотала артиллерия, фрау Линкерханд в платье из домотканого полотна, папомипавшем монашеское одеяние, с волосами, собранными в пучок почти у самой шеи, бродила по дому и громко молилась. Она смиренно вдыхала доносившийся из передней запах бедности. Хныкал ребенок, за открытой дверью в кухне беженки спорили из-за кастрюли, их перебранка и силезские ругательства эхом отдавались на лестнице.

В голубой комнате у окна стоял Вильгельм и смотрел сквозь жалюзи, полосы света от них ложились на его лицо, на голубой ковер, на медово-желтую мебель. Его растрепанная загорелая сестренка, сидя на корточках, строит в песочнице чудесный сказочный замок с бойницами, башнями, высокими стрельчатыми окнами, изредка в воздухе с воем проносится снаряд — звук, похожий на свист косы, — девочка личком бросается на землю, а Вильгельм хохочет над хитрым зверьком, что притворяется мертвым, покуда не раздастся оглушительный удар где-нибудь в развалинах центра города — это значит: опасность миновала. Игра повторялась вновь и вновь, согнуться под воющим сводом, опять выпрямиться, и все это с выраженным серьезности и усердия на лице; неваляшка, подумал Вильгельм, молодец кроха! В конце концов его раздосадовало ее ничуть не испуганное лицо: она так же ничего не ведала, как мартовский заяц, который не понимает, что шелестящая тень над полем — это капюшон.

Вильгельм крикнул из-за жалюзи: «Сию минуту иди домой!»

Франциска сажала лес из хвощей... удивительно красивые маленькие елочки, Бен, но ты этого не знаешь, паверно, ты никогда не играл в саду, вообще, Берлин и задворки... но зато ты, конечно же, знаешь все о хвощах великих времен третичного или юрского периода и о среде, необходимой для жизни ящеров, что паверняка тоже важно... Она сажала лес под стенами замка, ее мокрые грязные лапки деловито сновали взад-вперед. Авторитет Вильгельма, основанный на энергичных и скорых оплеухах, пошатнулся с той ночи, когда он вернулся из города с опаленными волосами, без ресниц, в разодранной коричневой рубашке, на которой уже не было свастики. Он стал шумным, надоедливым и рассеянным — как все взрослые, которые то прогоняли Франциску и на полдня забывали о ней, то с криками искали ее, заключали в объятия и осыпали поцелуями.

Вольная жизнь пришла к ней по душе. Она больше не ходила в школу. Недели две фрейлейн Бирман вела занятия со своим классом в подвале какой-то прачечной, при свечах, в сыром чаду из соседней гладильни. Фрейлейн Бирман, в очках, седая, коротко стриженная, посмеивалась над романтическими восторганиями — будь, как фиалочка во мху, певница, как немочка, скромца и благочинна... Фрейлейн Бирман повесила над своей кафедрой Фейербахову

Ифигению, томящуюся «душой по Греции любимой», поясняла она. Фрейлейн Бирман кружила по своей жизни, покуда ноги ее, ноги в высоких черных ботинках на пуговицах, не увязли в кипящем асфальте. Не стало больше диктантов, выговоров за кляксы или «ослипые уши», и дома никто не напоминал Франциске, что нельзя сутулиться, никто не припуждал ее есть, орудуя ножом и вилкой, не говорил, что нельзя держать книгу под мышкой и следует вытягивать маленький круглый, как у негрятенка, живот. По ночам она, полусонная, спускалась в бомбоубежище, валилась на пары, просыпала лай зенитных орудий и рождественскую елку, отбой и молитвы.

Линкерханд ввел жену в голубую комнату. Увидев Вильгельма, она зарыдала.

— Бедняжка Нора... в голове не укладывается — только вчера я говорила с ней, она была такая же, как всегда, даже не думала ни о чем похожем... Одному господу ведомо, от чего он ее упас...

Линкерханд смущенно поправлял очки. Ему не за что было упрекнуть себя, к тому же он не верил в рассказы о зверствах: он был причастен к газетному делу, добровольно пошел работать к Шерлю, — и страхи жены сердили его — ну можно ли так распускаться при делах.

— Да, непостижимо, — бормотал он, — такой милый молодой человек... Даже в партии не состоял.

— Зверюга, — проговорил Вильгельм. — Сначала он застрелил детей. — Линкерханд горестно покачал головой. — Это было видно по лицу Норы, — холодно пояснил Вильгельм.

Линкерханд снял очки. Своего рода бегство. Он стер ненавистные очертания опостылевшего мира и почувствовал себя в безопасности среди синевы, расплывающейся в солнечных бликах. Лицо его без очков сразу приняло утиное, несмелое выражение очень близорукого человека, но голос звучал уверенно, даже надменно — таким начальническим голосом он ставил на место своих не в меру самонадеявшихся служащих, сначала обратив их лица в беспомощные пятна, когда заверял, что, хотя бояться им нечего, по известным предупредительным мерам все-таки должны быть приняты: сожжение неудобных книг, умно выбранные тайпики для серебра, фарфора и вина; драгоценности Важной Старой Дамы надежно спрятаны в сейфах городского банка.

— Но ведь город защищают,— воскликнула фрау Линкерханд.

— Благородная, по злосчастная идея коменданта. Превосходный человек, но не слишком умный. Такие становятся героями из-за недостатка дальновидности.— Он схватил ее дрожащие руки и прижал их к своей груди.— Успокойся, моя дорогая. Мы ничем себя не скомпрометировали, так попытаемся же достойно смириться с неизбежностью.

Он поцеловал ее в висок, а Вильгельм, возмущенный обычно строго запретным проявлением чувств, отвернулся. Это было еще противнее запоздалого обращения его матери к богу в приступе религиозности, внезапно охватившей ее в бомбоубежище.

Вечером в камине — кирпичном чудище, претендовавшем на сельский уют, обычно, впрочем, не топившемся, — горел огонь; дым выбивало в кампату, но Цоберлейн и Розенберг приятно согревали в холодный майский вечер, вечер, когда и в квартале миллионеров, в белокаменных виллах, порушенных войной, в замках из песчаника — вход только для господ, рододендроны и магнолии, — и в котельных, и в кухнях забрезжили бесславные и плачевные сумерки богов. Холодными оставались только трубы на вилле крейсleitера, неделю назад эвакуированного в западном направлении, после того как он призвал каждого из сограждан мужественно оставаться на своем посту. Он-то был в безопасности и даже слова не мог сказать, ибо провидение, как нас уверяли, неизменно верное нашему фюреру, дезертируя, направило бомбы на мост через Эльбу, на крейсleitера, его машину и чемоданы.

Флекс, Юнгер и все прочие барды, силившиеся теперь доказать свое алиби, были отеснены на задний план; в первом ряду вновь засияли, в кожаных переплетах, с золотым обрезом, творения Гейпе (тогда как в «Книге преданий», которая принадлежала Франциске, составленной Бальдуrom, Вельтепеше и Шифф Нагельфаром, было сказано, что автор «Лорелен» неизвестен), подле Гейпе стояли более скромные, в серых колейкоровых переплетах, книги братьев Маин. Линкерханд с почтительным псевдовольствием терпел их рядом с великими — Диккенсом, Филдингом, Достоевским. Обо всех, что после них, и говорить не стоило.

Франциска прикорнула за креслом бабушки. Важная Старая Дама, изящная, безукоризненно опрятная, белокожая, выглядела так невозмутимо молодо, что ее платье

матроны со скромным стоячим воротничком производило впечатление маскарадного костюма, а золотой крестик и смиренно сложенные руки казались легкомысленно кокетливыми. Франциска любила бабушку, ее салат с треской и вишние пудинги, ее рассказы о кругосветном путешествии некой Клерхеп, которыми она вознаграждала впучку, если та ходила за молоком; любила ее серый шелк, шкатулки, полные черных бархоток, медальонов и других блестящих финтифлюшек, а также ее угрозы, простонародные угрозы: «Ну, погоди у меня, дрянцо эдакое. Я тебе башку с плеч сорву»; любила красное бархатное кресло, всегда поджидавшее Старую Даму, а потому и в этот вечер она укрылась за ним, за серо-шелковой спиной бабушки, никем не замеченная и, бесспорно, здесь нежеланная. На каминной решетке коробились полуистлевшие книги, и жар переворачивал серо-белые, как зола, страницы.

Линкерханд предусмотрительно содрал коленкоровый переплет с книжки с картинками; нитки, скреплявшие страницы, резко, пронзительно затрещали. Своими слабыми, целовскими руками он захватил пачку страниц толщиной в палец и сказал:

— Жалко, кто знает, будут ли когда-нибудь выпускать такую бумагу, гладкую, блестящую, как шелк... Это еще товар мирного времени.

Бабушка листала роскошный альбом — Гитлер в Берхтесгадене, — и только ее слегка кривившиеся губы выдавали безразличное удивление непосвященного, разглядывающего в микроскоп омерзительное, хотя и интересное, насекомое: фюрер в Бергхофе, фюрер с овчаркой Припцем, фюрер с белокурой деревенской девчуркой на руках, неизменно на фоне слащаво-рекламного ландшафта, с неизменной улыбкой «отца отечества» под колючими усиками и вдохновенно-пророческим взглядом под комичной прядью волос.

— Чего-чего только пет на свете, — сказала бабушка.

— Говорят, он пал в Берлине, — вставил Линкерханд.

— Во главе своего храброго воинства, — прочувствованно добавила бабушка. Она расеялась и прищурила прощительно черные татарские глазки. — Надеюсь, ты не будешь мне рассказывать, что этот мазила подставил свое брешное тело под эти их «катюши». «Катюша»... тебе когда-нибудь приходилось слышать, как говорят русские? О, я не имею в виду тывканье всяких там Манш и Ниш... Перед первой мировой войной, я была еще совсем моло-

денькой, мы познакомились в Баден-Бадене с одной русской семьей, весьма аристократической, такие образованные люди, мать в совершенстве владела французским, но, право, не было ничего более восхитительного, чем слушать, как они за чайным столом говорят на своем родном языке — музыка, дорогие мои, настоящая музыка, невозможно даже представить себе, что в этом языке есть вульгарные выражения. Вообще-то все семейство было несколько старомодное, девочка, дочь, даже не очень-то опрятная, а уж о няньке лучше и не говорить...

Тем не менее она говорила, терялась в воспоминаниях, что нередко бывало с ней в последнее время, и не то чтобы с тоской, скорее смакуя их, так Франциска произносила «клубника со сливками», а Вильгельм «котлеты со спаржей». Франциска в полусонном очаровании, казалось, плавала среди маскарадов и раутов, между Годесбергом и Нордерпеем. Эти слова, зеленые, как морской ветер, пушистые, как белые страусовые перья, ароматные, как веер из сандалового дерева на уроках танцев, пластинки которого были исчерканы пинцалами и вепзелями, напоминали пожелтевшие фотографии: девушка в полосатом, как зебра, купальном костюме, тощенькая и раскосая, под рюшами огромного, словно воздушный шар, купального чепчика; всадница, одетая на итальянский манер: коротенький корсаж и неслепящие украшения, — бочком, по-дамски сидящая на ослике перед декорацией Везувия, окруженная поклонниками в непромокаемых куртках; пеккий господин Альберт, якобы кузен, в отделанном позументами мундире карнавального генерала, и — смена кадра — он же в солдатской гимнастерке фюрера кельнского «Стального шлема». «Жертва красных убийц» на катафалке среди венков и лент, а крайний справа на фотографии... самая мрачная личность в семье, Бен, брат Важной Старой Дамы. Он был архитектором-градостроителем и сумасшедшим ревнивцем. Его бедная жена, с опозданием возвращаясь домой, из-за двери спрашивала: «Хозяин уже дома?» — и тряслась от страха, а иногда он уже поджидал ее на лестнице с хлыстом в руке. Она умерла совсем молодой. Видно, у нас это семейное — архитектура и ревность...

Пламя спикло, комната погрузилась в полутьму, через дверь на террасу падал свет медного оттенка, на ясном небе стоял ржаво-красный месяц, время от времени на горизонте молниями вспыхивал огонь зениток. Улица слов-

но вымерла. Линкерханд разгреб жар кочергой; дотрагиваясь до воспаленных от дыма глаз, вздохнул:

— *Vae victis* <sup>1</sup>.

— Что касается меня, то я уж шесть лет, как перестала верить в победу,— сказала бабушка.— От этого выскочки только и можно было ждать проигранной войны... Мне довелось видеть его в Кайзерхофе... человек с повадками уличного комедианта, манеры — хуже не бывает, выговор какой-то дурацкий, к тому же, *on dit* <sup>2</sup>, импотент.

— Я его не выбирал,— огрызнулся Линкерханд.

Старая Дама сложила руки на животе:

— Избранник не нуждается в выборах.

Линкерханд, предусмотрительно вытянув руку, ощупью пробирался по комнате, чуть не споткнулся о мерно дышавшую Франциску, которая наконец-то заснула, сидя на корточках в позе пиднавки, и стал шарить по столу в поисках своих очков.

— В грядке с салатом,— произнес он с какой-то паивной хитрецей,— *Mater dolorosa* <sup>3</sup> я зарюю в грядке с салатом.

Статуэтку высотой в фут он велел запаять в жестяную банку и таскался с нею по всему дому, как кошка со своим котелком. Он ревниво оберегал ее от глаз малознакомых посетителей, папический страх овладевал им при мысли увидеть драгоценную фигурку в руках солдата, деревенского олуха, который не в состоянии оцепить драпировку складок сипей мантии, горестный изгиб шеи, трогательное простодушие обращенного к небу лица под средневековым капюшопом... А какой пабожный трепет испытывал он, касаясь раскрашенной деревяшки,— благоговение, не омраченное нечестивыми мыслями о ее денежной стоимости и ничего общего не имеющее с культом богоматери, ибо он был протестант и не слишком-то ретивый христианин,— похожее состояние находило на него, когда он листал свои старые книги, держа луну перед полуслепыми глазами: так он сидел во время почных палетов, большой, согбенный, безобразный, с белым лицом альбиноса, рыжими волосами, с глазами, расширенными, как у совы, за толстыми стеклами очков, и творил свою страшную мо-

<sup>1</sup> Горе побежденным (лат.).— Здесь и далее примечания переводчиков.

<sup>2</sup> Говорят (франц.).

<sup>3</sup> Скорбящая богоматерь (лат.).

литву, весь уйдя в мир без «летающих крепостей» и «лацкастеров», без истерических молений и перебранок юных варваров, подраставших в его доме.

Больше, чем собственная сохранность, волновала Линкерханда мысль о судьбе книг: они были единственной страстью его бесстрастной жизни, ее необычностью и приключениями, он вынюхивал книги, охотничью свою добычу, в антиквариатах и в темных закоулках книжных лавок. Здесь бережливый отец семейства становился расточителем, солидный негоциант — пропырливым шарлатаном, который лицемерил, впадая в сомнения, торговался и бездумно наслаждался высшим счастьем коллекционера, торжествуя, когда ему удавалось хитростью вымапить у невежды редчайший экземпляр за смехотворно низкую цену. Хозяйство велось скромно, роскошь в одежде была строжайше запрещена, детям полагались лишь льняные или грубошерстные ткани, а театр марионеток, предназначенный для развития их фантазии, заменял собой разнообразнейшие игрушки соседских детей.

Издательство у него было маленькое, но пользовалось хорошей репутацией, патриархальное предприятие, основанное дедом Линкерханда (дед дожил до баснословного возраста, Вильгельм еще помнил седобородого господина, который ежедневно, между четырьмя и пятью, заложив руки за спину, бодро прогуливался по аллее, шага па три впереди своей запыхавшейся и быстро семенящей жены). Гордые старые наборщики бегло пабирали греческие и древнееврейские тексты. Линкерханд не шел па то, чтобы, подобно другим, менее серьезным издательствам, выпускать нарядные альманахи, романы из жизни летчиков и дешевые репродукции. Во время войны, когда иностранный рынок был закрыт для его «Немецкого зодчества», он обеспечил себе неплохой барын и чистую совесть, выпуская серии карманых томов с повеллами Тика, Эйхендорфа, Гауфа, Бретано и других поэтов, духовными наследниками коих объявили себя национал-социалисты. В тридцать седьмом году он собрал немалую сумму, чтобы дать возможность своему бывшему однокласснику-еврею бежать в Хайфу... Нет, Бен, этот человек не был его тайной ставкой в лотерее, я читала письма, которые они после войны писали друг другу, все читала, покуда отец не перебрался в Бамберг... Но он действительно заплатил свои два гроша за лотерейный билет, и благородством это не назовешь. Правда, политические обязательства были ему ненавистны,

для себя во всяком случае... В марте тридцать третьего он настоял, чтобы два его сотрудника вступили в партию. У бедняг позади были два года безработицы... Один из них впоследствии погиб на Восточном фронте. Другой был арестован сразу же после капитуляции и умер в лагере...

Франциску разбудили четыре барабанных удара: Бетховен, пояснил ей отец, это судьба стучится в дверь. Он никогда не упускал случая, прежде чем удалить девочку из комнаты, назидательно сообщить ей тональность и номер опуса — педантическая почесть, которую он воздавал лишь Бетховену и Моцарту; наряду с этими маэстро право на существование имели лишь смертельно скучный господин Гайди и несколько подозрительный Лист — его музыка звучала перед всеми «экстренными сообщениями». Отец называл его фокусником и шарлатаном. Дома Франциске не дозволялось петь песни: всему свое время и место. А на торжественном смотре маршируют спокойно и твердо, с высоко поднятой рукой. Отчизна, для первоклашек твои звезды — толстые, синеватые, печально капающие свечи; на луговых дорогах, когда их посылали собирать лекарственные травы, тысячелистник и пастушью сумку, босые и усталые детские ноги, маршируя, вздымали летнюю пыль — раз, два, три... «И мчатся вперед голубые драгуны», рука в руку с лучшей подружкой, громкоголосые и певинные, «В первый раз, конечно, больно». На школьном дворе, «О долина Неккара», откинувшись назад, они кружились до дурноты, ступня к ступне, руки скрещены, взвизгивали и кружились, покуда не падали... Ах, по долине Неккара, где цветет сирень, катят американские танки, а на школьном дворе меж двух костылей покачивались безлопые туловища, подпрыгивая, передвигались мужчины в полосатых госпитальных пикамах с одной ногой, а в школьном коридоре на наспех сколоченной койке лежал мальчонка из гитлерюгенда, втягивал носом сопли и слезы, насмешливо и заинтересованно — между приступами боли — разглядывая школьные рисунки на стене — ослепительно пестрый букет его будущей возлюбленной, Ф. Л., третий класс, нахальная какая-то девочка. Его звали Якоб, в ноге у него засел осколок зенитного снаряда, а морфия не было, и доктор Петерсон говорил: да, да, наши немецкие мальчишки... тверды, как крупновская сталь, выносливы, как дубленая кожа.

Франциска за красным бархатным креслом свернулась клубочком, она давно знала, что пятого барабанного удара

не последует, вместо него зазвучит прерываемое шумом и треском Би-би-си из Лондона (...после того как меня раза два застали слушающей эту передачу, мое сознание зарегистрировало связь между становлением собственного мнения и оплеухами, а из первого урока гражданственности я сделала следующий вывод: политика — это когда детей выгощают из компаты...). Она была достаточно хитра, чтобы попать: в школе, в младших классах, нельзя рассказывать о Лондоне или повторять насмешливые прозвища, вроде Рейхсдурень и Нап Золотарь, которые часто употреблял доктор Петерсон — ффрау Линкерханд всякий раз прикладывала палец к губам и бросала на него умоляющие взгляды, — дядя Петерсон, который выстукивал костлявую грудь Франциски и рассказывал истории о своем соседе: знаешь, Фрэнцхен, мой сосед завел себе собаку, у нее громадная пасть, и зовут ее Наци...

Итак, в этот вечер голос из Лондона, то совсем близкий, то вдруг очень далекий — казалось, он, как пробка в море, то взлетал на гребень волны, то скатывался вниз, — произнес ффразу, которая неизвестно почему врезалась ей в память, сначала просто как словосочетание. «В истории народов еще ни один режим не рушился плачевнее, чем тысячелетняя империя нацистов». Она высунула голову из-за спинки кресла и спросила:

— Бабушка, что такое реджим?

Линкерханд вздрогнул, бабушка улыбнулась, глядя вниз на свой золотой крест, схватила за ухо «вольнослушательницу» и выставила ее за дверь.

(Много лет спустя, когда она предалась поискам прошлого и сыскала наконец этот вечер, с золой в камине, с разъедающим запахом дыма, с ущербным красным месяцем за дверью террасы, ей вспомнилась и эта ффраза из Лондона, мало-помалу приобретающая примечательный смысл.)

— Ты чушь несешь, — сказал Вильгельм, — ты тогда была слишком мала и к тому же духовно несостоятельна.

(Но вскоре она озадачила его новым доказательством своей необычайной памяти. За столом шел разговор об учительнице истории, вдове офицера, красавице, которая спала со школьным советником, и Вильгельм стал восхищаться ее живыми темными, хотя и несколько близорукими, глазами.

— «В ее глазах сверкали молнии, как пламя, вырывающиеся в полночь из Везувия», — вставила Франциска. Все

засмеялись. — Это не мои слова. Дядя Болеслав читал такое стихотворение.

— Не может этого быть, дитя мое, — сказал Линкерханд. — Болеслав погиб в сороковом году. Тебе еще и трех лет не было.

Она посмотрела на Вильгельма и, словно бы глядя на фотографию покойного, точно описала лицо Болеслава, его волосы, пахнувшие березовой водой, бледно-сиреневые гортензии на окне и длинные холодные пожницы, которые веселый и склонный к игривым шуткам господин сунул за низко вырезанную на спине розовую вязаную блузку своей машинистки.

— Она и вправду всегда носила эти вязаные блузки, хотя по возрасту они ей уже никак не подходили, — заметила фрау Линкерханд; ей, видимо, была неприятна эта история с пожницами.)

Четвертого мая, ранним утром, по саду прошел доктор Петерсон, он шагал быстро и дробно, как принц в театре марионеток. Франциска, вставшая на колени в своей кровати у окна, заметила, что он впервые забыл надеть черные перчатки и дверную ручку пажал голой рукой. Через некоторое время явилась фрау Линкерханд и велела Франциске надеть воскресное платье. Она дрожала, и глаза у нее были красные, когда она поцеловала и перекрестила Франциску. Уходя, фрау Линкерханд обернулась и деловито сказала:

— Дай мне бабушкины часики.

Франциска покраснела.

— Я сама их спрячу.

Голубая эмалевая крышка часов, украшенная фигуркой цапли, уже зазубрилась по краям — так часто Франциска открывала ее. Восьмилетняя девчушка, под одеялом, при свете карманного фопарика читавшая, безусловно, запретные романы и целыми страницами заучивавшая наизусть мовологи Гретхен, целуя портрет на внутренней стороне крышки, благоговейно и добросовестно следовала вычитанным из романов правилам первой любви. Петерсон обещал на ней жениться, по три года спустя, когда восстановили городской театр, вернее было бы назвать его балаганом, он облюбывал себе белокурую особу, светскую дамочку, женился, выставил ее, когда узнал, что она его обманывает, и месяца три по вечерам нянчивал в шивушке, куда впоследствии часто заходила Франциска... Но это уже совсем другая история, Бен, и о Петерсоне здесь упомина-

ется в связи с четвертым мая лишь потому, что он был в числе парламентариев, передавших наш город Красной Армии...

Франциска засунула часы в чайницу с сушеными травами, пахнувшими аптекой и мятой. Линкерханд проводил доктора до калитки и теперь медленно возвращался по дорожке, выложенной каменными плитами, в прогалах между ними буйно разрослась светло-зеленая трава. На лестнице его ждала Важная Старая Дама, снокойная, аккуратная, серо-шелковая, как всегда. Дул прохладный ветер, розы «Форсайт» светились, точно медно-желтые трубы в оркестре, бело-розовой пеной цвел миндаль. День в голубой чреде весны — воздух, не зачерченный копотью, небо, не запятнанное облачками от разрывов шрапнели, солнце, ветер и медно-желтые трубы, как прежде, как всегда, — мгновение тишины от ужаса до ужаса.

Тишина... Мертвая тишина, ни шороха шагов, ни голоса, слепые дома с закрытыми ставнями, в оспинах от ливня осколков, не скрипят детские качели, улица задерживает дыхание (эта улица, милый, вспоминается мне пышче как смертельно скучное, смертельно печальное театральное представление, действующие лица толпятся у обшарпанных кулис, в этой пьесе нет катастрофы, нет стремительного падения в ничто, только медленная гибель и привычка к гибели), клумбы не засажены, со ржавым скрипом качается на проржавевшей цепи фонарь над дверью, а розы — опытная рука уже годами не обрезала, не подвязывала, не окулировала их — пустили дикие побеги, и они бледными пальцами вцепляются в расшатанную решетку забора. На перилах виллы напротив между прогнивших, выкрашенных дождями в черно-зеленый цвет деревянных столбиков лежала белая простыня. Линкерханд зажмурил глаза, он смеялся.

— Немецкое умение приспосабливаться, — сказал он, и Старая Дама, проследив за его взглядом, заметила в эркере соседнего дома красный флаг с круглым светлым пятном.

— Наш сосед с гениальной простотой решил проблему перехода к большевизму. Кто бы мог занозить такое простодушие в человеке с его общественным положением?

— В комнате с эркером живут беженцы, — сказала она. — Но может быть... — и, потупив печальный взор, после маленькой паузы добавила — в то время как в доме напротив с грохотом онускались жалюзи, фрау Линкерханд,

тяжело дыша, тащила па второй этаж чемоданы, а Вильгельм ровнял землю между кустиками салата...— может быть, это весьма кстати — дать приют людям, которые вывешивают красный флаг, тогда как мы в лучшем случае решимся на белый...

Под вечер соседка выскочила пз двери, спотыкаясь, пробежала по обонм садам, па ступеньках линкерхандовской террасы упала и разразилась протяжными рыданиями. Франциска сидела в своем «игральном» домике на голубой елке и не могла удержаться от смеха, когда директорша растяпулась на крыльце (фрау Рафке любую девушку, отбывавшую в ее доме трудовую повинность, звала Минной, а пышную черноволосую украинку — Маткой). Франциска смеялась, уткнув лицо в скомканый фартук, смеялась презрительно — вот дуреха, поднять такой вой из-за разорванного чулка, и торжествующе — божья кара за твое скупердяйство, за ежегодные скандалы из-за орехов, за бабушкины бутерброды. Наконец, испугавшись, она скользнула вниз по стволу и тихонько подобралась к воюющему существу на четвереньках. Франциска добродушно сказала:

— Не беда, я вечно расшибаю себе коленки, но я па это плюю, и они быстро заживают, вот смотрите.— Она вытянула загорелую, всю в ссадипах, ногу. Дама вскрикнула и с брезгливым ужасом ее оттолкнула.

— Ну-ну, потише,— басовито остановила ее Франциска.

Линкерханд открыл дверь на террасу и ввел директоршу в дом, поддерживая ее под руку, он, еще недавно в самых энергичных выражениях поклявшийся, что эта истеричка никогда больше не переступит его порога, он, допустивший себя до крайней неучтивости, он, который всегда снимал очки, превращая тем самым соседку в расплывчатое пятно, когда она, с узлом белокурых волос на затылке, в шляпе и в белых перчатках — руки и плоская грудь в лавцире бронзовых украшений,— расчищала граблями дорожки у себя в саду. Франциска ненавидела ее еще до случая с пленными — правда, только осенью, когда жирные зеленые плоды нослевали на орешнике, росшем на самой границе, но все же в директорских угожьях, и орехи с ветвей, свисавших над забором, валялись в сад. Линкерхандов — целый град яблочек раздора, ибо соседка пренебрегала вполне естественными притязаниями Франциски, требовала возвращения своего добра и не стеснялась

в ветреные осенние утра, в самой дурацкой позе перевесившись через забор, выуживать орехи, собственно уже принадлежавшие Франциске, раздвоенным концом подпорки для бельевых веревок.

Сейчас она сидела на старинной кушетке в голубой гостиной, Линкерханды обступили ее, смущенные и с вынужденным участием, как на некоторых похоронах, о которых фрау Линкерханд говорила: «Тут, конечно, уже ничему не поможешь, по приличия требуют нашего присутствия». Сейчас, прикрыв губы ладонью, директорша рассказывалась из стороны в сторону и, уставившись блуждающими глазами на Линкерханда, вдруг произнесла:

— О боже, а у меня даже черных чулок нет.

Вильгельм схватил сестру за шиворот и вывел ее в коридор.

— Умерла Эльфрида! — Краем ладони он как бы перепиливал себе запястье.

— Отчего?

— Тебе этого еще не понять, — угрюмо отвечал он.

Эльфрида была старшей дочерью директорши, первая ученица выпускного класса, бледная, убогая девочка, с одним плечом выше другого, она всю вторую половину дня под присмотром отца делала уроки и только вечером, когда уже смеркалось, недолго гуляла в саду, тяжело дыша и склонив голову на кривое плечо.

— Взятый меч от меча и погибнет, — темно и неопределенно произнесла Франциска.

— Хочешь оплеуху заработать? Нет? Тогда заткнись и убирайся воп отсюда.

— Хорошо, — обиженно отвечала она, — я уйду, я ведь вечно стою вам поперек дороги... Эх вы, вы ведь все забыли.

Улица наподобие реки образовывала излучину и шагах в двухстах от Линкерхандова дома впадала в шоссе, а слева от нее лениво чавкали заболоченные луга, сплошь покрытые анемонами: белые, тоненькие, они дрожали на ветру. На искривленных вишневых деревьях вдоль шоссе летом попевали светло-красные кислые вишни. Франциска уселась на придорожный камень и вытянула ноги, так что солнце сбегало по ним, словно нагретая вода... Придорожный камень, отмечавший 17-й километр — я запомнила эту цифру, Бен, не потому, чтобы у нее было какое-то особое значение, она ведь значила не больше и не меньше,

чем трепещущее аэмопамя поле, и пыль, и вялые цветы вишни, которые ветер гнал по шоссе, но все это, перазрывно связанное одно с другим, а также со звоном колоколов, с миром, так до прошлого лета и оставалось 'моим представлением о мирном времени, до того лета, когда мы заблудились — помнишь? — и лежали во ржи, слушая колокольный звон, доносившийся из деревни вместе с запахом сена, — ах, Бен, нам так хотелось хоть разок поспать в стоге сена...

Ты, наверно, подумаешь, что я до сих пор не разделалась со своей ребяческой ненавистью, окаринатурила госпожу директоршу и разве что забыла сказать, как она лупила работавших на нее девушек и, по выражению Регера, готова была целовать даже следы машины фюрера... Но увы, так оно и было. А до орехов я небольшая охотница... Почему, хотелось бы мне знать, почему она именно к нам прибежала отводить душу?... Как-то зимой русские военнопленные рыли трапшею вдоль нашей улицы, они выглядели точь-в-точь как пугала на картинках, изображающих советский рай, — оборванные, бородатые, с голодными глазами. Это было ужасно. моя мать не решалась больше подходить к окну — на таких несчастных, сказала она, и смотреть нет сил... Отец прочитал нам лекцию о человеческом достоинстве, военном праве и Женевской конвенции, а бабушка пошла на кухню и нарезала целую гору хлеба... Это христианский долг, пояснила она. Когда-то, в прирейском крае, она держала бесплатный стол для бедных студентов и делала им омлеты; я полюбозлоствовала, являются ли и омлеты христианским долгом. Бабушка засмеялась (у нее была странная манера смеяться одними плечами) и сказала: это, детка, нустяки.

Когда она раздавала хлеб, конвойный обернулся — бедняга, на левой руке у него не было ни единого пальца. Он все-таки подошел поближе, а наша милая соседка крикнула, что подаст на бабушку в чрезвычайный суд, бабушка отругивалась на таком густом диалекте — хоть ножом его режь, и знаешь, Бен, она была божественно вульгарна, справляясь с нею. В конце концов она вплотную приблизилась к брызжущей слюной особе — опять уже Важная Старая Дама — и проговорила: ах ты, стерва!

Думается, она отродясь ничего не боялась, может быть потому, что всю жизнь была богатой женщиной, никогда никому не должна была кланяться или подпевать. Отчасти, впрочем, эта самостоятельность была заложена в ее при-

роде, во всяком случае, в своем кругу она слыла веселой анархисткой... Тем больше страха испытывали другие.

— Непостижимо, в интеллигентной среде... — сказал мой отец, он не понимал, что наша соседка фанатичка...

Я, Бен, считаю, что фанатизм своего рода дисфункция, по не мозга, а пижней части живота, тебе нет надобности со мной соглашаться.

Наконец моя мать объявила, что понесет свой крест, и «отправилась в Каноссу» и смирила себя... Я не любила ее, Бен, по в тот день, когда она вернулась и за дверью все время слышался ее плач, сердце у меня сжалось, я готова была придушить соседку... Ну можно ли так унижать человека?

...На придорожном камне, обозначающем 17-й километр, Линкерханд обнаружил свою дочь с расплетшимися косами, с ногами опущенными в солнечную реку, и в этот самый миг завывли все сирены города, и колокола возвысили свои голоса над разноголосым криком, дребезжа, словно отдуваясь, загудел последний колокол под разбомбленной крышей церкви св. Аппы, размеренно зазвучали колокола нашего собора Пресвятой богородицы, и ветер перекинул их звон через реку, подбросил к небесам и вернул обратно па землю, как стаю изнемогших в полете птиц. Линкерханд снял очки тем благоговейным движением — так я ближе к тебе, господи, — каким он снимал свой цилиндр у дверей церкви, и сказал:

— Это мир, дитя мое.

Франциска широко раскрыла глаза, пораженная, что ничего не изменилось, что чудодейственное слово мир не сделало вечер еще более сияющим, что луга не покрылись вдруг цветами и хор ликующих голосов не заполошил воздух.

Он взял ее за руку, и они пустились в обратный путь, под кособокими вишнями, тени от трепещущей листвы которых играли на асфальте. Франциска, подфутболивая круглый камешек, спросила:

— Кто же выиграл войну, русские или американцы?

— Выиграл? Войну всегда проигрывают, дитя мое.

Колокола все гудели и гудели: стаи птиц, стаи звуков, стаи страхов взмывали в спеву и вновь печально упали на землю. По улицы мир преобразил — Франциска это отметила, — каждый дом обрядил в белое, припорошил снегом все выступы и карнизы. Линкерханд обходил все окопы, имевшие форму занятых, а Франциска, держась за его

руку и сжав ноги, перепрыгивала через них, не позволяя страху завладеть ею: улица вся в белых простынных флагах, влажная рука отца, круглый камешек отскочил в траву — дурное предзнаменование.

Все обитатели дома, в том числе и беженки с детьми, выстроились в вестибюле как для семейного портрета, серьезные, сосредоточенные, будто в ожидании блнца. Испуг на мгновение сделал всех очень похожими друг на друга, торжественный шум, сотрясший этот город, объединил всех их, объединил с ним: предостережение относилось к каждому человеку, к каждому дому, и то, что должно было свершиться, свершилось бы со всеми... только сейчас, когда смолкли колокола, они почувствовали себя беззащитными, словно весь город снова распался на тысячи отдельных домов, этажей, подвалов, руин — кусок суши, расколотый на ничтожные льдины, каждая из которых одиноко плывет вниз по течению.

До них допелась барабанная дробь, разбившая напряженную тишину. Затем пестрое окно с веселой ласточкой, проносящейся над полем и лесами, начало вибрировать. Вильгельм обхватил руку сестру, инстинктивно он прижимал ее к себе тем сильнее, чем отчетливее глухой гул барабанов разделялся на отдельные звуки, и тело его трепетало от усилий не выдать себя. Стекла зазвенели, когда танки повернули на их улицу. На повороте они загрохотали еще сильнее, гусеницы скрежетали, а моторы, когда машины вышли на прямую, оглушительно взвыли.

Ни выстрела, ни рычащего «ур-ра!», ни стука прикладов, расколовших дверь, — все ужасы вторжения, которых ожидали те, что сидели взаперти, ожидали в первый же час, в первый же миг появления в городе победителей, все осталось позади, миг этот миновал, и они наконец вздохнули с облегчением. Все их надежды сосредоточились в едином отчаянном желании — чтобы прошло время, и правда, нокуда они с пустыми от напряжения взглядами вслушивались в стократ повторенный скрежет гусениц на повороте, в вой моторов и пенстовый, сотрясающий дома и мостовую грохот, действительно ничего не случилось, только время прошло, давая им роздых.

Вслед за танками поились обозные фуры, сельский стук копыт по мостовой: от любознательства Франциска прилясывала на месте, словно молодая охотничья собака. Потом брат с сестрой переглянулись и одновременно ринулись к окну. Вильгельм даже приподнял сестренку.

— И подумать, что они победили нас,— сказал оп.

На плетеной повозке, запряженной мохнатыми крестьянскими лошаденками, которые рысцой труслили под своими дугами, сидели пязкорослые солдаты в грязно-бурых гимнастерках и с обритыми головами. Обоз остановился, одна из лошадей встала на дыбы, и солдат в подбитом ветром плаще, державший вожжи, обернулся.

— Гунны! — взвизгнула Франциска, молниеносно выскользнув из рук Вильгельма, оп наклонился, они стукнулись лбами и покатались со смеху.

— Что касается меня,— произнесла вдруг Важпая Старая Дама,— мне сейчас необходимо выпить рюмочку коньяку.— Она вышла из круга и отвела глаза от детей, которые сидели на полу и хохотали как сумасшедшие, всхлипывали от хохота, накопец-то прижавшись друг к другу, заходились смехом.

Лишь на следующее утро явились двое, в касках, с автоматами на груди, и стали трясти калитку. Линкерханды стояли за спущенными жалюзи.

— Может, они сейчас уйдут,— сказала фрау Линкерханд. Она бросила взгляд на Франциску.— Говорят, русские очень любят детей...

Лицо альбиноса Линкерханда пошло красными пятнами. Солдаты перескочили через забор и стали прикладами колотить в дверь, потом, разъярясь, еще и каблуками и выколотили последние минуты оттяжки. Линкерханд, сеутулясь, пошел к двери, опять уже белый до самых глаз. «Одно только благо остается побежденным — на благо не уповать», — проговорил он, на сей раз опустив ссылку на источник и поучительный комментарий о Вергилии, потом снял очки, открыл дверь двум серо-зеленым телям и, хотя они молча оттеснили его в сторону, последовал за ними своим крадущимся шагом через весь дом, время от времени, правда, спотыкаясь на каком-нибудь пороге или на ступеньке, но неотступно и учтиво. Наконец они слова оказались в вестибюле, и один солдат, обведя кругом коротким прикладом своего автомата, сказал:

— Капиталист,— отчетливо и протяжно выговаривая «и» в последнем слове, прозвучавшем как-то вопросительно.

— Я пздатель,— представился Линкерханд и перевел погромче, как глухому: — I'm publisher.

Тень поменьше рассмеялась, они повернулись и ушли, ушли через широко распахнутую дверь, на дорожку к ка-

литке, а Лшикерханд смотрел им вслед, он чувствовал себя обманутым, а как и в чем — сам не знал. Он присел на ступеньку. Зубы его стучали, он это слышал, и в то же время ему чудилось, что зубы, руки, все его тело больше не принадлежат ему. Я спрыгнул, думал он, и то же чувство овладело им, как во времена детства, когда он с другими мальчишками играл на бульваре и они заставили его спрыгнуть с городской стены. Стена была высоченная, на уровне человеческого роста, сложенная из гранитных блоков, верхняя же ее часть, относившаяся к более позднему времени, была кирпичной. Вся она заросла плющом. Он стоял на крошащихся кирпичах, видел красную пыль у себя под ногами, ему было страшно, и еще он видел куст сирени с темно-лиловыми кистями, выросший на стене, и липы вдоль бульвара, капли дождя стекали с их светло-зеленых листьев. Он закрыл глаза, прыгнул и упал, готовый к неслыханному, к неслыханной боли или неслыханному торжеству, встал — колени у него дрожали, — однако, целый и невредимый, только что обманувшийся в своих ожиданиях чего-то необыкновенного, — встал среди безразличных мальчишек, которые прыгали до него и теперь уже затевали новую игру.

Жена, плача, обняла его. Франциска, растягивая ударное «и», спросила: «Что такое капиталист?».

Лшикерханд велел ей замолчать, но дочь, не слушаясь его, без конца повторяла новое слово.

Можешь ли ты представить себе свою смерть, Бен, я хочу сказать, можешь ли ты без волнения думать, что ты умрешь — я имею в виду не биологическую категорию «Человек», который подчиняется законам природы, как животное или растение, но ты, Бенджамен, ты, — что тебя не станет, что ты обратишься в прах, безутешный, неспособный уверовать в бессмертие души, в лучший мир? Сидя в бомбоубежище, разве ты не думал: меня это не коснется, смерть твоего соседа была мыслима, но не твоя собственная смерть.

Вот так же, думается мне, они не могли представить себе беззакония. Они пребывали в крайней растерянности... не потому, что утратили часть своего достоинства, а потому, что утратили его в столь странных обстоятельствах, потому что война лишила их священного права на собственноручные четыре стены. Это уже был хаос — конец упорядоченного мира... Украинка посидела по дому, черноволосая пышишькая Матка, смеясь и болтая с красноармейца-

ми; смеялась она и взбегая по лестнице в спальни на втором этаже. На ней был пуловер несчастной девочки Эльфриды, так натянувшийся на ее высокой груди, что между его кромкой и поясом юбки виднелась рубашка. Глаза ее сверкали.

— Опа пьяна,— заметила ффрау Линкерханд,— и еще этот пуловер, его же вся улица помптит.

— Может, опа радуется, что ей не надо больше чистить картошку,— сказала Франциска, ненавидевшая чистить картошку под струей ледяной воды.

Матка сбежала вниз по лестнице, продемонстрировав свои округлые колени и — достаточно дерзко — связанные узлом платья: ржаво-красное и вечернее из мягкого, блестящего, как кротовый мех, бархата. Опа не потупила глаза, увидев ффрау Линкерханд, которая ждала на последней ступеньке, а та даже пальцем не пошевелила, более того, вежливо посторонилась и только голосом попыталась сдерживать задорный вихрь колен, платьев и русских слов, голосом тощей первой дамы, внезапно помягчевшим, а бы сказала согнувшимся голосом:

— Мы ведь ничего дурного вам не сделали, ффрейлейн Мария...

Франциска вся сжалась, скорчилась от стыда: если бы эта женщина хоть один-единственный раз полгода или месяц тому назад сказала ей «вы» и «ффрейлейн», когда Мария конала землю или полола клумбы в саду, если бы она — зная, что Матка говорит по-немецки,— не игнорировала бы этого обстоятельства, не по злобе, а бездумно, не веря, что для них существует общий язык...

Вильгельм спозаранку укатил на велосипеде к Эльбе, туда, где в трех или четырех километрах от города на берег были выброшены грузовые баржи; команды сбежали, а Вильгельм, которого, казалось, связывает с его школьными товарищами нечто вроде теленатического аппарата, уже знал, что брюхо каждой баржи набито консервами из «и. з.». Линкерханд теперь неизменно радовался, когда сына не было дома: из угрюмого, но в общем-то, покладистого мальчика он превратился в дикаря, в неучтывого, пугавшего родителей то приступами слепой ярости, то полным молчанием. Эта немота была как тонкая оболочка неподвижного воздуха, ни рукой ее нехватишь, ни прорвешься через нее. Они называли его твердолобым, но у него ведь и возраст был трудный, они принимали в расчет его годы, но не то, что ему довелось пережить (в лагере

гитлерюгенда, в бункере у вокзала), — впрочем, об этом они ничего не знали и знать не хотели: отец — в преднамеренной своей слепоте, мать — напуганная предчувствием недетского опыта своего дитяти, которому она еще так недавно завязывала шнурки на ботинках.

Он еще не вернулся, когда друзья Марии опустошили прикрытую мокрой землей и хворостом яму возле помойки, затем тайник под сиреневым кустом и, наконец, принялся тыкать палками в парниковую землю, а когда Линкерханд, равнодушно смотревший, как уносят содержимое тайников, с громким не то стоном, не то рыданием опустил голову на подокошник, поверженный, словно Иов, нет, еще недостаточно поверженный, еще ничего не подозревающий об экспроприации, о брошюрах, кое-как печатающихся в его типографии... Она находилась за нашим городским домом, в саду, — самом старомодном саду, который только можно себе представить: мальвы и дикий виноград, беседка, сплошь увитая лозоносом. Наборщики обычно завтракали на каменных скамейках вдоль посыпанной гравием дорожки — я как сейчас слышу запах клея и типографской краски, самый волнующий запах на свете после бензинового (от твоей куртки всегда пахнет бензином, и от твоих рук, от твоей кожи — повсюду)... ничего еще не подозревающий о слесаре Жангере, который сдал в утиль клише для иллюстраций к «Немецкому родчеству» — варварство, порожденное невежеством, этого Линкерханд так и не простил новому государству.

Вильгельм-кормилец явился затемно с мешком сахара и кошелкой, битком набитой мясными консервами, в ней лежал еще и ком топленого масла. На лице его пылали кровавые царапины, рубашка изодрана в клочья, но навстречу ему ринулась только Франциска, растрепанная, возбужденная, она прыгала вокруг него, как комнатная собачонка вокруг вернувшегося с охоты хозяина. Гордо и равнодушно он сбросил свою добычу.

— Где они?

— Она ревет, а он заперся у себя. Они слямзили у него мадонну.

— Ревет? — переспросил Вильгельм, и подбородок его задрожал. — Ревет из-за этой проклятой старой дощечки?

Шесть часов криду он как сумасшедший бился в толпе сумасшедших на полузатопившей барже, награждал тумачами кого попало, по колено в белом сахарном потоке, который лился в трюм из взрезанных мешков, сражался, за-

дыхаясь среди потных тел, уже не за мясо и сахар, а за собственную жизнь, за глоток воздуха на развороченном, залитом маслянистой пеной берегу, и смертный его страх, ужас (из одной бочки торчали ноги утонувшего, он упал или его бросили в масло), перед самим собой скрываемый ужас, пашел исход в яростном крике.

— Эй, вы, где вы там?

Франциска спряталась за шкафом. Вильгельм вывалил все из мешка и консервными банками принялся бомбардировать запертую дверь отцовского кабинета.

— Вот вам, жрите! Набивайте брюхо! — Он шлепнул об дверь ком топленого масла, который защищал зубами и ногтями. — Это господь бог вам посылает... — Франциска захихикала, и Вильгельм вытащил ее из-за шкафа, схватив за худые, жалкие ручонки, он примирительно положил руку ей на голову. — Не давай завлечь себя... Они же ни черта не понимают, хоть убей... Ну, да что с тобой говорить, ты еще мала... — Он дернул ее за волосы и расхохотался. — Один там вытащил целый мешок ботинок. Все на левую ногу... Ты только представь себе, малышка, полный мешок левых ботинок...

На что же можно было положиться в этом мире? Где еще существовала хоть какая-то уверенность? Директор банка, двоюродный брат Линкерхауда, сообщил, что сейфы вскрыты и опустошены. Бабушка выпуждена была опуститься в кресло. Невозможно... так далеко дело зайти не могло, всему есть предел... это похуже благочестивых разбойников в «Тиле Уленшпигеле». Лишенная таким образом наследства, Франциска постаралась состроить огорченную мишу. Собственно, она не знала, о чем ей сожалеть. Легендарные украшения десятки лет лежали в сейфе, в горе Сезам, они ускользнули в какой-то сказочный мир, прельстительные и неправдоподобные, словно поток сверкающих камней, в который окупали руки Алибаба или Аладдин.

Осталось несколько пар серег, гранатовые брошки и гемма... когда ты в первый раз танцевал со мной — только из вежливости, нет, не спорь, ты отбивал повинность, именно так я это и поняла, — ты сказал: Дорогая моя, эта мишура вам не идет... или так: Дорогая... и это было уже достаточно зло, но мишура!.. Бабушкины бриллианты... А потом ты засвистел на танцплощадке, это было уже слишком, что за болван, думала я, он не попадает в такт, когда открывает рот, и открывает рот, чтобы сказать бестактность...

Двоюродный брат Линкерхаида не играет в этой истории никакой роли (в юности он хотел учиться музыке, но отец принудил его заниматься банковскими делами. Он обосновался в этой навязанной ему жизни. Никогда не ходил в концерты... Все это не совсем точно. Утраченные иллюзии, жиросчет вместо черного концертного рояля, один город вместо сотен рукоплещущих ему городов... он был несчастен, слаб, рассудителен, что я знаю? И должна ли жалеть его?), а его жена, полная блондинка, ограничилась всего несколькими фразами, через четыре или пять лет после войны, когда все семейство еще играло в игру Мы-ни-о-чем-не-подозревали, знало понаслышке об охранных арестах, испуганно и смущенно спешило пройти мимо витрины с надписью «Смерть евреям!», точно мимо нищего слепца, не подав ни гроша на бедность, а возвращаться было уже слишком поздно, и читало про сад с лекарственными травами в образцовом лагере Терезиенштадт, в национальном... итак, тетка, полная блондинка, нежная и крепкая, заговорила однажды вечером, чтобы — как обычно — разоблачить семейство. Она сказала:

— Вы уже не помните тридцать третий год, когда они арестовывали коммунистов... — (Только двор отделял штаб штурмовиков от банка.) — В подвале... мы слышали их крики, несчастные люди... каждую ночь... Вы не хотели тогда по вечерам бывать у нас...

Коммунисты. Ну, она должна была это знать, она всегда голосовала за коммунистическую партию, а муж ей не мешал, он любил ее, и его это забавляло. Он и по сей день ее любит, как в сказке. После двенадцати лет женохвата они наконец пожепились. Мезальянс. Она была фабричной работницей, стегальщицей на обувной фабрике, шесть братьев и сестер, отец чахоточный. Семейство терпело ее, вежливо, но без снисхождения. Линкерхаид первым удостоил ее родственного «ты», после случая с парикмахершей, которая донесла на жену аптекаря — аптека «Золотой орел» за какое-то «вредное» высказывание. Жену аптекаря арестовали, и она бесследно исчезла на веки вечные. Тетка плюнула в лицо парикмахерше, прямо в салоне, среди зеркал, фарфоровых раковин и дам под блестящими колпаками; из-за этого была целая куча неприятностей, скандал еле удалось замять, а фрау Линкерхаид сказала, что это был рецидив, что тетя не в состоянии искоренить в себе фабричную девочку.

Песок, песок, песок. Унылое небо. Унылые сосны. Я мечтаю о синем кусте, или розовом древесном стволе, или зеленом небе... о чем-нибудь из ряда вон выходящем — о кокосовой пальме, северном сиянии, о солнце среди ночи. Почему здесь ничего не случается? Ровно ничего. Мы и через сто лет будем подниматься в пять утра, зевать, мчаться в умывальную, торопливо проглатывать кофе с молоком, сдвигать горы песка, есть, спать, просыпаться... Песок в супе, песок в туфлях — жители бараков, волю с завязанными глазами крутят ворот, все по кругу, все по кругу... Вот наша свобода, смелый и великодушный беспорядок, которого мы так жаждали. Игра стояла свеч. Боли в спине и нормы выработки вместо головных болей и параметров.

Почему мы не двинулись дальше, до Огненной земли или до Амазонки? Мне иногда снится Амазонка и буйные, знойные девственные леса... Но что бы там ждало нас? Змеи и москиты, нестерпимая жара, воды нет, даже чтобы умыться, бамби, отнюдь не такие пурпурно-красные, как во сне: Амазонка воняет, я готова побиться об заклад, что она воняет. Все вранье. Таити — вранье. Белая гавань Рио — вранье. Правда — только жара и холод, песок, угольная пыль, обломанные ногти и проклятые нескончаемые сосны...

Не слушай меня, Бен, я ужасно себя чувствую, ужаснее, чем это может представить себе мужчина... и ко всему еще женщина семь дней должна считаться нечистой, ровно семь дней. Моисей это знал. Разве ты мог бы сейчас спать со мной в одной постели? Другие в наши годы... у них есть постель, квартира, дети, телевизор, висючая лампа с красным абажуром в спальне. Красные лампы следовало бы запретить.

Вчера ездила в город — захоlustье, дыра, жители там снимают белье с веревок, когда мы приезжаем; зашла в мебельный магазин — старая привычка, почти что рефлекс: профессор не терпел, чтобы наша работа была оторвана от интерьерера, он выл от ярости, увидев через некоторое время свои дома, изуродованные мерзкими обоями и зелеными штaketными заборчиками в лоджиях... В магазине супружеская чета, трудно сказать, какого они возраста: жепе можно дать все сорок, хотя ей, вероятно, тридцать с небольшим, беременная, рыхлая, дома четверо детей и сто марок на хозяйство; муж, скорее худощавый, с усиками, словно забыл спать с себя этот театральный реквизит — убогий остаток наглватости, кажется, что ему жаль расстаться с тем лихим парнем, которым он был лет десять назад.

Они купили себе страшешую лампу — трехрожковую, абажуры — желтый, зеленый и красный — за сто двадцать марок. Теперь, когда я снова работаю, сказала жена, мы можем себе это позволить... Время от времени они подсчитывают хозяйственные расходы, домашняя математика, я это знаю по семейству Борнеманов — счет никогда не сходится, и дети слишком быстро снашивают вещи... Муж не отрывает глаз от красного абажура, потом вдруг переводит взгляд на жену, ты понимаешь, каков этот взгляд, и шепотом говорит ей: вечером мы только один рожок зажжем...

Нет, я не вмешалась. Каждый волеп делать глупости, какие ему угодно, я вышла из того возраста, когда мне хотелось, чтобы каждый наслаждался жизнью по-моему. Впрочем, эту историю можно рассказать иначе: уже немолодая чета, все еще идет рука об руку, все еще счастлива на своей бедной, но опрятной кровати, в спальшке, куда, тихонько шелестя крыльями, лет-лет да и залетит любовь. Цитата. Трогательная.

Не слушай меня, Бен. Когда мне плохо, я бываю удручена, как после семинедельного дождя...

Прежде, знаешь, я думала, что такое со мной случиться не может, я росла как былишка... тело, никогда не бывшее мне в тягость, никогда не казавшееся чуждым, только оболочкой, нет, оно было я, и кожа моя знала разве что боль, когда мне случалось обикаться о кастрюлю с молоком или уколоться булавкой, да еще ощущение холода или пота; приятно солнце, когда оно покрывает загаром руки и ноги, неприятен холодный ветер, от которого покрыв-

ваешься гусиной кожей... Теперь, когда ты дотрагиваешься до моей спины, мне кажется, что кожа моя разглаживается, словно звериная шкура, и что от твоих пальцев электрический ток пронизывает меня с головы до пят, а я под твоей рукой становлюсь безвозрастной и гладкой... В ту пору зеркало было всего-навсего зеркалом, перед ним я суетно проверяла, красиво ли у меня завязан бант, прямо ли сделаю пробор — и ничего не знала о секунде испуга, об ужасе перед раздвоенностью существа, за зеркальным лбом которого текли мои мысли...

Мы были умными детьми, Вильгельм и я, мы перескочили через класс, наши одноклассники теперь были на год старше, а год — это почти целое поколение. Я была самая маленькая и хилая, мне поныне помнится улыбка врача, который делал нам прививки то ли против тифа, то ли против холеры или еще бог весть от каких болезней, свирепствовавших в послевоенные годы. Бабушка остригла меня «под мальчика», чтобы волосы лучше росли, она свято верила в такие домашние средства. У других девочек уже намечались груди, и они стыдливо придерживали бретельки, а я стояла последней в ряду, в одних гимнастических трусиках, плоская, как мальчишка, ни следа маленьких холмиков, врач ухмылялся и говорил мне *малыш*, о, Вей, я сгорала от стыда и от зависти к девочкам, которых он колол с какой-то почтительной нежностью. Меня он всерьез не принимал, я была ребенком, бесполом существом.

После школы мы шатались по главной улице (универмаг Карштадта в развалинах, две-три убогие лавочки, витрины, заколоченные досками), девочки по правому, мальчишки по левому тротуару, мы — гогочущее стадо гусей, но неприступные, они — скучающие и шумные, паши суровые трубадуры без лютни и без транзисторов, с которых в нынешнее время у ребятни начинается флирт перед кино. На меня ни один из них не оглядывался. Нигалица... Хорошие отметки что-то значили только в школе, на «Бродвее» симпатичные маленькие грудки моих подруг были в тысячу раз интереснее.

Летом мы ездили на велосипедах в луга у пересыхающего рукава Эльбы и, отыскав прогал в камышах, нагишом влезали в илистую воду. Моя лучшая подруга как-то раз сказала: «Смотрите, девочки, у меня уже волосы есть», и мы с восторгом разглядывали рыжевато-белокурые кудряшки.

Она была красивая девочка с капризным ртом и копной пшенично-белокурых волос; когда она их расчесывала, они падали ей до колен; ты можешь себе представить, до чего привлекательной она выглядела рядом со своим вихрастым пажом. Она целовала меня...

Иногда с субботы на воскресенье мне разрешалось ночевать у нее, и мы играли во всевозможные невинные игры... а пожалуй, и не такие уж невинные... полустершиеся воспоминания о чем-то хрупком, нежном, две девочки в большой кровати, лампа с желтым абажуром из плисспированного шелка на ночном столике...

Воспитывали ее строго. В шестнадцать лет она завела таинственного друга, он ездил на «порше», в восемнадцать, незадолго до выпускных экзаменов, сделала первый аборт, а в двадцать, в Бад-Пирмонте, вышла замуж за «мерседес», все еще прелестная и чуть-чуть капризная, все еще олицетворенное целомудрие со своими слегка опущенными уголками рта... В то лето, когда мы с визгом барахтались в теплой, пахнущей гнилью воде, она знала о деторождении не больше, чем я. Вильгельм показал мне фотографию человеческого зародыша — скрюченная личинка с ногами-култышками и огромным черепом, — и мы строили самые фантастические предположения, как уже готовый ребенок вылезает из живота. Рассматривали свои животы и тонкую коричневатую линию, вернее, тень линии, сбегаящей от пупка к лону. Моя подруга уверяла, что это наметка шва, шов лопается, давая возможность выпнуть ребенка из живота (это делают акушерки). Мы сочли ее объяснение вполне убедительным: затем тебя зашивают, и точка.

Как всегда, я ничего этого к себе не относилa, так уж я была устроена, мир моего растительного существования лишь изредка нарушался каким-то неясным предчувствием... я не хотела подчиниться ни болям, которые суждены женщине, ни глупейшим женским будням, которые мне наглядно демонстрировала моя мать. У меня, думала я, все будет по-другому, и если бы я захотела изобразить свою будущую жизнь, которая мерещилась мне, то нарисовала бы лошадь в леистовом галоне, свободную, дикую, невзвезданную, с гривой, развевающейся на ветру, и копытами, едва касающимися земли...

Мне минуло пятнадцать, когда я влюбилась в парня из одиннадцатого класса.

...Он был слеп на один глаз, его зрачок, подобно тем-

тому печальному цветку, плавал в водянистой голубизне радужной оболочки. Он помогал ей делать уроки по математике, и, когда склонялся над тетрадкой, короткие черные ресницы над его поврежденным глазом смыкались. Ему разрешалось в послеобеденное время приходить к ней, и ффрау Линкерханд ровно через каждые пятнадцать минут стучала в дверь. Она даже не давала себе труда скрыть, что это контроль, и Франциска, прислушиваясь к ее нервным шагам, вжимала большой палец в ладонь и шептала колдовское заклинание: пусть упадет с лестницы, пусть сейчас же упадет с лестницы.

Однажды они вдвоем пошли в кино. В темноте он схватил ее руку, до боли стиснул пальцы и тотчас же отпустил. Скосив глаза, она заметила, что он сомкнул короткие черные ресницы — словно над школьной тетрадкой, — и она робко подсунула свой мизинец под мальчишескую его лапу на плюшевом подлокотнике кресла.

На следующий день он вынул букет красных гвоздик из школьной папки, он не посмел ничего сказать, и она его не поблагодарила. Сейчас ее впервые напугали сторожевые шаги и решительный стук в дверь. Ффрау Линкерханд бросила взгляд на цветы, превратила юного рыцаря в недвижимого деревянного истукана и сказала Франциске:

— Я предпочитаю, чтобы впредь вы делали уроки у меня в голубой гостиной. — (Она неуклонно держалась за это название, как и за все, что десять или двадцать лет назад составляло ее жизнь, хотя голубые обои и голубой ковер давно уже пришли в негодность и были заменены другими.)

Вечером соученик насвистывал на улице первые такты «Чикаго», и Франциска, эта Миннегага незабываемых полей прерии, вылезла из окна, спустилась по толстой лозе вьющегося винограда и перемахнула через забор. Они шли вниз по улице, потом через ольховую рощу на самом краю заболоченных лугов, по узкой тропинке, протоптанной среди садов, меж зеленых степок чаныжника. Мальчик остановился, и Франциска, все время мечтавшая, чтобы он ее поцеловал, откинула голову, его жесткие неумелые губы коснулись лишь уголков ее рта. Дальше они шли сплетя пальцы... вот и все, вернее, все, что мне вспоминается: незадавшийся поцелуй и близость неба, хоть я так и не знаю, были ли на нем звезды...

Они одновременно увидели выхтящего белого зверя у края дороги и не смогли повернуть назад, правильное

сказать, не посмели — ведь это было бы равносильно взаимному признанию. Ноги понесли их дальше; вслепую, точно замороженные, они приближались к нему. Пылящее белое распалось с каким-то хлюпающим звуком, как две половинки перезрелого плода. Они обратились в бегство и с сине-зеленой тропинки попали на пригородную улицу, в световой круг, отбрасываемый фонарем.

— А у меня ведь были два билета на «Навуходоносора», — сказал мальчик, — впрочем, ты, кажется, не очень-то любишь оперу.

Франциска вытаращилась на него, в ее ушах еще стоял затихающий стон, который она по неведению приняла за приглушенный крик боли. Ужас охватил ее, как будто и он был плотью от этой обнаженной, вснотевшей плоти.

Они еще часто встречались на переменах, под липами школьного двора, кивали друг другу, и как-то раз ее мать спросила, почему больше не видно этого молодого человека. Франциска безразлично ответила:

— Я теперь и сама справляюсь с математикой.

Ночью она проснулась от какой-то еще не изведенной боли: казалось, кто-то всаживает тупые иглы в ее детскую спину — и обнаружила кровавое пятно на простыне. В первое мгновение Франциска с гордостью подумала, что вот и она приблизилась к обетованной земле взрослых, затем ей пришло в голову, что надо будет сказать об этом матери, так уж заведено в семейных правилах хорошего тона, и сразу представила себе по-монашески потупленный взор и морщинки уязвленной благопристойности на носу. Значит, она должна, согласно пресловутому катехизису «мать — лучшая подруга дочери», довериться жещине, которая все еще прятала свою грешную плечу под стоячими воротничками, рылась в школьной папке дочери, ища какую-нибудь предательскую записку, не терпела ни малейшей двусмысленной шутки и детям показывалась всегда безупречно одетая, застегнутая на все пуговицы — в броне, защищающей от мыслей о болезненных соприкосновениях с земным бытием...

Бедная девочка с добрый час корчилась на холодном кафедре ванны, слыша, как рядом мать роется в бельевом шкафу, выдвигает и задвигает ящики, прислушиваясь к звону хрустальных флакончиков и вздохам стареющей дамы, покада не поняла наконец, что боится не столько тягостного мига признания, сколько некой улыбки, промелька торжества в глазах матроны... *Они захватили, взя-*

ли, зацарапали меня, объятая паническим страхом, думала Франциска. Она чувствовала себя в плену, отданной на произвол женщины, на произвол своего цикла, который ставила в зависимость от луны, в круговороте обязанностей, принуждавших ее каждое утро вытирать коварную, непобедимую пыль с мебели, каждый день после обеда мыть жирную посуду в тазу с горячей водой; девять месяцев кряду, мучась дурнотой, таскать в себе чужое тело, нитающееся ее соками, ее кровью, а потом подрываться от крика в родильном доме — ошалев от представления об этом варварском процессе, она взглянула на свой маленький, оливкового цвета живот, и он показался ей более выпуклым, чем вчера. Франциска застонала. Сосуд, подумалось ей, я стала сосудом.

Она записалась на прием к доктору Петерсоу.

Пепельница на его столе была до краев заполнена наполовину не докуренными сигаретами. Он курил непрерывно и, затянувшись раз-другой, небрежно надламывал сигарету, сам перед собой разыгрывал независимость.

— Господи, ты опять стал похож на хирурга из фильма,— сказала Франциска; она его боготворила, несмотря на ту блондиночку из театра, и всегда старалась его рассердить.

Он обошел вокруг стола и направился к ней, двигаясь, как всегда, быстро и скоро — чрезмерно занятый человек, научившийся экономить нервы и мускулы, — прижал локти к телу и растопырил пальцы.

— У меня все болит,— сказала Франциска,— спина, сердце... все. Колет ужасно, и воздуху вдруг не хватает.

— Так-так, сердце,— недоверчиво сказал он.— Ну-ка, разденься.

Она отвернулась, спустила рубашку, он увидел широкие костлявые плечи, спину, нежную, как тростника, и угловатые бедра.

— Кожа да кости,— проговорил он наконец,— а вот с таким сердцем можно победить в марафонском беге.

Франциска узнала издавна знакомое похрустывание накрахмаленного халата и белизну, чистую и прохладную, что вдвигалась между ее детской кроваткой и страшными блестящими рожами — бредовых видений в шкафу с игрушками. Она сказала протяжно, покровительственно-дружеским тоном, который установил Вильгельм:

— Да, док, ты ровно ничего не замечаешь... у меня менструация.

Он промолчал. Растопырив пальцы, подошел к умывальнику и, обращаясь к зеркалу, мягко сказал:

— Ужасная беда, только что ты делишь ее с полумиллиардом других женщин.

— И с пятьюдесятью тысячами обезьяньих самок,— подхватила она.

Он долго и обстоятельно мыл руки, потом локтем закрыл кран и сказал, как и ранее, зеркалу, в котором отражались ее медно-рыжие волосы и лопатки, торчавшие, словно крылышки:

— Почему ты не пошла с этим к матери, Фрэнцхен?

— К этой... — буркнула Франциска. Они взглянули друг на друга. Франциска уронила руки на стол, все ее тело вздрагивало от рыданий, когда она забормотала: — Никто меня не любит... Ты сейчас первый раз назвал меня Фрэнцхен, как раньше... И Вильгельм прячет меня от своих друзей, он говорит, что я выгляжу как missing link<sup>1</sup>.

— Вильгельм — хам. Но погоди, он еще будет домогаться чести пойти в кино со своей красоткой сестрой. — Док ласково погладил голову маленькой строптивницы, оплакивающей свою разбитую куклу. — Твои родители... все мы очень любим тебя, малютка.

Она стряхнула с себя его руку.

— Не хочу, — рыдала она, — не хочу быть женщиной.

— Тебе не удастся для себя одной изменить законы природы. — Он взглянул на часы. — А сейчас иди-ка ты спокойно домой, ложись в постель — и через три дня будешь чувствовать себя преотлично.

Он не видел пытящего белого зверя. Он ничего не понимает. Он такой же, как все... Вдыхая запах остывшего пепла, сладковатый запах табака и кислотовато-острого раствора, которым мыли стол, она прижималась лбом к его лакированной поверхности. Стол, стул были еще действительно существующими и осязаемыми предметами в мировом пространстве, куда ее вытолкнули и оставили один на один с темной угрозой ее пятнадцатилетнего животного бытия. Она плакала потому, что была заключена в это ставшее ей чужим тело, плакала потому, что стыдилась своих грудей, стыдилась волос под мысками, кожи с ее тревожащими узорами, уже чаившей взглядов и прикосновений.

<sup>1</sup> Недостающее звено (англ.).

Она оплакивала безымянную утрату. Позднее она будет останавливаться на улице, пораженная порывом ветра, несущего пыль и золу, или сладким запахом акаций, будет рассматривать влажный след улитки на листе мать-и-мачехи, провожать глазами суетливый полет бабочки-лимонницы, прислушиваться к внезапно оборвавшемуся мальчишескому смеху, к скрипу деревянной ступеньки, торжественному бою старинных часов, радоваться теплу чьего-то плеча, издали узнавать голубую лепточку. Минутами она будет совсем близко от утраченного, будет стараться восстановить его — так по утрам стараются восстановить сновидение, увы, забытое, совсем забытое, — и паречет его Детством.

*I get grasshoppers in my pillow,  
Baby — huh,  
I get crickets all in my meal...<sup>1</sup>*

Где же твое плечо, Бев, самая сладостная в мире подушка... В моих туфлях живут сверчки, мама, они прячутся в каблуках... Джанго. *Джанго*. Как его звали на самом деле? Забыла. Мы звали его Джанго, Колдуц, Цыган, Бауджист. Друг Вильгельма, моя первая любовь, теперь всего-навсего «кто-то», и остальные тоже «кто-то»: фон Вердер, Зальфельд — знаменитость, профессор, с тремя десятками самых фантастических идей, которые понимают от силы десять человек во всем свете, ученый из детской квижки с картинками, вечно витающий в облаках, в двух левых ботинках, о да, Зальфельд, кое-что из него вышло, он избранник среди тысяч других, списавших славу, а мы, все прочие, были векселем, который никогда не будет оплачен... Но у меня, Бев, у меня до сих пор в подушке живут кузнечики, и я не могу спать спокойно.

Джанго сумел устроиться, он мертв, он ходит по улицам, рассказывает своим ученикам о гамма-лучах, каждое утро надевает чистую рубашку, и все-таки он мертвец. Как-то раз я встретила его, мы не виделись сто лет, встретила кого-то, похожего на него, как чертеж на эскиз, а эскизы, любимый мой, всегда красивей и мужественней, они вольно блуждают в царстве фантазии, точно летние облака, точно стадо молодых животных, они — сны, в которых ты раскидываешь руки и летишь, а воздух несет тебя, словно морская вода... Мгновение, когда ты проводишь карандашом первую линию, тонкую, серо-черную, как потемневшее серебро, волнует больше, чем первый поцелуй мужчины, который, возможно, станет твоим воз-

<sup>1</sup> Я ловлю кузнечиков на подушке, сны, моя детка.  
А в тарелке — сверчков (*англ.*).

любленным, это еще колеблется между случайностью, пробой и всеми великими возможностями, а ты дрожишь от любопытства... Пикассо говорит, что иногда просто не может видеть незаписанные плоскости. Ты понимаешь это? Я уже понимаю. Я строю мысленно, а иной раз, когда вижу белые газетные поля или картонный кружок в пивной... ах, да к черту все! Мы же не хотели больше говорить об этом...

Мертвец Джанго избрал для себя золотую середину, и никакой сверчок уже не залезет в его солидные югославские ботинки. Кто украл наши сны? Где старые друзья? Лицо за окном автомобиля, мимо, мимо, рука на поддельном мраморе столика в кафе, синяя видовая открытка из Мамаи от Как-же-все-таки-его-зовут или газетная заметка о д-ре X, лживая собака, смотри пожалуйста, он уже добыл себе звание доктора и даже треплется на разных конгрессах о возбудителе рака, которого он все никак не найдет, а Y женился на Z, она на классной фотографии крайняя слева, с косичками, подвязанными крест-накрест, точь-в-точь обезьяньи качели, он влюбился в нее на уроке танцев, как хорошо, что такое еще бывает... Вот они стоят, мои одноклассницы, причесанные тщательно, волосок к волоску, в старомодных юбках ниже колен, в грубых сандалиях, и, как дети, ждут, когда же из фотоаппарата вылетит птичка, они смотрят на тебя пожелтевшими фотобумажными глазами, капувинне в прошлое, выпавшие из твоей жизни.

Даже Вильгельм все больше отдаляется от меня... или я от него... но дело тут не в двух тысячах километров между нами, ведь иногда, Бен, я это чувствую, иногда и ты бываешь далеко от меня, и я хотела бы протянуть к тебе руки, удержать тебя, просить: возьми меня с собой... а ты лежишь рядом, и я могу до тебя дотронуться, нет, не до тебя, только до твоего образа, доступного моему взгляду... Когда я впервые увидела тебя, я чуть не закричала: Вильгельм, Вильгельм, чуть не бросилась тебе на шею. Но ведь он рыжий, огненно-рыжий, и раньше, когда у него была пышная шевелюра, он был похож на пылающий терновый куст, из которого бог воззвал к Моисею (ты ведь знаешь, что Моисей заикался? Запка с перебитым носом)...

Покуда ей не исполнилось семнадцать лет, Вильгельм обрек свою сестренку на бытие личинки в коконе. Он жил своей собственной жизнью, отмежевавшись от жизни се-

мы, скорее как пансионер, который, поев, бросает на стол салфетку и исчезает до следующего обеда. Он изучал ядерную физику, был загребным на канадском каноэ, во-дил небесно-голубой «дикси», грохотавший, как молотил-ка, и одевался щеголевато, по последней моде.

У него была светлая голова, он мог играючи сделать то, над чем другие мучились, ему все доставалось без труда: и девушки, и блестящие отметки по общественным наукам. Я считала, что он не заслуживал ни девушек, ни отметок, и сказала:

— Ты циник.

Я тогда не была знакома еще ни с одним циником. Он положил руку мне на голову и ответил:

— Награды дают не за убеждения, пуританочка!

На уроке истории мы читали «Коммунистический Ма-нифест», я целый день ходила сама не своя, потрясенная пророческой силой этой программы, пафосом ее фраз, на-веки запавших мне в душу: *Призрак бродит по Европе...* Мне виделись эти слова выбитыми на каменных плитах, и, сказать по правде, Бен, тогда у меня все немного пута-лось в голове: Моисей и бородатый Маркс, манифест и скрижали горы Синай, потому что я воспитывалась в стра-хе божьем, хорошо ориентировалась в Ветхом завете, два года назад весьма скептически приняла причастие, ничуть не взволнованная таинством и разочарованная пресным вкусом облатки, потом начиталась Фейербаха и наконец отказалась от религии, не без угрызений совести перед бедным старым господом богом... правда, еще не оконча-тельно, это произойдет позже, в дымяно-бурой полутьме деревенской церкви, двери которой всегда открыты для сирых и страждущих, где негасимая лампада рубиново-красным светящимся жуком покачивалась в пище, в этой странно осязаемой тишине, прохладно и немного затхло оседавшей на лицо и руки, — в тишине, простеганной ти-каньем часов с маятником в боковом приделе, между хо-ругвями из толстого шелка, пестрыми гипсовыми фигур-ками святых и завернутыми в бумажные кружева букет-тами увядших цветов, источавших острый запах осепа...

Вильгельм, услышав, что она громко разговаривает в своей комнате, взял в руки свернутую красную тетрадку и сказал:

— Раньше ты учила наизусть монологи Гретхен. Ты населила свой мир иллюзиями, к сожалению и политиче-скими тоже. Философия, дочь моя, стала самой бесполез-

пой из всех духовных дисциплин... Классовый вопрос — это же прошлогодний снег. — Неужто ему доставляло удовольствие сбивать ее с толку? — Я не знаю больше никаких классов! — крикнул он вдруг, нахмутив брови, покрутил воображаемый ус, и она уже была уверена, что он смеется над ней, покуда он не продолжил изменившимся голосом: — Для меня есть три категории людей: те, кто понимает квантовую механику, те, кто в состоянии ее понять, и все остальные.

Он считал Франциску потешной, как лисенок, и настолько незначительной, что никогда не обращал внимания на эту единственную свидетельницу его случайных приступов меланхолии. Он тогда сидел на лестнице, уставившись в одну точку на стене, в страшный таинственный знак, расшифровать который только ему было под силу. Он опять далеко, думала Франциска, видевшая лишь светло-серую стену и покрашенное окно, весеннюю ласточку над холмом и лесом, зеленеющие поля. Иногда он швырял о стену стаканы. Первый раз, когда Франциска увидела эти осколки, его сосредоточенное лицо, пьяные движения, она вскрикнула. Вильгельм приложил палец к губам.

— Не мешай, — прошептал он, — на меня опять нашло *это*.

Что *это*? — подумала Франциска. И бросилась прочь. В прихожей сидела Важная Старая Дама и курила.

— Бабушка, идем, он сошел с ума! — взвизгнула Франциска.

Бабушка улыбнулась, и за увядшими губами показались те самые роскошные зубы, что десятилетия назад вдохновляли доморощенных поэтов ее круга.

— Оставь ты мальчика в покое, — сказала она снисходительно. — Он сейчас не в себе.

Она потушила сигарету о мозаичный столик в прихожей. Бабушка курила сигареты «Хаус Бергмаи» — вот что значит иметь родственников на Западе, да еще несколько земельных участков в Кёльне, в центре города, а цены на землю росли и росли до умопомрачения — и угощала его преподобие, молодого священника, дарившего ей духовное утешение, крепкой голландской сливовицей, но при этом всегда опережала его на несколько рюмок. Позор на ее седую голову, говорила фрау Линкерханд... Борьба за бабушкину нераскаивающуюся душу тянулась долго, и по средам Франциска благоговейно смотрела через замочную скважину на красивого, одетого в черное молодого

человека, который не имел права жениться. Господи, до чего же он романтичен... Впрочем, этот бабушкин земляк был полон поистине ангельского терпения, когда они слушали переложение «Карнавала», и бабушка, подпевая, заливалась слезами, она была готова хоть «на своих двоих» идти в родной Кёльн. Он также брал ее с собой за город, в обитель святого Якоба. Сейчас он ездит в громадной машине, вокруг которой на стоянке всегда собираются детишки — поглазеть, но тогда у него был ветхий «Форд», останавливавшийся на каждом взгорке, с заднего сиденья слезали дюжие мопашки и, махая рукавами как крыльями, толкали машину в гору вместе с его преподобием и бабушкой, а из-под покрывал блестели круглые томатно-красные лица...

— А что с ним? — спросила Франциска.

Бабушка сложила руки на золотом крестике, болтавшемся у нее на животе, и потупила живые, черные, нечестивые татарские глаза.

— Его тоска гложет, дитя мое, — степенно отвечала она.

Следующим летом Франциска, уже семнадцатилетняя, опять увидела, как ее брат швыряет в стену стаканы, она испугалась, на нее пахнуло холодом от его печали, но она не ушла, а спокойно спросила немного погодя:

— А ты не мог бы расколотить эти мерзкие бокалы?

Вильгельм оцуплся и увидел гибкую талию, чувственный рот и кошку коричнево-медных волос.

— Ну, прощай, missing link, — сказал он. — Что вы сейчас проходите по математике?

— Сферическую тригонометрию, — ответила Франциска.

Он смотрел на нее задумчиво и ошарашенно.

— Я буду тебе помогать, девочка. — Он положил руку ей на голову, как прежде, но это было лишь повторением забавного жеста, без прежней снисходительности, и, когда его пальцы зарылись в гущу волос, он ощутил потребность защищать ее.

Она теперь опять допускалась в его комнату, — комнату двадцать первого столетия, как объявил Вильгельм, у которого тогда был период отшельнического служения чистой-науке, комната стерильная и целесообразная, свободная от пыльного барахла, создающего уют, и от избытка жизни, — пластмасса и математически правильно расставленная мебель. Франциска говорила:

— Тут сидишь как будто в учебнике геометрии.

Он сжег даже свою коллекцию пивных подставок и на желтых, точно воск, блестящих стенах терпел только портреты Эйнштейна и Отто Гана.

Он представил Франциску своим друзьям. Толстый блондин фон Вердер поцеловал ей руку, деликатно поцеловал воздух в предписанном миллиметре от ее крупной руки с коротко подстриженными ногтями. Другой свистнул сквозь зубы, похожий на цыгана парень, перьяшливый, сильный, с горящими глазами, Джанго, он играл на скрипке, сочинял и пел под банджо религиозные баллады. Она была так неосторожна, что улыбнулась ему, и он по уши в нее влюбился, в ее губы, в ее улыбку простодушной и любопытной девочки.

Она все еще неловко чувствовала себя в чужой компании. Со своими сверстниками она обращалась высокомерно и снисходительно — желторотые юнцы, которые во время урока танцев наступают на ноги своим дамам и вместе с гибким, перетянутым в талии человеком во фраке разучивают поклоны, а лбы их блестят от пота и бриллиантина, юнцы, которые говорят только о мотоциклах, читают глупые журналы, и фантазия их не идет дальше оригинальной идеи — с помощью маленькой катапульты стрелять в классе бумажными шариками, а свою наглую доблесть, свое презрение закоренелых холостяков эти недоросли демонстрировали девочкам, лишь когда целой ватагой шатались по школьному двору.

Друзья Вильгельма были мужчинами. Они маршировали в «последнем резерве», дети в болтающихся мундирах, слишком больших касках. Мать Джанго выбросилась из окна ванной комнаты с седьмого этажа во двор доходного дома, когда ей надо было идти в отправляющийся на восток эшелон. Зальфельд во французском лагере военнопленных ел траву и сдирал кору с деревьев, а теперь буквально помешался на еде, постоянно терзаемый неутолнимым голодом, его карманы были набиты горбушками хлеба и недозрелыми яблоками, которые он подбирал у забора. Швацрт дезертировал, попал в плен, был приговорен к смерти, своими ушами слышал почные расстрелы, в первые майские дни на Эльбе был выпущен из тюрьмы, из черной сырой камеры, где еще солдаты Фридриха в пятом часу утра ожидали костяной барабанной дробью и небесного утешения. Наконец, фон Вердер, восемнадцати лет вернувшись с войны, нашел свой дом в развалинах,

знаменитый дом на Лангенгассе, его пышно изукрашенный фронтон, венчающие элементы дверей со свирепыми зверями, с грудастой и толстоногой богиней охоты можно было найти в любом справочнике по пемецкому зодчеству.

Франциска еще помнила тот сенсационный учебный год, когда вернулся в школу оставшиеся в живых старшеклассники. С ними в старую чопорную гимназию Августы-Виктории ворвался запах мятежа, «Лаки страйк»<sup>1</sup> и пропотелых мундиров. Они презирали учителей, издевались над швейцаром, на все наплевав, курили на лестницах, а мелюзга из четвертого класса восхищенно слушала шум в благопристойных гимназических коридорах, четкие ритмы «Каледонии» и насмешливую песню «Народ, к оружию!» на мотив «In the mood» Миллера. Во время выпускных экзаменов они подняли черное знамя анархии и пьяными явились на устный — проба сил, желание принудить учителей осознать свою вину. Один учитель был изгнан — жертва, которую беспомощный педсовет обрек на заклание на шатком алтаре респектабельности.

Они были мужчицами. Они очаровали Франциску своими язвительными шутками, своим небрежным гениальничаньем, они были знающими и неверующими и говорили на языке медиков... они ненавидели затаскавшие лирические слова школьных дней: родина и героизм, народ и отечество, к черту брехню, хватит с нас, больше этому не бывать, твердили они с мазохистским ожесточением... Но теперь я думаю, Бец, что на самом деле все-таки каждый из них таскал за собой сундук, полный всякого тряпья — моральных оценок, политического лиризма и разных новых жупелов. У них были свои боги, но молились они одному — Плапку, и даже мой Рыжик называл все разговоры об отечестве мистической чепухой (потому что он тоже шагал в строю под знаменем — за хлеб и свободу, шагом марш, запевай, раз-два, и стук сапог по испуганной мостовой: святое отечество, мы идем...), даже Вильгельм был способен громким голосом провозглашать банальности вроде: отечество физика — весь мир...

...В тот вечер, вспоминала Франциска, они, крича, спорили о деле Оппенгеймера, а Зальфельд слушал их вполуха и время от времени, погруженный в свои возвышенные размышления, ронял какую-нибудь незначащую фразу... итак, Зальфельд, развалиясь в кресле и беспрерывно жуя,

<sup>1</sup> Марка американских сигарет.

сказал: «Right or wrong, my country»<sup>1</sup>, а Вильгельм на него напустился — неужто этот процесс еще не убедил его в том, что именно на них, на молодежь, ложится бремя будущей ответственности? — и, постучав по выпуклому лбу своего доброго и равнодушного друга, крикнул: «Да здравствует беззаконие!» и «Ты сделаешь карьеру, идиот с вывихнутыми мозгами!», хотя знал, что тот никогда не помышлял о карьере и юменклатуре.

— Туча повисла над всей планетой. Оппенгеймер обязан был отказаться. Уже сегодня... — обратился Вильгельм к сестре, — уже сегодня достаточно нескольких десятков бомб, чтобы сделать землю необитаемой. Существуют супербомбы, с силой взрыва в пятнадцать мегатонн, что соответствует пятнадцати миллионам однотонных бомб, если тебе это что-нибудь говорит.

Она покачала головой. Остальные скучливо прислушались. Они знали счет и миллионам тонн, и миллионам убитых.

— Посчитаем иначе, — сухо сказал Вильгельм. — Тринитротолуол известен тебе из химии. Нет? Чему, черт побери, вас учат? Опускают красную лакмусовую бумажку в кислоту... Итак, ТНТ, чтобы ты могла схватить своим воробьиным умишком, довольно дешевая взрывчатка, и одного фунта достаточно, чтобы ты, голубка моя, вместе со всем семейством взлетела на воздух... Вторая мировая война обошлась почти в три миллиона тонн ТНТ. Одно нажатие кнопки, видишь... — Он схватил ее руку и легонько ткнул указательным пальцем в запястье: иногда он пытался представить себе руку того пилота, этот драгоценнейший, мудреный аппарат из костей, сухожилий и кожи. — Помнишь бомбоубежище? Ты не забыла ту почку, когда разбомбили Старый рынок? Каких-то жалких две тысячи фунтов для ратуши, четыре тысячи — для святой Анны. Поразмысли-ка над этим.

В то время, Бен, он казался мне могучим, как Иисус Навин, — сегодня я иногда вижу его крохотным, беспомощно скрюченным между стальных щитов, из которых вырываются красные молнии и пронзают его насквозь, и тогда сердце бьется у меня в горле и я думаю: мой бедный маленький брат, милый, милый Рыжик...

— Но это только *цифры*, — сказал Вильгельм, — через десять лет каждый глоток молока, которое ты пьешь, и

<sup>1</sup> Хорошая или плохая, это моя страна (англ.).

каждая капля дождя, падающая на твою красивую, гладкую кожу, будет отравлена.

Франциска схватилась за щеку.

— Оставь ее наконец в покое, — нетерпеливо сказал Джанго. — Ничего изменить ты все равно не сможешь, до бога высоко, до Лос-Аламоса далеко, а мы ведь еще живы.

Зальфельд вежливо и рассеянно заметил, что он верит в силу разума...

— Закон природы — разум! — насмешливо отвечал Вильгельм. — Идиот несчастный! Скоро ты опять поверишь в бога и в его вопиство: «Добро, которое господь делает нам...»

И так вечер за вечером.

Франциска видела на стене дома в Хиросиме сожженную чужим солнцем, обращенную в камень тель человека, чье сердце, угаснув, испарилось, растаяло в воздухе: я вдыхаю его, с ужасом представляла себе она, когда не думала об уроках, о Жераре Филлине, о глазах Джанго и о новой моде, все больше укорачивающей юбки.

Летними ночами они с Джанго бегали по улицам, стены домов еще дышали дневным жаром, небо на западе было зеленым, а в садах безрассудно расточали себя кусты роз. Они презирали медленные прогулки — бок о бок — любовных парочек, их глупые взгляды и томный шепот, наполнявший парк, как хлопанье крыльев большой темной птицы. Они носились по улицам и лепили из твердой синевы вечернего воздуха купола и башни своего будущего, они были безумно талантливы и безумно честолюбивы, они затыкали за пояс Хиндемита и Ле Корбюзье и наконец, неузнанные любимцы богов, спускались на землю в кондитерской, где уписывали творожный торт и водянистое ванильное мороженое.

Джанго избегал знаменитого кафе со святающимися розовым цветом занавесками в угловом доме, этажи которого пустыми глазницами окон пялились на Старый рынок и на устрашающее изящество поверженных колонн и арок, на почернелый крест церкви св. Анны, словно рука, в немой мольбе поднятая к небу. За розовыми окнами раздавались мелодии Легара. Раньше это кафе славилось не меньше, чем кафе Крауцлера в Берлине. И теперь старые дамы, словно всю войну пересидевшие в холодильнике, опять были тут, профессорские вдовы и обнищавшие баронессы в причудливых шляпах, с гранатовыми брошками на высохшей груди.

— Склеп плерезов,— сказала Франциска, прижимаясь посом к стеклу.— Давай зайдем внутрь, хоть посмеемся над мумиями, которые едят пирожные.

Джанго, босой, в штапах, завернутых над худыми загорелыми икрами, нетерпеливо приплясывал на мостовой.

— Очень мне надо заводиться из-за пережитков капитализма,— сказал он, выворачивая пустые карманы.— Пойдем лучше к «Пиа Мариа», у меня завалилось несколько марок, можно слопать по пирожку с рыбой.

В следующий раз, проходя мимо углового кафе, что красным пятном губной помады светилось на темном лице Старого рынка, Джанго сказал:

— Раньше у них на дверях висела табличка «Евреям вход воспрещен».

Он никогда не говорил о своей матери, ее лица он уже не помнил, помнил только окно, запавески, летний цвет мальвы, открытое окно в узкий двор и большую черную сумку. Когда его мать шла по улицам, она прижимала эту сумку к груди, чтобы не видна была звезда.

Однажды сентябрьским вечером в саду Вильгельм и Джанго нарвали яблок и крупных золотистых слив, обрызганных капельками смолы, и теперь отдыхали с набитыми животами, сытые, усталые, пьяные от липкого сока и осеннего запаха деревьев. На садовом столе горела керосиновая лампа, мошкара вилась вокруг изогнутого стекла. Джанго, молчаливый и недовольный, лежал в плетеном кресле, перевесив ноги через подлокотник, распахнутая на груди рубашка была покрыта пятнами смолы и обсыпана древесной трухой.

Потом пришел Зальфельд. Франциска принесла большую корзину яблок и слив, поставила ее у ног Зальфельда. Он не поблагодарил ее, а рассеянно и невнятно сказал, воззя зубы в яблоко:

— Это не имеет значения, Джанго, не волнуйся.

Франциска сидела в траве, и молочный свет, струящийся сквозь стеклянный колпак, падал на ее руки, на кирпично-красную юбку, на округлость плеча в позелотой сине-белой тельняшке. Джанго опустил глаза и, увидев, как она пальцами босой ноги срывает стебельки травы, впервые почувствовал, что его подружка слишком еще молода, беззаботный пестрый зверек, и он ненавидел ее за свои собственные упущения, за ее неведение послушной дочки и за то, что она проронит по нем несколько слезинок и будет с другими бегать по синим улицам. Своим

друзьям (друзья, нет, я не шучу, друзья, так же надежны, как эта садовая идиллия, тихий вечер, яблоня, нежный свет лампы; Вильгельм меланхолик, денди с хронически нечистой совестью, буржуа, севший между двух стульев, и Зальфельд, чувствительный, как логарифмическая линейка, вундеркинд, если успеет, заткнет за пояс де Бройля, гений, но для знающих его — проходимец с холодным как лед сердцем), своим друзьям он повторил то же, что весь вечер говорил себе:

— Готов поставить голову против старой шляпы, что на сей раз я повержен, казнец... по всем нормам демократии.

Вильгельм успокаивающе кивнул головой, подмигнул — печальный клоун с красными глазами, погоди, только не при малышке... вообще, ничего еще не решено...

— Ты забыл Цабеля? Я — нет, — сказал Джанго. — Голосование было всего лишь фарсом, и ты это знал, и я знал, и все академическое стадо — тоже. О'кей. А мы голосовали? Я — да.

Франциска закрыла ноги подолом.

— Встань, Франц, уже выпала роса, — сказал Вильгельм, — трава совсем мокрая.

— Ничуть она не мокрая.

Зальфельд, разумеется, сразу сказал «нет», победитель де Бройля, «нет», порывшись в корзине, он надкусил яблоко, чавкнул, проглотил, нет, он не откажется голосовать против Джанго, одним голосом больше или меньше, это значения не имеет. Вильгельм взглянул на Франциску, она встала.

— Поди в дом и принеси свои наброски, — сказал он, — Джанго умирает от любопытства.

Она ушла, покорно... Как будто я не знала, что у цыгана есть другие заботы, помимо ликкерхандовского *Cité Radieuse*<sup>1</sup>. Джанго, с его талантом, так оскандалиться... сумасшедший парень, горлодер, наивный или пройдошистый, кто знает... последний год, во время праздника по поводу исторического события, во время праздника в большой аудитории, когда выбирали почетный президиум, Джанго встал и предложил избрать великого Людвига ван Бетховена. Вильгельм от восторга свалился со стула. *Three cheers for Mr. Beethoven!*<sup>2</sup> Джанго с улыбкой,

<sup>1</sup> Лучезарный город (франц.).

<sup>2</sup> Да здравствует мистер Бетховен! (англ.)

исполненной кроткой глушости... Он хоть и был хитер, но не осторожен, как другие, те, что аплодировали любой чепухе и никогда не болтали лишнего, нет, Джанго мог себе кое-что позволить, во всяком случае больше, чем мой брат, подозрительный уже из-за своего происхождения, сын эксплуататора, классово чуждый, если не классово враждебный элемент...

Джанго был фигурой из ряда вон выходящей, жертвой, к нему все относились снисходительно, даже с нежностью, от которой его воротило. Академический благотворительный базар, говорил он, в пользу бедного еврейского сиротки... Он носил свое прошлое как амулет, даже из потасовки в студенческом кабаре он вышел с синяком под глазом, синим, как постоянная фиалка, потому что у выхода со сцены получилась свалка после первого и последнего представления.

Несколько студентов стали экс-студентами, один бежал на Запад (два года назад я видела в Берлине на афишном столбе его имя, он играл на тенор-саксофоне в знаменитом джаз-квартете), а Джанго получил строгий выговор. Ладно, я в курсе дела, и Вильгельм не должен был отсылать меня, как раньше отец, когда слушал Лопдон. Не так уж я глупа. Бедный мальчик. Ему стыдно...

Когда она вернулась, все трое молчали, как будто только что, услышав шорох ее шагов по траве, прекратили разговор, а Джанго приветствовал свою юную подругу взволнованной улыбкой. Встав позади него, она отдала ему картон, пустой белый лист... в нижнем правом углу он увидел наспех нацарапанную строчку, стих из баллады о Фрэнки и Джонни... любящие, видит бог, знали толк в любви: «Sworn to be true to each other, just as the stars above...»<sup>1</sup> Она наклонилась над спинкой кресла, и ее грудь в матросской тельняшке коснулась плеча Джанго. Он вздрогнул. Она подняла глаза и встретила взгляд брата, его лицо внезапно оцепенело от нервного напряжения, и он сказал:

— Сейчас же ступай спать, Фрацц! — Голос его дрожал от смущения и ревности.

— Я тебя провожу, — сказал Джанго, холодно и вызывающе взглянув на своего друга.

Позже Вильгельм зашел в комнату сестры. В углу

---

<sup>1</sup> И поклялись быть верными друг другу, как звезды там, вверху (англ.).

красовались фотографии Жерара Филиппа и Питера ван Эйка. Повсюду валялись книги, из которых торчали обрывки газет, карандаши и шпильки, — Франциска читала беспорядочно, то из одной, то из другой книги, — а стены были увешаны картинками, которые Вильгельм — до чего ж это противно! — находил скучными, хотя и достойными преклонения: Сикстинская мадонна, Дама с горностаем, Тицианова рыжеволосая «La Bella», Мона Лиза — ее сытая улыбка раздражала Вильгельма — и мадонна Фра Филиппо Липпи на византийском золотом фоне. Комната ужасов, говорил Вильгельм, несправедливый церкви и музею.

Франциска лежала на кровати, все еще в кирпично-красной юбке и полосатой тельняшке.

— Ну? — сказал Вильгельм.

Она села. Сквозь толстую материю он мог бы пересчитать все ребра, все мускулы ее спины. Вильгельм прислонился к двери, скрестил ноги и закурил. Его сестра холодно произнесла:

— Можешь передать своему другу, что ему незачем больше сюда ходить.

Вильгельм выпустил дым в ее сторону и радостно спросил:

— Чем ты недовольна?

— Он меня лапал.

Вильгельм засмеялся.

— Ты его здорово распаяла, малышка.

— О, я же не парочко, — быстро возразила она, и вправду, она вовсе не парочко наклонилась над плечом Джанго, во всяком случае она не имела в виду ничего, кроме того, что хотела ему сказать строчкой из той песни, а ее романтическое обещание быть «верной, как звезды там, вверху», было так же благоправно и так же ни к чему не обязывало, как и вся ее школьная любовь, от грубости физического прикосновения спасающаяся бегством к выскомерной чистоте. Но в то же мгновение взгляд ее упал на напряженное лицо Вильгельма, она ощутила всю соблазнительность своего тела и на секунду ошляпела от сознания своей власти...

— Я не парочко, — повторила она слабо, и на лице ее отразился неподдельный ужас, словно она опять стряхивала с себя назойливую руку.

— Так как твоя добрая мать ничего тебе не говорит... Я имею в виду не твой вкус и не костюм, который навер-

няка имел бы громадный успех на острове Бали... Ты уже не ребенок, Франц, и не пошлешь же ты нашего бедного друга ко всем чертям только потому, что он увидел в тебе что-то, кроме возвышенной души... Ты ведь под платьем совсем голая, и видно все... все,— сказал он, повывсив голос.— Ручаюсь, что ты не носишь лифчика.

Она опустила голову, пряча высокомерную улыбку.

— Но я же могу себе это позволить, правда?

— О, что касается этого...— пробормотал Вильгельм, встревоженный ее прямоотой, и спросил себя, слишком певишной или слишком продувной была его младшая сестра.

Она опять откинулась на подушки и вздохнула:

— Так начинается падение... пояс, лифчик и все это оборудование... Вильгельм, ты даже не представляешь себе, как я это ненавижу. Скоро мне понадобится корсет, и накладные волосы, и вставная челюсть, и, наконец, резиновые чулки от расширения вен... Женщина за сорок — существо среднего рода. Почему мы должны стареть, Вильгельм? У меня уже морщинки в углах глаз, видишь?

— У тебя кожа как шоколад со сливками, и ты здорово красивая для того, кто что-то смыслит в шоколаде со сливками.— Он подошел к окну и выбросил сигарету. Перегруппившись через подоконник, подставил лицо тихому влажному ветру, пахнущему прелью, увядшими астрами и перезрелыми грушами, которые мягко шмякались в траву. Согнув руку, Франциска влюбленно водила пальцем по голубым ручейкам вен, проступавших под смуглой кожей на сгибе локтя.

— А раньше мне хотелось стать мальчишкой,— изумленно проговорила она.

Вильгельм обернулся.

— Это ты еще успеешь. Небольшая производственная авария в гормональном хозяйстве...— Он подсел к ней и решительно произнес: — Послушай, Франц, все это не так уж важно...

В плоской глубине его глаз она различила тень прежней тоски и, обвив руками шею брата, притянула его голову к себе.

— Ты знаешь, что ты фантастический урод? — Она с улыбкой смотрела ему в глаза.— Ты никогда мне не рассказывал, кто тебе разбил нос.

— Я его простил,— ответил Вильгельм.— Он оказался резвее меня.

Его лицо просветлело, и Франциска, хитро вызвавшая приятное ему воспоминание, сказала:

— Странная у тебя манера спорить.

— Небольшое расхождение во взглядах с медиками.

Ночью она постучала в дверь Вильгельма, не услышав ответа, проскользнула в комнату и пошла на красную светящуюся точку — горящую сигарету.

— Вильгельм, — прошептала она, — Вильгельм, ты же не спишь.

Его голова на подушке шевельнулась. Франциска присела на край кровати, высоко подтянув колени.

— Что ты мне хотел сказать, Вильгельм? Что важно?

Но момент откровенности был упущен, он устал от самобичевания и ответил ей:

— И то и другое. Например... то, что ты можешь по вечерам смотреться в зеркало и тебе не хочется плюнуть в свое отражение...

Он затянулся сигаретой, и Франциска увидела его лицо, перебитый нос, тяжелые, всегда красноватые веки, прямые брови, сходящиеся над переносицей и придававшие его лицу болезненно напряженное выражение.

— Иногда ты похож на одинокую старую гориллу... У тебя много было девушек?

Он открыл глаза. Ее белая ночная рубашка мерцала в полутьме, смешно и трогательно выглядела она в этой детской рубашонке, застывшими складками спадавшей до щиколоток, с рюшкой вокруг шеи.

— Много — понятие относительное, — отвечал он уклончиво.

— Может быть, три?

Он рассмеялся.

— Ну... да.

— А может, шесть?

— Оставь, Франц!

Немного погодя она снова начала:

— Знаешь, что очень странно?

Вильгельм подвинулся, она сунула ноги под его одеяло, и он тщательно их укутал. От удовольствия она даже вздохнула. Вильгельм терпеливо спросил:

— Что же, скажи на милость, ты находишь таким странным?

— Что у нас одинаковый череп. — Она улеглась поперек его груди, уткнулась локтем в шею и с любопытством разглядывала его лицо, челюсти, высокие скулы и глаза.

цы.— До чего ж у тебя потешная голова, паверно, ты будешь похож на того несчастного неандертальца, которого мы недавно навещали в музее... Помнишь, как я боялась «господина Лемана», того, что стоял у Петерсона в библиотеке? Ты называл его «Йорик»...— Она тихонько рассмеялась.— А помнишь, как ты его нарядил, чтоб он хоть чуть-чуть по-людски выглядел? — Она прислонилась к его согнутым коленям.— Сегодня вечером,— задумчиво продолжала она,— в темноте я ощупывала свое лицо и все узнавала вновь, ну, ты сам знаешь... и вдруг мне стало так жутко, как будто кто-то заглянул через мое плечо... нет, даже не заглянул, он просто был рядом со мной, он был еще ближе, так близко, что мне казалось, он дышит моим ртом...

— О ком ты говоришь? — сердито воскликнул Вильгельм.

— Зажги свет, Вильгельм!

Он нажал кнопку на раме кровати, и механизм включил софит над изголовьем, лампочку в книжном шкафу и радио. Франциска смотрела на него широко раскрытыми глазами.

— Ах, Вильгельм, почему мы должны умереть?

Диктор Би-би-си из Лондона пожелал своим слушателям спокойной ночи.

— Смирно,— скомандовал Вильгельм, когда раздался британский национальный гимн. Он крутил ручку приемника в поисках музыки.— Ты невозможная особа. Принимаешь почных визитеров, господина Лемана, или Йорика, или как его еще там зовут, вместо того чтобы подумать, как тебе следует жить.

— Но я ведь это и так знаю,— поспешно отвечала она с той самоуверенностью, которая очень забавляла Вильгельма и в то же время будила в нем зависть.

Внезапно он вспомнил, как однажды июльским утром, стоя у окна, провожал ее взглядом: небо было еще бледным, холодным и напоминало свежий вкус желтосливника и снежную кашу чистой, расстеленной на лугу простыни и еще что-то такое, что он знал только по книгам и называл «деревенским утром», а его сестра в белых полотняных брюках и белой рубашке лавишуск показалась ему такой же холодной, чистой, беспечной, как это утро. Весь ее дорожный багаж состоял из висевшей на плече пляжной сумки, которая при каждом шаге била ее по ноге; Франциска шла быстро и несловко, ее деревянные санда-

ли стучали по мостовой тихой улицы, где на влажных кустах сирени блестели первые лучи солнца, а в конце улицы прыгали и махали руками одетые в белое фигурки... Сегодня, задним числом, Вильгельм усмотрел в своих тогдашних ощущениях горькое желание быть с ними, быть одной из этих белых фигурок, быть семнадцатилетним, без всяких страхов плыть на моторке старшего брата вниз по Эльбе, посылаться по озерам между тихими лесистыми берегами. Когда я был в ее возрасте... Он мысленно употребил эту формулу, всегда раздражавшую его в устах старших. Почему-то больше всего взволновал его быстрый деревянный стук сандалий: грубые деревянные подошвы, которые в его время носили все — атрибут всеобщей одинаковой нищеты, — стали нынче модным предметом с кокетливыми ремешками или узлом между пальцев.

— Счастливая юность! — воскликнул он, раздражаясь сердитым смехом. — Ваша несложность вызывает зависть, у вас уже в школьном портфеле лежит план целой жизни, вы доверчивы и ненасытны — гоп-ля, мы живем!

— Ну, не совсем так, — сказала Франциска. — Только не говори со мной как ветеран и не кури так много. — Она задула спичку, которую он поднес к новой сигарете. — Ты всего на восемь лет старше меня.

— Это целая вечность, дитя мое, почти что время от русской революции до «окончательной победы» Колченогого... У нас аллергия к известным вещам... Когда ты впервые появилась в романтической синей блузе — твой исключительный такт заставил тебя выйти в этом costume к обеду, на глазах твоей милой мамы, — я бы с удовольствием тебя отколошматил. Погоня... Я не в состоянии больше видеть никакой формы... — Немного погодя он продолжил уже спокойнее: — Чтобы ты ясно себе представляла... Я хочу тебе сказать... почему я убеждал твою милую маму, что ты выйдешь из лодки своих друзей такой же невинной девицей, какой села в нее десять дней назад... Потому что вы чертовски порядочные и наивные, и еще потому, что у вас много времени, слышишь? У вас есть время, и вы это сами знаете, время для любви и для школы и... для всего. — Он все-таки закурил, и Франциска увидела, что у него дрожат руки. — Когда я был в твоём благословенном возрасте, — начал он, загнувшись и парочито грубо свернул разговор, — мы потребляли девиц из Союза немецких девушек, которым было уже не до того. Они истерически боялись русских, а моя первая любовь

была певинна, как старый фельдфебель санитарной службы.

— Почему ты меня в этом упрекаешь?

— Ни в чем я тебя не упрекаю, дурища.— Он торопливо курил, держа сигарету, как солдат или лесоруб, большим и указательным пальцами, тлеющим концом внутрь. Ему хотелось теперь побыть одному, и он громко зевнул: — Женщина, довольно! Если ты мне задашь еще хоть один из твоих idiotских вопросов, я тебя убью.

— Только один, последний,— сказала Франциска.— Что вы сделали с Джанго?

— Мы? — закричал Вильгельм.— При чем здесь мы? — Хотя он ждал этого вопроса, ее тон задел его, и больно задел.— Я ничего не могу изменить,— отвечал он.— Его предостерегали, и беседовали с ним, и статья была в стенной газете, где ему и его джазистам приписывались чуть ли не грубые политические ошибки, начиная с преклонения перед западным образом жизни и кончая идеологической бесхребетностью. Мы не приняли это всерьез, во всяком случае не очень всерьез... Неделю назад в студенческой столовой должен был состояться вечер джаза, его запретили, разразился скандал, барабанщика посадили под домашний арест. Вчера они вызвали Джанго. Он знал уже все вариации на тему: нам-незачем-плясать-под-западную-дудку, ему было скучно, и, насколько я его знаю, он скучал так явственно, что в протокол, несомненно, будет занесено его провокационное поведение. Он музыкант... он абсолютно не понимает, за что он должен нести ответственность... или поймет это, лишь когда они начнут клеить ему космополитизм и зазнайство. Наконец один из них упомянул о музыке негров, совсем зеленый, непосредственный такой парнишка из студенческого деканата, который ничего при этом не думал... Джанго клялся, что слышал «музыка ниггеров», он совсем потерял голову и крикнул: «Неужто мы опять до этого докатились?»

Франциска скрестила руки на его коленях и уткнулась в них подбородком. Вильгельм представил себе, как она, вот так же полуоткрыв рот, делает уроки за своим столом, и пожалел, что вовремя не отослал ее, как тогда, в саду, когда он исключил сестру из круга взрослых вместе с ее детской математикой, все делившей на справедливость и несправедливость, на добро и зло.

Франциска молчала и не шевелилась, а Вильгельм видел под лохматой шевелюрой только кусочек ее щеки и

желто-коричневый крапчатый глаз, который, темного кося, пристально глядел на него.

— Я тебя умоляю, избавь меня от комментариев,— сказал он,— конечно, наш друг многого не приемлет... Будь добра, не играй у меня на нервах, ладно? Иногда ты ведешь себя как полоумная. Я... я всегда забочусь об объективности... Пытаюсь поставить себя на место тех людей, которые верят или говорят, что верят, будто Чарли Паркер — агент мирового империализма...

— Заткнись ты ради бога,— сказала Франциска: Высвободив ноги из-под одеяла, она поднялась. Со смущенной улыбкой он протянул руку и схватил ее за волосы.

— Что он будет делать?

— Кто? Джанго?.. Завтра попросит исключить его из списка студентов. Не станет дожидаться нашего решения.

— Тебе повезло,— холодно сказала Франциска...

В этот момент я презирала его, лицемера и труса, не пожелавшего вступить за друга. Я бы предпочла благородную смерть... В семнадцать лет ты строгий судья, приговоры твои суровы и зиждутся на незыблемых принципах; сама еще не сдавшая экзамена, я экзаменовала брата... Я гордилась своим чувством справедливости и чуть не допалась от высокомерия: я никогда не лгала, а значит, и никто другой не смел унизиться до лжи, я ни на кого не доносила и, с тех пор как у нас в школе стал проводиться «час критики и самокритики», с рвением флагелланта камнями на камне не оставляла от своей совести. Ах, что это была за справедливость, три этажа над истиной, напрасная и нетерпимая, с моральными мерками вымышленного мира, страны солнца...

Вильгельм сказал поспешно:

— Он поедет в деревню, отбудет год и вернется, чтобы учиться дальше...

— Но я ведь тогда уже кончу школу... — пробормотала она.

Вильгельм прижал к своему плечу ее мокрое лицо.

— Ну-ну,— шептал он,— подумай, год! И год пролетит быстро, вы сможете переписываться, он же не умер...

Джанго уехал из города. Он работал на МТС в Тюригги, по субботним вечерам играл на танцах в Доме культуры и, казалось, был доволен. В первые месяцы они писали друг другу длинные, бесконечные письма, по общему воспоминанию иссякли, письма становились скупер и вежливей, а весной — Франциска готовилась к выпускным эк-

заменам, а Джанго работал на тракторе в дневную и почную смену — переписка их прекратилась.

Во время пасхальных каникул Вильгельм взял сестру с собой на регату... но тут начинается новая глава, а мы не хотим так просто отпустить Вильгельма из старой — равнодушным, достойным презрения не меньше, чем Зальфельд, который коротко и ясно говорит «нет», когда Вильгельм еще изворачивается по мере сил, уславливается со своим другом о компромиссах, а на следующий день, наверно, опять швыряет стаканы в степу... Слово «компромисс» было для меня почти ругательством, покуда я ничего не смыслила в том, что возможно, а что невозможно. Ну, а ему что же еще оставалось?

Только позднее, в университете, сама сотни раз задевая за живое, униженная, я поняла, почему он не верил себе, почему чувствовал себя виноватым: так мы расплачивались за грехи отцов. Он должен был сомневаться в себе самом, если не хотел брать под сомнение общество в целом. Он пытался подчиниться установленному порядку — я говорю «подчиниться», а не «приспособиться», как зверь, что приспособливается к лесу, например хитро меняя защитную окраску, — не только во имя мира и спокойствия. Он старался, я тебя уверяю, по что он мог поделаться с классовым инстинктом? Он читал «Капитал», потому что это был труд ученого, который основал, доказал, сделал логические выводы. Социализм был для него такой же точной наукой, как и физика, а потому догматы веры и не поддающиеся определению чувства ничего общего с наукой не имели... Итак, если ты хочешь знать мое мнение: у бедного Рыжика было слишком мало фантазии, он не видел, что тут есть пемножка и фейерверка, и шаманства, ибо человеку не обойтись без Веры, Надежды, Любви, а самым точным исследованиям — без спекуляций и безумных идей. Каждая формула восходит к мечте.

Но это уже другая проблема... Мы оба восстали против нашего старого мира, а новый не принимал нас или принимал с оговорками. Что это было за время, Бей, мы были как одержимые, исполненные решимости, нетерпимые до жестокости, мы отрицали самих себя, слепые, глухие, мы на все говорили: да, да, да!.. Как мне это объяснить тебе, Бей из Берлипа-Кройцберга, флигель, комната и кухня? В восемь лет ты продавал газеты под мостом городской железной дороги, и твоей наивысшей честолюбивой мечтой была средняя школа, потом, может быть, место масте-

ра на заводе, а может, служащего, во всяком случае что-то лучшее, чем у отца, и оклад вместо недельной зарплаты... Вильгельм в твоём возрасте видел перед собой начертанный семейный путь: гимназия, путешествия с целью образования, конечно Греция и Италия, затем, согласно склонностям, медицина, или юриспруденция, или искусствоведение. Я — лицей, уроки музыки, несколько семестров в каком-нибудь учебном заведении, откуда не явится мужчина с розами и в шапокляке, который сможет в дальнейшем возглавить издательство.

Мы отреклись не только от устаревших, ставших сомнительными условий жизни, но и от их идеалов, от их позиций, ты понимаешь меня... Или мы хотели своим пылом убедить других?.. Но это всего лишь полуправда. Мы были ренегатами... Знаешь, что я сегодня думаю об этом? В то время мы должны были для самих себя подыскивать подтверждения того, что сделали правильный выбор, что перешли в лучший из всех миров — он должен был быть совершенным, ведь мы не смели заблуждаться.

Мы были «прочими»... Сдавая экзамены на аттестат зрелости, мы заполняли анкеты. Для графы «классовая принадлежность» имелось три буквы: Р, К и П — рабочие, крестьяне и прочие. Видишь, я и по сей день помню о таких пустяках, проклятая буква «п» больно задела меня. У кальвинистов, кажется, есть понятие «предестинация», предопределение, то есть ты можешь биться как угодно, хоть на голове стоять, избран ты или не избран, высшая власть давно за тебя решила, раньше, чем ты издал свой первый крик, — небо или преисподняя. Точно так же мы чувствовали себя — если уж буржуа, то на веки вечные. Я не могу тебе передать, как мы от этого страдали...

Ах нет, не происходило ничего потрясающего, у меня не было оснований встать и крикнуть: смотрите, над нами совершено преступление! Подозрения, булавочные уколы, идиотская мелочная возня из-за книг (потому что у нас, конечно же, были декадентские вкусы), из-за микропористой подошвы на туфлях Вильгельма (потому что он, конечно же, не чуждался западной моды), наши заботы — интеллектуальные бо-бо... Господи, зачем повторять всю эту чушь? Старые истории, которые никому неохота слушать. Мы от этого не умерли. Мы научились держать язык за зубами, не задавать бестактных вопросов, не нападать на влиятельных людей, мы — немножко недовольные, немножко нечестные, немножко искалеченные, а в

остальном все в порядке. Вильгельм защитил докторскую, его посылают за границу, он получает машину из специального резерва, у него четырехкомнатная квартира, которая целый год пустует, пока он работает в Дубне, а его жена покупает в «эксquisite» модные платья.

Пора уже наконец продолжить наш рассказ. На пасхальные каникулы Вильгельм взял сестру с собой на регату. Франциска стояла на причале, когда его команда тащила каноэ из сарая, и он с неудовольствием заметил, как она долгим бесстыдным взглядом смотрела на одного из парней. Она толкнула брата и, смеясь, прошептала:

— Жан Маре в двадцать лет.

Вечером они встретились в пивной палатке.

— Я знаю тебя по фотографии,— сказал Вольфганг,— только я думал, что ты подруга Вильгельма.

— А у вас есть сестра? — спросила Франциска.

— Еще бы. Целых три,— отвечал он просто. Он смотрел на нее.— Но не такие, чтобы ими хвалиться.

Лысый человек в синем тренировочном костюме позвал Вильгельма к стойке.

— Смотри за ней в оба,— сказал он.— Вольфганг не упустит случая подтвердить свою репутацию неотразимого мужчины.— Он широко улыбнулся, но за спиной Франциски бросил на красивого юношу холодный взгляд.

Нахлынувшая в палатку волна людей, смеющихся, возбужденных, распаренных, оттеснила их от Вильгельма и отбросила к колеблющейся брезентовой стене. Франциска вдыхала сильный здоровый запах солнца и пота и еще какой-то другой, острый запах, шедший от его одежды, от его кожи (господи, как я потом возненавидела этот рыбацкий запах!), и вдруг в шумной, душной от кружащегося в воздухе песка пивной палатке в памяти ее всплыл ветреный день у моря, белые и розовые ракушки, влажная пена на пляже и пучки гниющих водорослей, которые ночью выбросил на берег шторм. Оставшись наедине с ним, она сгорала от смущения. Когда молодой человек через головы стоящих вокруг увидел, что Вильгельм пытается пробиться к ним, он быстро сказал:

— Мы могли бы сходить в кино... Если вы, конечно, решитесь пройти по улице с простым рабочим.

(Потом я без конца слышала эти слова... я, как простой рабочий... то с упреком, то с извещением... но всегда — на сынок судьбы, происхождение — своего рода гандикап. Как он надоедал мне со своим ленивым фатализмом! Па-

битый дурак! Должно быть, я сошла с ума. Но он и вправду был красив до сумасшествия... Помнишь лицо юного Давида в пастушьей шляпе с венком? Эта единая прямая линия лба и носа, короткие пухлые губы и зелень глаз... самые зеленые глаза, какие я когда-либо видела, о его фигуре мистера Универсума я даже говорить не хочу. Классическая статуя. Он был бы совершенством, если б господь лишил его дара речи...)

Отправляясь в кино среди недели, Вольфганг надел выходной костюм и галстук, душивший его сильную загорелую шею. Испуганный и обиженный, бродил он вдоль горделивой садовой решетки. Наконец Франциска кивнула ему из окна, полчаса простояла она за гардиной, заставляя его дожидаться... ее уже уязвлял этот новый опыт, она уже мстила за новые ожидания, неизвестность и даже страх. Ну вот он пришел, теперь всего лишь какой-то красивый парень, чья решительность льстила ей. Сперва она думала: пусть подождет пять минут, потом еще пять, и еще, и наконец на улице она не устояла не перед его улыбкой (вернее, только подобием улыбки, ибо этот невозмутимый герой дансингов неестественно вытягивал шею, покачивал плечами и шел на негнущихся ногах), а перед жалким видом его костюма, вонявшего пятновыводителем и тесного в груди и в плечах. Это уже не был юный рыбак, пахнувший рекой и дикими травами, как вчера в брезентовой палатке. Он выглядел совсем не авантажно. Из-за меня, подумала она. Сам того не сознавая, он сделал самый ловкий ход, чтобы завоевать сестру щеголя Вильгельма: растроганная, она торжествовала.

Любовная история, все как по нотам. Банальная история Паоло и Франчески, Гапса и Гретель, Джека и Пегги. Ты меня любишь? Я люблю тебя. Ты всегда будешь любить меня? Вечно. *Вечно*. На краю света стоит гора, вершина ее в заоблачной выси, и каждые сто лет прилетает крохотная птичка, чтобы крохотным клювиком клюнуть гору, и, когда гора будет склевана, это значит, что истекла первая секунда вечности... Они были первой любовной парой на земле, серьезные и усердные дети, они открывали, что трава — зеленая, небо — синее, что звезды... Сегодня ночью, когда небо станет темно-темно-синим, мы встретимся... Рука об руку, кино, мороженое, ярмарка, чертово колесо, притворный страх в шаткой гоцдоле, ярко освещенная каморка, где Вольфганг стрелял в плюшевых медведей и в красные бумажные розы, поцелуи в подво-

ротнях, вопяющих мусором и рубероидом, поцелуй на улице, в коротком тоннеле темноты между двумя фонарями, поцелуй в высокой траве прибрежных лугов, его рука на ее груди, сжатые колени, ты не покинешь меня, я обещаю тебе, никогда, и долгое прощание перед садовой калиткой. А за жалюзи караулила фрау Линкерханд.

Франциска обязана была являться домой ровно в девять, за несколько минут опоздания на нее сыпались оплеухи, ей учинился допрос, где ты шляешься, погоди, ты еще кончишь на панели, попомни мои слова... или жалостные сцены, материнские слезы: ведь мы же хотим тебе только добра, а ты не слушаешься... тары-бары, пять иголок, у старухи язык долог... каждый вечер, каждый вечер, она кого угодно доконает, подавит любой мятеж, заговорит насмерть, умучает. Линкерханд корпел над своими книгами, тихий и чужой, сквозь лупу его глаз казался расширенным, как у совы. Фрау Линкерханд, занудливая, точно затяжной дождь: «Одно я тебе скажу, пока ты живешь в родительском доме...» Пока. Если. Я сбегу, кричала Франциска, я покопчу с собой, это же невыносимо... Она лежит, холодная, белая лилия Франциска на белой подушке, с благочестиво сложенными руками, на груди — цветы, Линкерханд в сюртуке, фрау Линкерханд под черной вуалью, они склоняются над гробом и каются и плачут, а громче всех рыдает Франциска, она, так рано от нас ушедшая, ей было больно, но она их простила... Линкерханд с головой альбиноса вынырнул из Эгейского моря и растерянно щурился: как может быть, дочка, мир на земле, если в одной маленькой семье нет согласия?

Кто знает, возможно, если бы не ее неопытность, она стала бы для молодого человека просто очередным приключением. Она была еще невинна — на него это произвело впечатление. Он учился чувствам нежным и церемонным, прежде казавшимся ему глупыми и немужественными. Разве раньше пошел бы он по улице с букетом цветов, стал бы читать книгу только потому, что она поправилась девушке, вспомнил бы стихи, с ненавистью заученные в школе? Разве мешал бы ему заснуть недружелюбный взгляд, мрачное настроение? Он считал ее загадочной — впервые в жизни он думал о девушке.

Из боязни показаться смешным он сделался раздражительным, сторонился друзей, «мировых ребят», и был способен по три дня не видеть Франциску. Она усмехалась, когда он нутал «мне» и «меня», морщила нос, когда

употреблял какое-нибудь грубое выражение, она смеялась над ним, а его все больше влекло к ней... Я тебе еще покажу, тебе и твоей изысканной компании... Его убогой фантазии хватало на одиночество, лесные чащобы, паслине (впрочем, девушки любят чуточку насилия), а на самом деле он был благодушным и до такой степени добродетельным, что деловитость подруги пугала его.

Франциска читала специальные книги доктора Петерсона, точно знала латинские названия человеческих органов, все стадии беременности и презирала поэтические описания неаппетитного биологического акта между мужчиной и женщиной. Она знала все, но была паявна. Вильгельм, желавший оградить сестру от разочарований, явно пересолил, сказав:

— Все мужчины хотят одного. Переспать или не переспать, вот в чем вопрос. Они говорят о твоей душе, а думают о грудях. И не попадись на удочку болтовни о последнем и главном доказательстве, о вершине любви... Настоящая любовь... — Он запутался, растекся в словах.

Фрау Линкерханд, стыдливая, но упрямая, довершила это воспитание, внушив Франциске пуританский страх перед грехопадением. Теперь ей исполнилось восемнадцать, она была капризна и черства, смеялась без причины и плакала без причины... говорила Важная Старая Дама, которая по-прежнему пила сливовицу, то с одобрения викарария, то без оногo, по-прежнему пряткая сообщница, серо-шелковая, она совала Франциске деньги и сигареты и весело и уверенно пыталась вносить в обычные вечерние сцены толику разума. У Франциски было два месяца каникул до начала первого семестра, она скучала и слишком много размышляла о своем романе. Фрау Линкерханд, обшарив все ее ящики в поисках писем и предательских дневниковых записей, жаловалась Вильгельму:

— Очень уж она стала хитра, все скрывает, у нее нет ни капли доверия к родителям.

Вильгельм пожал плечами, какой смысл спорить, у матери уже глубокие морщины и толстая, с намечающимся зобом шея истеричной женщины. Вечером за столом, увидев сестру, бледную от возмущения, он подумал: ее хоть со всех сторон огороди запретами, она удочит минутку и перепрыгнет через ограду.

Однажды августовской ночью они купались в реке. Ночь темная и вялая после дневной жары, луна за ветвями ольхи, кваканье лягушек в камышах... Медная луна,

сводница-луна... и меланхолическое квакашье, как по заказу, отвратительная, шумная лягушачья чернь... А про мост я тебе еще не рассказывала? В сорок пятом его разбомбили — руины, над которыми катгла свои воды пылающая река, унося обломки и останки машин, лошадей, беженцев, крейсleitера, чемоданы, перины... теперь это опять мост с высокими пролетами, с бетонными опорами, которые омывают мирные волны, с надежными чугунными перилами на высоте десяти метров над водой или двенадцати, во всяком случае слишком высоко, чтобы у меня хватило смелости прыгнуть вниз... один шаг... и ты падаешь, как на туго натянутый брезент. Но Вольфганг... Она уже сидела на берегу, завернувшись в купальный халат, и видела... красные пролеты, суриковые... спустя семь лет стояла она там в последний раз, октябрь, ветер, у реки уже холодно, со мной был профессор, я видела его руку на перилах, маленькую белую жирную руку, она дрожала... но это ничего не значило, он был до ужаса нервный и, насколько я его знаю, всегда находился на грани крупления, апоплексии, катастрофы, и всегда неваляшка, мы оба неваляшки, говорил он, у нас, как у кошек, семь жизней. Ранний вечер, в парке еще достаточно светло, виден маленький дворец и высотный дом, который мы вместе строили, а ты знаешь, что это такое — здороваться со своим домом? Я тогда вышла из города... и увидела темное блестящее тело ее друга, прыгающего с моста.

Он вскарабкался на высокий берег и стряхнул капли воды с рук и с груди красивым размеренным движением, запечатлевшимся в памяти Франциски, потом подошел к ней. Стянул с ее плеч купальный халат. Она спускала все молча, с любопытством, исполненная ужаса перед собственным телом, послушным чужому влажному рту, и ей казалось, оно меняется под чужими руками, становится больше и податливее.

На пути домой Франциска дрожала в ожидании мига, когда обнаружит, что на лбу ее запечатлен Знак. Она терла ничуть не изменившееся лицо и не чувствовала ничего, кроме облегчения, как будто решила задачу и наконец осталось позади что-то угрожающее, чего все равно не избежать. Она думала: и об этом пишут стихи, господи ты боже мой, об этом поют песни... Фрау Линкерханд вошла в ванную комнату, увидела дочь, стоящую перед зеркалом, увидела ее испытующий взгляд, вспыхнувшее лицо, отвернулась, выбежала в слезах обиженой святоши.

— С этим плебеем! — кричала она.

Франциску подвергли домашнему аресту. Вильгельм должен был каждый день заезжать за ней в университет. Он являлся на своем трескучем «дикси», как телохранитель, отдавал ей честь, стараясь развеселить сестру, и доставлял записочки. Его забавляли недостойные психологические маневры семьи, а на самом деле Франциска использовала время, проведенное взаперти, когда она даже ела одна в своей комнате, и не видела никого, кроме надзирателя Вильгельма, вовсе не для самоанализа и покаяния — двух недель разлуки оказалось довольно, чтобы новым светом озарилось столь разочаровавшее ее событие. Я могла бы быть независимой, сказала она себе, снять комнату и жить на стипендию. Вильгельм добродушно посмеивался над ее планами.

— Бедная малышка, к сожалению, ты не умеешь считать. Несчастливая и рыдающая, вернешься ты в лоно семьи. А Вольфганг? Ему девятнадцать лет, он только еще хочет быть мужчиной. По мне, так можешь с ним спать, сколько угодно... Эй, не выцарапай мне глаза! Для меня нет ничего святого, да, я циник, ну и прекрасно... Как говорится, брак — это не только живот на живот... — Он перекрикивал ее: — Дурища, через три года он будет тебя лупить!

Отцу он сказал:

— Она весьма романтическая особа, теперь страдает из-за любви и читает «Ромео и Джульетту», впрочем в оригинале, она ведь честолюбива, а если вы еще месяц придержите ее в одиночке, мы потеряем самого сильного гребца в команде, потому что она женит его на себе.

Ей разрешили выйти из дому, и она полетела в объятия возлюбленного.

Однажды вечером Вильгельм вернулся домой с опаленными кровью глазами, и она услышала о том, что ребята из спортклуба устроили пирушку в честь своего товарища Экса, в честь его победы, двойного триумфа: девушка оказалась девушкой, да еще студенткой. Вильгельм избил соблазителя своей сестры... хотя...

— ...хотя, — сказал он, — он выдал тебя только своей идиотски блаженной рожей...

Она заплакала, а у него не достало решимости сказать ей, что она была объектом пари, которое Вольфганг заключил с «мировыми ребятами», пари почти забытого, но наконец выигранного.

Нет, Бен, я ничего заранее не обдумывала, не строила никаких планов, и ты простишь меня, правда, за то, что я уехала, даже не сказав тебе «до свидания». Вдруг, среди ночи, встала, сунула в портфель какие-то вещи и оставила первый же грузовик. К утру мы добрались до автострады, съели в придорожной пивной ужасающий завтрак — фарш «тартар» с булочками прошлогодней выпечки и выпили чуть теплый кофе. С нами за столиком сидел молодой шофер, очень красивый брюнет, но горбатый, одно плечо выше другого, несправедливость таких злых изъянов меня убивает, ведь всегда находятся люди, которые считают горбунов коварными, а рыжеволосых — лживыми.

Мой шофер был славный малый, не первой молодости, он сидел в тюрьме, и жена его бросила. Когда он вернулся домой, в квартире не было ничего: ни кровати, ни тарелки, даже радио она ему не оставила, ничего, кроме голых стен, — а ведь все это приобретал он, сказал шофер. Ночью в дороге люди так просто исноведуются друг другу... Желая его утешить, я сказала, что меня тоже бросил муж с двумя малыми детьми, и мы оба были растроганы и понимали друг друга, как в приемной врача понимают друг друга люди, больные одной и той же болезнью.

Я должна была наконец снова увидеть город, хоть какой-нибудь, думала я, пройти по каким-нибудь улицам, просто так побродить, услышать звон колоколов, возвещающих о крестинах, грохот трамвая и музыкальных автоматов в кафе на углу, шорох шин по асфальту, не вызывающий никаких воспоминаний о неске, об умирающих соснах, грубом унынии барачной улицы и о жилых вагончиках дорожных рабочих.

Но когда с автострады я вновь увидела холмы и хуторские домики под серыми дранковыми крышами, буковый лес, красную и зеленую листву в садах, ухмыляющегося жирафа из папье-маше, желтый дорожный указатель и, наконец, еще этот, сине-белый, за тысячу метров от съезда с автострады, от посыпанной щебенкой дороги, спускающейся в долину между рядами густо посаженных серебристо-зеленых тополей, мне почудилось, что мой город раскрывает мне объятия, и тут я призналась себе, что всю дорогу только о нем и думала, о его дождливом небе, о его старомодном обаянии (ибо в нем, несмотря на новый сити, сохранилась атмосфера резиденции), о парках с аллеями толстенных деревьев, под которыми ты сидишь в прохладном зеленом свете, о каштанах на дворе, об арках ворот, увешанных лилиями из песчаника, о нарядном театрике, где ниши населены ангелочками и обнаженными полубогами... здесь я впервые слышала оперу «Гензель и Гретель», прожектора освещали четырнадцать ангелов, красных, желтых, зеленых и фиолетовых, на меня это произвело тогда неизгладимое впечатление... Думала о дворце Н., о колоннах, ничего более не подпирающих, о сломанных ребрах купола, ничего более не покрывающего, кроме травы, птичьих криков и закопченных камней... а Ника все еще парит, стоя на кончиках пальцев, как балерина, бестелесная, с распростертыми крыльями.

В полдень я сидела возле дворца, совсем одна, и мне захотелось, Бен, чтобы ты был со мной, хотя я, сама не знаю почему, удрала и от тебя... Кругом тишина, только фонтан журчит, где-то высоко-высоко вода сливается с водоходом, и струя, кажущаяся твердой и плотной, как стекло, разделяется и дугами падает в первую чашу, потом во вторую, третью и дальше в выщербленные руки и пасти жаждущих тритонов, а когда дует ветер, кругом вздымается водяная пыль... посыпанные гравием дорожки, лестница, господи, что это за лестница! По пей не поднимаются, а восходят, ты, верно, понимаешь, что я имею в виду.

Вдруг туча синегрудых голубей взмыла над флигелем для придворных, над треугольным щипцом и колоннами из белого пористого камня, а я была счастлива, Бен, счастлива и печальна одновременно, как бывает при звуках музыки, нет, на сей раз не блюз, никого в черном, никакого джина, никакого trouble in mind<sup>1</sup>, скорее аркадский

<sup>1</sup> Смятение духа (англ.).

фавн и его меланхолическая свирель в жаркий полдень, в лесу, на усеянной солнечными бликами поляне. Поставь пластинку и внемли маленькому козлоногому фавну. Приблизительно так... Якоб теперь пишет Дебюсси, переводит «Море» в цветные круги и волны, синие, серые, зеленые, очень красиво и очень непонятно, но, если он вдруг поставит пластинку, делается ясно, это именно то, что ты видишь с закрытыми глазами или чувствуешь...

Потом я пошла к собору, сыпал дождь, из пастей хи-мер и драконов на водостоках текла слюна. Если, стоя у подножия стены, взглянуть вверх, башня начинает качаться, наклоняться вперед, падать, медленное падение вопреки всем земным законам, угрожающе затянутый обвал, еще в детстве пугавший и умижавший меня, так же как мощные стены, священная полутьма церковного придела, застывшие фигуры умных и придурковатых девственниц. Сегодня все это видится мне в цовом, куда более ярком свете: эти колонны и арки возникли вовсе не в мозгах «темных людей», а своды вовсе не проповедуют бессилие перед богом... Они были великими испытателями, мои средневековые коллеги, и нечестивыми мыслителями. Красную розу на их могилу, которой никто не знает.

Итак, сентиментальное *journeу*<sup>1</sup>, назад к улицам и площадям прошлого, к руинам св. Анны, одетым в леса до самых ног черного ангела, к сводам старой ратуши, к некоторым друзьям, моему маэстро Регеру и к Якобу... Нет, между нами ничего не было тогда. Приключение — вот это слово, ведь оно означает не только случай, событие, историю, но и дело — до чего же емкое слово, — смущение, тиски... так оно все и было, фатально и сомнительно... вечер, когда кто-то сидит рядом, кто-то, уже не говорящий тебе «вы», кто-то, чья рука не живет пластмассовой руки манекена в витрине, и он спрашивает тебя из дальней дали, с расстояния трех световых лет:

— О чем ты думаешь?

Она открыла глаза, и ей навстречу опять неслись лодки, синие-черные наруса, надутые ветром, который не шелоплет ни море, ни дымно-серый воздух.

— О чем я должна думать? Ни о чем.

Он склонился над громадным граммофоном с трубой и крутил ручку. Франциска натянула одеяло до подбородка и повернулась лицом к стене, чтобы не видеть его спи-

<sup>1</sup> Путешествие (англ.).

ну, шею и буйную черную гриву. Граммофонная игла карябала пластинку, из трубы слышались пискливые звуки старой песни, «Слава, слава, аллилуйя...», и солдаты г-спода маршируют, и душа старого Джона Брауна марширует впереди, слава, слава, аллилуйя, Якоб с полуоткрытым ртом и отвисшей челюстью кивает в такт.

— Кинг Оливер,— сказал он.

— Ничего подобного,— отвечала Франциска, сердясь на это экстатическое кивание и отвисшую челюсть.— Оставайся уж при своем Ноно, джаз ты просто не умеешь слушать. Это свинг Чика Уэбба. Как будто ты видишь девушку, потом начинается драка, а потом ты опять видишь девушку.

— Это довольно точно передает мои чувства,— заметил он.

На полу стояли два стакана и полупустая бутылка красного вина. Он налил вино в стакан и подал Франциске. Она сморщила нос от запаха кислоты. Лунный свет, падавший сквозь окно без занавесок, освещал беспорядок в комнате, грубые половицы, казарменную постель, груды пустых бутылок и консервных банок в углу и заваленное эскизами старое соломенное кресло. Она вытянула руку под одеялом и сняла иголку с пластинки.

— Отвернись, я хочу одеться,— сказала она тоном, из которого Якобу уяснилось, насколько неопытна его случайная возлюбленная.

Он взглянул на нее. Она приподнялась, обвила его шею руками, а он, убежденный горьким ароматом ее духов, ее дыханием на своей коже, спросил, придет ли она еще, но она молчала, отрешенная, и он чувствовал, что не его она обнимает, а кого-то другого, что-то другое, живое обнимает она или удерживает, и сказал оскорбленно:

— Только без слез, пожалуйста.— Поднялся и через холодную комнату прошел к себе в мастерскую. Он волею чил правую ногу, перебитую осколком зенитного снаряда.

Ночью мастерская казалась высокой, как неф собора. Якоб стоял, как бы являя собой картину, знакомую Франциске по технически изощренным фотографиям: падающие линии чудовищной стальной башни, в коническом плетении которой, у самого неба, чернеющей точкой запутался человек. Скрестив руки на груди, он наблюдал, как она входит, улыбнулся, когда она целовко стукнулась о стол, на котором зашуршали тонкие листочки алюминиевой фольги и зазвезели эмалевые пластинки — в лунном

свете все это сверкало, как сокровища пиратов (считалось, что Якоб умел колдовать, ставить капканы, пристальным, коварным взглядом заставлять людей спотыкаться). Она остановилась и принялась разглядывать картон на торцовой стене мастерской, доходивший почти до потолка. Любовная пара в саду, грубо и наивно пестром.

— Ну как? — спросил Якоб.

— Монументально, но красиво, — отвечала она.

Любовники не касались друг друга, их взаимное влечение среди чувственного изобилия цветов и листвы выражалось только в мягком, плавном движении плеч и шеи.

— Подсолнухи мы выложим сусальным золотом.

— Золото, да, конечно. Держу пари, это идея Регера. Ну, я пошла. И не строй такое лицо... Что еще?.. — И добродушно добавила: — Ты ни в чем не виноват. Я не могу вылезти из собственной шкуры. Так что не стоит огорчаться.

Голос ее звучал глухо и надтреснуто. Якоб попытался представить себе, как менялся этот голос, когда Франциска лепетала что-то в объятиях мужчины (голос делался материальным, думал он, осязаемым, как грубошерстный платок, серо-коричневый: он привык голоса и ноты воспринимать в цвете, звуки флейт виделись ему белыми, глассандо — фонтаном, высоко взметнувшимся во все светлеющую небесную синеву), с ним она все время молчала, не выдала себя ни единым именем, ни единым вздохом. Немая и настороженная, она будила в нем неуверенность, а потом уж и ярость. Он был бы рад удержать ее, она задолжала ему признание и даже капельку дружелюбия, что подвигло бы его на доверительный разговор: хорошо, что ты здесь. Ты мне нравишься. Уже тогда, в июне, когда я встретил тебя в клубе... Ты была в желтом полотняном платье с бусами из черно-коричневых ракушек...

Франциска натянула перчатки. Он быстро сказал:

— После неудачи с выставкой у меня больше нет заказов. Я переводил с французского...

— У Регера нюх на добрых людей.

— Ты деловита, как скототорговец.

— А ты сентиментален, как непонятая женщина. Но то, что ты показал на выставке, и вправду не было ни умно, ни красиво.

— Наше восприятие красоты ломается, — проговорил он высокомерно. — Сезанна в свое время считали отталкивающе уродливым.

Франциска снова сняла перчатки и сказала:

— Не говори со мной как с профаном и не заговаривай мне зубы вкусами грядущего поколения, на внуков мне, знаешь ли, наплевать. И вообще, весь твой ташизм просто смешон.

Он сам объяснял ей действие хитрого механизма, разрисовывавшего белые бумажные ленты пестрыми пятнами и создававшего картины, исполненные причудливой грации, которые даже опытный глаз не отличил бы от творения человеческих рук.

— Это были опыты, — сказал он угрюмо.

— Мы с тобой вдвоем, мог бы мне подмигнуть...

— Слишком просто, слишком просто. — Хромая, он подошел к ней, в горячности своей забыв о постоянном контроле за поврежденной ногой. — Людям не всегда свойственна уверенность, да и не всегда они к ней стремятся... Можно идти по незнакомой улице, даже если в конце ее не горит фонарь. Красота... — Он подпрыгнул как ворон, вытянув вперед свою блестящую черную голову. — Все вы говорите «красиво», а имеете в виду «приятно, доступно, удобно». Я не хочу быть удобным, не хочу нравиться, а особенно тебе, с твоим пристрастием к блондинистым режуаровским толстухам с томными, коровьими глазами. Что ж, мне писать «красивые» картины, как эта премированная обезьяна Уолтерс? Четыре тысячи за сытое лицо, я просто вижу, как он своим толстым розовым языком вылизывает жизнь, долой грязь и горе, и на вечно голубое небо вешает солнце из страны улыбок...

— А как называется этот рекламный щит? — Поверх его головы она смотрела на любовную пару и фейерверк красок, цветов и звезд. — Отличная реклама, безусловно, но все же это только для заработка, если я правильно тебя поняла, спасительный заказ от нашего маэстро?

— Если уж на то пошло, реклама милой сердцу жизни.

— Ха-ха, — сказала Франциска. — А твой друг Маас трудится над плакатами противовоздушной обороны... милой сердцу жизни. Эх, вы... придворные шуты, лакеи со счетом в банке, за выгодный заказ вы готовы позабыть свои страшные сны, вы малюете мать с младенцем под атомным грибом и пишете красивым шрифтом какие-нибудь дурацкие лживые лозунги: «Граждане, у вас есть шанс... с помощью веры в победу и мокрых простыней мы выживем в следующей войне».

Якоб первно вздернул искалеченную ногу, он ждал

коварной колющей боли в щиколотке. У людей с протезами, думал он, иногда болит отрезанная нога.

— Вчера,— продолжала она,— в спортивном магазине я видела нечто вроде скафандра, элегантный, со вкусом сшитый асбестовый костюм для хорошо одетых покойников, павших жертвами облучения...

— Прекрати,— сказал Якоб,— меня уже тошнит от шуточек типа: «...идите размеренным шагом на кладбище...».

— Почему размеренным шагом?

— Чтобы не возникло паники.

— Теперь ты сам должен рассмеяться... Не исключено, что и Дамокл, привыкнув к мечу, рассказывал мрачные анекдоты... Морализующая история, очень любимая моим отцом: о Дионисе, тиране, который доставлял своему придворному все наслаждения, даруемые властью, но в то же время, чтобы наглядно показать (я только повторяю слова отца) ему ее опасность, приказал повесить над головой беззаботно веселящегося придворного меч на конском волосе... Не знаю, чем эта история кончилась для Дамокла, но полагаю, что через три дня к нему вернулся аппетит, а через три недели он философствовал с друзьями о прочности конского волоса... А мы, мы привыкли к бомбе и к чрезвычайному ее значению...

— Привыкли, привыкли,— сказал Якоб.— Это просто самозащита, люди не могут все переварить, они строят ограждения, они функционируют, они должны функционировать, сегодня, сейчас, когда каждое утро тебе к завтраку вместе с газетой подают сотни трупов, и цыткы, и суд Линча, допросы третьей степени, слезоточивый газ и циклоп Б. Как тут выдержать? Но разве это самозащита?..— Он запер за собой комнату своих собственных страхов, туч и белых, посыпанных пеплом снов.— Иначе с этим пельзья было бы жить, пельзья,— сказал он и впервые почувствовал свое превосходство над ней, свою принадлежность к другому, более испытанному и мудрому поколению,— и мы знаем, что значит жить, ведь, говоря о смерти, мы знаем, что это такое.

Она смотрела на него и видела изрезанный морщинами лоб, чересчур умудренный жизнью, над гладкими веками, словно его лицо было произвольно слеплено из двух лиц — старика и двадцатилетнего юноши.

— Мы,— сказал он,— мы откапывали в подвалах разложившиеся трупы, ноги и головы... находили задохну-

шихся под сплюсненными водопроводными трубами. Люди, погибшие от фосфорных бомб, были черные, сухие и маленькие, как дети, стоило к ним притронуться, они рассыпались в прах... Раньше я пел в подвале, когда меня посылали за яблоками или кислой капустой... Потом, позднее, я считал, что все мумии, горящие сердца и одноглазые кошки мистера По так же забавны, как марионетки... А что знаете вы? Когда вы начинали жить, города уже были расчищены и небо тоже.

Она вспомнила песок, хвощи, воющий свод над головой, близкий свист косы.

— У нас просто еще не было слова «смерть» или было только слово... Однажды во время прогулки нас обстрелял штурмовик... Мы бросились в сарай, как зайцы... Но страха перед смертью я не помню... Да, я до сих пор еще слышу вой бомбардировщиков и сирену... такое не забывается, и каждую субботу в полдень я думаю, вот сейчас, сейчас это повторится...

— С этим нельзя жить, — снова сказал Якоб, — и если ты спросишь меня, то я предпочитаю держаться Лютера, ведь, по-моему, именно Лютер говорил: знай он, что завтра настанет конец света, он сегодня все-таки посадил бы яблоньку. Нельзя опускать руки... После каждой катастрофы, когда огонь падал с небес или когда был великий потоп, человек снова поднимал свой голос и высылал голубку... — Он дружески постучал по ее виску. — Нет, — сказал он, — нет, что бы ни случилось, человек никогда не извернется в прочности жизни.

— Прочность жизни, — сказала она, — да, это хорошо, надо взять себе на заметку... — Эти слова запали мне в душу, и я часто вспоминаю их с того вечера, который назвала «фатальным и сомнительным», а он был всего лишь ошибкой, негодной попыткой опровергнуть арифметический пример, по которому один плюс один всегда два. Ну а почему всегда, ведь наша дружба — простоты ради я называю дружбой наши язвительно-сердечные отношения — пережила ошибку. Мы без труда вновь обрели прежний тон разговора, витиеватый и несуразный, возможно, так уж нам было по роду написано, в яростной заинтересованности мы десять раз за полчаса перескакивали с одной темы на другую.

Наши увлечения тоже менялись в головокружительном темпе: сегодня мы восторгались Брехтом, завтра — Мориаком, Би-бои и ходьбой босиком, иконами и «Хорошо тем-

перированным клавиром», четыре вечера подряд ходили в городской театр, чтобы аплодировать маркизу Позе, когда он декламирует: «О, дайте людям свободу мысли!» На нас обращали внимание, этого-то мы и добивались, а Якоб был моим протестом против...

Нет. Протест — это слишком сильно. Тут мы должны лишить Франциску слова. Это верно, что недовольство своей семьей, ее благонаправлением, традициями и бесконечной муштрой побуждало Франциску вязаться с людьми, воображавшими, что они лишены буржуазных предрассудков, мятежны и даже развратны. Итак, люди, которых фрау Линкерханд называла сомнительными, были неподходящей компанией и ни в какие рамки не укладывались. Якоб тоже ни в какие рамки не укладывался. Достаточно было увидеть, как он хромотает по улице, босиком или в монашеских сандалиях, бледное, чуть ли не фосфоресцирующее лицо в обрамлении черной бороды, черная свалывшаяся грива, безудержная речь и жестикуляция, тогда как Франциску, которой очень хотелось быть небрежной, беспечной и, по словам Вильгельма, «вдыхать запах падали», как раз изумляло равнодушие Якоба к глазеющей на него публике, но она тихо и смущенно шла рядом с ним, держась, как подобает благовоспитанной девице, и стараясь не привлекать к себе внимания. Жалкий, половинчатый протест, а одеяние битника — только маскарад, по хватит об этом...

Лучше вернемся в мастерскую, где Якоб только что положил руку на шею Франциски, топкую шею с выступающими позвонками, и сказал:

— Очаровательная приманка... Ты фальшивишь, mon amour. Кто это тебя так разукрасил?

— Давай выпьем еще по глотку.

— Знаешь, как мы называем твоего мужа?

— Я принесу вино сюда, — сказала она.

— ...Красавчик идют...

— Оставайся здесь, я сейчас приду. — Вернувшись со стаканами и бутылкой, она сказала: — А почему ты не выставил «Синие лодки»? Уолтерс ведь просто пестрый. А у тебя в том, что касается красок, есть шестое чувство.

— Я был дураком, — отвечал Якоб. — Надеялся поразить их воображение голым задом... Твое здоровье! Эта шутка мне дорого обошлась.

— Отличная шутка, — сказала Франциска, в ее глазах

искрилось удовольствие.— Я была на открытии, в свите нашего культбосса, и сказала ему, что ты написал «Смерть, бьющую в барабан» в знак протеста против атомного вооружения Западной Германии. Он отвернулся... с одной стороны, не посмел пропустить мимо ушей протест, а с другой — не разглядел ни смерти, ни ее барабана. В конце концов он поверил, что зеленые пятна — это старые генералы... О buddy<sup>1</sup>, мы чуть не лопнули со смеху. Бедняга, держу пари, он считает Рембрандта изобретателем телевизора.

— А Малапарте — разбитым полководцем.

— А педагогов — людьми, которые предаются разврату с маленькими мальчиками.

— А Утрилло — человекообразной обезьяной.

Они изощрялись в шуточках, объединенные общей нетерпимостью к оградченному, ни в чем не уверенному и потому твердолобому человеку, больше всего на свете боявшемуся насмешливого взгляда. Якоб ненавидел его потому, что тот в момент его, Якоба, отчаянного страха за свое существование втерся к нему в доверие, и Якоб мстил ему, старательно собирая и распространяя всяческие истории и убийственно-злые анекдоты, над которыми в клубе и в мастерских художников потешались без капли добродушия.

— Ты знаешь Берлингхофа? — спросил Якоб.

— Лешего?..

Это был робкий пожилой человек с седой бородой, живший на окраине города, в холодной развалюхе, где зимой на балках висели летучие мыши. Его сказочно яркие картины были еще близки детству, полны изумления и удивительных открытий, небо на них было населено кораблями, лебедями и всадниками на скачущих рысью вороных конях с томными глазами.

На последней выставке, рассказывал Якоб, культбосс остановился перед картинами Берлингхофа и сказал: «Будь у меня такая борода, я бы тоже мог так писать». Через два дня он пошел у себя на столе коричневый кофеверт, клок свалывшихся седых волос и весьма грубую записку от Берлингхофа: «Борода сбрита. Теперь пиши ты».

— Здорово? — спросил Якоб.

— Блеск! Давай выпьем за здоровье Берлингхофа.—

<sup>1</sup> Дружище, приятель, (англ.).

Они торжественно чокнулись.— Если хочешь знать правду, он единственный художник среди вас.

— Еще один стакан, и ты, пожалуй, скажешь мне, что я последний пачкун.

Она налила ему еще. Он схватил ее за руку и спросил:

— Могла бы ты в меня влюбиться?

Она повернулась к нему быстрым, точным движением, по которому он наконец узнал ее — в мертвяще голубом неоновом свете, как в аквариуме, склонившись над чертежами, сидело математически сухое, воинственное, заикающееся бесполое существо в белом халате — он не выносил белых халатов, но, слава богу, неряшливо причесанные волосы и жарко загорелая шея отличали ее от образцовой «деловой женщины» — безупречная выправка, уверенность в себе (перед лицом каких опасностей?)... и он сказал:

— Значит, нет? Ну и хорошо. Это была просто глупая выдумка.

— И неверная последовательность,— отвечала Франциска.— «Ах, Джек, мы были бы так счастливы... Да, сказал я, это было бы прекрасно». Цитата.

— Я читаю только про корриду.— Он был темного пьян или одурел от вина, усталости, острого душного запаха металла и скипидара, от желаний, растекшихся в болтовне. Одпочество вдвоем, думал он, тоже слова... слова... паллиатив... да и лень... надо, надо...— Посхать бы в Испанию,— сказал он,— написать смерть черного быка, плащ на песке, кроваво-красный... Элегантные мясники... Ты умеешь готовить?

— Смотря что. Пудинг. Жареную картошку. Любую жарену из консервов.

— Этого довольно.— Хромая и подпрыгивая, он пошел к себе в комнату... черный ворон, кривой, хлопающий крыльями... и вернулся со связкой бумаг под мышкой. Сел на корточки и подзвал ее.— Когда я покончу с этой работой, я построю себе корабль... У меня будет куча денег... Чертежи уже готовы, я все сам сделал, отличный маленький пароход, двенадцать метров в длину, четыре в ширину. Я поднимусь по Эльбе, у Гамбурга выйду в море, по каналу мимо Англии, возможно, заверну в Ирландию...

Она опустилась на колени рядом с ним. Желтое пятно света от карманного фонаря кружило над Францией, Испанией... Ла-Жорупьей, Лиссабоном, плыло через Гибралтар по заштрихованному красивым путям географической

карты, плясало перед Марселем, металось над Аяччо, вокруг Корсики и бросало якорь в Генуе. Франциска заложила за уши мешавшие ей пряди волос, ее лицо дрожало от напряжения, а Якоб, изнемогший, склонив голову и едва разжимая губы, сказал:

— В блаженном покое пойдем мы под парусом вдоль берегов Италии, остановимся в Остии. Рим... Это и для тебя кое-что значит, собор святого Петра... И в Помпеях ты должна побывать, каждый уважающий себя архитектор совершает паломничество к руинам... В Неаполе у меня есть друг...

— Ты спятил,— сказала Франциска и все-таки в течение одной безумной минуты видела перед собой корабль с распростертым крылом синего паруса и себя самое между солнцем и морем на горячей деревянной палубе, которую лижут волны, под надутым, бьющимся на ветру полотнищем.— А границы, проверки, там теперь и кошка не проскочит, паспорта, даже до Гамбурга нужно сто печатей, да и валюты у нас нет. Тебе бы быть футболистом или бегать стометровку за десять и две — у любой хорошо развитой икроножной мышцы шансов больше, чем у нас с тобой.

Якоб сидел на корточках над своими бессильными бумагами, капризный, точно ребенок, у которого взрослые стняли любимую игрушку... и все-таки, кто знает... он рытал свои три свитка надежды, только чтобы его убедили в том, что он и сам давно знал — никакого корабля, никаких путешествий, бедняга, это все приключения, о которых можно лишь мечтать... чтобы опровергли все его возражения и наглядно показали, как расставляют капканы виз, как возводят паспортные заслоны, роют долларские ямы... и все начать сызнова — если... по... — и опять на корабле светового кружка плыть под парусом по Бискайскому заливу.

— Ну, как-нибудь... — начал он.

Но Франциска не стала ему подыгрывать.

— Как-нибудь,— сказала она,— но завтра — нет, о господи, уже сегодня! — я должна добиться машины и объездить весь район. Как-нибудь нам надо раздобыть полиамидную пленку для кровли, понятия не имею, как и где, но Регер, наверно, сумеет. Как-нибудь надо выкроить время кое-что купить и устроить большую стирку. Нет, не провожай меня домой, он иногда ждет у дверей, иногда оставляет букет, и, как пазло, гладиолусы, а я их

не переносу, неживые какие-то цветы, без запаха и всегда напоминают восковые руки и ноги фигурок девы Марии. Но чаще всего он является разъяренный, хочет поймать меня с поличным и прибить любовника. Да, я позволю тебе...

Он не построил свой корабль, но все еще надеется и после второй бутылки красного вина вытаскивает чертежи и рыщет карманным фонариком вдоль берегов Испании. У него все та же мастерская, неотопливаемая развалюха, он работает в войлочных сапогах и стеганой куртке. Он купил качалку. Деньги за стенпой фриз лежат в банке, и он расходует их экономно, как хороший хозяин, не позволяя себе никаких излишеств, он сошел с ума от эгоизма — я вижу, я хочу, я буду, — и никаких связей, ни с женщиной, ни с договорами, друзья от него отвернулись, эти отцы семейств, несущие свои обязанности, как кандалы, они, наоборот, зубами рвут заказы, надо ведь как-то жить...

Но Якоб, который хочет выпотрошить мир, который смотрит на тебя так, словно собирается приподнять черепную крышку, просверлить лобную кость, намотать на катушку твои мозговые извилины... «Постепенно ты становишься похожей на человека, — сказал он мне. — Два года назад ты была просто красивым куском мяса. Теперь уже проклюнулась голова...» У стены стояли три портрета, один и тот же человек, но в то же время и другой, словно на каждом следующем портрете с него снимался какой-то чисто внешний слой, сдиралось видное каждому и выступало то, что обычно таят от других и в чем даже себе не признаются. Это и есть правда в искусстве, вот так предавать человека? Я не знаю, Бен, я никогда не знаю, что такое правда. Если я тебе рассказываю: все было так-то и так-то — это правда? Для передачи настроений у нас есть только кодовые слова, и мы ждем, что другой их расшифрует. Изменяю ли я краски, переставляю ли фигуры оттого, что знаю, что будет дальше?

Я побывала и в квартале у моста, и перед зданием суда, три дня слились для меня в один — тот, в котором уже был ты, Бен, день два года назад, когда вынесли решение о разводе, и третий, далекий-далекый, но он вспоминается так отчетливо, что я и сегодня еще краснею. Осенние дни, окрашенные во все оттенки желтизны... Высокая старинная дверь блестящего красного дерева. Она закрылась с торжественным грохотом. Франциска остано-

вилась на лестнице, корректная и подтянутая, как ее учили в детстве, на ней был костюм соломенного цвета, отбрасывавший светлые блики на ее лицо. Пожелтевший газон перед зданием суда и бледно-желтые шары подстриженных кленов вдоль улицы утопали в молочном предвечернем свете. На церкви Пресвятой богородицы звонили колокола, и воздух, казалось, вибрировал, набегал длинными ровными волнами, печальный, как в ноябрьское воскресенье. С отливающей зеленью медной крыши собора с криком взвилась в небо птичья стая.

Франциска оперлась рукой о перила, ей вспомнился сентябрьский вечер три года назад, когда она впервые ждала Вольфганга у заводских ворот, чтобы отобрать у него зарплату, целых пять дней пресная пища в студенческой столовке... Голодная, мечтающая о сигарете, но элегантная в своем стеганом нейлоновом пальто, она прямо стояла у кирпичной стены — результат долголетней муштры: держись прямо, плечи назад, старайся избегать гласности, — и тут ей вспомнились истории Важной Старой Дамы: об офицерских женах, которые вязали кружевные салфетки и тайком продавали их, чтобы на новогоднем балу блеснуть новым ослепительным туалетом; и о чиновниках, у которых на обед подавалась селедка или разбавленный соус, потому что девочки учились в лицее и должны были брать уроки музыки... Истории из буржуазного паноптикума, говорила Франциска смеясь.

Она холодно встречала взгляды мужчин, на велосипедах выезжавших из заводских ворот. Одному стало жаль ее, он крикнул:

— Твой уже давно ушел!

Дружок его предупредил: мы ведь хотели пойти пивка выпить, а там стоит твоя краля, смотри, она тебя утащит... Вольфганг прокрался по двору и улизнул через задние ворота.

Франциска содрогнулась от унижения, которое было хуже голода, хуже долга квартирной хозяйке, хуже, чем пойти на поклон к родителям, где каждая монета сопровождалась мягким укором: мы же тебя предупреждали, детка, вот если бы ты нас послушалась, конечно, если ты образумишься, двери нашего дома всегда открыты...

Меднолиственная аллея, тускло-голубое небо, и ласточки чертят на нем свои параболы, улицы, одинокий дом с закопченными стенами на краю парка — прежде густонаселенный городской квартал, а теперь там пышно разрос-

ся кустарник с кладбищенски жирными листьями (когда в осенние ночи за стенами дома бушевала буря, Франциска зажимала уши руками, ей казалось, она слышит, как стонут балки, чувствует, как шатаются стены, и в шуме ливня ей чудилось, будто костяные пальцы стучат в стекло; а летом — сочная зелень травы, вдоль дорожек красная японская айва, кусты клонятся под тяжестью белых цветочных шаров; ветер доносил их запах сквозь открытое окно, и Франциска забывала, что живет на краю братской могилы), — запущенный подъезд, стены из поддельного мрамора, покрытые сетью трещин, деревянная лестница, крашенная масляной краской, казавшаяся ей клавиатурой, и у каждого идущего по ней свое туше, свой неизменный шагоритм... предательские ступеньки, когда он на третьем этаже, я уже знаю, какое у него настроение, трезвый, пьяный или слегка подвыпивший возвращается он домой, с охапкой ворованных цветов, запахом пива и мокрыми поцелуями...

Она ощупью поднялась по лестнице, в полубессознательном состоянии от стыда и ярости. Скотина, заставил меня дожидаться среди всех этих баб с расширением вен, в толстых чулках, они еще могут шутить, вот, мол, как я своему старику шею намылю, нет, никогда больше, лучше голодать, я не дам стянуть меня до твоего уровня — уровня пившухи, о господи, да ведь меня уже засосало... Ключ лежал под ковриком. В комнате царил полумрак, а парковые дорожки под окном еще были освещены солнцем, и медно-желтые деревья еще четко вырисовывались в чистом воздухе, мухи крутились на подоконнике, громко и пазойливо умирая. Мне бы хоть одну сигарету, думала она, стипендию мою он тоже пропил, и вечно он включает радио, рапо утром и среди ночи, когда-нибудь я вышвырну этот проклятый ящик в окно, и всегда подпекает, если передают «Ла Палома», сентиментальный идиот, а еще хотел быть моряком...

Она пристально смотрела на дверь, с чувством привычного, непроходящего ужаса перед сотни раз повторявшимся мгновением, когда он повернет ручку, толкнет плечом дверь, прислонится к косяку, бегающие зрачки его глупых глаз уставятся наконец в потолок, а на губах появится улыбка, смущенная и в то же время вызывающая: чего еще в жизни надо?.. Вино, вино на радость нам дано!

Брат застал ее плачущей навзрид и, схватив за руку, сказал:

— Франц, прошу тебя, вернись домой.

И она, утирая слезы, увидела его лицо, слышала его голос, зов навсегда утраченного времени, школьных уроков, горячего шоколада, голубых елок в саду, сознания своей защищенности... Она чувствовала, как рвется на части ее жизнь, словно это был органический процесс, как сокрушительно раздвигается ее внутренний мир... и она закричала, а Вильгельм вдавил ее плечи в подушку и, держа это трепещущее, визжащее темное существо, в которое превратилась его сестра, бормотал:

— Я убью его, ей-богу, убью!

...В октябре он улетел в Москву. Для меня это счастливый случай, сказал он. Я проводила его на аэродром. Он был в пальто на меху, в Москве уже выпал снег. В шубе, по-боксерски широкоплечий, он не был похож на ученого, хотя теперь ему приходилось носить очки и глаза его постоянно были воспалены от работы ночами. Он страшно избил Вольфганга, я думаю, это был единственный человек, который импонировал Вольфгангу, может, потому, что Вильгельм не вписывался в его представление о хлипком интеллигенте.

Все о'кей? — спросил Вильгельм. Все о'кей, отвечала я. А как иначе я могла бы ответить? Мы поцеловались, а потом я стояла за загородкой, глядя, как Вильгельм идет по летному полю, поднимается по трапу, обернувшись, машет рукой, как потом отъезжает трап и реактивный самолет выруливает на взлетную полосу, тысячи тонн сосредоточенной силы — это зрелище, Бен! Сердце готово выпрыгнуть из груди, самолет мчится по взлетной полосе, это еще бегущая птица, еще пленница земли, но вдруг она взмывает вверх в облаке дыма, огня и адского рева. Еще несколько минут, и я ушла.

Домой — человек привыкает ко всему. Я привыкла к перебранкам, к еженощному ожиданию и к маленьким, грязным унижениям. Однажды, когда мы вместе хотели зайти поесть, хозяин рестораничка вышвырнул нас вон — Вольфганга не пускали в приличные заведения. Как-то ночью я нашла его на ступеньках лестницы, окровавленного, в разорванном пиджаке, добудиться его мне не удалось, но и оставить его одного я тоже не могла, тогда я стала неподалеку, но так, как будто не имею к нему никакого отношения. Мне вспоминается только дурное... В моих воспоминаниях дурно и пошло даже то, что мы спали вместе, что он голый расхаживал по комнате, по-

хваляясь своим телом, эластичными мускулами и совершенной формы плечами, прекрасный, как Антиной. Сильный, здоровый, он был лишен фантазии и даже спустя три года не заметил, что я ничего не чувствую, я думала, это моя вина, я стыдилась, словно обманывала его, и думала, что я фригидна, все остальное я знала только из романов.

Я привыкла по вечерам ходить из пивной в пивную, разыскивая его. Поначалу я остаивалась в дверях (молчаливый упрек — вроде женщины, за юбку которой цепляются четверо малышей), потом уже стала подсаживаться к пьяницам за столик. Давай, срами меня, считай стаканы, говорил он... Еще позже у меня появилась своя излюбленная пивнушка, туда я ходила одна, потому что в нашей комнате мне печем было дышать.

Хозяин пивнушки был славный человек. Да и заведение было славное, на столиках всегда цветы, никелированная стойка, у которой ты и впрямь чувствуешь себя как дома, а над стойкой бесчисленные фотографии овчарок. Хозяин, высокий, благообразный, во время войны служил в воздушно-десантных войсках и лишился обеих ног. Ходил он на протезах, при каждом шаге слышался скрип металлических суставов, но он двигался на своих искусственных ногах быстро и уверенно. Посетители, большей частью солидные, спокойные люди — рабочие с женами, молодые парочки и т. д., — сами брали пиво со стойки.

Мы очень сдружились, хозяин и я, одно время каждый вечер заходил в пивную и Петерсон, мы сидели у стойки на высоких табуретах, как в баре, болтали о том о сем, о прежних временах, о нынешних и накачивались пивом. Это вправду была чертовски приятная пивнушка, мирная, и всегда было с кем словом перемолвиться, пошмаешь? Каждый вечер в одно и то же время в дверях появлялась черная овчарка хозяйна, шествовала, точно принцесса, между столиками и принимала почести от посетителей. Дверь в заднюю комнату она открывала лапой.

Вот так было тогда. Я попросту погибала... Вечером, когда загорались огни, начиналось мое ожидание, и мистер Гайд крался по улицам... тогда она отслаивалась от Франциски, той, что увлекалась своим профессором, терзалась из-за физики строительства, делала эскизы театра... они не знали друг друга, не хотели иметь ничего общего, по границы начинали расплываться, и иногда, выр-

ванная из спокойно-радостного дня, она со страхом спрашивала себя: кто же я?

Перед зданием суда у подножия лестницы стоял очень высокий мужчина лет пятидесяти. Его коротко подстриженные черные волосы с редкими белыми прядями напоминали оперение сороки, и во всем его облике и повадках было что-то от широкогрудой, разлохмаченной ветром птицы. Свой сшитый на заказ костюм из ворсистой ткани он носил с небрежностью человека, у которого в шкафу нет лучшего костюма, и галстук его криво свисал из-под расстегнутого ворота рубашки.

Он раскрыл объятия и прижал Франциску к своей груди. У него был поразительный талант любую ситуацию превращать в драму.

— Бедное мое дитя,— шептал он, а Франциска, его ученица и партнерша, эрзац-дочка и громоотвод для его настроений, то ли обожающая ученица, то ли мятежная соперница, Франциска прижалась лбом к его плечу, она наконец была захвачена состраданием к самой себе и болью, которой не испытывала во время судебной процедуры, болью, достойной героини «Трагедии Двоих»... Итак, я не способна на сильные чувства, говорила она себе, когда, стоя, слушала решение суда, мне уже все равно, Вечная Любовь умерла, и состоялись похороны по третьему разряду (и во время бабушкиных похорон я тоже не могла плакать, не из-за людей, которые выглядели так, словно боялись простудиться в январе, на заснеженном кладбище, ведь покойник всегда тянет за собой других... я с тоской смотрела на пастора, этого играющего в футбол юного святого, который балансировал на доске, перекинутой через яму, в белоснежном стихаре, на груди — стола с патетическим золотым шитьем... доска качалась и гнулась под ним, а моя мать, точно оперная героиня, закутаная в траурную вуаль, шептала мне, прижав к губам посовой платок: люди сочтут тебя бесчувственной, ты же знаешь, на нас смотрят, о тебе и так достаточно говорят... Но что она знала, ведь мой День-большого-горя уже остался позади, и если с кем-нибудь из этой проклятой семьи я и была близка, так именно с Важной Старой Дамой)... и так отчетливо, словно включили магнитофон с записью ее голоса, она услышала свое задохнувшееся от растроганности «да» перед служащими загса и пластинку с Неоконченной симфонией — проигрыватель был спрятан за кустиками лавра... неоконченно, да и с самого начала все шло кувыр-

ком, и этот обед втроем, с единственным делегатом от Липкерхандов, красноглазым и смущенно моргающим Вильгельмом, в ресторане на окраине города, садовые стулья, прелые листья на танцевальной площадке, в ветвях вылинявшие от дождя обрывки бумажной гирлянды... Собачья свадьба, сказали в семействе Экс, потому что не было праздника с водкой и свиным жарким, дурацких танцев под аккордеон дяди Пауля и расхожих шуточек, вроде подпошения ночного горшка с венскими сосисками и горчицей...

Она пожала руку своему учителю.

— Это было ужасно, скорей пойдите отсюда.

Профессор, поддерживавший ее под локоть, как сапатар, сказал:

— Кто бы мог подумать, что ты можешь выглядеть как обычная женщина.

Франциска испуганно схватилась за свой пышный пучок и улыбнулась.

— В конце концов это своего рода премьеры, правда?

— Привыкнуть можно, — сказал Регер, который полгода назад развелся с четвертой женой.

Они пересекли покрытую гравием дорожку и стали подниматься по пологому холму, когда за ними хлопнула калитка. Франциска оглянулась. Она знала эти шаги, к которым так часто прислушивалась в ожидании, она только крепче прижала к себе руку Регера. Молодой человек бежал за ними. Из-под морской фуражки выбивались светлые кудрявые волосы, выцветшие от летнего солнца.

— Я зайду потом, возьму кое-какие вещички, — грубым от смущения голосом сказал он.

Она взглянула на него и увидела в его чертах то, что в полумраке судебных помещений, в темноте коридоров от нее ускользнуло: лопнувший сосудик в уголке глаза, отекающие веки, легкие немилосердные следы, говорящие о том, каким будет это лицо через двадцать лет, как огрубеют и смажутся линии, которые она с восхищением обводила кончиками пальцев, и вдруг она впала в панику — уйти, скорей уйти, свастись! Он сдвинул фуражку со лба и отдал честь.

— Значит, сегодня вечером, — сказал он бойко. И пошел. Через несколько шагов он обернулся и крикнул полным гнева и горечи голосом: — Желаю хорошо повеселиться!

— Вот юный льстец! — сказал Регер.

Немного погодя они двинулись за Вольфгангом. Потом он свернул в боковую улицу, а они пошли к мосту, где стояла машина Регера, как раз под знаком, запрещающим стоянку.

— Внимание, шериф! — прошептала Франциска.

Регер ущипнул ее за руку, и они прошествовали мимо машины и полицейского. Они играли в захватывающую игру, и вид у них был не менее простодушный, чем у кинокомиссара в лихо заломленном котелке. Профессор хихикал, он обожал удирать от полицейских, звонить у чужих дверей или с остекленевшими глазами вываливаться из пивной, когда мимо проходит кто-то из его более серьезных коллег.

Река здесь мягко огибала город. На другом берегу из бронзовеющей листвы торчали обломки стен, почернелые трубы и искореженные огнем водосточные желоба. С этой стороны реки, на которой переливались и медленно плыли вниз по течению на запад нефтяные пятна, вдоль бечевника стояли ряды рябин с гроздьями кораллово-красных ягод. На востоке виднелся маленький барочный дворец, чья куполообразная крыша казалась покрытой светящейся зеленой плесенью, к воде спускалась лестница из песчаника, на столбиках перил резвились ангелочки, а вдали, над крышами и переплетением антенн, вздымались белые громады высотных зданий.

На мосту было холодно и ветрено, Франциска вся съжилась в своей жакетке. Она мерзла, но все-таки стояла, опустив голову и глядя куда-то в сторону... Ах, это жаркое бродяжье лето! Мост через реку, мост через солнце, лучащаяся плоскость лопается, разлетается на кусочки, рвется от голых загорелых тел. Знойная тишь над берегами, птица в листве, крики их бродячей банды, и парк, живая изгородь из тиса, сероватые тучки мошкары, рыболов, на запад плывет мертвая рыба, серебристым брюшком вверх...

От ветра по реке бежала рябь. Франциска смотрела на маленькую белую жирную руку профессора, с пальцами, дрожащими, как у глубокого старика. Она прижала их своей рукой. Подбородок его обмяк, но тут же снова на губах появилась лукавая улыбка, и он сказал:

— Это все ерунда, доченька, мы оба с тобой из породы неваляшек. А ты, — добавил он, — ты все та же школьница, которая сидела на моих лекциях в первом ряду и смотрела мне в рот.

— Мне двадцать пять,— сказала она.— Вчера я вырвала у себя седой волос.

Вверх по течению шел буксир, и они смотрели, как он медленно приближается, таща за собой три баржи, груженные углем. Ветер прижимал к палубе столб дыма. Когда буксир подошел к мосту, труба наклонилась, и Франциска с прежним интересом и удовольствием следила за медленно опускающейся трубой. Буксир нырнул под мост, и несколько секунд они стояли в вонючем облаке дыма и угольной пыли.

— Я чувствую себя совсем старой и опустошенной,— сказала Франциска.— Я как яблоко, сгнившее изнутри, осталась только кожа.

— Однако весьма привлекательная,— заметил Регер.

Баржи беззвучно скользили под ними, вода беззвучно и как бы недвижимо стекала с бортов, а Франциске казалось, что это она вместе с мостом скользит вдоль барж. В конце каравана подскакивала на воде крохотная лодочка, точно шпиг, прыгающий за караваном неуклюжих выючных животных.

— Твой монолог был отвратителен,— заметил Регер.— Теперь ты краснеешь, и поделом тебе.

Вот уже и лодка исчезла под мостом. Они вернулись на берег. Полицейский ушел, а под стеклоочистителем была оставлена белая квитанция. Франциска рассмеялась, и, покуда Регер, наклонившись, разглядывал эту квитанцию и не мог видеть ее «взрослого» пучка и тонких линий, сбегающих к уголкам рта — знак будущих морщин,— он воображал ее себе все той же школьницей, аплодирующей, высоко подняв руки, смеющейся громким невинным смехом, смех этот начинался на высоких нотах и падал до глубоких грудных звуков.

Часть пути они ехали вдоль реки. Над серо-синей мерцающей водой висела дымка, и вдруг разом вспыхнули все фонари на дороге, гирлянда желтых цветов, венчающая берег. Немного погодя Регер свернул.

— Куда прикажешь?

— На старую квартиру,— сказала она. Слово «домой» стало для нее чужеродным. Существовала старая квартира и квартира Регера, и тут и там она была гостьей, ждала перемены, вестей, непосланных с чужих небес, загавкавших и опустив руки, жила временной жизнью, между риском и смирением. Вечером, когда Регер привез ее к себе, она почувствовала, что вернулась домой. Поставив

ее чемодан в передней, он не помог ей снять плащ, а открыл дверь в ванную комнату и сказал:

— Вот там лежит твоё полотенце. Тут ты сможешь наводить красоту. А теперь свари-ка нам кофе.

Он не помогал ей и когда она возилась в кухне.

— Где кофе? — крикнула она.

— Не знаю, возьми глаза в руки! — закричал он ей в ответ из своего кабинета.

Когда она вошла к нему с кофейником, он указал ей на потертую качалку, где от одного подлокотника к другому была протянута стальная цепочка, и сказал:

— Табу.

Стены были белые как мел. На одной висел подлинный Матисс. Подняв глаза от книги, она встретила взглядом с Регером, услышала свое дыхание в тихой комнате, услышала тишину и равнодушным голосом сказала:

— Хорошо, что вы не пекли для меня пирога.

Она больше не была в гостях.

Небо над городом было красным, точно от дальнего пожара, темная, полыхающая краснота, смешанная с дымом и пролизываемая синими контактными вспышками трамваев. Франциска почувствовала, что огненный свод не само небо, а висящее на небе гигантское зеркало, выпуклая поверхность которого отражает блеск дуговых фонарей в центральной части города, реки неоновых огней, свет реклам и бесчисленного множества окон.

Парк сейчас был погружен во тьму... Она увидела высокий дом, непроглядно черный, израненный фосфорным дождем и осколками бомб, старый страх закрался ей в сердце, страх перед бледным светом на лестнице, перед жадным молчанием хозяйки, перед холодной комнатой, все больше напоминавшей гостиничный номер — просто станция для равнодушного пассажира, страх перед шагами на предательски скрипящих ступеньках.

— ...Мне страшно, — сказала она шепеляво и сама услышала, с каким трудом она артикулирует, речевой изъяв, одолевший ее в последние годы, — волнуясь, она начинала заикаться, запинаться, вызывая негодование Регера, если не удавалось это скрыть. Он не терпел больных, а тем более людей с разными торможениями.

— Ты слишком многого на свете боишься, — сказал он резко.

Франциска открыла дверцу машины и ответила:

— Вы требуете, чтобы в вашем присутствии все

б-были счастливы и б-бесстрашны...— Она, не поблагодарив, выскочила из машины и через улицу пошла к развалинам дома. Белый свет фар хлестал ее по ногам. Неуклюжие очертания девушки с опущенной головой... О господи, подумал Регер, он ее бьет... Регер вдруг, точно внезапно сменился кадр, увидел тот вечер и как она, спотыкаясь, будто слепая, с распухшим лицом, перебежала улицу в свете фар его машины.

Он пошел за ней. Она раздраженно дернула плечом, чтобы стряхнуть его руку, жирную отеческую руку, лежавшую на ее жизни,— защита или обладание, кто знает... Он коллекционирует людей, подумала она, как некоторые коллекционируют бабочек.

— Раньше я не заикалась.

— Знаю. Это не имеет значения. Так, заскок, дурная привычка. Ты была самой строптивой из моих студентов.— Говоря с нею ласковым, бархатным голосом, он с опаской поглядывал на ее широкий плоский лоб, предчувствуя бунт, попытку к бегству, самую черную неблагодарность учителю, создавшему ее по своему образу и подобию, вложившему в нее надежды, давшему ей возможности, о которых начинающий и мечтать не смеет.

— Вы вселяете в людей слишком большую уверенность,— сказала Франциска, словно прочитав его мысли.

Поскольку она туго стянула волосы, желая сделать прическу, приличествующую матроне, Регер увидел, что на середине лба они как бы образуют треугольник, и подумал: это признак злостного упрямства.

— И слишком мало риска,— добавила она.

— Моя милая юная подруга,— сказал он неприветливо.— Ты, кажется, не сознаешь, что работать со мной — это марка.

— Сознаю, господин профессор.

— Нет! — загремел Регер, наконец завладев инициативой. Он рванул галстук — вздохнуть свободнее, его тень на стене была угрожающе громадной.— Нет, ты не сознаешь этого! И не возражай мне! Я не выношу упрямых! Убирайся к черту! Без меня ты — тьфу, пустое место, надутое ничтожество!

— Так точно, господин профессор! — отвечала Франциска.

— Не смей отвечать «так точно», я тебе не фельдфельд! Слишком мало риска... Это эскапизм, любезнейшая, авантюрные наклонности как следствие неустойчивого

характера. Ты хочешь нас покинуть? Отлично. Убирайся, змея, которую я пригрел на своей груди! Детка, ты плачешь?

— Нет, господин профессор, — сказала Франциска, которая уже задыхалась от смеха. — Только вот прошлой зимой вы вышвырнули этого мальчика, новенького, вы сказали тогда...

— Ладно, ладно. Вышвырнул, говоришь? Ну что ж! Кто хочет работать, тот обратно хоть через окно влезет. Кроме того, безвкусно напоминать мыслящему человеку, что он говорил год назад, имей в виду.

...Он забыл маленького дипломанта. Мы восстанавливали тогда Гевандхауз, Регер как лев сражался за эти развалины, которые должны были взорвать. Он за всю свою жизнь, может быть, раза три проявлял выдержку, и борьба за Гевандхауз была одним из этих трех раз. Миллионный объект, и самая прекрасная работа, которая была у нас тогда... Регер каждый день являлся на стройку, в любую погоду, часто даже ночью, при свете прожекторов. Эта работа, говорил он, должна значить для вас больше, чем возлюбленная, — впрочем, что вы знаете о любви? С потными ручонками сидите за партой, в восемнадцать вы уже обручены, а в тридцать — импотенты... Он болтал с рабочими, которых знал по именам, они угощали его пивом и сигаретами, в развевающемся плаще носился перед своей проектной конторой, а на шее у него был галстук, как у Гропиуса, ты только подумай, Бен, он знает Гропиуса, он разговаривал с ним, с нашей недоступной звездой, и Гропиус жал ему руку, и Нимейер, и еще кое-кто из Несомненно Великих Людей... Даже когда мы, молодые, уже валились с ног, он бодро карабкался на леса, пылал энтузиазмом...

Итак, этот ловенький, зеленый юнец — он пришел к нам прямо с институтской скамьи, — тащился позади всех, держа руки в карманах — стоял собачий холод. Наконец Регер остановился и спросил:

— Чего тебе не хватает, сынок?

— Мне холодно, господин профессор, — отвечал этот неудачник.

Мы замерли.

— Ага... тебе холодно, — сказал Регер. Он побелел и весь дрожал, волосы у него встали дыбом, представь себе человека почти двухметрового роста, с грудью широкой, как русская печка, и с голосом как труба иерихонская —

точно разгневанный ангел слетел на greenhorn<sup>1</sup>, который осмелился мерзнуть перед лицом всевышнего. Он, Регер, босиком побежал бы на Северный полюс, если бы на Северном полюсе строил вап дер Рое... Но для этих молодых людей высшая честь — зашибать деньги и греть задницу в конторе... Лень, малодушие, импотенция, жажда безопасности... Он пустил фейерверк непристойных проклятий, прогнал новенького со стройки, усладил всю свою команду к черту на кулички раз и навсегда, крикнув на прощание:

— Прочь с глаз моих, старичье! Остаться может фрау Экс, более того, она должна остаться...

А фрау Экс, сказать по правде, задрожала... Но он, когда мы были одни, потирал руки и хихикал. Я был немножко груб, верно? Ничего. Их иногда полезно, как щенков, ткнуть носом в собственное дерьмо. Конечно, они фантастически одаренные ребята, люди с будущим... я сразу вижу, чего стоит архитектор, достаточно ему провести на бумаге три линии, это те три строчки, по которым узнается поэт... Он был в превосходнейшем настроении. Но новенькому пришлось уйти...

Регер выщелкнул две сигареты из пачки «Рот-Хендле». Франциска наклонилась над зажженной спичкой.

— Нет, я не хочу вас покинуть, во всяком случае не насовсем. Если б вы дали мне отпуск на год... — Регер, прислонясь к стене, молча курил, и через несколько минут она опять заговорила, заикаясь, но все так же упрямо: — Гевандхауз... Это было больше, чем три года в университете. Правда-правда. Я вам очень благодарна... Но мне кажется, я должна попробовать себя в градостроительстве... Хотя бы год. Ведь у меня впереди столько времени...

— Что ты знаешь о времени... — сказал Регер.

— Сорок лет до пенсии. За сорок лет можно успеть... абсолютно все. И этот город уже стоит у меня поперек горла, и этот дом, и каждый камень, на котором сидят теи вчерашнего дня. Я теперь одна, я свободна, я хочу понять, что это значит — быть свободной, уйти не оглянувшись... Я подумала о Нейштадте...

— Оригинально. И на которой же из трехсот пятидесяти дыр с этим названием ты остановила свой выбор?

---

<sup>1</sup> Новичок (англ.).

Она сделала выбор в это самое мгновение. Она спасалась бегством вперед, в Незнаемое, Неясное, руководствуясь неясным чувством; ей необходимо начать где-то что-то новое, сжечь свои корабли. Никогда она не думала о Нейштадте, поселке, всего лишь эскизе города, расположенном неподалеку от восточной границы, на такие городишки жители больших городов смотрят как на место ссылки.

— Провинция, — сказал Регер. — Вы погибли, мадам. Тот, кто уезжает в провинцию, конченный человек.

— Для берлинцев здесь тоже провинция, — отвечала Франциска.

Выбросив сигарету, она вошла в дом. Над панелью из поддельного мрамора висел «немой привратник» — черная, в стиле барокко, доска с именами жильцов, с давно забытыми обозначениями: «в отставке», «на пенсии», призрачная излюбленная роль «бывших» с устаревшими счетами в банке и обесцененными залоговыми свидетельствами, все эти люди знавали лучшие дни. Франциска вытащила из рамки карточку с фамилией Экс, она считала, что новую карточку уже вставлять не стоит.

В коридоре ей в нос ударил густой прокисший запах непроветренного платья, порошка от моли и застарелой пыли. В комнате хозяйки работал телевизор. «Si, si, тела гниют, а пепел всегда остается чистым...» Франциска нащупала выключатель. «Che bell'uomo!»<sup>1</sup> — крикнул мужской голос. Дверь беззвучно открылась, холодный голубой свет упал в коридор. «Роза, а не мужчина...» — раздался восторженный женский голос.

В дверь высунулась высокая, бесформенная толстая женщина. За тридцать лет, проведенных в пекарне, лицо ее приняло цвет и поздраватую мягкость подошедшего теста. Она ничего не сказала, не поздоровалась, просто стояла и смотрела на Франциску маленькими черными глазами, похожими на ружейные отверстия. Инстинкт сторожевой собаки гнал ее к двери при любом звуке, она все видела и слышала, как прежде, когда в качестве шефа полудюжины кондитерских надзирала за пекарями, кремоварами и буфетчицами. Она молча ждала, покуда Франциска войдет в свою комнату, и лишь потом неслабыно закрыла дверь, за которой сидела ее дочь, устремив в потолок белые глаза.

<sup>1</sup> Какой красавец! (итал.)

...Хозяйка тоже была «бывшей», ее отец — придворный поставщик — поставлял свои ореховые крендели двору Вильгельма Второго, а также рухнувшему двору нашего князя, который в поябре восемнадцатого года обратился к своему народу с печальным «Последним словом». Ей принадлежала целая улица, но улицу разбомбили, и теперь у нее остался только доходный дом, много плюшевой мебели, телевизор и сорокалетняя идиотка-дочь... Бледная, рыжеволосая, с туго обтягивающей скулы тонкой, как прозрачная бумага, кожей, когда она смотрела на меня своими белыми глазами, лишенными глубины, я застывала, как кролик под взглядом удава, не могла сдвинуться с места, не могла даже крикнуть... Она задушила своего ребенка, из страха перед матерью-шефом, говорили люди, она не была замужем, старуха избивала бы ее до смерти... В тюрьме она сошла с ума, но, я думаю, она и раньше была не совсем нормальной, деловая мамаша забила ее, раздавила, доконала. Теперь она полностью ушла в себя и жила тихо, как мышь, без прошлого и без будущего, была здесь, и ничего больше...

Франциска распахнула окно, воздух и тут был напоен затхлым запахом коридора. Она ходила по своей педантически убранной комнате, засунув за кушак большие пальцы, смотрела на мебель и картины, как бы составляя опись, и пыталась предвосхитить прощание... Уйти, сесть в первый же поезд, чемоданчик в руке, главное, быть мобильной, быть кочевницей (ах, кочевница в стране, которая вся-то с гулькин нос), путешествовать с автостопом, жить в отелях, в бараках, завтракать на промасленной бумаге, кромя хлеб перочинным ножом, автобусные станции и вокзалы, манящие вдаль гудки поездов, наши безумные желания... бедный Якоб, это все авантюры, о которых можно только мечтать. Любимица Регерова двора не поедет в захолустье. Мой мир, сказала я себе, проектное бюро, неоновый свет, мастерские, болтовня в клубе, театры, асфальт под погами, каждую неделю парикмахерская, губная помада и лосьон трех сортов, сентиментально-бахромчатое бархатное кресло Важной Старой Дамы... без всего этого я погибну. Не цепляйся за вещи, иначе они не отпустят тебя... И пусть катится к черту Регер с его философией нетребовательности к жизни... Хорошо ему говорить, сидя у себя дома, в квартале, где живет интеллигенция, с Матиссом на стене, с послезавтрашней мо-

белью из стальных трубок, с террасой, спускающейся в сад, как в кино...

Она вынула из шкафа полотенце и в пустом бельевом ящике обнаружила пару драных носков. У Вольфганга еще остался ключ от этой комнаты. Чемодана его не было. Не хватало также нескольких книг на полках. Двух томов Джека Лондона. Трех томов Фаллады... Он спер мои книги. Если б он хоть читал их... Онадохнула на стекло, где остались жирные следы его пальцев, и начисто вытерла их носовым платком.

В ванной комнате без окна стены были в водяных подтеках, между стеной и ванной хозяйка складывала уголь. Ванной с облупившейся эмалью годами никто не пользовался. На крючке возле двери висели грязные полотенца, на веревке сушились фланелевые рубашки, от них пахло влагой. Франциска кончиками пальцев открыла кран над раковиной. Она никак не могла привыкнуть к этой ванной комнате, которая была ей так же отвратительна, как и в первый день... К этому я не была готова и впервые почувствовала себя деклассированной, выброшенной из жизни, тоска по дому словно ударила меня, четко ограниченная тоска по прохладным белым кафелям, махровым купальным простыням и запаху лавандового мыла моей матери. Все остальное не имело для меня никакого значения — то, что у нас не было ничего, кроме кровати, шкафа, коврика размером с носовой платок и бабушкиного секретера (рухлядь, говорил Вольфганг, пылеуловитель). Книжный шкаф мы поставили на ребро, таким образом, у нас был и стол... Нам исполнилось по девятнадцать, мы были несказанно глупы и надо всем потешались, над шкафом, над железной печкой и над тем, что мы теперь супруги... Только увидев ванную комнату, я взвыла...

Прищесса на горошине, сказал Вольфганг. Уборная была во дворе. Не все так шикарно живут, как вы. Казалось, он испытывал удовлетворение от того, что она тоскует по комфорту несправедливо ему дома. Франциска плакала. Я не выдержу, я умру, если мне придется мыться в этом хлеву.

Вечером он принес пакет «Аты» и отдраил раковину и унитаз. Я ничем не брезгаю, говорил Вольфганг. После войны мы жарили собак. Это тоже не фунт изюму. И спорим, ты не можешь взять голый рукой водопроводный плашт?

Он обожал доказывать ей, что его ничем не прои-

мешь, он жаждал добиться у нее признания. Показывал ей, как снимать с крючка угря, хватал его за плоскую змеиную головку и хохотал от удовольствия, когда черно-коричневый, липко блестящий угорь дрожащим хвостом обвивался вокруг его руки. Он говорил: «Ерунда, главное — следить, чтоб он тебя не укусил, они ядовитые...» Это были его краткие триумфы. Слепая ревность к разумным друзьям жены толкала его на безрассудно смелые поступки, и он демонстрировал ей фокусы здорового и сильного подростка: стоя на седле велосипеда, мчался с крутого откоса, бросался в водоворот под мостом и скакал по выгону на обезумевшем быке.

Летом, по воскресеньям, он убежал из дому чуть свет и до вечера пропадал на реке. Неподвижно, по пояс в воде, стоял в камышах и следил за маленьким шатким гнездышком выпи или быстрым легким шагом охотника проходил многие километры вдоль горного ручья, где под камнями или корягами ловил форелей. Домой он возвращался затемно, грязный, проголодавшийся, пахнущий болиголовом, рыбой и стрелолистом, с выгоревшими на солнце волосами. Он размахивал холщовым мешком, в котором трепыхались окуни, и обнимал насмерть перепуганную Франциску, ей уже казалось, что он утонул или сломал себе шею. Он заставлял ее корпящей над книгами и чертежами, усталые глаза, наморщенный от головной боли лоб. Вот я никогда в жизни не болел, хвастался он. Даже не знаю, что такое головная боль. А вы, интеллигенты, вечно дома торчите... Я бы ушел в море, но меня не взяли, из-за зубов. Я могу часами сидеть у воды, как пещь, не сходя с места, чтобы звери ко мне выкли...

Франциска добродушно улыбалась. Святой Франциск Ассизский... в один прекрасный день все голуби города садут к тебе на плечи...

Потом он стал пропадать и в будние дни.

Франциска спрашивала:

— Почему ты ничего не читаешь, Вольф? За то время, что мы женаты, ты не прочел ни одной книги.

— Я пробовал ради тебя, — отвечал он мирно. — Но засыпал через две страницы, что же тут поделаешь, я не студик...

На следующий день ей предстоял экзамен, она волновалась, слишком много курила.

— Пожалуйста, не кокетничай своим недостатком зна-

ний. Поверь, это не признак самобытности — путать «мне» и «меня», — резко сказала она.

— Брось свои поучения. Ты же знала, что выходишь замуж за простого рабочего...

Тогда они ссорились еще не так смертельно однообразно, как в последние годы, но у них уже выработался безошибочный инстинкт супругов, каждый знал, где у его противника большое место. Они разыгрывали тему и вариации, Франциска была находчива, за словом в карман не лезла, и в состоянии полной боевой готовности безжалостно бросалась в бой, ядовитыми шуточками выманивала его из бастиона самодовольной тупости и обстреливала иностранными терминами, регеровскими словечками и латинскими цитатами (позже, когда она начала заикаться, он мстил ей с наивной жестокостью ребенка, передразнивая и подстрекая ее: ну, давай, скажи сперва начерно...). Оружием Вольфганга было притворное миролюбие, а со временем он открыл и раздражающее действие таких слов, как «твое изысканное семейство», «вы, интеллигенция», «твои друзья», «эти психи», «мой здравый смысл»...

Хватит. Удовольствуемся схемой ссоры, похожей на сотни других.

— ...Ты же знала, что выходишь замуж за простого рабочего.

— Смени пластинку, — говорит Франциска, — это у тебя, наверное, от твоей старой простой мамочки: надо жениться в своем сословии. Твой дед и пьяница отец тоже не учились... Наш брат свое место знает... Сынок, это же господствующий класс! Бедные, но честные люди! Вы еще живете представлениями девятьсот пятого года.

— Еще слово о моей матери и... — говорит он, багровея. — Она всю жизнь гнула спину. А твоей мамаше все даром досталось: и машина, и ковры, и вся буржуазная дребедень...

— Благодарю. Эту капитель я сама знаю: ковры — буржуазно, галстуки — буржуазно, хорошие манеры — тоже буржуазно.

— Во всяком случае, мы и без ковров выросли и стали порядочными людьми.

— Порядочными! Я сейчас умру со смеху! Твоя сестрица завела ребенка, сама не зная от кого.

— Ну о твоём братишке лучше и говорить не будем. Корчит из себя аристократа... а весь город знает, с чем это кушают... Сверху — ах, снизу — швах.

— Оставь меня со своими прибаутками.

— Не каждый умест так учено выражаться, как ты.

Они смотрят друг на друга с озлоблением людей, слишком многое знающих друг о друге. Франциска бледнеет и вся дрожит: он оскорбил Вильгельма...

— Ну ладно, ладно,— говорит Вольфганг,— если тебя все это не устраивает, можешь сделать выводá.

— Выводы,— поправляет Франциска.— Выводы, мой мальчик, выводы. Увы, ты еще и неверно ставишь ударения.

Он отвешивает низкий поклон, срывает с головы воображаемую шляпу.

— Прошу прощения, госпожа архитекторша.

Она передергивает плечами, ее желтые глаза искрятся от ярости. Он отступает на шаг.

— Только без глупостей,— бормочет он и, осознав вдруг, что пережил сейчас секундный испуг перед этой пигалицей, этой соплячкой, громко зевает и говорит: — Ну, я пошел баньшки. Ты идешь?

— Нет, не иду, и не смей говорить «баньшки», это мерзко, мерзко...— Ее надтреснутый голос становится пронзительным.— Ничто другое тебе даже в голову не приходит. Ты же тупица, у тракенского жеребца больше разума, чем у тебя. Лучше я всю ночь буду спать в кресле. Постель — это все, что ты знаешь о браке...

Теперь он ее довел, она бушует, выходит из себя, и он может спокойным тоном победителя спросить, что же такое она, сверхумница, знает о браке?

— С тобой — это каторга вдвоем, пожизненная и без права на одиночку...

Ухмыльнувшись, он поворачивается к ней спиной.

— Ты права, и я спокоен.

Глядя на его шею, она думает, внезапно отрезав: и эту бычью шею я считала красивой, эту обыкновенную толстую шею... И холодно произносит:

— Сейчас в тебе, как в профессиональном натурщике, есть известный шарм, но через двадцать лет, дорогой мой, ты станешь просто комической фигурой...

Он даже не обиделся. Рисовавшиеся мне и наполнявшие меня ужасом картины не трогали его, он не видел того постаревшего, толстого человека с его чертами, который час за часом сидит у реки на складном стульчике, рядом в траве стоят бутылки с пивом, а в глазах этого

человека весь мир свелся к одной-единственной точке: плывущему на воде поплавку.

От него все чаще разлило пивом, когда он возвращался домой. Он пил немного тогда: несколько кружек светлого пива, несколько рюмок водки. Он в этом нуждался, целый день возишься с бензином и смазкой, говорил он, так тебе потом, чтобы ты ни ел, кажется, будто жуешь старую автопокрышку. Но это было только начало... Никогда не забыть мне те утра, когда я пыталась его будить... волосы его слиплись от пота, изо рта разлило кислотной, и я трясла его: вставай, скотина! Однажды, еще не прочухавшись, он вскочил и ударил меня кулаком в лицо. Из носа у меня хлынула кровь. За несколько дней до этого я ходила к директору его завода и молила... чтобы они его не выгоняли, чтобы еще раз попробовали с ним... я ручалась за него... Вольфганг взбесился: я не нуждаюсь в няньках, сказал он, я везде найду работу, в моем деле меня никто не обскочит...

Был уже седьмой час, и он опять опаздывал на работу, а мне через час надо было быть в проектном бюро, разыгрывать из себя милую маленькую фразу Экс, быть энергичной и дельной под струящимся аквариумным светом рядом с энергичными и дельными молодыми людьми в безукоризненных галстуках, с семейными фотографиями в бумажниках, и некому мне было рассказать о ночах и утрах в моей комнате, потому что и сама я знала только внешне жизнь этих славных, чистых, порядочных людей и их странное словоупотребление, согласно которому автомобильная авария — трагедия, а безумная любовь — экзальтация. «Мадам де Реналь ведь просто истеричка», — сказал кто-то из них... А когда от бедяги Регера сбежала жена — душераздирающая история, хотя он все это и заслужил, — я убедилась, что покинутый супруг — источник наслаждения для других. Я боялась стать посмешищем. Мне приходилось беречь лицо...

В действительности все это было довольно-таки смешотворно, правда? Смешотворно, что я потеряла голову, увидев на блузке кровавое пятно. Накапуне вечером я выстирала эту блузку, накрахмалила и выгладила, а тут мне пришлось переодеться и смыть пятно холодной водой, прежде чем оно засохнет. Мелочь, конечно, но из тех глупых, грязных, бессмысленных мелочей, которые сводили меня с ума... и потраченные на это десяти минут казались мне годами, позорно потерянными годами.

Он опять забылся своим пошлым, потным сном, а я нагнулась над ним и почувяла запах перегара. Он хрипел во сне, и я видела, как движется у него на шее кадык. Я чувствовала, что белею от ненависти, я ненавидела эту шею так, словно она существовала отдельно от его тела, и когда-нибудь... нет, сейчас... сжать ее, сдавить, задушить этот хрип...

Брезгливо оттопырив пальцы, Франциска завинтила край и отряхнула руки над раковиной. С полотенцем через плечо пошла к себе в комнату. В дверях она остановилась. Сердце ее упало. Гардины развеялись легкими белыми знаменами. Ничто не переменилось, ничто, кроме взгляда, которым она смотрела на стены, окна, раздуваемые ветром гардины, и с мгновенным испугом на самое себя в дверях в такой же, стократ повторенный вечер... она застыла, оглушенная, у нее закружилась голова от этого предупреждения о возврате к длинной череде дней, когда каждый наступающий день был зеркальным отражением прошедшего, те же самые коридоры, движения, краски, те же самые лестницы и тротуары, те же самые разговоры с теми же самыми людьми, их дежурные улыбки, кафе, полные дыма и болтовни, где каждый каждого знает в лицо, коричнево-красчатый, коричнево-мягкий клуб всегда с теми же самыми актерами, зубными врачами, художниками, супругами доцентов и похожим на ящерицу, вечно подвыпившим кельнером...

Она сидела у окна — рядом на полу стояла бутылка — и смотрела вниз на парк, на волнуемую ветром густую листву, на дворы и тесноту крыш с другой стороны парка, когда к ней вторглась семейка Экс, вернее, ее представители, пять человек: сестра, зять, братья, дядя, тот самый дядя Пауль, играющий на гармонике во время всех семейных торжеств, одноногий, круглолицый, со смеющимися карими глазами, другие — крупные, рослые, мускулистые... а старшая сестра — башня, а не баба, рубенсовская женщина, крутобедрая, с крепкой и мощной грудью, на которую, по словам Вольфганга, хоть кофейник ставь. Брат, как человек практичный, принес с собой бельевую веревку и ляжки с карабинами.

Они тщательно вытерли ноги и двинулись в комнату, сестра впереди, за нею доверительно подмигивающий дядюшка Пауль, он сразу обнаружил бутылку на полу и шутливо проехался насчет жажды и тоски по дому. Фран-

циска, сидевшая в своем красном бархатном кресле, бессмысленно смотрела на него.

— Мы пришли за вещами,— заявила старшая и с любопытством огляделась, оценивая и прикидывая, чем тут можно поживиться — она не даст себя надуть, Вольфганг, этот мальчк, он слишком добродушен, он готов уйти с одним чемоданчиком и оставить все барышне, этой Геновеве, которая и так уже не знает, куда деваться от бархла.

— Какне еще вещи? — спросила Франциска, пытаясь копировать мину и повадки Важной Старой Дамы, ее ледяную вежливость, однако на семейство Экс это никакого впечатления не произвело, особенно па толстуху, которая вдруг обпаружила недюжинное знание законов.

— Ой, я не могу! Какне вещи? Все надо делить, уж такой образованной следовало бы знать. Что в браке нажито, делится пополам.

— Но это все мое, я покупала эти вещи на свои деньги,— взволнованно отвечала Франциска. Она позабыла о страсти к бродяжничеству, о непоседливости и защищала свое имущество от экспроприаторов, от этой семейки, члены которой живут между собой как кошка с собакой и объединяются, только руководствуясь инстинктом стаи, чтобы выгнать затесавшегося к ним чужака.

— Ваш б-брат ведь все п-пропивал...

Тут уж она не угодила всем пятерым — то, что можно сказать по этому поводу, они бы и сами ему сказали, сестры, братья, зять...

— Такой молодой человек,— заявила старшая,— хочет что-то иметь от жизни. Мы бы ему вправили мозги, но ты ведь не желала, чтоб он к нам ходил, ты хотела отбить его от семьи... Видишь ли, барышня, нашему Вольфи пужна сильная рука... Если б ты его держала крепче...

Старая песня. Франциска задышала ровнее и решила не тратить лишних слов.

— Что ж, мне его привязать надо было?

— Ты по почам не являлась домой, мы все, все знаем.

— Я работала для конкурса.

Конкурс. Ну, эта всегда вывернется. Весельчак дядя Пауль сверкнул своими круглыми карими глазками и передал стоявшим в дверях братьям и зятю ее слова, те расхохотались. Они все время молчали, предоставляя говорить сестре, которую подстегивала ревность. А они, серьезные отцы семейств с широченными плечами и крепкими

мускулами дорожных рабочих, испытывали сострадание вперемешку с презрением к этому воробышку.

— Ну и что? — спросил младший, чернявая копия Вольфганга, тот, что явился с веревкой и ляжками. Он добродушно обратился к Франциске: — Будь умницей, девочка, тут уж ничего не попишешь, ты должна выполнить свой долг.

Она пожала плечами и, внезапно перестроившись, подумала: в конце концов, какое это все имеет значение? То, что нельзя изменить, надо принять достойно.

— Пожалуйста, милости прошу! — произнесла она с таким выражением лица, с таким жестом, что сестра пришла в ярость.

— А нос задирать тут, барышня, ни к чему. Сейчас ты корчишь из себя благородную, но мы еще посмотрим, мы еще посмотрим...

Франциска ухмыльнулась, она разозлила толстуху, это подсластило ей капитуляцию перед кланом, и теперь она, прислонясь к письменному столу и спокойно покуривая, наблюдала, как уносят ее пожитки, и даже подбадривала братьев:

— Только без ложного стыда. Ладно, ладно. Сперва радио...

Сестрица командовала мужчинами, осторожно застегивала карабины, перекидывала ляжки через их бычьи шеи и внимательно следила, чтобы ничего не поцарапалось, чтобы пожки не проехали по полу, настороженно прислушиваясь к крикам и болтовне на лестнице. Черпавый рассматривал картины на стенах, бледнолицую принцессу на пурпурно-красном, мчащемся по небу коне, фотографии макетов кафе и павильонов, радостные, воздушные здания и обгаженную натуру без рамки, которую Якоб подарил своей подруге, — девушка в позе Олимпии, карикатура на Олимпию, с костлявыми бедрами и темным лонном, смелый жест перевонлощен в скептически-самонадеянный, пародийной кажется черная бархотка, обвивающая шею... Черпавый подмигнул дяде Паулю и зятю, они покачали головами — до чего же, мол, гнусная девица, не за что подержаться, зять даже выразил возмущение: это непристойно, правда же, в приличной комнате такое не повесить.

— Не запачкайте картину, — сказала Франциска, а черпавый своим спокойным и разумным тоном ответил:

— Картина, да-а. Ну, это как назвать... Я так считаю:

не слишком-то он себя утруждал, этот мазила. Но ты ведь всегда чуточку задирала нос, девочка, я все говорю, как есть...

Он крепко стоял на своих крепких погах, могучий, как Атлант, державший на плечах весь мир, здоровый и непоколебимо убежденный в своем здравом смысле, в абсолютной бесполезности всех этих пачкунов и писак, ведущих паразитический образ жизни в стороне от тяжко работающих людей вроде него, которые принимают мир таким, как он есть, не ломают себе голову над пустяками и всяческими вывертами, а сидят по вечерам, смотрят, меряют, по пфеннигам высчитывают, что они нынче за день сделали... таким он видел себя, гран соли земли, но был всего лишь ископаемым, и он и весь клан Эксов — отбросы со своим недоверием к тем, наверху, со своей идеологией маленького-человека-с-улицы, с мошенническими приписками в рабочих нарядах, о которых они рассказывали, хитро посмеиваясь, словно вырывали каждую марку из зубов заклятого врага (посмотрим, кто кого?), с неразвитым и неразвиваемым вкусом, с любовью к фарфоровым собачкам, розовым ню и нечистоплотным грошовым журнальчикам...

— Да, так что я еще хотел сказать, — продолжал он немного погодя, — Вольфа ты больше не увидишь, об этом мы позаботились. Он смывается в Лейпциг, сейчас, поезд уходит через пятнадцать минут. — Он методично рассматривал ее, цепким взглядом мужчины, который не даст вскружить себе голову. — Вольф с ума по тебе сходит, ты это знаешь, пользуешься этим и бессовестно его мучаешь... Он не должен больше с тобой видаться, мы уж позаботились...

— Ты разбиваешь мне сердце, — сказала Франциска, вспыхнув.

Дядя Пауль между тем, нерешительно приплясывая на единственной ноге, принялся скатывать ковер. Втянув круглую голову в плечи, он соорудил гримасу: наполовину смущенную, наполовину шутливо-испуганную, когда Франциска повернулась к нему. Он ожидал протеста, торговли и хвыканья, но она, не обращая внимания ни на него, ни на сестру, которая, как хорошая хозяйка, проверяла пружины кресла, что есть силы хлопала по нему, выставив зад, Франциска протиснулась к шкафу и стала выхватывать белье из ящичков, срывать с вешалок платья и юбки, сошвырнула с полок книги, фотографии, журна-

лы, охваченная внезапно безумным желанием все послать к черту, выбросить, быстро очистила стол, не слушая никаких доводов чернявого — ничего такого он не имел в виду, речь шла только о долге и праве... но она вошла в раж и не могла остановиться, заикалась, не своим голосом бранилась, расколошматила заодно несколько чашек, и все это эффекта ради... Ну наконец-то клан отступил, впереди всех сестрица, довольная сверх меры (она держала на правом плече покачивавшийся ковер, свернутый рулоном, а свободной рукой подперла бедро, как бедуинка с кувшином воды), братья и зять на лямках перли шкаф, протащили его через коридор под пронзительным взглядом хозяйки, молча стоявшей в дверях своей комнаты.

Франциска захлопнула дверь. В комнате среди ужа-сающего беспорядка, набросанных книг, туфель, платьев, битой посуды, среди голых стен она расхохоталась: теперь они по горло сыты, вот это развал! Здорово, как в первые дни, в «эпоху ящиков», я начну сначала, одинокая, потерпевшая крах... Она чувствовала себя освобожденной, точно гора упала с плеч от этого приступа распу-щенности перед лицом семейства Экс. Франциска уже с радостным возбуждением обдумывала планы новой жизни, когда их телега, тарахтя железными ободьями, отъехала от дома...

В таком вот предновогоднем настроении мы охотно отпустим Франциску, опять уже ставшую Ф. Линкерханд, из этой главы, дабы в следующей сопровождать ее в Нейштадт, представить ей господина Шафхойтлина, демонического Язваука, Борнеманов и, наконец, Бенджамина.

Но если допустить, что она в нерешительности утратила свои иллюзии, сама себя сдерживая всяческими «когда-нибудь» и «как-нибудь», то поехала бы она вообще в Нейштадт, не случись того, о чем мы еще должны здесь поведать? Может быть, все пошло бы иначе, может быть, она, как и другие молодые люди из группы Регера, получила бы первую или вторую премию на конкурсе, и даже на международном, и вместе со своим профессором строила бы в Бухаресте, а потом и сама возглавила бы строительство высотного дома для нужд наук и искусств, который в народе окрестили бы «ракетой», «сигарным ящ-ком», «перстом указующим», но так или иначе с ним, лестно для нее, связывалось бы имя Линкерханд... короче говоря, она бы сделала карьеру (или, чтобы избежать этого

двусмысленного слова: она бы систематически продвигалась вперед)... но нет, вместо всего этого она сидит в закутке с рассохшимися от жары деревянными стенками, при свете вытребованной конторской лампы и пишет в школьной тетрадке маленькими неровными печатными буквами, пишет книгу, которую прячет даже от Бенджамина и о которой из суеверия сама дурно отзывается, так себе вещца, писанина, впрочем, тут и говорить-то не о чем...

Мы забегаем вперед. Итак, событие, раз и навсегда отравившее ей родной город, — возвращение Вольфганга. Он не уехал, он ввел в заблуждение свой клан, вернулся с вокзала, гонимый мучительным желанием — застать у Франциски этого старого хрыча Регера. Он ворвался в комнату, полный страха — или надежды — наконец-то ее застать, изблечить, осрамить любовника. Регер был его навязчивой идеей... только Якоба, как раз Якоба-то он и не подозревал, не обращал внимания на этого хромоногого... Франциска лежала на кушетке, раскинув руки, в полном блаженстве... Она вскочила, увидев Вольфганга, его лицо, глаза, полные слез. Он запер дверь и сунул ключ в карман.

— Не кричи, — сказал он тихо, — я вернулся... я не могу... не кричи.

...Утром она пошла на работу на Бётхергассе, как всегда пунктуальная, как всегда подтянутая, но воротник жакетки был наглухо застегнут, и она не ответила, когда Регер, веселый, со свойственной ему счастливой забывчивостью, приветствовал ее, просто не могла ответить, несмотря на судорожную работу языка и губ, у нее получались только хриплые и лающие звуки. Регер отвез ее домой в ее комнату, похожую на поле битвы, он призывал все силы ада на голову «красавчика идиота», этого вандала, но, сняв с нее жакет и увидев ее шею, он наконец заткнулся.

Он приходил каждый день, заклинал ее говорить — говорить, твердил он, — это избавление, самоочищение, слова — своего рода гигиена души, выговориться — почти уже преодолеть, вот я здесь, я слушаю, говори, ругайся, жалуйся, вот грудь друга, на которой ты можешь выплакаться... Она молчала, свернувшись клубочком под одеялом, все время лежала впотмах: притворялась мертвой.

Слустя неделю, когда в темноте, в искусственном мертвом сне в ней проросли новые силы, она встала, навела

порядок, сожгла письма, картины, записки, написала заявление об уходе, отправилась в ресторан и проглотила два бифштекса. Когда, выйдя из ресторана, она шла вниз по Лангегассе, главной улице центра, то услышала весьма дерзкие замечания о ее прическе, скабрзные комплименты от двух немолодых туристов, спущенных с цепи буржуа, боязливо-бесстыжих охотников в чужом городе... В ближайшей парикмахерской она остриглась и с яростным удовлетворением увидела в зеркале чужое бесплотное лицо.

Регер шумно встретил Франциску, назвал ее мальчишкой, лакомым кусочком для мужчин с извращенным вкусом, но он знал толк в символических поступках и, когда она положила ему на стол заявление об уходе, кивнул и сказал:

— Я понимаю, хорошо, хорошо, я уже понял, я уважаю твое решение.

Переездом в Нейштадт Франциска занялась ретиво и энергично. И все-таки уехала лишь в конце ноября, было холодно, легкий приятный морозец, снег... город никогда не выглядел красивее, чем теперь, с его белыми аллеями, заснеженными куполами и карнизами Н-ского дворца, с сутолокой ангелочков в снежных шапках... Барокко зимой, любимый, это то, что может пробудить тоску по родине, да...

Знаешь ли ты историю о Тамерлане и персидском зодчем, которому любовь даровала крылья? Хромой тигр приказал воздвигнуть в Самарканде дворец для своей любимой жены, куда он воевал в Средней Азии, ты без труда представишь себе, что произошло: перс смертельно влюбился в любимую жену своего работодателя. Она, китайская принцесса, была несказанно хороша, и зодчий заболел от любовной тоски, думая о ее черных миндалевидных глазах, о ее бровях, изогнутых, как серп луны.

Возвратившись в Самарканд, Тамерлан сразу заметил, что зодчий погибает от любви к прекрасной китайской принцессе, к его, Тимур-бека, Единственной, Первой и Любимейшей. Он предостерег перса. Показав ему пять крашенных яиц, Тамерлан сказал: смотри, с виду они совсем разные, а на вкус одинаковые. Архитектор же, поставив перед ним два стакана, один с водою, другой с водкой, ответил: смотри, с виду жидкость в них одинаковая, а на вкус разная.

Никак не удавалось зодчему отвлечься от мыслей о принцессе. Однажды он увидел ее с незакрытым лицом и так был потрясен ее красотой, что позабыл о немилосердном Тамерлане и его гневе. Он поцеловал ее... Принцесса быстро опустила чадру на лицо, но так страстен был этот поцелуй, что на щеке ее остался пламенеющий след. Увидев этот след, Тамерлан приказал схватить перса и убить. Тот, спасаясь от преследователей, взобрался на верхушку минарета. В безысходной своей беде, уже чувствуя на затылке дыхание исполнителей тамерлановой воли, он распростер руки и бросился вниз, но за великую его любовь у него вдруг выросли крылья, и он улетел на родину, в Персию...

Эту легенду мне рассказал отец, вычитавший ее у Кри-

стофера Марло,— Марло, которым он восторгался и которого порицал, гениальный ум и забияка, тридцати лет от роду он умер с ножом в груди, заколотый то ли в кабаке, то ли в каком-то лондонском закоулке,— тридцать лет, говорил отец, а что бы он мог еще создать, если бы не растратил, не разбазарил себя в драках и попойках со шлюхами. Я была еще маленькая, лет одиннадцать или двенадцать, мне очень хотелось иметь портрет этого Марло, и я думала: лучше прожить тридцать безумных лет, чем семьдесят спокойных и чинных. Много позднее, когда тоска овладела мною, бог весть по чему, бог весть по кому, мне вспоминалась история персидского зодчего, о нем я думала и вновь встретившись с Джанго, за день до отъезда, когда я привезла на вокзал свой чемодан, а потом, бродя по улицам и Старому рынку, чувствовала себя как на пятиметровой вышке, а значит, не очень-то хорошо, о нет, я ведь трусиха и не охотница прыгать, на худой конец плюхнусь на живот в воду, да и то если кто-нибудь на меня смотрит — быть храброй на публике дело немудреное, но в одиночестве, дорогой мой, в одиночестве...

Вдруг я увидела Джанго. И ужаснулась. Он больше не пляшет босиком на мостовой, в закатанных брюках, не ходит в пивную к «Пиа Мариа» жрать бутерброды с рыбой, да и зачем ему это теперь, я не говорю, что черствые бутерброды и закатанные штаны равнозначны юности — ах, Джанго, мой цыган, мой сообщник, что хотел заткнуть за пояс Хицдемита, он оброс жирком, как обрастают худощавые люди, жирком, не проросшим в мясо, но рыхлым, губчатым, и надо лбом у него уже не осталось курчавых черных волос, я это увидела, когда он снял шляпу. Джанго в шляпе — дальше ехать некуда! Он выглядел элегантно, но это была общедоступная элегантность людей среднего достатка. Итак, Джанго снял шляпу и улыбнулся учтиво и неуверенно, он меня не сразу узнал.

— Джанго, — воскликнула я и покраснела. Мне вдруг стало неловко, словно я сказала что-то неподобающе фамильярное. Он взглянул на меня с возмущением, как взрослый, которого другой незнакомый взрослый вдруг назвал глупым прозвищем школьной поры.

— Франциска, — проговорил он наконец и голосом изобразил вопросительный знак. Потом посмотрел на мой безымянный палец.

— Да, я все еще Линкерхауд. Вернее... опять Линкерхауд.

Он стоял, почтительно склонившись и держа в руке свою дурацкую шляпу, меня разобрала злость, и я сказала:

— Выразить мне соболезнование не нужно.— Мы стояли между колонн, у витрины «эксквизита», и в два голоса бормотали все глупые слова, предписываемые этикетом: вот судьба, спасибо тебе, и тебе тоже, семь лет, да, время бежит, я едва узнал тебя, я тоже не сразу, где же твои чудные длинные волосы, *sic transit...*<sup>1</sup>, музыка, ах, ни минуты времени, работа, семья, архитектура, да, все та же мечта, семьи у меня, слава богу, нет, прости, дети — это же такая радость, я, ты, он, она, надо было, следовало, время бежит — меня все больше разобрала злость, да и его голос изменился... прежде, веришь ли, он звучал, как медный колокол, а когда он пел, Бен, мурашки пробегали у меня по спине, в его голосе было больше секса, чем в целой балетной труппе в черных чулках... а теперь он говорил, как будто на язык ему налипла сливочная тянучка, и этим мерзким сливочным голосом рассказывал мне, что преподает физику, женат и вот уже четыре года как вернулся в наш город. Четыре года, и мы ни разу не встретились! Мне подумалось, что я и в последний день жизни не захотела бы его встретить.

Он крикнул: Мартин! Мальчик, стоявший под аркой, возле продавца лотерейных билетов, тотчас же приблизился, не подбежал вприпрыжку, чинный карлик с бантом, как у Линкольна, и в жокейской кепочке, но отвесил поклон, внушивший мне уверенность, что уж этот мальчик никогда не угодит мячом в окно. Он смиренно стоял возле нас, не пялился на меня, как другие ребяташки пялятся на незнакомых, но раз-другой мне удалось заглянуть ему в глаза, и, знаешь, Бен, все его лицо состояло из глаз, черных глаз Джагго, балаганного певца, даже когда он прикидывался святошей, в глубине этих глаз уже сидел маленький огненный петушок и кукарекал. У мальчонки есть что-то за душой... мне это понравилось, и я порадовалась за Джагго, впрочем, понравилось мне и его обращение с сыном — никаких: «Дай тете ручку» или притворства: «Мы с тобой говорим как мужчина с женщиной». Он просто положил руку на плечо мальчика, так мы и стояли, а когда они уже переходили улицу, он вел его, крепко держа за руку... Мой отец только однажды так вот вел

<sup>1</sup> *Sic transit gloria mundi* — так проходит слава земная (лат.).

меня по пыльному шоссе под вишневыми деревьями, когда в городе звонили все колокола, в первый день мира.

Человеку надлежит построить дом, посадить дерево и произвести на свет ребенка. Джанго и я, мы должны котироваться одинаково, у него сын, у меня дома, мне не в чем было его упрекнуть, кроме того, что он был уже не Джанго, а «некто», мужчина, округлый, довольный, обязательный, разумный и бесстрастный — все у него было в порядке, и я бы хотела лучше никогда его не встречать. Мы распрощались, он успел еще спросить о моем брате, как тот поживает, что подделывает. Обязательный вопрос.

— Вильгельм? — сказала я. — Он делает атомные бомбы. — Ложь, конечно, ярость заставила меня солгать. Тут впервые выражение его лица изменилось, но так, словно я совершила бестактность, произнесла непристойное слово, всем известное, но не выговариваемое.

Он шел между колонн, держа за руку своего Мартина, чья ярко-зеленая жокейская шапочка светилась в розовом воздухе, я осталась стоять у витрины, до слез удрученная, рассматривала свое отражение в стекле, пытаясь увидеть себя такой, какой он меня увидел... по правде говоря, меня удручало не то, что Джанго так изменился, а то, что изменилась я: я оплакивала невозвратимые годы, отделявшие меня от невинной школьницы в матросской тельняшке, которая еще могла пацаранать на листе рисовальной бумаги... «just as true as the stars above...».

Внушительная спина под твидовым пальто еще раз выпрыгнула уже на другой стороне, у стоянки, где заснеженные машины сгучились, как стадо гигантских белых черепашек, несколько секунд маленький зеленый глазок светофора — Мартин — еще поблескивал рядом с твидовой сдвигой, потом и он погас, снег сыпал густо и беззвучно; я прислонилась к стене, у меня голова закружилась от счастья, от тщеславия, я опять чувствовала себя молодой, молодой и свободной, как никогда, хмельной от желания утвердить себя в жизни и строить дома, которые одарят своих обитателей чувством свободы и достоинства, внушат им радостные и благородные помыслы... в эти мгновения я готова была одобрить все когда-либо мною сделанное и упущенное, я была влюблена во всех этих милых торопливых людей, в снег, в Старый рынок, который мы, мы восстановили, в камешных фламандо возле дверей кафе,

в мир, где все возможно, даже человеку возможно, распростерши руки, броситься с башни и — улететь...

Поездка оказалась долгой и скучной, через три часа Франциске пришлось пересест в пассажирский поезд, скорые не останавливались в Нейштадте. Убогий пейзаж, все серо, плоско, поля, чахлые березы, обнаженные кусты, как пучки розог, общипанные сосенки, деревушки: дюжина дворов, стога сена, круглые или остроконечные, они походили на негритянские хижины, огороды — сплошная капуста, поломанная телега, над полями каркающие черные стаи воронья. Не хотела бы я быть здесь похорошенной, думала Франциска, сидя у окна и с неослабевающим интересом вглядываясь в свою новую родину. Она решила во что бы то ни стало полюбить ее, этот далекий восточный уголок земли, который ученики Регера, закатывая глаза, называли медвежьим углом, малой Сибирью и еще Валахией.

Около одиннадцати облака распались на волокна, и поля заискрились на солнце под голубым небом.

На одной из станций, название ее было написано уже на двух языках, в вагон вошли три старые крестьянки, толстые, как бочки, во множестве черных юбок, доходящих до щиколоток, и в зеленых шерстяных платках, топорщившихся наподобие монашеских чепцов, неприкрытым у них оставался только лоб да пальца в два шириной полоска жидких седых волос, расчесанных на прямой пробор и как бы приклеенных к голове сахарной водой. Они держали на коленях свои корзины с крышками, прижимая их к зеленым маленьким фартучкам, и неторопливо, с долгими паузами, переговаривались на незнакомом Франциске языке. Она откинулась на сиденье и сквозь темные очки с любопытством рассматривала трех старушек, чьи морщинистые лица сходились между собой, как три зимних яблочка, они словно сошли со страниц братьев Гримм, явились из далекого прошлого в старинных своих нарядах. (Ей и впоследствии не удавалось различать этих крестьянок, которые на велосипедах приезжали в Нейштадт за покупками, зимой и летом одинаково закутанные в платки и в свои семь юбок. Крепкие старушки с узловатыми жилами на руках сильными, мужскими взмахами выкашивали траву возле новых домов.)

За жидкой полоской леса, чуждая и суетливая в этой сельской заброшенности, строительная площадка вгрызалась в рощи и поля — будущая электростанция, в сталь-

ном плетении ее залов вспыхивал синий огонь электро-сварки, а позади — длинный ряд шедовых крыш, похожих на зубья пилы. Три трубы — четвертая пока еще пень высотой в каких-нибудь двадцать метров — тонули в клубах дыма и пара, которые в морозном воздухе принимали форму облаков, лениво тянувшихся по небу, точь-в-точь белые кучевые облачка летнего вечера. Старик с крючковатым носом, сидевший напротив Франциски, слегка нагнулся и сказал:

— Обратите внимание, фрейлейн, сейчас мы подъезжаем к стране черного снега.

Черный снег. Его слова произвели на нее впечатление, они звучали как название романа, ей представилась мрачная прекрасная земля, и она, с высокомерием бездомной, вспомнила о Джанго, оседлом Джанго (слой сала под кожей, слой сала на душе), но глаза ее видели только бурые скелеты деревьев, стоячую воду заброшенных шахт, серый слой грязи, жирную угольную пыль в отвалах, плоские оползающие холмы, а носом она недоверчиво втянула едкий запах, проникший сквозь щели окна, который, когда поезд подошел к Нейштадту, стал плотным, почти осязаемым — адская вошь серы и тухлых яиц.

— Да, все нутро выворачивает, — сказал старик, сидевший напротив, с мрачным удовлетворением человека, пророчившего и, увы, напророчившего беду.

— Они отравляют воздух своим «компинатом»... Вы ведь не здешняя, фрейлейн?

— Нет. — Она была пачеку. — Я в гости еду.

Чужая, значит, ничего не смыслящая — у него развязался язык. Желчь захлестывала старика, и он поневоле приостанавливал поток горьких сетований, которые Франциска толком не понимала, старик говорил на жестком диалекте, немного в нос, раскатывая букву «р» так, что она опрокидывала и расширяла все остальные согласные. Они явились как цыгане... совсем чужой народ, все у нас перевернули вверх тормашками, согнали с насиженных мест...

(Согнали, да. Но он, конечно же, получил немалое возмещение, крестьяне не позволяют наступать себе на ногу.)

— Деньгами, — продолжал старик, — этого не искупить. Мы сотню лет сидели на своем хуторе.

Мои предки учредили солидное издательство и больше ста лет печатали книги, но разве я сокрушаюсь? Непопра-

вимое слез не стоит. Беда старика в том, что его прадед поставил свои коровники и овчарни на бурых углях... Франциска находила прекрасными ржаные поля, мак-самосейку, синие-зеленые, колеблемые ветром стебли; аромат только что скошенных лугов приводил в восхищение ее, горожанку, привыкшую ступать по мостовой, но отличить тучную почву от тощей, чистокровную лошадь от полукровки она не умела, людей же, которые цеплялись за свои два-три гектара, холмили трех своих коров и ползали на коленях по своему картофельному полю, считала безнадежно старомодными.

— Они спесли наш дом бульдозерами...

— Неужели? — переспросила Франциска, уже уставшая от старика и его ворчливо-обиженной болтовни. Она его жалела, бульдозеры, казалось, прокатились у него по сердцу, она устала его слушать, именно потому, что жалела. Бедняга, ему уже ничем не поможешь... он напомнил мне моего отца, хотя ничего общего между ними нет, ничего, кроме слов, казалось написанных у них обоих на лбу и в печальных стариковских глазах: я больше ничего не понимаю в этом мире... Прошло около двух лет с тех пор, как мои родители уехали, и я все вспоминала день, когда видела их в последний раз. Унылая ноябрьская погода, дождь со снегом, замерзшие лужи, сырой ветер и небо, свисающее до мостовой. Никогда раньше не казался мне наш дом таким заброшенным, обитель призраков, нарочито приведенная в упадок, пятна сырости и ржавчины, осыпающаяся штукатурка, тусклый паркет, развалившиеся ступеньки террасы. Симсону, думала я, достаточно задеть мизинцем косяк двери, и дом рухнет, погребя своих обитателей под трухой и гнилыми балками...

Квартал миллионеров двадцатых и тридцатых годов поменял свое имя и своих жителей, пуританская аристократичность уступила место вычурному комфорту, жизни, устремившейся во внешний мир и выставлявшей себя напоказ. В старых стенах из клинкерного кирпича проломил французские окна, к домам пристроили студии и зимние сады с гигантскими стеклянными стенами, которые превращали улицу в высокие сумрачные залы. Летом сады пестрели голливудскими полосатыми качалками, на которых лепиво потягивались полуголые девушки, тентами, соблазнительно ярко цветущими кустами, среди них мелькали юнцы в белых теннисных костюмах.

Мы, то есть Якоб и другие, называли этот квартал на

берегу реки «профессорским краалем», «интеллигентским гетто». Мы терпеть не могли золотую молодежь, подраставшую в этих виллах, хотя знали лишь песколько экземпляров таковой, молодые обезьяны, они бы с удовольствием носили значок с именем и титулом своего папаши на лацкане пиджака. Они здорово интересовались мастерскими художников, но их туда пускали разве что с бутылкой первокласснейшего «мартеля». Да, для этих делали исключение... Однажды и нас пригласил один юнец, когда его родители были в отъезде, глухой мальчишка, он не переносил спиртного и к десяти часам уже ничего не соображал, а Якоб заказал телефонный разговор с каким-то отелем на Кубе. Под утро позвонили из Гаваны, мы разбудили юнца, он пошел к телефону, и, даже не успев сообразить, что, собственно, произошло, успел истратить половину своего месячного содержания. Но, поскольку это были не его деньги, счел возможным восхититься остроумием Якоба — вот они, штучки богемы, ха-ха!

Итак, мы ненавидели этот квартал, к тому же у нас не было ни малейших шансов когда-нибудь там поселиться, сидеть за рулем «опель-капитана» и проводить вечера в клубе. Омерзительный «замок Тюдоров» эпохи грюндерства — перед войной он принадлежал некоему фабриканту, дегенеративному плейбою, который проматывал папашины миллионы с юными гомосексуалами, пока не был гнусно убит на Капри одним из своих мило щебечущих любовников. В вечерние часы на въездной аллее стояло множество машин, в том числе и западногерманские с восточногерманскими номерами, и только у Вильгельма хватало смелости вдвинуть свою развалюху «джипси» между «крайслером» и серой спортивной машиной, но Вильгельм — сноб, когда хочет быть снобом, и, веришь ли, Бен, он, единственный из всех, кого я знала, в джипсах умеет чувствовать себя, как в вечернем костюме, и в вечернем костюме — как в джипсах...

Линкерханд позвонил по телефону на Бётхергассе и сказал, что ему надо с ней встретиться и поговорить. Они виделись редко, только в дни рождения и на рождество — эти обязательные визиты Франциска выносила покорно и скучливо. Она сидела за столом, прямая и тихая, в вымуштрованной позе, как прежде, когда фрау Линкерханд засовывала ей книги под мышки, принуждая дочь распрямить плечи, втянуть живот и торжественно есть свой

суп, поднося ложку широкой стороной ко рту, а главное, молчать, упорно молчать.

Франциска, опустив глаза, притворялась, будто она учтиво прислушивается к голосам шелковых призраков — дам и господ из трех или четырех «хороших семейств», которые уже слишком устали, чтобы покинуть «зону», город, свои разрушающиеся виллы, и жили на пенсию, на доход от сдачи комнат, от продажи мебели и украшений и — словно воспоминания — это нечто материальное, вещественное, запасы продовольствия например, — мыслями о прошлом и разговорами, нескончаемыми разговорами о прекрасных временах, о своем прошлом, которое они так отполировали во время бесед за чайным столом, что оно казалось им безупречнее, беззаботнее, светлее, чем было на самом деле.

Дамы показывали друг другу фотографии (бабушкин скандалезный альбом Франциска, слава богу, стащила и припрятала: целую галерею мужчин с бакенбардами, длиннородых, усатых, далее студентов-корпорантов, которых она из-за их шапок принимала за мальчиков-лифтеров), болтали на французском, выученном в немецких пансионах, на языке своей солнечной юности, музицирования и белых бантов в волосах... о, они уже изрядно позабыли французский и допускали досадные ошибки, эти старые болтуны. Да, Важная Старая Дама, думала Франциска, — это совсем другой коленкор, грешница с золотым крестиком на животе, она принимала все перемены, да еще пыталась извлечь из них радость.

Когда Франциска по веле слышала эти разговоры, ей казалось, что черная вода уже доходит до ее рта, она задышалась, кашляла, шарилась вокруг себя, опрокидывала чашку или барабанила вилкой по тарелке, покуда взгляд фрау Линкерханд не позволял, вернее, не приказывал ей выйти из комнаты.

В приступях ярости она готова была кричать, ругаться, бить посуду, если бы во главе стола не сидел Линкерханд, отрешенный, с неопределенной улыбкой для каждого и ни для кого, с глазами, расширенными, как у совы, за толстыми стеклами очков. Он, казалось, вообще не замечал, что происходит вокруг него, но иной раз, когда один из этих полубезумных от высокомерия патрициев излагал свои политические взгляды, сравнивал, например, «зону» со страной чудес, его лицо заливала краска и он в досаде начинал вертеть шейей... Линкерханд краснел за своих го-

стей, за их тупую ограниченность, за подслащенные шпильки: да, если, как вы, иметь родственников на западе... растворимый кофе... здесь четверть фунта третьесортного в зернах стоит... голландское какао остается непревзойденным... мой зять в Дортмунде... раньше оно обходилось... раньше мы могли... эти люди ни на что не пригодны, сейчас они заговорят о церкви св. Анны и вандализме.

Франциска забивалась в библиотеку, вскоре туда входил Линкерханд, спрашивал: ты, наверно, читала сейчас «Историю Тома Джонса»? или: возьми с собой Штехлина, поверь, дитя мое, все мы возвращаемся к Фонтане... В последние годы они прониклись каким-то застенчивым расположением друг к другу и беседовали робко и официально. Он не спрашивал ни о Вольфганге, ни о ее работе, архитектура для него умерла вместе с Шинкелем. Он говорил с ней только о книгах, о Марке Аврелии, Монтеи и Сент-Бёве. Они стояли, прислонившись к книжным шкафам, в неудобных позах, словно подчеркивая случайность, мимолетность встречи, и не двигались с места по часу и более, перелистывали книги, говоря приглушенными головами, откуда не появлялась фрау Линкерханд, тощая и нервная. Она выговаривала им обиженно, но бодрым тоном, предназначенным для ушей остальной компании, — как неприлично убежать от дорогих гостей. Потом насмешничала: allons, отшельники, — надеюсь, у вас нет тайного сговора? Франциска чувствовала, что способна стать убийцей, но покорно шла следом за своим покорным отцом, который тихонько пробирался обратно в мавзолей, украшенный серебром и баккара.

В семнадцать Франциска не замечала отца и дико, хотя бессознательно, ненавидела мать. И еще прежде, чем она поняла, что тупая муштровка, ханжеское воспитание и постоянная брюзгливая критика этих святош убила в ней естественное чувство собственного достоинства и взвалила на нее бремя уязвимости и неуверенности в себе, она пыталась сбросить его, но это приводило только к экзальтации, приступам ярости, слишком самоуверенному поведению. В двадцать четыре она относилась к матери как к фигуре из папюптикума. Эта дама стала тощей, настойчивой, хитрой и свои стяжательские инстинкты развила до степени деловой мертвой хватки.

После войны она годами спекулировала кофе, какао, сигаретами и так ловко изворачивалась, что на процесс

спекулянтов кофе не была вызвана даже в качестве свидетельницы, хотя по уши увязла в их аферах. Надо думать, Линкерханд не знал, каким образом ему все еще удастся сохранять дом, жить, даже хорошо жить: *beatus ille qui procul negotiis*<sup>1</sup>, говаривал он, а Франциска ничего об этом знать не желала. Несколько раз она видела письма, адресованные ее матери Кёльнской юридической конторой, что-то слышала о наследстве — земельных участках и пивоварнях, которыми владела Важная Старая Дама, но ни о чем не спрашивала, да ей бы все равно не ответили.

Фрау Линкерханд отказалась от своего монашеского облачения — домотканое полотно и туфли без каблуков, — теперь она одевалась элегантно, в черное или темно-серое, румянилась и носила легкомысленное гранатовое ожерелье с таким шиком, что даже Франциска не могла не признать: на белоснежной груди оно выглядело бы не лучше, чем на этой тощей шее в сочетании с седыми подсиненными волосами. Фрау Линкерханд была совладелицей одного из антикварных магазинов, которые за последние годы появились во множестве, снабжая *homines novi*<sup>2</sup>, нуворишей и фаворитов нового государства готическими мадопнами, ампирной мебелью и мейсенскими сервизами. Или этот магазин был только алиби, только предлогом для других темных сделок? Мы этого не знаем. Каждое воскресенье фрау Линкерханд неизменно отправлялась в церковь, опускалась на колени, как только трижды прозвонит колокольчик служки, и смиренно склоняла голову при пресуществлении, *deo gratias*<sup>3</sup>.

Франциска уже в передней чувствовала, что в доме что-то изменилось, какой-то неопределенный запах, беспоконство, носящееся в воздухе, словно старые, давно не заводившиеся часы, скрипя и охая, пришли в движение и, хрипло звеня цепями, готовятся забить. Открыв дверь в голубую гостиную, она увидела голые стены, криво висящие шторы, обои, выцветшие там, где еще недавно стояла мебель в стиле бидермайер, изогнутая кушетка, обитая полосатой, в цветочек материей, и комод вишневого дерева... здесь Франциска, в зеленом свете, падавшем из сада, писала школьные сочинения, читала письма своего юного рыцаря, здесь сидела соседка, мать несчастной Эльфриды,

---

<sup>1</sup> Блажен, кто удалился от дел (лат.).

<sup>2</sup> Людей без роду, без племени (лат.).

<sup>3</sup> Благодарение богу (лат.).

не проронив ни слова,— в тот день, думала Франциска, когда началась великая распродажа. Теперь уже подбираются остатки, все идет к концу. Она была зла и растерянна: значит, какое-то сентиментальное чувство еще связывает ее с этим домом.

Линкерханд сидел в библиотеке и читал, держа лупу перед подслеповатыми глазами. Франциска влетела в комнату, не постучавшись.

— Это уж слишком! Мадам разбазаривает все, что не прибито и не приклеено. Скажи, ты хоть в курсе того, что здесь происходит?

Линкерханд положил лупу на книгу.

— Сядь, дитя мое.

Она осталась стоять здесь, среди знакомых ей с малых лет шкафов, картин и портьер, встревоженная, физически подавленная запахом тления. В рядах книг зияли широкие бреши.

— Твои книги, твои инкунабулы... Я уже ничего не понимаю!

Он склонился над столом и заложил руку за ухо. Франциска прикусила язык, нельзя было говорить так грубо, и постаралась исправить дело.

— Но это же невозможно, отец, ты продаешь свои книги, неужто у вас так плохи дела?

Он снял очки — иными словами, спасся бегством и превратил свою дочь в маленькую подергивающуюся и безликую тень.

— Я долго не решался сообщить тебе,— сказал он,— не хотел взваливать на тебя излишнюю тяжесть и приводить тебя в разлад с твоей совестью, ибо нашему тщательному взвешенному шагу препятствуют законы,— законы, которые я не смею назвать антигуманными... — Он загнулся в растерянности, стал ошупью искать свои очки: услышал ли он смех маленькой пестрой тени — Франциски?

— Ах, папа,— сказала она,— ты заготовил изящно построенную речь, а на самом деле хочешь только сказать, что вы деру даете, сматываете удочки, драпаете, уносите ноги, переезжаете, найди сам подходящее слово. Можно мне закурить?

Он кивнул. Потом сказал: для него большое облегчение видеть, что она равнодушно относится к этой весте. Франциска пожала плечами.

— Что ж удивительного? Я этого ждала, и мне на это пачхать.

Он молчал, только поворачивал голову туда, где слышался шорох ее шагов; она ходила по комнате с сигаретой в зубах, засунув большой палец за кушак и все время чувствуя на себе взгляд его мутных, бесцветных глаз — беспомощный взгляд близорукого человека, трогавший и огорчавший ее. Старик, оп совсем поседел, стал тенью, лишним человеком, один он даже перекресток перейти не может, неминуемо попадет под колеса, в любом смысле под колеса, я бы хотела, чтобы мне и вправду было на это начхать.

— Значит, в Бамберг, — сказала она, — и снова издательство, господи ты боже мой, при такой конкуренции, и как же ты выступишь против издательств с большим штатом?

— Не ломай себе голову из-за меня, — отвечал Липкерханд. — Наше имя все еще что-то значит... в известных кругах читающей публики, пусть даже в узких кругах.

— Через пятнадцать-то лет! — ошеломленно воскликнула она. — Где ты живешь? Никто ничего не помнит, мы списаны со счетов, за твое имя никто не даст тебе кредита... Поезд ушел. — Она повторила сердито, раздраженная его молчаливым укором: — Поезд ушел раз и навсегда, ты прозевал время. Ты все еще сидишь в своей Волшебной горе и играешь в девятнадцатый век, для тебя даже Золя слишком современен — грубый и тупоголовый, а когда ты возвращал мне моего Хемингуэя, ты держал книгу двумя пальцами, словно мерзкую дохлую крысу, а ведь ты в ней и трех страниц не прочитал. Думаешь, я не понимаю, почему ты никогда не спрашиваешь о моей работе? По-твоему, мы, инженеры, лишены даже искорки esprit<sup>1</sup>, мы ремесленники без единой мысли в голове, ничтожества и разрушители. В старину все делали лучше, Микеланджело был титан, Пеппельман достоин преклонения, да, да, да, я берусь это утверждать, и ты был бы прав, папа, если бы хоть одиноподобный раз соизволил подумать, что мы строим не для королей и деньги черпаем не из королевской казны, что мы, то есть вы, проиграли войну и что наш город на сорок процентов был разбомблен... Прости... Я не хотела повышать голос. Мне очень жаль. — Она быстро подошла к нему, не позволив себе ни одного примирительного жеста, ибо это было бы больно им обоим: не обляла его, ни даже руку ему не пожала —

<sup>1</sup> Ума (франц.).

бледную, усеянную коричневатыми старческими пятнами руку, которой он похлопывал по столу, — но уселась на ковре у его ног, притворяясь почтительной и покорной. Милая жапровая картинка, отец и дочь... — Держу пари, ты даже не заметил, что я тем временем выросла, да, выросла, стала разумной и научилась сострадать, может быть даже чрезмерно, до душевной слабости.

...Иногда она прогуливалась мимо их бывшего городского дома. В сад и увитую ломоносом беседку ей уже нельзя было заходить — привратник и красно-белый шлагбаум сторожили ворота, — но окна наборного цеха выходили на улицу и в летние вечера стояли открытыми. Франциска видела наборщиков за линотипами, в неоновом свете, полуголых в невыносимой жаре помещения, с блестящими от пота спинами, слышала, как шлепаются матрицы в ящик. Стоя под окном, она втягивала носом запах горячего свинца и машинного масла, а приложив ладони к стене, чувствовала далекое сотрясение, отзвук глухого топота из печатного цеха, где, казалось, ворочают камни...

— ...Издавать книги, — сказала она, — наверно, так же волнующе интересно, как писать их, и, конечно же, есть еще люди, которые помнят о твоём издательстве. На днях профессор Шуберт спросил, не могу ли я достать ему несколько томов «Немецкого зодчества».

— Очень мило, дитя мое, что ты пытаешься меня утешить, и, если эта просьба не ложь во спасение, ты получишь два или три тома для твоего профессора. Эта серия и вправду была лучшим достижением нашего издательства... — Он откинулся на спинку кресла, в далекое прошлое, и Франциска уже раскаивалась, что завела этот разговор, расшевелила старое горе. Терпение, сказала она себе, сейчас неминуемо последует история о зачатом враге, о злополучном слесаре Лангере...

— Подумать только, что этот тупоумный малый позволил уничтожить медные доски, — проговорил Линкерханд, — это неправдоподобно, совершенно непростительно и весьма симптоматично для государства, которое ни во что не ставит культурные ценности прошлого.

— Теперь его бы за это дело посадили, — заметила Франциска.

— Для государства, — продолжал Линкерханд, глухой ко всем доводам, — чьи поэты не в состоянии написать приличной немецкой строчки, чьи книги и газеты — прежде всего газеты — поддались такой русификации, такому оди-

чанию языка, что читать их стало невозможно... Утилизация цветных металлов! Нет, дитя мое, что бы ты ни говорила: уничтожение невосстановимых клише — это был акт символического значения. Я выдержал здесь пятнадцать лет — лишних пятнадцать лет... Не буду отрицать, что мне до известной степени симпатичны идеи этого государства, великие мысли о *fraternité*<sup>1</sup> и освобожденном человечестве, но одно — прокламировать мысли, другое — претворять их в действие. Назойливая пропаганда, казарменная дисциплина, никудышное хозяйствование, убийственное пренебрежение к индивидууму и к индивидуальному мнению — вот что досталось вам на долю.

Он говорил уверенно и решительно, с точными ударениями, словно этот раздел его речи был подготовлен и записан, — уже репетирует речь главы издательства, подумала Франциска. Но выражение лица — странное противоречие — у него было робкое и неуверенное, как всегда, когда он снимал очки, стирая контуры ненавистного мира и лицо собеседника. Иначе разве бы ему удалось хоть что-то сказать решительно, чего-то потребовать, разыграть из себя главу фирмы, отца семейства, хозяина? Но это же удивительнейший трюк, думала Франциска, которая все еще сидела в позе индianки — на пятках — и снизу вверх смотрела ему в лицо. Она растворил меня, чтобы не видеть, коварно устранил и спасся в разговоре с самим собой. Трюк, но она его распознала и сейчас радовалась своему открытию, он моллюск, говорила она себе, податливый моллюск, податливый из нежелания подчиниться.

— Я долго раздумывал, как то советует Гораций, какое бремя могут выдержать плечи, а какое нет, — продолжал Линкерханд. — Мой удел *ex malis eligere minima*<sup>2</sup>, а меньшее зло — это та Германия, в которой еще хоть как-то сохранился европейский образ мыслей и европейские нравы...

Она нарушила с детства усвоенные ею правила игры и перебила его, нетерпеливо, сердито, она словно бы уже разлучилась с ним, хотя и продолжала сидеть у его ног в позе покорной дочери.

— Ну, что ж, Европа и европейские нравы. Я в этом ничего не понимаю и судить не берусь. Во всяком случае, желаю тебе счастья с издательством. Madame, наша мамочка, как-нибудь уж это устроит. И еще спасибо за то,

<sup>1</sup> Братство (франц.).

<sup>2</sup> Из зол выбирать меньшее (лат.).

что ты не поинтересовался, не придется ли Бамберг мне больше по душе, чем дрянной среднегерманский городшко.

Он покрутил шеей, лоб его пошел красными пятнами.

— Или,— сказала Франциска,— ты здесь ничего не видишь и ничего не понимаешь, потому что ничего в эту страну не инвестировал. Даже надежд.

Она поднялась, взяла со стола очки и подала отцу. Он так неловко заложил за уши дужки, что две седые пряди встали дыбом, теперь он, испуганно глядя из-под толстых стекол, больше, чем когда-либо, походил на филина.

— Но я не задал тебе никакого вопроса,— сказал Линкерханд. Он указал на фотографию в серебряной рамке — Важная Старая Дама, чинная, в закрытой блузе и корсете из китового уса, с улыбающимися раскосыми татарскими глазами.— Ты унаследовала ее счастливую натуру, ее талант быть счастливой даже в самых гнусных обстоятельствах.

— Да? — рассеянно произнесла Франциска.

Она стояла как на углях, мешкала, застегивала и вновь расстегивала пальто, думая, как бы ей уйти, избегнув болезненной и комичной церемонии прощания. Линкерханд, видимо, еще не собирался прощаться, он не смотрел на дочь, кашлял в кулак, потом стал шарить по столу, ища ключ от бокового ящика, и смутил Франциску нарочито хитрой миной и комически торчащими седыми прядями и наконец проворно, хотя как будто и робея, вытащил на свет божий пакет, завернутый в синюю бумагу и обвязанный сине-белым, мудроно скрученным шнуром.

— Мне будет очень приятно, если ты примешь этот подарок, сувенир, как вы пынче выражаетесь... — Благоговейно положив руку на пакет, словно это был священный сосуд, он смотрел на нее печальными мутно-желтыми глазами.— Одним словом,— проговорил он поспешно и тихо,— речь идет о полном собрании Гёте в издании Котты,— издании, которое Гёте еще видел собственными глазами.

Франциска, готовая побиться об заклад, что он скорее даст отрубить себе правую руку, чем расстанется с ревиво храпимым изданием Котты, была поражена и растрогапа, нет, этого подарка она принять не может. Линкерханд уговаривал ее, торопливо, вполголоса, вернее, уговаривал себя, рука его лежала на пакете, вежно его ощущивала, медлила, наконец поднялась.

— Ты сумеешь это оценить, ты плоть от плоти моей,

а я... Я могу сказать вместе с философом Биасом (который бежал из своего отечества, оставив все свое добро): все мое со мной... Не робей, Фрэнцхен, возьми это.

Фрэнцхен. Этого только не доставало. Она дергала шнурок, все еще крепкий, хотя пакет уже давно развалился, бумага местами порвалась, вернее, ее пробуравили уголки кожаных переплетов.

— Ты даже сам все запаковал,— невнятно и слегка заикаясь пробормотала Франциска.

— Боюсь, довольно неумело.— Они стояли друг против друга.— Твоя мать вернется с минуты на минуту.

— Ну что ж, я встречаюсь с ней на улице.

Линкерханд учтиво проводил дочь до парадной двери, идя на шаг позади нее, большой, согбенный, он не оставлял ей времени не только на размышления об этой двери, которая вскоре будет заперта и запечатана, но даже на «спасибо» и «до свидания», а протянул ей руку, вернее, кончики пальцев и с сухим «прощай» отпустил ее в ноябрьский вечер, в мокрый снег, когда же она обернулась на лестнице, дверь была уже заперта. Она сразу перешла на другую сторону и, сгибаясь под тяжестью книг, зашагала вдоль заборов под мокрыми ветвями — бегство от материнских слез и предупреждений, от деловой женщины, которая упорно и неумолимо работала во имя нового общественного взлета...

За окном мелькали поля, хранимые статуями богородицы, Мариями в синих плащах и распятиями, позолоченные перекладины и мученические тела которых сверкали в солнечном свете. Старик с крючковатым носом лопотал теперь что-то о католичестве, о фальши этой религии, о разнузданных карнавальных обычаях, и Франциска вздохнула с облегчением, когда поезд остановился у вокзала в Нейштадте — одного из тех провинциальных вокзалов, что через четверть часа уже выветриваются из памяти: невысоких, кирпичных, с перроном под крышей из волнистого железа, с проржавленной клеткой кассы и мокрыми грязными плитками. Франциска потащила свои чемоданы к единственному такси на вокзальной площади. Таксист благосклонно взглянул на залетную птичку, но и пальцем не пошевелил, когда она стала втискивать свой багаж в машину. Откинувшись на сиденье, он спросил:

— Тяжеловато, а?

— Труп, разрезанный на куски,— пояснила Франциска.— К проектной конторе высотных зданий, пожалуйста—

ста.— Он разглядывал ее в зеркальце.— К городскому архитектору,— добавила она.

— Значит, на кладбище,— откликнулся таксист.

— На кладбище, так на кладбище,— сказала Франциска и рассмеялась.

Они ехали по улицам то деревенским, то типичным для захолустного городка, мимо кирпичного завода, мимо виллы в колониальном стиле, затем по новой, широко раскинувшейся бетонной дороге и действительно остановились у кладбища, сквозь решетку которого виднелась часовня среди темных сумрачных елей, кресты на просевших могильных холмиках и ангел шести футов роста с трагически сложенными крыльями. Таксист указал на тропинку между кладбищем и садоводством.

— Сюда, фрейлейн. Три марки двадцать. Если вы пойдете напрямик через кладбище, путь будет короче.

Франциска бросила отчаянный взгляд на ангела, на суровое каменное лицо с изуродованным непогодой носом, его как будто разбили ударом кулака, и сказала с суеверным ужасом:

— Мимо него идти? Ни за что. Даже средь бела дня не пойду. (Впоследствии она привыкла к нему, звала его Аристидом, каждый день ходила кратчайшей дорогой между могил, на крестах которых, испещренных религиозными изречениями, значились славянские имена с неисчислимым количеством шипящих букв, никогда не забывая по-добрососедски приветствовать Аристида.)

Когда она свернула на тропинку, таксист догнал ее.

— А ну, давайте-ка сюда,— сказал он, беря у нее из рук чемоданы. Галантность его отдавала брюзгливостью.— Вы, верно, издещия? Сразу видно. Берлин, так?

— Да, Берлин,— подтвердила она, желая сделать ему приятное, может быть, здесь название столицы отливало тем же радостным блеском, каким отливало для нее слово «Париж». Они прошли мимо кладбища, слева оставив теплицы и целую плантацию роз, укутанных соломой.

— Солнечные очки зимой, наверно, последняя мода в Берлине? — сказал таксист.— И пальто не наше, сразу видать.

— Да, от Мауерзеглера,— отвечала Франциска. Она была не настолько принципиальна, чтобы отправлять назад подарки Лилкерханда. Он писал ей короткие, сухие, напичкованные цитатами письма, разумеется с педантическими ссылками на автора и произведение, выказывая

свою привязанность к «восточной» дочке этими пакетами, делал уступки суетности нашего мира, стремясь порадовать ее кокетливыми вещами, последними «молодежными» моделями, объявленными «New look», — право, интересно было видеть, как названия английских новинок выглядели на сопроводительных записках: казалось, они нацарапаны отчаянно сопротивляющимся пером...

За садоводством тропика кончалась площадкой, усыпанной щебнем, на которую выходили фасады трех ржаво-красных барачков: «Инженерные сооружения», «Проектирование высотных зданий», «Капитальное строительство». Прогнивший, местами повалившийся забор отгораживал барачки от лужайки, усаженной плодовыми деревьями, а за ней начинался сосновый бор. Возле барачков на грязном, истоптанном снегу стояли ящики с углем.

— Красота, — сказала Франциска, но не услышала своего голоса и, бледная, ошеломленная грохотом детонации, глянула вверх. По голубому небу пронесся реактивный истребитель с дельтовидными крыльями, нырнул в веселое белое облако на горизонте, и тут, вслед за ним, докатился его гром и эхо этого грома, отброшенное небесным сводом, точно стеною гор. Таксист поставил чемоданы на землю и сказал:

— Старый «МИГ», используется только для учебных полетов.

— И часто они здесь пролетают?

— Аэродром, можно сказать, рядом.

Она шла на дыпочках по скрипучим доскам коридора. На дверях справа и слева были приклеены таблички: «Зеленые насаждения», «Статика и конструкция», «Высотное строительство», «Центральное отопление». Из-под двери в умывальную вытекал ручеек и образовывал мутную лужу. Прощай, Бётхергассе и тихий монастырский сад, прощай, монастырская галерея, мастерская и аквариумный свет. В приемной перед кабинетом городского архитектора железная печка контила потолок и стены, печеная девица стучала двумя пальцами по клавишам пишущей машинки. Вертявая эта особа с головы до пят смерила взглядом Франциску и нехотя поднялась со стула — доложить Ландауеру о ее приходе. У нее юбка перекосилась, подумала Франциска, неряха эдакая. Регер бы и трехдней не продержал ее у себя.

Такие обороты речи — Регер бы не продержал, Регер бы поступил иначе, Регер бы сразу... — будут часто повто-

ряться на протяжении этого рассказа, и мы заранее просим о снисхождении к Франциске, если времена у Регера, затянувшиеся студенческие времена, позолоченные воспоминаниями, годы в ее родном городе, люди (за исключением Экса и его клана) виделись ей теперь в розовом свете. Простим Франциске эту печально дружелюбную фальсификацию. Много мерзкого доведется ей пережить в Нейштадте, доведется открыть в себе талант быть счастливой, приписываемый ей отцом, и его проверить... Ландауер, когда она впервые его увидела, уже капитулировал перед этими мерзостями, он уже собрал свои пожитки, разочарованный шестидесятилетний человек, то есть глубокий старец, по понятиям Франциски. Худой, долговязый, к тому же сутулый, лицо его с тонким изогнутым носом время от времени искажал нервный тик, правый уголок рта оттягивался книзу, и вся правая щека начинала дергаться.

Он пошел навстречу Франциске и поцеловал ей руку (она зарделась от удовольствия, это же «старая школа», некогда говаривала фрау Ликкерханд), пододвинул ей стул и сел лишь после того, как села она. Умудренный усталый взгляд, некоторая небрежность в одежде — приметы старого холостяка. Он, как и Регер, послал так называемый галстук Гропиуса — старомодную бабочку в горошек, отдаленно напоминавшую «бант г-жи де Лавальер» и его изящную изобретательницу. Он спросил Франциску, как она доехала и хорошо ли себя чувствует.

Потом несколько деревянной походкой подошел к двери и попросил секретаршу принести кофе.

— Кофе у нас весь вышел, — вызывающе ответила эта особа. Франциска содрогнулась от ее грубого, пропитого баритона. Ландауер тихонько прикрыл дверь, повернулся к Франциске и развел руками.

— Прошу прощения, милая фрау Ликкерханд, тут ничего не поделаешь, похоже, это прощенья нашей Гертруды... Попытайтесь наладить с ней добрые отношения — без этой нерихонской трубы вам все равно не обойтись... Несчастное она создание... — Он встал. — Если позволите, я сейчас познакомлю вас с моим преемником. Да, сегодня мой последний день здесь, — добавил он с улыбкой, от которой один уголок рта у него опустился, а правая щека задергалась. — Я не буду иметь удовольствия работать с вами.

В приемной Франциска не без робости взглянула на

Гертруду, будущую свою подругу и шалую соратницу. Девушка, ее ровесница, роста чуть пониже среднего, была довольно изящна, если не говорить о ее мощной груди кормилицы, фунта два, подумала Франциска, спокойно могла бы уделить мне. Бледное остренькое лицо Гертруды с неподвижными кукольными ресницами казалось придавленным тяжестью высокого и очень выпуклого лба. Высокий лоб — признак ума, любила говорить фрау Линкерханд, коварно намекая на низкий лоб дочери. Но при виде этих безбожно сдвинутых пропорций, пожалуй, лучше было вспомнить испуганный возглас Важной Старой Дамы: господи Иисусе, ну и башка у этого малого! Здесь уже паличествовало нечто болезненное, до жути гипертрофированное: гнев Франциски на пристальное разглядывание и грубые манеры переродился в целовкость, в чувство вины, которое она всегда испытывала при виде калеки и которое так и не прошло у нее, хотя Гертруда, защищая свою шкуру, могла любого мужчину заставить напиться до потери сознания и вогвать в краску целые отряды строительных рабочих своим хриплым баритоном и непристойной руганью.

Ландауер познакомил их, и Франциска, как особа благовоспитанная, заученно любезно улыбнулась, но увидела лишь настороженную, более того, враждебную мину.

— Я очень рада, — учтиво произнесла она.

— Не спешите радоваться, — прорычала Гертруда, — все равно скоро драпанете отсюда. Здесь же задница мира, а может, вы это уже скумекали?

— Вы считаете... — пробормотала Франциска.

— Но это же монстр какой-то, — сказала она Ландауеру, когда шла с ним по коридору.

— Пунктуальна, усердна, вполне грамотна — вот ее неоспоримые достоинства. Сюда, прошу вас, пройдемте к господину... — уголок его рта дернулся книзу, — к товарищу Шафхойтлию.

Железная печка, законченный потолок, окна без занавесок, педантически прибранный письменный стол и на узком шкафчике довольно страшная в этой скучной комнате зеленая красноглазая рожа с оскаленными зубами — маска черта; натянув ее на голову, можно плясать в карнавальном шествии и пугать девушек. Всю левую стену занимала карта — план застройки Нейштадта.

Ландауер оставил ее наедине с Шафхойтлином, пообещав, впрочем, после обеда показать ей город. Ему будет

очень приятно, сказал старый холостяк, в последний день пройтись по улицам с молодой, красивой, хорошо одетой женщиной, — говоря это, он, правда, взглянул на Шафхойтлина, тот с неудовольствием отвернулся.

Шафхойтлин ей решительно и сразу не понравился. Коренастый, курчавый, с короткой шеей, лет за тридцать. Холодно-суровое и подозрительное выражение его от природы добродушного и приветливого лица придавало ему какую-то окаменелость. Добросовестный и дельный инженер-строитель, он натянул на себя свое новое положение как слишком тесную перчатку, он играл роль начальника, но играл ее плохо. Не решаясь ничего предпринять без согласия вышестоящих инстанций, он стремился безволие Ландауера подменить твердостью и строгим руководством, но только изображал твердость: он сделался резким, на вопросы отвечал сухо, не щадил самолюбия своих сотрудников. В студенческие времена Шафхойтлин писал стихи, теперь разве что тайком читал их, словно запрещенные сочинения, и отрекся от тоски по поэзии, от вольнодумных шуток. Жизнь сурова, это цепь обязанностей, и общество ждет от него точнейшего их выполнения.

Он пренебрежительно отнесся к Франциске, еще не видя ее; она была ученицей Регера и, вероятно, его возлюбленной. Регер в письме восторженно о ней отзывался. Теперь, когда она сидела напротив него, ему не давала покоя ее смешная мальчишеская прическа, ее рот и зубы с острыми клычками: эта особа, ловко орудуя ножом и вилкой, закусывает мужчинами. В далекие годы, во время студенческих каникул, он работал у Регера и с сердитым неудовольствием педагога вспоминал этого расточительного человека, его непринужденность, его звонкий смех и вдохновенные идеи... Театральный гром, повадки гения... велика заслуга блестяще разрешать блестящие задачи, реставрировать дворец, восстановить прославленный Гевандхауз, щедро распоряжаться миллионами из городского бюджета и не трястись над каждым грошом, как мы грешные, в спорах отстаивающие линейный сантиметр ширины подокошника, ведущие нескончаемую переписку из-за скоростного крана и никогда не слышащие и слова благодарности. Человечество восхищается фантазерами и очковитирателями, необходим же ему труд простого и усердного работника, незаменимого, ежедневно выполняющего свой долг, но его оно не замечает — отблеск праздничных огней падает на избранных, не на большинство...

— Профессор Регер рекомендовал вас, тепло рекомендовал,— сказал Шафхойтлин. Он возвысился до иронии.— Боюсь только, мы не сможем дать вам работу, соответствующую вашим способностям.

Она засмеялась, еще ничего не подозревая.

— Он здорово меня хвалит, да? — Со счастливой растроганностью она думала о своем учителе, который простил ей измену и даже теперь, даже здесь простирал над ней свою длань.

— Оценивает,— холодно поправил ее Шафхойтлин.— Надо вам здесь сориентироваться.

Он встал, подошел к карте на стене и вынул наконец левую руку из кармана. Пальцы ее были усеяны бородавками, темно-коричневыми мерзкими наростами, от которых Франциску бросило в дрожь. Бородавки — штука подозрительная, считала она, это не просто дефект кожи, опп, как и обгрызенные ногти,— признак неопорядка в сексуальной жизни или психического расстройства... У нее самой после целого ряда диких столкновений с Вольфгангом на мизинце вырос такой поганый цветок, на который никакие лекарства не действовали, покуда доктор Петерсон, отлично знавший свою первозную пациентку, не направил ее к знахарке. Та ее окуривала и заговаривала, Франциску это забавляло, хотя ей и было жутковато — но жуть, как известно, предпосылка веры,— и коричневая галючка исчезла. Итак, этого пеладно скроенного типа, который выжил Лапдауера, подтачивал какой-то душевный недуг, а может быть, думала она, его грызет непомерное честолюбие.

Линейкой он показывал ей план застройки, обводил жилые комплексы нового района — запланировано было шесть комплексов, три уже были закончены, четвертый еще строился — и беспорядочную толчею домов Старого города. Железнодорожная линия, связывавшая город и комбинат, на севере полукругом обходила поселок (на карте еще была обозначена защитная полоса леса, на деле же он был давно срублен, открытые разработки уже подходили к городским окраинам, и в туман западный ветер приносил с собой вонь газа, лениво тащившиеся тучи угольной пыли и тонкого желтого песка из карьеров).

— Вы вместе с коллегой Язвауком будете разрабатывать план санитарного переустройства Старого города,— сказал Шафхойтлин, иными словами, на два месяца приговорил ее к скучнейшей, глупейшей работе, какую толь-

ко можно выдумать,— знай себе орудуй со светокониями, цветными карандашами и таблицами, необязательное задание для студентов третьего семестра.

— Надеюсь, вы не составили себе особо привлекательного представления о задачах, которые будут здесь на вас возложены. Если вы полагаете, что Нейштадт — поприще для экспериментов, то советую вам расстаться с этой мыслью. На забавы у нас времени нет. У нас одна задача — строить жилища для трудящихся, как можно больше, быстрее и дешевле. Запомните это раз и навсегда.

Она сидела прямо, сжав колени, глаз ее за темными очками Шафхойтлин видеть не мог. Он заложил за спину руку с бородавками.

— Вы поняли меня, ффрау Линкерханд?

— Вы все сказали достаточно ясно, господин Шафхойтлин,— отвечала Франциска с улыбкой, обнажившей ее острые клычки — о, зубы она ему еще покажет, она уже не девочка, у нее есть свои планы, но нет иллюзий... Во всем, что касалось ее профессии, она была здравомыслящей и разумной. Прилежная Франциска готовилась к Нейштадту, как к экзамену, и ночи напролет читала в своей разгромленной комнате все книги о градостроительстве, которые имелись в библиотеке Регера. Она возвела вал из этих книг между собой и призраками прошлого, ее энергия, уже годами рассредоточенная, теперь была устремлена к одной-единственной цели, она училась легко и быстро. Позволяла себе не больше пяти часов сна — пять часов бессознательного состояния, отдавая на произвол страшных видений: это был, например, бег на месте, она мчалась, хотя ноги ее увязали в асфальте, или пыталась захлопнуть дверь, которую держало нечто черное, волосатое, безымянное. Огромный гриф затемнял небо своими крылами, а не то белая лошадь, беззвучно смеясь, скалила зубы. Однажды рука об руку с кем-то она взбежала по лестнице, высокой как гора и белой как снег, они бежали легко, словно на ногах у них были крылья. Проснувшись, Франциска вспомнила, кто держал ее руку, вспомнила мальчика из одиннадцатого класса и то, как он смыкал черные короткие ресницы, склоняясь над ее тетрадкой...

Вечером Шафхойтлин столкнулся с нею в ресторане, неважно в каком — все эти новые рестораны с их стандартными залами, стандартной мебелью, гроздьями круглых светильников, запахами зала ожидания и пластмас-

сы, все были похожи как две капли воды, — он увидел ее затылок, а потом и повернутый к Ландауеру профиль с полуоткрытым ртом: старый шанхасец, подумал Шафхейтлин, опять размышлял о Китае. Он подошел к стойке и, повернувшись спиной к ним обоим, стал пить пиво, кельнерша задела его локтем, проходя мимо с подносом, уставленным водкой, пивом и сосисками, — сильная, ладная женщина с вытравленными волосами. Он воззрился на ее ноги: короткая юбка не прикрывала колен.

Ему тошно было от запаха пива, от табачного дыма, от громкого пьяного говора молодых людей, игравших в скат или в кости, от острых испарений их мокрых замазанных ватников. До него доносился голос Ландауера, хотя слов он и не разбирал — старый ловелас, опять, как обычно, часами несет какой-то беспринципный, безответственный вздор, — а когда он снова слышал низкий захлебывающийся смех, у него мороз пробежал по коже; он страшился смеха за своей спиной. Любую шутку он относил к себе, считая, что его никто не любит. Когда кто-то перешептывался или замолкал при его появлении, он испытывал физическую муку — грудь и спина его зудели, словно от экземы.

Он заказал еще пива и бессмысленно уставился на холодильник, в котором бутерброды с рыбой громоздились рядом с иссохшими пирожными, прислушиваясь к голосу за своей спиной, а Ландауер все рассказывал, рассказывал... о серебристом предвечернем свете над речкой Жемчужной, о сладостных звуках свирели, об охоте па тигров в одной из южных провинций, о крохотных мастерских резчиков по слоновой кости и бегущих рысцей, тяжело дышавших, поющих вереницах крестьян и солдат, которые несут в плоских корзинах землю для постройки дамбы, рассказывал о Пекине и Храме неба, что высится над низкими домишками бывшего китайского квартала, круглом, сияющем самой яркой голубизной, которую только можно себе представить, о пагодах с тремя ярусами крыш, о молчаливых буддийских священнослужителях, что прячут руки в рукавах своих желтых одеяний, о садах и дворцах в Запретном городе...

— Уверю вас, дорогая, это совершенная архитектура, — говорил Ландауер.

В конце двадцатых годов он уехал в Китай, через несколько месяцев после шанхайской резни, и строил там

школы для детей коммерсантов в немецком сеттльменте. По пути домой, в купе транссибирского экспресса, английский инженер-мостостроитель, ни слова не говоря, протянул ему газету. Он прочитал о народных волнениях в Германии, сошел с поезда в Новосибирске (там все и вся окоченело от холода, пятьдесят градусов мороза, Обь подо льдом, снег доходил до резных оконных наличников) и поехал обратно в Шанхай. Много лет спустя он разыскал в Нью-Йорке одного из своих братьев, другие братья, сестры и родители стгнули то ли в Освециме, то ли в Берген-Бельзене.

Прошлой осенью он снова побывал в Пекине и Шанхае. Ему казалось, что он возвращается на родину, но приехал он в качестве туриста в совсем другую страну, в стерильно чистые города, где матери с черноглазыми младенцами на руках закрывали рты марлевой повязкой, где не было больше нищих и проституток, а кроткие и гордые китайцы — слуги в гостинице — отказывались от чаевых и еще стыдили его: оп-де, сам того не сознавая, привез воспоминания о желтых боях и слугах в немецком сеттльменте, лопочущих на англо-китайском жаргоне. На одной промышленной выставке он увидел несколько юношей и девушек, склонившихся над какой-то машиной, он не понимал диалекта, на котором они говорили, ничего из ряда воп выходящего здесь не происходило, просто молодые люди в синих, солдатского покроя кителях обступили машину, взглядами, казалось, разбирая ее на части. Но эта картина прочно врезалась ему в память. Никогда, говорил он Франциске, — а она слушала его как зачарованная, подперев лицо руками, — никогда не забыть ему сосредоточенного рвения и умной любознательности, написанной на их лицах, и еще никогда не было ему так ясно, что эти молодые люди, тихо и чинно проходящие по выставке, не жестикулирующие, не хохочущие во весь голос, исполнены чудотворной энергии и способности к действиям, которые повергнут Европу в изумление и отчаяние.

Шафхойтлин у стойки донял свое пиво. Он спросил пачку сигарет и стал рыться в карманах, ища мелочь, наконец повернулся и изобразил удивление. Ландауер, всё время не упускавший из виду его курчавую голову, небрежно помахал ему тремя пальцами. Шафхойтлин пошевелил между стульев так, словно его вели на сворке.

— Более очаровательной слушательницы себе, право, нельзя пожелать, — сказал Ландауер, склонясь над столом

и целуя руку Франциски повыше запястья.— Глаза как плоски... Но вы устали, дорогая, молодость требует сна. Простите болтливого старика.

Шафхойтлин остановился возле стула Франциски и ледяным тоном сказал:

— Я велел отвезти ваши чемоданы в Дом приезжих.

— О боже, я совершенно забыла об этих дурацких чемоданах. Большое спасибо, как это мило с вашей стороны.

И все с невиннейшей миной. Просто забыла. Ее беспечность испугала Шафхойтлина, он методически обшаривал номер в гостинице, если, собираясь в дорогу, замечал нехватку одного лезвия; сидя в поезде, всегда держал на коленях портфель и доводил до слез все свое семейство, не найдя на обычном месте сапожной щетки. Вещи надо беречь. Беспорядочность внушала ему подозрение, за нею он чувял недисциплинированность мысли, несерьезное отношение к жизни. После обеда он обнаружил ее чемоданы в коридоре и потащил их к автобусу, а потом в Дом приезжих, двадцать минут ухлопал на дорогу, а теперь она, как кость собаке, швырнула ему «спасибо». Конечно, думал он, она была уверена, что какой-нибудь сознательный дуралей позаботится о ее пожитках.

Ландауер указал ему на свободный стул.

— Не хочу вам мешать,— заявил Шафхойтлин, но тем не менее помешал или вообразил, что мешает — разве эти оба не обменялись бесстыдно-понимающим взглядом? Он сидел рядом с Франциской, слышал запах ее кожи, ее волос — легкий аромат апельсина. Он повернул свой стул и сел спиной к проходу. За высоким столиком напротив стойки вспыхнула ссора, шум нарастал, приходилось кричать, чтобы слышать друг друга, Шафхойтлин крикнул:

— И какое же у вас сложилось впечатление?

— Ужасное,— крикнула в ответ Франциска,— хуже куда.

— Что?

Пивная кружка пролетела, едва не коснувшись его головы, и разбилась о стену. Девушка у стойки визгливым голосом звала на помощь. Стул, поднятый для удара, угодил в гроздь светильников. Шафхойтлин поблдевел, кто знает, с перепугу или от злости на Франциску. Ландауер, не выпуская из рук бокала с вином, нет-нет да и отпивал глоток, устало и брезгливо глядя на всю эту кутерьму, на потных орущих нарней. В драке они уже не различали, кто враг, а кто союзник, в слепой ярости лупцевали друг

друга, среди опрокинутых столов, осколков, пивных луж чье-то искаженное, залитое кровью лицо вдруг вынырнуло из туч табачного дыма.

— Безобразие! Надо принять меры! — воскликнул Шафхойтлин. — Необходимо навести порядок. — Он снял пиджак и повесил его на спинку стула; видны стали вздувшиеся жилы на его шее и широкие кряжистые плечи, на которых туго натягивалась рубашка. Он двинулся по проходу, нагнув голову и вытянув шею, словно гусак. Франциска взволновалась: ну это уж глупо... пусть расколошматят друг другу свои дурацкие башки, если не находят им лучшего применения. Он себе даже тыла не обеспечил, тем не менее она мысленно пожелала ему «ни пуха ни пера» и влезла на стул посмотреть, как Шафхойтлин «принимает меры», храбрый из недаантизма, и силится разнять ком, что катается на полу, призвать к миролюбию тех, что вгрызлись друг в друга, это сплетение тел, рук, ног. Она увидела за соседним столиком молодого человека и чуть не закричала: Вильгельм, Вильгельм!

Я едва не упала тебе на грудь, Беп, сердце мое остановилось, а ты, ты читал свои газеты, глухой ко всему этому мычанию и воплям, к шуму и гаму, ты даже глаз не поднял, чтобы сказать мне: здравствуй, единственная моя любовь. Наконец-то, где же ты пропадала все это время?

...Ах нет, то не был удар грома, которому Степдаль посвятил целую главу. Женщины, ставшие недоверчивыми из-за собственного своего несчастья, говорит он, неспособны на такие революции сердца, и правда, я не думала о любви, тем более о сексе, с этим было покончено, меня в дрожь бросало при одной мысли о том, что после того вечера представлялось мне только насилием... Меня потрясло твое сходство с Вильгельмом, и в этот миг я, ни о чем не раздумывая, перенесла на тебя все чувства, которые испытываю к брату, мне казалось, ты должен быть таким же умным, как он, и рыцарственным, и — вообще все... Даже когда он приехал из Москвы и на нем были такие же комичные русские очки, как у тебя, невообразимое оружие из проволоки, но он утверждал, что они ему дороги, так как один из его великих ракетчиков носит точно такие же, — даже Вильгельм испугался и сказал: этот парень действует мне на нервы... я словно с зеркалом разговариваю, а рожка из него на меня смотрит омерзительная... Мне ясно одно: после того как я тебя увидела в первый раз, ты уже не шел у меня из головы, и я тебя получала,

потому что человек всегда получает то, чего по-настоящему хочет...

На нем была спортивная куртка оливкового цвета, расстегнутая на груди, он засунул под нее целую грудку газет, на столике перед ним тоже лежали газеты и журналы, красная тетрадь «Вельтбюне», «Айшхайт» и «Вопросы философии» — видно, скушил добрую половину газетного киоска, он читал и курил, держа сигарету большим и указательным пальцами, как солдат или лесоруб, горящим концом внутрь, к ладони, и Франциска видела его, так ей казалось впоследствии, ясно, но издалека, словно на большом расстоянии, когда воздух чист и прозрачен. Лоб Вильгельма, его сломанный нос, высокие скулы, подпиравшие глаза — глаза с воспаленными веками за очками в проволочной оправе, — прямые, сросшиеся на переносице брови. Но Вильгельм рыжий, лиса... а лисы хитрые и фальшивые, говорили девочки в школе, эти маленькие ведьмы, пугавшие Франциску мудрыми изречениями своих бабушек: люди со сросшимися бровями умирают неестественной смертью — обычно от руки убийцы, да-да, подтвердила белокурая красавица.

Кельнерша схватила долговязого детину за загривок и, наподдав ему коленкой в зад, выпихнула за дверь, прямо в объятия оперативной группы, подоспевшей в машине с сиреней мигалкой и сиреней, потом, глазом не моргнув, расправилась со следующим, не горячась, не растрепав своей изящной прически с кокетливым бантиком на затылке. За дверьми блеснули фуражки полицейских, деvушки повскакали со стульев, Франциска расхохоталась: пятеро или шестеро мужчин, ободранных, с распухшими физиономиями, одновременно старались протиснуться в туалет, чтобы выпрыгнуть из окна во двор — старый-престарый трюк, на него не попадает ни один полицейский, слорим, что полицейские уже дежурят в несвещенном дворе...

Кое-кто выказывал лицемерную добропорядочность: сижу я спокойно за столиком и пью свое пиво, вот мой друг — свидетель, а обороняться, насколько мне известно, пока еще не запрещено. Они все были отлично осведомлены о своем праве на самооборону, ни один из них не помнил, кто, собственно, затеял свалку. Только Шафхойтлин, вернувшись на свое место, с кровоточащей царапиной на носу и, слава богу, в неразодранной рубашке, впрочем с двумя бурыми пятнами на манжете, мрачно сказал:

— Все та же публика, перебежчики границ, бездельники, отлынивающие от работы, которых после тринадцатого августа посадил нам на шею Берлин. Перевоспитание при помощи трудовых процессов — мера эффективная, ничего не скажешь. Но что же делают эти пройдохи из жилищного управления? Они поселяют все эти элементы в одном блоке, и те, до сих пор разрозненные, быстро объединяются. Вот какое создалось положение.

Недели через две-три после тринадцатого появились лозунги, написанные на мостовой мелом, а то и масляной краской: «Долой СЕПГ», и намаляванные на стенах домов свастики. Рабочие комбината с дубинками в руках, по двое или по трое патрулировали почные улицы. Драки, похожие на атмосферный разряд, на грозу, быстро надвинувшуюся в знойный летний день, целый ряд преступлений, телесных увечий, кражи со взломом, несколько случаев изнасилования встревожили обитателей блока, которые приехали сюда из разных частей страны, не знали своих соседей и, встречаясь на улице, даже не раскланивались. Пошел шепоток о каком-то борделе, о провинциальном call-girl-ring, цены там будто бы колебались от пяти до десяти марок. Люди говорили: всему виной стена. Берлинские шлюхи и вся шантрапа, даже проституирующие мальчики, вилля бедрами, околачивались перед рестораном «Голубь мира».

— Суций Вавилоц, — говорила Франциска, захлебываясь от смеха, особенно когда Ландауер уморительно изображал их: томные глаза и черные бакенбарды — лицо, накрашенное от висков до самой шеи. — Пять марок? Да это же смехотура... А мои друзья утверждали, что я здесь подохну от скуки. Нейштадт не менее запятец, чем сусликовые прерии в Миннесоте.

— Не знаю, что тут смешного, — заявил Шафхойтли. — Вы неправильно смотрите на вещи, да-да, неправильно... К тому же не стоит всему верить, люди чего только не болтают от скуки. — И добавил, ни к кому не обращаясь, хотя его слова явно относились к гримасничавшему Ландауеру: — Я считаю, что распространять такие слухи — по меньшей мере легкомысленно. За ним может скрываться целенаправленная пропаганда против стены, защищающей нас от фашизма.

Ландауер подозвал кельнершу.

— Четыре водки, но, прошу вас, не Адлерхофской. Вы не откажетесь выпить с нами, фрау Хельвиг?

— Вам я отказать не могу.— Она принесла четыре стопки.— Советская, господин Ландауер, последки я сберегла специально для вас.— Шафхойтлин сидел неподвижно, явно рассерженный фамильярным заигрыванием с кельнершей.— Да,— сказала она,— так вот, по двадцать раз в вечер, «выпейте с нами стопочку», и, если бы мы не знали кое-каких фокусов с холодной водой и чуточкой холодного кофе под стойкой.— Была она гладкая, белокожая, лет эдак под сорок, и пахло от нее приятно, как от свежевывстиранного и подкрахмаленного полотна.

Ландауер поднял свой стакан.

— Это мой последний вечер здесь, фрау Хельвиг... Перенесите свое благорасположение на эту юную даму.— Он взял ее руку, некоторое время продержал в своей и тихонько спросил:— Ну а как обстоит дело с вашим молодым супругом?

— Бог ты мой, господин Ландауер, видно, нет у меня счастья. Опять не тот, о ком я мечтала. Он уезжает в Росток работать на верфи, а вы сами знаете — с глаз долой, из сердца вон... Но квартиру я все равно получу, в высотном доме, я каждый день после работы прохожу мимо и радуюсь, они уже пятый этаж строят. Я хочу, непременно хочу жить на восьмом, ниже ни за что не соглашусь.

— Вот видите,— сказал Ландауер и погладил ее руку,— квартира уже есть, а «тот» уж найдется, вы так выглядите... а если и нет — холостяцкая жизнь, пожалуй, лучше, чем семейная.

— Куда лучше,— вставила Франциска. Фрау Хельвиг взглянула на нее своими ясными синими глазами, самыми смелыми на свете, решила Франциска. Она покраснела и сочла необходимым сказать ей что-нибудь приятное.— Какой у вас красивый бант, я сразу его заметила.

— Это тоже фокус,— смеясь, отвечала фрау Хельвиг,— я сама его изобрела и никому не говорю, как падо его завязывать, даже своим товаркам, хотя они и умирают от любопытства.— Она отошла, но снова вернулась к их столику и сказала:— Господин Ландауер, мне очень жаль, но вашу Гертруду мне придется отсюда выставить, она все наше заведение перемутит.

Ландауер молча поднял свои длинные костлявые руки, ладонями наружу — сдаюсь, мол, тут ничего не поделаешь...

Когда они направились к двери, какой-то бледный до серости сутенер подставил ножку, видимо, он имел в виду

Франциску, но споткнулся Шафхойтлин. Сутенер, ухмыльнувшись, пробормотал: «Прошу прощенья, шеф». Шафхойтлин прищурился, словно яркий свет ударил ему в глаза, и вытянул шею. За его спиной кто-то тихо, но отчетливо проговорил:

— Мы с тобой еще сочтемся, охотник за головами.

Это была уже не пустая болтовня в пивнущке, не вырвавшаяся на волю агрессивность пьяного, даже, как это ни смешно, не жаргон вестернов — слова, произнесенные тихим, обычным голосом — мы еще сочтемся, — означали засаду, бандитский налет, трое против одного в темном углу, Шафхойтлин покрутил короткой шеей, словно ища чью-то подлую физиономию, в его серых, слегка выпуклых глазах промелькнули непамять и страх, да, он боялся, хотя и не выказывал этого, он уперся ногами в пол, решившись дать бой немедленно и не сходя с места. Франциска взяла его за рукав.

— Не надо. Идемте отсюда.

Он принудил себя шагать неторопливо, по за дверью, под навесом пад маленькой запущенной террасой, вытер пот со лба.

— Да, трусом вас не назовешь, — заметила Франциска.

Ландауер деревянной походкой прошел по террасе, стуча по разбитым плитам своими высокими черными ботинками.

— Все развалено, изуродовано, а мы потратили на это пять лет жизни. Ах, да подите вы с вашей золотой молодежью!

По обе стороны ступенек, ведущих к террасе, стояли два фонаря. Один был разбит, а в молочно-белом стеклянном шаре другого зияла дыра. В его свете видна была сетка трещин и четко обозначенное ярко-белое пятно на плитах пола. Ландауер подозвал Франциску к балюстраде. У ног ее лежала площадка — двести шагов в длину и тридцать в ширину, — голый засеженный газон, вдоль и поперек простеганный пыточками следов, с одной стороны — кварталы домов, серо-белые крыши которых сливались с цветом неба, так что казалось, будто телевизионные антенны парят в воздухе или изливают пад уступами домов, как мачты и реи невидимых парусников на горизонте, с другой стороны — мощеная площадь в обрамлении лавок и каменных будок, выходящая на главную улицу. Сейчас — было около одиннадцати — асфальтовая улица походила на русло мертвой реки, по берегам которой инко-

гда не ступала нога человека. Фонари на гнутых столбах струили из своих ящеричных голов потоки холодного зеленого света, киносвета, тонившего все в нежной полутени, резко подчеркивавшего все угловатое и прямолинейное — углы домов и четко проложенные пути — и создававшего как бы искусственный мир, улицы в кипопавильоне посреди чудовищно увеличенной модели города из гипса, глины и папье-маше...

Какое-то время они молча стояли рядом, облокотясь на балюстраду. Ландауер поднял воротник пальто, так что Франциска не могла видеть его лица, но голос его звучал все так же вежливо и снисходительно:

— Вы очень молоды, что значат для вас пять лет жизни? Ничего, почти ничего, так, частичка прочной материи, которая просуществует до смены столетий, и даже дольше, а возможно, окажется прочнее этих домов... Мы уже не закладываем наши города для грядущих поколений. И все-таки я надеялся построить город, в котором ваши два-три поколения будут не просто обитать, — город, который предложил бы людям нечто большее, чем застроенное пространство, где можно поместить стол и кровать. И подумайте только, я уже вижу себя пенсионером, идущим по своему городу и нюющим по воскресеньям кофе «мокко» на этой вот террасе или, еще лучше, в открытом кафе на тротуаре. Вы знаете Париж? Конечно, нет. Молодые люди ничего не знают о мире...

Шафхойтлин топнул ногой от нетерпения. Париж. Еще и это. Старая эмигрантская порода, стоит таким заговорить о Париже, они становятся сентиментальными и не знают удержу. Ландауер все тем же снисходительным, занудным тоном продолжил свою прощальную речь:

— То, что вы здесь видите, моя юная подруга, — объявление о банкротстве архитектуры. Дома больше не будут строить, а будут производить, как любые другие товары, и место архитектора займет инженер. Вы знаете, кому в этом году присудил Международный союз архитекторов премию? Инженерам Нерви и Кандела... Мы стали служащими строительной индустрии, для которых «стремление к выразительности» и «своеобразие» — чужеродные слова. Мы утратили свое влияние в тот миг, когда лишились хозяина, заказчика, имевшего свое имя и свое лицо. Мой уважасмый сотрудник, — сказал он, как будто Шафхойтлина не было тут, рядом, — станет вам внушать, что новый заказчик — коллектив...

— Народ, иными словами... — сказал Шафхойтлин.

— Народ. Прошу прощения, любезный коллега, но это лирика. Если мы выразимся точнее — будущие жители. Но разве когда-нибудь в одной из сотен комиссий, активов, советов, комитетов, на которые мы тратим наше время, вы видели хоть одного потребителя нашей продукции? Да и зачем, ведь живущий имеет о жилье еще менее ясное представление, чем строящий... — Он повернулся к Франциске и встретил ее холодный, испытующий взгляд. — Вы сомневаетесь. Вы еще считаете за добродетель ни во что не ставить опыт старших...

— Я жду, — сказал Шафхойтлин резко. — Нам с вами по дороге, фрау Липкерханд. — Он видел, что от ее радостного внимания не осталось и следа, что глаза и у нее слипаются, и отпустил Лалдауера, который приподнял шляпу и простился — с Франциской по-старомодному куртуазно, а с Шафхойтлином молча, каким-то намеком на поклон, — зябко запахнул шелковое кашне над галстуком-бабочкой в симпатичную точечку, как у Гропиуса, и ушел по тропинке через газон, высокий и тощий, подняв к небу востроносое лицо. Бесславное возвращение на Фрауэнплан<sup>1</sup>, в тишину герцогского парка. И Франциска, со всем презрением двадцатипятилетней к неудачникам, подумала: благородный фасад, но внутри гниль и труха, в капштелях живут ежи, а в окнах кричат выны...

Они обогнули газон: Шафхойтлин уважал запретительные таблички. Снег скрипел под ногами. Между двумя блоками виднелась короткая прямая улица и такие же жилые силосовые башни, как на площади, такие же фасады, двери и коньки крыши с парящими в пасмурном небе антеннами. Ни одно освещенное окно не украшало безмолвные дома, и, когда Франциска оглянулась, ресторан в дымке тепла и света показался ей приветливым, как большая кафельная печь, галдеж доносился из открытого окна, некие реяло над площадью, как нестройный драпанный разбойничий флаг, поднятый живыми и бессонными... и она примирилась с бледными сутенерами, магнетически привлекательными для приветливых и общительных людей, спасающихся от этих бетонных спален.

— Вы, кажется, весьма критически отозвались о городе, — сказал Шафхойтлин, он давал ей возможность отречься от своих слов. — Или я ослышался?

<sup>1</sup> Площадь в Веймаре, где жила Гёте.

— Я сказала: просто хуже некуда.

Он шел решительно, тяжело ступая и слегка раскачивая свое плотное тело, как ходят по палубе корабля.

— Впрямь будьте добры держать ваши скороспелые мнения про себя. На сей раз я еще воздержусь от бесед с коллегами, они были бы обижены, да, очень обижены... Мы делаем лучшее из возможного. Только если вы охватите наши проблемы в целом, вы сможете понять, почему мы гордимся нашими достижениями, этим первым городом, который будет построен из одних только заранее заготовленных элементов и при помощи самой современной техники. Мы заинтересованы в деловой критике, но не на элегантною и бесплодную болтовню о всяких ущербных теориях у нас нет времени. — Она молчала, и он присовокупил уже мягче: — Я понимаю, для вас это новая область. У профессора Регера вы вряд ли получили верное представление об индустриализованном типовом жилищном строительстве.

Этого надо было ожидать. Регер и его неясности... «Камбала» ничего не забыл, он был дух от духа, вернее, от бездуховности тех людей, что нападали на Регера.

— Я знаю уже, на что вы намекаете, — сказала Франциска и остановилась. — И если вы интересуетесь: я считаю все это пленарное заседание свинством, считаю, что в мизансе Регера больше разума и фантазии, чем у всех этих счетоводов от зодчества, этих академических бюрократов, которые крестятся, услышав его имя, потому что он подкапывается под их тотем. — Она позабыла его капризы тщеславного деспота, шумные сцены и собственные свои сомнения в его непогрешимости. Она бросилась грудью защищать своего учителя: — Регер, если хотите знать, вовсе не слеп и протестует не против идеи серийного производства... Но у него есть чувство качества, как сказал Корбюзье, он протестует против невыносимого равнодушия фабрикантов этих домов, против их самодовольства, он говорит о недостатках, заходит слишком далеко, получает по носу...

— ...и восстанавливает Гсвацдхауз, — подхватил Шафхойтлин. — Он вещает, а мы работаем, вот в чем разница.

— Он думает, — заикаясь, воскликнула Франциска, — он думает, и если он заблуждается, то в заблуждениях его есть размах...

Этот кого угодно до бешенства доведет постной милой активного товарища, темпераментом броневой плиты...

Она не чувствовала, что Шафхойтлиц, пусть по-своему, сухо и педантично, но идет ей навстречу, пытается быть сираведливым, он знал Регера, предвидел ослепительные соблазны... Незакаленная молодежь, сказал он себе, нельзя же так доверяться помпезному индивидуалисту — они ведь рискуют оторваться от требований реальности... Он задумчиво потер покрытые бородавками пальцы о рукав пальто и спросил себя, был ли он когда-нибудь так страстно и некритически привязан к учителю или другу, по мысли его тут же вернулись назад, воспоминание о мальчишеском воодушевлении, а тем более о собственных стихах смутило его. Он устыдился: смешно мужчине в тридцать шесть лет позволять себе этот возврат в прошлое, к своим чувствительным глуностям.

— Мы еще завершим эту дискуссию, — сказал он рассеяно, шаря в кармане пальто. И подумал: раз она так высоко метит, заставляю-ка я ее полгода чертить детали, это охладит ее пыл. — У вас есть зажигалка?

— Спички.

Он протянул руку. Франциска, широко раскрыв глаза, трагическим голосом произнесла:

— Все пропало.

— Что еще опять?

— Пропала моя сумка... документы, деньги, я погибла...

Шафхойтлиц схватился за голову. Потерю денег другими людьми он воспринимал как собственную потерю. Он не позволял себе сочувствовать людям в их личных заботах (если в столовой или на службе он слышал разговоры о любовных неурядицах, семейных ссорах, о скучном дождливом воскресеньи, то сидел прямой и холодный, массируя левую руку. Пустомели, говорил он), по конвенциональный штраф заставлял его не спать по ночам, он боролся в арбитражах так, словно обязан был выплачивать долги предприятия из собственного кармана, а на стройках его пещавидели за крайнюю тщательность, он наклонялся за каждым гвоздем, видел каждую трещинку в черепице, каждый прогнивший фонарный столб, а водители думпкаров терроризировали «кучерявого счетовода», окутывали его облаком пыли, останавливались, визжа тормозами, когда нос машины уже вот-вот ударит его в грудь... Он задыхался от злости.

— Так, хорошее начало, без документов, без денег... А ведь день еще не кончился, что вы еще можете выкинуть? О чем вы думаете?

Однажды во время поездки за город его жена потеряла сумочку. Он допрашивал ее тихо, сдержанно и так безжалостно долго, что она расплакалась, изпервичавшиеся дети тоже заревели, и прогулка была испорчена. Франциска не принадлежала к молчаливым страдалницам, как его жена. Он напустился на нее:

— Нечего смеяться. Подумайте лучше, где вы вашу сумку... да вам, что, обязательно над всем смеяться?

— Я могу, если угодно, шмякнуться на улице и зареветь.

— Даровитая ученица комедианта... Ладно. Ждите здесь и не трогайтесь с места. Я пойду обратно в ресторан.

— Нет-нет, я сама... бегу, лечу!

Не снимая руки с дверной ручки, она искала за дымовой завесой лицо брата. Увидела опрокинутый стул, пустую кофейную чашку на столе и почувствовала себя обманутой, вторично покинутой Вильгельмом... долгая белая секунда, в течение которой она спутала чужого человека с ним, с Вильгельмом, шедшим по летнему полю в неуклюжей шубе... он остановился на трапе и помахал ей...

Франциска равнодушно взяла свою сумку, которую припрятала фрау Хельвиг, покрутилась еще какое-то время у стойки, покуда та не вернулась с пустым подносом, и спросила застенчиво и в то же время решительно, кто этот человек с газетами.

— Господи, да разве всех гостей упомнишь... Не знаю, как его зовут, но если вам надо...

— Спасибо, не стоит затрудняться, — сказала Франциска, красная как рак, и скорчила высокомерную мину. — Я спутала, он тоже не поздоровался.

— Потому что важничает, — вставила фрау Хельвиг. — Кроме «пожалуйста» и «спасибо», ничего не говорит, а пьет только кофе. — Ее синие глаза смеялись. — Он бывает у нас каждый вечер, кроме субботы и воскресенья.

— Важничает и задается, конечно, это он, — сказала Франциска, сняя, — мы вместе ходили в школу... Он был на два класса старше.

Шафхойтзли медленно пошел за ней, теперь он стоял в двадцати шагах от террасы и смотрел, как эта маленькая особа в распахнутой, раздутой ветром шерстяной куртке прыгала по ступенькам вниз и побежала к нему, размахивая над головой своей сумочкой, слышал ее резкий мальчишеский голос, звавший его, и вдруг на мгнове-

ние почувствовал себя так, словно кто-то нанес ему внезапный и сильный удар в живот.

— Вы заставляете себя ждать, — заметил он.

— Господин Шафхойтлин, — запыхавшись, сказала Франциска, — мне очень жаль, вы правы, это было просто невежливо с моей стороны, вот спички, и мне тоже дайте прикурить...

Он сунул обгорелую спичку в коробок. И сказал:

— Я думал, у вас карие глаза...

— Нет, почему карие? Послушайте, я запишу все это так тщательно, как вы только захотите. Пункт первый: развешивание фасада, пункт второй: прокладка улиц, пункт третий: жилые здания... — Она один за другим загнула три пальца.

— Жилые комплексы, — поправил он.

— У Регера мы говорили «здания»... А вы уверены, что мы не заблудились? — Ей казалось, что они ходят по кругу, снова и снова упираясь все в ту же короткую улицу, в тот самый квартал и в тот же заснеженный, испещренный следами газон. То, что на плане выглядело строгим, вполне обозримым порядком — «логично», как сказал Ландауер, с последней вспышкой гордости или по крайней мере преданности делу, — здесь в своей объемности превращалось в лабиринт и напоминало Франциске детскую игру с хитроумно вставленными друг в друга чурками и коробками.

Они свернули за угол и вышли в открытое поле, где дул резкий ветер, гвавший снег с песком. Здесь, в последнем жилом блоке на окраине, останавливались на ночь приезжие, и недели, а то и месяцы жили рабочие, холостяки и супружеские пары, ожидавшие квартир, две или три девушки в одной комнате, и лица, выдворенные из Берлина, люди, лишённые корней, люди, чего-то ждущие, постояльцы и бывшие заключенные — все они набились в один дом, стены которого, казалось, уже трещат по швам... Здесь еще горел свет, играло радио, мелькали тени в окнах за драными занавесками. Шафхойтлин открыл дверь.

— Вы тоже тут живёте? — спросила Франциска.

— В тех случаях, когда опаздываю на автобус. — Он зажгет свет на лестнице. — У меня есть дом в Уленхорсте, час езды отсюда.

Франциска взглянула на него. Он снова ощутил короткую острую боль под ложечкой и приглушённым голосом, словно в коридоре настоящего отеля, сказал:

— Я не могу отказаться от этого дома, из-за детей... У нас большой сад, жена очень привязана к саду и к дому...

— Ах, вот что,— сказала Франциска. Они поднялись по лестнице. Шафхойтлин вынул из портфеля, который весь вечер таскал с собой, ключ и отдал его Франциске.

— Комната возле кухни. Я велел поместить вас на четвертом этаже. Здесь живут только делегации, так что вам никто не мешает. Но вам придется самой о себе позаботиться, здесь не отель, завтрака не дают. Кухней и ванной можете пользоваться. И... да, если ночью услышите шум, не волнуйтесь. Спокойной ночи.

Она оступно пробралась через темный коридор и открыла комнату возле кухни, оттуда на нее пахнуло горячим сухим воздухом. Огромное, почти во всю стену окно напоминало сцену с закрытым занавесом красно-бурого цвета, а на линолеумном полу, сверкавшем, как зеленое ледяное поле, лежал коврик, мебель была светлая и пазойливо целесообразная: стол, стул, на котором сидят, шкаф, куда вешают платья, и кровать, исключительно для сна, для восстановления потраченных за день сил, и никому не дозволено валяться на ней, реветь, уткнувшись в подушку, и видеть пещеломудренные сны. Над кроватью висели две картины: «Гавань в Арле» и «Подсолнухи»... и рядом, в другой квартире, висели они же, на самом почетном месте, «Гавань в Арле» и «Подсолнухи», радуя глаз коменданта.

Равьше он был унтермайом в акробатической группе, это и сейчас было видно, пастырь весом в два центнера, который одной рукой вывешивал своих постояльцев за окно для протрезвления. У него всегда не было отбою от зрителей, когда он растягивал свой эспандер шведской стали, во для него это было все равно что резиновая лента, а иногда он заставлял кого-нибудь бросать себе на шею и на мускулы рук ножи острем вниз, и они отскакивали, как теннисные мячики. Это очень укрепляло его авторитет, а он брал себе на заметку парней, имевших ножи в кармапах... О да, он был хитер, изображая хрестоматийного силача — необъятная грудная клетка, детский смех и море обаяния... Он скунил все репродукции Ван Гога, потому что ему импонировала история с отрезанным ухом. Он считал художников слабаками, крошечными человечками с чересчур большой головой и тонкими ручками, но Ван Гог, этот был парень что надо: тот, кто отрезает себе

ухо и посылает его своей девушке,— настоящий мужчина... Ему об этом рассказал один учитель, тоже пропавший человек, просидел три года из-за голодной маленькой бести из десятого класса и теперь уже никуда не годился, серый, рассеянный, никому не смевающий смотреть в глаза... но это уже опять другая история...

Франциска раздвинула «запавес», открыла окно и взглянула на обдуваемое ветром невспаханное поле, на скелеты деревьев у шоссе, бывшем прежде проселочной дорогой. Деревню снесли, огороды и сады смяли гусеницами, удобренную землю заботливо сгребли в кучи, а вплотную к шоссе, в полукруге новых зданий виднелся серый низкий неуклюжий последний крестьянский дом, руина с голыми стропилами, пустыми оконницами, но по-прежнему крепко вцепившийся в землю.

После полуночи замолкли радиоприемники, голоса спорящих и женский визг в соседнем подъезде, а Франциска, пока не заснула, слышала предупредительные сигналы рудничного локомотива, глухие и длинные, как сирены больших кораблей, ищущих в тумане свою гавань. Она спала в то время, как около пяти утра начался настоящий шабаш звуков, проникавший сквозь стены и потолки: хлопанье дверей и пение в ваннах, шум льющейся воды и шаги работающих в утреннюю смену. Проснувшись, она попыталась припомнить свои причудливые сны, ибо то, что снится в первую ночь под чужой крышей, обычно сбывается. Но, увы, тщетно.

Когда она собралась пойти в ванную, то обнаружила у своей двери бутылку молока и пакетик с двумя обсыпанными пирожными. Она решила, что кто-то, должно быть, ошибся дверью, и юркнула обратно к себе в комнату. Влезла на кровать, эту добродетельную целесообразную кровать, которую надо хорошенько помучить, чтобы подчипить себе, и принялась скакать по матрацу что было сил — я тебе покажу! — потом шлепнулась на живот и стала боксировать с подушкой. Ах, это было чудесно — проснуться одной, никого не ждать, быть холостой и чужой в чужом городе, сбегавшей от надзора Линкерхандов и жирной отеческой руки Регера. Она съела пирожные и собрала рассыпавшуюся по подушке сахарную крошку, наслаждаясь преступной радостью — завтрак в постели, говорила фрау Линкерханд, это повадки куртизанок.

В сумеречном свете на зеркально-зеленом ледяном поле ее чемоданы казались морскими животными, которых

прибило к берегу волнами, увесистыми тюленями, один белый тюлень и один серый, мои чемоданы-путешественники, один был со мной в Москве, в Черемушках, ну, откровенно это не явилось, очень уж скучные дома, зато бульвары, широкие, как Волга, и веселый рынок, масса народу и снаружи, на ступеньках, со всем скарбом и с полными пригоршнями семечек, и внутри, под куполом, как бы под стальным рыночным зонтом, сумасшедшая сутолока, столичные фифы на шпильках и старые крестьянки в платочках, предлагающие маринованные грибы, и армяне, только что прибывшие самолетом, взгляд у них пронзительный, и они заговорят тебя насмерть, пока не купишь у них безумно дорогой виноград... Красная площадь, совсем не красная и, скорее, маленькая, я была разочарована, хотела быстро ее пересечь и шла, шла, а площади не было конца, и сказочный собор был все еще ужасно далеко, и я почувствовала себя крошечной как голубь на мостовой... Белый чемодан был со мною в Праге — прекрасный город, множество архитектурных шедевров, но лучше всего все-таки Вацлавская площадь и улицы, полные народу, маркизы и столики кафе перед «Амбассадором», музыка из каждого дома, хмельная от пива духовая музыка, и этот чешский джаз, в котором всегда повизгивает кларнет, богемский музыкант в гостях в Нью-Орлеане...

Она искала в памяти четкий образ, но в смущении заметила, что не может вспомнить ни одного дома, ни одного фасада, ни одной арки. Ну почему, спрашивала она себя, почему я помню красные и парадные улицы? Она лежала на животе, курила и думала о том, как влилась тогда в людской поток на сверкающей площади, незнакомка среди сплошных незнакомцев, но накрепко связанная с ними, подлаживалась под их фланирующий шаг, чувствуя себя в безопасности в объятиях этой теплой пестрой вечерней улицы...

Когда около половины восьмого она сбегала с лестницы, дверь на третьем этаже открылась (мы уже говорили, что двери квартир были снабжены глазками — стеклянными дырочками величиной с горошину, сквозь которые можно следить за происходящим на лестнице, за соседями), а за ней стоял Шафхойтлин, шеф, с холодным брюзгливым лицом, — господи помилуй, это хуже, чем черная кошка, перебежавшая дорогу...

На рождество я впервые искала тебя, Бен, искала повсюду, в Старом и Новом городе, на улицах и в пивных, одержимая идеей, что ты тоже один. Никогда я не могла представить себе тебя с кем-нибудь, с женой, с детьми, с отцом и матерью, в кругу семьи, с печками, супружескими постелями, накрытым столом, с домашними туфлями и страховым полисом. Вокруг тебя пахло авантюрами и гордой, дикой независимостью, я думала, ты такой, какую хотела быть я, каким я хотела видеть Вильгельма, однажды ночью я и увидела его таким, одинокая старая горилла, не принадлежащая никому, только мне... И ты принадлежал мне, покуда я ничего о тебе не знала: я могла придумывать твой характер и собирать о тебе истории, какой-то человек с чертами моего брата, созданный мной, — я могла все на свете, потому что я тебя не знала.

Я могла бы тебя видеть когда угодно: кельнерша сказала, что ты бываешь у них каждый вечер, кроме субботы и воскресенья, и потому я ходила в этот ресторан только в субботу и воскресенье, то одна, то с Язвауком... ах нет, тут не в чем сознаваться, но даже если... тогда ты не стал бы меня слушать... а на самом деле он всего лишь ходил за мной как собака, мужчина с демонической внешностью, с таким любой даме лестно появиться, а был он милейшим парнем без всяких сложностей, начисто лишенным честолюбия, черт его знает, почему он сделался архитектором: архитектура его ничуть не интересовала...

Моя почтенная мамаша всегда говорила, что у меня нет семейных привязанностей, потому что я терпеть не могла дурацкие поездки на лоно природы и воскресные прогулки в белом платье из вуали, в трех шагах позади милых родителей... а в дни рождения я мрачнее тучи си-

дела, забившись в угол с книгой, вместо того чтобы продемонстрировать школьные тетрадки или вслух читать стихи, как будто все родственники до безумия жаждали услышать, как я прокаркаю «Поруку»<sup>1</sup>. Она готова была наложить на себя руки, оттого что я не хотела учиться музыке и барабанить на рояле Шопена, как соседская Эльфрида, а я ведь была не музыкальнее жестяного ведра.

Но на рождество все бывало по-другому, Бен, и всю неделю до рождества, когда мы таскали к булочнику полные миски теста для медовых коврижек и сидели на теплых, припорошенных мукой стенках возле печи в ожидании плоского круглого печенья, а вокруг стояли женщины, держа у бедра противни, и болтали, запах корицы, орехов и жженого сахара был слышен даже на улице. Важная Старая Дама получала кучу посылок, даже на пятый год войны, не удивительно при ее-то связях... Марципан из Любека, гольштинские ворота и буханки хлеба сплошь из марципана, аахенские черные пряники и нюрнбергские коврижки в пестрых банках с картинками, на которых красовались городские башни, горки сосисок и средневековая девица в высоком колпаке с развевающейся вуалью на верхушке.

Снег с террасы больше не сметали, чтобы гигантские следы производили устрашающее впечатление, следы эти делал доктор Петерсон, из года в год, хотя Вильгельм уже давно все разъяснил мне насчет рождественского деда. Но в сочельник у меня все-таки тревожно билось сердце, ведь и Вильгельм мог ошибиться, правда? И я прислушивалась у двери в столовую к шагам легких голых ног, голубиных ног, небесных ног... ты спятила, говорил Вильгельм, не веривший ни в бога, ни в черта, для него сквознячок из замочной скважины был просто сквозняком от открытого окна, но, уж во всяком случае, не от лебедино-белых, с шуршанием расправляемых крыльев стартующего ангела... Вильгельм и ты, вы оба кого угодно можете отрезать и объяснить все на свете: распиленная девица — просто трюк с зеркалами и платками, сверкающая игра рыб — межвидовая агрессия, любовная тоска — реакция пуклеяновой кислоты, и оба вы с восторгом воткнули бы каждому человеку в голову электрод, а в карман — блок-схему, чтобы он мог сам собой управлять, сам себя регу-

---

<sup>1</sup> «Порука» — баллада Ф. Шиллера.

лизовать и контролировать, ах, убирайтесь к чертям с вашими электронными мозгами!

Ровно в шесть бабушка звонила в колокольчик, дверь распахивалась, и мы, споткнувшись, торжественно застывали на пороге, ослепленные светом сотен тысяч свечей, старая музыкальная шкатулка играла «С небес на землю я сошел», трогательно-слабое бречканье, в каждой строке проглатываются несколько нот, там, где обломались или сточились зубчики на валике. Елка, до самого потолка, сверкала украшениями: старомодными, из бабушкиного детства хрустальными цепями, золочеными орехами, зелеными и красными шарами, тяжелыми и громадными, как пушечные ядра, множеством разных фигурок из свищовой бумаги, лака и побежалого серебра, в них было что-то языческое, сказочные зверушки и приносящие счастье пузатые идола.

На столе (не стол, а настоящее чудовище, за ним можно было бы посадить всех рыцарей Круглого стола короля Артура) лежали подарки, и я, конечно, заранее знала, что получу: от матери что-нибудь практичное и солидное — платье и плащ, полотняный или грубошерстный, непромокаемый, разумеется, ведь тогда у нее еще был «домотканый период», в честь богини цорры; от Важной Старой Дамы — колечко, гранатовую брошку или золотой медальон с локоном, может быть, мертвого возлюбленного, кто знает, бабушка держала язык за зубами, а мать только ради сочельника воздерживалась от сердитых замечаний... Отец дарил мне кукол для кукольного театра: крокодила и жандарма, принцессу и длиннохвостого черта — и целую кучу книг — бедняга, он ничего не знал о детской душе: в семь лет я читала гофмановские истории с призраками и по ночам с визгом спасалась бегством к Вильгельму в кровать, дверная ручка строила мне рожи, а о том, что творилось в стоячих часах, я и говорить не хочу...

Да, вот так бывало на рождество, мир и согласие, отец с любовью смотрел на нас с Вильгельмом, пытался весь долгий вечер скрыть свое недоумение: как это он произвел на свет таких юных экзотических животных... а Важная Старая Дама в двенадцать ночи уводила нас ко всепощпой, брызгала нам на лоб капельку святой воды и проворно и элегантно «преклоняла колена», вернее, делала придворный реверанс, но с бесстрастным лицом — на рождество, на пасху и на праздник тела Христова она всегда бывала ревностной католичкой...

Обычный зимний день в Нейштадте: гололед на тротуарах, сожженная морозом трава и снег в сточной канаве, припудренный угольной пылью. Улицы, как всегда, пустынные, ни живой души, но дома словно бы зачарованы радостным, счастливым, добрым временем... кварталы, расцветшие сегодня сотнями сверкающих окон, с белыми шарами-светильниками в кухнях, где хозяйки готовят карпа или картофельный салат, с мерцающим свечей за гардинами... и торжественные неспопения по всем радиостанциям: Христос родился.

С тех пор как стемнело, Франциска бродила по городу. Сейчас она шла к площади и считала каменные плиты мостовой: если до конца улицы будет нечетное число, я его встречу... у дверей ресторана она чуть не повернула обратно, его там нет, он там не бывает, я все время гоняюсь за призраком... Фрау Хельвиг курила, прислонясь к стойке. Было тихо, как в часовне, но тепло и светло, теплый воздух, поднимаясь, кружил рождественский венок под потолком. На водопроводном кране стояла светло-зеленая елочка, одна из тех маленьких, посыпанных искусственным снегом картонных елочек, которые шоферы дальних рейсов крепят на приборном щитке. Семеро посетителей сидели за семью столиками, каждый наедине с собой, каждый в замкнутом кругу своего особого одиночества, несравнимого с одиночеством другого, ибо его история была не сравнима ни с одной другой, особая, по-особому болезненная история его поражений и утраченных иллюзий.

Старик в ватнике спал, положив седую голову на стол, он что-то бормотал во сне и пускал слюни. Пьян в стелюку, подумала Франциска. Она кивнула бледному сутелеру, скажите на милость, все та же наглая морда и все так же поровит подставить ножку, но без своей иайки он жалок донельзя, это дитя подвала, ну, ничего, все мицует, если мы переживем тихую ночь, святую ночь. А еще там сидела Гертруда с тщательно уложенными, но подпаленными локончиками на лбу,— Гертруда в снегшибательном вязаном платье, но меньшей мере из Вены, и, оттопырив мизинец, изящно подносила к губам чашку кофе.

Франциска направилась к стойке и подала руку фрау Хельвиг.

— Я только на минуту заскочила, взглянуть на шумное празднество холостяков... Нет, нет, водки не надо. Ни в коем случае.

Рыжеволосый парень сам с собой играл в шахматы, он долго ломал голову над каждым ходом и осторожно переставлял то белого слона, то черного коня, лицо его было мрачно от сосредоточенности. Возле вешалки, откинув голову так, что ее черные крашенные волосы касались стены, и устремив глаза в потолок, сидела женщина в перлоновой блузке, под которой виднелись розовые и голубые бретельки лифчика и комбинации, ее широкие губы были ярко накрашены, как у клоуна, она не двигалась, не пила, двигался только ее указательный палец, которым она непрерывно постукивала по кофейной чашке, стук ногтя о чашку казался тиканьем часов.

— А впрочем, налейте мне водки,— сказала Франциска,— и себе тоже, только без фокусов.

Они стояли рядом у стойки и пили, старик с хрипом двигал головой по столу, рыжий парень мрачно и сосредоточенно переставлял белые и черные фигуры, женщина постукивала ногтем по чашке. У нее на руке нет кольца, подумала Франциска. Надо мне немедленно смываться, не то я начну кричать. Выпив свою водку, она сказала фрау Хельвиг:

— С-смешно, я д-думала, что с-сегодня встречу его здесь, м-моего старого ш-школьного товарища.

— Может, это совсем не он,— сказала фрау Хельвиг.

— Все равно я хочу его встретить,— отвечала Франциска.

Гертруда чопорно повернула шею в вязаном воротничке и глянула на них. Франциска застенчиво улыбнулась. Она встречала Гертруду то в конторе Шафхойтлина, то в ресторане, все еще побаиваясь этой брюзгливой и дикой особы, ее хриплого баритона, и затыкала уши во время вечерних сцен... Знаешь, какой она была, Бен, ты стал нашим избавителем, а я стыдилась, потому что все, все случилось на нас, приподнимались со стульев и веселились, сукицы дети, да, они веселились, и я только из упрямства осталась сидеть с нею, она была моей подругой — пусть все это видит, но в душе я умираю со стыда, я предала ее, в этот вечер и потом, и не могу себе этого простить... Ах, Бен, Бен, тогда в кухне остались следы ее ногтей, она парализовала штукатурку, царапины как от стальных шин, с какой сверхчеловеческой силой она защищалась, от кого защищалась?

Гертруда поманила Франциску пальцем.

Ага, сегодня мы изображаем даму, подумала Франциска, подсаживаясь к ней.

— Платье — высший шик, — сказала она.

— Оттуда, — отвечала Гертруда, ее глотка и рот дрожали от усилия умерить грубый, низкий голос. Она говорила тихо, отчетливо артикулируя, как учительница на уроке. — Мои все на Западе.

— Да? Я не знала, — сказала Франциска.

— Все. И на рождество их начинает мучить совесть, они вспоминают обо мне, как о выброшенной кошке. — Этот образ понравился ей, и она повторила: — Выброшенная кошка.

Франциска усмехнулась:

— Но кошки не носят вязаных платьев из Вены, разве что кошки миллиснеров, если можно верить иллюстрированным журналам.

— Думаю, у них есть деньжата, волноваться не стоит, — сказала Гертруда. — Старший — большая шишка среди уехавших, он оплакивает старую добрую Германию, Гумбиннен, а при этом — ленивая скотина, на хуторе не хотел и пальцем пошевелить. Все вранье. А слухи распространяются и портят человеку анкету...

Гумбиннен. Берлин. Бонн. Странные какие-то карьеры делаются нынче в Германии. Когда увидишь в газете портрет вождя Союза молодых, попытайся представить его себе в синей блузе, на десять лет моложе — он в нашей школе был секретарем Союза СММ, золотая голова, гибкий тактик, мы прозвали его Серым Кардиналом... Знаешь, если я когда-нибудь окажусь в Бонне, я пойду к нему и скажу: «Здравствуй, я Франциска из девятого, которую ты проверял, после того как она получила серебряную медаль (сам он, разумеется, схватил золотую), и я передавала твои записочки, когда ты втрескался в мою подругу, иногда мы ходили гулять втроем, потому что в ту пору в школе были строгие нравы, и ты объяснял нам, что такое профессиональный революционер и что значит формула «Советская власть плюс электрификация»... К сожалению, он меня не примет, этот Эгон, он не допускает к себе никого из старой школы, Ульрих пытался пройти к нему, тоже мой школьный товарищ, медицина и теология, он хотел стать миссионером, врачом в девственных лесах, это, конечно, не беда, но обращаться в новую веру... Бен, где, кого?.. Так или иначе, Ульрих томился у него в приемной, хотя он гражданин ФРГ и христианин, воинствующий

щий христианин, которого Серому Кардиналу никогда не удавалось склонить к марксизму и Союзу свободной немецкой молодежи...

— Мои родители тоже на Западе,— сказала Франциска.

— Шлют посылки?

— Конечно.

— Надо бы все отсылать назад,— сказала Гертруда,— захихивать им в глотку ихнее барахло.

— Да,— отвечала Франциска,— по жалко.

Они взглянули друг на друга и рассмеялись. Глаза Гертруды стали спокойными, ее недоверчивые, по-мышинному рыскающие глаза меж кукольных ресниц.

— Пропустим по стаканчику? — предложила она.

— Пейте лучше кофе, прошу вас.— Франциска отпрянула и схватилась за спинку стула. Гертруда навалилась на стол своими большими грудями, растянувшими петли вязаного платья, приблизила враждебно напряженное лицо к Франциске.

— Вам это не подходит, водка, думаете, я устрою скандал... из-за водки, ой, не смешите меня... Скандалов вы не переносите, изысканное семейство, благородная дочь, сразу видно, а ходит, разнюхивает... Я что, упрасивала вас сесть за мой столик?... По мне, можете отваливать...

— О, я, я просто хотела с кем-нибудь поговорить,— пролепетала Франциска, испуганная ее беспокойными, внезапно закатившимися глазами, грубым шепотом и возвращением, секунда за секундой, к давно забытому языку со стертymi, искалеченными слогами.

— Высюхиваете,— сказала Гертруда.

— И не думала.

Гертруда откинулась на спинку стула.

— Ладно, сидите уж. Фрау Хельвинг, «мокко» для дамы и для меня.— Она порылась в сумочке и бросила на стол пачку «Пэлл-Мэлл».— Хотите?

После первой затяжки у Франциски закружилась голова, она оперлась о край стола, вокруг нее все плыло.

— Здорово? — спросила Гертруда.

— Так можно и копыта отбросить.

Гертруда подтолкнула сигареты поближе к Франциске, которая сидела красная, уязвленная... Я не беру на чай, подумай только, какая-то машинистка... по потом поняла, что Гертруда предлагает мир, повторяя древний ритуал, что жест ее без труда преодолел тысячелетия между

ивдейской трубкой мира и пачкой «Пэмл-Мэлл». Она сказала «спасибо», и Гертруда с торжеством взглянула на нее.

— Вы могли бы иметь и больше, шоколад, например... другим я ничего не дарю, этим девкам, — она прищелкнула пальцами, — ии вот столечко.

Они пили кофе, Гертруда говорила, что ей неважно у себя в комнате, потому что стены падают на нее, каждый вечер, каждый вечер, Франциска отвечала, что и она страдает боязнью одиночества, но не всегда, и Гертруда с торжествующим лицом гостеприимной хозяйки смотрела на губы Франциски, на ее руки и теперь, держа чашку, уже не оттопыривала мизинец.

— Но есть ведь книги, — сказала Франциска. Гертруда покачала головой: ничего она уже не может запомнить, что белая, что печатная страница, ей все одно, голова уже ничего не в состоянии удерживать.

— Как-то вечером вы декламировали весь монолог Фауста, без единой ошибки с первой до последней строчки, и при этом были уже в изрядном подпитии.

— Верно, — отвечала Гертруда. — Я когда выпью, вспоминаю Фауста... как будто ящик в мозгу открывается, и все они там сидят, и Эгмонт, и Клерхен, и рыцарь Дуглас и «Проклятие Певца».

— Право, не стоит пить, чтобы вспомнить песенки Клерхен.

Гертруда пожалала плечами, она свою работу выполняет, все остальное никого не касается, она ни разу и на минуту не опоздала, у нее есть своя гордость... Ее хриплый голос заставил оглянуться одинокого шахматиста, он растерянно хмурился, лицо его было пятнистым, как шкура леопарда, даже на веках виднелись густые, темно-коричневые веснушки. Франциска торопливо сказала: да-да, но Гертруда не унималась, она хотела оправдаться, может быть, даже похвалиться, а может быть, сказать все в лицо той, что ее слушала.

Зимой, когда не ходил рейсовый автобус, она ездила на комбинат на велосипеде, как-никак двенадцать километров, и потом восемь часов у транспортера — это тоже не шутка, уголь спекается, замерзает, а если лента транспортера рвется, дело совсем плохо. Полтора года она протрубила у транспортера, ни одной смены не пропустила, ни одного загорания у нее не было, даже летом, а летом уголь вечно горит. Она ушла, когда ушел мастер, мастер

к ней хорошо относился, просто так, не то что эти козлы, которые поровят ухватить девушку за блузку, но он не мог работать в три смены, из-за язвы желудка, вся неделя кувырком, ешь то ночью, то днем, у некоторых это отражается на желудке. Еще раньше она работала в лесничестве, выращивала деревья, это была замечательная работа, сказала она, и ее острое, жалкое лицо засветилось восторгом. Самой выращивать деревья, каждое деревце не больше детской ручонки, а косточки тощепькие и нежные, как у рыбы.

— Вы даже не понимаете, до чего это топкая работа.

— Да, но вы жестоко порезались,— сказала Франциска.

Гертруда одернула рукав, прикрывая запястье. Она помолчала, потом подняла глаза и с хитрой улыбкой, улыбкой сообщницы, втягивавшей Франциску в какой-то роковой круг, наклонилась над столом и дотронулась до ее руки, до белого шрама на запястье.

— Это совсем не так просто, как многие думают... кто не понимает, режет не вену, а сухожилие... Лучше всего шилом проткнуть, да, настоящим сапожным шилом,— сказала она, и ее доверительный тон, ее заговорщическая улыбка заставили Франциску содрогнуться, она ощутила тошноту и стыд, как иной раз в кино при виде пазойливонитимных постельных сцен. Она ненавидела бесчувственную скрупулезность, с которой камера фиксировала любовь или смерть. Половой акт и самоубийство, думала она,— это всего лишь две стороны одной медали и наиболее грязный вид самообмана.

— Я? Никогда,— сказала она.— Это очень старый шрам, от осколков стекла... я была совсем маленькой, и девочки заперли меня в школьной уборной... Я не выношу быть запертой...

— Никогда... Многие так говорят...

— Если я говорю «никогда», значит, так оно и есть.

— Вы честолюбивы, утверждает Шафхойтлин.

— Что он смыслит... Жизнь доставляет мне удовольствие, кроме того, я не выношу вида крови...— сказала Франциска и засмеялась.

— А что делать, если человеку неволегу...

— Спать...

Кельнерша включила радио, и по ресторану разнесся торжественный колокольный звон, вверх-вниз, вверх-

выпз, срываясь с металлических языков в разверстых пастьях колоколов.

— Это наши колокола,— взволнованно проговорила Франциска,— с нашего собора, красиво, правда?

Они смотрели друг на друга, двое взрослых детей, и слушали зов былого, давнего, покуда звон не стал тише, не удалился, но так, словно это они удалялись ночью по дороге, среди заснеженных полей, над которыми ветер еще нес звуки колоколов, слабые, как вздохи... а потом раздался хор высоких и чистых мальчишеских голосов. «Вот роза распустилась», пели на хорах церкви эти милостивые ангелы в матросских костюмчиках, их мальчишеские лица с округленными губами обращены вверх... в сладостное пение влился пропитой баритон Гертруды, она жужжала и пела, мучительно затягивая полночь, и покачивала плечами. Фрау Хельвиг приложила палец к губам. У Гертруды закатились глаза.

— Эх вы...— закричала она,— поцелуйте меня в...— Она заплакала, легко и беззвучно, с широко раскрытыми глазами...

Франциска, то ли смеясь, то ли плача, почувствовала себя призванной к сочувствию и утешению, сочувствию старшей сестры к младшей, слабенькой, она гладила левой рукой руку Гертруды и бормотала:

— Сегодня они против нас... Ничего, все пройдет... Да, да, нам себя ужасно жалко, все равно, надо собраться с силами.— Ах, она разучилась, забыла эти жесты нежности... ей было противно касаться чужой влажной руки, и голос ее звучал строго.— Вытрите нос, у вас что, нет носового платка?

Гертруда утерлась вязатым рукавом.

— У меня тоже нет, какая глупость... Жепщины без мужчин... Смешно, все жепщины вытирают нос мужниным носовым платком...

Гертруда зашмыгала носом, слотнула, всхлипнула, но плакать перестала, хватит уж, потом пошла в туалет, чтобы вымыть лицо, выходя, она хлопнула дверью, старик в ватнике подскочил и стал шарить руками по столу, так что стакан свалился на пол. Фрау Хельвиг начала сметать осколки, а Франциска, обернувшись, смотрела на нее, на ее проворные округлые движения, на высокие бедра, туго, как кожу, натягивавшие юбку... Старик, кряхтя, потребовал еще стаканчик «Стоцсдорфера».

— Хватит, дедушка,— сказала фрау Хельвиг.— Иди-

ка лучше спокойненько домой... Рассчитаться можем и завтра.

Старик уперся, только стаканчик, всего один стаканчик, уважаемая, он бормогал и качал головой, как косматый белый медведь, покуда фрау Хельвиг ставила его на ноги, застегивала ватник, нахлобучивала на него вислouxую меховую ушанку. Она подхватила его под мышки, и он, шатаясь, покорно поплелся к двери: фрау Хельвиг в паколке и накрахмалешном фартучке обнаружила мягкую решительность сестры милосердия.

Такая красивая женщина, ноги, как у Марлен Дитрих... Нет, правда, Бен, я с удовольствием смотрела на нее, раньше мне никогда бы в голову не пришло болтать с кельнершей — кельнерши, парикмахерши, продавщицы, они получают деньги за то, что обслуживают нас, быстро и беззвучно, как только возможно, они анонимны, им не доволена доверительность. Ладно, Бен, я только рассказываю, что раньше думала об этом, может быть, не совсем сознательно: ты не знаешь магии фразы, которая в течение двадцати лет, произнесенная или непроизнесенная, точно запретительная табличка стоит на всех твоих путях: «Это неприлично». Неприлично выставлять напоказ свои чувства, надо улыбаться, никого не обременяя своими переживаниями (все заботы остаются в семье), неприлично шататься по улицам, молодые девушки должны ходить быстро, держась прямо, чуть склоняя голову, и не смотреть дерзко людям в лицо (если ты слопнешься без дела, это может быть истолковано как скрытый вызов), неприлично задавать любопытные вопросы, неприлично громко говорить и смеяться, неприлично ходить одной в кино и в ресторан, видимо, тоже... действительно, за все время в нашем городе я никогда не была одна в ресторане, если не считать моей излюбленной пивушки с безногим хозяином и овчаркой-принцессой... Испанский этикет, но он липнет к тебе как смола, и все попытки вырваться отбрасывают тебя к левым экстремистам, к людям, которые считают себя жупелом для буржуа и мятежниками...

Иногда Регер брал меня с собой в ресторан на Старом рынке, который он проектировал, — воющий мраморный склеп, а кельнеры из кожи вои лезли, «господин профессор делает нам честь», они омерзительно лебезили перед ним, так что фалды их фраков разлетались в разные стороны, а Регер среди этих переваливающихся пингвинов

был точно монарх, милостиво настроенный и расположенный к шуткам... Фрау Хельвиг, конечно, совсем другое дело, впрочем, и Нейштадт совсем другое дело, и... ох, Бен, веришь ли, я тоскую по нему, иногда, сейчас, по фрау Хельвиг, собирающей кофейную посуду, кофейнички из мельхиора и сахарницы для постоянных клиентов...

— У вас потрясающая фигура, — сказала Франциска, — никто не поверит, что вы мать пятерых детей.

Фрау Хельвиг обеним руками, кончики пальцев на них были слегка загнуты вверх, огладила себя по бедрам и напевно, как говорят на побережье, сказала:

— Пятеро, только другая произвела их на свет за меня... Я их просто вырастила, они стали дельными людьми, все пятеро, старший учится, а младшая, которая осталась в деревне, уже зарабатывает на птицеферме, совсем еще девочка, но руки золотые...

Куча детей, да еще не своих, ну и нервы у этой женщины.

— Даже и не родив мне... — добавила фрау Хельвиг.

Франциска втянула посом исхудавший от фрау Хельвиг свежий запах накрахмаленного полотна и одеколона, удивительно, как ей удается оставаться прохладной и чистой целый день или полночи, находясь среди дыма и пивного духа, где парни смотрят на ее зад, шутники норовят подставить ножку, стянуть с ее плеч бретельки передника.

— Старший собирается сделать меня бабушкой. Вы только подумайте, оба студенты, у него — ничего, у нее — ничего, потом еще экзамены, а ребенка куда девать?

В октябре тут был один из лейпцигского «Интернационаля», беседовал с фрау Хельвиг, хотел ее туда переманить, был в восторге от ее говора. Его клиенты, мол, любят слушать напевный говор людей с побережья. С такой внешностью, сказал он, я возьму вас в зал приемов. Небольшое, в школьных пределах знание английского? Нет, для торжественных приемов в наше время требуется минимум два языка. Тогда лучше бар, это ее мечта — барменша на фоне сверкающей стены бутылок с пестрыми этикетками: «Белая лошадь», «Чициано», «Мартель», вермут и водка, «Золотая вода» и польская зубровка, подкрашенная какими-то травами, и она, в черном платье, к белокурым волосам обязательно черное и очень строгого покроя, с совсем небольшим декольте. Она быстро освоится с работой — составлять коктейли и подыскивать им цветистые названия, больше никаких забот... только два года

она работает в ресторане, а уже стала главной... Она опять возьмется за английский, как-никак четыре года проучилась в лицее, на большее пороку не хватило, и так уже это была жертва со стороны родителей с их лавочкой «Колониальные товары, оптом и в розницу», но оптовая торговля значилась только на вывеске, а в войну кончилась и розничная: на полках красовались кочаны капусты вместо желто-золотых гроздей бананов, апельсиновых и мандариновых пирамид, от кофе и какао остался только запах, годами живший в ящиках. Потом ей пришлось взять дело в свои руки, отвешивать в серые кулечки тертый шоколад, выгребать карамельки из высоких банок, упаковывать морковь и кольраби...

— Лейпциг, да, это мне по вкусу, — сказала ффрау Хельвиг. — Хороший отель, и старший мой учится в Лейпциге...

— ...и хочет сделать вас бабушкой, ну конечно, я уже вижу вас за гладкой пеленкой, а не за стойкой бара... — сказала Франциска мрачно, а ффрау Хельвиг улыбнулась так, словно впереди у нее были бесчисленные годы, годы юности и планов, гладкой кожи, годы на то, чтобы еще раз вырастить чужую ораву. Глядя вблизи на ее лицо, Франциска обнаружила сеточку морщин возле голубых глаз, запудренную, еще не «гусиные лапки», но уже следы «гусиных лапок», никуда не денешься, а разве отель такого ранга (там будут говорить по-английски, по-французски, по-русски, будут расплачиваться долларами, фунтами, швейцарскими франками), разве такой отель покажет своим гостям барменшу с увядшей шеей, куда там, город ярмарок, толны иностранцев, сейчас опять высокие требования, обер-кельнер во фраке, лифтеры (бледные и расторопные мальчики в ливреях), почные клубы...

— Лучше вам о себе хоть немножко подумать, — сказала Франциска, искоса, с недоверием разглядывая высоко зачесанные и заколотые на затылке волосы, мерцавшие в электрическом свете; у этих светлых блондинок несколько седых волос в глаза не бросаются.

— Да, надо бы, — отвечала ффрау Хельвиг. — Господи, да еще квартира на восьмом этаже... вы даже не знаете, ффрау Линкерханд, каково это, мечтать о четырех стенах, в которых можно побыть одной, послушать музыку, что-нибудь красивое, Шумана, к примеру, и спокойно вытянуть ноги, после сотни километров, которые оттопыриваешь каждый день... Пятнадцать, нет, семнадцать лет я этого ждала...

В войну она отбывала трудовую повинность в деревне. Небогатый хутор, хозяин в поле, глухой старый батрак, четверо малых детей, хозяйка, беременная пятым... Вы были слишком молоды тогда и, наверно, уже не читали книжек о радостной жизни наших девушек, отбывающих трудовую повинность, всех этих смешных историй, как наши пикарные девицы первый раз доили корову или получали по уху кончиком коровьего хвоста, ха-ха, и как бледные городские барышни становились деревенскими девками, ядреными, свежими, и водили хоровод под липами, сила через радость... Девушка Хельви́г чуть ноги не протянула от здоровой деревенской жизни, от таскания мешков, работы по двенадцать — четырнадцать часов в день и страха перед коровами, лошадьми и всякой живностью с копытами или когтями...

Зимой сорок пятого через деревню тянулись колонны беженцев. У дороги пала лошадь, тогда женщины впряглись сами, окоченевшие от мороза и от страха, словно казак уже наступали им на пятки. Они тащили телегу, полную перин и подушек, птичьих клеток, детей и вшей. В феврале хозяйка умерла от сыпного тифа. Хельви́г осталась одна с пятью ребятишками, младшему было три недели, ножки как ниточки, каждую каплю молока он срыгивал, и все-таки она его выходила, сама не знает как. В апреле пришли русские, она повесила простыню на ворота и спряталась за детей, прижимая к груди меньшую девочку. В окружном городе шел бой, «до последнего солдата, до последней капли крови», на вокзале взлетел в воздух эшелон с боеприпасами. На кухне они все сгрудились вокруг одной свечки, видели столбы огня над городом, батрак шевелил губами, молясь, как во время грозы, и крестился широким большим пальцем.

Она осталась там. А как же иначе? Она ждала хозяина, отца пятерых детей. Ждала три года. И однажды ночью он пришел, как волк, дикий и злой, он был болен, водяника ног, он нажимал пальцем, и на губчатом мясе оставались белые впадины: вот они нас и доконали, двести граммов хлеба в день... У нас тоже было не больше, сказала фрау Хельви́г. А картошка? — злобно буркнул он.

Разве можно было ему, с его волчьим взглядом, взвалить на шею пятерых детей и смяться? Год трудовой повинности затянулся надолго... Что еще тут рассказывать? Она осталась, жизнь шла своим чередом: встать в четыре утра, задать корм скоту, постирать, сварить цикорий, со-

лодовый кофе, бобы (времена опять стали полегче), дети звали ее мамой, заштопать им чулки, заняться с ними чтением и письмом, а если нужно, дать затрещину.

К хозяину она привыкла, жила с ним, так уж получилось — мужчина и женщина под одной крышей. Он был не урод, скорее видный мужчина, с тех пор как опять стал человеком и не смотрел волчьим взглядом на стол и чужие тарелки. Она поддерживала чистоту и порядок в доме. Но когда завела разговор о браке, он вспомнил о покойнице жене. Какое-то время она огорчалась, вытирая пыль с ее свадебной фотографии в резной деревянной рамке с дубовыми листьями, но и радовалась тоже — дверь в широкий мир осталась открытой. Она все еще думала уйти оттуда, так, словно ее жизнь в деревне была только подготовкой к Жизни, задачей, которую надо решить, прежде чем начнется настоящая жизнь, и мысленно ставила цветные флажки на карте будущего. Вот когда старший кончит школу, когда... Она выбрасывала эти флажки одни за другим, ведь как это бывает: всегда что-то случается, один ребенок болеет, у старшей девочки переходный возраст и ей нужна твердая рука, в деревне строят Дом культуры, кто-то припомнил, что эта Хельвиг городская, в лицее училась, значит, сумеет устроить библиотеку... сейчас, как раз сейчас ей пельзя уехать. Кто, если не ты? В свой тридцатый день рождения она пришла в ужас, ей показалось, что влажный, пахнущий затхлостью платок пакнут ей на лицо, на открытый для крика рот...

Спустя неделю хозяин перебежал границу, директора тракторной стапции посадили, а ее вызвали на допрос, но она ничего не знала о махинациях со списанными машинами, и ее отпустили. Последний кусок дороги, от автобусной остановки за бараком для сезонных рабочих, она бежала бегом, и дети бежали ей навстречу, обнимали ее, висли у нее на шее.

Последние годы пролетели незаметно. В один прекрасный день оказалось, что она сидит за столом со взрослыми детьми, уже некому было прилеплять пластырь на разбитую коленку, не для кого говяться за ускользающими пятнистыми саламандрами, не с кем учить уроки, некому расчесывать щеткой волосы и шить для нервной вечеринки перлоновое платье: незаметно, неспрашивая, как говорится, подошел день свободы, но у нее не было ощущения свободы, скорее — потери. В газете она прочитала объявление о том, что комбинат набирает рабочих, на афиш-

ной тумбе увидела плакат — человек в шахтерском шлеме со сверкающей белозубой улыбкой обещает перспективы, квалификацию, квартиру и обеспеченное будущее. Фрау Хельвиг поехала в Нейштадт.

В вокзальном ресторане она заказала кофе. Напротив нее было зеркало высотой в человеческий рост, украшенное медной решеткой, оттуда на нее с глубоким изумлением смотрела красивая женщина. Она долго дожидалась кофе, седая кельнерша ворчала: я одна, персонала не хватает, ее опухшие ноги были обуты в неуклюжие ортопедические туфли. Я могу хоть сейчас приступить к работе, сказала фрау Хельвиг и рассмеялась. Вечером она уже подавала к столу, посетители оглядывались на нее, и она, даже не глядя в зеркало, мимо которого пробегала сотни раз, так поверила в себя, что даже захмелела от этого чувства. Чтобы смягчить кожу на потрескавшихся руках, с вьезшейся в них землей, она надевала на ночь лайковые перчатки. Все остальное было в порядке, крепкое и гладкое — лицо, грудь, ноги.

Через два года она приняла под начало ресторан в новой части города, грязный золотоискательский салун — трудный объект, сказали в дирекции, двое ее предшественников потерпели там неудачу. Но фрау Хельвиг быстро справилась со всеми забулдыгами, которым импонировала ее неустрашимость, ее поистине мужская сила. Запрещение кому-нибудь из них посещать ресторан она вывешивала только в крайних случаях: здесь эти парни хоть у меня на глазах, говорила она, все лучше, чем шляться по улицам и бог знает что вытворять. Она заботилась, чтобы на столах всегда были чистые скатерти и цветы, хотя это и не входило в прейскураит, а летом она отремонтирует террасу, поставит нестрые зонтики и стульчики, изящные, как на картине этого французского художника...

— Что вы, эта банда опять все переломает, они ведь пляшут на столах, проклятые, — сердито сказала Франциска, но сердилась она не на банду и уж тем более не на фрау Хельвиг, а, скорее, на что-то неопределенное и определенному не поддающееся. Значит, это судьба, думала она, подлая цепь случайностей, это возмущало ее как пример вопиющей несправедливости.

— Вы слишком нетерпеливы, — сказала фрау Хельвиг и улыбнулась ей. Франциска покачала головой; нет, она вовсе не желает учиться терпению, самоотверженности — это старомодные добродетели, они сковывают женщин, как

кандалы. Каждый человек имеет право на личную жизнь, на счастье, на свободный выбор того, что он почитает за счастье...

Франциска не желала приносить жертв никакому мужчине, никаким детям, она бы не отбывала двадцатилетнюю повинность в мекленбургском захолустье, как фрау Хельвиг, не подозревая, что эти двадцать лет были не подготовкой к жизни, а самой жизнью или даже своего рода счастьем, ей сужденным. (Но что такое счастье? Я не знаю, говорит Бенджамин — не потому, что ему неохота об этом задумываться: скептику претит скорая на язык интимность Франциски в обхождении со Счастьем, Любовью, Ненавистью... Я не знаю, ибо у меня еще нет для этого точных определений, говорит он и прижимает к своей груди ее мокрое от пота и слез лицо. Не исключено, впрочем, что я знаю состоящие, которое могу, очень субъективно, назвать счастьем. Субъективно, слышишь, птичка, то есть не определено, это негодная формула, я предпочитаю сказать: мне хорошо... Впрочем, я ничего не имею против, когда подобные многозначные понятия заимствуют из области этики, общество не может от них отказаться: у языка имеется и прагматический аспект, понимаешь?... Прагматический, да, понимаю, сонно бормочет она, прижимаясь губами к его подмышке, но сейчас, сейчас ты счастлив? Как хорошо от тебя пахнет...)

Гертруда в зал не вернулась, вылезла в окно уборной, беспокоиться не стоит — она нередко это проделывает. Полоумная. Фрау Хельвиг не взяла у Франциски денег: Гертруда ее пригласила и она смертельно оскорбится, если обнаружит завтра оплаченный счет.

— Захватите ее пальто, — сказала фрау Хельвиг. — Теперь вы хлопот не оберетесь... Гертруда буквально втюрилась в вас, вы разве не заметили?

— Нет. В меня? С чего бы? — Франциску испугало, что кто-то проникся к ней симпатией, и в тот же миг она почувствовала себя связанной, ясно ведь, что и Гертруда ждет от нее того же, это злосчастное, исковерканное создание, она впервые, бог знает с какого времени, не схватила руку, протянутую ей (протянутую случайно, в порыве сентиментальности, сказала себе Франциска, в такой вечер иной раз цепляешься за первого встречного). Она читала сочувствие в глазах фрау Хельвиг. Когда Франциска накинула на плечи чужое пальто, оно показалось ей тяжелым, материя — грубой, это бремя испортило ей на-

строение. Она не хотела никаких дружб, больше не хотела никакой любви, чувствуя, что ее независимость под угрозой: друзья предъявляют требования, они хотят обладать, вторгаться в сферы, принадлежащие мне одной. Я не хочу инвестировать свои чувства — это кончается разочарованием. Даже о Регере она сейчас думала с антипатией: он пытался сделать из нее слабое подобие самого себя.

Она шла быстро, как на приступ, опустив низкий упрямый лоб. Гертруда стояла, прислонясь к дверям дома, дрожащая, вся скрюченная от холода, скрестив руки на груди; Франциска швырнула ей пальто.

— Что за манера, — фыркнула она, — удирать... в такой холод... Так и помереть недолго.

— Ну и что, — отвечала Гертруда, стуча зубами и смиренно глядя в лицо Франциски (она мучительно пыталась сосредоточить на одной точке беспокойно бегающие глаза). Франциска натянула варежки на ее окоченевшие руки.

— Ну вот, сейчас я разревусь. Девочка со спичками... Кошмар. Если стены опять будут валиться на вас, приходите ко мне в гости. Только не говорите этой чертовой срунды насчет смерти. Неужто вы совсем не любопытны? Неужто вам неинтересно, какая завтра будет погода, что лежит в почтовом ящике — а вдруг письмо, которое все изменит... что вопи за тем углом человек, чудо... Мой брат говорит, я любопытна, как обезьяна, бегаю и смотрю, что повестького. — Наконец-то ей удалось рассмешить Гертруду. — Мой брат, — (быстрее бьется сердце при воспоминании о незнакомце), — занимается интереснейшими вещами, он ускоряет атомы, знаете, гоняет их по кругу... — И медленно добавила: — Он работает над урегулированием термоядерных реакций.

Гертруда захлопала кукольными ресницами.

— Над чем?

— Понятия не имею. Он мне объяснял... Если бы он знал, что мне его атомы представляются головастиками с крохотными хвостиками, он бы меня придушил.

Гертруда взяла Франциску под руку, она шла, неудобно наклоняясь: Франциска едва доходила ей до плеча.

— Давайте заглядывать в окна, — предложила Франциска, — это здорово интересно, можно выдумывать всякие истории... настоящий домашний театр.

Она болтала без передышки, просто по доброте душевной, желая подбодрить Гертруду, бездарную партнершу в

такой игре, скучную, лишённую фантазии... С Регером, о, это было совсем другое дело, они могли полчаса простаивать под освещённым окном, затаив дыхание, взволнованные, жаждущие проникнуть в чужую жизнь... или сидели в машине без света, неотрывно следя за молчаливой игрой, за пантомимой без грима, которую они сами себе демонстрировали движениями рук, поворотом головы, быстро надутыми губами, улыбкой Нарцисса перед зеркалом... Франциска с полуоткрытым ртом, высунув кончик языка, вдруг заливается краской от стыда или страха... Они упражнялись в том, чтобы по столу, картине, рисунку на обоях определить профессию хозяина дома, его вкусы, его пристрастия. Заключали пари. Регер, своенравный и пылкий, доходил до того, что звонил или стучал в окно к чужим людям, чтобы расспросить их, в девяти случаях из десяти он оказывался прав, а Франциска вскрикивала, просто жуть берет, у него какое-то шестое чувство... Регер трепал ее по щеке, он был великодушен, ты тоже научись, малышка, говорил он. Безвкусица возмущала его, в квартиры он вламываться не мог, но зато в ресторане на Старом рынке срывал со стен искусственные ярко-красные и ярко-желтые виноградные листья и градом проклятий прогонял в кухню примчавшегося главу заведения...

На улице Франциска замолчала, она еще чувствовала девушку рядом с собой, через пальто ощущала теплую мягкую грудь на своем предплечье, ей не было противно, девушки приятны на ощупь, но тотчас забыла о ней и ближе придвинулась к Регеру в темной машине (где пахло холодным сигарным пеплом) и смотрела вверх, на окна, без прежнего жадного любопытства, скорее с досадой: по тут ведь и стошнить человека может... — у них вкус семейства Экс... мысль о клане спасла ее от искуса, от унылой потребности возврата к семейному союзу. Она разглядывала мебель, вьющиеся растения на пирамидальных бамбуковых жардиньерках, лампы, трехрожковые и пятирожковые люстры, льющие немилосердно белый свет над столом, стоящим точно посередине комнаты, торшеры с красными шелковыми абажурами; там, где не были задернуты шторы, можно было рассмотреть картины на стенах: дуга, олени, цветные фотографии и раскрашенную циповки — бледные цапли в камышах...

— В нашем блоке недавно побывали разносчики, — сказала она, — сколько они берут за эту красоту?

— С цветами — сорок марок, с фигурами — девяносто,— отвечала Гертруда.

— Это уже уголовщина,— заметила Франциска.

Гертруда жила в том же блоке, двумя подъездами дальше и не так удобно, как Франциска, комнатуха крохотная, но зато отдельная,— узкий шкаф и раскладушка, а в квартире, кроме нее, пять девушек, можно себе представить кухонные свары по утрам — из-за газовой плиты, из-за ванны, из-за веревки для белья... Они приводили мужчин, эти грязнухи, и нещадно потешались над Гертрудой, которая мужчин и на дух не переносила, подстрекая ее к дикой брани. Мужчины и девушки были от хохота: ну и язык у нее — видно, от своей проститутки-мамаши унаследовала. Гертруда чувствовала себя затравленной, загнанной в угол, бросалась в бой, не дожидаясь атаки врага, и люди считали ее комичной и жуткой: крыса, которая от страха со свистом кидается в лицо каждому, кто к ней приблизился...

Она явилась уже на следующий вечер, через чердак, в домашних туфлях, которые сняла у дверей Франциски.

— Не помешаю? — хрипло шепнула Гертруда.

Франциска лежала на кровати и писала.

— Я работаю,— мрачно отвечала она. Но смягчилась, увидев, что Гертруда в одних чулках стоит на цыпочках, а на ее лице, как бы придавленном тяжестью лба, борются гордость, недоверие и смиренная преданность. — Скажите, сколько стоит материя на гардины, бумажная или что-нибудь в этом роде?

— Но у вас же тут красивые гардины.

Франциска только отмахнулась, красивые, но все равно, общежитие есть общежитие, а впрочем, мне и так хорошо. Она ничего не меняла в комнате, ничего не добавляла и оставила мысли о цветах, картинах, подушках — ей не хотелось устраиваться по-домашнему. Монашеская келья. Чем проще, тем лучше, здесь ничто не отвлекало ее от работы, уют греет человека, а от тепла он становится вялым. Этот год она хотела учиться, собирать и впитывать в себя знания (она была зверски голодна, эта малышка), а значит, ей нужно быть в форме всегда, все слышать и видеть, она вооружилась против всех саентиментов, против своих мечтаний, против недостойных желаний, которым было подвержено ее тело худой здоровой девушки. Она истязала свою плоть, так как считала себя изнеженной, спала с открытым окном под тонким одеялом и про-

сыналась, стуча зубами и съжившись от холода. В ванне обливалась ледяной водой, становилась красной как рак и была довольна, исполнив свой суровый долг. У нее были туманные представления об аскетической жизни.

Длинными зимними вечерами ее ждали другие испытания: ранняя темнота, одиночество, вид из окна на пустынную улицу, на развалины крестьянского дома, на фонарь, горящий на углу, матово-желтый, бессильный и далекий, как та свеча, что зажгла влюбленная девушка для одинокого пловца. Печально... Но надо взять себя в руки. Тут на помощь приходило ее воспитание. Если Шафхойтлиц, раза два в неделю почевавший в общежитии, под каким-нибудь предлогом входил в ее комнату (он никогда не задерживался больше чем на десять минут), она встречала его с веселой миной. Даже смешила его... Преисполненная энергии, для которой не было применения, она хотела бы работать по двадцать часов вкряду, готовить грандиозный проект на конкурсе, как тогда у Регера, когда они вкалывали дни и ночи напролет, спали полчаса, сидя у чертежного стола и опустив голову на чертежную доску. Она жаждала трудной задачи, как встречи с противником, чтобы испробовать свои силы.

— ...Красивые, но не по мне, — сказала Франциска. — Я хочу устроить тут одну штуку... консультационный пункт, понимаете, для людей, которые обставляют свои квартиры. Мы подрежем крылышки этим торгошам-разпосчикам. Сорок марок за такую пакость, меня это возмущает, и такие гнусные люстры... — Она говорила о своих планах быстро и точно, как будто уже завтра приступала к их выполнению. Читать лекции (но где, в бараке на кладбище? Ну, да там видно будет)... Она посвящала Гертруду, чопорно и неподвижно сидевшую на красной стуле, в свои замыслы и требовала восторженного одобрения. Варила на кухне кофе и продолжала говорить с Гертрудой через открытую дверь, она уже видела этот навильон, где теснятся люди, она будет им помогать выбирать ковры, занавеси, лампы, устроит выставку репродукций, а потом и оригиналов, акварелей и графики (я запрягу Якоба, своих старых друзей), обяжет кооператив столяров перделывать старую мебель, она все обдумала...

— Но это же денег стоит!.. — закричала Гертруда. Наконец она заговорила, эта женщина, работавшая на конвейере, которая отлично знала производство, тревоги и заботы отцов семейств, знала, кто сколько получает. — Что

вы думаете, хороший вкус стоит недешево... Прошли те времена, когда можно было без конца делать деньги. Даже эти, с «Висмута», считать научились... — Пока Франциска возилась на кухне, Гертруда угрюмо рассматривала чашки и тарелки, щупала их, вертела в руках. Сипие мечи... — Хорошо вам говорить... Мейсен. Кто это может себе позволить?

— Мне они достались по наследству, — сказала Франциска. Она уже извинялась за свою семью, за дом в квартале миллионеров, за сытое детство, какао по утрам и кукольный театр, даже за Важную Старую Даму и королевскую синеву ее фарфора... Хвасталась «эпохой ящиков», едой в студенческой столовке, о да, она голодала, ей не всегда удавалось наскрести марку на кино, она отводила глаза от витрин... но она улыбалась, рассказывая Гертруде о лишениях, словно рассказывала о студенческих дурачествах: никогда она не отчаивалась, никогда не знала настоящей нужды, могла себе позволить и голод и долги за квартиру, не испытывая страха, подобно дилетанту из богатой семьи, который, втершись к богеме, делит ее жизнь или думает, что делит, так как спит на пальто в холодной студии, ест хлеб с луком... У нее был свой «золотой запас» — ежемесячная стипендия, родители (эти только на крайний случай: они платили, но заставляли Франциску расплачиваться твердой валютой — признанием своего поражения) и еще неколебимая подсознательная уверенность, сформулированная приблизительно так: у нас никто не пропадет. Тут не о чем и говорить.

— Да, деньги — это, конечно, проблема... — Лицемерный вздох... Шафхойтлина, уже подумывающего о старости, о пенсии и дополнительных страховках (у него четверо детей), испугало бы, даже возмутило легкомыслие Франциски, эта беззаботность женщины, имеющей профессию и, конечно же, намеренной заниматься этой профессией всю жизнь... Она не копила денег, и слово «будущее» не отбрасывало на нее угрожающую тень. А поскольку она была помешана на своей работе, то всякий раз, получая зарплату, испытывала нечто вроде радостного изумления — за хобби платят деньги. Она не умела с ними обращаться, ах, боже мой, деньги для того и существуют, чтобы их тратить... удовлетворяла свои прихоти и через две недели удивленно взирала на жалкие остатки денег, правда, их достаточно, чтобы дотянуть вторую половину

месяца — эту обычную дистанцию воздержания она проходила задумчиво, под впечатлением важности той роли, которую играют деньги, когда их нет, но всегда бесстрашно.

В эти десять — пятнадцать дней она замечала хищные взгляды опытных хозяек, разглядывающих костистое мясо, из двух сортов колбасы выбирающих ту, что на четыре пфеннига дешевле, их губы непрестанно движутся, подсчитывая расходы, руки ощупывают кочан капусты, вертят консервную банку и нерешительно ставят ее обратно — слишком дорого, шлепают по тянущимся к конфетам детским ручонкам... В дни получек магазин переполнен торжествующими охотницами с лихорадочной жаждой покупок в глазах, как бы чего не упустить... они опустошают полки с шоколадом и печеньем, холодильники с индейками, ошипанными курами и тащат из магазина полные сетки, словно охотничьи трофеи...

...От Гертруды не отделаешься вздохом или незначащей фразой, деньги — вот главная проблема в осуществлении этого плана, нашего плана, сказала она, чтобы сделать Франциске приятное. Франциска вышла из терпения.

— Хорошо — еще не значит дорого, мы прочедем все магазины, составим каталог с ценами, образчиками тканей и т. д. ...

— После работы, что ли? — В беспокойных глазах Гертруды затеплилась искра любопытства. — Это глупо. Очень надо надрываться для других. Кто надывается для нас? Спасибо вы не дождетесь, только напоретесь на хамство да вконец избегаетесь. Зачем вам это нужно?

— Зачем, зачем... Регер нас учил...

Гертруда перебила ее своим низким, грубым голосом, от которого Франциску бросало в дрожь:

— Скажите это шефу, этими самыми словами... вы с вашим Регером... он, как слышит его имя, весь багровеет, скажите — и вам крышка. Вы же ничего не знаете... Он бы сделал котлету из Язваука, если бы вы не всунулись с Регером. — Гертруда поставила локти на стол, не обращая внимания на кину чертежей, маленький ее подбородок трясся, она смотрела на Франциску, свою подругу-недруга, которую подкарауливала уже давно и которой сдалась в плен вчера вечером, безоговорочно капитулировала в тот миг, когда Франциска, фыркая от петерения, натягивала на нее варежки... Нет, не безоговорочно... Она не желала

ни с кем делиться и выдала свою угрюмую любовь, свою ревность, напустившись на Франциску: — Чего вы, спрашивается, носитесь с этим придурком?

— Какой еще придурок? Ах, Язваук, но он же очень милый.

— Это что-то новое! Однако вы его по морде съездили... Нам все известно.

— Болтовня, — отвечала Франциска. (Сквозь дощатые стенки барака слышно каждое громкое слово, крик, ссора... а она тогда бушевала, готова была задушить этого красавчика...) — Ничего такого не было. Это не благородно... Мой брат утверждает, что нечестно, когда женщина дает пощечину мужчине, — он ведь не может дать сдачи. Почему? Не может, и точка... У них существует какое-то врожденное торможение, как у самцов, которые никогда не кусают самок, как правило, во всяком случае.

— Значит, мне всегда попадались исключения из правил, — заметила Гертруда.

— А Язваук не исключение, — отвечала Франциска, — ни в коей мере, звезд с неба он не хватает, но если вообще бывают нормальные люди, то самый нормальный человек — это Язваук. — Франциска наслаждалась удивлением Гертруды. — А разве нет? Потому что он похож на павшего ангела? Вы и вправду считаете его красивым? Лорд Байрон красив, но он гений, а наш славный Язваук только носит маску Байрона. — Она рассмеялась. — Я сказала славный... Юбочник и сердцеед, и славец он лишь тем, что придумал предлог для своих подвигов — он-де ищет идеальную женщину... Но, увы, ищет ее только в постели. Перед ним, по-моему, два пути — сделаться комичным старым холостяком, которого хватит удар, когда хорошенькая молодая девица впервые назовет его «дедушкой»... или же на склоне лет обзавестись образцовой семьей — с машиной, идеально ухоженной супругой и одним-единственным ребенком. А вы видите третий путь?

Почувяв во Франциске союзницу, довольная Гертруда молча покачала головой. Она совсем иначе обходится с мужчинами, бросается царанать им лицо, на дерзость отвечает такой похабщиной, что у них уши вянут, обливает такой грязью, что им вовек не отмыться, — это не кошачьи повадки ее ясноглазой подруги, которая морщится, воротит нос и, как бы шутя, показывает острые клычки... Гертруда уселась поудобнее и облизала губы в предвкушении удовольствия проехаться насчет мужчины, не оста-

вить от него мокрого места, насладиться его поражением.

— Была оплеуха или нет, он все равно вляпался...

Он и вправду вляпался. Язваук-всезнайка, который своими фантастическими успехами обязан умению выбирать. Среди десяти женщин он всегда чувствовал тех двух, что на него клюнут. Юпошески обаятельный, он никогда не получал отказа, легко одерживал победы, без затраты душевных сил рвал связи так умело, что покинутая, расставшись с ним, чувствовала себя не менее польщенной, чем одержав над ним победу. Никто на него не обижался. Золотой парень. На улице они приветствовали друг друга легким подмигиванием... Франциска, которой он рассказывал свои похождения с неприпущенностью доброго приятеля, слушала его, снисходительно посмеиваясь: он не говорил дурно о женщине, с которой спал когда-то, всех вспоминал дружественно, и они его тоже. Ни тоски, ни ревности. Поскольку не было жертв, достойных сожаления, Франциска любовалась им, как любят канатоходцем над бурной рекой, он делал все так красиво, так элегантно, не думая о том, что может унасть в быстрый поток глубоко внизу. Это ведь тоже талант, правда?

— Он был в вас влюблен, — сказала Гертруда.

— Ни капельки, — отвечала Франциска, смеясь. — Он меня испытывал... — Она помедлила, заметив заговорщицкую улыбку Гертруды... С тех пор как она чувствовала себя пажом белокурой красавицы, то есть со школьных времен, без подруги, даже без потребности в подруге, ее впервые потянуло к «бабьей солидарности», как выражался Вильгельм, к удовольствию копаться в интимных подробностях, перевернуть все в заветном ящике, содержимое которого — табу для мужчин... Потянуло и в то же время отвратило — как-никак она шесть или семь лет работала только с мужчинами, приспособилась к их мужским нормам, научилась их сухому языку. Они приняли ее в свое сообщество? Нет, конечно, она знала это, как представительница другого мира. Птица с пестрым оперением. Капелька горечи: они затрудняют женщине жизнь... я должна все делать на «отлично», чтобы проходить у них на «хорошо». И все же она не жаждала мести, как Гертруда (но у этой поздней жертвы войны есть на то свои причины — темная, грязная история), а она, Франциска, бежала из круга замужних женщин, которые, собравшись, разоблачали своих мужей и вели счет их слабостям и недостат-

кам... вероятно, мстим за двойную ношу хозяйства и работы. За беременности, за то, что из-за мужа поставили крест на учебе и карьере. Почему они чувствовали себя обделенными? Я тогда об этом еще не думала. Я ни на чем креста не ставила и не позволяла помыкать собой. Вольфганг — это другая глава... Законы, дарующие женщине равноправие, не гарантируют ей ни признания, ни равноценности. Это ясно. Надо стараться идти в ногу... Только позднее я поняла, что в обществе, где женщины за одинаковую работу получают одинаковую с мужчинами зарплату (это уже никого не удивляет), тем не менее господствуют иные, неписаные законы, созданные в мире, где правят мужчины, законы прошлого, глупые, упорные, они словно ярмо на нашей шее, точь-в-точь как проклятое «это не приято» моих родителей.

Франциска сухо сказала:

— Он влюбляется в каждую женщину, которой хочет обладать, но влюбляется, только когда уже обладает ею. Понимаете? Никакого риска... — Она собрала свои чертёжи. — Давайте перемешим тему. — Она уже жалела, что перемывала косточки Язвауку, с которым даже успела перейти на «ты». Ему было двадцать восемь лет, они вместе делали скучнейшую работу, а значит, болтали с утра до ночи, она радовалась его жизнерадостности — он выкинул на бетонке до ста сорока километров, рисковал головой (своей и ее), необузданно радуясь бешеным скоростям, кричал: «Летим!» В такие минуты она готова была любить его.

Они работали в комнате возле кабинета Шафхойтлина. Шафхойтлин в первый же день сухо и обстоятельно предостерег ее от Язваука, па чьи буйные выходки он обычно закрывал глаза (терпимость, равнодушие? Увидим...), он даже поинтересовался впечатлениями Франциски, она ответила, что приблизительно такими представляла себе мальчиков на Виа Венецо. Шафхойтлин предался воспоминаниям: Рим, Милац, Флоренция... давно это было... Студент, без гроша в кармане, путешествовал автостопом по Италии... Франциска застыла от изумления. Она искала в его лице черты того, двадцатилетнего, следы хоть дальнего родства, между тем бродягой и своим шефом... Неужто это непроищаемое лицо когда-то было опалено горячим солнцем, занорощено белой пылью проселочных дорог? Франциска вздернула брови.

— Вы? — спросила она...

Шафхойтлин три дня не разговаривал с ней, хотя видел, что Язваук расставляет капканы для новой жертвы.

Язваук расточал ей комплименты, которые она рассеянно принимала как нечто ей подходящее (это тоже школа Вильгельма)... Он устремлял на нее свои черные бархатные глаза, а она смотрела на них безразлично, как на проколотых булавкой бабочек, пусть даже на самые красивые экземпляры... он через ее плечо разглядывал план города, наклонялся над ней, а она застывала от омерзения, его тепло, его дыхание на ее шее казалось ей прикосновением какой-то грязной субстанции. В этой игре он рассчитывал на умелую партнершу. Но на сей раз инстинкт подвел его: она не клюнула...

В столовой они всегда сидели рядом, Франциска и Язваук, наши молодые люди, на которых то и дело останавливались взгляды статистиков и архитекторов, доброжелательные отцы семейств взирали на них с веселым любопытством, считая делом чести женить ветрогона. Этот последний холостяк был объектом всевозможных пари и злорадных шуточек, все хотели, чтобы он либо получил по носу, либо наконец влип: узы, любовь, брак, жена, которая сумеет держать его в руках. Слишком часто он ускользал... Их колкости (которые он сносил с миной, как будто говорившей «Кавалер-наслаждается-и-молчит») были лишены настоящей злости и зависти, что свидетельствовало о мягкости его характера: у него не было врагов. Страшная снисходительность этих серьезных и нравственно устойчивых людей, которые, казалось, тем быстрее растут в собственных глазах, чем больше промахов допускал Язваук...

Однажды декабрьским вечером он прокатил Франциску в своей машине. Франциска сочла, что в нем есть что-то гомосексуальное.

— Но вам это к лицу, — сказала она, — вы напоминаете *la dolce vita*<sup>1</sup>, — добавила она, глядя на его голову римлянина, откинутую на красную спинку сиденья. На бетоне он выкал все возможное из своей машины: этот мальчик стремился импонировать. На окраине города он затормозил.

— Страшно?

Франциска улыбнулась как пьяная.

— Это было чудесно.

---

<sup>1</sup> Сладкая жизнь (*итал.*).

Он отвез ее к Дому приезжих, в машине они выкурили еще по сигарете. Немного погодя из-за угла показался Шафхойтлин, он шел решительным шагом и вдруг замер, вздрогнул и отшатнулся, словно наткнувшись на невидимое препятствие.

— Этот... — проворчала Франциска. — Три дня назад я вручила ему свою ноту. Дипломат молчит... Знаете, Язваук, меня просто бесит манера вести себя так, словно мы все работаем в секретной миссии.

Шафхойтлин, обходя на грязной дороге подернутые льдом лужи, задел крыло машины, голова его была неподвижна и неестественно вытянута вперед, словно шею ему сковывал железный ошейник.

— Каждый трудится над своей деталью, не имея представления о готовом доме, если вы понимаете, что я имею в виду. — Она попыталась сформулировать свое недовольство, не чувствуя, что Язваук не слушает ее, а пожирает глазами. — Работа как на конвейере, люди не знают, что они производят. Дышать нечем... Все окна закрыты, все двери заперты, мы среди своих и считаем, что все в порядке... Размаха нет в группе... — (об энтузиазме она сказать не решилась). — Кто во что горазд, а этого мало, Язваук. — Франциска повернула голову и увидела устремленные на нее бархатные глаза, красивые глупые глаза. Она схватила его за рукав. — Слышите? Это же та авантюра, тот риск, о котором мечтали великие зодчие: строить новый город, несколько сот гектаров земли, на них можно воплотить градостроительную идею... А кому в жизни выпадал такой шанс? Нимейеру с его Бразилией, Корбюзье, строителям Кируны... и Шафхойтлину с Нейштадтом, — добавила она.

Язваук мечтательно проговорил:

— В разведенной женщине есть своеобразное очарование...

— Какой вы скучный, Язваук, — ответила Франциска. — Все одно и то же... Почему вы стали архитектором?

Он улыбнулся своей оболстительной юношеской улыбкой, он видел ее пискливо: еще сохранила идеалы или, во всяком случае, выдумывает их себе, эрзац-удовлетворение разочарованной женщины. Увлеченность профессией для женщин всегда только предлог. В двадцать пять лет подобное рвение придает им пекую дополнительную прелесть, в сорок — делает их певыпосимыми. Они патаскивают на себя мужественность, дабы мужчины принимали их все-

рьез, но не поступаются правом плакать, когда хулят их работу, на суровость отвечая суровостью...

— Откровенно говоря,— сказал Язваук (он и вправду был недалек от откровенности),— я и сам не знаю. Я мог бы вам соврать, заговорить об утраченных иллюзиях, на вас бы это произвело впечатление, верно? Но я слишком хорошо к вам отношусь. Да. Честное слово, я уважаю вас как коллегу.

— И как человека,— сухо подхватила Франциска.

Он состроил такую гримасу, что она рассмеялась.

— Сказать по правде, я никогда не питал никаких иллюзий,— продолжал он с чистосердечностью юного пройдохи, знающего, что откровенность ему, во всяком случае, не повредит.— Я не выбирал себе профессию. Не будем, однако, говорить об идеалах... Я восхищаюсь людьми, у которых есть идеалы, но они действуют мне на нервы... прошу прощения, прекрасная коллега. Очевидно, это везде принято — ждать, что молодой человек хочет приносить пользу, видит перед собой ясную цель... У меня слабость к архитектуре интрьера, ей-богу, можете мне поверить, но в вузах не было подходящих вакансий. Нитшево, как говорят русские. А за наименее гербовой, пишут на простой...

Пустая болтовня, нечто среднее между *laissez faire*<sup>1</sup> и искренностью вроде «будем-же-откровенны». Мелкие белые зубы, блестящие между пунцово-красных губ под тонкими усиками, мышинные зубы озорного мальчишки, который поровит откусить от любого пряника, попробовать на вкус, да еще причмокнуть.

...Путь, словно прочерченный по линейке, ни одного угла, о который можно ушибиться, ни одного объезда. Посредственность, средний ученик, «удовлетворительно» и «хорошо», усердный студент, пользующийся всеобщим благорасположением, не привлекающий к себе внимания ни успехами, ни чрезмерным любознательством. Десятка полтора интрижек, в которых он проявлял такт... Недаром его мать говорила: «На него нельзя сердиться».

Его смуглая красота многое ему облегчала, он учился пользоваться ею. Не то чтобы он перед зеркалом репетировал улыбки, нет, это был природный талант, ему достаточно было интуиции, чтобы в пугливый момент его круглые черные глаза вспыхнули, затуманились, стали томны-

<sup>1</sup> Испротивление, попустительство (*франц.*).

ми или вызывающими. Эффект, им производимый, он читал на лицах пепельных или золотистых блондинок, когда поворачивал в профиль свою прекрасную голову римлянина; изумление, даже замешательство — когда раздражался смехом, приятным, простодушным юношеским смехом, сразу перебрасывающим мостик через невидимую пропасть. Статуи созерцают, а Язваук хотел быть любимым (но что он понимал под любовью?). Он старался никого не задеть ни упрямством, ни самостоятельным, решительно высказанным мнением: мысль, что он кому-то не нравится, очень бы его огорчила.

У его отца был мебельный магазин и столярная мастерская (патриархальный ремесленнический уклад, квартира за магазином, с тремя витринами, мастерская во дворе. Летом все двери стояли настежь, дом наполнялся запахом клея и свежего дерева, двор был засыпан завитками стружек, всюду виднелись следы подмастерьев, к подошвам которых липли опилки), грузовик и легковая машина, бунгало на Круммензее... что еще в жизни надо... Галантный мужчина (по сей день), с орлиным носом и седой шевелюрой. Раньше, в маленьком городке, он принадлежал к зажиточным бюргерам, а теперь... господи... вы же знаете, палогн выкачивают всю кровь... Он встречал своих заказчиков долгим теплым рукопожатием, всех их знал по именам, знал их вкусы (тут он делал различия) — пизенькие столики, кресла к телевизору, изящные стеллажи из бамбука и даже комнатные фонтанчики.

Язваук-младший унаследовал склонность к ирриклидиому искусству, к занятиям безделушкам, — склонность, облагороженную впоследствии высшим образованием. Лаки, шелковые ткани, полированное дерево неудержимо влекли его (надо было видеть, как он гладил мерцающую березовую фанеру — словно девичью шею), он любил ходить с женщинами по магазинам, вместе с ними рыться в блузках и чулках, давать им советы во время примерки платья, чтобы не допустить таких вопиющих ошибок, которые позволяла себе Франциска, — она могла выбрать ткань в огромных, величиной с тарелку красных цветах, чтобы скрыть костлявые бедра, или купить туфли с пряжками, усеянными сверкающими камнями.

Счастливый человек. Если когда-нибудь прежде он и сомневался в себе, задумывался о своей жизни, предавался мечтам о сумрачном величии, то теперь все это было позабыто. Сама жизнь подтверждала его правоту. Этот мир

дарит радостью тех, кто умеет вовремя протянуть за него руку. У него была отличная, благоустроенная квартира в районном городе, спортивная машина мощностью пятьдесят лошадиных сил, бежевые кожаные кресла, несколько репродукций Брака, керосиновая лампа и liaisons<sup>1</sup>, не требовавшие от него особых душевных затрат. Работу свою он выполнял добросовестно, не мучаясь излишним честолюбием, никогда не проявлял недовольства или строитивости (по вечерам он делал проекты для частных заказчиков, мы не станем доискиваться, какая из этих двух работ требовала больших усилий). Вдобавок ко всем этим привлекательным свойствам он обладал приятным талантом рисовальщика, который нередко эксплуатировала Франциска; даже самым скучно-прозаическим зданиям он умел придать налет некоторой экстравагантности, оживляя чертежи деревьями, потоками транспорта и элегантными длинноногими девицами...

Итак, довольно о Язвауке, который, откинувшись на сиденье, болтает, острит, поворачивается в профиль, покуда Шафхойтлин, стоя за гардиной, сощурившись, смотрит на темный автомобиль, на красную тлеющую точку, что пляшет за стеклом (она... опять она говорит, размахивая руками... говорит, слава тебе господи)... Шафхойтлин выключил свет в комнате, он ждет, четверть часа, полчаса, неотрывно смотрит, мысленно стирая в порошок этого сукина сына, топча его ногами, смотрит на пугающе темную машину, и, когда он уже онемел, оглох от ожидания, от воображаемых картин, бросающих его то в жар, то в холод, он наконец видит, как Язваук вылезает из машины, обходит вокруг своей хромированной зверюги, открывает дверцу, помогает этой Лишкерханд вылезти из машины (она потягивается, что-то говорит, они оба смеются, глупо и безудержно, широко раскрыв рты), берет ее под руку, провожает до дверей, как говорится, красивая пара, наши молодые люди, эти стилисты с их вечной болтовней и хихиканьем, все у них наоборот: она в сапогах, он в остроносых полуботинках, она коротко острижена, у него длинная грива, — двуногие существа, они говорят чужими словами, слушают чужую музыку — воркующий, визжащий, непристойно хрипящий, человеческий голос саксофона, а любовью они занимаются равнодушно и походя, как мы выкуриваем сигарету. Мы в их возрасте... (Так думает

---

<sup>1</sup> Любовные связи (франц.).

Шафхойтлин о Франциске и Язвауке, а также — с некоторыми вариациями — Франциска и Бенджамин — о следующем, тупоумном поколении восемнадцати- и двадцатилетних, что без дела толкутся на всех углах и в обиде на весь свет, бог знает почему.)

Он сгреб со стола рукопись, двенадцать убористо исписанных страниц. Он ей в морду их бросит, этой Липкерханд... Нет. Очень холодно: «Весьма сожалею о затраченных вами усилиях, коллега, но вы оставили в стороне основные проблемы»... Он прижал руку к животу, где катался огненный шар, через равные промежутки времени стучаясь о стенки желудка и, казалось, обжигая их. Уже два года он страдал язвой после той истории со взятками на стройке, которую он раскрыл, долго колебался между чувством долга и страхом привлечь к себе внимание, стать объектом ненависти и наконец передал дело в суд... Она работала, сказал он себе, а значит, имеет право на то, чтобы в ее работе разобрались *sine ira et studio*<sup>1</sup>.

Он вышел в коридор, поднял клапан глазка и, услышав ее шаги на лестнице, припик к нему. Подковки ее сапог стучали по каменным плитам. Сквозь линзу лестница казалась длинной и крутой, как в метро, а фигурка внизу — крохотной. Держась за перила, эта Липкерханд поднималась по лестнице, а звук был такой, словно она при каждом шаге наступая на лопающиеся с треском ягоды ледовитки. Казалось, она со своей прусской выправкой, прямо держа голову, смотрит как раз на дверь, на глазок, на глаз за глазком, и Шафхойтлин невольно отпрянул, успев еще увидеть совсем близко, под белым колоколом абажура лицо этой Липкерханд, не подозревавшей, что за нею наблюдают... Он тихонько вернулся в комнату.

Он был смущен непонятной переменой в себе, своей нескромностью, бесстыдным подглядыванием в замочную скважину. А если бы кто-нибудь прошел по коридору, если бы его застали здесь, как старую сплетницу, как наглеца и болвана! Он был бы опозорен, его авторитет безупречного начальника пошатнулся бы... Бедный Шафхойтлин, ему еще часто придется, и всегда с нечистой совестью, смотреть, как будет с минуты на минуту чахнуть, распадаться, стареть лицо Липкерханд — потом, когда у них уже не будет тайн друг от друга, когда она даст себе волю и в своем безумии, в своем эгоизме влюбленной жещ-

---

<sup>1</sup> Без гнева и без пристрастия (лат.)

щины делает его доверенным, страдающим и благодарным конфидентом, который хотел бы ничего не слышать и не видеть, но ловит каждое слово, каждый взгляд, пытаюсь разобраться в них, истолковать...

Шафхойтлин был человеком, в общем-то, справедливым, справедливым из педагогичности, и оставался таким даже тогда, когда предвидел, что справедливость ему самому выйдет боком. Двенадцать страниц, которые Франциска небрежно, просто как пачку бумаги, отдала ему и которые он скрепил металлическими скрепками, Шафхойтлин положил в картонную папку, а папку — к себе в портфель. Не то чтобы его тронула ее усталая и жалкая мордашка... Ерундистика. Завтра она опять будет на коне... Неразумная злость на нее за полчаса в машине Язваука, а еще больше на себя — полчаса простоял за гардиной! Неразумно и недопустимо в отношении своей сотрудницы, он собирался связать деловое и личное... Шафхойтлин решил, что завтра вернет Линкерханд ее работу.

А назавтра это скандальное происшествие... Франциска прилежно работала: пробивалась в сказочную страну нетерпеливо и потому взяла такой темп, что Язваук негодовал. Не надо гнать, говорил он, как когда-то во время каникул... Да, сказала Франциска, тогда мы это делали из-за денег, и вообще это был совсем другой колленкор, и все равно мы слишком долго возились. Санитарное переустройство — тоска зеленая, даже за пять сотен в месяц, но для студента пятьсот марок — неслыханная роскошь. Тогдашний шеф в X. — симпатяга лет под тридцать — еще не позабыл вкус студенческой жратвы и подмигивал нам, когда мы затягивали работу... Разве они хоть раз подпустили нас к настоящему делу?

Язваук, хорошо знавший эту лавочку, пожал плечами и поднял руки, как бы сдаваясь, — жест, отчаянно напоминавший жест Лаандауера, им пользовались и остальные сотрудники: Леберехт, Ковальский, Шольц, Граббе, в чьи компаты Франциска совала нос, впрочем весьма учтиво. Не раз в разговорах проявляла она излишнюю пылкость, и ей приходилось выслушивать дружеские поучения на тему о бессилии архитектора, прикованного к тинковому проекту, — от робкого, горбатого Граббе и недружески покровительственные — от Кёпполя из отдела планировки озеленения, который обычно не позволял себе критиковать свою молодую коллегу: у вас, говорил он, нет правильного мерия для оценки наших успехов... Тут мы

должны сказать несколько слов о Кёппеле — о человеке, который в том, что касается внешности, отличался от других только сшитыми на заказ костюмами и самодовольной улыбкой посвященного — уголки его губ были постоянно опущены. Франциска избегала его, инстинкт предостерегал ее от этого человека, намекавшего на свои связи бог весть с кем, это было покрыто мраком. На совещаниях в кабинете Шафхойтлина он всегда сидел, скрестив руки на груди и понимающе улыбаясь, говорил мало и очень тихим голосом, что привлекало к нему внимание и даже укрепляло его авторитет. Изредка слышавшиеся протесты он подавлял, всегда тихо, высокомерно-любезным тоном, фразами, в которых читался намек на его знание известных внутренних вопросов, на его глубокую осведомленность в известных взаимосвязях... То одного, то другого сотрудника он отводил в сторону для доверительного разговора. Рептилия, говорила о нем Франциска, питавшая физическое отвращение ко всяким полунамекам, полутайнам. Когда они здоровались, она не замечала его протянутой руки из страха притронуться к студенистой массе. Сухая ухоженная рука (к ней, между нами говоря, прилипают деньги) покровительственно простирается над людьми, которые ему угодны, вернее, полезны. Однозные истории, слухи, ничто не доказано, но ведь дыма без огня не бывает... Даже миролюбивый Язваук называл Кёппеля, за его спиной, разумеется, интриганом, а Ковальский ругал его на чем свет стоит, тоже заглазно, хотя бы уже потому, что Кёппель и ему внушал страх, не говоря уж о Граббе — маленьком горбуне, друге и подопечном Ковальского.

Граббе и Ковальский сидели в одной комнате, сдвинув столы, но сразу было видно, где чей стол. На столе Граббе все бумаги лежали в образцовом порядке, карандаши, ручки и линейки, что называется, в сомкнутом строю, и всегда параллельно краю стола, на который грозила обрушиться лавина бумаг Ковальского, высоченные стопки чертежей и черные ручки из баночек с тушью, которые этот сапгвиник нередко опрокидывал, то в гневе, то в ссешке, когда он размахивал руками и сыпал проклятиями, ища куда-то коварно запропастившуюся резинку. На стене, рядом с местом Граббе, красовались фотографии кошек — развалившиеся в корзинке тигровые кошки, высокомерные персияшки и забавно зевающие ангорские котята. Стена у стола Ковальского была сплошь заклеена репродукциями, в основном обнаженные женщины и все

почти в одинаковых позах — вытянувшись на ложе или на траве посреди мифического пейзажа: Даная и золотой дождь, толстая Хендрикье, куртизанка Олимпия и Венера, написанная доброй дюжиной мастеров, Венера спящая и Венера дремлющая, с невинным лицом, небрежно прикрывающаяся рукой. Франциска, призванная в судьи (Ковальский выдумал такой тест), сказала, что предпочитает богиням девушек Модильяни: у них бедра уже по меньшей мере на пять сантиметров, глаза широко открыты и во всем теле, от макушки до кончиков пальцев, не чувствуется готовности отдаться первому встречному парню с козлиными ногами и мохнатыми ушами... Аспект, конечно, весьма сомнительный, заметил несколько озадаченный Ковальский.

Он правился Франциске, так как всей статью — высокий, широкогрудый — и взрывным темпераментом напоминал Регера. Когда Ковальский в распахнутом халате быстро шел по коридору барака, в нем тоже было что-то драматическое, развевающееся, как в Регере. Король Лир в грозу, говорила Франциска. И смеялась про себя, узнавая эти театральные жесты: однажды в волнении он стал рвать на себе волосы, бил себя кулаками в грудь (роковое сходство с человекообразной обезьяной, особенно когда сквозь расстегнутый ворот рубашки пробивалась ярко-рыжая поросль). Франциска любила слушать, как он клянет Кёпцеля, этих идиотов из отдела областного планирования, старых дураков из Академии архитектуры и, наконец, окаянный строительный комбинат, это государство в государстве, абсолютную монархию, где архитекторы разве что шуты и паяцы... Такие порывы ветра в застойном, вопиющем воздухе освежали — в основном самого Ковальского, которого никто не видел раздраженным или подавленным, — во всяком случае, больше, чем смирение Граббе и наплевательство Язваука. Этот вечный дебошир Ковальский был бы смешон, если бы не его серьезность в работе и не его упорство: он прошибал головой стену, никогда не думая о подрыве авторитетов, хитрости, и ловкие маневры были ему чужды — он просто шел на приступ с налитыми кровью глазами, наклонив голову, как бык, до крови расшибался, но не отступал, нет такой стены, которая рано или поздно не рухнет...

Итак, на следующий день этот инцидент: Шафхойтлин остановился в дверях и зажмурился, как от яркого света, он готов был накинуться на Язваука, если бы Франциска

не обернулась к нему, как к новому врагу, фыркая и заикаясь:

— У Ре-регера эт-того б-быть не м-могло...

Шафхойтлин крутанул своей короткой шеей.

— Что здесь происходит? — спросил он.

И эти двое, пуццово-красные, в один голос ответили:

— Ничего.

От внезапной детовапии задрожали оконные стекла. Шафхойтлин пошевелил губами — вой заглушал его голос — и весь сжался, несмотря на многолетнюю привычку, несмотря на сотни раз повторявшуюся в бараке ворчливую шуточку: «На бреющем полете они нам еще крышу, чего доброго, сбреют...» Франциска побелела. Свист «мессера», прорезавшего воздух, больно полоснул ее по ушам, морозом пробежал по коже. Шафхойтлин кивнул головой, и Язваук прошел за ним к двери, чересчур небрежно, виляя бедрами, как сутенер, но все же предусмотрительно описал дугу вокруг Шафхойтлина, который, не взглянув на Франциску, со всего маху хлопнул дверью.

Ей не хотелось слышать его голос за дощатой стеной — медленный поток слов, упреков, предупреждений сквозь зубы, серые рыбы глаза устремлены на Язваука, — и она открыла окно, стекла плясали в рамках. Она столкнула чашку, стоявшую на подоконнике, дешевка, массовое производство. Этого только не хватало... все у меня идет вкривь и вкось... Она присела на корточки, чтобы собрать осколки, да так и застыла, внезапно ослабев от тоски по дому, и впервые без протеста отдалась оцепенению, что она чужая и одинокая в городе, где ее гнетут бессмысленные ряды домов, блекло-желтые облака, запах серы, гонимый по улицам западным ветром, и вой сирены по почам.

Вскоре вернулся Язваук, развязный от смущения, этот друг всех и каждого был опечален своей незадачей — увидеть себя отвергнутым, неполюбимым; его испытанное обаяние оказалось бессильным против суровости Шафхойтлина. Медный лоб, Язваук ожидал мужского разговора, «нам надо объясниться...». Ничего подобного. Непримириемость начальника напугала его больше, чем вопли Франциски, — в этом поражении его утешала мысль, что она непорочная, в лучшем случае, «закомплексованная»... разведенная жена... впрочем, насколько он помнит, ее стрижка, ее мужские руки всегда казались ему подозрительными...

Франциска, стоя у окна, обернулась и вздернула нос:

— Я разбила вашу чашку.

— О, ради бога, если вам это доставило удовольствие...

Он выбросил осколки в окно, на усыпанную битыми бутылками и сигаретными коробками дорожку, отделявшую бараки от кладбища. Потом сел за стол напротив Франциски и, автоматически повернув голову в профиль, сказал:

— Честное слово, мне очень жаль.

— Мне тоже, — ответила Франциска.

Потом он заваривал кофе. С мрачной педантичностью старого провизора колдовал над стеклянной колбой, где бурлила вода, засыпал туда ровно пять ложек кофе, одну ложку какао, щепотку ванилина, несколько крупинок соли и снял пену, накипевшую в горлышке колбы. Франциска напряженно наблюдала за ним, высунув кончик языка. Язваук налил ей кофе, а сам отпил из колбы, обжег рот и смотрел на Франциску влажными черными глазами страдальца.

— Ладно уж, я вижу вашу жертву, — сказала она. Клоуп. На него нельзя сердиться... — Только прошу вас без шутовства... Нет, правда, Язваук, это пошло... когда я вам толкую о преимуществах разработки жилы...

— Всю жизнь мечтал о разработке жилы, — сказал Язваук, вновь обретший непосредственность счастливого молодого человека, — но в данном случае, прошу прощения, я больше был занят вашими преимуществами...

Франциска склонилась над чертежами и спросила тихо, сквозь зубы:

— Почему вы не стали дизайнером?

Язваук ничего не ответил, и несколько минут она слышала только потрескивание плитки, которая, остывая, ставилась черно-красной, и тягучий стук капли за окном... она чувствовала его взгляд, точный и осязаемый, как прикосновение пальца, он ее нервировал, и она нащупала под твердой желтой бумагой пачку сигарет.

— Мы квиты, — сказала она.

Язваук встал, обошел вокруг стола и подал ей зажигалку с монограммой: размашистый и высоко вздернутый хвостик «Я» огибал «М», что значило Мориз. Занястье в белом шейловом мажжете и тыльная сторона ладони были загорелыми, а ладонь розовой, как у мулата, и розовым же отливали ногти, выпуклые, отполированные, овально подстриженные, — этот денди делает маникюр.

— Значит, мы квиты, — медленно проговорил Язваук.

— Мне очень жаль, это был удар ниже пояса.

— И к тому же прицельный.

— Ну хорошо, пусть прицельный.

— Вы считаете, — сказал Язваук без улыбки, — вы считаете, что у меня нет в работе своего лица... Я верно вас понял?

— Вы прекрасно меня поняли. Войдите, — сказала она Гертруде, которая, даже не постучавшись, просунула в дверь свой огромный лоб с пуделиными кудерьками и переводила взгляд с Франциски на Язваука, прислонившегося к столу. Язваук пожал плечами, сунул руки в карманы и вразвалочку пошел к своему месту. Гертруда проводила его глазами, молча, все понимая и злясь, она была довольна его досадой: пусть попервничает, золотой мальчик, и, уже скрывшись за дверью, гаркнула:

— Фрау Липкерханд, к шефу!

— Слушаюсь! — ответила Франциска, но осталась сидеть, поставила локти на стол, подперла руками подбородок и смотрела на Язваука. Он чуть-чуть переменялся в лице, как-то обмяк, освободившись от обязанности нравиться: помятая кожа, расплывшиеся губы и взгляд, какой иногда бывает у мужчин в трамвае по вечерам, устало или рассеянно устремленный в одну точку на запотевшем стекле, по которому как бы стекает свет. (Маршрут и остановки уже часть их физического бытия.) Держась рукой за кожаную петлю, они качаются как маятник, эти неопределенные четверть часа между заводскими воротами и дверью квартиры, работой и ужином, слегка подгибают колени, когда их бросает на повороте, смотрят и не видят, как бежит за окнами реклама — красная, белая, зеленая, они в пути, и только... Она застала его врасплох, и он тут же отвел взгляд.

— Долго вы собираетесь пробыть в Нейштадте? — спросил он.

— Я? Наверно, с год...

— А не боитесь застрять?

— Нет, — отвечала она с улыбкой. Язваук тоже улыбнулся, как всегда юношески мило, и сказал:

— Я здесь четыре года.

— Довольно долго для Нейштадта.

— Здесь или еще где... Я не честолюбив, — отвечал он, дохнул себе на погги и потер их о рукав пиджака. — У меня нет своего лица, к счастью для меня и для Нейштадта... Четыре года назад мы выбросили лозунг, прекрасная коллега: «Страна смотрит на нас, отважных со-

здателей социалистического города...» — мощная кампания моралистов во главе с профессором Панкрацем... — Он поднес руку к свету, растопырил, потом снова сжал пальцы и подул на свои блестящие как зеркало ногти. — Эту руку пожимал председатель Совета Министров... а сегодня... — добавил он и принялся полировать ногти на левой руке, — сегодня мы *passé*<sup>1</sup>, моралисты смылись, великий Панкрац ошастливил другие края, а наземный персонал еще делает грязную работу, восстанавливает город... Может, хватит?

— Продолжайте, — сказала Франциска, она сидела вся красная, несмотря на его простодушную и приветливую мину.

Язваук пожал плечами.

— Нет больше никаких председателей Совета Министров. Каждые три месяца — делегация, Всеобщая конфедерация труда, или представители лейбористской партии, или что-нибудь в этом роде... Все миновало, и приемы в «Голубе мира» тоже. Ландауер — это совсем другой стиль, всегда джентльмен, несколько бутылок шампанского для него ничего не значили. Вот и все. Клянусь вам, мне не в чем признаваться. Я доволен, ей-богу... Начальство приходит и уходит, а Язваук остается... Бьюсь об заклад, что Шафхойтлин самое позднее через год даст тягу. Если его еще раньше не хватит удар оттого, что ему придется пригласить на чашку кофе трех французов да еще переводчика. — Язваук увлекся сплетнями о Шафхойтлине, скряге и карьеристе, о его бухгалтерской расчетливости... Он болтал, острил, преувеличивал, образом, вернее, карикатурой человека, который нагибается за каждым гвоздем и считает копторские скрепки, заслоня свой собственный образ, вспотевшего Язваука, покорного взгляду серых глаз, жмущегося к дверному косяку в животном страхе насилья... (Неприятный осадок, оставшийся от детской боязни потасовок, игр на школьном дворе с мячом, больно ударяющим в грудь или в ногу, от грубых шуток одноклассников, которые сталкивали его в бассейн со скользкого трамплина, прыгали ему на плечи, а он, ничего не видя, задыхаясь, широко открывал рот и глотал зеленую, тепловатую, пахнущую хлоркой воду.)

Франциска сидела как на игольках, бог весть почему страдающая от этих злых анекдотов, а когда Язваук дошел до

<sup>1</sup> *Здесь: отошли в прошлое (франц.).*

семейной жизни и жены Шафхойтлина, она перебила его:  
— Довольно, Шафхойтлин в подштанниках меня не интересует.

В этот миг раздалось стремительное дребезжание церковного колокола. Они вскочили и бросились к окну.

— Новый сосед, — произнес Язваук.

— Еще один из рода Кубитц, или Книхалла, или Пржевозник, — подхватила Франциска, — в последнее тысячелетие здесь существуют только три семейства, которым ставят памятники.

— Вы забываете прославленный род Язвауков. Оди мой дядя был королем сорбов или по крайней мере мог бы им стать.

Зимнее солнце зажгло дымное пламя в красных и синих стеклах пыльных стрельчатых окон часовни. Франциска и Язваук плечом к плечу стояли возле узкого окна и слушали фисгармонию, игравшую в часовне. Она вступила тихо, на высоких нотах, потом послышались звуки свирели и, лишь наметив мотив хорала, затихли. А между елок и голых кустов виднелись кресты, деревянные обелиски с красной звездой и похоронная процессия — старики, прижимающие к груди цилиндры, старухи, маленькие, сгорбленные, они, как вороны, семенили по снегу в своих черных платках, казались робкими и перешительными, наверное, ждали пастора, и ожили, лишь когда к флейтам присоединился низкий голос органа и, подхватив простенькую благочестивую мелодию, понес ее: «Иди же об руку со мной», мужчины смотрели в землю или на свои тяжелые черные парадные башмаки, а женщины засуетились, встали в определенном порядке и покорно последовали, каждая за своим мужем, на расстоянии одного шага. Франциска вздохнула:

— Хотели бы вы дожить до таких лет?

— Ну, не знаю, — отвечал Язваук. — Быть таким дряхлым старикашкой с палочкой? Вы помните этот анекдот? В парке на скамейке сидят три старика, мимо проходит красивая девушка, один говорит: да, да, я что-то смутно припоминаю — маленькая прелестная грудь... А второй: да, и еще очаровательная круглая попочка... А самый старший сидит, думает, думает и наконец произносит, покачивая головой: но ведь там еще что-то было... А вы хотели бы?

— *Courte et bonne*, как говорила моя бабушка: недолго и счастливо...

— Треплетесь. Насколько я вас знаю, вам охота дожить до восьмидесяти и чтоб вас торжественно похоронили на кладбище у церкви святой Доротеи.

Три удара кулаком в дощатую стенку заставили Франциску поторопиться. Она скорчила гримасу.

— Тоска?

— Смертная. Сначала он хоть был разгневанный благородный отец, вроде Галотти: я думаю, он ждет, что я буду просить вашей руки, дабы восстановить вашу честь, — сказал Язваук с радостной забывчивостью, а столь же забывчивая Франциска захлопала в ладоши и расхохоталась как сумасшедшая.

Через четверть часа она вернулась из кабинета Шафхойтлина белая как мел, взбешенная, кусала губы и ходила взад-вперед по комнате, засунув большие пальцы за кушак и стуча каблуками сапог.

— Ах, нет, о вас ни слова... Чисто служебный разговор. Он, видите ли, меня хвалил... то есть я так полагаю... странная манера хвалить... Обаяния у него не больше, чем у компьютера... Прилежная Франциска получила пятерку за контрольную работу. Представьте себе, Язваук, я блестящий теоретик. Без шуток. Или вы когда-нибудь слышали, чтобы этот истукан шутил? Он, разумеется, до мозга костей практик, со всем присущим этим чертовым реалистам высокомерием... Знаете, эти стреляные воробьи, которые лет десять не заглядывали ни в одну книгу, раздражают меня не меньше, чем глупые бабы, которые кокетничают тем, что знают в математике только четыре действия. Я была первой по математике, и, насколько я знаю, моя женственность от этого не пострадала, и Рильке я люблю, и вообще... — Она остановилась перед Язвауком, он, фыркая, прикрывал рукой рот и усики, и сказала задумчиво: — Зачем, скажите на милость, он держит на шкафу эту кошмарную маску черта? Может, он иногда ее надевает?

— Нет, впрочем, не знаю, — задыхаясь, пробормотал Язваук.

— Но ему бы следовало это делать. Она придавала бы ему что-то человеческое, когда он начинает произносить свои абсолютно автоматические сентенции: «Строительство города — это, по сути, только еще организационный процесс... Я полагаю, что принятое решение есть решение оптимальное...» А я полагаю, что эта тупость есть тупость совершеннейшая...

Язваук приложил палец к губам и глазами указал на стену.

— Умоляю вас, на два тона ниже. А что он должен говорить? Ему же просто-напросто нечего сказать. Ведь мы всего лишь аппендикс плановой комиссии.

Наковец, уже у своего стола, ученица Регера в последнем драматическом порыве вскинула руки и пронзительно крикнула:

— Они заставляют нас заживо покрываться плесенью!

Они делали эту работу до конца декабря. Франциска составляла описания домов, намеченных под снос, трехсот-летних подагрических каменных стен под шиферными крышами, глубоко ушедших в землю, липко блестящих под дождем, как шляпки грибов, с водосточными желобами, поросшими мхом, где обитала воробьиная чернь. Во дворах размером с купальную простыню к стенам лепились деревянные уборные, сарайчики и крольчатники. Липы своими корнями взломали асфальт, а весной сирень отбрасывала лиловые тени на дворы, эти танцплощадки для крыс. Закопченные пороги и пустые окна мастерских кузнеца, каретника, токаря по дереву, насекальщика... кирпичная кладка здания — покинутого, как и мастерские, — которое один мыловар назвал «фабрикой»... перекрашенный желтый шпигец, под слоем новой краски — по-прежнему черные, прочные, старомодные, издалека видные буквы рекламы берлинской «Моргенпост».

Неопрятная поэзия, переулки для маленьких, низкорослых людишек, сырые, темные подворотни, из которых пахло гнилью, здесь в послеобеденные часы, присловясь к стене, исполосованной солнцем, стоят жепщины в застиранных передниках, скрестив под грудью руки, а бродячие худущие кошки трутся о каменные столбики с железными кольцами. Тупики, горбатые мостовые и фантастические закоулки были объектом ненависти планировщиков транспортного отдела. Автокран или тяжелый грузовик, попав однажды в эту кишечную петлю, застревал там, перегорая живая мостовую и тротуар.

У булочников и мясников в старой части города дела шли бойко, как никогда прежде, в их лавки тянулись и приезжие и переселенцы из деревень и маленьких городишек, они все вдруг с пренебрежением отнеслись к супермаркетам, кассовым автоматам и проволочным корзинкам, к фабричному хлебу, к пирожкам с коввейера и к мясу с мясокомбиатов... А здесь, даже вдали от родного дома,

пахло свежими обсыпными пирожными, хлебом из печи, которую топят хворостом. Увенчанная зеленью петрушки свиная голова в витрине мясной лавки, белый и голубой кафель, жареная колбаса и саями, как сталактиты, свисают с потолка, прославляя умелых мастеров и гарантируя солидность...

Франциска подписывала смертные приговоры, ее не трогала романтика без канализации. После работы, убегая от бараков, кладбища и ангела Аристиды, она бродила по захудалому кварталу, три раза звонила в колокольчик в виде виноградной грозди у дверей кондитерской Войски и покупала целый кулек теплых пышек, которые уписывала тут же на улице. Бедная кондитерша, она спокойно снимала с противня пышки, ничего не подозревая о грядущей эре динамита. Франциска без сожаления взирала на камни, приговоренные ею к смерти, ведь никакие воспоминания не связывали ее с этими закоулками, и она могла целиком предаться радости архитектора, взрывающего рухлядь минувших столетий, приманку туристов, трущобы, не облагороженные даже своей древностью.

Дома теснились вокруг замка и вдоль заболоченного крепостного рва. Замок, или крепость, серый, скромный, как бы половинка замка — один боковой флигель, одна башня, слева, а справа, где стена отвесно спускается к крепостному рву, лишь на высоте третьего этажа — окна, вернее, бойницы, близко посаженные недоверчивые глаза. Какой-то только о войне помышляющий стронтель с презрением отверг любые украшения, кроме высеченного из камня герба над воротами и деревянного эркера, из которого открывается вид на замковый двор и буковую аллею, темно-красный туннель в летнее время. Парк давно занят под огороды и козы выгоны, а в медяных, пахнущих пылью и плесенью комнатах замка стоят конторские шкафы палатного управления, окружного суда и поземельной комиссии.

С начала века первый этаж использовался как тюрьма, по два или три года назад директор музея Кубитц — художник, краевед, подвижный человек, всегда в берете и с шарфом вокруг шеи — велел сломать стены камер и низкие потолки, и миру вдруг явился прекраснейший крестовый свод. Франциска встретила Кубитца в кабинете шефа: он, казалось, был уязвлен тем, что новая архитекторша уже две недели в Нейштадте, а еще не видела его зала. Франциска приняла его приглашение только из веж-

ливости, ожидая увидеть обычное провинциальное чудо, волнуящее только краеведа и верного сына города. Но, увидев отреставрированный, сверкающий белизной зал, всплеснула руками. Он был небольшой, но совершенных пропорций, и края свода опускались так низко, что, казалось, охраняя, обнимают пространство.

— Какое чувство меры, — сказала Франциска, — старики умели строить.

Кубитцу хотелось услышать приговор специалистки, и она сказала, что относит это к началу тринадцатого века. Кубитц, несколько расстроенный, попытался выторговать у нее еще хотя бы столетие, но в результате после долгих препирательств вынужден был удовольствоваться концом двенадцатого века, на большее она не соглашалась ни под каким видом, а он не мог сослаться на документы, у него вообще не было никаких сведений о замке и его хозяевах, а некоторые существующие легенды, овеянные сказочным туманом, внушали добросовестному историку одни только подозрения.

И все-таки он мог показать комнату в башне, где ночевал бежавший из России Наполеон... Скрип полозьев и звон колокольчиков, слуги с фонарями светят маленькому императору, покуда он поднимается по лестнице в башню, каждому знакомо это жирное белое лицо, прядь волос под треуголкой... император совсем один, лишь в сопровождении адъютанта. Хорошо ли спится ему в эту ночь на пограничной прусской земле? Известно одно: он спит спокойно, добрые нейштадтские бюргеры выставили охрану для беглеца. На следующее утро он отбыл...

— Вы только подумайте, — сказал Кубитц, — если бы они его арестовали, мировая история приняла бы совсем другой оборот. Между нами говоря, Нейштадт всегда был захолустьем, и, пока слухи о разгроме под Москвой и па Березице докатились сюда, Наполеон с новым войском был уже на пути в Пруссию... Они были неповоротливыми людьми, эти нейштадтцы: через год после революции срок восьмого года их газета соизволила сообщить, что в Берлине имели место беспорядки...

Франциска рассмеялась, когда Кубитц показал ей пожелтевший, истершийся на сгибах газетный листок января 1849 года...

— Бедная графиня, — сказала она, — монастырь паверняка был бы привлекательнее Нейштадта.

В 1700 году замок был местом жительства, или, вернее,

ссылки, некой графини Л. Так немилостиво простился со своей фавориткой курфюрст Саксонский. Франциска долго разглядывала портрет изысканной дамы, ее старательно сложенные сердечком губы, нитки жемчуга в пудренных волосах, декольте, почти полностью открывавшее грудь, и узкие черные глаза, дикость и ум которых не удалось скрыть, замазать придворному живописцу. Да, эта дама была себе на уме... Безумная особа... только подумать, здесь, в пограничной дыре, среди полей и лесов, волчий вой в зимние ночи, ремесленники и хлебопашцы, исполненные ожесточенного смирения, говорящие на чужом языке...

В чем были ее прегрешения — увядшая кожа или умеренные посягательства на государственную казну? — но она была жестоко наказана... может быть, слишком туго затянутая в корсет, она упала в обморок, когда невежа в шелковых штанах до колен сообщил ей: «Мадам, король позволяет вам возвратиться в Нейштадт...» Нет, она не падала в обморок, сказала себе Франциска, смущенная этими глазами, дико и высокомерно смотревшими на нее, и я скорее поверю, что она проявляла слишком живой интерес к политике, была в заговоре против своего коронованного любовника...

Вчера вечером я опять перечитала «Ночной дозор» Н., при этом мне пришлось перепахать всего Митчерлиха... В памяти воскресли влажный запах земли и осенних цветов. Туман клубился за окном. Пришла осень, Бен (а где будем мы зимой?). Впервые я встретила Н. у Регера. В его доме собиралось все лучшее и высшее или то, что имело шанс стать таковым. У Регера словно имелась какая-то антенна, улавливающая людей с будущим, шестое чувство прославленных издателей, отец рассказывал мне о них скорее с отвращением, чем с восторгом... Ты только подумай, он еще был знаком с Ровольтом и с обоими Кассирерами, они его шокировали, вернее, их протеже, сплошь модернисты (само это слово было для него пугалом), и — Бен, когда я думаю, что он мог бы иметь Сезанна или Писсарро вместо своих дурацких голландцев, которых ценят еще только из-за патлы времени на их именах... Да, если бы мадам, паша мамочка, своевременно его обуздала... она с ее деляческими инстинктами уже за три года знает, когда люди будут помешаны на готических мадоннах, а когда на непристойных негритянских идолах...

Регер пригласил Н. к ужину, собственно, из-за одной-единственной фразы: это все дерьмо, сказал тот, по здесь, здесь лев показал свои когти... Н. было тогда уже за тридцать, долговязое огородное пугало, в костюме кофиманта — рукава доходили ему разве что до локтя, примечательны в нем были только глаза, прикрытые длинными девичьими ресницами. Обалделый от застенчивости, раздавленный восторгами Регера, он ворчал, словно дворовый пес, держал пох в левой руке и так отчаянно боролся со своим бифштексом, что у других кусок застревал в горле. Когда он опрокинул бокал с вином, это была уже катастрофа, все потунились от смущения или из тактичности, что,

пожалуй, еще хуже, только Регер улыбнулся ему: спасибо, друг мой, что вы напоминаете мне о моем упущении, с этими словами он взял еще наполовину полную бутылку красного вина и вылил его на скатерть. Он имел бурный успех, а гости весь вечер выглядели так, будто получили воспитание в доброй старой Англии.

Регер был великолепен, когда заключал кого-то в свое сердце, расточителен и жесток. Широкая натура, говорил Вильгельм... Н., правда, оставался ворчливым пугалом, как в первый день, но был любимой идеей Регера, который давал ему все, в чем пуждается пачинающий, одобрение и прибор за своим столом, связи и живодера в роли издателя, холодного, сонного, интеллигентного и до того закосневшего в своем снобизме, что все иностранные слова он произносил на немецкий лад, а в пужный момент бывал нежен, как маргаритка. Через два года Регер, вероятно, потерял бы терпение, но через два года как раз вышла «Дорога на Лодзь», и если эта книга и была написана кровью сердца, то Регерова сердца, конечно...

Еще двумя годами позднее Н. выпустил в свет «Подсолнухи», сплошь напыщенное слабоумие, если тебя интересует мое мнение. Регер говорил, что неудача может постигнуть каждого, — но Н. был уже Н., а не каждый, и Регер еще раз испытал горькое разочарование учителя, чей ученик восстал против него, советы принимал за опеку, требования — за кандалы и, выйдя из полутьмы своих возможностей, оглянувшись вокруг, чтобы собрать пропущенные истины о себе самом. Регер из комка глины слепил человека, научил его ходить, и человек этот воспользовался дарованной ему новой способностью, чтобы шагать на свой лад, все быстрее, все дальше уходя от своего создателя. Он научил его видеть, и человек воспользовался своим зрением, чтобы разглядеть суетные слабости учителя и поискать себе места в мире, места под солнцем, на которое не упадет тень учителя...

До этого времени я могу проследить жизнь Н.: мне случалось ненавидеть Регера, тиранию его любви и его проповеди, к тому же я уяснила себе мелочные, шарлатанские свойства его природы. Прежде, еще студенткой, я преклонялась перед титаном, закидывала голову, чтобы взглянуть на этот столп мудрости, но полюбила его уже позднее (я для простоты называю любовью это причудливое смешение чувств) и ни на миг не переставала испытывать к нему благодарность... Почему ты не смеешься, дорогой?

Смейся, я не против. Благодарность — добродетель простодушных, тех, что ревут в кино, если любовники вынуждены разойтись, и внушают себе, что злой человек похож на черта.

Но Н. не хочет, чтобы вспоминали, как он начинал... Тираны уничтожали своих стремянных по этическим соображениям, а может, и без оных: заговор, раскрытый в последнюю минуту, или автомобильная катастрофа в глухом переулке, как в детективе, где босс со шрамом приглядывается к своим гангстерам: «Мальчики, один из вас знает слишком много...» Но нет, нет, у Н. прошлое чисто, он не читает детективов и, сидя за рулем, без сомнения, не думает о глухих переулках и свидетелях, ставших жертвами катастрофы. Бескровные казни: он вычеркивает их из памяти, если же когда и обернется к прошлому, то прибегнет к оптическим трюкам; некоторых людей он превращает в фигурки ростом в один дюйм или в марионеток.

Позднее он уехал в Берлин и встретился мне через много лет на поэтическом чтении в Нейштадте, он и его жена, нет, не жена: супруга, хранительница святого Грааля, крупная, белокурая, спокойная, бдительная, в полном смысле слова дама, с длинной шеей и улыбкой, отлично монтирующейся с ее косметикой... Супруга человека, которого в газетных заметках о каком-нибудь приеме причисляют к представителям искусства и культуры и который — так чутко реагирует журналистский язык — не находится, а пребывает за границей. Выгоднейший обмен, если вспомнить, что у другой были все признаки первой жены: необразованная, грубоватая, с налетом пошлости, растолстевшая после троих детей, плохо причесанная, кожа на руках, как терка, и вечно спускающиеся чулки. Очевидный пример отсутствия духовной гармонии в браке.

Однако Н. и его первая жена вышли за рамки долгого опыта: Н. не сменил жену, не выбросил, как изношенное пальто. Она от него ушла, когда первые его успехи уже остались позади, под ногами у него была твердая почва, а в руках ключи от рая. Через три дня после переезда на новую квартиру она запаковала чемоданы, взяла детей и скрылась. Она успела оклеить обоями стены, навести и натереть полы, приготовить обед... Н. как потерянный блуждал по опустевшей квартире... Регер разыскал ее, она опять работала на текстильной фабрике, как и до рожденья первого ребенка. Она ничего не объяснила, возможно не сумела объяснить, очень уж была неразговорчива, ска-

зала только, что не хочет, чтобы ее вкопец заездили... По-  
нимай как знаешь.

В «Ночном дозоре» Н. рассказывает историю своего брака. Когда я начала читать эту книгу, я подумала, что в действительности все, вероятно, обстояло иначе, этот Н.— двуликий Янус — сбивал меня с толку: то он поворачивался ко мне лицом, которое я знала или хотя бы видела собственными глазами, то лицом человека, который, одновременно как репортер и свидетель собственных надежд и разочарований, рассказал историю одной любви. Я прочитала книгу за один вечер, позабыв свериться с корректурой действительности: здесь была его правда и я приняла ее, меня уже не интересовало, зовется ли этот заурядный герой с несколькими черточками единственности Н. или не зовется. Реальность своей катастрофы он поднял до романтического повествования и для себя самого превратил ее в прошлое, для меня же, читателя, создал длительное настоящее... Он причинил мне боль своим жизненным опытом, так похожим на мой, даже в той области, в которой я чувствовала себя одинокой, неузнанной и такой, которую ни с кем не спутаешь... Изумление и зависть: у него достало таланта высказать то, что я лишь смутно ощущала, к чему брела впотьмах,— я, пещерная жительница, что-то бормочущая, всем чуждая, боязливая, отданная во власть стихий и все время, все время ищущая слово, наименование для того, что растет, что движется, обрушивается с неба, проползает мимо моей пещеры (жуткое, оттого, что я не могу окликнуть это по имени)... Но плавное течение прекрасной и спокойной речи заставило меня наконец позабыть, что за столом Регера этот человек не мог сказать ни одной связной фразы, давился словами, выплевывал их, как рыбы косточки.

За «Ночной дозор» академия присудила ему премию, а в Нейштадте он читал из своей премированной книги перед десятью или пятнадцатью слушателями, одними и теми же на всех поэтических вечерах: учительницы, дватри ученика средней школы, дамы из культурбузда да девочки из библиотеки и, уж конечно, голубоглазая потаскушка, та, что без ума от тебя... да, да, без ума, я, мой дорогой, не слепая, ей повезло, в жилах у нее рыба кровь, иначе я бы выпаранала ей глаза... Н. сидел под торшером, ему сейчас уже, вероятно, под сорок, он все еще очень худ, но в costume от хорошего портного эта худоба кажется аристократической. Блондинка жена сидела рядом,

но в тени и время от времени подносила зажженную спичку к его сигарете, и, надо сказать, довольно противно было смотреть, как она демонстрирует услужливую близость к нему, *своему мужу*.

После чтения ему поднесли букет хризантем, все аплодировали, учительницы пожимали ему руку, говоря: это было поистине прекрасно, вы бесконечно много нам дали, он опустил шторы своих ресниц и благодарил, очень благодарил. Я поздравила его с премией, он сказал: благодарю вас, благодарю, потом он меня узнал, а его жена смотрела на меня, как на утаенную от нее паходку. Она держала его хризантемы, они пахли осенью, влажной землей и почему-то кладбищем. Н. спросил, что, во имя всего святого, занесло меня в Нейштадт, может быть, ему показалось ужасным встретить одну из честолюбивых молодых Корбюзье служащей архитектурного управления где-то в провинции... Ну а у меня тогда была оптимистическая полоса, я не сомневалась, что сумею одолеть Шафхойтлина и он поручит мне строительство клуба, поэтому я отвечала, что Нейштадт — перспективный, замечательный город, возвела градостроительство в степень мировой проблемы помер один, в общем, так разболталась, что, будь у меня под рукой планы, я бы непременно показала их... Несколькими минут спустя он сказал своей супруге: мир в ореховой скорлупе, и улыбнулся ей, она в свою очередь улыбнулась ему и... знаешь, Бен, я чувствовала себя папуасом, и ни один черт не интересовался моими тремя косовыми пальмами и маленьким черным кабанчиком... Я не видела последнюю постановку Фельзепштейна и не пила чай с красавицей Анной... Я уже собралась дать тягу, но тут Н. заговорил о Регере, он заговорил, не я, и похвалил меня за то, что я ускользнула от этого крысолова... мыльный пузырь, отрывающийся всеми красками, разве не так? О, этот человек умеет создать себе имедя... У меня дух перехватывало. Он, Н., беседовал с западноберлинским архитектором Фелигом — это имя должно для вас что-то значить, — и Фелиг заверил его: Регер занятный путаник, но как архитектора его уже никто всерьез не принимает, а то, что он построил на Старом рынке, просто бездарно...

Бездарно, повторил Н. медленно, со вкусом... ах, как бы мне хотелось тебе рассказать, что я была на высоте, что я чувствовала свое превосходство и одной остроумной репликой разбила его наголову. На деле я стояла молча, осатаев от ярости, не имея сил напомнить этой самодо-

вольной скотине о радушии Регера — возможно, тут сыграло роль и присутствие его дамы с лебединой шеей, — о его, П., манерах за столом — не смогла, и точка, но еще слово, и я съездила бы его по физиономии, да, уж это бы я сделала. Но вдруг хранительница вышла из тети, точно невеста с цветами в руках, хотя и с кладбищенскими. Наверно, почуяла приближение безумия, скандала, комической суматохи. Она посмотрела на часы и сказала: уже поздно, тебе пора отдыхать, П. (она называла его по фамилии, шикарно, что и говорить), медленно растянула губы и одарила нас улыбкой, превосходной копией киноулыбок, Лиз или София — в общем, звезда первой величины. На этом аудиенция закончилась.

Итак, вчера я перечитала «Ночной дозор» — по все равно не смогла распознать автора в шкуре человека, который пинком ноги столкнул в забвение друга, проложившего ему путь. Хорошая книга, и ничего больше... Сегодня утром я увидела, что зацвел вереск, на заветном нашем месте, где солнце освещает косогор так, что глаза болят от красно-лилового буйства. Помнишь день, когда мы впервые поехали в степь, наш мотоцикл опрокинулся, а я со страху осталась лежать, притворившись мертвой, а ты — нет, это было в другой раз, в первую нашу прогулку (прогулка: какое привычное мирное слово для обозначения нашего бегства) — мы очертя голову въехали прямо в грозу, и ни деревца там не было, ни куста, только степь и песок, дождевые капли с треском, точно выстрелы, плепались о него, образуя воронки, и ты, распахнув куртку, укрыл меня под нею...

П. пишет в своей книге, что любовь подходит к концу, когда любящие начинают вспоминать первый день, первый поцелуй... Сегодня я думала об этом — греховное отклонение, — а не о контактных зонах и функции тротуара. Мне было страшно за нас обоих... Неужели это начало конца — тот миг?.. Я с удивлением, все еще с удивлением, вспоминаю незнакомца в серо-зеленой куртке. Когда же исчезнет мое изумление перед чудом, жажда прикосновения к твоей коже, неодолимое желание вдыхать твой запах? Когда... ты вернешься домой (мы женаты, спокойны, устроены), я слышу твои шаги, а мое сердце не бьется сильнее, ты целуешь меня в лоб, спрашиваешь: что новенького? Я отвечаю: все в порядке, нехоса взглядывая на твою сигарету — у тебя невыносимая привычка стряхивать пепел на ковер, — ты знаешь, что я устала сидеть на сигарету

и что сейчас я напоминаю тебе — пора мыть руки и что в ванной пол, как всегда, залит водой, ты, конечно, все засынаешь пеплом, а я говорю: господи, ну почему нельзя взять пепельницу, неужели ты воображаешь, что мне приятно каждый день чистить ковер? Или ничего не говорю, только молча, терпеливо ставлю перед тобой пепельницу, мое молчание сердит тебя... Или: мы сидим в ресторане (в рестораны мы ходим редко, дома уютнее, телевизор, шведские кресла, полный бар холодных напитков, виски из Праги или из Румынии, контрабандная «Белая лошадь»: вот маленькие отступления от обыденности, которые мы себе еще позволяем), заказываешь ты, спрашивать меня тебе не нужно, уже десять лет я пью черный кофе с сахаром, но ты, вежливый муж, все-таки спрашиваешь, мы неизменно соблюдаем вежливость, даже с глазу на глаз, даже после ссоры, особенно после ссоры — убийственную вежливость, мы говорим негромко, не размахивая руками, как в юные годы, но тем не менее оживленно — слава богу, мы не похожи на супружеские пары, что вечно молчат, смертельно докучая друг другу, — конечно, у нас уже не происходят дикие стычки из-за психоанализа, мы давно знаем, где можно достигнуть единения, где нельзя, это строго разграниченные сферы, и к ним мы относимся с уважением, мы разумные люди, итак, мы беседуем, я беру сигарету, ты сегодня рассеян, забываешь подать мне спичку, я говорю: раньше... Но не запальчиво, а улыбаясь, право же, к таким упущениям не стоит относиться трагически, мы улыбаемся, говоря «раньше», мы благоразумные люди и знаем, что не все остается, как «раньше», и что для нас законы времени существуют так же, как для других... Знакомый подходит к нашему столу: «Я не помешаю?» — нет, нет, напротив, мы очень рады (конечно, нельзя сказать, чтобы мы скучали)... он внимательно слушает тебя, он умен, а ты развиваешь свою мысль красноречивее, чем когда-либо, придумываешь более элегантно формулировки, решив склонить его на свою сторону — во всяком случае, поразить его (меня ты уже давно не поражаешь), я предоставляю тебе говорить, терпеливо слушаю, как ты остроишь, и откидываюсь на спинку стула. *Мужчины*, теперь вы устанавливаете общечеловеческие связи на Луне, на *Луне*, господи, боже мой, надо бы сначала на Земле... а может, он недурен, этот наш знакомый, он целует мне руку, ты смотришь на меня, а я вижу себя твоими глазами — оживленную, раскраснев-

шуюся, с сияющим взглядом, и смех у меня какой-то другой, глубокий, ты не ревнуешь, скорее забавляешься, я знаю, что ты думаешь, и ты знаешь, что я это знаю, теперь ты откидываешься на спинку стула, ты не в претензии на него за рыцарский поцелуй руки, за мой сияющий взгляд, за флирт (все твоя проклятая терпимость: на летнем балу после трех танцев в обнимку с неким имярек ты предостерег меня, как брат младшую сестру: поосторожнее, детка, этот тебе не подходит), ты уверен, что я не изменю тебе, и я в тебе уверена — хотя мы разумно допускаем такую возможность, — мы уже не целуемся так часто, так страстно, как раньше, зато у нас теперь больше опыта, больше наша готовность подарить и принять наслаждение, нет, другого я не хочу, не хочу того, кто будет не ты, не хочу, и все... свою руку я кладу на твою и улыбаюсь тебе (наш знакомый потом скажет: после десяти лет они все еще влюблены, счастливый брак), и ты никогда не узнаешь, что в эту секунду я поставила тебе в счет все, что из-за тебя упустила... А может быть?..

Нет. Не может быть, Бен, чтобы с нами произошло то же, что происходит с другими. Мы будем исключением из правила — если существует такое правило, чтобы кончался возраст открытий, чтобы иссыхали истории, которые начинают словами: когда мы в первый раз... Тысяча комнат, и нам еще предстоит их отпереть (прежде чем мы доберемся до некоей комнатухи, комнатухи Синей Бороды в самом дальнем углу, известно ведь, как это кончается). В любви всегда вновь наступает «первый раз». Страх нынешней почью... может быть оттого, что я наконец узнала — ничто не повторяется: не повторится чувство, которое мы испытали, когда ты укрыл меня своей курткой, и никогда больше мы не будем плакать, как тогда на кровати в омерзительном берлинском пансионе...

Шафхойтлин приходил уже третий вечер, Франциска удивлялась, неужели все еще не рассчитали шоссе на Уленхорст. В первый вечер он, словно бы оправдываясь, сказал: пришлось вернуться, сугробы метра два вышиной, автобус застрял. Застрял в снегу, повторил он, потирая закоченевшие руки; с его сапог на пол патекла снеговая вода. Красный, с завидевшими ресницами под мокрым мехом боярской шапки он выглядел совсем молодым и по-мальчишески радовался метели, белым дюнам на шоссе и моменту, когда автобус, словно снежный ком, скользнул в пустоту, опрокинулся — свет фар хлестнул по дереву, по

мерцающей, круто клонящейся вперед стене, снова, совсем рядом, по дереву — и скатился в кювет, мягко, без сотрясения, хотя женщины и завизжали... скатился с шоссе, как жук-рогач скатывается с косо поставленной стеклянной пластинки. Об этом Шафхойтлин рассказал, умолчав о получасе в кювете, когда он, стоя по пояс в снегу, вытаскивал из автобуса ребятешек и круглых, точно луковицы, крестьянок в их семи юбках, наперегонки с водителем откапывал машину и потел.

Внезапно заметив, что стоит в грязной луже, растекшейся по полу, он прервал себя на полуслове, шагнул к двери и вышел из комнаты. Франциска надула губы: попал в метель и вообразил себя Хансеном... Днем он стоял у окна, а Франциска и Язваук, время от времени к ним присоединялся Ковальский, лепили снежки, белыми узорами изукрашивали стены барака или упражнялись в меткости, швыряя их в фонарный столб, в подпорки для роз, причем больше всего попаданий оказывалось у Ковальского, да и не мудрено: он в свое время был солдатом, а потом они носились вдоль барака — Язваук впереди, издавая птичьи крики, — он либо изображал страх, либо и вправду боялся обоих гнавшихся за ним. «Дегтем вымажем, в перьях вываляем, соблазнитель девчонок!»

Франциска уже привыкла к его появлениям, даже к досаде, которую испытывала после его ухода, вернее, к чувству беспомощного раздражения: это было что-то вроде телефонного разговора, когда один из двух вдруг кладет трубку после первой же фразы или телефон разъединяется — гудки вместо человеческого голоса. Дверь за собой он оставлял полуоткрытой и никогда не садился (мое спокойствие ветром уносит, думала она) или шел осторожно, словно по льду, к ее столу и начинал перелистывать итальянские и французские архитектурные журналы... В этот январский вечер, все еще отрезанный от Уленхорста, жены и детей, он пришел опять и застал Франциску в кухне с залитым слезами лицом. Он взял у нее из рук кухонный нож, засучил рукава и стал резать лук на деревянной дощечке, а потом и шпик мелкими, экономными кубиками.

— Поуживайте со мной, — предложила Франциска. Он сполоснул над раковиной жирные от шпика пальцы и, помолчав, угрюмо сказал:

— Это можно.

— Что вы пьете? — осведомилась Франциска. — Кофе, чай с лимоном? Рома у меня, к сожалению, нет.

— Чай, только некрепкий, я вынужден осторожно обходиться со своим желудком.

Он сидел на деревянном стуле, который отодвинул от окна. На кухонном окне не было занавесок, так что можно было видеть всю площадку перед домом, а оттуда видны были жилые блоки, образовавшие каре, и урны для мусора возле лестниц, и подвалы, так же как и заиндевевшая сеть веревок для белья с затвердевшими от мороза простынями, которые скрипели на ветру, как дощатые двери. В кухне было очень тепло, и Шафхойтлин вытянул ноги — между носками и штанинами стала видна хлопчатобумажная полоска — и головой прислонился к стене, его клонило в сон от тихого гудения чайника, от запаха горячего жира, на котором жарился лук, — такого домашнего запаха, и нагретой плиты, располагавшей к неторопливой беседе. Когда-то в кухне он открыл душу своей матери. Занятая мытьем посуды, она едва разбирала его слова, ему тогда было лет тринадцать-четырнадцать, они не смотрели друг на друга и говорили, то и дело запынаясь: он мягкой тряпкой в голубую клеточку до блеска натирал тарелки, мать стояла, склонившись над раковиной, — округлая спина, ямочки на локтях коротковатых рук, через полуоткрытую дверь из гостиной падал зеленоватый отблеск всяческой лампы под зеленым абажуром с черной бисерной бахромой, под нсю, шурша газетой, сидел отец... Глядя на мать, Шафхойтлин думал, что она никогда не напрягается, никогда не обдумывает следующее свое движение в процессе работы: спокойный, не нарушаемый ни единым лишним или торопливым движением ритм казался не заученным, а от рождения ей присущим. Она и передник свой носила как годами привычное платье — большой передник, ничего общего не имеющий с нынешними малюсенькими фартучками. Передник был огненно-красный, вышитый по краю черными розами. Он глянул на ноги Франциски в лейлоновых чулках, на ее босоножки, оставившие открытыми пятки и пальцы, и сказал:

— Вы всегда очень легко одеты. К сорока годам ревматизм вам обеспечен. Одеваться надо по погоде.

Франциска быстро спjala чайник с огня.

— Кокетство не пропускает холода, любила говорить моя бабушка.

— И много она знала таких мудрых поговорок?

— Очень много. Когда мы накладывали себе слишком большую порцию пудинга, она говорила: «У вас глаза

больше живота», а когда мы с ним не управлялись: «Что лишнее взяли, то ешьте сначала».

Франциска готовила бутерброды, и Шафхойтлина испугало, что масло она накладывает кусочками: эти молодые женщины не умеют хозяйничать.

— А когда я бывала больна,— продолжала Франциска,— бабушка выгоняла меня из постели... Болеешь? Чуть какая! Всемень и воображение... И она была права, в большинстве случаев я просто хотела прогулять школу. Сама она никогда не болела, только уж под конец воспаленном легких. Оно-то ее и докопало: шутка ли, несколько недель в постели, ничегонеделанье...

Шафхойтлин кивнул, да, вот такие они были, эти крестьянские старушки, щеки, точно яблочки, на висках не кожа, а пергамент, руки вечно заняты, вяжут, штопают, и еще эта мудрость простолудинок...

Франциска обернулась.

— Нет,— сказала она,— не простолудинка, а самая буржуазная из буржуазок... Что называется, салонная демократка... Бабушка принадлежала к ИД и за столом оповещала нас о последних решениях партии, к ужасу моей матери, которая всегда говорила, что застольная беседа — мерило культурного уровня семьи... Ей и наша шутовская музыка нравилась, она аплодировала, когда мы с братом танцевали буги-вуги, хотя в то время буги-вуги считался непристойнейшим из танцев... А какая она была озорница! *Femme fatale*<sup>1</sup>, с такими вот глазами,— добавила Франциска и указательными пальцами подняла вверх уголки глаз. Шафхойтлин расхохотался.— Я пашла ее альбом с фотографиями... Да, скажу я вам. А ведь это было перед первой мировой войной, вы только представьте себе, и еще в исконно католическом городе...

— А что ваш дед?

— Не знаю,— отвечала Франциска. Она разбила яйца на сковороду, а скорлупки бросила в картонное ведерко под плитой.— Видный мужчина, судя по фотографиям, но ничем не примечательный. Он управлял ее пивоварнями. Хорошо, когда доверенным лицом является кто-нибудь из твоей семьи.

Шафхойтлин спрятал ноги под стул. Его почему-то уязвил ее холодный насмешливый тон. «Ничем не примечательный»,— подумал он,— словно она говорила о ком-

<sup>1</sup> Роковая женщина (*франц.*).

то другом, не об этом давно умершем, уже почти мифическом человеке, о существовании которого свидетельствовали только фотографии: рот, скрытый бородой, стоячий воротничок, высоко зачесанные волосы, пенсне на черном шнурке.

— Бабушка вышла замуж в тридцать лет. Разумная особа.

— Вы находите? — проговорил Шафхойтлиц. Всю его удрученность как рукой сняло, обволакивающее тепло кухни его разнежило, он сам вдруг сделался болтлив, слушал болтовню о какой-то буржуазной даме и смеялся над раскосыми глазами Франциска. Потом вдруг сердито сказал: — Да не тычьте вы в сковородку серебряной вилкой! Серебро почернеет.

— Ладно, — согласилась Франциска. — Когда я вижу этих женщин... один ребенок в коляске, другого она ведет за руку, и уже опять брюхата... Плодородные здесь, видно, края...

— Нейштадт по рождаемости первый город в республике, это доказано статистически.

— Чем вы это объясняете?

— Тут все просто. Три фактора: более или менее одинаковый возрастной состав населения, социальное обеспечение, отсутствие жилищного кризиса.

— Вы забыли о четвертом.

— О чем же? — подозрительно спросил он.

— О скуке. В семь город уже точно вымер, он мертвее Помпей и Геркуланума, — взволнованно отвечала Франциска. — Чем прикажете заниматься? Смотреть телевизор или делать детей...

— Это неделовой подход, — сказал Шафхойтлиц. Он нагнулся и выключил газ.

— Господи Шафхойтлиц, здесь даже кино нет.

— Вы плохо информированы, в Старом городе...

— Кауло в Лету! — с торжеством воскликнула Франциска. — Плесень в половицах. Закрыто строительным надзором из-за опасности обвала.

— Первый раз слышу, — сказал Шафхойтлиц.

— Не удивительно. Здесь правая рука не знает, что делает левая. Ну хватит. Идемте ужинать. — Она пошла к себе в комнату. Шафхойтлиц поднялся, выключил свет в кухне и пошел за нею, как на поводке, коренастый, коротконогий, по темному коридору, меж рядами столов и беззвучно шумливых мужчин, он, точно в промелькнув-

шей немой киноленте, увидел их раскрытые рты, беззвучно шевелящиеся губы Ландауера, прильнувшего к руке, к ее руке, которая держала воображаемый поводок, он взглянул на ее шею, на покрытую пушком ямку чуть выше шеи, в которой крутился вихрь медно-красных волос, сейчас, под лампой, отливавших металлом. Шафхойтлин остановился в дверях и спросил:

— А сколько вам, собственно, было лет?

— Мне? Девятнадцать, — отвечала Франциска, а он подумал: девятнадцать, Уве тогда уже родился, а нашему первенцу было два года... покуда он занимался этим подсчетом, им вдруг овладело острое любопытство — каков муж этой Линкерханд, какое у него лицо, руки, он наверняка очень рослый, такие маленькие женщины помещаны на крупных мужчинах... Резкий болезненный удар в желудке скрючил его, он задышал часто-часто, так как ждал этой боли, почти желал ее, и она сразу прошла, теперь надо дышать медленно, через нос, и почему, спрашивается, поэты всего мира жалуются на сердце, на сердечную боль? Он пододвинул стул к столу и стал есть, неловко нагнувшись — одно плечо выше другого; левую, усыпанную бородавками, руку он зажал между колен. Франциска села на кровать, но тотчас же вскочила и стала рыться в шкафу.

— Наш каталог, — сказала она, — вы удивитесь, не хуже, чем у Неккермапа.

— Вы не можете хоть минуту посидеть спокойно?

— Наконец-то я заманила вас сюда, — вдруг сказала она, хитро улыбувшись, — и не отпущу, покуда вы не скажете «да» и «аминь». — Так как он не отвечал, даже глаз не поднял, чурбан эдакий, только ел, раскорячившись — одна рука под столом, она ткнула вилкой в яичницу со шпиком, поперхнулась первым же куском, это был какой-то жесткий, пересоленный комок, и возмущенно воскликнула: — Да это же есть невозможно!

Шафхойтлин молча, уверно смотрел в тарелку, Франциска видела, как на его лбу проступают капли пота.

— А вы, вы даже слова не скажете, — пролепетала она, и от смущения слезы выступили у нее на глазах. — Что же это такое?.. Вы не принимаете меня всерьез... Или вы вообще не чувствуете вкуса...

— Или? — тихонько сказал Шафхойтлин.

Франциска подумала, что сейчас ей следует убрать со стола посуду, сделать что-то простое и будничное, двига-

ясь тоже буднично и непринужденно, но осталась сидеть, оцепенев от ужаса и от боязни выдать свой ужас, споткнуться, например, как тогда в мастерской, под взглядом Якоба, истерзапная видом Шафхойтлина, комическим и отталкивающим: потный лоб, красное лицо, — просто какой-то мужчина, потный, комичный, отталкивающий, и она молчала, хотя и чувствовала, что с каждой секундой все дальше уходит от возможности выговорить хоть несколько слов и что каждое словно приснившееся мгновение становится реальным только из-за ее молчания, и только сейчас, когда тишина, плотная, ватная, сдавила ей барабанные перепонки, Франциска смирилась, предоставив ему молчать или говорить, уходить или оставаться, она перестала думать о нем, и дом пришел ей на помощь, эти жилые соты с десятками ячеек, нагроможденных одна на другую или одна рядом с другой, а также обитатели этих ячеек, посылавшие свои сигналы — голоса, шорохи, музыку, — к которым Франциска так привыкла, что замечала их не больше, чем шум затяжного дождя, смешение звуков, она опять слышала и различала их, только когда прорывался новый звук или уже знакомый, но вдруг одичавший: яростный стук в дверь: «открой, шлюха, я все равно доберусь до твоего парня», и треск выламываемой двери (тут вмешивался комендант, некогда унтерман группы акробатов, и, схватив под локотки ревшивца, оттаскивал его). Рев радио из раскрытого окна, ржанье кларнета, *let's twist*<sup>1</sup>, на втором этаже девчонки из отдела подземного строительства плюхались на колени, перекатывались со спины на живот, с живота на широкие бедра — упражнения, чтобы сбросить вес к субботней танцульке, — туфли на шпильках и жесткая, как корсет, парча до ляжек...

Шафхойтлин положил вилку, которую все время держал в руке, на край тарелки, Франциска вздрогнула, словно ее разбудили, потянулась и нахмурила брови, тем не менее Шафхойтлин произнес самую пеленую из всех заготовленных и отренетированных им фраз:

— О чем вы думаете? — спросил он. Надежды у него не было, только тоска по надежде, окончательно утраченной, когда Франциска взглянула на него и неторопливо, ласково улыбнулась.

— Я? Ни о чем.

---

<sup>1</sup> Давай станцуем твист (англ.).

Не меняя с молодых ногтей заученной позы: плечи немного назад, колени сжаты — последнее правило усвоено на уроках танцев, — она без труда перешла в состояние, которое в детстве называла «в отъезде», если, например, видела, что Вильгельм сидит на лестнице, уставившись в одну точку на стене, в знак, понятный лишь ему. Теперь она только удивилась, что могла улавливать сигналы, дешифровать их и переадресовывать одному определенному человеку (Гертруде, которая по вечерам пробиралась через чердак, снимала в коридоре туфли и грубым шепотом спрашивала из-за двери: «Не помешаю?») От взгляда помышинному бегающих глаз Гертруды ничто не ускользало, она таинственным образом знала судьбу и биографию каждого человека и раскрывала все своей подруге, покуда они вместе наклеивали образчики тканей и проставляли цены, Франциска слушала вполуха, бормотала «Ах, боже мой» или «Нет, правда?»), и сказала:

— Слышите? Это учитель... Он все время заводит одни и те же пластинки, и всегда так тихо, как будто вместе со своим граммофоном залезает под одеяло.

— Не пойму, о чем вы... Какой еще учитель?

— Тощий такой, седой, он три года отсидел. За rastлeниe...

Шафхойтли потер левую руку о рукав пиджака.

— Чайковский?

— Первый фортепианный концерт, — промурлыкала Франциска (педантические поучения Липкерханда врезались в память на всю жизнь). — Керстен или Карстен. Он грузит вагонетки на карьере, это ведь тяжелая работа, да? Даже слишком тяжелая, вечером он тащится по лестнице, как неживой.

Она отнесла посуду в кухню и поставила под горячую воду. На несколько минут задержалась у кухонного окна, курила и пускала дым на жирное, запотевшее стекло, на свое отражение в нем, на ивeтнyю, разбитую выпышками света тень, а мысли ее вяло кружились вокруг Шафхойтля, седого учителя и мистера Дэвиса, который играл на аккордеоне матросские песни, вращая глазами, темнокожий, в полутемной комнате, «On the banks of Sacramento»<sup>1</sup>. Потом она вернулась к себе. Шафхойтлин листал каталог.

— Ну как? — осведомилась Франциска.

— Да, хорошая вещь, — отвечал Шафхойтлин.

<sup>1</sup> На берегах Сакраменто (англ.).

— Помещение я нашла, возле универмага пустует лавочка...

— Мы не можем распоряжаться помещениями, находящимися в ведении торговых организаций.

— Но я же сказала, лавка давным-давно пустует, и если она никому не нужна, то почему бы нам ею не воспользоваться? Мы могли бы сейчас же взяться за дело.

Шафхойтлин захлопнул каталог и сказал своим обычным ледяным тоном:

— Вы хотите получить все, и притом сразу.

— Конечно,— отвечала Франциска, а Шафхойтлин, впервые с того момента, как она вернулась в комнату, поднял глаза, она была рядом с ним, совсем близко, он слышал исходивший от нее слабый запах апельсинов...

— Конечно,— повторил он за нею, вопреки ожиданию не пронически, а мрачно и устало. По ее лицу, по вежливо скучливой миме он прочел: ему под сорок, он незаметно перешел из возраста ожиданий в возраст опыта, он не разочарован, он только стал спокойнее, чем прежде, что называется, зрелый человек, который знает, что в жизни получаешь не все, что хочешь, и знает также, что эта Линкерхалд, путающая благоразумие с пессимизмом, слушает его вежливо и скептически или, того хуже, делает вид, что слушает, а сама уносится в мыслях бог знает куда... Он быстро сказал:

— Ладно, я переговорю с дирекцией, для вас я это дело улажу. Попытаюсь...— прибавил он, но Франциска пропустила это мимо ушей.

— Спасибо,— сияя, произнесла она.

Он ждал этого как награды, ее «спасибо» и просиявших глаз, точно сделал ей одолжение. Она и восприняла это как одолжение, зная, чего он ждет, и вознаградила его, но так, мимоходом, улыбкой, предназначавшейся любому, но и этого было довольно для Шафхойтлина, который обычное обещание перевел из сферы служебной в сферу личную одним необязательным «для вас», лишь слегка переменяв тон. Миг недоверия, паники, ярости: это только начало, первый шаг к распуцелости, если не к коррупции — она своими волчьими зубами держит крепко то, что ухватила. Когда раздался стук в дверь, он вздрогнул, словно его застали на месте преступления, и вскакинул широко расставив ноги.

Гертруда, бесшумно, в одних чулках, проскользнувшая по коридору, спросила:

— Не помешаю? — Но, приоткрыв дверь, увидела Шафхойтлина, отпрянула и так же бесшумно исчезла.

— Господи,— проговорила Франциска,— завтра она мне задаст!

По немощной улице с грохотом проехала колонна самосвалов. Шафхойтлин отдернул занавеску на окне и кивнул, «белазы», как и следовало ожидать, в складках на его шее словно бы залегло досадливое удовлетворение. Полосы света отсюда, сверху, казались компактными, словно сделанными из белой эластичной материи, они ползли по выбоинам и кочкам, от обмотанных цепями задних колес летели вверх комя земли и тучи снега, искрящегося в свете фар следующего самосвала. Иногда дрожащий свет пробегал на горизонте, холодный и синий, как зарница. У развалин крестьянского дома грузовики свернули влево, на шоссе. Шафхойтлин опустил занавеску.

— Не к нам,— сказал он, его лицо помрачнело. Он озирался, словно забыл, зачем попал в эту чужую комнату. Шум моторов и лязганье цепей по мере удаления от города становились похожими на басовитое гудение насекомых.

В коридоре Шафхойтлин помедлил.

— Фрау Линкерханд, я не могу предписывать вам никаких знакомств. И все-таки должен указать вам, что ваша... дружба с Гертрудой у многих вызывает удивление. Вам не следует так часто появляться с нею на людях. Примите это как добрый совет, в ваших собственных интересах и в интересах нашего учреждения.

— О ком вы говорите, черт возьми?

— Не в этом дело. Факт, что Гертруду не пускают ни в один ресторан, ни в одну пивную, кроме заведения этой фрау Хельвиг, и мы знаем почему, нам известно ее прошлое...

— У нее есть прошлое, подумать только! — сказала Франциска.

Шафхойтлин заложил руки за спину.

— Она развелась с мужем...

— Я тоже.

— ...она развелась с мужем,— повторил Шафхойтлин,— в связи с некоторыми событиями в педагогическом институте, которые... Короче говоря, там сочли целесообразным ее отчислить... Она долгое время находилась под влиянием алкоголика...

— Я тоже,— сказала Франциска злобно.

— Ее муж являлся за нею на лекции, осыпал ее бранью, в присутствии других студенток бил по щекам.

— Я надеюсь, он наказан за это,— произнесла Франциска.

Это сбилось Шафхойтлина с толку. Он спросил:

— Наказан?

— Разумеется. Но и она ведь тоже наказана — за то, что позволила такой скотине разбить себе жизнь.

— Это опять неделовой разговор,— сказал Шафхойтлин.— Я только сообщил вам факты. С нею не раз проводились беседы, но, увы, безрезультатно. Ни малейших признаков моральной устойчивости. И насколько я знаю, даже спустя годы она не пыталась вернуться в институт.

— Может, она стыдится... Вы бы вернулись в школу, где вас соgam publico<sup>1</sup> съездили по физиономии?

Эта пастырная Линкерханд уже начинала злить его. И он резко сказал:

— Гертруда всему городу известна своими алкоголическими эксцессами. Знакомство с нею бросает тень на вас, примите это к сведению.

Эксцессы. Франциска расхохоталась.

— Мы с Гертрудой каждый вечер вместе, и могу вам поклясться, мы не устраиваем никаких оргий. Пьем только кофе, если вас это интересует.— И присовокупила, медленно и гордо: — Вот уже больше месяца она капли спиртного в рот не брала.

— Должен вас разочаровать. От вас ваша подруга отправляется в ресторан, чтобы наверстать упущенное.

— Это неправда,— тихо проговорила Франциска.

Шафхойтлин молчал, ее лицо виделось ему таким же, как в тот вечер, когда он смотрел в глазок,— жалкая мордашка.

— А я думала, она исправилась.

В это мгновение он пожелал себе мужества, неосторожности, чтобы погладить ее по голове или хотя бы положить руку ей на плечо, а почему бы нет, отцовский, в худшем случае дядюшкин жест, очень даже возможный после того детского вздоха по поводу несправившейся подруги. Ковальский, играя в снежки перед баракom, обнимал ее одной рукой, толстой, как свая, бесчувственной, как столб, рукой, и при этом ничего такого не думал, позавидовал Шафхойтлин, злясь на шумную непринужденность Ко-

<sup>1</sup> Публично (лат.).

вальского: наверно, он слепой, а вместо нервов у него каваты, если он не чувствует ничего, кроме служебного благорасположения к этой женщине, на чьи нежные плечи кладет свою волосатую лапищу.

На лестнице погас свет. Шафхойтлин ощупью нашел ступень и сказал в темноту:

— Доброй ночи, Франциска.

Он нащупал выключатель и спустился по лестнице, засыпанной окурками, конфетными бумажками и комьями грязи, еще хранившими форму каблука или резной подошвы или отпечатки шляпок гвоздей. На высоте перил по стене тянулась серая полоса, а у подножия лестницы кто-то нацарапал на штукатурке непристойный символ и неуклюжими печатными буквами подпись к нему. Шафхойтлин дышал легко и быстро. Он, который и бровью не ведет, когда водитель самосвала почти наезжает на него, когда нос машины уже почти тычется ему в грудь, чувствовал себя теперь отчаянно храбрым и пьяным от этой своей храбрости. Франциска, какое старомодное имя, слово выгравированное на медальоне, оно есть в святцах, а значит — именины, в июне или в августе, во всяком случае летом, и ангел-хранитель, покровительствующий воробьям и полям подсолнуха.

На следующий вечер он снова поехал в Уленхорст, а я его ждала, но так, между прочим (и тем не менее ждала), уже заранее злясь на застывшее выражение его лица, штампованные фразы... и все-таки была разочарована, когда он не пришел, восприняла это как измену, как невыполненное обещание. После девяти я думала только о бегстве (по куда?), потому что потолок падал мне на голову, стены давили меня и сверчки заползали в мои туфли. Тоска по длинным сверкающим улицам, людям, машинам, по зеленому свету, по толпе на перекрестках, что подхватывает тебя и несет на зеленый свет, по застывшим улыбкам манекенов в витринах, по двери, из которой на улицу рвется музыка, иногда даже по мерцанию стекол, волос, пестрых поддельных камней... Единственное прибежище на этих безглазых улицах — ресторан, вернее, пивная фрау Хельвиг, стойка, возле которой, привалясь, стоит мистер Дэвис, толстый, мягкий и черный, как асфальт... а за столиком, закрывшись газетой, кто знает, может быть, вновь обретший школьный друг... На лестнице она обогнала учителя. Керстена или Карстена, которого Гертруда, как только о нем заходила речь, называла не иначе как

«растлитель», «развратник» или «преступный тип»: Он пригласил Франциску к себе в комнату. Она помедлила.

— Прошу вас,— сказал бывший учитель, а ныне откатчик Керстен: «А. Керстен» — аккуратно выведенными тушью печатными буквами стояло на карточке, прикрепленной к его двери.

Под потолком висела лампочка без абажура, а над железными кроватями, напоминавшими больницу, так что, казалось, даже слышен был запах дезинфекционных средств, красовались «Подсолнухи» и желтые рей арлезианских парусников. На кровати справа на аккуратно заправленном клетчатом одеяле стоял проигрыватель, и Франциска, удивленно вскинув брови, смотрела на крутящуюся, чуть покачивающуюся пластинку и на подушку, прикрывавшую динамик.

— Извините,— сказал Керстен, потирая руки,— я прошу прощения, Бетховен, вы понимаете. Так называемая симфония судьбы...

Франциска закрыла глаза и вновь узнала медно-красную луку, словно бы запечатленную на внутренней стороне век, и огонь в камине, книги, что коробились на каминной решетке, серо-шелковую спину, рыжеволосого человека с лицом альбиноса, вслед за которым она мурлыкала: «Пятая, с-moll, опус 67». Она открыла глаза и улыбнулась Керстену.

— Как полугай, да? Это я и во сне могу повторить...

Он ответил на ее улыбку растерянным взглядом, как бы пытаясь пробить брешь в карантинном кордоне, им самим воздвигнутом... Это длилось лишь секунды, потом он снова отвел глаза... У него был влажный, подавленный взгляд собаки. Франциска покраснела.

Керстен перевернул пластинку и черной бархатной щеточкой стер с нее предполагаемую пыль. Когда он опустил иголку на пластинку, как раз на первую бороздку, его толстые, искривленные мозолями, как подагрой, пальцы дрожали, словно он старался точную и тонкую работу часовщика выполнить руками, еще ему непослушными, протезами, только недавно приобретенными, которыми он не умеет еще пользоваться и никогда не сумеет, подумала Франциска. Он выпрямился. В это мгновение он был охвачен жаждой говорить и, пока еще не поднимая глаз, почти решился многое, если не все, рассказать этой молодой женщине, которая без всяких вопросов и оговорок вошла в его

комнату, в молчании его исключенного из жизни бытия. Она не поощрила его, она вообще ничего не заметила. Пропла через комнату и сняла подушку с динамика. Керстен испугался, но не посмел удерживать ее за руку. Испуганно смотрел на стену, а его сухое тело, казалось, еще больше ссохлось.

— Вы не должны за все просить прощения, — проговорила Франциска.

— Здесь такой порядок, — отвечал он.

— Но это же Бетховен, — сказала Франциска.

Она села на чемодан, стоявший у изножья кровати, положила руку на железную спинку и уткнулась в нее лицом, точно ей непереносимо было видеть, как мужчина гнется, настораживается, готовый по первому стуку в дверь или стену задуть победный марш и еще извиниться, что он нарушил порядок, более того, неподобающе громкой музыкой привлек внимание других к своей особе... Она ушла сразу после третьей части, так и не сняв перчаток. Учитель благодарил ее. За что, думала Франциска, уже забывшая, как она помедлила на лестнице.

Она смотрела на прикрепленную к двери от руки написанную визитную карточку, показавшуюся ей вдруг призывом к нормальной жизни, робким посланием мужчины, который не считает себя окончательно списанным и под развалинами своего упорядоченного мира ищет домашнюю утварь, необходимую для дальнейшей жизни, и, если уж ничего другого не попало, находит медную табличку с именем А. Керстен. Так он подтверждал для себя свои воспоминания о нормальном, незаметном гражданине Керстене, придерживающемся старых прав, и возможность (вернее, надежду на возможность) быть гражданином среди других граждан, с квартирой, адресом, семейным альбомом, радиолой, соседями, что здороваются с ним на лестнице, — словом, быть нормальным. Франциска сказала, что попозже опять зайдет послушать музыку. И сама себе удивилась.

Ночью она проснулась от криков, доносившихся из комнаты этажом ниже, от дикого женского визга. Она подумала: убийство. Вскочила и босиком, в пижаме бросилась по коридору, потом вниз по лестнице, врезалась в толпу жещин и уткнулась в широкую грудь коменданта. Он изумился, увидев ее безумные глаза, и, ухмыльнувшись, сказал:

— Только без ваники. Сейчас мы все уладим...

И спокойно понес свои два центнера мускулов и костей сквозь волнующееся море почных рубашек, купальных халатов и полуобнаженных грудей.

— Что с-случилось? Что с-случилось? — бормотала Франциска заикаясь. Девушки рассмеялись.

— Она затягивалась в корсет до последней минуты, — сказала женщина с первого этажа, вся в бигуди. — Затягивалась, говорю, до чего ж глупо, все равно было заметно. Меня никто не проведет.

Дверь в квартиру стояла настежь. Девушка больше не кричала. Франциска заметила, что вся дрожит от страха и холода, и потерла одну босую ногу о другую. По коридору быстро шла женщина с мокрой окровавленной простыней. Какая глупость, говорила одна из девушек, ничего не подготовила, даже пеленок не кушила, как будто можно вытравить плод только тем, что о нем не думаешь...

Они все сбились в кучу, словно связанные одной веревкой. Через две минуты роженица собрала все силы для крика — он начался низко и жалобно, нарастал, с каждым следующим звуком заглушал воспоминание о предыдущем. Они просунулись в дверь, и Франциска тоже, стиснувшая полуголыми, еще хранящими тепло постели телами этих молодых женщин, она обалдела от запаха их испуга (или это напоминание, что им тоже предстоит такие муки, такие вопли?). Между чьим-то плечом и чьей-то поднятой рукой Франциска увидела кровать, согнутые колени и белый, конвульсивно вздрагивающий мокрый от пота живот, чудовищный живот, кожа на нем, вся в синих жилах, казалось, вот-вот лопнет, как бы сбросит оковы... Головы не было видно, это существо, как чудилось Франциске, состояло только из колен, живота и тонкого воющего крика... Она, побелев от ужаса и отвращения, зажала рукою рот и подумала, как одинока эта женщина, как недостижима для человеческого голоса, для чужеродных слов: боль, ребенок, счастье, занятая только работой — родами и своим одиночеством, сравнимым лишь со смертью.

Командант выставил их всех из комнаты и закрыл дверь.

— Господи, когда же это кончится? — сказала девушка с растрепанными обесцвеченными волосами, у нее зуб на зуб не попадал, хотя на ней был купальный халат и на плечи накинуто одеяло.

— Ну что вы, эта боль быстро забывается, — ответила ей толстая женщина, как бы обваренная кипятком. Она

склопшила к плечу свою бронированную бигуди голову и сложила губы дудочкой. — Тут уж, как у всех... Делать ребенка, конечно, приятней, чем на свет производить... — Франциска, которая, дрожа, прислонилась к стенке, она добродушно заметила: — Не стоит киснуть, девонька... и надо же, босая... как неразумно...

Белокурая девица толкнула Франциску.

— На, возьми, накинь мое одеяло.

Бригадирша принесла ей расшлепанные домашние туфли, мужские, Франциска с благодарностью в них влезла. Они были цвета верблюжьей шерсти и такие же огромные, как те шлепанцы, в которых она маленькой девочкой скользила по паркету Сан-Суси. Рослая, широкоплечая бригадирша сверху вниз смотрела на Франциску, на ее ноги в туфлях цвета верблюжьей шерсти.

— Проклятые мужики, — сказала бригадирша.

Это прозвучало как пароль, как лозунг, который всем развязал языки, всех привел в движение. Теперь они придвинулись друг к другу, объединенные внезапно вспыхнувшей ненавистью к мужчинам и высокомерием тех, кому досталась более тяжкая доля, как будто роды — их общее дело, благодаря которому они возвысились над самоуверенным и жалким племенем мужчин. Тут их как прорвало, Франциска залилась краской от ругательств и грубых шуток, от обмена опытом и все-таки, к своему удивлению, чувствовала себя принятой в круг, куда она только что, быть может на одну ночь, вступила...

Все это время не было видно никого из мужчин, живших в доме, они не спали и прислушивались... но Шафхойтлин, думала Франциска, Шафхойтлин бы пришел, чтоб быть под рукой у коменданта... странно, она представляла себе, что Шафхойтлин спокойно, как и комендант, пусть даже его спокойствие совсем другого рода, охраняет комнату или спешит по коридору с окровавленной простыней в руках... Франциска стянула на груди одеяло, ей было тепло, почти хорошо, она уже начинала различать лица девушек, которые обычно казались ей абсолютно одинаковыми, грубые, с потрескавшейся, после работы эти девушки стояли на лестнице и болтали, внезапно замолкая и глядя ей вслед, рассматривали ее пальто, ее саночки, пока она поднималась по лестнице Дома приезжих, и ей казалось, что ее лицо застывает, спина неестественно выпрямляется, словно она, ослепленная светом

прожектора, поднимается на подмости, среди зрителей, лица которых тонут во мраке... спектакль как во сне...

Около двух крики смолкли. Тишина напугала Франциску, точно новый жуткий звук. Они слушали и ждали, куда толстуха, желая доказать свою смелость и поделиться богатым жизненным опытом с перепуганными молодыми девицами — лицо ее было деланно спокойным, будь что будет, — не открыла дверь.

— Ну вот, — своеобразно произнесла толстуха, а блондинка залилась слезами, легко, как в кино, словно она знала, чем кончится фильм, и только ждала момента, чтобы заплакать.

Из комнаты донесся тоненький негодующий писк, похожий на мяуканье кошки, шныряющей по дворам мартовскими ночами. Вот, значит, как кричат, появляясь на свет, подумала Франциска. Ей хотелось закурить, хотелось и другим предложить сигарету — повод обмелпяться улыбкой, перемолвиться словом. А у самой горло перехватило... Ребенок, вы только подумайте... Она вдруг почувствовала гордость, сама не зная почему...

Комедант засучил рукава, обмажив похожие на костяк ручки. На лице его не было и тепи волнения.

— Все о'кей, — сказал он. — Если уж голова прошла, все остальное пройдет само по себе. Мальчик...

Мальчик. Они были растроганы, только толстуха заявила, пожав плечами:

— Мальчик или девочка, но алиментов ей не видать как своих ушей.

Франциска в великанских туфлях дошаркала до порога, попробовала заглянуть в комнату, ей вдруг показалось важным убедиться, что то лишнее головы существо снова превратилось в обикновенную женщину, что оно дышит и лежит под одеялом, которое лишь чуть-чуть вздымается на животе. Но комедант покачал головой, никаких исключений, даже для вас, сказал он и подмигнул Франциске, к которой относился как к любимой ученице, может из сочувствия к этой былинке, может потому, что она еще не знала его цирковых историй, хотя уже не раз, продрогнув до костей, широко раскрыв глаза, слушала его рассказы о дорожных приключениях в цирковом фургоне — по вечерам, когда он в позе гладиатора, скрестив руки, стоял у входных дверей в одних брюках и в майке, несмотря на январскую стужу, и наблюдал за своим табуном, бегущим обратно в загон.

Через несколько минут подъехала санитарная машина. Шофер долго плутал среди улиц без названия, ища нужный блок. Франциска вернула блондинке одеяло и благодарила ее так рьяно, словно могла тем самым оттянуть мгновение, когда будет оторгнута от единства со всеми остальными девушками и поднимется на свой этаж для «привилегированных постояльцев»... Блондинка, которая до этого говорила ей «ты», ни слова не сказав, взяла одеяло и зевнула, даже не прикрыв рот рукой.

Шофер и санитар в белом халате прилаживали носилки, чтобы пройти в дверь, ворча на девушек, недостаточно проворно отскакивающих в сторону, словно они были виноваты в том, что шофер заблудился и опоздал.

— Да,— сказала бригадирша,— раненько нынче день начался, в четыре утра.— Глаза у нее были красные, она выглядела сердитой и раздраженной, как с похмелья.

Все разошлись по двое или по трое в свои комнаты, толстуха спустилась вниз, к мужу, которого она, если он не лежал, настороженно прислушиваясь, разбудит, чтобы рассказать о происшедшем и о своих подозрениях касательно отца ребенка... Франциска одна поднялась по лестнице, но на площадке остановилась, оперлась на перила и стала ждать, покуда уйдут мужчины с носилками. Она видела покрытое белой простыней плоское, тяжело дышащее тело, а на подушке — мокрые кудрявые волосы. Комендант неслышным шагом пантеры следовал за носилками.

— Вы сосчитали пальчики у него на руках? — спросила Франциска.— И на ногах тоже?

— У него есть все, что полагается молодому человеку.

— А как его будут звать?

— Марко,— отвечал комендант: в цирке он привык к цветистым именам и уже ничему не удивлялся. Итак, Марко — как тот герой итальянского фильма, которого девушка видела в кино, — чернокудрый и черноокий, в левой руке роза, в правой — шпала. Маленький Марко — белокурый, внебрачный и нежеланный, плод случайной любви, отец его бежал за границу, не оставив адреса, а мать старалась спрятать за густыми волосами свое заплаканное лицо...

В течение нескольких дней Франциска, возвращаясь вечером в Дом приезжих, чувствовала, что приходит домой, как будто с той почти что-то переменилось в ее отношении к дому, возможно, и к городу, к этому бетонному

лабиринту безымянных улиц, к жилым силосным башням, предназначенным для запланированной и статистически учтенной массы жителей с их запланированными, но малоизученными потребностями, — к городу, значившему для нее не больше, чем фотокопия плана его застройки. Она ходила по его улицам, движимая любознательностью, но равнодушная, просто наблюдая, как функционирует этот новый город: учебный объект, на котором она проверяла заученные и вычитанные теории и о котором думала сухими градостроительными терминами.

Почувствовав, что что-то начинает меняться, она забеспокоилась. Воспротивилась... По ночам над горизонтом вспыхивали холодные молнии, она слышала глухие долгие предупредительные сигналы (корабли ищут свою гавань) и думала: и об этом я когда-нибудь пожалею, потом... Слишком часто она уверяла себя, что здесь она лишь гость и что на вопрос Язваука: «А не боятся здесь застрять?» — опять ответила бы «нет» так же решительно, как месяц назад. И все-таки лицо Регера стиралось из памяти, и Бётхергассе, и Ника в балетной позе над потрепавшимся куполом Н-ского дворца... а когда однажды утром она увидела медленно плывущую стрелу башенного крана, ее сердце запрыгало от волнения, вот он наконец, мы этого добились, словно она, а не Шафхойтлин месяцами спорила и вела бесконечную переписку из-за «Рапида», рука которого протянулась сейчас на фоне красного неба.

Возвращение домой: у дверей стоял гладиатор, скрестив на груди руки, с шеей, как у бизона. Он встречал Франциску — в зависимости от того, пешком она возвращалась или на машине Язваука, — благожелательно или строго, а она, встав рядом с ним и тоже скрестив руки на груди и засунув ладони под мышки, чтобы согреться, говорила:

— Значит, Пазелли... А что произошло с Чарли?

Пастырь, не спуская глаз с улицы и своей овечки, рассказывал ей о пяти Пазелли, с которыми работал унтер-магом, и о клоуне Чарли, умершем на манеже от разрыва сердца, краснелая смерть, посреди манежа, вы только представьте себе, а публика ничего не заметила, униформисты унесли его, и клетчатые фалды его фрака волочились по песку, это было похоже на хорошо отработанный номер, а Чарли улыбался, он уже не мог перестать улыбаться кроваво-красными, намалеванными на белой клоунацкой маске губами... песок брызгал из-под лошадиных копыт, и кав-

казские джигиты, висая под брюхом своих коней, издавали гортанные крики... публика в цирке ничего не замечает, ни о чем никогда не подозревает, все внимание ее сосредоточено на трюках и темпе... Он рассказывал свои истории, веселые и грустные, добродушным и в то же время решительным тоном, так оно было, хотите верьте, хотите нет. О себе самом он никогда не говорил ни слова, а Франциска не смела его спросить, почему он ушел из цирка: она чувствовала твердость за этой маской великана из детской книжки, железную дисциплину, которая царила в его труппе и которой он придерживался и поныне. Этот никогда не поддастся построению, чувству, быть может, тоске по дому, никогда не обнаружит то, что раз и навсегда похоронил в себе... Он спокойно выстраивал перед Франциской свои композиции — человек-каучук и укротители, наездники и акробаты на трапеции, а вокруг повсюду звери — тюлени, пони и львы, похожие на ворчливых стариков, слоны и широкогрудые белые лошади с розовыми ноздрями... О медведях он упоминал с отвращением, однажды ему случилось видеть, как большой бурый медведь задрал медвежонка. Это его потрясло. Медвежонок стонал и плакал, как дитя, он плакал, да, сказал комендант, а мы стояли перед решеткой и не могли его добить, большой медведь оттащил медвежонка в угол и медленно сожрал. Вообще медведи, сказал он, не говоря уж о белых... но мне, так лучше дюжина тигров. Я видела однажды фильм про цирк, — сказала Франциска, там укротитель гипнотизировал своих тигров. Это все чепуха, магические взгляды и так далее, — отвечал комендант. Главное — не бояться, когдаходишь к этим кошкам, и потом, заметьте, вы не загоняете зверя в угол, а оставляете ему дистанцию для бегства, иначе он на вас нападет.

Вот их разговоры перед дверью. Франциска изумлялась его выпуклой, как бочка, груди, а он требовал, чтобы она ударила его по животу что есть силы. Франциска смеялась, почти смущенно, но все же ударила его кулаком в живот и сказала:

— Как бетонная стена.

Она еще не знала, что удостоилась большой чести. Даже толстуха с первого этажа в розовой пижаме, которая, наполовину вывалившись из окна, словно тесто из квашни, обзревала улицу, где ничего не происходило, искоса поглядывая на Франциску и коменданта, не позволила себе двусмысленной улыбки.

С последним автобусом приезжал мистер Дэвис, ему приходилось ездить дальше всех — от карьера Зальхен до Нейштадта больше часа езды.

— Добрый вечер, фрейлейн,— говорил он и протягивал сперва ей, а потом и коменданту пачку «Юбиляра». Зажженную спичку он держал в ладонях, изнутри просвечивавших серо-розовым. Они степенно беседовали о морозах, об угле, о ленточном транспортере в Зальхене, о зарплате, о новой системе премиальных, которая Франциске была не более понятной, чем квантовая механика, а мистер Дэвис, как Вильгельм, с изматывающей дотошностью объяснял ей все... Мы уже рассказывали о мистере Дэвисе?

Человек с гармошкой, да, тот самый, что вечерами играет матросские песни, *rolling home, rolling home*, вместо того чтобы бреччать на банджо религиозные мелодии, вспоминал моря и гавани вместо хлопковых плантаций, хотя родился он на крайнем юге, неподалеку от Джексона, штат Миссисипи. Высокий, толстый, приветливый негр, серо-черный, как асфальт. Несколько лет назад он удрал из американской армии, с группой буровиков кочевал по нашей республике и наконец осел в Нейштадте. Здесь, говорил он, мне понравилось (он еще путался в ударениях, что девушки находили обворожительным). Настоящее его имя Кларенс Дэвис забылось. Олененок — звали его буровики, и так же звали его все. Олененок, который мог иметь сколько угодно девушек, как привязанный ходил за одной на карьере. Она была не блондинкой, как можно было бы предположить, а шатенкой, толенькой и хромой. Они поженятся, как только получат квартиру. Между тем Олененок сидит в полутемной комнате и играет матросские песни или в «Голубе мира» режется в скат, показывая неправдоподобно белые зубы, когда улыбается, потому что не все еще понимает из того, что там говорится на саксонском, тюрингском или мекленбургском диалекте. Затевать ссоры или рассказывать похабные анекдоты могут только новички, а не постоянные посетители. Стол, за которым сидит Олененок, черный, мягкий, тасуя карты асфальтово-черными, светлыми изнутри руками,— это остров миролюбия...

Девушки со стройки кивают Франциске, когда она с ними здоровается, преувеличенно приветливо, как она сама сознает, но хранит улыбку, милую гримасу, как будто на нее наведена телекамера, покуда она поднимается

по лестнице. От их взглядов у нее начинается зуд. Когда-нибудь она возьмет и моментально обернется, застанет их врасплох и узнает: смотрят они насмешливо, недоверчиво или равнодушно? Впрочем, ей на это наплевать... И все-таки она старается идти тихо, не стучать по лестнице каблуками и подковками сапог, не хочет бросаться в глаза, а тем более не хочет щеголять западными сапожками и ребяческим пристрастием к стуку каблуков. Она чувствовала неловкость, почти вину перед этими побуревшими от мороза женщинами в ватниках и тяжелых, черных от влаги войлочных сапогах, тем более что комендант говорил ей, будто большинство из них моложе ее. А эти, двадцатилетние, уже сейчас выглядят старше Франциски (и в то же время они безвозрастны, как камни, думала она), с обветренной, покрытой тонкой сетью трещинок кожей, с волосами жесткими, как лишайники, растущие под ветром и дождем.

Как-то бригадирша мимоходом сказала Франциске, что на улице собачий холод, и Франциска сказала: да. Только и всего, но это было как взмах руки с другого берега... Она ждала, хотела, чтобы ее узнали, окликнули, а когда это случилось, застыла от робости...

— Эй, фрейлейн, — крикнула блондинка, караулившая ее за дверью, в тренировочных штанах и в синем, выцветшем под мышками пуловере, надетом на голое тело. — Вы зачем кино закрыли? — с упреком сказала она.

— Я? При чем здесь я? Это стройнадзор... — Франциска смотрела мимо девушки, на захламленный коридор, на комнату с казарменными шкапами и тремя кроватями.

— Здесь же больше некуда деваться, — проговорила девушка, — только в кино...

Франциска молчала. В комнате царил беспорядок. Стеганые куртки и розовое белье, лодочки на высоких каблуках, банки с мармеладом, пустые молочные бутылки и всякое барахло, гребенки и карманные зеркальца, несколько бумажных роз в стакане, кукла в национальном шпreeвальдском костюме, иголки и мотки синей шерсти — беспорядок, возможный только у женщин, живущих в тесноте и постоянно этой теснотой раздраженных, пытающихся бороться с пылью, вечно отовсюду вываливающимися вещами и с собственной ленью.

— ...кино да иногда по субботам еще танцы в Доме стрелка. Вы хоть раз там были? Может, для вас это сарай, так себе танцплощадка, там, понимаете, повернуться по-

что что негде, и простые садовые стулья, каждую педелию о них пару-другую чулок порвешь...

Она заметила взгляд Франциски и обернулась, при этом груди ее под пуловером задвигались, она хотела закрыть дверь ногой, но потом раздумала и пожалала плечами, то ли задорно, то ли смиренно...

— Вот видите, что у нас творится... Вы-то одна живете.

Франциска восприняла ее слова как обвинение, в эту минуту она готова была признать правоту Шафхойтлина, одобрить его трезвую рассудительность и туповатую ограниченность в исполнении долга, словно могла тем самым оправдаться перед соседками, ждавшими квартиры — свои четыре степы, ванная комната, где не сушатся чужие чулки и бюстгалтеры.

— Вы же интеллигенция,— сказала блондинка, в тоне которой Франциске послышалась враждебность.

Настроение у нее испортилось, она вновь вспомнила о клане. С мужичной она бы вступила в спор, а девушке ответила сердитым и метким взглядом на обгрызенные ногти, вытравленные волосы, уже потемневшие надо лбом и у пробора... ворона, хоть бы лифчик надела.

Придя к себе, она дала волю своей злости па этих жецци и на себя самое за то, что домогалась их дружелюбия... с горьким удовлетворением вызывала она в памяти клан, ненависть семейства Экс к «образованным», их тупую недоверчивость ко всем, кто выше их, кто не похож на них, их душещипательные песни, безделушки, фарфоровых собачек и марципаново-розовых пимф с левретками, раскрашенные картинки в спальне, которую они, доверительно подмигивая, называли своим рабочим местом... Вольфганг сжимал зубы, а она пикогда не знала, что его больше гнетет — стыд за братьев или злость на жену, которая не понимает шуток и своей обиженной миной только портит всем настроение... Однажды на чьем-то дне рождения ее стошнило, когда сестра Вольфганга, визжа от хохота, внесла ночью горшок с сосисками... Она принуждала себя вспоминать грубые шутки девиц, этих мегер, которые, понося мужични, тайком приводили их к себе в комнату, пока комендант не видит. Как-то во время облавы в одной комнате застали две парочки, в другой — двух девиц в постели с одним мужичной, они тогда вели себя нагло, плевались и царапали полицейских...

Другой мир, говорила себе Франциска. Но все-таки ее задело, когда в пятницу комендант сказал ей, что девуш-

ки скинулись на коляску, что они вяжут ребенку чепчики и распашонки. К Франциске ни с чем не обратились. Она обиженно сжала губы.

Поздно вечером к ней постучалась блондинка. И, протянув Франциске руку, представилась:

— Грипентрог. Вы можете называть меня Кете.

Девчонки, сказала она, поспорили, что она не посмеет пригласить барышню.

Они не посмели бы. Франциска рассмеялась. Грипентрог с ее винно-карими глазами и полными потрескавшимися губами теперь казалась Франциске красивой. Она произнесла приглашение так, словно выучила его наизусть, но рассеянно, в то же время беззастенчиво оглядывая комнату, и Франциска обрадовалась, что еще не успела повесить картину Якоба, ту самую неприличную Олимпию.

— А скажите, сколько вы платите за комнату?.. Дороговато... В среду я была у нее в больнице. Ревмя ревет. Сображать надо, тебе, говорю, нельзя волноваться, а то молоко пропадет. А она говорит, ну и что? Других мужья навещают, вот она и ревет, а еще потому, что ей приходится всякие шуточки выслушивать насчет того, кто отец... Отвяжитесь вы все от меня с вашими порядочными женщинами! Плевать я хотела на их свидетельства о браке, очень надо... Я ей говорю, у тебя, видно, совсем гордости нет, если ты перед ними плачешь... Это вы строили? — Она указала на фотографию, прикрепленную к шкафу клейкой лентой — крытые сеткой кафе и павильоны. — Шик-блеск. На чайку похоже...

— Совсем воздушно, правда? — пылко спросила Франциска и уже собралась рассказать ей о новом конструктивном методе, при котором не нужно больше соотносить нагрузки с опорами, о технической проблеме заземления сетки, проблеме бесконечно привлекательной, разумеется не для Грипентрог, которая даже не притворялась заинтересованной, а сказала начистоту:

— Это для меня слишком сложно. Меня из шестого класса выгнали, чтобы вы были в курсе, а в математике я совсем ничего не соображаю.

— Но я говорила о физике, — пробормотала Франциска, а блондинка, насмешливо глядя на нее, повторила:

— Выгнали из шестого класса. Два раза оставалась на второй год, а потом — все, иди зарабатывать. Мне никогда никто ничего не дарил... — Она задумчиво потерлась сле-

ной о стенку шкафа. — При этом я вовсе не была такой уж дурой... но попробуйте делать уроки, когда вокруг режут семеро, мал мала меньше, и дерутся, а старик вечно во все вмешивается... Он только вечером уходил, работал почным сторожем, потому что с войны вернулся инвалидом... А потом мне просто неохота было... Вот глупость какая. А теперь уж мочи моей нет быть для каждого подтиркой... Я записалась на курсы, хочу наконец выбиться из грязи, работать крановщицей, хорошо бы на «Рапиде-5», чем выше, тем лучше... Но ничего не получается, в математике я как застряла на иксах...

— Ерунда, — выпалила Франциска, она видела, как темнели вино-карие глаза Кете, и ее захлестнуло волной сочувствия (восемь человек детей, адский шум, инвалид, ковыляющий между комнатой и кухней, его костыль все время стучит). Она сказала: — Покажите мне ваши задачки.

Грипенрог не стала жеманиться, принесла тетрадь и уселась рядом с Франциской, которая кончиками пальцев листала тетрадь.

— А в машиноведении я разбираюсь, — сказала Кете. От нее резко пахло потом, это мешало Франциске, она бы с удовольствием отодвинулась, но не смела, ведь девушка с таким чистосердечным любопытством смотрела ей в рот... Чистосердечие пропало после третьей нерешенной и не поддающейся решению задачи, девушка боролась с неизвестной величиной, как с невидимым врагом, а ее учительница вздернула брови, словно хотела сказать «ерунда!». От этого Кете стала еще неувереннее, а от неуверенности — глупее, она царапала себе нос, высовывала кончик языка, совсем лиловый, так как то и дело слюнула чернильный карандаш, и непрерывно потела, а Франциска фыркала от нетерпения.

— Соберитесь с мыслями. Думайте...

На самом деле неповоротливость ума злила ее больше, нежели едкий запах.

— Как вы держите карандаш? Цифры у вас качаются как пьяные.

Кете с таким усилием прижимала карандаш к бумаге, что у нее белели кончики пальцев.

— Расслабьте руку, вот так, — сказала Франциска, взяла у нее карандаш, привычный инструмент, и легко, не отрывая его от бумаги, начертила круг, потом эллипс, который можно измерить в любой точке, подумала она, охва-

ченая внезапной радостью, радостью от своей ссорки, от красоты геометрических фигур и от того, что рука так ей повинуется (забыты все усилия тренировки). Она склонилась над Кете, чьи растрепанные белокурые волосы касались ее виска, и сказала:

— Подумайте, какая великолепная конструкция — наша рука, пальцы... и что чувствует человек, когда пользуется ими, чтобы рисовать, писать буквы и цифры...

Кете положила руку рядом с рукой Франциски, молча предъявила как некое особое свидетельство свои пальцы, уже не гнущиеся, как надо, со стертými ногтями. Если бы можно было впредь не допускать, чтобы у женщины были такие изуродованные руки, подумала Франциска...

— Я знаю, что вы сейчас думаете: интеллигенция... Недавно вы как-то вечером произнесли слово «интеллигенция» точно ругательство.

Кете покачала головой.

— Да нет. Я просто так... Сейчас уже никого особенно не волнует, что интеллигенция имеет все лучшее, к этому мы привыкли. Вам ведь ко всему сладкую подливочку подают...

Франциска встала. Радость ее погасла. Она принялась ходить по комнате, засушив большие пальцы за кушак, потом проговорила:

— А вы знаете, сколько лет я училась? Семнадцать... — Она сама удивилась. Семнадцать лет, четверть человеческой жизни. — Вы же предпочли зарабатывать деньги...

— Тоже мне деньги, — пренебрежительно сказала Кете, а Франциска рассмеялась.

— Я, черт возьми, точно знаю, что не такие уж малые деньги, можете мне шарики не вкручивать, я сама работала на стройке... А о сладкой подливочке мне ничего не известно. Почему я должна стыдиться того, что получаю деньги за свою работу? Вам будет стыдно перед вашими подругами, когда вы на «Рапиде» будете получать по шестому разряду? Если, конечно, освоите кран... — присовокупила Франциска. Теперь она отомстила, и за собственное дурацкое чувство вины тоже, но тут же испугалась при мысли о неизбежной сцене — хлопнувшая дверь, злобные взгляды на лестнице, обиженная физиономия Гринетрэг... Но та лишь пожала плечами, то ли задорно, то ли смиренно.

— Я вам только что говорила, что не понимаю... —

И попыталась пошутить: — Дурой родилась, дурой и помру...

Франциска стояла позади нее и смотрела на темный пробор в обесцвеченных волосах.

— В вашей голове найдется еще место для всех исков и игреков мира... Ну как? Начнем сначала? Вы наверняка разберетесь с этими неизвестными. Итак... Фанфары впереди!

Через час она измучилась не меньше Грипентрог. Сжала зубы, чтобы не закричать. Дело подвигалось медленно, никакого прогресса, все ползком, ползком... Она простились до воскресенья. Франциска помышляла об измене. И все-таки сказала «нет», когда Язваук пригласил ее в воскресенье поехать с ним в окружной город, пойти в кино на «Красное и черное», потом в бар.

— Нет, прекрасный мой Мориц. Я занята. Нет, не то, что ты подозреваешь. Молодая дама, у которой затруднения с математикой.

Язваук вытаращился на нее. В столовой уже трепались — Линкерханд каждый вечер вытаскивает из пивной пьяницу Гертруду. Странно, но он не смеялся вместе со всеми. Это ее дело, говорил он без своей обычной любезной улыбки.

— Ты будешь добродетельна, как бойскаут. Каждый день — доброе дело... Зачем тебе это надо?

— Зачем, зачем... Затем. Кроме того, я не хочу с тобой смотреть «Красное и черное», потому что знаю, ты будешь хихикать, когда мадам де Реналь целует ему ноги, а я буду реветь, когда Жюльен идет на казнь...

Воскресенье в Нейштадте. Это или другое, безразлично, они все похожи друг на друга. Вспоминая те дни, я чувствую свищовую тяжесть во всем теле, сон — как попытка к бегству, грусть — неужто по воскресеньям небо всегда было серым, а улицы задыхались в тумане? Дышать нечем, словно чья-то рука сдавила тебе горло... Дома тише обычного, отцы семейства на субботу и воскресенье уехали к себе домой, остальные отсыпаются, только около десяти начинается шум воды, слышится радио — марши, оперные арии, «Золотой павильон». И не спешу, постель не убрана, пепельница полна окурков, я курю и листаю элегантно изданные журналы (мелованная бумага, тексты на английском, французском, итальянском), монастырь на берегу Средиземного моря, белый на белых скалах, колокольня висится, как утес... Решетки профильной стали, падающие

линии, чудовищный фасад высотного офиса... Шагал оформляет спектакль в Парижской опере... Бунгало, английские газоны, опускающиеся стеклянные стены, терраса с каминном, оранжево-красный тент... Модные журналы, здания, похожие на длинноногих, плоскогрудых, слишком стройных манекенщиц в платьях, которые не паденет ни одна нормальная женщина, высший шик архитектуры.

Днем я иду в ресторан. Обед всего лишь повод пови-  
дать каких-то людей: может, незнакомца с перебитым носом, — но он уже давно не был, говорит фрау Хельвиг, впрочем, я ее о нем не спрашивала. Вентилятор гоняет по залу запах еды, капусты и жира, из кухни слышен звон посуды. Чуда ждать не приходится. Днем в воскресенье ресторан почти пуст, обедать в ресторане здесь не принято, все готовят дома: целую неделю питаешься в столовке, хватит. От фрау Хельвиг пахнет свеженакрахмаленным полотном и одеколоном, теперь она носит сандалии на пробковой подошве, высокие, как котурны. Мужчины любят ее ногами, когда она идет от стола к стойке, все головы поворачиваются к ней — марионетки, которых дернули за ниточку... Господин из «Интернационаля» повторил свое предложение. Оставайтесь лучше здесь, говорю я, я построю для вас танцевальный зал, ночной бар, ночное кабаре. Это шутка, мне хорошо известны сметы.

Потом я брожу по улицам (только по привычке называю я ряды домов этим почетным именем — улицы), впадающим в поле или в пустую, продутую ветрами площадь, где навалены огромные кучи земли. В эти заснеженные кучи вбиты колья, и на веревках развешены подштанники и комбинезоны, промерзшие и недвижимые, они похожи на половинки людей. С одной такой кучи дети съезжают на санках, что вообще-то запрещено, однако им это не известно, и они невозмутимо тащат вверх по короткому крутому склону свои санки, большинству из них года три-четыре, они родились уже в Нейштадте.

Ранние сумерки. Загораются уличные фонари — окрашиваются сперва зеленым, как незрелое яблоко, светом, потом вокруг розового светильника образуется желтый лимб. На главной улице я насчитала пять манин — три «трабанта», один «вартбург», один «джип» — и четырнадцать человек: влюбленная парочка, словно сросшаяся от плеч до бедер, пять человек на автобусной остановке, четверо торопятся домой, подняв воротники пальто, трое пьяных поют, откинув головы и облившиеся — братство во хме-

лю. С темпотою, заливающей охряные фасады домов, приходит страх, во всяком случае, какая-то неуверенность — у этих улиц нет ни глаз, ни ушей. Последний отрезок пути к моему блоку я бегу бегом, держа руку в кармане, сжимая связку ключей, точно кастет. Впереди меня по лестнице поднимается Олененок со своей хроменькой девушкой, черной рукой поддерживая ее под локоть... Им хорошо, они не одиноки в воскресный вечер...

На улице, в холодном городе, я мечтала о своей конуре... теперь же, едва за мной закроется дверь (ловушка захлопнулась), меня опять гонит прочь отсюда... Я завариваю себе кофе. В кухне пахнет кофе, уютом, семейным счастьем, всем этим враньем. Я обжигаю пальцы о кастрюльку и во всем виню ее, мы с пею на ты, я ругаю ее и вдруг с испугом оборачиваюсь на чей-то голос, мой собственный голос. Под окном — заснеженная площадь, блоки стоят в каре, за каждым из кухонных окон — колокольчик молочного стекла, на одном и том же месте, над газовой плитой, сквозь гардины мерцает бледно-голубой свет: по телевизору передают футбол, или рекламу, или скетч, или все-равно-что-смотреть, женщина в переднике бежит к мусорному бачку и вываливает туда мусор из ведра (железная крышка бачка громко хлопает, это звучит как выстрел), хоть бы кошка пробежала, оставляя лапками узор на снегу... Кошки нет.

Я люблю города.

Где-то в мире должны быть города, и ответ их огней в небе, и тротуары, и море людей, в которое ты бросаешься, как пловец...

Зимнее небо раз и навсегда накрыло поселок (ловушка захлопнулась). Говорят, жизнь проходит, как будто жизнь — нечто матерьяльное, три щепотки песку в песочных часах. Сейчас, воскресным вечером у окна, я знаю, как проходит жизнь — я слышу нежный сухой шорох. У нас дома еще были эти старомодные песочные часы, колбочка с тонкой талней, когда песок высыпался, мы переворачивали ее, игра начиналась сызнова...

Запах кофе наполняет кухню, нашу белую кафельную кухню, огромную, как анатомический театр, я вижу голубые ели в саду и орех госпожи директорши, прислушиваясь к шагам Вильгельма, он крадется к кладовой, Вильгельму тринадцать лет, молчаливый и хмурый, он дергает меня за косы, ни с того ни с сего, что называется профилактически: чтобы не ябедничала... слышу быстрые шаги

Важной Старой Дамы, она поймала Вильгельма, но отпустила его с куском черно-коричневой деревенской ветчины и, только чтобы слышала паша мать, ругается: «Ах ты, дрянь, я тебе покажу, э, да тебя уж и след простыл». Наша раскосая сообщница хлопала в ладоши, словно прогоняя из кладовой кошку (кольца у нее на руках звякали), хлопала в ладоши, теперь ее руки истлели, прах, несколько тоненьких косточек, и лишь обручальное кольцо осталось, грешница набожно унесла его с собой в могилу, оно переживет и кости, и шелк, и дубовый гроб...

По воскресеньям я думаю о смерти, о неведомом часе — *hora incerta*, и легко себе представляю: я мертва. Легко, потому что я всегда пропускаю роковой час, идиотский случай со смертельным исходом — это может быть только случай, ведь самолеты летают над городом без груза бомб, — и начинаю с конца, когда уже и думать не о чем, — со смерти. Но я могу представить себе песчаное кладбище, ангела Аристида, лица оставшихся в живых. Никто не пожалеет обо мне. Двадцать пять лет, и я еще не жила, я только готовилась к жизни, в лучшем случае пробовала... Я не построила ни школы, ни театра, никого не любила, только мечтала — о великолепной стройке, о великой любви. Что останется от меня? Дюжина набросков и эскизов моих идей и рисунки с моей подписью, в правом углу, возле подписи Регера. Зал и вестибюль в западном крыле Гевандхауза... Мысли, но это неизмеримые величины, вошедшие в проект вместе с мыслями других людей. Фотография — праздник по случаю окончания стройки, групповой портрет, бог знает кем сохраненный, он поместил меня крестиком на фотобумаге и сам уж не помнит почему, помнит только имя, некая Линкерханд, она была очень талантлива, но, к сожалению, о ней ничего больше не слышно (обычная история с этой многообещающей молодежью).

Мне нельзя терять время. Каждый день — это день моей жизни, уходящий во тьму...

Около пяти явилась долгожданная Грипентрог со своей тетрадкой, она намазалась, подрисовала брови черным карандашом и надела облегающее платье джерси.

— Иногда хочется выбить стекло или сделать еще что-нибудь сумасшедшее, — сказала она. Как и Франциска вчера вечером, она подумывала об измене, но потом предпочла математику воскресной скуке, штопанью чулок, радиоболтовне, виду из окна на поле и развалины крестьянского

дома. Одна девушка из их комнаты ушла с кавалером, с которым познакомилась вчера на танцах, другая спала.

— Кино, разве это так уж много? Тут до самой смерти ничего не увидишь.

— У вас есть хотя бы Дом стрелка,— пробормотала Франциска. К ее изумлению, Кете сразу, как будто ждала сигнала, проговорила:

— Давайте пойдем туда в следующую субботу.

Франциска покачана головой. В первый год она, чтобы доставить Вольфгангу удовольствие, ходила с ним на танцы (из тщеславия, думала она теперь: признанный король танцплощадки смотрел только на меня) в бальные залы, принадлежавшие прежде союзу стрелков или бисмарковскому обществу, масонской ложе или театральному кружку любителей из хорошего общества... Ах, она знает эти деревянные галереи с залитым стеарином паркетом, бумажными гирляндами, оставшимися от последнего праздника сбора винограда, и кельнерами в белых, пожелтевших под мышками пиджаках. Юнцы, привалившиеся к стойке, хотят выглядеть ковбоями в салуне — небрежная поза, хоть в кино снимай, глаза поверх пивной кружки прищурены, как будто эти ребята метят в цель, когда они свистят вслед девчонкам, в перерыве между танцами спешащим в туалет, всегда вдвоем или втроем, они толкаются и насмешливо отвечают на призывы ребят, мерзость невообразимая... Она знает вкус, остающийся во рту после зеленых и красных ликеров, громкую музыку: барабан, труба или саксофон, в редких случаях даже рояль. Запах бриллиантина, пыли, пота и дешевых духов, уборные с мутными зеркалами, шпильки и мыльная пена в раковинах, и последний танец «Good night, Irene»<sup>1</sup>. Они танцуют его щека к щеке, в обнимку, а глаза их пусты от ожидания: еще несколько тактов, последний неуверенный поворот, потом бурные аплодисменты, еще один танец на бис, шепот — надо договориться, дорога домой, парк, подъезд — сколько надежд возлагается на время между последним танцем и утром понедельника.

— Это невозможно,— сказала Франциска и с улыбкой добавила, чтобы смягчить резкость отказа,— я уже не в том возрасте.

— Вы так молодо выглядите... Мы еще всегда смеемся над вашей короткой стрижкой, у нас некоторые сперва

<sup>1</sup> «Доброй ночи, Ирена» (англ.).

думали, что вы — голубой мальчик. — Кете прикрыла рот ладонью. — Наверно, я не должна была этого говорить?

Шафхойтлин. Франциска попыталась представить себе его лицо, когда он узнает, что она была в Доме стрелка, в этом дансинге третьего, а то и четвертого разряда, а он наверняка это узнает. Ну и пусть. Сидит сейчас в своем Уленхорсте, жена, дети, дом, сад, кругом леса, не то что здешняя пустыня, а всего час езды на автобусе от города, который он строит, — города такого же скучного, как он сам. Скучный старый осел, толкует мне о долге, а сам по воскресеньям отводит душу в деревне (ей виделись зеленые ставни, рыночная площадь с фонтаном, обнесенным решеткой, мелочные лавчошки, розовые фронтоны домов, погребок при ратуше, где столы и панели побурели от старости), а Грипентрог, Гертруду, меня он обрек блуждать среди этих бетонных спален и бить стекла.

— В следующую субботу? — сказала Франциска. — Ладно. Почему бы, собственно, и нет?

С того вечера она и словом не перемолвилась с Шафхойтлином, он решительно избегал ее, но, кроме Франциски, никто этого не заметил. Она слышала его шаги за дощатой стенкой барака, его голос, когда он говорил по телефону, кратко и деловито, как всегда. А почему бы и нет? Она включила транзистор Язваука, опять играют чарльстон, и непременно «Бананы», сейчас он разозлится, она знает это и ликует: «Yes, sir, that's my baby»<sup>1</sup>, вот он выйдет из терпения, забарабанит в дощатую стенку... Нет. Удар кулаком не нарушил покоя, зато из-за другой стены раздались проклятия Ковальского в адрес «этих психов» с их воем. Вот щенки прокляты! Я вам все уши оборву!

Вечером, когда она с Язвауком шла через кладбище, Шафхойтлин смотрел им вслед, она это почувствовала и оглянулась, у окна никого не было. От неоновых светов снег был бледно-зеленым, и казалось, что находишься в аквариуме. В темноте, среди крестов и могильных холмиков, в ее сердце вновь закрался детский страх, воспоминание о страшных историях с ведьмами... и она крепче прижалась к руке Язваука, не смея еще раз оглянуться... Только потом, во сне, она вновь увидела окно, теперь это была стена огромного аквариума, где плавали пяти водорослей, покачиваясь от слабого течения, среди растений с Амазонки, с листьями, закрученными спиралью, и эло-

<sup>1</sup> Да, сэр, это мое дитя (англ.).

деями, листья которых в форме сердечка двигались наподобие вееров. Несмотря на это беззвучное движение, они, напоенные холодным бледно-зеленым светом, казались застылыми, словно вмерзшие в лед растения минувших геологических эпох.

Из глубины, оттуда, где, видимо, находился источник света, скользнула тень, похожая на плоскую торпеду, отливавшая матовым железным блеском. Не шевеля плавниками, она плыла среди водорослей и веерообразных листьев, большая рыба с человеческим лицом, лицом Шафхойтлина, и Франциска увидела, что его лоб и нижняя губа покрыты чешуей. Странно, она не удивилась превращению, любые чудеса казались ей возможными, даже естественными, и тут же она вспомнила, как о действительном событии времен ее детства, о другой метаморфозе, похожей больше на кару, — историю тирренских морских разбойников, которых Бахус за кощунство превратил в дельфинов; редко кто хочет такой метаморфозы, как та маленькая русалочка, человеческие ноги вместо рыбьего хвоста, нам известно, какой ценой — немота и боль при каждом шаге, словно ступаешь по остриям кинжалов...

Человеко-рыба ударилась в стекло, отпрянула и снова ткнулась носом в стенку. Франциска засмеялась, со злорадством смотрела она, как человеко-рыба переворачивалась и, не шевеля плавниками, молча и тупо двигалась вперед, ударяясь лбом и носом, по все тщетно, хотя стекло дрожит от ударов, а рыба все открывает свой чешуйчатый рот, то ли говорит, то ли кричит, пузырьки воздуха по диагонали поднимаются вверх. Она смотрит на Франциску серыми, навывкате глазами Шафхойтлина, а та смеется, хотя ей и жалко бедную сменную рыбу, вдвойне запертую: в стеклянном ящике и в плоском чешуйчатом теле. Вдруг она забеспокоилась от какого-то скрежещущего звука, сперва приглушенного, как из дальней дали, потом он стал резче, ближе, скрежет, с которым ломается лед на озере, Франциска заметила на стекле трещинки толщиной в волос, они все разбегались по стеклу и темнели от влаги, она хотела бежать, но не могла пошевелиться, застыла от страха и любопытства. В миг, когда стекло лопнуло, она проснулась, сердце ее нестово билось. Он повторялся, этот сон о безгласном пленнике, скользнувшем вверх из зеленой глубины, повторялось и то чувство — то ли злорадство, то ли сострадание, с которым она следила за его попытками освободиться из плена, откуда вода не начинала

просачиваться в трещины, покуда Франциска не просыпалась, еще вовремя, прежде чем случилось Немыслимое...

Вечером они пошли повестить мать Марио, раньше просто Розы, а ныне Розмари, бледную и гордую, в платье с застежкой спереди. Фен в сапогах склонилась над бельевой корзиной, щебетали и прищелкивали пальцами, ну-дочего-же-миленький, махали резиновыми голышами перед его пустыми голубыми глазенками, а Розмари снисходительно улыбалась. Он еще ничего не видит. Совсем ничего? Ничего, я же вам говорю. Но ее улыбка, гордая и снисходительная, намекала на таинственную связь с ребенком, ни один врач в мире не разубедил бы ее в том, что она исключение, что ребенок ищет ее и узнает, она это чувствует, знает и сохранит для себя в неприкосновенности, вся наука ничего тут не может поделать.

Марио был встречен как принц, этот первый ребенок, родившийся здесь, в доме тех, что ждут, и тех, что страдают. На столе лежала целая куча пушистых одежек из голубой шерсти. Не стоит благодарности, говорили девушки. Они сидели на принесенных с собой стульях или на краю кровати и пили кофе. Рождение или похороны — кофе и пирожные должны быть. Франциска купила красивое платье, преступно дорогое и абсолютно ненужное, так как Марио просто зарегистрировали в загсе, по кружева и ленточки вызвали бурю восторга, пусть это будет выходное, решила Розы, теребя пальцами перлон. На подоконнике в стакане стояла ветка сирени, рядом с бутылками яичного ликера и бергмановской водки, лиловая сирень, она уже увяла, когда опустели бутылки и девушки тихонько визжали, зажимая рот рукой, а Розы смеялась оттого, что завитые волосы падали ей на лицо. Она и словечком больше не обмолвилась о беглом отце ребенка, о стыде, позоре, о том, что утоится, так, две-три слезинки, и то от растроганности, когда бригадиша вкатила в комнату детскую коляску, синюю с белым гондолу, качивающуюся на высоких колесах. И так, ни звука о панаше, видимо, об этом они условились заранее и также условились с жалобами по поводу кино обратиться к Франциске, она до тех пор молча сидела на краешке кровати, держа в руке стакан, который часто наполнялся, предположим, умышленно часто. Хитроумный заговор, не принесший никакого иного успеха, кроме того, что Линкерханд говорила медленнее и отчетливее, чем обычно, немало пришепетывая, что было забавно, однако она их

разочаровала, умеет пить что твой мужик, и так же медленно и шепеляво разъяснила им все о заключении Совета народного хозяйства и плаповой комиссии, о программе строительства Нейштадта (я уже аргументирую, как Шафхойтлин), разъяснила толково, но не рассчитывая, что ее поймут, да и не желая этого. А-мы-хотим-ходить-в-кино. Как будто я не расшибалась в лепешку, чтобы мне дали проектировать кинотеатр... Она потерла большой палец об указательный, этот жест поняли все: нету денег, ха-ха, а на то, чтобы их выбрасывать, есть деньги, вы только гляньте, что мы там в землю закапываем, остатки лесов, балки, клинкер, из этого материала можно три кино построить, но кому до этого дело, выбрасывайте — и точка.

Все молча переглядывались, как вдруг Грипентрог торжественно объявила:

— Она пойдет с нами на танцы в Дом стрелка.

Роковое молчание, итак, они этого не хотят, подумала Франциска. Она сидела как на иголках. Кете смущенно засмеялась.

— Вечно твои выдумки, — сказала бригадирша.

Рози тряхнула кудрявой головой и материнским тоном произнесла:

— Но ведь это вам не подходит.

Франциска взглянула на нее.

— А вам подходит?

— Вы к лучшему привыкли, — отвечала Розари и мигом, пока Франциска еще не успела возразить, перевела разговор на свои больничные впечатления, жонглируя сомнительными латинскими терминами, рассказывала о многом, да, доложу я вам, об очень многом... тут вступил хор девушек, воспламененных бергмаповской водкой, каждая со своей историей, да нет, с дюжиной своих историй: вот я знаю одну у нас в деревне, вы не поверите, это наша соседка, оно бы еще ничего, но вот старуха рядом... Суеверия били ключом, мутный поток предрассудков, воспоминаний, своих и услышанных от матери, о болезнях бедных людей и несчастных случаях, комната наполнилась теньями умерших от туберкулеза и рака родственников и знакомых... кровавыми призраками сломанного себе шею деревенского печника, раздавленного между двумя вагонами железнодорожника, сгоревшего в печи котельщика, заживо погребенного в бетоне строителя... Франциске казалось, что она вцоль листаает старинную книгу легенд о

жизни и смерти мучеников, с грубыми и наивными картинками, изображавшими святого Лаврентия на костре и святого Себастиана, утыканного стрелами. Она содрогалась от той точности, с которой девушки обозначали станции смерти, от смакования подробностей, грубых и пестрых, как картинки со щипцами, решетками и костром, телами мучеников и рожками легионеров.

Какая интимность со смертью! Они кажутся мне древними старухами... Я еще не видела покойников, кроме Важной Старой Дамы и семьи соседей — инженер, Нора и двое детей, в воскресных платьях лежащие на газоне... Я до сих пор не знаю, действительно ли я видела их, прежде чем Вильгельм перебросил меня через забор, или только представила себе, потом, по рассказам Вильгельма, бедняжку Нору с раскинутыми руками и муравьев на лбу маленькой девочки... Важная Старая Дама почилла с миром, старая, пожившая вволю, так же как мои прабабушки и прадедушки и их родители в преклонном возрасте мирно скончались в своих постелях, окруженные детьми и внуками, оплаканные и достойно погребенные, так умирают у нас, в нашем кругу, говорила мадам, моя матушка, это правило, лишь иногда нарушаемое войной или болезнью, неизлечимой, несмотря на домашнего врача, сапатюрными затеями, вроде вмешательства в политику (двоюродный дедушка Альберт — исключение, он был убит, но с исторической точки зрения на стороне врага).

Я чувствовала себя довольно-таки паршиво, Бен, мы были уже по колено в крови... Удивительно, это пристрастие, или даже страсть, с какой они слушали и говорили о разных ужасах, было всего лишь обратной стороной покорности: девушки воспринимали страдания как явления природы, против которых человек бессилен. Они были терпеливы. Терпение маленьких людей, которые стоят в очереди у кассы и довольствуются Домом стрелка... ничтожный сарай — садовый стол, садовые стулья, как уже говорилось (мне они тоже стоили пары чулок), потные гелльеры, у стойки статисты для вестернов — поза, хоть в кино спимай, запах пива, электрогитары, перекрываемые ударными, чечетка на паркете, теснота от обтянутых парчой задков, клетчатых мужских рубах, синих готовых костюмов... они небрежно танцуют под бумажной луной и гирляндами, оставшимися от Нового года, тискаются за столиками, вдруг гаснет свет, аттракцион или авария —

все равно это имеет успех. Здорово! — орут некоторые, потом уже и все... не будь окна совсем мутными от пыли, в течение этих двух минут можно было бы увидеть лупу и красное неоповое «Б» над бензokolонкой. Ближе к полуночи воздух в зале стал компактной серо-голубой массой, а драка во дворе под голыми каштанами давно кончилась, что-то, видно, они почуяли. Позднее мы заметили кровь на снегу.

Мы не сидели у стенки, Кете и я, ни одного танца, несколько раз кельнер приносил вишневый ликер, которого мы не заказывали, и мы выливали эту липкую жидкость под стол. Мы драпанули от назойливых кавалеров через черный ход и двор и бросились к автобусной остановке. Мимо, шатаясь, прошла девушка в перлоновом платье, от силы лет шестнадцать, в бальных туфельках по снегу, когда мы хотели пойти за ней, она скрылась в темноте, среди пригородных домов. Какой-то парень в плаще с поясом прижал к забору свою девушку и залез к ней под юбку. Какое свиство, прямо посреди улицы! — сказали двое пожилых людей на остановке и отвернулись, потом опять стали смотреть в их сторону. В воскресенье мы делали уроки, физически расплачивались за вчерашнее, и Кете рубила чернильным карандашом бумагу, как будто ей надо было конусы и пирамиды высечь из белого камня, ничего, зато в последнюю неделю она получила тройку, это уже нечто, значит, мы не зря старались.

Вы же небось бог знает что о нас думаете, сказала Кете, а я отвечала, о вас — нет, а имела в виду Шафхойт-лица, хотя он всего лишь колесико, функционирующее потому, что сцеплено с другими колесиками, скромными и надежными и уж никак не имеющими право вмешиваться в работу механизма в целом...

— Не имею права пренебречь принятыми решениями, — сказал он в понедельник утром, когда они шли по городу. — Использовать средства на незапланированные мероприятия — значит нарушить закон.

— Не нарушить, просто обойти, — отвечала Франциска, а он смотрел на нее как на поджигательницу, которая хочет его уговорить нести каистру с бензином, когда она идет поджигать дом.

Он рано утром вызвал ее к себе в кабинет и спросил, не хочет ли она пойти с ним на строительство нового жилого комплекса, — вопрос, прозвучавший как приказ, но Франциска просияла и даже согласилась взять павязац-

ный ей ватник, хотя за ночь погода переменялась и на улицах дул теплый ветер, белый защитный шлем с кожаным ремешком болтался у нее на руке, как рыночная корзинка.

С крыш падали комья мокрого снега и шлепались в грязь, в лужи талой воды. Потом пошел дождь. Франциска боролась с ветром и чуть не упала, когда они обогнули дом с подветренной стороны, Шафхойтлин удержал ее за рукав. Перед новыми домами стояли мебельные фургоны, люди со стульями и матрацами бегали от фургонов к дверям, домашний скарб под открытым небом, на дожде, выглядел убогим и словно взятым в долг... Буфет похвалялся вырезанными на дверцах плодами и виноградными гроздьями, но, когда его повернули, миру предстала задняя стенка, немореная, простая доска.

На следующем перекрестке им опять в лицо ударил ветер. Здесь дома стояли еще пустые, неоштукатуренные, серые, иссеченные рубцами швов и сейчас, под косым и частым дождем, напоминали декорацию давно отснятого фильма, а шум на дороге усиливал впечатление в спешке проложенной и поспешно оставленной бутафорской улицы: пучки соломы, катушка от кабеля, разбитые плиты с торчащими прутьями арматуры, доски, мотки проволоки и ванна, точно морской зверь, выставившая свое желтое брюхо и вытянутые кверху копытоподобные ноги. Только дверные рамы мерцали в мглистом воздухе и намалеванные на оконных стеклах белой краской кресты, повсюду красовались человечки, как их рисуют дети: точка, точка, запятая, вышла рожица кривая.

Они остановились посреди улицы, между полными воды колеями и следами цепей. С каждым шагом густая грязь все больше налипала на их сапоги, они увязали в ней, с трудом выдирая ноги. Лицо Шафхойтлина помрачнело. Злость проявляется как рефлекс, сотни раз осужденная всеми расхлябанность строителей преисполняла Шафхойтлина бессильной яростью, словно он был обречен, скованный по рукам и ногам, смотреть, как эти жалкие люди втаптывают в грязь стомарковые банкноты. Он уже раскаивался, что потащил за собой эту Линкерханд: женщина в такую собачью погоду, кто знает, чем это может кончиться — градом упреков, словно он виноват в дожде и ветре, испорченной прической и уж наверняка насморком или терпеливой миной, молчанием, безропотным, категорическим и оскорбительным для него. Опа, шатаюсь,

шла рядом с ним в небрежно простеганном ватнике, и он перевел эту особу, не видя ее лица, по доскам, с чавканьем утопавшим в грязи, к подъезду. Франциска откинула воротник, достала карманное зеркальце, расческу и сказала:

— Ну и вид у меня.

— Как реклама детского питания, — заметил Шафхойтлин.

Она улыбнулась в зеркальце и падула щеки.

— Правда, похоже. Самый лучший «Ситрозан»! Подержите зеркало, нет, выше.

Он радовался, что она так ко всему отнеслась. Держал зеркало и смотрел, как она сперва зачесала назад мокрые волосы, потом счесала их все на лоб и виски, потом опять откинула назад, обстоятельные и, как ему казалось, бессмысленные маневры, которые всегда раздражали его в жене.

— Наденьте все-таки шлем, — сказал он, но Франциска уперлась, я не хочу быть посмешищем, и заворчала, она, мол, не практикантка второго семестра и тем более не министр со свитой в шлемах, они всегда выглядят ряжеными, особенно толстяки, такие же комичные, как деловые люди в бумажных колпачках...

Они стояли под навесом и курили.

— Этот Дом стрелка — что-то не-ве-ро-ятное, — проговорила Франциска.

Шафхойтлин, слышавший это в третий раз и уже потерявший терпение, тем не менее спокойно ответил:

— Да. Безусловно. И все же мы не можем менять проект. Это исключается. Чтобы мы из средств, отпущенных на строительство жилых комплексов, возводили объект, относящийся к центру города...

— Пока что несуществующему... — бросила она.

— Верно, — отвечал Шафхойтлин и кивнул Франциске, учитель, у которого трудный ученик попался в сети собственного хитроумия, — и тем очевиднее, что каждому комплексу нужен свой центр, то есть свои кафе, столовые, закусовые, на которые жители комплекса имеют такое же право, как и на предприятия бытового обслуживания. Даже если бы можно было реализовать вашу мысль об изменении проекта, мы бы пошли вразрез с интересами жителей новых комплексов, потому что огняли бы у них общественные помещения и тем самым возможность контактов... Я еще не убедил вас?

Пробный шар лопнул, едва она запустила его, этого надо было ожидать, уверяла себя Франциска. Маленький шанс, что Шафхойтлиг рассмотрит ее предложение, она использовала только из вежливости (нельзя же упускать даже самой зыбкой надежды). Она смотрела на завесу дождя, которую разрывали порывы шквального ветра, сквозь дождь был виден предполагаемый силуэт здания, графитово-серая, прочерченная по небу линия крыши, видимая только ей в течение одной спящей минуты, когда она забыла все, что волновало ее за день до этого: провалявшийся пивом и похотью зал, кровь на снегу, пьяную девушку, которая, что-то лепеча, скрылась в темноте,— и свое чувство ответственности за все это тоже предала забвению, отеклась от мечтательницы со Старого рынка с ее правилами воскресной школы и от Регера с его блистательными речами о профессиональном лице архитектора... В этот миг мной владела только одна идея — получить самостоятельное задание, ради меня самой, чтобы я могла жить... Сколько можно существовать в качестве подручного на фабрике домов? Нас обманули, думала я, и Регер тоже, который отпустил нас из института с социальным заказом (а сам честолюбиво помышлял лишь о том, чтобы увековечить свое Я), который держал нас в коконе иллюзий и идеалов. Здесь, в Нейштадте, все наши представления оказались неприемлемыми. Между представлениями и возможностями, как надолбы, стоят предписания и показатели, над городом пылешиного дня простирается нейтральная полоса неизвестности.

Тогда... я вспоминаю утро, крышу, с которой стекала дождевая вода, приглушенный шорох бетона и влажной соломы... тогда меня впервые охватило что-то вроде отчаяния при мысли о моей профессии. Я чувствовала себя обманутой и потому имеющей право, поелику возможно, попытаться спастись: я должна кое в чем удостовериться, урвать себе проект, добиться признания, а иначе мне останется только встать к конвейеру... Отчаяние прошло, так же как и злобное рвение, с которым я обвиняла Регера, но зато я знала, что отчаяние может вернуться и что теперь я не защищена от него, как прежде, на Бётхергассе, под жирной, отеческой рукой Регера...

— Я еще не убедил вас? — спросил Шафхойтлиг.

— Пожалуй, — рассеянно отвечала Франциска.

Его обидело ее отсутствующее лицо, вся эта манера не принимать к сведению фактов или тем паче отделять

ваться опасным молчанием, опасным, потому что многозначительным, в этом молчании все аргументы тонут, как в тумане... Пожалуй, он ее убедил, и она оставила его стоять наедине со своим непригодным разумом... в это мгновение он показался себе еще и убогим... Бросив сигарету в лужу, он вышел на улицу.

— Вы можете вернуться на автобусе,— произнес он.

Франциска, не говоря ни слова, подняла воротник и по доске между колесами пошла рядом с Шафхойтлином. Ближе к стройке их стали обгонять грузовики и самосвалы, из-под колес которых вырывались фонтаны воды и грязи, навстречу тоже шли машины, шоферы сигналили повсюду, наглое выражение восторга, оно огорчало Шафхойтлина, а Франциска смеялась: настоящие мужчины, охотники, ковбои на дрожащих взмыленных лошадях — иными словами, просто *мужчины* (а вы видели Гарри Купера в роли шерифа, одинокого на белой от полуденного зноя дороге?), они чувствуют себя сильными и одинокими, когда мчатся на своих огромных железных конях и называют буйволом скачущего на радиаторе бычка, но, стоит им спешиться... О боже мой, они — и шериф Гарри Купера... Шафхойтлин сказал, что ему некогда ходить в кино.

Поточная автоматическая линия проходила по краю сосновой рощицы, редкой, как волосы на голове старухи. В снегу между стволами валялись заржавленные ведра и выпотрошенные матрацы, детская коляска и рождественская елка, в голых ветвях ее сверкало несколько шишек кашители, а на одной ветке висел раскрытый зонтик, на спицах болтались клочки шелка. Они шли вдоль подкранового рельса на опушке леса, мимо заградительного щита, сложенных штабелями бетонных плит, мимо целого ряда ваннх комнат, открытых, без крыши, как в кукольных домиках, восемь светло-зеленых стен, восемь округлых ванн, шли в направлении порталного крапа и блока под ним.

Раздался дребезжащий звон, и стальные ворота с фонарями легко и почти беззвучно скользнули вперед по рельсам, не видно было ни души, и машина, казалось, движется по собственному побуждению, никем не управляемая и без затраты энергии, но в том, как она двигалась и как остановилась, когда смолк звонок, не было ничего устрашающего, скорее, это было забавно, решила Франциска, как чудовище в том фильме, как услужливо выпе-

кающий хлеб призраком... Она радовалась, что хоть на день оторвалась от барака и своего чертежного стола, ей хотелось сказать Шафхойтлиншу, что она любит стройку, и эту, и любую другую, и все, что относится к стройке: душный запах бетона, кабель, как капкан на земле, развороченные центами и сдвоенными колесами дороги... Так бывало раньше, еще у Регера: он быстро шел впереди их всех, под подбородком галстук, как у Грошуса, развевающийся плащ, точно черное, хлопающее на ветру оперение, и заклинал своих апостолов, грозил им: стройка должна для вас значить больше, чем возлюбленная, и шикто даже не усмехнулся, а что вы думаете? — во всяком случае, мы не усмехались, пока Регер был поблизости, одного его присутствия было довольно, чтобы дать нам почувствовать: каждая стройка — событие, единственное и не менее значительное, чем первый день творения...

Возле будки прораба стояла машина, в прошлом зеленая, и человек, владелец машины, в плаще и шляпе прислонился к окну и говорил с кем-то, тыча в него указательным пальцем. Трое мужчин в ватниках играли в скат, они и глазом не моргнули, когда Шафхойтлин плечом и коленом наподдал разбухшую дверь. Франциска одна пошла дальше под качающимися на ветру соснами и увидела, как крап-балка опускает стену с окном и белым крестом на окне. Стена раскачивалась в воздухе и казалась невесомой, как липовый листок, что по спирали медленно опускается вниз и описывает робкий полукруг над нагретой осенним солнцем землей. И так же, словно и они невесомы, рабочие направляли и подталкивали стену, едва она приземлилась и в тот же миг, пригнанная к другой стене, стала частью фасада, вновь обретя естественную стабильность бетонной плиты, и выглядела уже такой тяжелой, какой была на самом деле. Веером взблеснуло голубое пламя сварки.

Дождь хлестал ее по лицу, сбегал за воротник, но она остановилась на краю этого цеха, крышей которому было небо и где человек шесть рабочих монтировали дом, сваривали, потом замазывали швы. Изредка до нее доносились свист, крики, звонки, но вообще тут было тихо, не мертвая тишина, а воскресная (воскресенье в Нейштадте), но здесь совсем иначе, чем дома, думала Франциска, точно путешественник в стране с чуждыми обычаями, совсем иначе... и ее потянуло в прошлое, к полуденным звукам над деловой частью города, над улицами и одетым в

леса Гевандхаузом, к похожему на гул прибоя шуму улиц рядом со строительной площадкой, к звукам стройки добавляются голоса за забором, звонки трамваев, музыка транзисторов, а по вечерам из венгерского кафе звуки цыганской скрипки и, конечно же, воркование голубей и шорох шиш по базальту... лица над оградой стройки, любопытство делает их похожими, как лица на семейной фотографии, всех их роднит одно — непримиримое высокомерие города, граждане которого уже два столетия подряд передают из поколения в поколение свою гордость дворцом, собором и ратушей, как в других краях из поколения в поколение передает скатерти и столовое серебро... города, которому барокко необходимо, как хлеб и пиво... памятники, амуры, патица, позеленевшие медные крыши... Все это очарование пережило почные бомбежки, руины так же прелестны, как и поддельные руины храма и стержни колонн в бывшем княжеском парке, где на холме воссоздан мифологический ландшафт... наконец, она вспомнила летнее утро, в июле или в августе, жаркое и белесое от зноя, голые плечи каменщиков и плотников блестя от пота, ручейками стекавшего по их спинам, коричневым спинам строителей пирамид, воздух плавился, и все краски сплывались в белизну, белизну мела, белизну снега, все это вместе прорвалось сквозь пласты отложений былых времен и открылось взору Франциска. Она зажмурилась, ослепленная белизною пьеса, фронтонов, карнизов и ажурного орнамента барочных волнот и статуй под сенью строительного навеса, они точно зачарованные люди, раз и навсегда окаменевшие в последнем своем движении... так, полузакрыв глаза, Франциска шла по улице и чуть не попала под самосвал, который с визгом затормозил и остановился поперек дороги. Удар о незримую стену отбросил машину назад, а голова водителя стукнулась о залитое дождем лобовое стекло, голова Вильгельма, подумалось Франциске, прежде чем она, слишком поздно, успела закрыть лицо рукой.

Шофер выскочил из кабины, бледный как полотно... ты был бледен от ярости, Бен, я больше никогда не видела тебя таким взбешенным, хотя давала тебе достаточно поводов все эти годы, и поводов, гораздо более серьезных, чем ошалелое метание у самых колес самосвала. Он грозил мне, еще срыгивая с подножки: окающий мальчишка, я тебе уши оборву! — первые слова, которые я от тебя услышала, или что-то в этом роде, но «окающий маль-

чишка» — паверняка, значит, я кошмарно выгляжу, решила я, еще бы, мокрая и растрепанная, и как раз сегодня, как раз теперь. Мысль об испуге промелькнула, легкая как перышко, только когда я хотела откинуть со лба мокрые волосы, но руки не слушались меня, и колени, казалось, подогнулись: вот твой миг, три месяца сконцентрировались в одной минуте, впервые... в попытке поднести пальцы к глазам, стереть предполагаемую слезу, сказать: добрый день, прекрасный день, любовь моя, сегодня нам улыбнется счастье... Беллетристический миг, которого мы не пережили, да и не хотели бы пережить — во всяком случае, я не хотела бы, Бен. Я могу себе представить этот миг, все его возможности, подменить несказанные слова — «жизнь моя» вместо «любовь моя» или изменить мизансцену, например: ты смотришь на меня не так, как смотрел тогда, на самом деле, а колесо глубоко врылось в топкую грязь... я рада, что не случилось то, что я могу себе вообразить, — любви с первого взгляда, уверенность без открытий, сцена из романа, в которой я говорю то, чего не сказала тогда, что-то вроде: я повсюду тебя искала... А я ведь действительно искала, это изумило меня больше, чем случайность, благодаря которой я теперь тебя нашла — кого-то, пезнакомца, чье существование ничего для меня не изменило, пезнакомца, ничем не примечательного, кроме мимолетного сходства с Вильгельмом: такой же лоб, перебитый нос, скулы, которые подпирают глаза, впрочем, сейчас педостает очков в комичной проволочной оправе.

— Так это вы, — проговорила Франциска.

Высоко подняв плечи, он повернулся спиной к ветру и закурил сигарету. Франциске хотелось, чтобы он сразу, ни слова не говоря, залез обратно в кабину и уехал, освободив ее от своей близости, от действительности. Она только усомвилась — неужто она когда-то надеялась еще раз его увидеть? И все-таки не упустила его из виду, сравнивала его с образом, родившимся в ее воображении, — образом, который она вовлекала во всяческие авантюры, который наделила определенным характером, пыталась сравнивать трезво или по меньшей мере отрезвленно, как она считала, и тут же ее привело в раздражение то, как он выбросил свичку, неподобающе, слишком громко выдохнул дым и, наморщив лоб, взглянул на нее, и все это холодно, безразлично, как будто ему было одинаково

паплевать и на курение, и на ее лицо, по которому он быстро и как бы нехотя скользнул взглядом.

— Мы разве знакомы? — спросил он из вежливости, а Франциска ответила:

— Вы мой школьный товарищ.

Его рука, в смущении застывшая на уровне груди, была такой же, как в ее воспоминаниях, красной, покрытой шрамами и очень уж маленькой для мужчины: если не по чему-то другому, то по руке она бы наверняка его узнала, и еще по тому, как он держал сигарету — тлеющим концом внутрь, большим и указательным пальцами, как лесоруб, как Рыжик на трапе самолета, Вильгельм, моя одинокая старая горилла... Ее охватило чувство утраты, и ей захотелось вернуть былое ожидание вечеров...

Он даже не дал себе труда изобразить раздумье или сожаление.

— Не припоминаю, — сказал он.

— Конечно, ведь я же вас выдумала, — отвечала Франциска с улыбкой, предназначавшейся не ему и тем более не Шафхойтлину, который вышел из вагончика и в поисках Линкерханд шел по дороге, увидел самосвал с вывихнутыми колесами (а под колесами ватник, кучку раздавленных костей, белый шлем откатился в сторону), потом спину шофера и наконец Линкерханд с ее улыбкой, бог весть кому предназначенной. Он медленно перевел дух. И позвал ее, шофер поднял плечи, повернулся и пошел к кабине. Шафхойтлин сердито отметил, что он выбросил недокуренную сигарету, не докурив и выбросил, все равно куда, хоть в кучу соломы, хоть на ковер в гостиной, очень типично, он, Шафхойтлин, знает таких людей, чует запах этой падали, их циничное отношение к своей, а тем более к чужой собственности. Они и людей вот так же вышвыривают, девушек, идут, что называется, по трупам, по расеянно...

— Вы уже заводите знакомства... — сказал Шафхойтлин Франциске.

— Я? Почему именно я? Он говорит, что знает меня, что он учился со мной в одной школе, только на несколько классов старше...

— Болтовня. Обычный трюк, — произнес Шафхойтлин, а она засмеялась и сказала: конечно, трюк, с певчимым выражением лица, показавшимся Шафхойтлину подозрительным. Какая тут ведется игра? — думал он, сам не зная, почему он так решил: игра.

— Как будто я могла годами не замечать такой рожи,— сказала Франциска.— Ну и урод... просто хуже пекуда.

Шофер включил зажигание, это прозвучало как выстрел. Франциска вздрогнула.

— Что с вами? — спросил Шафхойтлин.

— Ничего,— отвечала она.— Знаете, господин Шафхойтлин, когда мы восстанавливали Гевандхауз, у нас вокруг стройплощадки был ужасно смелшой забор, с картинками, плакатами и табличками, из которых каждый мог узнать сроки окончания стройки, и выделенные нам суммы, и к тому же имена проектировщиков, да, наши имена, красным по белому, идея Регера,— конечно, он знает толк в паблсити. К черту того архитектора, говорил он, который дает себя держать на голодном пайке безвестности... Хорошие это были времена, у Регера, несмотря на...

— Несмотря на что? — спросил Шафхойтлин.

— И-несмотря и-па все...

— Ясно. Меня это не касается.

Немного погодя она обернулась. Самосвал скрылся из виду.

— Вероятно, он под безвестностью подразумевает коллектив,— сказал Шафхойтлин.— Из его речей явствует не что иное, как боязнь архитектурного премьеры утратить свои позиции. Дайте мне договорить, подобные тенденции я замечаю и у вас. Я говорю это не в упрек вам. Профессор Регер, несомненно, имеет большое влияние на молодежь. Но время одиночек прошло, хотите вы это признать или не хотите.

— Мы все время говорим о разных вещах, все время,— возразила Франциска.— Я говорю о паблсити, а почему бы и нет? Мы стали безымянными и безликими и тем самым уподобились нашим строениям. Каждое здание должно быть подписано, как картина... Но нет, мы сидим на голодном пайке, скрытые от глаз общественности, людей, которые знают любого орущего шлягеры педоросля, и объем бюста Лоллобриджицы, и какие подтяжки носит этот телешут, но ничего не знают об архитекторе, построившем их дом. Мы прозябаем на задворках искусства. Спросите людей, знают ли они чаяния, да что там, хотя бы имена тех, кто строит города, создает организмы, столь же важные для жизни общества, как взаимное обещание, законы и моральные нормы.

— Вы переоцениваете наши функции,— сухо сказал Шафхойтлин, чтобы скрыть, что он смущен, даже обескуражен, как будто из книги или из переполненного ящика стола неожиданно выпала фотография: молодой человек в застиранных бумажных штанах у фонтана Треви, вот и все (он соблазнился сомнительным волшебством, бросил в фонтан свой пфенниг, общедоступная гарантия возвращения, хотя он не был уверен, что вообще захочет сюда вернуться — он уже утратил способность восхищаться, полуслепленный от головной боли, угнетенный двумя тысячами годами истории, ошеломленный мраморными телами, раздавленный куполом собора святого Петра), слишком много солнца, неправильно выбранная диафрагма, лицо, насколько можно разобрать, приятное, молодое, открытое, немного усталое, но смеющееся, это был я.

— Где вы там?

— Я устала,— капризно проговорила Франциска, тащившаяся в трех шагах позади него, она шлепала по лужам и даже утратила свою обычную прусскую выправку, заметил Шафхойтлин, шла согнувшись, засунув руки в карманы. И наконец присела на ступеньку короткой лесенки жилого вагончика строителей. Шафхойтлин уперся одной ногой в ступеньку, разглядывая свой сплошь заляпанный грязью сапог.

— Устали? С утра пораньше? — спросил он недоверчиво.

— Прежде я могла работать хоть двадцать часов подряд,— сказала Франциска,— а теперь уже к обеду начинаю зевать, хотя ничего толком не сделала. Наверно, именно поэтому.

— Не знаю, чего вы еще хотите. Вы очень хорошо поработали,— сказал Шафхойтлин.

— Хорошо... Прилежно, честно, скучно. Для меня эта работа — раз плюнуть... Вечером я чувствую себя как морская свинка, которая целый день прокрутилась в колесе...

Он смотрел на ее опущенную голову, черную от влаги, на треугольник волос надо лбом и, кажется, прослушал ее слова: при чем здесь морская свинка, подумал он.

— Раньше на ярмарках за пять пфеннигов показывали белых мышей или морских свинок в колесе, они все мчались и мчались, пока не упадут, но ни на шаг не продвигались вперед, и ничего больше не происходило, только колесо все вертелось... Они слепые, говорил мне брат,

их ослепили, а как — этого он мне не сказал. Вы помните эти ярмарки, и морских свинок, и все остальное?

Шафхойтлин кивнул.

— Сейчас такие методы дрессировки запрещены.

— С морскими свинками — да, — сказала Франциска.

Он поднял полы плаща и присел рядом с ней на лешку.

— Давайте говорить откровенно, фрау Линкерхауд.

— Зачем? Разговоры с вами меня угнетают.

— Потому что вам угодно игнорировать то, что не соответствует вашим субъективным представлениям. Строительство нынче — такая же отрасль индустрии, как и любая другая, разумная, без мифов, это факт, и к этому вы должны быть готовы, а как — дело ваше... С другой стороны, — проговорил он, массируя руку, покрытую бородавками, — нам не хотелось бы вас терять. К сожалению, мы в свое время не сообразили привлечь выпускников высшей школы к работе в Нейштадте...

— Они от вас сбежали, я знаю, а Язваук просто подчинился закону инерции. Вы ничего не можете предложить, господин Шафхойтлин. Типовые проекты, проекты повторного использования, господа, ведь с моей работой справилась бы любая чертежница... Кстати, если вас это интересует, наша чертежница каждое утро запирается в уборной, ее рвет... Она на третьем месяце.

— Только этого нам не хватало, — воскликнул Шафхойтлин, — какая глупость!

— Вы правы, только этого нам не хватало, потому что, насколько я знаю нашу лавочку, вся работа фрау Крупкат свалится на молодых, на Морица и меня. И все-таки, — добавила она ядовито, — вам не обязательно повторять ваше прелестное замечание перед фрау Крупкат. Она-то ведь рада, понятно вам?

Шафхойтлин поднял с земли сбитую ветром ветку и прился счищать с сапог налившую грязь, сначала с ранта, потом с подошвы и каблука, при этом он должен был поворачивать ногу в колене, подгибая ее короткой жирной ляжкой другой ноги, гимнастическое упражнение, стоившее ему немалых усилий, он покраснел и тяжело дышал... В пятьдесят он будет толст, с большим сердцем, вечно в дурном настроении, не пожелает терпеть никаких возражений; вероятно, в таком возрасте, какапуне инфаркта и героической смерти за письменным столом, человек имеет право не терпеть никаких возражений, ду-

мала Франциска, покуда Шафхойтлин как представитель коллективного «мы», тяжело дыша, поощрял идеи относительного улучшения условий труда... Значит, разговор о кадрах? Пожалуйста, только не под дождем.

— В нашем бюро,— проворчал он,— не выберешь и пяти спокойных минут.

Он, казалось, пребывал в перешителности, продолжая возиться с сапогами, низко наклонился, и Франциска видела, как его шея налилась кровью, а Шафхойтлин как-то вскользь сказал, что, возможно, зайдет к ней. Если не успею на автобус, присовокупил он. Это было уже лишнее, он и сам понял, повернулся к Франциске, замирая от мучительного подозрения: а вдруг она смеется за его спиной... Она смотрела на него, нахмурив брови и вопреки ожиданию без пасмешки, но внимательно и оценивающе.

— Мне вас недоставало,— проговорила она.

Возможность какого-то приключения привела его в замешательство.

— Недоставало? — переспросил он. — Почему?

— Просто так,— отвечала Франциска.— И мне тоже, прошу вас...

Она вытянула ногу, он взял ее повыше щиколотки и принялся веткой счищать комья грязи с каблуков... он держит мою ногу нежно, не сдавливая, методически обрабатывает, как только что обрабатывал свои сапоги, царапина на коже сапог, я думаю, была бы для него страшнее, чем рапа на собственной коже... не знаю, почему мне больно от этого воспоминания... его красная шея, выбритая почти до затылка, как будто он считал свои кудрявые волосы каким-то легкомыслием и строптивостью, которую должно усмирить и покарать. Он уперся коленом в ступеньку, преклонил колено, я этого хотела, думалось мне потом, и довела его до этого, проба сил, не спрашивай меня зачем, Бен, колдовство, искра, зарокенная в эту деревянную душу... Шафхойтлин смерил ее ступню по расстоянию между большим и указательным пальцем, детский размер, в этом он разбирался: он имел обыкновенные проверять любую покунку, сделанную не на хозяйственные деньги, а значит, и покунку детской обуви.

— Самое большее — тридцать пятый,— заметил он.

— Просто беда, мне так трудно кунить себе туфли, к счастью, отец мне иногда присылает.

— Из Бамберга,— произнес Шафхойтлин.

— Из Бамберга, да. Ну и что? Не сжигать же мне их.

Это запоздалые объяснения в любви старого чудака... Каблуки — десять сантиметров... Раньше он воспитывал нас в пуританском духе, в основном — солидные вещи, грубые полуботинки и грубошерстные непромокаемые пальто, никакого шелка, даже шелковые ленты в волосы не допускались.

— Но они вам и не были нужны, эти ленты.

— Почему, тогда я еще ходила с косами, а не такая оболваненная, как теперь.

— Не такая что?..

— Не такая обкорпанная, чтоб вам было понятнее... Смешно, скольких слов вы не знаете, — сказала Франциска, не подозревая, что ранит его.

Это намек, думал он, на то, что он принадлежит к другому поколению, что он для нее почти что ископаемое (он называл это зрелостью), он не понимает ее жаргонных словечек, не приемлет музыку и бешеные танцы ныпешней молодежи, противопоставляет свой опыт ее безумным ожиданиям. Он меньше, чем Линкерханд, распространяется о новшествах и не расположен спорить об экспериментах, а тем паче экспериментировать, то есть идти на риск, — это все признаки, симптомы, такие же, как невроз желудка и спорадические сердцебиения, не то чтобы они угнетали его, но все же напоминали, что надо поберечь силы. Для нее самый обычный факт то, что она моложе его на двенадцать лет — обстоятельство немаловажное, а его, может быть, она уже относит к потерпевшей стороне, к тем, кто уже не поспевает за пею... Он зашел еще дальше: в каждом слове ему чудился намек, от сомнений его вдруг потянуло домой, бесполезные мысли, пустая болтовня. Он увидел себя со стороны, почти колепопреклоненным на узенькой ступеньке, а его рука, державшая Франциску за щиколотку, стыдливо повернута, вывернута (он знал, что она содрогается при виде его бородавок)... и он испугался, словно совершил непоправимую ошибку, в которой виновен он, а не Франциска и за которую не она, а он должен расплачиваться: бесконечной чередой вечеров в Уленхорсте, в своем доме, у себя дома, в гостинной, где ничто не будет так зримо и так весомо, как ее отсутствие, и ничто не будет так убого, как неукоснительно поддерживаемый порядок.

«...на ножках розовых в изящной позе...» — единственная строка, которую он мог припомнить, когда мы вышли из аллеи красных буков и увидели красноватую тень, и луг, и пруд с плавающими на нем утками, у которых были черно-зеленые шеи, увидели фламिंगо — пушистый шар на высоких ножках, казалось сотканный из лучей предзакатного солнца, — грациозное пугливое создание, которое растворится, когда зайдет солнце, наступят сумерки и мурашки побегут по воде, как по коже. Стихотворная строка, которая всегда приходит мне на ум, когда я думаю о нем. «...на ножках розовых в изящной позе, — сказал бедный Шафхойтлин, тщетно напрягая память и находя лишь обрывки строк, — ...и черной завистью дышал вольер», «они идут... они идут...» — бормотал оп... Забыл. Он смутился, словно невесть как велика была потеря, а я промолчала, ничем не выдала своего удивления, что он читает стихи, даже учит их наизусть. Я уже была достаточно хитра и понимала, что мое удивление сделает его недоверчивым, он замкнется в себе, умолкнет, как бы уличив самого себя в неблагоприятном поступке.

Стихотворение о пантере он еще помнил наизусть и, когда мы стояли перед клеткой, начал читать его, тихо, чтобы никто не услышал, первую строку подчеркнуто выразительно, знаешь, как учат декламировать в школе, затем свободнее и под конец увлеченно... «и танец мощи непомерной, в тиски зажатый волею стальной...», одно мгновение он, казалось, забыл об окружающих, о боязни потерять свой авторитет, и, знаешь, Бен, он мне даже понравился, теперь, когда он стоял перед клеткой, его никто не мог бы упрекнуть в педантизме или крохоборстве, конечно, он ничуть не походил на пантеру, сильный и крижистый, с шеей, как у быка, способной выдержать любой

груз. Правда, никакая паптера за проволочной сеткой, заменявшей решетку, не прохаживалась — лениво растянувшись на куче песка, грелась на солнышке песчано-коричневая усталая старая пума. Нет, нет, с излияниями чувств Шафхойтлицу явно не везло...

Заблужденный цирк подарил эту пуму местному зоосаду, в ту пору еще «зоосадику», созданному господином Кубитцем позади замка, впрочем, мы не обратили тогда на него внимания, мы в то время в бараке у кладбища любили яростно спорить о «зоне контактов». Возможно, что и в этот вечер мы тоже беседовали о контактах и коммуникабельности, когда шли через красный буковый туннель и попали в зверинец, скорее случайно, после заседания в зале замка, и увидели фламинго, изогнувшего шею так, будто он собирался рисовать в воздухе буквы или знаки в форме сердца, а также горлиц, лебедей, купид и неловкую грацию молодых козлят, опускавшихся на колени, когда им надо было напиться, и купавших в пыли свои косматые шкуры.

Будний день в конце августа, на аллеях и лужайках полно гуляющих, влюбленные пары, отцы с детишками, но тем не менее дорожки блистали чистотой, вода в пруду оставалась прозрачной и чистой, его берега не были вытоптаны, лишь следы утиных лапок виднелись на влажном песке (в то время как в жилом массиве озелененная площадь была сплошь усеяна обрывками грязных бумаг, а в мутной воде фонтана плавали картонные коробки от сигарет и окурки. Витрина возле универмага была разбита уже на вторую или третью почь. Они швырнули в стекло булыжник: они, думала я, вапдалы, весь этот город бросил камень в мою витрину), вокруг оживленные лица, совсем не похожие на лица прогуливающихся в воскресенье по главной улице Нейштадта между безрадостными фасадами домов, — гуляя, они как бы отбывают тяжкую повинность, глаза их стеклеют от скуки...

Людской поток донес нас до вольера, где павлин, распутив хвост, приплясывал вокруг двух самок — сварливых домашних хозяек, которые мелкими шажками от него удирали, а он все кружился возле них, волоча одно перо по песку, как галантный кавалер шпагу. Под косыми лучами солнца из его оперения сыпались искры, казалось, он выкован из металла, как сказочная жар-птица, и правда, при любом его па слышался металлический щорох, каждое его перо, каждая пушичка звенели, словно ветер

шевелил листки алюминия. Великолепно и нелепо выглядел павлин, кружась на солнце перед своими равнодушными подругами, чуть-чуть подпрыгивая и все шире распуская свой огромный веер, слегка склонявшийся вперед, так что казалось, он вот-вот коснется его маленькой, кобальтово-синей глупой головки... Мне так хотелось, Бен, чтобы ты увидел его, ошалелого от восхищения самим собой, ты бы посмеялся, Бен... и еще мне хотелось идти по парку с тобой безбоязненно, как сейчас с Шафхойтлином, и чтобы твоя, а не его рука поддерживала меня за локоть, когда я вытряхиваю песок из туфли, и чтобы ты покупал мне мороженое, малиновое или ванильное — нет, то и другое, малиново-красные и желтые шарики, которые тают и капают из вафли, и чтобы мы петоропливо выскивали уютное местечко в тени деревьев или свободную скамейку (не избегая гласности, то есть встреч с людьми, со знакомыми).

Шафхойтлин, как ни странно, оставался вне подозрений.

Он был табу, даже в архитектурных мастерских, этих рассадниках сплетен. И тень подозрения не падала на этого безупречного человека, отца семейства, который свое личное дело мог бы в золоченой рамке повесить на стену, никто не ощупывал нас двусмысленными взглядами — ни в апреле на балу, ни когда мы раз или два в неделю вместе возвращались с работы домой, если он оставался в Нейштадте, ни в столовой, ни на совещаниях. Даже Кёппель, эта рептилия, ограничился тем, что презрительно скривил рот со своей обычной усмешкой всезнайки, когда Шафхойтлин назначил меня своим помощником — должность, официально отсутствующая в штате нашего учреждения.

Что знала, о чем догадывалась его жена? Я редко видела ее, она всегда была одинаково молчаливой, страдающей, безропотно склонившей выю под невидимым крестом, и каждая ее фраза о домашнем хозяйстве, о парикмахерской звучала как упрек, не знаю кому адресованный, может быть судьбе. Она была из тех жепци, которые чувствуют себя обойденными жизнью, была мученицей по призванию. Возможно, она пришла бы в восторг, если бы муж ей изменил: какое блаженство — претерпеть еще и это!

Она сочинила легенду о себе: женщина, принесшая в жертву мужу, детям, дому свою профессию и возможнос-

ти, которые та открывала перед ней. Таким образом ей удавалось неприметно поддерживать в Шафхойтлине постоянное сознание вины. Ее талант заставить других чувствовать себя виноватыми перед ней я ощутила в первый же день — впрочем, он оказался и последним — моего посещения их дома в Уленхорсте, и чувство вины, охватившее меня тогда, принесло с собой столь острое и мучительное раздражение, какое бывает, пожалуй, лишь при экземе... Однажды в субботу, это было в марте, он взял меня с собой в Уленхорст. Позднее он назвал это экспериментом, попыткой освободиться от колдовских чар, но в тот день обстоятельно, как всегда, объяснил мне, что его жена не контактирует с его коллегами и, как ему думается, страдает от этого, ведь она сама инженер-строитель, точнее, была бы им, если бы не первые роды как раз перед экзаменом, вы понимаете. Кроме того, добавил он, вам полезно подышать лесным воздухом.

До глубокой ночи сидели мы над срочной работой, как раз на этой неделе мне отвели помещение — когда-то это был магазин, — где я готовилась открыть свой консультационный пункт. Помню страх в первый вечер, ни один человек не заглянул к нам, я сижу за незашторенной витриной, как в котле с кипящим маслом, счастье еще, что Гертруда тут же, она хоть и молча сидит в уголке, но она со мной, изредка к нам заглядывает Шафхойтлин: он утешает нас, все образуется, наберитесь терпения... На следующий день вечером пришла парочка, он и она без обручальных колец, она беременна, ее волосы спадают прямыми прядями, как у Марины Влади, модное короткое пальто не сходится на животе. Мои первые клиенты, а значит, милейшие молодые люди, все в них я находила милым — и нелепую серьезность, и то, что они подчеркнуто называли себя мужем и женой, играли во взрослых, рассказывая, как собираются разместить в однокомнатной квартире свои пожитки, и лукавое лицо девушки, когда она говорила «ну вот видишь», словно пришла сюда лишь затем, чтобы специалист подтвердил правильность ее решения, ее практичность — куда до нее этому юноше, — и предвкушение той минуты, когда они запрут за собой дверь и будут спать вдвоем в одной постели, под одним одеялом — предвкушение счастья, которое никогда не тускнеет.

В субботу мы поехали в Уленхорст. Провинциальный городок, каким я себе его представляла: рыночная пло-

щадь — немецкая идиллия, розовые и белые фронтоны, булыжная мостовая, шарообразно подстриженные клены, сверкающий на солнце медный таз над парикмахерской, на площади огражденный железными цепями фонтан со статуей святого Георга. На кося муниципалитет уже не разорился, и он пеший пронзает дракона, извивающегося у его ног. По площади проносятся мотоциклисты, объезжают вокруг фонтана, в опасной близости к железным цепям, на которых раскачиваются девушки, внешне равнодушные к этому трескучему, тархтящему токованию на двух колесах.

Автобус с грохотом едет по переулку, чуть ли не задевая стены домов, зеленые ставни, окна — чьи-то любопытные глаза следят за нами сквозь решетку из кактусов, силуэт руки на пожелтевшей бумаге поднимает штору над цветочными горшками бегонии...

На шоссе они вышли из автобуса. Слева — сосновый лес попеременно с березами, справа — открытая местность, холмы точно длинные зеленые волны, над полями — сизая дымка, в воздухе пахнет дымом. Лесную дорогу, ведущую к поселку, пересекали ржавые рельсы рудничного откаточного пути, которым уже десятилетия не пользовались, а в стороне от дороги, в зарослях ежевики и орешника, слабо поблескивали пруды, возникшие на месте заброшенных шахт, вода в них стояла тихая и темная.

Поселок сильно разросся. Среди строений двадцатых и тридцатых годов виднелись свежештукатуренные бунгало с множеством цветов на окнах, настоящие джунгли воздушного корня и огромных, величиной с тарелку листьев, а также садовые домики, огороженные заборами: их деревянные стены, влажные и почерневшие от дождей, блестели и пахли смолой, сосны, окружавшие их, давали спасительную тень в жаркие дни. Франциска, шедшая по дорожке вилотную к заборам, кивнула Шафхойтлицу и потянула его за рукав, восхищенная кустом роз «Форсайт», желтыми и сиреневыми крокусами, и Шафхойтлиц, хранивший молчание в течение всего пути от автобусной остановки, рассеянно сказал:

— Да, кажется, крокус.

В одном из садиков горел костер, Франциска остановилась, вдыхая запах дыма, горький аромат горящего хвороста и проплогодней осенней листвы.

— В это время мы начинали посыпать гравием... — сказала она, обернувшись и увидела неказенное от боли

лицо Шафхойтлипа. Он плотно прижимал к животу руку, просунутую сквозь застежку пальто. Затем быстро пошел вперед и нажал на ручку калитки в соседнем заборе.

— Мы дома, — сказал он.

Это был один из стандартных домиков, друг от друга почти неотличимых — строгое соблюдение гигиенических предписаний и экономии, но зато уютная двускатная крыша. Стекла сверкали на солнце, а каждый листик в тропическом сплетении цветов на подоконниках блестел, как лакированная зеленая кожа. В передней пахло мастикой и щелочным раствором. Шафхойтлин сразу же снял ботинки и надел домашние туфли, вторую пару он пододвинул Франциске, сказав вполголоса:

— Вы же знаете, каковы женщины... Каждую субботу генеральная уборка...

Его смущение было для нее еще неприятнее, чем процедура с обувью, деспотичская уловка хозяек, стремящихся продлить свой мимолетный успех в виде начищенного до блеска паркета и строжайший порядок в доме предъявить как основание для полного и безоговорочного признания. Франциска рассмеялась и торопливо сказала: «Конечно, столько труда» — и затараторила о Сан-Суси, расположенном неподалеку отсюда, там паркет блестит как зеркало и всем входящим выдают войлочные туфли, вот все, что мне запомнилось, да еще смешной фарфоровый китаец, который непрерывно качал головой, и треск, раздавшийся после того, как я дала ему подзатыльник, на чем наша семейная экскурсия бесславно закончилась.

Не успел Шафхойтлин повесить пальто на вешалку, как распахнулась дверь и маленькая девочка, шариком прокатившись по передней, подбежала к нему и с радостным криком обхватила его ноги.

— Нетта! — воскликнул Шафхойтлин, высоко подняв ребенка и целуя ее личико, пухлые ручки и волосы, стянутые в светлую кисточку. Девочка свернулась в клубочек на его груди, на баюкающих ее руках. — Нравится тебе, кошечка, — бормотал он, — вижу, нравится... — Он передернул плечами, как бы призывая себя к порядку. — Это моя Линетта, — сказал он и, кивнув в сторону, где стояли два мальчика, добавил: — А это Дитер и Уве. Поздоровайтесь с фрау Линкерханд.

Они послушно прикоснулись пальцами к протянутой руке Франциски, и еще до того, как она успела их пожать, пальцы ускользнули, круглые и холодные, как рыбы.

Только семилетний мальчуган с любопытством поглядел на незнакомую даму, старший стоял потупившись. Оба приветствовали отца коротким поклоном, это движение как бы прошло у них через затылок, спину до самых пяток. Шефхойтлин же обеими руками держал Анпетту, а когда ему удалось высвободить одну руку и погладить младшего по голове, это была уже запоздалая ласка.

Франциска всем детям привезла по плитке шоколада (расточительство, которое Шафхойтлин позднее порицал, слава богу, не при детях: не следует их баловать, они должны своевременно понять, что ничто не падает с неба, каждая игрушка, каждый предмет одежды стоят денег и достаются тяжелым трудом. Тут же он с точностью до одной минуты подсчитал, сколько времени, она, фрау Линкерханд, должна трудиться, чтобы заработать на четыре плитки шоколада).

— Поблагодарите, — сказал Шафхойтлин. Это, конечно, не относилось к Анистге, закрывшей глазки и крепко уснувшей. Младший послушно сказал «спасибо». Старший молчал, даже после внушения отца, в душе он дрожал от страха, но стоял как пленный перед чужими солдатами, молчащий упрямно и неразумно, в конце концов не он, а Франциска покраснела, услышав приказание Шафхойтлина.

С того момента как этот мальчик вошел в переднюю, она ощутила беспокойство. Рослый и красивый какой-то девической красотой, он тем не менее вызывал в ней жуткое чувство, словно перед ней стоял уродец, смешанное чувство ужаса и влечения, впервые испытанное ею в детстве, когда она оказалась на Лейнengассе между двумя шатрами, в которых гремела цирковая музыка, при виде карлицы — прелестная танцовщица на проволоке, маленькая девочка в расшитой блестками пачке, — Франциска пробиралась за ней к выходу... и вдруг та обернулась, в ухмылке показав оскаленные зубы на старом, сморщенном лице.

Шафхойтлин невольно крепче прижал Нетту к груди.

— В последний раз, — сказал он.

Франциска дотронулась до его руки и сквозь ткань почувствовала, как у него напряглись мускулы, словно ему предстояла не проверка методов хорошего воспитания, а кулачный бой. Франциска сжала его руку, и Шафхойтлин сдался, сказав:

— Можешь идти. Мы потом поговорим.

Мальчик окинул отца и стоящую подле него чужую женщину холодным и пронзительным взглядом взрослого, который понимает, к чему все клонится, но не даст себя провести. Франциска отвела руку, надеясь, что ее жест останется незамеченным.

— С ним говорить что об стенку горох,— сказал Шафхойтлин, входя с Франциской в гостиную,— озлоблен, веч-но на что-то обижен...

— У него настала пора возмужания,— заметила Франциска.

— Это в девять-то лет? Смешно. Ему нужна твердая рука, дисциплина, точные задания не только в школе, но и дома. Его мать все приносит в жертву... В последнее время он стал закатываться... Но это форма протеста, дурная привычка...

— Вы так думаете? — удивилась Франциска.

Гостиная была обставлена современной мебелью — кресла четырех цветов — и смахивала на иллюстрацию из «Культуры в доме», так же как композиция на буфете: ветки березы в деревенском глиняном кувшине на фоне группы мексиканских крестьян. Ривера в качестве декорации, ну и ну, подумала приятельница Якоба. Комната была глухомемой. Франциска не могла обнаружить ни одного предмета, который указывал бы на своеобразие характера или склонности хозяев дома, не было видно и следа старых, часто никому не нужных вещей, которые неизбежно накапливаются в квартире и сохраняются из пietetа или из суеверия. Книги стояли безукоризненно ровной, прямой шеренгой, как будто их строй выверяли по ватерпасу, а полированную поверхность стола, боже упаси, не испортили следы от горячих стаканов или сигарет... Франциска представила себе катастрофу, землетрясение (вежливый подземный толчок), ванику за гостеприимной улыбкой хозяйки, если бы она вдруг опрокинула на стол чашечку с кофе или уронила бы пепел на кремового цвета ковер.

— Он станет красивым юпошей,— сказала Франциска.

— Ему это известно,— пренебрежительно заметил Шафхойтлин.

В комнату вошла фрау Шафхойтлин, в переднике, разгоряченная, торопливая — вечная спешка, не разрешаешь себе и минуты покоя,— однако волосы, только что причесанные и покрытые лаком, свидетельствовали, что по крайней мере последнюю четверть часа она провела не в лихо-

рабочей спешке, а перед зеркалом. Она подставила Шафхойтлину щеку для поцелуя, тот изумился, как если бы среди бела дня на него падали разбойники, Франциска отвернулась, когда он, отдавая дань нежности, коснулся губами щеки, словно застывшей в терпеливом ожидании, а заодно и губ, жалобно лепетавших: «Ты-пришел-так-поздно-мы-ждали-вас-к-столу-ты-ведь-знаешь - что - детям - вреден-шоколад...»

Франциска всплеснула руками, не хватало еще одной «шоколадной» сцены, но вовремя сумела придать своему яростному жесту просительный оттенок — она-де одна во всем виновата.

— Но, право же, это лишнее, — настаивала фрау Шафхойтлин.

Они все еще продолжали стоять. Покуда супруги перекидывались фразами, как опытные игроки мячом, Франциска успела бросить молниеносный взгляд на фрау Шафхойтлин, охватив ее всю — от ямочки на подбородке до щиколоток, тонких лодыжек, над которыми вздымались округлые, бутылочной формы икры, круглые бедра... я была изумлена, как если бы увидела проект, созданный архитектором, который, презрев все законы статики, водрузил тяжелое здание на шаткие опоры. Над талцей — во всяком случае, там была завязка от передника — виднелся девический торс с маленькими грудями и узкими плечиками, а из этих плечей, которые можно было бы назвать трогательными, выростали руки, как у мясника, словно привязанные к тому месту, где подлежало быть плечевому суставу... ты только представь себе эти пропорции, эту смесь незрелости и законсервированной инфантильности, к тому же лицо, которое без малейшего усилия можно узнать на старой фотографии, в полной неприкосновенности: лоб, нос и рот милой восемнадцатилетней девушки, но утонувшие в дряблых щеках, да еще двойной подбородок мешком свисает на шею.

В общем, все это я определила лишь на протяжении последующих часов, и, чем утомительнее и тягостнее тянулось время, тем больше вскипала во мне злоба... Она возникла как-то самопроизвольно и не в силу известного превосходства, объясняющегося моей профессией, я почему-то всегда бываю насторожена, так сказать, готова к прыжку при встрече с домашней хозяйкой и женой по профессии, но немедленно все это забываю за работой. Это превосходство я водружаю как знамя на обломках

своего мужества в часы, когда чувствую себя усталой и вконец разбитой и представляю себе (такое случается, Бен, я от этого не защищена), насколько приятнее было бы отдохнуть на груди и бумажнике мужа, читать на досуге, гулять, а не жить в постоянной гонке и спешке, сидеть в чистом и уютном кафе, а не в прокуренном конференц-зале, стирать и гладить белье днем, а не ночью или бог знает в какую рань, все время взглядывая на часы. Но это к делу не относится.

Итак, вторая половина дня испорчена. Сначала пиратства, обсуждение житейских вопросов, парламентские дебаты по поводу того, как лучше приготовить кофе, война или мир, вопросы, которые может решить разве что ООН, перед ними бледнеет даже проблема пропитания жителей нашей планеты... Фрау Шафхойтглин говорит, что ей еще надо в магазин.

— Но ведь это может сделать Дитер, — отвечает Шафхойтглин.

— Нет, как вспомню его скучающее лицо... лучше уж я сама.

— Может, мне сходить? — предлагает Шафхойтглин.

— Нет, спасибо.

Она привыкла жертвовать собой, находит для своего решения тысячи обоснований, покупки — это же священнодействие, культ; в конце концов Шафхойтглин разбит — где ему справиться с этой задачей, — он сознает свою вину перед ней, бедняжкой, которой надо еще бежать в город (вся эта игра повторяется, когда мы на кухне помогаем мыть посуду, вытираем тарелки и чашки, на которые она еще безмолвно и терпеливо наводит лоск, — и тогда единственное твоё спасение бежать из кухни прежде, чем швырнуть об пол груды тарелок).

Во время дебатов по поводу кофе я чувствую, что меня разглядывают. Сделайте одолжение. Одеты я корректно, стиль «пансионерка» с мальчиковым воротничком (иной раз мои коллеги говорят о разведенной жене или вообще о разведенных женах, ничего при этом не думая). Смотрясь в зеркало, я убедилась, что выгляжу нелепо, словно школьница, теперь я вижу себя глазами другой женщины, юбка очень уж коротка, а пояс чрезмерно широк, он слишком резко подчеркивает талию, проводяруя тяжкие вздохи и утверждение, что и она молодежкой де-вушкой... тут есть живой свидетель, и фрау Шафхойтглин медоточивым голосом, но с металлическими нотками тре-

бует: пусть он скажет, какой она была стройной до рождения детей. Он говорит, но, увы, это его не спасает. Через полминуты, не знаю, с помощью какой уловки или намека, свидетель превращается в подсудимого. Его обвиняют в том, что он обезобразил ее фигуру, испортил ей жизнь. Тем не менее она все ему прощает, ничего не поделаешь, после тридцати любая женщина полнеет...

Этот сорт разочарованных женщин действует как яд, отравляющий воздух вокруг себя. Они бациллоносительницы и жаждут заразить других своим разочарованием. Порой им это удается, и ты вместе с ней готова считать, что ее муж — в данном случае твой начальник — растоптал все ее мечты и надежды. И уже ты видишь себя расплывшейся, с расстроенными первами и дрожащими руками, всегда пахнущими мылом и щелочью, и, содрогаясь от ужаса, начинаешь понимать: ты подвержена действию тех же законов, всякая любовь притупляется, радостное возбуждение быстро проходит и семи воскресений на одной неделе не бывает. Придут неизбежно привычные будни, и с ними расширение вен, пререкания о том, какой сорт кофе предпочтительнее, гусиные лапки в уголках век, убийственная близость в ванной, где он бреется, в то время как она умывается, его уже не волнуют ее руки, они обнажены, ну и что? он не целует нежное местечко у сгиба локтя, да это и выглядело бы смешным, лицо в мыльной пене, а языком он пытается потянуть кожу на щеке...

— Что вы пьете? — спросил Шафхойтлин, когда жена ушла, — ликер, коньяк?

— Водку, если она у вас есть.

Она опрокинула рюмку прежде, чем Шафхойтлин, наливший себе горькой, успел с ней чокнуться. И поперхнулась от смеха, увидев приплясывающую на пороге Нетту, всю измазанную в шоколаде и смотревшую на них полукокетливо, полунспуганно своими большими круглыми глазенками. Шафхойтлин поставил рюмку на стол.

— Ко мне, Аннетта, — приказал он.

Девочка с громким ревом подбежала к Франциске и спрятала лицо в ее колени. Шафхойтлина душил гнев. Это уже слишком, невоспитанная девочка испачкала платье фрау Линкерханд... Он схватил Аннетту за руку, но та так крепко вцепилась в Франциску, что ее нельзя было оторвать. Все маленькое тельце девочки содрогалось от рыданий. Франциска обхватила ее обеими руками и сказала:

— Успокойся, никто тебя не обидит.

Обвинившись, они попятились и так дошли до ванной комнаты.

Горькие рыдания Аннетты мгновенно прекратились, словно кто-то повернул таинственный выключатель. Ему было знакомо это притворство, театральные слезы, хитрость маленькой четырехлетней женщины, на эту удочку могут клюнуть только посторонние, стремясь спасти бедную крошку от жестокосердного отца. Он был огорчен: неужели фрау Липкерханд считает его способным ударить заливте слезами детское личико, затем им овладело беспокойство, что это они так долго не идут? Похоже, хотят его показать, а между тем вода из крана льется уже четверть часа, можно успеть вымыть дюжину детей, залить всю ванную комнату и вдвое увеличить счет за воду. Из передней он слышал, как они веселились, возможно, подшучивали над ним, а скорее всего, о нем забыли. Нетта с блестящим и красным, натертым губкой лицом восседала на крышке унитаза, показывая двумя согнутыми над головой пальцами, какие у чертенка рога, скрипела зубами и широко раскрывала глаза. Сквозь полуоткрытую дверь Шафхойтлин видел, что она подражает Франциске, которая гримасничала, присев перед ней на корточки... самое время вмешаться и положить конец этому безобразию. Прежде всего он закрыл оба крана.

— Господин Шафхойтлин, вы наступили нам на хвост, — сказала с упреком Франциска. Нетта завизжала от восторга, он снял ногу с лежавшего на каменных плитках пола шнура от купального халата с белой кисточкой на конце. Сделав шаг назад, он наконец понял, что шнур и есть хвост. Указывать на непедагогичность этой забавы явно не имело смысла. Он покачал головой, нет, такие страшные рожи ему не по вкусу, однако позволил, чтобы Аннетта попросила прощения. Та быстро пробормотала нечто вроде «я-буду-хорошо-себя-вести», подобно усталому грешнику, торопливо перебирающему четки. Он был окончательно побежден, когда она прыгнула к нему на шею и покрыла его лицо влажными поцелуями. Франциска подняла шнур и повесила его на крючок. С игрой было покончено.

— Тете Франциске будет приятно, если ты поцелуешь и ее, — сказал Шафхойтлин доброжелательно, в утешение он мог себе позволить выступить в роли мота и расточителя, раздаивающего свое сокровище — Нетту. Францис-

ка почувствовала на своих губах ее поцелуй, нежные щеки прижимались к ее лицу. Персики, пушок молодых птенцов, подумала она, но это пройдет, заигравшийся зверек подрастет, нежность будет проявляться все реже, и однажды тебя встретит взгляд взрослой, от которого твое сердце застынет.

— Вам следовало бы иметь ребенка, фрау Линкерхайд.

— Почему?

Тут, к счастью, вмешалась Нетта — ей хотелось танцевать. Да вы и танцевать-то, наверно, не умеете, подзадоривала их Франциска.

— Только уанстен, — словно извиняясь, сказал Шафхойтлин, и они начали этот медленный танец, поперек передней. Шафхойтлин запел, сначала тихо, потом во весь голос: «В Риксдорфе музыка, музыка, музыка!» Он улыбался, домашние туфли соскочили у него с ног, и он танцевал уже в одних носках, скользил нарочито длинными шагами, пародируя то, что видел когда-то в танцзале старого Берлина, потом перешел на галоп, Нетта не отставала от него. Франциска захлопала в ладоши.

— На весеннем балу второй танец принадлежит вам.

— Договорились, — отвечал Шафхойтлин, — а теперь — гопак!

Он сдвинул на затылок воображаемую папаху, скрестил на груди руки, откинул голову и цустился вприсядку, выбрасывая вперед то одну, то другую ногу, не бойтесь, он не упадет, поворачивался вправо, влево, притопывая вокруг Франциски с Аннеттой, скрестив на груди руки, потный, но с гордо поднятой головой — будь на ней папача, она не сдвинулась бы и на миллиметр.

Фрау Шафхойтлин ногой поправила дорожку в передней, в каждой руке она держала туго набитую сумку с продуктами.

— Вам, видно, весело, — сказала она.

Франциска покраснела, Нетта выглядела так, будто ее застали, когда она украдкой чем-то лакомилась, а Шафхойтлин вытирал пот со лба: для него это чересчур, он задыхается, сердце учащенно бьется, он уже помолод. У двери в гостиную стоял, кто знает как долго, старший мальчик, безмолвный, скользящий по дому как тень... проклятый проныра, подумала Франциска. Когда она проходила мимо, он опускал глаза; как ей хотелось найти повод, чтобы залепить ему пощечину.

— Иди поиграй,— сказала ему мать, торопливо и неуверенно, она уже тысячи раз обращалась к нему с этими словами, но всегда как об стену горох. Он продолжал стоять, словно слепоглухонемой, но Франциска чувствовала, что от него не ускользает ни единое слово из того, что они нехотя говорят здесь, она выбирала слова для невидимой магнитофонной ленты, выбирала движения, которые безучастно и точно фиксировала невидимая камера.

Шафхойтлин сказал, что танцевал гопак в студенческом ансамбле (но почему он просит извинения?), его жена тем временем расстелила скатерть, — возможно, одна сторона скатерти была чуть шире другой, и он механически ее подтянул, жена сделала то же самое; извини, сказала она, извини, сказал он, но ты же видишь, она говорила с выражением страдания на лице, он — резко, оба тащили, дергали, рвали скатерть, каждый в свою сторону: жестокий бой не на жизнь, а на смерть, продолжавшийся всего несколько секунд, в течение которых они мысленно причинили друг другу столько зла, сколько может привидеться только в кошмаре... Впрочем, Шафхойтлин спокойно продолжил разговор, будто ничего не произошло, да и правда ничего не произошло, так, небольшое недоразумение, скорее забавное, возможно, я бы тут же позабыла о нем, если бы не присутствие мальчика, свидетеля; па лице его на секунду отразилась только что разыгравшаяся сценка и убийство — как во сне, — он презрительно скривил рот... о Бен, я ненавидела свою мать, достойную женщину, от которой исходил запах ладана и «Шапель № 5», ее и весь окружающий ее проклятый мир, и у нас происходили страшные стычки, правда, все это протекало тихо, так как сдерживалось хорошими манерами, а Вильгельм сидел за столом будто гость, но никогда, я уверена, никогда мы не стояли возле наших родителей с таким выражением насмешки и презрения на лице, как этот девятилетний мальчик...

Здесь мы могли бы закончить описание второй половины дня в Уленхорсте. Три человека за кофейным столиком, супружеская пара и гость — одинокая женщина. Детей отправили в сад играть — мы одни в предвкушении уюта и покоя. Оставим поэтому в стороне политику, узкоспециальные темы, в них дремлют зловещие драконы, того и гляди, они исторгнут па поверхность железных людей, между тем бой здесь желателен, как и любой шум. Радио молчит (нельзя только заставить замолчать раскочи-

вающиеся над крышей верхушки сосен, их шум напоминает шорох далекого прибоя), возможно, немного позже, если пауза в беседе окажется слишком длинной, Шафхойтлин поставит пластинку «Из Нового Света» или что-нибудь другое... За сим последуют: кофе с пирогом, творожный торт собственного изготовления и комплимент в адрес фрау Шафхойтлин, беседа о положении с продуктами (исчезли лимоны, редко бывает в продаже творог, масло ирмировано — подумать только, спустя семнадцать лет после войны), вздохи, детский лепет, демонстрация самого младшего, Андреаса, полутора лет, Франциска вежливо восхищается, берет его на руки (что делать с этим крохотным существом, ползающим, барахтающимся, пока еще безгласным розовым комочком?), разговор об Улепхорсте, соседях, детях и так далее. Все попытки к бегству под предлогом совершить экскурсию за пределы семейного бункера решительно пресекаются, Франциска и Шафхойтлин с виноватым видом возвращаются, атмосфера терпеливого безмолвия подавляет в зародыше возможную дискуссию о Мецгесе и Рональде, бетонных чашах Нерви, испытаниях атомного оружия и шансах Гагарина первым совершить полет на Луну, о Нейштадте, Алжире и фильме, который Франциска смотрела недавно в окружном центре — у Шафхойтлина нет времени ходить в кино, о его жене и говорить не стоит, она не выбирается из дому — таков ее жребий, сейчас она напугана и ничего не желает слышать о фильмах об Алжире... ужасно, об этом и думать не надо (то же говорил и Язваук, когда супул Франциске в руки свой носовой платок, так же, вероятно, думал и киномеханик, который по окончании сеанса, когда в зале зажегся свет, включил пластинку «Гитары любви», хорошая реклама для наших любимых и популярных пластинок «Amiga», которые можно купить в каждом специализированном магазине, да, об этом не следует думать, впрочем, мы уже пожертвовали два процента нашего оклада). Наконец взгляд на часы и вполне правдоподобно звучащий возглас: пора, мой автобус!

— Я надеялась, что вы с нами поужинаете, — сказала фрау Шафхойтлин.

Франциска была в затруднительном положении. Шафхойтлин взглянул на нее и сказал:

— У фрау Линкерханд срочная работа. Извини, мне следовало тебя предупредить.

Он вышел в периодию, чтобы принести ее пальто.

— Муж так часто остается в Нейштадте, — сказала фрау Шафхойтлин. Она смотрела на свои руки и вертела кольцо, врезавшееся в палец и образовавшее две подушечки. — Его работа... я, конечно, судить не могу, он не делится со мной... я не в курсе его дел, как когда-то...

Ее милливидное девичье личико, утопавшее в избытке мяса, как бы съежилось, она скривила губы, словно раздавила во рту горькую ягоду. Казалось, Шафхойтлин намеренно оставил их наедине, Франциска обиделась, она словно стала жертвой мелкого обмана. Что это? Желание, чтобы они доверительно побеседовали друг с другом, но зачем? — спрашивала она себя, уже терзаемая нечистой совестью и возмущенная кривой миной хозяйки дома, вынуждающей ее и весь мир мучиться угрызениями совести.

Фрау Шафхойтлин призналась: она завидует фрау Линкерханд, независимой, имеющей специальность, друзей, коллег, контакт с жизнью, более широкий кругозор (будем откровенны), она бы многое отдала за возможность пойти работать, все-таки четыре года учебы, и все напраслу. Как часто, мечтательно добавила она, я тоскую по вашей профессии. Франциска кивнула, она понимала — тоска по профессии, по стройке, проклятый Шафхойтлин, хитроумно приковавший жену к дому, ребенок каждые два года. Она видела, бедная женщина ждала лишь, чтобы кто-то придал ей бодрости... но в этот момент ее ручки запорхали, как две жирные маленькие птички, костюм ее роли развалился, потрепанная маска бедной жертвы и многочисленные «нет» наконец заблокировали путь к желанной работе и дорогу в Нейштадт, «нет», где уж мне — муж, «нет» — дети, «нет» — наш дом, наш очаг, здесь она незаменима. Она демонстрировала свою независимость и защищала свои доводы, свое гнездо, свое разочарование, свое ярмо, под которым сгибались ее узкие плечи. Впоследствии Франциска назовет их трогательными, но сейчас она смотрела на них равнодушно, почти с отвращением, как на замороженное мясо и консервы.

— Я должна идти, — прервала она этот горький монолог.

Фрау Шафхойтлин продолжала вертеть кольцо.

— И я совсем утратила контакт, — тихо сказала она.

Шафхойтлин провожал Франциску через лес. Она толкала перед собой камешек, хотя и видела, что Шафхойтлину это действовало на нервы.

— Вам обязательно хочется порвать туфли? — спросил он сердито.

Она только и ждала этого вопроса.

— Мои туфли, захочу — выброшу.

Они пересекли рельсы рудничного откаточного пути, уже стемнело, из поселка не доносилось ни звука. Шафхойтлин остановился.

— Вы еще ребенок, — сказал он.

— Еще один учитель нашелся, — резко ответила Франциска. Она дрожала от бешенства, от желания закричать что есть мочи, обругать его, расцарапать его проклятое невозмутимое лицо.

Шафхойтлин уперся погами в землю, как бы приготовившись к нападению. Потом обычным своим голосом сказал:

— Будь вы моя дочь, я отдубасил бы вас хорошенько.

— Но я, слава богу, не ваша дочь, — сказала она, только чтобы возразить ему. Ее гнев (на кого?) улетучился. В бледном небе раскачивались верхушки сосен — эскадра гигантских зонтиков из фантастического фильма, и, когда Франциска глянула вверх, у нее закружилась голова. Шафхойтлин стоял между рельсами, которые ржавым следом тянулись по лесу, бог весть где начавшись и кончаясь в глубине леса или среди густых зарослей крапивы у разрушенных ворот фабрики, давно превратившейся в руины. Непужная колея железной дороги — машинштов, верно, давно не было на свете, а вагоны переплавлены в огненной печи.

— Слышите? — прошептала Франциска.

Шафхойтлин не шелохнулся и ничего не ответил. Франциску внезапно охватил страх, ей почудилось, что он превратился в пеня, стал частью этого леса с его черными трясинами и призрачной железной дорогой, по которой, прямо на нее, движется поезд. Франциска отчетливо слышала удары колес о стыки рельсов, свисток паровоза и, ничего больше не понимая, сделала шаг вперед, едва не наткнувшись на Шафхойтлина.

— Вечерний поезд, — сказал он, — в Умехорсте не останавливается.

В ожидании автобуса они стояли на шоссе и молча смотрели на возвышающиеся перед ними черно-зеленые холмы, на крестьянские дворы в ложбине, в узких окошечках которых горел свет.

— Вам не понравилось, — сказал Шафхойтлин. В том

же тоне прозвучало бы его заявление о неблагоприятном выполнении плана.

— Нетта просто прелесть, — сказала Франциска.

— Моей жене трудно найти общий язык с малознакомыми людьми.

— Она была очень любезна.

— К черту ваши хорошие манеры, — проворчал Шафхойтлин.

Вдали сверкнули желтые огоньки автобуса. Они сделали несколько шагов по шоссе.

— Ошибкой было привозить вас сюда, — сказал Шафхойтлин. — Моя вина. Я должен был знать, что для вас это будет мучительно. Вы, — он запнулся, подыскивая нужные слова, — вы ее сбывшаяся мечта...

— О господи! — воскликнула Франциска.

Автобус приближался, уже можно было прочесть освещенную табличку «Местное сообщение».

— Она очень тоскует по вашей профессии, — быстро заговорил Шафхойтлин, — к тому же соображения экономического порядка, да и моральная сторона — четыре года учебы за счет государства... Несчастлива ли она? — (Он с трудом, она это слышала, произнес слово «несчастлива».) Во всяком случае, не удовлетворена, следовательно, и перед ним возникает проблема вины.

— Она боится, — сказала Франциска.

— Боится? — переспросил он недоверчиво. В эту секунду водитель автомобиля включил фары, яркий свет ударил им в лицо... Шафхойтлин взметнул вверх руки и рванулся в сторону, в темноту, выпрыгнул из смертельно опасного освещенного пространства, с проезжей части на тротуар, и прямо в дверь берлинского пятиэтажного дома, на третьем — пансион Либнера, чужая дверь (а если она заперта?), по ухватился за медную ручку, она была круглой и прохладной, и очутился в темноте, на лестничной клетке, пахло чем-то затхлым и в этот теплый июньский вечер было холодно. Руками, а затем и лбом он оперся о стену, с которой кусками отваливалась штукатурка, с трудом перевел дух, после спасительного прыжка через дорогу быстро захлопнувшаяся дверь больно ударила его по ноге, и он ощутил (это ощущение часто повторялось впоследствии) ожидаемый удар автомобильного крыла, колеса, раздробившего ему ногу, или грудь, или лицо, его вырвало (немного слизи и желчи), он целый день ничего не ел, он скорчился от боли и стыда (страх, а

также воспоминание о смертельном страхе потом прошли, но он и по сей день стыдится, что, как горький пьяница, блевал в сених чужого дома). Когда он искал носовой платок, чтобы вытереть губы и руки и ему удалось наконец достать из нагрудного кармана пиджака кусочек шелковой материи, его пальцы пащупали на лацкане небольшую, величиной с пфенниг, металлическую пластинку, партийный значок, в этот день, как всегда, аккуратно и прочно приколотый на положенном месте. И вдруг он ощутил странное разочарование оттого, что они не вышли из машины и не последовали за ним. Двое мужчин, он видел их тени за ветровым стеклом. Автомобиль выскочил из боковой улицы, они, безусловно, его знали, ожидали его появления. Он никогда не узнает, кто сидел за рулем и внезапно ослепил его, поймал в нестерпимо белый световой конус. Надо полагать, знакомые. Возможно, в последние годы он множество раз сидел на конференциях за одним столом со своим почти убийцей, курил сигареты из одной пачки, пил сельтерскую воду из одной бутылки. Тени. Открытый счет, который он просто подошьет к делу.

Он не хочет, чтобы его видели — человека, занимающего определенное положение, — вечером, с женщиной, думала Франциска, ничего не знавшая об охоте за ним на берлинской мостовой (узнай она когда-нибудь об этом, все равно засомневалась бы: преступники, преследующие свою жертву на автомобиле, такого у нас не бывает, разве что в кино и в детективных романах).

Им следовало повернуть обратно к автобусной остановке. Но, как бы сговорившись, они не тронулись с места, видели, как автобус подошел, остановился и, поскольку никто в него не сел, ушел.

— Боятся внешнего мира, — сказала Франциска, на что Шафхойтлин, все еще не отдышавшись, отвечал:

— Это ничего не меняет в постановке вопроса.

— Я ничего не знаю о вине и уж совсем не понимаю, как можно поделить вину, являющуюся в данном случае вообще величинной неопределенной.

— Вы в разводе, — сказал он через некоторое время.

— Вы знакомы с моей анкетой.

Да, анкета имеется, и семейное положение в ней указано, итак, в разводе, но почему, хотелось бы узнать, ему трудно было расспрашивать о личном, глубоко интимном, но она не собиралась облегчать ему задачу — из застенчивости, думал он, и вопросы задавал вполголоса, словно

она только что перенесла тяжелую болезнь и он заботливо ее оберегает, у нее это вызывало смех.

Она пожала плечами.

— Потому, что я его не любила. — Вместо: больше не любила.

Так или иначе, Шафхейтлин считал ее ответ недопустимым упрощением, он обиделся за незнакомого ему человека, которого она с такой легкостью вычеркнула из памяти.

— Слишком просто? Пожалуйста, могу рассказать более подробно, тогда, возможно, история будет выглядеть посложнее: раннее замужество, обе стороны друг для друга — чистый лист бумаги, в лучшем случае эскиз будущего характера. Развиваются они в направлении непредвиденном (попытайтесь что-либо предсказать, если в том, что происходит, замешано сердце): один устремлен вперед, у него учеба, работа по воскресеньям, диплом, другой же остановился... И так далее. Формулы известны, способы решения также... Когда я подвожу итоги, конечный результат всегда один: любовь исчезла. Конец.

Или я могла бы вспомнить тот вечер, думала Франциска, когда Вольфганг впервые сбросил со стола нож, вилку и салфетку, вечно эти буржуйские фокусы, он шумел, беспомощно буйствовал оттого, что не мог назвать, что именно он ненавидит... или ночь (в день моего рождения), я сидела одна за накрытым столом, на котором ссыхался широк и увядали присланные Регером розы, и лишь в два часа ночи, когда я все еще сидела за столом, вконец обессилен — вероятно, ожидание — это физическое напряжение, подобно бегу, шестичасовой гонке по кругу с высоко поднятой головой и согнутыми в локтях руками, — и все еще ждала, я увидела его в проеме двери. Едва держась на ногах, он запекшимися губами с благочестиво-пьяным смиренным бормотал: «Ты-ведь-не-сердишься-мышка»... или неделя в браденбургском гнездышке, с другим человеком (если уж зашла речь о виновности), роман со всеми его аксессуарами — море, луна, поездка в экипаже через осенний буковый лес, концерт на клавишине в зале замка, объятия в помере старой сельской гостиницы, и в каждом объятии мы уже предчувствовали расставание, а когда говорили о долгой любви, знали, что повторения не будет, он был жесток и был на восемнадцать лет старше меня. Я возмущалась тривиальностью нашей истории, не хотела, чтобы моим уделом стало то, о чем я могла прочесть в дюжине книг, и все-таки ничего не могла изменить: мужчине и до-

вухка, бегство, луна, супружеские измепы, все, включая разлуку у отходящего поезда, неизбежную, как будни, обязанности, приличия и наконец привычку к другому, Вольфгангу, красивому молодому Пану, который, покинув мифологические лесные чащи, заблудился на перроне железнодорожного вокзала, — Вольфгангу, он был реальностью и потому оказался в выигрыше, в то время как тот, другой, неустойчиво становился воспоминанием, а проведенная с ним неделя — непрочной пачкой картинок, одни из них были слишком яркие, другие же, напротив, расплывчаты.

— Но если есть дети, — сказал Шафхойтлин.

Только теперь она увидела окольный путь, поворот, ведущий от частного к общему. Дети — это общее для всех, ближайший шаг приведет его к особому случаю, его собственному, к его детям, он начнет исповедоваться, просить о понимании, по меньшей мере о сочувствии. Нет, только не это. Она взяла сигарету, однако очередного замечания — вы слишком много курите — не последовало, как и содержательной беседы о никотине и раке легких. Он тут же зажег спичку (что-то новое, подумала она, Шафхойтлин становится вежливым) и заговорил, не глядя на нее, сухо-официально: о своих принципах касательно брака и равноправия женщины, о своем отношении к семье — зародышевой клетке государства. Он может упрекнуть молодых людей, которые легкомысленно сходятся, а через несколько лет все у них идет врозь... И многие на этом обжигаются, подумала Франциска. Ей стало еще скучнее и в то же время легче на душе, так как он придерживался общих рассуждений, не жаловался на судьбу, чего она одно мгновение опасалась, не показывал, как ему тяжело, и не искал утешения, что было бы почти естественно после того, что произошло во второй половине сегодняшнего дня, и после того, как, онездая на автобус, они оказались одни на дороге, обыкновенной дороге с вишневыми деревьями и белеными известью камнями, похожей на тысячи других проселочных дорог, так что можно было из Уленхорста мысленно перенестись в любой географический пункт на карте, где паверняка имеются те же покрытые асфальтом куски земли, вишневые деревья и уложенные по краям дороги белые камни.

Тем временем он рассеянно зажигал уже третью спичку.

— Вы первичаете, — заметила Франциска.

Он взглянул на нее.

— Удивительно, сперва мне показалось, что у вас карие глаза.

— Это вы уже говорили. В первый вечер.

— Вы еще помните.

Он был смущен тем, что она не забыла сказанного им тогда. Невозможно взять ее сейчас за руку. Как раз теперь невозможно объяснить ей условия, в которых он живет: вечная раздражительность, ссоры по пустякам и ожесточенное, длящееся днями молчание, его нежелание отправляться вечером домой (не будь там Нетты!), страх жены перед появлением нежелательного ребенка, что еще на два года отдалит ее возвращение к своей профессии... нет, это он бы все равно сейчас утаил, как и ее угрозу (принятую им всерьез) покопчить с собой, если она забеременеет, и, возможно, намек на то, что уже полтора года он спит на диване в гостиной... Все, на что он так обстоятельно обращал ее внимание, вдруг предстало перед ним лишь жалкой попыткой завоевать ее, выказать ей доверие. Он разоткровенничался, однако достаточно осторожно и только после того, как все мысленно разложил по полочкам, заранее решив, что именно он утаит и что особенно подчеркнет.

Шафхойтли уронил спичку на землю, когда она уже обожгла ему пальцы.

— Я в полной растерянности, — сказал он.

Франциска молчала. Жаль, подумала она, разочарованная тем, что он все-таки ждал утешения, и удивленная этим разочарованием: значит, он все же ей нравился, во всяком случае она принимала его таким, каким он был — неуклюжим, замкнутым и чувствительным, как компьютер. Жаль. Но больше он ничего не сказал, только — когда они уже увидели огоньки приближающегося автобуса, повторил, устремив взгляд на подкатившую громадину:

— Я в полной растерянности, Франциска.

В воскресенье вечером Франциска пошла в «Голубь мира», единственную пивную, куда еще впускали Гертруду. Сопровождать ее три-четыре раза в неделю стало тягостной обязанностью, которую Франциска выполняла лишь из упрямства: она не хотела признать свое поражение.

С того январского вечера, когда Гертруда увидела своего шефа в комнате Франциски, между ними возникла глухая неприязнь, это был тлеющий пожар, готовый в любую минуту вспыхнуть ярким пламенем. Франциска чувство-

вала, что за ней подглядывают, и нервно вздрагивала каждый раз, когда Гертруда неслышно, в одних чулках, скользила по коридору, стучала и, не дожидаясь ответа, просовывала голову в дверь. Франциска стискивала зубы, чтобы не крикнуть: проваливай, с меня довольно. Она не могла простить Гертруде, что та не позволяла себя спасти, ее запы были сплошным предательством. Смиренная предательница, отводившая в сторону глаза, когда Франциска подходила к ее столику, и не поднимавшая шума, когда у нее из рук вырывали полный стакан водки.

Несмотря на это, Франциска входила в пивную, как вступает на арену маленький первый тореро на глазах у многочисленных зрителей, жаждущих захватывающего зрелища. Правда, здесь не поднимали гремящую решетку, чтобы выпустить на арену черного быка. Твердыми шагами проходила она мимо собравшейся публики. Бой не состоялся. Иногда она с суеверным страхом поглядывала на обрамленный кудряшками лоб Гертруды. Одержимая, думала Франциска. Демона, обитавшего за этим лбом, нельзя было изгнать дружескими увещаниями, она бы даже не могла назвать его по имени, он был порождением мрачного и грязного прошлого, о котором она догадывалась лишь по намекам и обрывкам фраз.

Хотя грубый голос Гертруды уже не вселял в нее прежнего страха, она как вкопанная остановилась в тамбуре, услышав звучавший на всю пивную громкий пьяный баритон. Видно, черт снова в нее вселился... Франциска слышала проклятия и ругательства, Гертруда не лезла за словом в карман, и всегда находились парни, которые ее задирали и дразнили, забавляясь ее похабщиной. Иногда Франциска убегала. Однажды она спряталась за углом, когда увидела, что Гертруда сцепилась на террасе с полицейским. В ней проснулась старая робость буржуа перед полицией, она не хотела, чтобы ее видели, особенно чтобы ее имя связывали с Гертрудой...

Каждый вечер, отправляясь на поиски своего друга-друга, она боялась оказаться замешанной в какую-нибудь скандальную историю и вздыхала с облегчением, когда обнаруживала Гертруду спокойно сидящей за столом (под надзором фрау Хельвинг, если та работала в вечернюю смену), солидно выглядевшей в пестром трикотажном платье и подносящей ко рту чашечку кофе, жеманно отставив мизинец, а на лежавшем перед нею картошном кружочке, где отмечалось количество выпитых кружек пива, стояло не

более двух или трех крестиков... Но что случится завтра или на следующей неделе?

Удержать эту сумасшедшую дома было невозможно. Книжки, которые ей приносила Франциска, она разве что перелистывала. От надзора ей удавалось ускользнуть при помощи тысяч хитроумных уловок. Как большинство пьяниц, она обладала изощренным лукавством, позволявшим сводить на нет самые хитрые планы караульщицы.

Собственное бессилие озлобляло Франциску. Она стала жестокой. Обижала Гертруду, отклоняя ее маленькие подарки: пачку сигарет «Пэлл-Мэлл», плитку шоколада, — и ловила себя на желании дать ей пинка, как собаке... При этом она непамятливо не Гертруду с ее хитростями, ее покорностью, с ее манерой унижать себя (превращаясь в уродливо-безобразного клоуна, в аттракцион для пьяных субъектов, смотревших на нее как на одну из диковинок, с которыми прежде разъезжали устроители ярмарочных зрелищ: человек с головой собаки, женщина-великан, теленок о шести ногах), а безликого противника, имя которому — прошлое, и еще тех неизвестных, которые растоптали человеческое существо и сейчас здравствуют, благоденствуют, безупречные граждане, возможно образцовые и, безусловно, не обремененные воспоминаниями о некоей девице Г... Перед постоянными посетителями, уже знавшими ее и подтрунивавшими над ней, словно над женой, явившейся в пивную, чтобы увести домой своего мужа, Франциска проходила с невозмутимым лицом, упрямо продолжая разыгрывать давно всеми разгаданную сцену случайной встречи, приветствовала сначала Олешку и милиционеров, затем, притворившись крайне удивленной, свою приятельницу, заказывала кофе и, улыбаясь, болтала с фрау Хельвиг. Но внутри у нее клокотал гнев от бесполезности того, что она делает. Положив Гертруде руку на плечо — для зрителей это выглядело дружеским предостережением, — она внезапно, даже против воли давила на это плечо изо всей силы, впиваясь ногтями в ткань и кожу...

Сегодня она, видимо, пришла слишком поздно, у самых дверей хрипый голос, словно пощечина, огрел ее, Гертруда сидела одна, похожая на полного яда гигантского паука, подкарауливающего в паутине свою жертву. Подперев голову кулаком, она искоса смотрела на соседний столик, за которым сидел бледный сутенер со своей бандой. Они барабанили по столу и хохотали во всю глотку. Франциска опустила веки, дымя ей глаза. Свист и соленые шутки до-

посились до нее, когда она шла по залу, спотыкаясь о пожки стульев, нарядные туфли или обрызганные известью резиновые сапоги с отогнутыми голенищами. Это ко мне относится, думала она удивленно, но безучастно. Что-то молнией сверкнуло в воздухе и, прорезав густое облако табачного дыма, со звоном упало среди пивных кружек на стол, за которым сидела вся эта компания, многие отпрынули.

— У женщины сдали нервы, ей требуется мужчина, — сказал шеф, его побледневшее лицо расплылось в ухмылке — к этому его обязывало положение вожака, этим же был вызван и непристойный жест, который он сделал, в упор глядя на Гертруду.

Один из них встал, преградил Франциске путь, а когда она попыталась его обойти, широко расставил ноги и раскинул руки.

— Извините, уважаемая фрейлейн. — Пошатываясь, он низко поклонился и вручил ей пож. — Возвращается с благодарностью, фрейлейн.

Она узнала низкий гнусный голос, в свое время угрожавший Шафхойтлину: «мы с тобой еще сочтемся», подняв голову, она увидела плоское, как тарелка, лицо. Казалось, кто-то сильным ударом вогнал нос внутрь, а близко и к тому же на разной высоте посаженные глаза были влажны — казалось, они плавают в слезах.

— Не считите за обиду, глубокоуважаемая, но скажите вашей приятельнице, что, если она вздумает еще раз сделать такое, мы этим ножом вспорем ей задницу.

Он отступил в сторону, подчеркнуто низко поклонившись. Франциска протиснулась мимо него, готовая к тому, что кто-то подставит ей пожку или нанесет коварный удар, но без страха, так как в углу за столом завсегдадаев видела черную курчавую голову Олешенка и миллионеров, игравших в скат, их широкие спины в клетчатых рубашках и железные руки, с треском бросавшие карты на стол. Они не принадлежали к регулярной полиции, не носили формы, при них не было оружия: пять или шесть молодых людей, арматурщиков и бетонщиков прославленной орденосной бригады, объединились в своего рода группу самозащиты, и если не могли предотвратить драку, то быстро и без шума ее прекращали, наводя порядок, как люди, вынужденные выполнять неприятную, но необходимую работу.

— На сегодня довольно, пойдемте, — сказала Франци-

ска и взяла Гертруду за плечи, но тут же отшатнулась, будто ее прикосновение привело в действие воющую, изрыгающую ругательства сирену.

— Пусть этот сутенер не воображает, что я одна из его потаскух...

И в песущиеся с соседнего столика крики и насмешливые возгласы по ее адресу швырнула град отборных ругательств, люди за столиками обернулись, а сидевшие поодаль встали, кто сердито, а кто и растерянно, многие улыбаясь бесстыжкой глотке этой бабы, выбору похабных слов, которые она выкрикивала беспомощно и отчаянно, как уличная девчонка, швыряющая в бессильной ярости ком грязи в соседского мальчишку.

Франциска ухватилась за спинку стула, пылая от стыда.

— Тише, — умоляла она, а сидевшей за столиком бабде крикнула: — Оставьте ее в покое, ради бога, оставьте в покое! — Но ее ломкий голос потерялся в этом адском шуме, ей так хотелось двинуться вперед и отважиться на долгий путь к двери, но под взглядами окружающих она чувствовала себя пойманной в сети, крепко связанной, каждое движение только ту же стянет ее пути, и она неминуемо упадет. Она закрыла глаза, притворилась мертвой. Шум, до этого назойливо стучавший в уши, куда-то исчез. На лепте кинофильма, обрывками трепетавшей под ее веками, она пыталась пайтп какой-то определенный образ и за него ухватиться; ей это удалось, она уже прочно его удерживает, она снова вернулась в мир, который (непостижимо) существует паряду с этим здесь, в кабинет Регера — жапровая картишка, учитель среди своих учеников, горящие свечи, Матисс на белоснежной стене, пушистые почные бабочки бьются о стеклянную дверь... Взрыв грубого смеха возвращает ее к действительности, она видит пол, раскачивающийся, как корабельная палуба, шатающийся стол, на котором полулежит бледный шеф, патравливающий свою свору — пиль, пиль, — и плоское лицо, совершающее все более узкие круги, вот оно уже нависло над Гертрудой — бедным, обезумевшим от страха созданием, Франциска видит десятки глаз и широко раскрытые рвущие глотки и, как свершение далекой мечты, незнакомца — может быть, это Вильгельм в оливково-зеленой спортивной куртке, чудом перенесенный из Дубны за буфетную стойку нейштадтской пивной. Он снимает очки и кладет их на дликовую поверхность стойки.

Он знает правила игры, одну руку держит в кармане, другую открыто, ладонью вперед, не отталкивая парня, низко склонившегося к Гертруде и дышащего ей в волосы.

— Оставь ее в покое, — говорит он вполголоса, — хватит, твои шутки здесь никто не находит остроумными.

Тогда встал другой, он широко расставил ноги, чтобы не потерять равновесия.

— Не вмешивайся, — сказал он.

Милиционеры бросили карты, и парень тотчас перешел на обиженно-сентиментальный тон пьяного, роль пьяного была для него защитной маскировкой.

— Чего ты вмешиваешься, дружище? Ищешь повод для ссоры? Хочешь испортить честному гражданину отдых... Бессовестный... — Его сильно качнуло вперед, и он дыхнул пивным перегаром прямо в лицо водителю. — Да и кто ты вообще? Даже не представился...

— Неважно, — сказал шофер. — Я просил тебя оставить девушку в покое.

— Ты не представился, — укоризненно повторил парень, оцепивающим взглядом окинув водителя, потом Франциску, и свистнул сквозь зубы. — Понимаю. Случной жеребец этой фрейлейн... Прошу прощения, уважаемая, мы простые люди, говорим по-своему, без всяких там парлеву...

Шофер вынул руку из кармана, ничего не говоря, он пристально смотрел на парня, который медленно отступал к столу, где сидела вся банда, молча, с напряженным вниманием следившая за обоими, и снова возник прежний шум, так же внезапно, как прекратился минуту назад, и милиционеры уже снова сдавали карты.

Гертруда хныкала и шмыгала носом.

— Теперь уходите, — сказал шофер Франциске.

В ту же секунду парень молниеносно, как метатель молота, повернулся, двинул его кулаком в лицо и рассек ему нижнюю губу. Франциска издала хриплый крик, похожий на стои, будто удар нанесли ей, а не этому незнакомцу, и, ослепленная болью, хлынувшей на нее потоком белого света, бросилась на парня (последнего в ряду ее противников, начало которого терялось далеко во мраке прошлого). На своем лице она чувствовала руку, подпавшую ей подбородок, чтобы закинуть назад ее голову, острая боль в затылке сигнализировала об опасности, а когда краем ладони ей нанесли удар по губам, понав прямо в зубы, она что есть силы вцепилась в эту ладонь зуба-

ми, и, хоть и одурманенная волной чужих запахов — пота, пива, сладковатого, напоминающего смесь бриллиантинна, — а также ударами кулаков по голове, спине, уже ставшей почувствительной, несмотря на все это, в те секунды, когда она крепко, как клещи, сжимала челюсти, ее произию чувство удовлетворения, варварская радость охотника, схватившего за горло своего заклятого врага.

Наконец Оленежку и шоферу удалось оторвать ее от парня. Два милиционера потащили его на улицу, он висел между ними, подогнув колени, и, отворачивая лицо, рычал, что убьет эту шлюху, придушит как котенка, пусть только попадетя ему на темной улице...

— Не слушайте, — сказал шофер Франциске, видевшей, как он шевелит распухшими губами, но не слышавшей ни звука, словно ее закупорили в звукопроницаемую стеклянную капсулу, и она в состоянии, хотя отнюдь не обязана, зрительно воспринимать окружающий ее мир, лица, предметы, цвета — черный, голубой, оливково-зеленый. Ей хотелось, чтобы это состояние продолжалось бесконечно долго или чудесным образом завершилось тем, что она проснется в собственной постели, напротив окна, и в его раме увидит клочок голубого неба.

Сознание медленно возвращалось к ней. Олененок принес стакан воды, он придерживал его, пока Франциска пила маленькими глотками, смотрела на его темные руки и вспоминала, как он поддерживает свою хромую девушку, когда они вместе поднимаются по лестнице, и как она смотрела им вслед, думая: им вдвоем хорошо.

— Я доставлю ее домой, — сказал шофер, обращаясь к Оленежку. Договоренность между мужчинами. Франциску ни о чем не спрашивали, она думала, если уж на то пошло, лучше бы ее провожатым оказался приятный мистер Дэвис, хотела что-то возразить и покачала головой, в которой сидел второй, плохо пригнанный металлический череп, со стуком ударивший изнутри ее лоб.

— Гопля, — невозмутимо произнес шофер и взял ее за локоть. — Экскурсия в мир анархии не пристала вам, леди.

— Где Гертруда? — пролетела Франциска.

— На корабле, следующем во Францию или в преисподнюю, что было бы лучшим исходом для всех. Пойдемте.

Он взял очки, лежавшие в пивной лужке на стойке, засунул их в нагрудный карман между газетами и пошел к двери, не оборачиваясь, чтобы убедиться, следует ли за ним Франциска.

На перилах террасы сидели оба бетонщика, а между ними в странно застывшей позе тот самый парень с плоским лицом. Скрутив руки ему на спине, они что-то говорили, он же молчал, крепко сжав губы, лишь веки вздрагивали над глазами, плавающими в какой-то жидкости.

— Ты где работаешь? — спросил его один.

Франциска глубоко вздохнула, в холодном почпном воздухе она вышла из своего оцепенения.

— Он не работает, — сказал второй. — Эта свинья не работает. Но всегда имеет деньги на выпивку... Ну-ка скажи, откуда у тебя деньги на водку. Отвечай, скотина, если тебя спрашивают, Милый Фредди дважды не спрашивает.

Милый Фредди. Вероятно, прозвище: Фредди Квинн (его голос часто доносился из открытых окон общежития, голос отставного легионера, человека, который любит родину, а оказавшись лицом к лицу со смертью, спрашивает товарища: не пойдет ли у тебя, дружище, закурить?). Из-под полей низко надвинутой на лоб шляпы она видела только загоревший под лучами мартовского солнца нос с облупившейся кожей и толстые губы. Слишком короткая верхняя губа не закрывала резцы, заячья мордочка, скорее смешная, как и вся его манера говорить, казалось, он измененным голосом произносит фразы, заимствованные из дешевых «восточных» фильмов, что показывают в кино на Потсдамской площади, а вся сцена, вернее, репетиция сцены словно разыгрывалась при грязновато-желтом театральном освещении перед партером — погруженной в темноту площадью.

Парень молчал, его взгляд скользил по сторонам, как бы ища помощи своих дружков, бросивших его в беде, и остановился на Франциске; она обомлела и затаила дыхание. Внезапно ее осенило: здесь вовсе не играют комедию, и она с ужасом подумала о завтрашнем дне, о последующих вечерах, когда она одна будет идти по безлюдным улицам, крепко сжимая в кулаке свое жалкое оружие — связку ключей. Молодой человек, назвавший себя Фредди, сдвинул на затылок шляпу и посмотрел на Франциску, затем на своего пленника.

— Не нравится мне, как ты плящишь глаза на эту женщину, — сказал он.

Парень быстро отвернулся и, ни на кого не глядя, опустил голову. Они подвинули его закрученные назад руки, голова упала вперед, он задыхался.

— Собаки... охотники за черепами... — Он плюнул бе-

топичку под погн.— Полицейский подручный...— более брачного слова для него не существовало.

— Заткнись,— сказал Фредди.— С тобой мы справимся, причем сами, без полиции. Ты давно смердишь, и пам это падело... А если что случится с этой женщиной или с кем-нибудь из наших ребят, будем знать, что это твоя работа, и ты за нее ответишь, мы так тебя разделаем, что родная мать не узнает. Это я тебе обещаю,— сказал он жестко, хотя уже был отвлечен другим и бросал косые взгляды на Франциску, которая жадно, с широко раскрытыми глазами ловила каждое его слово,— а Милый Фредди всегда сдерживает свои обещания.

Шофер шел не останавливаясь, совсем увлел, подумала Франциска, ну что ж, однако он стоял здесь, у лестницы, руки в карманах брюк, и терпеливо ждал: так взрослый, скучая, ждет ребенка, засмотревшегося на подражавших ребят, на дистерну с водой, на литичек, на кровельщиков, на жука или сверкающий автомобиль.

По вкусу ли ей судопроизводство, отправляемое самими гражданами? — спросил он, и она отвечала: во всяком случае, действует успокаивающе. Правда? Правда. Значит, сказал он, выражение лица, в котором читалось глубокое доверие, было непритворным, как и полный восхищения взгляд, брошенный ею на этого хвастуна Фредди, ангела-хранителя, спустившегося с небес.

— Вы смеетесь? — спросила вкопец расстроенная Франциска.— Неужто я выглядела такой смешной?

— Смешной? Нисколько. Даже когда вы нытались прикончить этого парня. Вы были точно буря над Азией... Простите...— Он отвернулся и двумя пальцами потрогал зубы. Франциска остановилась.— Идите,— сказал он резко.

Вскоре он догнал ее.

— Сделайте одолжение, не смотрите на меня глазами сестры милосердия. Вам следовало бы набраться самоуверенности и сказать себе, что потеря одного зуба — недорогая цена за удовольствие познакомиться с вами. Впрочем, он все равно никуда не годился. Так прочь же обломки, построим новое на их месте!

— Мне так жаль... а за то, что вы спасли нас, мою подругу и меня...

Он ее перебил: дружба, пожалуй, не совсем точное определение для шумпо-скандальных отношений между Гертрудой и, возможно, доброжелательной, но конфузливой буржуазкой.

Он, как выяснилось, не раз видел вместе ф́рау Линкерханд и Гертруду, хотя и не в столь роковой ситуации, как сегодня, но все же некоторые жесты и выражение лица маленького первого тореро свидетельствовали о его брезгливой раздражительности, хотя он пунктуально выполнял свой долг, который, возможно за неимением других обязанностей, взял на себя. Бесцельная, хотя и трогательная порядочность, вырвалось у него, он продолжал идти, слегка сутулясь и высоко подняв плечи, причем так быстро, что Франциска едва за ним поспевала, и говорил громко, насмешливо, но в то же время равнодушно. Один раз он ошибочно употребил слово «наблюдать», но тут же поправился, заменив его словом «заметить», чтобы не создать видимость интереса, которого он в действительности не испытывал.

Сначала Франциска была озадачена, потом возмущена (он высказал то, в чем ей не хотелось сознаться), она ошестинилась, пыталась его прервать, нет, послушайте меня, разрешите, и готова была выболтать историю Гертруды, поскольку она была ей известна, даже добавив кое-что от себя... но, начав говорить, убедилась, что рассказывает пошлую, а впрочем, подлинную историю: зима, коломна беженцев на льду залива...

(Позднее, когда они любили друг друга и вспоминали прошлое, по кусочкам восстанавливая его, им удавалось создать картину лишь приблизительную, местами даже неузнаваемую, а еще позднее — они лежали в темноте и курили — он словно бы воочию увидел ту зиму, о которой она сейчас говорит, февраль сорок пятого, и этот залив, и лед, раскалывающийся от взрывов, и мальчика, два часа пробарахтавшегося в ледяной воде, — его вытащили, спасли для последнего служения родине и отправили домой в Берлин-Лихтенберг — он хоть и получил шок, но даже не простудился и был пригоден для решающей битвы «вервольфа», а также обучения стрельбе фауст-патронами и метанию бутылок с зажигательной смесью. Мальчик остался жив; многое забыл, многое отбросил, балласт воспоминаний, тот залив, например, и два часа в ледяной воде, равнодушно принял к сведению, что плавать он больше не может и — не испытывая, впрочем, чувства страха — цепенеет, погибает, идет ко дну, когда в бассейне или на озере не чувствует под ногами устилающих пол каменных плиток или песчаного дна.)

...Итак, поток беженцев, пересекающих Германию, деревня на севере, кулацкий двор, убежище в сарае, где хранятся корм для скота, оскорбления, побои, тяжкий труд, сын хозяйна, насилующий в сарае девочку-беженку (Герг-руде еще не было двенадцати). Как уже сказано, история правдивая, но не подходящая для того, чтобы так, между прочим рассказывать ее равнодушному незнакомцу, подумала Франциска. И смущенно замолчала.

— Сожалею,— сказал шофер,— но отнюдь не собираюсь заниматься благотворительной деятельностью, которая увековечивает жалкое положение вещей вместо того, чтобы радикально его изменить. Не сомневаюсь в ваших прекрасных намерениях... дамы, вяжущие чулки для негрят, тоже хотят вам добра.

Он остановился, так как остановилась Франциска.

— Того, что я от вас услышала, с меня предостаточно. Дама, занимающаяся благотворительностью... это уже чересчур... всю дорогу вы говорите мне радости...

Он протянул ей измятую пачку сигарет.

— Курите?

— Не на улице.

Когда он зажег спичку, Франциска увидела его лицо вблизи, в последний раз, надеялась она. Не было никакого повода для следующих встреч (а разве бывает пужеп повод?), и казалось излишним спрашивать его, почему он только что вмешался в драку, и тем не менее она спросила, хотела знать точно.

Почему? Он медлил с ответом, курил, его перешительность выглядела наигранной. Желание проявить рыцарское благородство? Она попыталась задать этот вопрос в насмешливом тоне. Или на него нашел приступ жалости, милосердия, которому, значит, бывает подвержен и он?

— Нет,— сказал он.— Потому, что вы на меня так смотрели, будто этого ожидали... от меня.

В «Голубь мира» Франциска не ходила целую неделю. Однажды вечером через витрину своего консультационного пункта она увидела человека, бродившего по мокрой от дождя мостовой, засулив руки в карманы и высоко подняв плечи. Посетители вынуждены были повторить обращенные к ней вопросы (несмотря на дождливую погоду, пришло шесть или семь клиентов, и, к счастью, дел у нее было полно). Беседуя с двумя молодыми женщинами и набрасывая эскизы детских комват, уголка для игр и спальней, она повернулась к окну спиной, чтобы не бросить про-

тив воли взгляд на улицу. Я, видимо, ошиблась, сказала она себе, но от этого ее беспокойство только усилилось.

В субботу днем, когда она возвращалась из магазина с тяжелой сумкой, набитой продуктами, он прошел в трех шагах от нее, погруженный в чтение газеты, среди шумной сутолоки предвыходного дня, в толпе спешащих домашних хозяек, мужчин с бутылками пива, детей и детских колясок, этих гондол на высоких колесиках, выстроившихся в ряд на солнечной стороне, как автомобили на стоянке, старых крестьянок, столпившихся в тесную кучку. Опираясь на свои велосипеды, они оживленно судачили на непонятном языке и прятали свои лысые головы под черными шерстяными платками или чепцами с похожими на крылья бантами, концы которых спускались чуть ли не до подола. Еще дюжину газет и иллюстрированных журналов он держал зажатыми под мышкой, некоторые были засунуты под пуловер (синий со стоячим воротничком, я хорошо помню, Беп, он был синий, береги его и никогда не выбрасывай). Случайно — позднее она называет это счастливым стечением обстоятельств — ручка ее сумки оборвалась, хлеб, консервы, пакеты, грейпфруты посыпались из нее, покатались по мостовой, под ноги крестьянкам и водителю. Франциска нагнулась, но в это время у нее из рук выскользнула и разбилась бутылка молока. Из пакета с яйцами текла желтая жидкость.

— Не найдется ли у вас, кстати, и соли? — спросил шофер, собирая сложенной вдвое газетой осколки стекла и яичную скорлупу.

От смущения Франциска стала пунцовой, но почувствовала облегчение оттого, что он ничего больше не сказал, а быстро собрал ее пожитки и, обхватив сумку рукой, добродушно улыбнулся, словно знал: время от времени ее преследуют неудачи, и тогда у сумок обрываются ручки, падают на пол чашки, автомобили охотятся за ней с жадностью акул, а на готовый чертеж неизвестно почему вдруг опрокидывается флакон туши, от этих напастей она обычно приходила в полную растерянность.

Он поставил сумку на бетонный цоколь — скоро на нем перед полукругим усыпанным белыми цветами кустов будет сидеть бронзовая мать, на ее правом колене — бронзовый ребенок, а на левом, до блеска отполированным маленькими ягодицами, будут развлекаться малыши из детского садика — и шарил по карманам в цопсках бечовки или куска проволоки. Франциска робко протестовала, па

что он не обращал внимания. Она смотрела, как он перочинным ножом обрезает нитки от оборвавшейся ручки. Посторонний, в эту минуту целиком занятый своей работой и меньше всего думающий о той, для которой он это делает. Более чужой, чем тот, которого она себе придумала. Ей были знакомы, даже хорошо, только его руки (до того как они когда-нибудь поглядят ее лицо, обовьются вокруг ее шеи), маленькие твердые руки, синевато-черный ноготь на большом пальце правой, будто от удара молотком, и шрам почти во всю длину пальца, на безымянном пальце левой отсутствовала одна фаланга. Шофер, почувствовав ее взгляд, подогнул палец.

— Оставшаяся часть покоится на дне шахты, — сказал он, — в спешке я не мог найти ее, иначе сохранил бы на память.

— Или подарил, — сказала она. — Не обязательно ведь, чтобы это было ухо. А почему вы тогда так спешили?

— Шахту затопило водой, — пехотя ответил он и повторил довольно раздраженно: — Да, затопило, — потом громко зевнул, как всегда зевал от смущения, и Франциска никогда не узнает — если только в один прекрасный день в коробке из-под обуви между запонками, канцелярскими кнопками, липким пластырем и разным инструментом не наткнется на медали, — что он спас жизнь двум шахтерам. Если же она будет досаждать ему любопытными вопросами, он бросит как бы невзначай, с ухмылкой: лишь позднее, поднявшись на поверхность, он заметил, что палец стал чуточку короче, нежели был утром, когда он спускался.

— Вы были шахтером?

— И шахтером тоже, — отрезал он.

Франциска молчала, рассеянно рассматривая один из иллюстрированных журналов.

— Оставьте журнал, — сказал он, — я его еще не читал.

— Я только картинки посмотрю.

Он молча повернулся, пересек площадь, подошел к киоску и через некоторое время вернулся с таким же журналом и сунул его Франциске. Озадаченная, она поблагодарила и начала перелистывать страницы в отделе мод, пока он загибал колечки проволоки и ножом проделывал отверстия в сумке выше и ниже места обрыва ручки. Один раз она подняла глаза, он тоже principiал покрасневшие веки, словно дым сигареты ей глаза.

— Новости? — спросил он.

— По-прежнему модно мини,— сообщила Франциска.

— Испытанное оружие не сдают в утиль,— заметил оп.

Франциска улыбнулась в ответ, а может, у нее просто было хорошее настроение (ласково пригревало солнце), она беспричинно радовалась, чувствовала себя так спокойно и непринужденно, что ощутила даже нечто вроде сожаления, как при расставании с чувством, которое могло в псй возникнуть (с историей, до того как она началась). Она смотрела на магазин, на людей во взблескивавших дверях, на голубые и желтые фронтоны и — без обычного, охватывающего ее в такие минуты страха — в синее небо, где в это мгновение со свистом проносился реактивный истребитель, так низко, что она могла разглядеть его радар — пронзающую небо серебряную иглу.

— Новый «МИГ»,— сказал водитель.

Она протянула ему пакетик.

— Хотите леденец?

Он нахмурился и взглянул на Франциску, ей показалось, неодобрительно, и она быстро, как бы извиняясь, сообщила, у нее, к сожалению, слабость к дешевым сладостям, малиновой карамели, леденцам в форме змеи и мятым лепешкам.

— И лакрице,— добавил оп с прежней добродушной улыбкой.

— Лакрице тоже, хотя у нас считали, что ее делают из конской крови.

Он рассмеялся, у нас тоже, и откусил леденцу-змею голову: несмотря на это, говорил оп, посасывая леденец, когда-то он готов был бежать за тремя булочками до Гёрлицкого вокзала к доброй вдове пекаря, которая давала детям в придачу палочку лакрицы, иногда даже пакетик сладкой крошки или подгоревшую корочку фруктового пирога.

— Гёрлицкого? — спросила Франциска. — Где это?

— У нас. Кройцберг...

Причем, добавил оп, не надо путать его с политическим и географическим округом Кройцберг. Гёрлиц теперь Запад, впрочем, этот вокзал почти весь разрушен, раньше его территория простиралась до Силезского вокзала... По Силезский, ныне Восточный, вокзал она должна знать, по меньшей мере из литературы, Фаллада, например. С Гёрлицкого, как и с Потсдамского, Ангальтского, Штеттинского, Лертерского, раньше отходили пригородные поезда в направлении Кёниге-Вустерхаузен, поезда в Ширее-

вальд, Люббенау и Котбус, экспрессы в Вену, а во время войны — и в Чехословакию... Знакома ли вам местность вблизи Варшавского моста и Обербаумбрюкке? Значит, незнакома, заключил он, видя, как неуверенно она кивнула, и на песке веточкой быстро начертил линию границы, отметил улицы и мосты, близлежащие городские районы и упомянутые вокзалы, причем говорил не переставая, а когда на чертеже и в своих к нему комментариях приближался к Кройцбергу — на берлинском диалекте, и так сыпал названиями, датами, цифрами, что, казалось, читает их по таблице, говорил об основании и истории частных железнодорожных компаний, их вокзалах, линиях, ведущих в Саксонию и Слезию, и, уклонившись от темы, о блокаде, воздушных мостах, автострадах и контрольных пунктах. Внезапно он оборвал свой рассказ и стер чертеж, словно ему надоел собственный пространственный доклад.

— Этот мне знаком, — сказала Франциска, когда он кончиком ботинка смазал на чертеже Лертерский вокзал, — еще с той поры, когда мы поездом городской железной дороги ездили в район Гапзы.

— Чтобы преклонить колени перед Нимейером, — сухо сказал он. Лертерский вокзал ему противен, так как ассоциируется с полицией и примулой.

— При чем тут примула?

Она засмеялась, когда он пояснил: так мы называли резиновые дубинки.

Он, видимо, не собирался ее провожать, что в данном случае было бы вполне естественно, или хотя бы должным образом с ней проститься (он взял все свои газеты, и обе руки у него были заняты), это разочаровало Франциску. Она взяла сумку и поблагодарила безымянного незнакомца.

— Прошу прощения, — сказал он, уже уходя. — Вы можете опекать свою приятельницу, если полагаете, что это ваш долг. Лучше попытаться что-нибудь сделать, чем не делать ничего... Впрочем, фрау Липкерханд, я не просил вас меня выслушивать. До свидания.

Она повернулась на каблучках и ушла не прощаясь, опемев от гнева. Ее знобило, когда, покинув солнечную сторону улицы, она вступила в тень домов своего квартала. Из раскрытых окон гремело радио. На вбитых в оконные рамы гвоздиках висели сетки с бутылками молока и продуктами. Молодой человек с загорелым лицом и фибровым чемоданом в руке медленно направлялся к соседнему

подъезду, вероятно новый жилец, плотник, судя по черному бархатному костюму.

В своей комнате с прозаической гостиничной мебелью она не знала, чем заняться. На столе лежало пераспечатанное письмо Регера — среди груды бумажек, выписок из одолженных ей Регером книг, фотографий Нейштадта, в том числе снимок с самолета — выстроившиеся в ряд крыши из волпистого железа походили на решетку. Она села на кровать, держа в руках фотографию: клетка из блоков и узких прямых дорожек между ними напомнила ей одну игру, немую и потому подходящую для скучных школьных уроков, и игрков на задней парте (старая гимназия Августы-Виктории, когда нам было уже пятнадцать, мы с трудом втискивались в эти парты, мальчики сидели боком, вытянув ноги в проход), играли в крестики на разграфленном листке бумаги, вырванном из тетради, а потом обменивались этими листками за спиной сидящего впереди.

Не стоит ломать себе голову над тем, как называлась игра, тем не менее она старалась вспомнить, и память подсказывала ей десятки названий игр, партнеров по играм, имена учителей, сокурсников, архитекторов, названия городов, и среди них Берлин, итак, берлинец. Все, казалось, направлено на то, чтобы далеким, кружным путем, через ряд застрявших в памяти имен, к которым с быстротой молнии подстраивалось определенное изображение или деталь картины — дама, король, кафедра, губы, девичья коса, колонна, арка ворот, квадрага, — теперь упорно присоединялась рука с синева-черным ногтем на большом пальце. Берлинец, по профессии шофер, в прошлом шахтер, в еще более далеком прошлом — неизвестно: учитель, журналист, активист (наверняка пронацией человек, сказала бы мадам, моя мать), возраст — около тридцати, цвет волос между белокурым и кантановым, глаза серые, голубые, зеленые в зависимости от освещения, сонные глаза, подумалось ей. Тщетно пыталась она так и этак повернуть его последнюю фразу, уяснить себе, что он хотел подчеркнуть, в его словах слышалось только намерение ее обидеть или сделать замечание в обидной для нее форме, и вновь ее охватила гнев, теперь уже и на эту полоумную Гертруду — в конце концов, она во всем виновата, — и Франциска, конечно же, с ней порвет незамедлительно.

Она надела туфли, забежала по лестнице наверх, прошла через чердачное помещение дома, обитатели которого

въехали сюда только с чемоданами и дорожными мешками, не обремененные (так она это воспринимала) имуществом, которое годами накапливается под стропилами других домов — старые кухонные шкафы, рамы от картин, матрацы, шелковые абажуры, ящики со всевозможной утварью, покрытые пылью и позабытые, но сберегаемые женщинами, которым все это, возможно, когда-нибудь понадобится.

В комнате Гертруды ей пришлось сделать усилие, чтобы к ней вернулась злость. Тюремная камера. На кровати сложа руки сидит Гертруда, взглядом заключенной уставившись на стену напротив.

— Можно подумать, вы пожизненно приговоренная... Что тут творится... Выкиньте хотя бы в мусорный ящик все эти западные жестяпки. И пришейте пуговицу к блузке. Можно грустить, но нельзя же быть такой неряхой... Боязнь одиночества? Все одни фантазии и лень. Купите телевизор, вы давно могли это сделать, смотреть телевизор все-таки лучше, чем пить. Посмей только зареветь... когда я так ласково с тобой разговариваю... Ах, от тебя одни огорчения... — с болью сказала Франциска.

Гертруда молчала, через некоторое время поднялась, закрыла окно, в комнату больше не пропикали смех и крики детей, игравших на площади: они бросались на траву, ползали на четвереньках, вскакивали, стреляли из деревянных ружей, издавали пронзительные гортанные звуки, подражая пулеметным очередям.

— Эти сопляки все время играют в войну, — сказала Гертруда.

Франциска отодвинула оконную занавеску. В бетонной песочнице копошились всего несколько малышей. Остальные дети из близлежащих домов играли на ступеньках, ведущих в подвал, среди кустиков и столбов для развешивания белья, за пределами детской площадки, и ни один не крутил стальную крестовину карусели, ни один не карабкался на шведскую стенку — аттракцион, потерявший привлекательность уже через неделю.

Франциска забыла, зачем она сюда пришла. Какой идилот окружил забором этот провинциальный педагогический шедевр? В Пейштадте, куда ни плюнь, каждый отгораживается собственными заборчиками, стеночками, строит собственные гаражи, не хватает, чтобы они на газоне неастроили себе беседок.

— Все время с пулеметами, — глухо сказала Гертруда. — Они не знают, что такое война.

— Умные детки, они не желают играть за оградой.. Раздобыть бы трактор да сровнять с землей все эти проклятые загородки и гаражи.

— Вы не найдете тракториста, который согласится это проделать.

— Почему?

— Побойтся мести,— отвечала Гертруда.

— Страх перед несколькими разбогатевшими молодчиками? Смешно... Если бы шеф рискнул... Послушайте, вы на этой педеле не встречали в «Голубе» этого человека? Знаете, уродливую обезьяну с перебитым носом?

Гертруда кивнула: но если мы имеем в виду одного и того же человека, то он отнюдь не урод. Франциска пожалала плечами, во всяком случае ничего красивого. В нем что-то есть, возразила Гертруда. Да, заносчивость. Нет. Что же? — спросила Франциска. Какая-то ясность, уверенность... Больше Гертруде ничего не могло прийти на ум, а сообщение о том, что он провожал ее домой, она сделала между прочим, печально:

— В четверг и вчера.

Франциска расхохоталась.

— Он провожал вас домой... Невероятно. Что он говорил?

— Ничего.

— Ничего? Но ведь что-то он должен был говорить.

— Не помню,— угрюмо отвечала Гертруда и, как ни допытывалась Франциска, упорно молчала, не могла или не хотела припомнить, ее глаза под кукольными ресницами блуждали по сторонам, и Франциска торопливо сказала:

— Неважно, не имеет значения.

Через слуховое окно на западной стороне прощил солнечный свет, высоко в небе виднелся оставленные реактивными истребителями длинные белые полосы, которые пересекались, образовывали круги и петли, а затем расплывались хлопьями и таяли в небе. Самолеты летели на большой высоте, казалось, они движутся бесшумно и медленно, медленнее, чем чайки, которые иногда в земный день парили над улицами. Франциска посмотрела вверх. Значит, новые «МИГи». Хотела бы я знать, какой видит летчик сверху землю, если вообще видит ее, скорее лежа, нежели сидя в своем кресле пилота, далекую землю и города, несущиеся в бешеном темпе ему навстречу, и Нейштадт, промелькнувший в какую-то долю секунды... Она

пыталась думать о своем первом полете и знакомых ей аэродромах, облаках, похожих на айсберги, о цвете неба над облаками, его ледяной фиолетовой голубизне (чтобы не думать о тебе), а когда истребители скрылись из виду, она проделала тот же путь через чердак обратно на первый этаж, зашла к коменданту и позвонила Язвауку.

Над столом у коменданта висели скрещенные, как шпаги на выставке оружия, железные гантели и эспандер из шведской стали и между гантелями — фотография пяти Пазелли с их унтерманом, комендантом в узком трико, с улыбкой для фотографа и публики. На своих атласных плечах он без видимого усилия держал пирамиду молодых людей, улыбающихся, черноволосых (вероятно, крашевых), в трико, сверкающих, как рыба чешуя.

— Если ты сегодня свободен от служения прекрасной даме, — сказала Франциска, — облачись в свой вечерний туалет и выведи в свет одну старую деву.

Язваук хихикнул и сказал что-то неприличное, Франциска хихикнула в ответ, она была хорошо пастроена и не прочь провести бессонную ночь с таким товарищем, как Морц, который может дать женщине почувствовать, что она красива и желанна, и с которым она может развлечься, не обремененная ожиданием или исполнением роли, исполняемой лишь потому, что другой этого требует. Она не обманывается и не будет обманута, поэтому не разочарована и не способна делать глупости, на какие может толкнуть разочарование. Только никаких любовных историй. Она хотела ехать в окружной центр на автобусе, но Язваук любезно сказал, что заедет за ней на машине.

Расчесывая перед зеркалом волосы, она видела себя улыбающейся, лукавой, словно она кого-то ловко одурачила, устроила веселый заговор, в котором участвовали окружающие ее предметы, щетка для волос и баночка с кремом, губная помада и флакон духов. Она примерила три платья, прежде чем решила остановиться на черном, которое, собственно, выбрала с самого начала. До семи оставался еще час, и она провела его, не испытывая беспокойства. Она читала. В доме наступила тишина. Тот, кто не рассчитывал на полный еженедельный отдых и поспытку домой, направился в «Голубь» или в ливную «Желаю удачи», расположенную в соседнем жилом массиве, где можно было выпить пива и посмотреть телевизор, но суббота до одиннадцати футбол, новости, детективный или западный фильм десятилетней давности. В половине седь-

мого она впервые взглянула на часы и, в какой-то момент вновь погрузившись в чтение, почувствовала, что ее спокойствие нарушено, что-то ее тревожит. Она не могла сразу решить, что именно, но потом поняла; предыдущие ожидания, когда она ждала Джанго, Вольфганга, Якоба, все равно кого, одно имя может быть заменено другим. Ожидание... О нем она сейчас думала как о зубной боли, которая кажется смешной, когда она уже прошла, а мука — всего лишь еще одна рубрика в перечне событий, составляющих в своей совокупности жизненный опыт.

Язваук поцеловал в знак восхищения копчики пальцев. Знаток шелка, кружев, воланов, портняжного искусства и цен сразу определил: «эксquisite», импорт из Италии. Став на колени, он с ловкостью портного поправил складку на платье, иначе он не мог, в восторге поглаживал ткань и обтянутые материей бедра Франциски, а она не двигалась, словно меряла перед зеркалом платье, сплошь заколотое булавками. Он снял у нее с шеи ожерелье.

— Ваша шейка слишком хороша для этой бечевки с кораллами, — сказал он, — и вообще кораллы совершенно не подходят к цвету ваших волос.

Франциска сделала гримаску.

— Не говори только, что они каштановые.

Спустившись вниз по лестнице, они прошли мимо стоявших у двери дебушек с подземного строительства, и Язваук не преминул продемонстрировать свой трюк: он каждую одарил восхищенным взглядом, предназначавшимся, конечно, только ей одной.

Он включил мотор, дал полный газ, машина как ракета рванулась вперед (в окнах домов заколыхались занавески) и резко, на двух колесах, свернула за угол. Они двинулись по главной улице, под прямым углом выходившей на шоссе. По одну его сторону простирался засеянные рожью поля и огороды, по другую раскинулся жилой квартал, лежащий перед городом как бетонная перемычка, а в ста шагах за кварталом вырос поселок садовых домиков, быстро разрастающийся бледно-зеленого цвета липайник, крепко вкопавшийся в песок. В вечерних сумерках, смягчавших красный, желтый, зеленый цвета, в которые были окрашены домики, стоявшие за изгородью из густого кустарника, смутно были видны фигуры мужчин и женщин, по глубокому песку несших в руках или перевозивших на ручных тележках полные ведра воды.

Франциска покачала головой. Издевательство, через

два года они должны будут снести все эти домишки, а по садикам пройдут бульдозеры.

— Нет, — сказал Язваук, — мы ничего этого не разрешили.

— Но ведь они каждый день предъявляют все новые претензии. Может быть, они не знают, что обрабатывают участки, отведенные под строительство?

— Если бы и знали, все равно ничего не изменится. Очевидно, врожденный инстинкт крестьян — на собственной земле выдергивать собственную редиску.

— У нас будет много неприятностей, если мы лишим их своего клочка земли.

Язваук просигналил светом впереди идущей машине и обогнал тягач.

— Не твоя забота, — сказал он.

Путь был свободен, и он гнал машину по бетонному полотну со скоростью сто тридцать километров, в темноте, по горной дороге между крутыми склонами справа и пропастью слева — большой карьер, на дне которого сверкало множество огней, будто светился целый город, расположенный глубоко в долине. Не моя забота, думала Франциска, ну хорошо, он знает, что я к нему равнодушна и для него потеряна, все равно, ему не следовало так говорить, в таком тоне не следовало. Шафхойтлин, пришло ей сейчас на ум, несколько раз косвенно заводил речь о квартире: родной очаг, получив его, она здесь останется, — благодарю покорно, она видит крючок под приманкой и на удочку не попадется...

Однако в квартире Язваука ее охватило чувство легкого сожаления. После рабочего дня оказаться у себя дома куда более заманчиво, чем в номере гостиницы, в коридоре, куда в любое время может войти всякий при условии, что благополучно миует двойной барьер: пастыря-коменданта у дверей и красующиеся на доске правила внутреннего распорядка. И еще, куда приятнее смотреть из окна этой квартиры на торговую улицу окружного центра (узкую, как кишка, — подлинная катастрофа для тех, кто планирует уличное движение), на тротуары и витрины, освещенные гирляндами электрических лампочек, на кинотеатр, на светящиеся зеленого цвета неоновые надписи на стенах универмага на двух языках: «Торговый дом» — и на кирпичную церковь среди старых каштанов и кафе с маленьким палисадником, достаточно широким для того, чтобы в нем могли уместиться три мраморных столика.

На месте разрушенных взрывами домов стояли новые. Эти здания, в том числе и где проживал Язваук, были в стиле, который теперь именуют кондитерским, их строили в начале пятидесятых годов, в эпоху строительства (почему эпоху? Почему сразу это бронзово-гранитное слово?), о которой если и вспоминают, то в проиическом или пренебрежительном тоне — напрасно, считала Фрациска, которая во время одного спора по поводу Сталин-аллее даже позволила себе заметить: с тех пор не построили ни одной *настоящей улицы*. Преувеличение, не спорю, сказала она Язвауку, готовившему коктейль «мартини», но мне огорчительно, когда я постоянно слышу одни и те же остроты об отвалившихся кафельных плитках, а с коллективом, строившим Сталин-аллее, более молодые разделяются как с кучкой дураков и подхалимов, тогда как представители старшего поколения, участвовавшие в строительстве, не могут вспомнить без сожаления о своих не получивших признания работах, превосходных проектах, которые им зарезали... Трогательные жертвы догматизма, через десять лет в свою очередь размахивающие собственными догмами, как знаменем... Или люди иного сорта, некогда убежденные и правверные кондитеры, а ныне проповедники растра и ответственные работники, опять-таки убежденные ортодоксы, убивающие фантазию во имя реальной действительности и эмоции во имя бережливости... К примеру, Шафхойтлип, сказала она. Неподходящий пример, сегодня я знаю это, неподходящий и потому, что мы были одного мнения о том, что касается аллен, различными были только наши основания, это правда, я имела в виду градостроительный аспект, он — идеологический, уровень сознания, как он говорил: великолепная демонстрация твердой уверенности нашего государства в будущем и самоотверженности наших людей. Он говорил о революционном подъеме, который тогда воодушевлял его и товарищей... воодушевлял, говорил он, и я пыталась представить себе этого недоверчивого, очень сухого парня, в ту пору молоде на двенадцать лет, бесстрашного, полного революционного порыва, тогда он переживал свой великий час, свою героическую юность, о которой я еще ничего не знала, когда сказала: к примеру, Шафхойтлин.

Язваук, стучавший в бокале кубиками льда, ухмыльнулся.

— Ты, конечно, образец самой подлинной терпимости. А теперь ни слова больше о работе и нашем шефе.

Они шли «мартини», Франциска с бокалом в руке пересаживалась с одного кресла на другое — кожаные кресла цвета беж, — перепробовала их все, утопала в облаках духа и стонала от восторга.

— Восемь, — сказал Язваук.

— Чего восемь?

— Восемь сотенных — за каждое. А этот милый диванчик — тысяча девятьсот марок.

Франциска широко раскрыла глаза. Она смотрела на него, забавляясь и в то же время испытывая легкое отвращение к квадратной кушетке, этому гнусному ложу, на котором при зеленоватом свете лампочек, вставленных в винные бутылки, временно находили счастливое завершение любовные истории Язваука.

В ночной бар, единственный в городе, они попали таинственным путем: сначала спустились в подвал, потом вошли через железную дверь, которую официант во фраке открыл им после того, как Язваук постучал в нее условным стуком. Официант бросил косой взгляд на Франциску, выразивший примерно следующее: я всегда восхищаюсь вашей супругой. Бар походил на мрачноватый салон периода грюндерства, на столах горели лампочки под шелковыми абажурами, над деревянной балюстрадой покачивались пальмовые ветви. Франциска не удивилась бы, увидев здесь вместо современного небольшого джаз-оркестра граммофон с трубой.

Появление Язваука среди публики в перерыве между танцами, казалось, было специально организовано. Подтянутый — этого требовала его обязанность нравиться, — он проходил под безмолвные аплодисменты, и его гордая голова римлянина, многократно отраженная зеркалами на стенах зала и в ливнях, медленно поворачивалась в профиль, а его черные глаза улыбались всем: он принадлежал своей публике, всем женщинам вместе и каждой в отдельности, как артист (камера снимает крупным планом), который из сотен находящихся в кипозале зрителей, кажется, видит только тебя одну. Он был восхитителем, это находила и Франциска, она ощущала его влияние на публику, восхищение женщин, почти полное их замешательство при встрече с ним: это был Марчелло-Хорст-Жерар-Марэ, но не черно-белое изображение на экране, а реальный, живой человек, как ты и я.

Ей все это было знакомо, не меньше, чем тревожная беспечность мужчин, которые просто не понимают, гово-

рили они, что женщины в нем находят, и ведь, кроме того, красивые мужчины глупы или вероломны, а не то и глупы и вероломны — тут ничего не поделаешь, рядом с ним они выглядят жалко: морщинистая кожа, помятый костюм. Она знала своего Моррица, знала все выражения его лица, его колдовские чары, которые он все время подвергал проверке. И все-таки приятно, что он за ней ухаживает, словно они не сидели ежедневно по восемь часов друг против друга и ей не были хорошо известны его трюки и уловки, в сущности, безобидные и для успеха ему не нужные, думала Франциска. Ему достаточно было следовать собственной интуиции, жесты сами по себе становились выразительными, комплименты — правдоподобными, ибо он верил тому, что говорил женщине о ее глазах, устах, губах, волосах, груди, ножках.

— Вы прелестны, — сказал он, когда они сели за столик, с которого официант убрал табличку «закрыто», — и становитесь вдвое очаровательнее, когда знаете, что мужчина это видит и восхищается вами, любит вас за то, что вы — женщина. Пусть только он не требует, чтобы вы все время проявляли хваленую мужскую выдержку, сдерживали слезы, владели своим настроением, отказались от кокетства и желания нравиться... Что будем пить? Все. «Летнюю ночь в раю», «Мир грез и женские мечты» и прочее, что дает возможность помечтать, «Свадебные колокола»? Нет, лучше уж «Апрельский дождь» и «Снежные сугробы», «Балалайка» и «Ма-Джонг» — в память о Лапдауэре и за мирное сосуществование Москвы и Магхэттена.

Джаз заиграл чарльстон. Раскачивающейся походкой они двинулись по паркету, энергично подбрасывая вверх ноги, от коленного сустава, «Еще разочек с Чарли», пока все усиливающаяся толкотня дергающихся тел не положила конец их гимнастическим упражнениям. Франциска прижалась к нейлоновой груди Язваука; после первого танца, а затем и после каждого следующего он целовал ей руку, потом завязывал, ближе к полуночи — темное местечко на сгибе руки. Куда все это заведет? — спросила она, и Язваук вздохнул: ах, Франциска. Ах, Морриц, вдохнула Франциска, почему я в тебя не влюбилась, все было бы так мило и просто.

— Это можно наверстать, любовь никогда не приходит слишком поздно, — сказал Язваук, будто он уже теперь не испытывал затруднений, улаживая свои отношения с дамами, в настоящее время с тремя, которых он делал счаст-

ливым — каким образом? Он вознаграждает их за утрату нежности, которую претерпевает современная женщина... Все на свете имеет свою цену, в том числе и равноправие: мужчины предъявляют счет. Женщина стала коллегой, сотрудником, конкурентом, и ее претензии на вежливое, бережное и нежное к себе отношение беспочвенны. Она вызывает неодобрение, если обнаруживает слабость, и такое же неодобрение, если становится сильной. Она слишком деловита или недостаточно деловита, а в роли руководителя женщины просто несчастье. В крайнем случае ей простят успех, но, если она молода и красива, можно смело утверждать: восемь из десяти мужчин скажут, что успеху она обязана своим связям, она, прошу прощения, переспала с высокопоставленным лицом.

— Вам приходится нелегко, — сказал он, полный участия, взяв Франциску за руку, — вы изголодались по нежности... Вы коротко стрижете волосы, носите брюки, ругаетесь, оскорбляете мужчин, да, ты все это делаешь, а бедняга, который за тобой ухаживает, приходит в отчаяние, так как ты обсуждаешь с ним дела архитектурные вместо того, чтобы... в итоге вы затрачиваете огромное количество сил, а ночью простирате в темноте руки, тоскуя о рыцаре, по меньшей мере о рыцарском благородстве... Ты улыбаешься. Признайся, ты была по-настоящему счастлива, когда этот польский архитектор поцеловал тебе руку.

— Как очаровательно он это сделал! Но, во-первых, поляк был нашим гостем, во-вторых, он поцеловал руку мне, а не Гертруде, которая, бесспорно, также является женщиной, хотя она всего лишь секретарша.

— Женщиной? Да она чудовище. Зато первая, ее предшественница... — Язваук поднес к губам кончики пальцев.

Это был удар для Лаандауера, когда она ушла, точнее, выпущена была уйти, хлопнув дверью, уволилась в известной степени добровольно. Само увольнение было лишь документальным оформлением случившегося. Эту историю в бараке больше не вспоминали, теперь, после дюжины коктейлей и прохладительных напитков, Язваук ее выболтал — хотя бы уже потому, что она бросала тень на Шафхойтлина. Любовная связь, любовный треугольник — вообще дело обычное, но не с точки зрения святоши Шафхойтлина; он вмешался, потребовал объяснений, проводил беседы, сначала с глазу на глаз, потом в партийной группе (там речь шла уже не о беседе, а о том, чтобы держать ответ), и роман фрейлейн Менцель превратил в дело Мен-

цель, в предмет дискуссии, в третий пункт повестки дня. Обвиняемая Менцель швырнула на пол эту повестку, правда вся в слезах, и, хлопнув дверью, покинула барак. На улице ее ожидал друг, человек, которого Шафхойтлин — и в каком тоне! — назвал ее любовником. Франциска кивнула, она представляла себе, каким он может быть резким. Последний акт этого морально-воспитательного спектакля и его действующих лиц Язваук описывал так, словно при этом присутствовал: каменный Шафхойтлин, Кёпфель, задающий с улыбкой всезнайки вопросы медицинского характера (товарищ Менцель беременна, этого нельзя не заметить, несмотря на широкое, впрочем ею самую шитое, платье), остальные серьезные и неразговорчивы, возмущен один Ковальский: альковные истории, рычит он, вместо обсуждения его проекта. Лапдауер — усталый, ему тошно от всего происходящего, и безгласный — свое участие в дискуссии ограничил тем, что отвесил фрейлейн Менцель поклон и подал ей стул.

Таково тенденциозное изложение событий Язвауком: каменный Шафхойтлин в качестве отрицательного героя и фрейлейн Менцель, которую он, полностью владея собой, тихо, но неумолимо допрашивает, словно Джульетту, Гретхен, Клерхен, Луизу.

— Она, значит, хорошенькая, — сказала Франциска.

— Высокая, невероятно длинные ноги, волосы, как у тебя, каштановые, может быть, чуточку светлее, до плеч. Немного скованная манера держать себя — предвестие, знаток это видит, небрежной элегантности... К тому же шик, сама шила себе платья, а выглядела так, будто заказывала туалеты у мадам Шанель...

Он пустился в описание ее юбок и блузок, а Франциска в это время думала о Шафхойтлине и смутилась, заметив, что запята поисками доводов, оправдывающих его поведение в деле Менцель. Не Гретхен, а Мессалина, ее возлюбленный был тогда лишь последним в ряду мужчин, среди которых и Мориц... Но Язваук решительно протестовал. Безусловно, порядочная девушка, недоступная, без жеманства и, пока не попала в лапы этому художнику, певичая — следовательно, табу для него, Язваука: в конце концов, у него свой моральный кодекс, свои принципы добродетели, так сказать одиннадцатая заповедь, касательно замужних женщин и невинных девушек, он избегает этих чреватых взрывами похощений, могущих повлечь за собой трагедию или по меньшей мере серьез-

ные осложнения с матерью или ревнивым супругом, и считает безответственным, более того, недостойным поведением художника — женатого человека! — по отношению к фрейлейн Менцель, сироте, произнес он с чувством, — сироте военного времени, отец погиб в штрафном батальоне, мать погибла во время бегства, замерзла в пути, насколько ему известно, и малютка выросла в монастыре (возможно, в общине сестер милосердия), где заставляют молиться утром, днем и вечером, а карманных денег не дают, даже на пару чулок. Шестнадцать лет она оттуда вырвалась, пзучив стенографию и машинопись, приобрела самостоятельность, сдала за одиннадцатый и двенадцатый классы вечерней школы, потом образцово работала два года в управлении строительства у Ландауера — в пропитанном дымом воздухе, «образцово» Язваук произнес подчеркнуто, по слогам.

На фоне этого жизнеописания судивший ее Шафхойтлин выглядел особенно мрачной, почти дьявольской фигурой.

— Он ее доконал, — скажам Язваук, — своей ледяной холодностью, ты знаешь его манеру.

— Почему?

Он пожал плечами.

— При всем том он рекомендовал ее в партию.

Нет, не случилось того, что могло произойти после описанной сцены. Например: фрейлейн Менцель, оказавшаяся и без того в ужасном положении, понимает, что ее допрашивают, над ней издеваются (Кёшпель, эта рептилия!), в отчаянии убегает, сама не зная куда, ночью открывает газовый кран. Состояние аффекта, говорят люди. Или: она возвращается, разум берет верх, она признает право товарищей на вмешательство в ее личную жизнь, расстаётся с возлюбленным, честное решение, считает Шафхойтлин и рекомендует ей сменить работу и место жительства. Или: они отвергают требуемый от них прямой и честный путь, но любовь дает трещину, фрейлейн Менцель вспоминает тот вечер в бараче, ее друг не пришел, чтобы ее защитить, он редко, почти никогда, никогда не оказывается подле нее, когда она так в нем пуждается, по вечерам у нее боли в пояснице, отекают ноги, он оставляет ее одну (как в тот вечер, воспоминания о котором не только не потускнели, но становятся все более мучительными, вытесняя другие воспоминания, а под конец и то, что происходит с ней сейчас), он оставляет ее одну потому, что у его жены день

рождения, потому, что заболел ребенок, его дети болеют слишком часто, или потому, что на мольберте осталась незаконченная картина, он ничего больше не пишет, неудивительно при таком душевном смятении — но то, что я живу с таким напряжением всех душевных сил, тебя не интересует... раз они начинают задумываться над тем, кто виноват,— значит, приходит конец любви.

Три возможности предлагает Франциска на выбор незнакомой фрейлейп Менцель (позднее себе самой). В романе, сказала она, я предпочла бы третью версию, как наиболее близкую к жизни, в жизни же — вторую, вследствие романтически окрашенного здравого смысла.

— Но ведь вы замужем,— сказал озадаченно Язваук, она засмеялась — правильное решение, конечно, если на карту поставлена любовь.

— Тут Шафхойтлипу повезло,— сказала она.

Два часа ночи — пора жителей Рейнской области, когда громко поют «Если бы вода в Рейне стала чистым вином», зевающих официантов, поблекших рюшей, женских шеек и локопов, упущенных возможностей и торопливо наверстываемого, догоняемого и обгоняемого удовольствия, сейчас будет последний танец,— пора воющих на луну собак и уныло бродящих кошек, молочных бидонов, правда без молока, одинокого перестука каблуков-шпилек, лукаво и цевилно подмигивающих кукол в магазинных витринах, ведущих себя так, словно они не сдвинулись с места после того, как ушел последний трамвай,— прочь отсюда, в комнату, к свету керосиновой лампы. За ее матовым стеклом излучала яркий свет электрическая лампочка, совсем не та жалкая коптилка, которая горела дома, в послевоенное время, когда прекращалась подача тока.

В кухне, оформленной на деревенский лад, с занавесками в бело-голубую клетку, оловянными тарелками и посудой из керамики, они варили кофе и ели огурцы, спеловато-черные маслины и обжигавшие рот стручки перца, темно-красные и светло-зеленые. Язваук указал на медную кастрюлю и поднял два пальца.

— Сто марок? — ахнула Франциска.

— Чему ты удивляешься? Деньги валяются на улице... вы просто их не видите, вы, идеалисты. Вы стремитесь к далекой благородной цели вместо того, чтобы хоть раз взглянуть себе под ноги, но нет, мораль, говоришь ты, долг, говорит Шафхойтлиц, вы ссоритесь, но принадлежите к одной секте... Послушай, малышка,— добродушно до-

бавил он, — хочу тебе кое-что посоветовать. Живи и давай жить другим. И ты нравишься мне, серьезно...

Франциска посвистывала, рассматривая разложенные на столе чертежи.

— Это работа для какого-то набоба...

— Что ты, — отвечал Язваук, — Бруннбауэр, — солидный клиент, шесть сотрудников, грузопассажирский автомобиль «вартбург», спортивный «вартбург», два королевских пуделя, пре-лест-ные зверьки, и в завершение собственный дом с гаражом, террасой, солярием и прочим. Все на западный лад, правда, у него вкус жестянщика, но зато деньги, а клиент — король, и всегда приятнее — и выгоднее — проектировать такой дом, нежели типовые блоки жилых зданий. Так поступают все, вторая работа после рабочего дня, у людей появились деньги, благосостояние повышается, растут текущие счета, телевизор теперь такая же обыденная часть обстановки, как шкаф, стол и кровать, уже копят деньги на машину, приобретают участок земли в Штаузее еще до того, как в водоеме появилась первая капля воды, переезжают поближе к природе (те, кто зарабатывают побольше, лауреаты или получающие высокие гонорары на радио и телевидении, предпочитают места севернее, у моря, с современным комфортом под крышей из камыша), а мы — мы берем свою долю...

— Регер меня убьет, — пробормотала Франциска.

Он предлагал ей свои связи, заказы, клиентуру (ясно, все строго законно, он не берется за грязные дела, спекуляции и строительные махинации) и был искренне огорчен, что она не сразу согласилась воспользоваться представленной ей возможностью. Как человек, довольный своей судьбой, он желал успеха каждому, и его сожаление по адресу тех, кому в жизни не повезло, было искренним и в равной мере распространялось на всех: плохо одетых женщин, индейских детей с раздутыми от голода животами, тех, кто потерял зрение на войне, и на безнадежно влюбленных. Он не завидовал тем, кто добился большего успеха, больше приобрел, ездил на более быстрой машине. Он мог бы даже ограничить себя — к счастью, в этом не было нужды, — но он бы жестоко страдал, если бы ему пришлось ходить в поношенном костюме, в сорочке с обтрепанными манжетами или жить в комнате, обставленной уродливой мебелью, с плюшевыми одеялами, мойкой на кухне, всегда полной грязной посуды. Он любил гладкие и блестящие вещи, медные сковороды, мебель ясеневую



и Джонни, которые поклялись друг другу в верности, как звезды там, наверху. И Фрэнки была хорошей женой, все это знают (за каждый костюм она платила около ста долларов), так как любила мужа, но он дурно с ней обращался. Он дурно с ней обращался, она выстрелила в него, выстрел был меткий, и он упал, и лицо нового мужа вынырнуло из преисподней (видит бог, как дурно он с ней обращался!). В этой истории нет морали, пел под гитару Большой Билл, она не имеет конца, и рассказана она только для того, чтобы ты знала: во многих людях нет ничего хорошего...

Публика отвечала возгласами неодобрения (послышалось даже несколько вежливых свистков), недовольная своим охрипшим богом, который не рычал, не кричал и даже не давал болельщикам упиваться их собственным пылом.

Язваук снял иглу с пластинки.

— Дурачье эти юнцы.

Франциска вздохнула.

— Еще раз, пожалуйста.

С десяти лет, сказала она, тут же в это поверив, она ни о чем так не мечтала, как о граммофоне, об этой пластинке и еще дюжине других, без которых жизнь представлялась ей немислимой. Язваук молча поднял три пальца.

Воскресным утром, лежа в постели после бессонной ночи, она раздумывала над предложением Язваука. Дело чистое, большие гонорары, к тому же, если повезет, и работа будет интересная... Шафхойтлиц огорчится, возможно, будет разочарован. Ну и пусть. Нам он не поручает проекта даже обыкновенного кноски. Она уже искала повода поддаться искушению, может быть, и найти виновного... На ее жалованье можно прожить, но только сносно, думала она теперь, очень скудно, слишком короткое одеяло, невыполнимые желания. Работая у Регера, она так же мало заботилась о деньгах, как здоровый человек о своем кровообращении и нормально функционирующей печени. Ее требования к жизни, ее ожидания существовали в чистом и прозрачном горном воздухе, и успех, крылатое сказочное существо, парил высоко над изменными сторонами жизни, материальной выгодой, цифрами, счетами, премиями, ценами, чеками и всем, что можно купить за деньги.

Но здесь, в повседневной, будничной работе, не требующей отдачи всех сил, она становилась вялой. С того утра под крышей, с которой стекала талая вода, сомнения на-

стигали ее, как регулярно возникающая головная боль. Так ли действительно возвышенна и благородна наша профессия, спрашивала она себя, как мне представлялось в студенческие годы? Возможно ли в процессе строительства добиться реализации творческой мысли или хотя бы предложений, помогающих сделать более радостной совместную жизнь людей? Не пережил ли Регер самого себя, не является ли он отсталым представителем девятнадцатого века, когда ставит знак равенства между архитектором и художником? Должны ли мы сложить оружие перед индустриализацией строительства, типовыми проектами, изготовлением готовых деталей, перед необходимостью производить быстро и дешево предметы массового потребления? А если тому, что необходимо людям, можно придать красоту, то какая польза от красивого оформления отдельных зданий, если у них отсутствует общий знаменатель — объединяющая идея, связывающая их с планами градостроительства в целом?

Порой ей казалось, она поймала кончик путеводной нити, но, размотав ее, убеждалась, что шла по кругу. Порой ей до безумия надоедал этот город, и она проклинала свою работу. Тогда она принимала участие в придуманной Йзвауком игре «если-бы-у-меня-было-много-денег». Они мечтали о великоленных ларях и серебряных канделябрах, персидских коврах, парусных яхтах и быстроходных машинах «порше» или «ягуар», о путешествиях в Париж, Амстердам (роясь в старом хламе в районе Ватерлоо, они обязательно найдут подлинного Рембрандта), Лондон и Самарканд, вели крупную игру, увеличивали ставки, чтобы собственную иронию сделать похожей на правду.

Заснуть она не смогла. В десять встала, припала душ, бессонная ночь ничего для нее не значит, пока еще не значит, подумала она. Обнаженная, с влажными волосами, она села за стол, курила и читала письмо Регера. Жму руку. Всегда твой Р. На подушке со вчерашнего дня лежали фотографии и сверху — аэрофотоснимок... Живой укор, думалось мне, как и связки бумаг, наброски города, эскизы плана застройки: для их осуществления не найдется времени, останется лишь доброе намерение при случае их использовать, но такие случаи будут все реже, и в один прекрасный день все эти пожелтевшие бумаги окажутся обременительными, и ты забросишь их в ящик стола, временно, по потом, когда-нибудь вернешься к ним. Нет, никогда, тебе надоело помещение, где ты работаешь

вечерами, три раза в неделю, бесплатно, тебе никто даже не пожал руку (я в самом деле идиотка!), ты становишься разумной, ты уже усмехаешься над собственными представлениями о строгой жизни, чрезмерными требованиями к самой себе, учишься признавать реальную действительность, все это может прийти, не обязательно, но может.

Провокация: так воспринял Шафхойтлин послание, увиденное им рано утром на доске объявлений возле старой, трехнедельной давности газетной статьи и меню столовой (в понедельник, как всегда, сосиски с капустой) и недельной давности от руки написанного расписания заседаний у руководства. Он послал за фрау Линкерханд.

— Уберите это.

На кусок плотного белого картона она наклеила аэрофотоснимок, а внизу написала: «Город — самое ценное изобретение цивилизации. Как посредник в развитии культуры он уступает только языку». Она не отрицала, что сделала это с провокационной целью, которую и предполагал Шафхойтлин.

— Но обращаю ваше внимание,— сказала она,— на положительный аспект слова «провокация», если под ней понимать побуждение к действию (что допустимо) или вызов: провокация как вызов сама по себе не является ни хорошей, ни дурной, до того как вопрос «для чего?»...

Он прервал ее. Без этого хитроумия! (Не смеется ли она над ним?)

— Для нас,— сказал он,— провокация — понятие однозначное.

Она сдержалась, хотя, повесив этот кусок картона на доску, готовилась к стычке, даже была разочарована, когда Шафхойтлин лишь повторил: «Уберите это!» — и ушел в свой кабинет. Инцидент исчерпан. Глухая выходка, неуместная шутка... Когда через полчаса он, для контроля, взглянул на доску, под цитатой стояла подпись: Карл Маркс.

Линкерханд подошла тут же. Сквозь раскрытую дверь он видел, как ухмыляется Язваук, и отказался от драматического жеста — снять с доски и изорвать в клочки этот кусок картона.

— Это не шутка,— сказала она резко. Он посмотрел на нее. Франциска покраснела.— Знаете, это Мумфорд... Но ведь так мог написать и Маркс, вы не находите?

Из кабинета выскочил Ковальский, стыд и срам, рычал он и бил рукой по фотографии. У Франциски комок под-

ступил к горлу. Ковальский переводил взгляд с нее на Шафхойтлина, запрокинул голову и расхохотался.

— Ну и обломает он тебе рога! Не беда, надо уметь кое-что сносить. — Он положил ей свою огромную ручищу на плечо и прорычал сердечно и тепло: — Покажи ему зубы, дитя мое. — Он стремительно убежал, и половицы дрожали у него под ногами. У дверей своей комнаты он обернулся и сжал кулак: — Держись! Не сдавайся!

Шафхойтлин жестом предложил ей пройти в его кабинет. Он стал перед планом застройки.

— Вы подстрекаете коллег, — сказал он глухо. Ее молчание он принял за знак согласия. Итак, чего она добивается, почему затрудняет ему работу, иронизирует над нашими усилиями, подвергает мелочной критике достижения, которыми мы по праву гордимся? Вывешенная фотография с цитатой, якобы принадлежащей Марксу, является пощечиной ему и всему коллективу.

Ей мешало, что она видела только его спину и массивный затылок (он повернулся, чтобы незаметно положить руку на большой живот). «Пощечиной», повторила она: значит, он чувствует противоречие, пропасть между тем, что есть в действительности, и тем, что должно быть, между тупоумным выстраиванием в ряд блоков зданий и городом, создания которого требовали Маркс или Мумфорд, — городом, выполняющим функции посредника культуры.

— Есть у вас конструктивные предложения?

— Нет.

Шафхойтлин обернулся. Нет? — повторил он не пропически, а удивленно, как же так, никаких проектов, рожденных фантазией, никакой фата-морганы — на подлинно конструктивные предложения он все равно не надеялся, — никаких проектов, рассчитанных на будущее, на обетованный двухтысячный год, ведь именно в этом находят усладу пророческие умы, не справляющиеся с днем сегодняшним, с его буднями, предписаниями, необходимостью экономить средства, всеми его параметрами? Странно, ему недоставало того, что ранее его огорчало: того, что скрывалось за улыбкой и тоном, каким она отвечала «конечно» в ответ на его констатацию: «Вы хотите иметь все, и притом сразу».

— Еще нет, — сказала Франциска, и он почувствовал облегчение, словно на какой-то миг потерял ее из виду, как бывает на перроне, в густой толпе, и вновь ее нашел, среди множества голов и головных уборов, узнав ее по

огненно-красной паночке, огненно-красной дерзости, которую сегодня объявляют добродетелью, сомнительно, чтобы по праву, думал Шафхойтлин.

— Идей хватает, но настоящей идеи нет... Немного косметики, пусть так, но под ней то же лицо, антигород. Нам нужна совершенно новая концепция... Никаких компромиссов... Могу я открыть окно?

В комнату влетели одуревшие от солнца мухи. Порыв ветра, который растрепал Франциске волосы, сорвал со стены плач застройки и развернул его как знамя, принес с собой нежный аромат. Она спросила удивленно:

— Уже цветут липы?

Сирень, предположил Шафхойтлин. Все вокруг зазеленело, и, когда под напором ветра склонялись ветви деревьев, из-за них на мгновение показывалась красная звезда на деревянном обелиске, но ангела Аристиды я уже видеть не могла. Боже мой, я должна была посчитать по пальцам, шесть месяцев в Нейштадте, они пролетели как шесть недель. Теперь я бы уже не сказала: мне принадлежит все время на свете. Раньше я думала о жизни, моей безмерной жизни, как о горшке пшенной каши из сказки: ты черпаешь и черпаешь из него ложкой и никогда не достоешь до дна, это чудесно, горшок никогда не будет пуст... Не то чтобы я задумывалась о смерти или мне постоянно напоминали о ней находившееся перед окном кладбище или кресты, которые я видела, стоило мне лишь поднять голову от чертежной доски. Может быть, в какой-нибудь из дней, когда серые-серые тучи низко плывут над землей, почти касаясь ее, в один из дождливых дней ты краем уха слышишь доносящиеся снаружи слова проповеди о бренности всего земного. Нет, кладбище меня не пугало, оно было уютным, как заросший сад твоих или моих дедушки с бабушкой (летом, этим безумно жарким летом — ты помпишь? — когда вокруг горели леса, мы убежали из нашей раскаленной печки в тень плакучих ив, где находятся могилы представителей видных семей Нейштадта: Мроцеков, Явауков, Кубитцев), — сад, уготованный для старых крестьянок, которые с головой на белом бумажном кружеве и сложенными на груди руками почивут с миром, как уверяет пастор, после жизни, которая была превосходной, говорит он, ибо полной усилий и труда...

Лишь однажды мне было бесконечно грустно. В выходной день восьмого мая у обелисков расположился горняцкий оркестр; музыкантов никто не слушал, за исключе-

нием нескольких официальных лиц в плащах, которым не терпелось избавиться от принесенных ими всигов, и нас двоих — Шафхойтлина и меня... Я только хотела сказать, Бен: возможно, ты работаешь с большим напряжением сил, если знаешь, что не располагаешь всем временем на свете, и стремишься создать что-либо более долговечное, ибо недолговечен сам. Итак, работа как протест против ограниченности собственного существования...

— К сожалению, создания такой новой концепции я требую именно от себя,— сказала она, обращаясь к Шафхойтлину. Тот в это время массировал руку. Означает ли это, что она ставит под вопрос принципы социалистического градостроительства?

— Догмы — да,— отвечала она.

Шафхойтлин уперся ногами в землю.

— Комплексные сооружения, например?

— Большая деревня.

— Зато экономически оптимальное решение.

— Но убивающее город.

— Для вас экономические соображения не играют, конечно, никакой роли.

— А вы мыслите только категориями жилых массивов...

Они оба уже настолько втянулись в эту игру, освоили ее правила и топчайшие нюансы, что обменивались лишь обрывками фраз, аргументы и комментарии были бы только помехой. Они повторяли, бог весть в который раз, спор, возникший между ними в первый вечер, но в тоне еще более ожесточенном, словно каждый из них выступал не против взглядов другого, но против него лично, его образа жизни, части его существа, бесконечно чуждого другому. Им уже не препятствовали заграждения в виде способствующей деловому разговору вежливой формы обращения — корректных «вы», «господин» и «фрау» вместо «коллега», имя фрау Линкерхайд неизвестно и никогда не произносилось на темной лестничной клетке, на шоссе перед стремительно надвигающимися черно-зелеными холмами, заграждения сняты, и они вновь переходили на сугубо личную почву: Шафхойтлин упрекал ее в самомнении и тщеславии, Франциска называла его чиновником от архитектуры — каждый поровил оскорбить другого.

Шафхойтлин редко курил. Теперь же он должен был взять сигарету, хотя бы для того, чтобы чем-то занять руки (порой у него и в самом деле появлялось желание

дать пощечину этой беззастенчивой особе, дерзкой девчонке: едва со школьной скамьи и уже вообразила себя всезнайкой, последнее издание ее господина профессора).

— Чего вы добиваетесь? — повторил он свой вопрос. — Ведь здесь вы только на гастролях.

— А вы предпочитаете жить в Уленхорсте, — сказала Франциска. Впервые после того вечера она упомянула слово «Уленхорст». Ни разу не спросила она о милой Нетте, из страха показаться фамильярной.

Шафхойтлин молчал, так как не мог ответить: вы же знаете почему. Именно в эту минуту нельзя было намекать на посещение его семьи, поняла это и Франциска и искренне сожалела как о неджентльменском поступке о брошенном ею упреке, поставившем его в затруднительное положение. Впрочем, это продолжалось всего одно мгновение, он овладел собой и сказал:

— Вы смотрите на мир через неправильные стекла, да, да, они дают искаженное представление о действительности. Вы не видите наших успехов, жилищ, построенных для трудящихся, самой низкой в Европе квартирной платы, первого места, которое мы занимаем в мире по количеству детских садов и яслей... ведь все это видеть необходимо. — Его слова прозвучали почти как заклинание. — Мы раз и навсегда покончили со стремлением к наживе, диктуемым условиями капитализма, это достижение исторического масштаба, дома без задворков, жилые поселки среди зеленых массивов...

— Вы разрушили улицу! — воскликнула Франциска. (Почему мы не можем понять друг друга?) — Дома среди зелени, — продолжала она иронически, — гуманная мечта людей на протяжении столетий, теперь она рассеялась, с ней покончено, негодная идея, я вам это докажу.

— Беспочвенные рассуждения! — возразил Шафхойтлин.

Зазвонил телефон. Шафхойтлин взял трубку. Разговор с Берлипом, услышала Франциска еще до того, как кивком головы ей дали понять, что следует выйти из комнаты. Служебный разговор на высшем уровне, предположила она, строго доверительный. Она вышла с высоко поднятой головой, вспоминая, что в таких случаях, после длинных и бесплодных дискуссий, говаривал Регер: «Мы живем на разных планетах!» — и делал при этом величественный жест, коим его косные противники изгонялись в

холод мирового пространства, на самую далекую звезду галактики.

Вечером Шафхойтлин поднялся на третий этаж, ощупью прошел темным коридором к двери ее комнаты, за которой звучала музыка — «Болеро» Равеля, он слушал, испытывая неприятное ощущение, как если бы застал ффрау Линкерханд в двусмысленной ситуации, наконец постучал и не получил ответа, не слышал ни голосов, ни шагов, только «Болеро», теперь слишком громко, сомнительная монотонность музыки сбивала с толку, и, когда он вторично, а потом еще раз безответно постучал, его парализовал страх: разыгравшаяся фантазия рисовала ему полумрак ее комнаты, беспорядок, как после борьбы, Франциска — в чьих объятиях? — с широко раскрытыми, полуоткрытыми, закрытыми глазами и заигранная пластинка, которая все еще вращается (те ничего не видят и не слышат!), и внезапно он понял, откуда у него отвращение к этой музыке, вспомнил сцену, сцену из книги — Вайзенборн? — эту книгу — ротационная печать на грубой газетной бумаге в первый послевоенный год — и воспоминания человека в тюрьме в Берлине о своем прошлом, танцовщица, болеро... *нас обоих охевтила дрожь.*

Он как бы невзначай нажал дверную ручку, и Франциска, стоявшая на коленях на коврике, сказала:

— Ах, это вы, — словно ждала его, и не дала ему времени для обычных извинений — на автобус слишком поздно — и тем более для используемого как предлог заявления о том, что до конца недели ей придется освободить лавку. Она была так счастлива...

— Новая игрушка? — спросил он сухо, когда уселся, чтобы терпеливо прослушать одну, только одну пластинку: фава играет на флейте в послеполуденный час. В глазах Франциски он видит лето, лесную поляну, солнечные блики, слышит сладковозвучную флейту Папа, слышит сладостный и первобытный запах малины, июльской травы и тимьяна, тления и жары, исходящий от лесной почвы и косматой козлиной шкуры. Хорошо? Она улыбается мечтательно, полусонно. Он кивает, вместо того чтобы сказать: чепуха.

Пока она готовила на кухне чай: слабый, не правда ли? — значит, это она запомнила, — он спросил о той книге. Да, Вайзенборн, подтвердила она. Она считает его возвышенным... Почему? Это просто чувствуют, крикнула она из кухни. О ротационной печати она помнить, конечно, но

могла, тогда ей было не больше девяти. Франциска внесла чашки и чихнула за спиной Шафхойтлина — очень уж натерся одеколоном.

Он не знал, как быть дальше. Пока он пил чай, горячий, как кипяток, и поверх стакана разглядывал лежащие на столе книги, статистические ежегодники и брошюры с материалами последнего партийного пленума, между страницами которых были заложены многочисленные закладки: заколки для волос и спички. Под стопку книг она незаметно сунула западный детектив.

— Я собрала потрясающий обличительный материал, как цифровой, так и прежде всего характеризующий тенденции развития, — заявила она, с нетерпением поглядывая на Шафхойтлина, который молча маленькими глотками пил чай и хотел, чтобы она не заметила его слишком новый и слишком смело разрисованный галстук, свежеракрашенную сорочку и костюм, надеваемый только по воскресеньям. — Тенденции развития! — повторила она.

Так как он хранил молчанье, она вынуждена была продолжать, привела цифры роста населения, интенсивности движения и расширения городов за истекшие десять лет, обрисовала ему последствия этого развития на протяжении будущих десяти, двадцати, тридцати лет — катастрофические последствия, если мы в ближайшее время не внесем коррективы в наши представления, а следовательно, и в наши планы, — и спрашивала Шафхойтлина, какими он, — высказитесь, пожалуйста, — представляет себе через двадцать лет человеческие жилища, образ жизни людей, их возможные, предполагаемые, условно оцениваемые, заранее предусмотренные потребности: к сожалению, риторический вопрос, так как даже существующие сегодня желания и привычки не подвергаются точному исследованию.

Она была безличной, как демонстрируемые ею статистические материалы, деловитой, обескураживающе деловитой, как она надеялась, и в манере держать себя не допускала никакой фамильярности, даже намек на улыбку, когда наливала ему второй стакан чаю. Она заметила смелый рисунок галстука, приберегаемый для торжественных случаев костюм и шелковый платочек в нагрудном кармане.

Шафхойтлин отодвинул стакан. Без смягчающего, заранее им подготовленного предисловия он передал ей распоряжение освободить лавку возле ушивера.

— Ах,— сказала Франциска. Ее нижняя губа задрожала.

Он представил себе, как встает, обходит вокруг стола, притягивает ее голову к своей груди (вдыхает аромат ее кожи, слабо пахнувшей апельсинами), гладит ее лицо, эту горестную мордашку, чувствует под пальцами ее волосы, пушистую ямочку на затылке, шелковистость рыжеватых завитков, но в это время он сидел на стуле, массировал руку и знал: этого никогда не будет, никогда, ни при каком удобном случае. Удобный случай! Жалкое выражение... Ему и впрямь было жаль ее... И напрасно. Она уже снова смеялась, иронически, казалось ему, словно она его разгадала, это было утешение, желательный предлог, чтобы погрузить пальцы в копну ее волос.

Он был разочарован. Ничто глубоко ее не трогает. Буйная восторженность тогда? Мгновенная вспышка. Он не понял, что она смеялась над собой. Тенденции, перспективы, растущие ввысь города — завтра, сегодня же — отсутствие даже небольшого помещения размером каких-нибудь двадцать метров.

— Вы ведь знаете, это временная мера,— с укором сказал Шафхойтлин.

Временная. Она возмущалась, чтобы не показать, насколько она подавлена, нападала на него, словно он виноват в случившемся. Решение переходного периода, естественно, как весь этот временный город, его временные улицы и временные планы (и как моя временная жизнь, добавила она про себя). Нет, здесь работать нельзя!

Он сделал все, что мог, но она этого не ценит, ибо не знает стоящих перед ним проблем, ежедневно сваливающихся на него неприятностей, слишком узок ее кругозор.

— Я хотел бы, чтоб вы хоть неделю побыли на моем месте,— сказал он, неудачная шутка, о которой тут же пожалел, она могла принять ее за серьезное предложение.

— Знаете, она кое-что для меня значила... эта консультация... и люди, ее посещавшие... Мы беседовали о городе, так уж выходило, я многому научилась, просто прислушиваясь к разговорам. Мне кажется, здесь, в бюро, я нахожусь под стеклянным колпаком. Вокруг пустота, никаких откликов... Что же, ничего ведь не изменить,— сказала она в заключение и несколько рассеянно, думая при этом: не на его место, но подле него, почему бы и нет? Своего рода ординарец. Быть в центре событий. Знать, какая ведется игра... Ослепленная открывшимися возможностями,

воспламененная новой идеей, еще не подумав, как отнесется к этому Шафхойтлин, она отбросила прочь свое разочарование, как тягостную ношу. Фанфары впереди.

Шафхойтлин ждал, он предвидел возможность обвинений, вспышку сумасбродной фантазии, теперь ему следовало бы проститься и уйти, но он остался: из педагогических соображений. Чтобы вернуть ее к действительности, если она начнет фантазировать... Он охранял ее лоб, ее брови — черные, изогнутые в полете крылья. Его нервировало ее молчание, а также ее поза, не прямая и строгая, как обычно. Она подтянула колени, обхватив их руками, и слегка покачивалась. Терпение! Он пил чай. Ему стало жарко.

— Ваш проигрыватель не выключен, — сказал он. Она продолжала раскачиваться.

— Да? — сказала она. Ее глаза слабо светились желтым и твердым янтарным блеском. Шафхойтлин наклонился, поправляя шнурки от ботинок, иногда он просто не мог вынести ее взгляда. Нет, решила Франциска, хотя сгорала от желания осуществить свою затею, сначала, возможно, в шутку... Его красная, чисто выбритая шея (как тогда, на ступеньке жилого вагона), обилие вылитого на себя одеколона, юношески кокетливый галстук... пет, скатать этого она не могла, здесь, в домашнем кругу (в интимной обстановке), при свете лампы, за закрытой дверью, когда они вдвоем. Она чувствовала, что не по-рыцарски: тоже школа Вильгельма.

К счастью, Шафхойтлин вспомнил, что ему надо еще передать ей приглашение на бал в субботу, весенний бал, устраиваемый Технической палатой, — бал, уже ставший традицией для Нейштадга, вернее, для нейштадтской интеллигенции, ежегодным событием для местного общества. На какой-то момент его огорчила внезапная смена ее настроения, забывчивость этой маленькой женщины, которая может так быстро утешиться одной лишь перспективой предстоящих танцулек, он, Шафхойтлин, воспринимает их только как долг, служебную обязанность, но потом его захватила ее радость, сияющее лицо.

— Настоящий бал, и дамы в вечерних туалетах? О господи, а у меня нет длинного платья. Скажите, что же мне надеть?

Ей недостает родного города, подумал он, театра, танцев, концертов на террасе II-ского дворца над рекой, ожерелья огней над мостами, премьер, гастролей разных зна-

менитостей из Берлина, Праги, Парижа. Что имеет она в Нейштадте? Статистические ежегодники, пивную, пользующуюся дурной славой, два раза в неделю кино в школьном зале... Как многие провинциалы, Шафхойтлин в преувеличенно розовом свете представлял себе картины вечерней жизни большого города: массовые пародные гулянья, гигантский парк культуры, повсюду толпы людей, зрители, атакующие кассы кинотеатров, подобная сверкающему магниту центральная часть города, выманивающая людей из их домов и электричек, дымное, в отвесах пламени ночное небо, театральные ложи, окаймленные алым бархатом, красные глаза светофоров... За три года, проведенные им в Берлине, он был всего один раз в театре на Шиффбауэрдамм (другие были заботы!). Находясь в командировках в Лейпциге или Берлине, он читал объявления на вокзалах и афишных тумбах, множество предложений приводило его в замешательство, слишком обильное меню: бега и кабаре, старый джаз и симфонические концерты, Марсель Марсо и Хачатурян, «Мейстерзингеры», «Матушка Кураж», Латерна магика, Гуттузо, велогонки, Корс, рекламные плакаты кинотеатра «Камера», ветчина и бефстроганов, омлет с фаршем и мороженое пломбир. Какое изобилие! Эти афиши вызывали у него боль в желудке. Но Франциска? Она все впитывала, думал он, все жадно глотала, теперь она страдает, понятно, такая молоденькая... Он смотрел на нее с ласковой улыбкой.

— Не ждите слишком многого. Это не бал, какой можно увидеть в кино. Милое скромное платье, не бросающееся в глаза...

— Совсем простое, и стоячий воротничок, — обещала она, и действительно, когда в субботу Шафхойтлин встретил Франциску у автобусной остановки, он увидел под ее пальто зеленый стоячий воротничок. Но ему не понравились серьги с подвесками, длинные сверкающие капли, страз или как там эта мишура называется. Остальные уже сидели в автобусе: статистики, инженеры, архитекторы с женами. Несмотря на то что места там были одинаковые, все расселись группами так, как они сидят на работе: маленький Граббе один, супруги Ковальские и Кёппель с брюнеткой решительного вида, Шафхойтлин жепу с собой не взял. Он не объяснял причины, она всем была известна, только фрау Ковальская заметила, что это несправедливо. Когда будет следующий бал, она возьмет к себе детей, а ее

мальчик (сам Ковальский) один раз повеселится без нее, этого он ждет уже давно.

— Двадцать лет, — сказал улыбаясь Ковальский и погладил ее руку. Она была привлекательной женщиной лет сорока или сорока пяти и не прибегала к косметике, чтобы скрыть свой возраст. Ее волосы были белыми как снег, будто поседела она сразу, за одну ночь, может быть за одну минуту, но ее приветливое и открытое лицо не оставляло места для предположений о каких-либо трагических происшествиях в семье. В автобусе Ковальский все время держал ее руку в своей.

К подъезду то и дело подкатывали такси. Сквозь окна балльного зала свет падал в запущенный сад, на каштаны и на площадь, где стояли автобусы, служебные машины, «волги», водители которых, столпившись кучами, курили, спокойные, привыкшие к долгому ожиданию. В коридоре, как обычно, пахло мочой и порошком для мытья полов, но танцплощадка на одну ночь преобразилась в балльный зал со столиками под белыми скатертями и стульями вместо садовой мебели, полотнища тканей прикрывали места, где штукатурка была особенно грязной, свет сотен лампочек отражался в блестящем паркете. Лишь два веера из серебряной и красной глянцевої бумаги напоминали о субботних танцульках.

Франциска была рядом с Шафхойтлингом, здесь, казалось, все звали друг друга, и она опять почувствовала себя новичком, когда в коридоре и у гардероба пожимала множество рук, среди гула голосов и фокстрота, который играл оркестр, не разбирая певнятно произнесенные фамилии.

— Шикарный Шульце, — шепнула ей на ухо Язваук, указывая на барона Шульце в костюме от лучшего портного, представительного мужчину с глиняно-желтой кожей. Разговаривая, он едва шевелил губами, видимо, считал роскошью даже те скудные фразы, которые он произносил над головой низкорослого Шафхойтлина. Он производил впечатление человека, выбирающего только полезных ему друзей — Шафхойтлин к их числу не относился.

Франциска смотрела ему вслед, когда он шел сквозь толпу, ни разу не посторонившись, не обращая внимания на окружающих и не выбирая дороги, и тем не менее умудрился никого не толкнуть и даже не задеть.

— Был высоко в верхах, — заметил Язваук. — Нелегко ему дается это понижение до районного масштаба. История с женщинами...

Ему были известны пикапные детали, и он бы немедленно их выболтал, если бы не был отвлечен серьгами своей приятельницы, сверкающими камнями, которые он должен был рассмотреть, а затем потрогать. Вос-хи-ти-тельно! Какие грани! Какая игра света! Он поцеловал копчики пальцев. Франциска дважды взмахнула рукой с растопыренными пальцами.

— Сто?

— Тысяча,— шепнула она.

Это его сразило. Она улыбнулась и на его немой вопрос ответила шепком: «Остатки жалкие праздника пышного».

Шафхойтлиц, мрачно наблюдавший этот язык жестов, помог ей снять пальто. Он стал пунцовым и торопился, опасаясь потерять или, что еще хуже, оставить в пальто какую-нибудь часть туалета. Очень мило, пробормотал он, боясь, что она сочтет его провинциалом. Лишь когда они шли к столу, он отважился бросить взгляд на ее обнаженную спину и родинку между лопатками. Пересекая зал, он находился в состоянии полного смятения, словно проходил сквозь строй. Они подсели к Ковальским. На сцене добросовестно трудились два оркестра, один играл рейнскую польку, другой — твист для молодежи, кларнетист наяривал вовсю. Он играл здорово, а когда перестал играть, скучающе смотрел в зал, сморкался в клетчатый платок или прохаживался перед сценой, чтобы пропустить рюмочку, как утверждал Язваук. Язваук поклонился.

— Очень сожалею,— сказала Франциска. Она посмотрела на Шафхойтлица.— Первый танец я уже обещала.

Темпераментный партнер Аннетты корректно провел ее среди танцующих пар. Он не знал, куда девать свою правую руку, и весь вспотел. Он злился на Язваука, обнимавшего Франциску и как бы шутя поглаживавшего ее спину. При этом Язваук болтал без умолку и заставлял ее смеяться. Они танцевали, демонстрируя солидную практику: близкое знакомство, даже интимность, подумал Шафхойтлиц. Он потерял их из виду и лишь во время следующего танца вновь увидел их сосредоточенные лица акробатов, их непрерывно двигающиеся и подергивающиеся бедра, ляжки, колени, отброшенную далеко назад верхнюю часть корпуса у обоих и голову Язваука, почти касающуюся паркета. Они разгорячились, и Франциска залпом выпила стакан вина.

— Осторожнее,— сказал Шафхойтлиц,— вам жарко, так можно испортить себе желудок.

Фрау Ковальская набросила Франциске на плечи свой вязаный шарф.

Шафхойтлиц пригласил фрау Ковальскую на обязательный танец и увел ее в толпу танцующих.

— У вас милая жена,— сказала Франциска.

Язваук танцевал с девушкой, светлая коса которой раскачивалась, как маятник.

Ковальский, по-видимому, охотно говорил о своей жене.

— Ангел,— сказал он. Много лет она руководила домом для сирот. Сирот не в обычном смысле этого слова: их родители сбегали на Запад, бросив детей на произвол судьбы, одних в вокзальном зале ожидания, других в пустой квартире, где их нашли соседи, больных, умирающих с голоду, по уши в грязи.— И всем она была матерью! — гордо произнес Ковальский.— В Нейштадте она должна была возглавить дом для престарелых, но его перестроили в гинекологическую клинику, так как в новых домах не было ни одного пенсионера, ни одной старушки, зато огромное количество новорожденных — подлинный взрыв, детский бум,— и Ковальский разразился драматическим и язвительным смехом по адресу профессора Панкраца.— Теперь она работает с трудновоспитуемыми детьми. С чем только она не сталкивается! С какими обстоятельствами! И всегда тещевые стороны жизни...

— Но она выглядит такой счастливой,— заметила Франциска, говорившая лишь то, что чувствовала,— в этом мире она как у себя дома.

По его крупному лицу пробежала тень, он молчал. Они никогда не говорили о своем сыне, хотя у них достало бы сил говорить о нем, не демонстрируя, как медаль, свою скорбь. Страдание стало частью их жизни, столь же естественной, как кусок клеточной ткани, не та острая боль, которую необходимо каждый день заглушать заново, работой хотя бы. Они не воздвигли ему алтарь, его фотографию не украшали ни цветы, ни черные ленты. Неугомонный двенадцатилетний мальчуган, будущий конструктор невиданных мостов через Ла-Манш и Гибралтарский пролив. Он умер на глазах своих товарищей, видевших, как, прыгнув с трамплина, он сделал в воздухе сальто, видели его поджарое, блестящее от пота мальчишеское тело, вниз головой прорезавшее хлористо-зеленую водную гладь, и несколько мгновений ждали его крика на другом конце бассейна, победного крика, но так его и не услышали.

Когда жена возвратилась к столу, выражение лица Ковальского изменилось, он прорычал:

— Извини, должен покружиться с малюткой.— Мощными руками каменщика он почти нес Франциску по сверкающему паркету. Танцуя, она взяла цветок из вазы на пустующем столике и, склонившись перед фрау Ковальской, сказала: «Для вас». Она принесла ей свое почтительное уважение, свое сердце, жаждущее кем-то восторгаться. Фрау Ковальская, не жеманясь, заткнула цветок за ухо. Франциска покраснела и, улыбаясь, сказала:

— Однажды наш учитель математики, войдя в класс, бросил девочкам розу. «Самой красивой!» — сказал он. Произошла настоящая свалка... Забавный старикан! Мальчишкам он imponировал, так как отлично исполнял упражнения на турнике, не вынимая изо рта сигары... Мунго, король обезьян — так называло его множество поколений школьников... Он курил также на уроках, а если читал газету, то продельывал дырку, как учитель в том фильме...

— Наш тоже был ничего себе тип,— включился Язваук,— обрубок, карлик, уже за пятьдесят,— но Ковальский перекричал Язваука и оркестрантов, старавшихся в поте лица превратить «Down by the riverside»<sup>1</sup> в невообразимую истерическую какофонию. У него в запасе был учитель латинского языка, штудиенрат, одержимый каптиапец и мастер метко швырять куски мела, связки ключей, словари (мишенью, конечно, была голова ученика по фамилии Ковальский). Теперь рассказывали все сразу, перебивая друг друга, школьные истории.

Шафхойтлин наклонился над столом:

— И роза досталась вам?

— Что вы, я... я была похожа на мартышку.

Язваук толкнул свою подружку под столом. Старик расточителен, такого еще не было: Шафхойтлин заказал уже вторую бутылку вина. Он хотел пригласить Франциску танцевать, однако колебался, боясь обратить на себя внимание, и, кружась в танцах, предписанных железными законами провинциального городка, высматривал в общей сутолоке смуглую спину. За столом он сидел с обиженным выражением лица: после каждого танца Франциска сообщала ему новости с комбината или из Управления района комплектования, например о договоренности с главным архитектором города построить гаражи, более того, об обе-

<sup>1</sup> «Вниз по реке» (англ.).

шании председателя Совета капитально отремонтировать в следующем году их гнусный барак.

— Он обещал это уж три года, — сказал Шафхойтлин. Как ловко она действует... Эта уверенная улыбка; видно, ищет связей... Он выпил три или четыре стакана вина, желудок явно протестовал: жидкий свинец.

За многими столиками с треском вылетали пробки из бутылок шампанского. Эстрадный ансамбль во главе с кларнетистом проследовал в импровизированный бар. Музыканты песли перед собой свои голубые эмблемы, за ними последовало множество молодых людей.

Поле битвы осталось за вторым оркестром, и он играл во всю мочь, трубач снял пиджак, музыканты вошли в раж, любая мелодия у них обязательно переходила в марш. К полуночи они все сидели на сцене без пиджаков. Гул голосов становился все громче. Одного официанта танцующие пары так затолкали, что он уронил поднос с бокалами. Женщины хохотали. Язвак с девушкой, обладательницей белокурой косы, направился в бар, он подмигнул Франциске: рыбка клюнула.

Шафхойтлин распахнул окно и почувствовал на лице дуновение свежего ночного воздуха, прорвавшего дымовую завесу за его спиной.

— Вам весело? — спросил он.

Франциска подошла к нему и прислонилась к окну. Ночь была ясная, небо полно звезд. Сквозь ветви каштанов видно было светящееся красное неоновое «Б» над бензоколонкой. Мужчина и женщина шли обнявшись через палисадник, остановились под деревьями и поцеловались. Мужчина одной рукой опирался о ствол дерева.

— Вот вам и бал, — сказала Франциска.

— Всегда одно и то же, — отвечал Шафхойтлин.

Через рукав пиджака чувствуя тепло ее тела, он не двигался и ни о чем не думал, только смотрел в сад на парочку, целующуюся под каштанами. Автомобиль повернул к месту стоянки, свет фар скользнул по деревьям, по мужчине и женщине, одно мгновение он ясно видел ее поднятое вверх лицо и жилы на вытянутой шее. Она была немолода и, целуясь, закрывала глаза. Мужчина поддерживал ее одной рукой и мимо ее лица смотрел на свои часы.

Франциску знобило. За ее спиной неистовствовали тапчущие, как в тот субботний вечер... внезапно меня охватил страх, я боялась обернуться.

Мечта не сбылась, думала я, чуда не произошло.

Через некоторое время я возвратилась к столу, и фрау Ковальская укутала меня своим шарфом. Шафхойтлин остался стоять у окна. Он, кажется, неважно себя чувствует, сказала я.

— Что с ним? — спросила фрау Ковальская.

Франциска ничего не ответила. Человек с перебитым носом подошел к их столику. Проходя мимо, он как бы случайно положил руку на спинку стула и наклонился к Франциске.

— Потанцуем или спустимся в бар?

— То и другое, — сказала она.

Музыканты играли медленный вальс на своих скрипках. «Белая сирень»? Человек стоял возле столика с насмешливым и в то же время безучастным выражением лица. На нем был черный пиджак и черно-серые в полоску брюки, так называемый вечерний костюм, в котором он выглядел элегантнее, чем полагал или намечался выглядеть, и носил его так, словно надел первый попавшийся. На Франциску это произвело впечатление, поэтому она пыталась над ним подсмеиваться. Ей еще не приходилось видеть мужчин в вечернем костюме, разве что в английских фильмах, действие в которых происходило неизвестно когда и неизвестно где — если только густой туман не рассеивался над Биг Беном или Тауэром или джентльмены неопределенного возраста, сидя в клубе, мирно не дремали над развернутыми страницами «Таймса».

Он танцевал плохо, возможно лишь потому, что был рассеян, и не старался поддержать разговор. Франциска сказала мягко:

— Мы танцуем английский вальс, насколько я помню по урокам тащев.

— Скорей йоркский марш,— возразил он, осторожно вальсируя и держась от Франциски на расстоянии вытянутой руки.— Впрочем, мне никогда не приходилось брать уроки танцев.

Вальс закончился, и он отпустил ее. Они стояли рядом, не хлопая в ладоши, как другие пары, и она подумала: сейчас будет обязательный танец. Оркестр вновь заиграл.

— Танго,— сообщила Франциска. Она положила ему руку на плечо, заметив: — Учтите, я не пакет с дипамитом.

Он обнял Франциску, потянул ее к себе, и она пошла ему навстречу, один маленький шаг, и пройден длинный путь, начавшийся в рассветной стране ее детства, где-то в глухом переулке между живыми изгородями из дерезы, а когда они встретились, она положила голову ему на грудь, не подозревая, что в этот миг уже выбрала роли для себя и для него. Ей не нужен был повод, предоставляемый танцем в толкотне разгоряченных тел, она позволяла держать себя и покорялась обнимавшей ее руке. Они едва двигались в этой давке, но у нее кружилась голова, словно она, закрыв глаза, стремительно, о ты, моя долина Неккара, обегала тот уголок на школьном дворе, который был, как циркулем, очерчен следами девичьих туфельек.

Двадцать или тридцать лет назад танго пользовалось огромной популярностью, его играли и танцевали в кафе и танцевальных залах всего мира, приятно слушать его и сегодня, думала Франциска, несмотря на то что на сцене без пиджаков восседают любители пива, музыканты, пытающиеся яростным пиликаньем, игрой на тарелках и оглушительными ударами в литавры подстегнуть танцоров — так держать, Марш Старых Друзей. Затем ей почему-то пришло на ум слово «жалюзи», и она вновь узнала никогда не виданную ею рыночную площадь, город на юге, белые домики, полуденная жара, зеленые ставни, за которыми сверкают глаза, глаза ее матери, холодные и черные, как дуло ружья, а южный город уже окутан туманом от реки, лампочка над дверью освещает решетку и обвалившиеся ступени, входи, входи, говорит голос ее матери, но она больше не повипуется ей, еще бы раз, на прощание, насладиться видом голубой гостиниой, сада, уютного в солнечном свете за жалюзи, полосами от солнца на полу, тенью, падающей на ее школьную тетрадь, Вильгельмом, который скручивает ей волосы на затылке.

Они остановились на паркете, не отпуская друг друга.

— Фальшивые драгоценности вам не к лицу, дорогая,— сказал он.

По сигналу ударника оркестр смолк. Дорогая, подумала Франциска, которой вдруг захотелось найти основание считать пезнакомца неприятным человеком, дорогая — это уже достаточно скверно, но фальшивые драгоценности! Он взял ее за локоть: с комплиментами у него ничего не получается, сказал он, когда они направлялись в бар, к тому же он плохой танцор, танцы не доставляют ему удовольствия, разве что с очень крупными рыжими жеццинами.

На ступеньках, ведущих в бар, сидели молодые люди, зажав между коленями бутылки с вином, и надрывались, стараясь перекричать музыкантов, о чем-то спорили и пели «Счастье, что мы не пьем». Франциска глянула вниз, на этот адский котел, в котором мелькали и сталкивались руки, ноги, головы, а на стенах вспыхивали мрачные красноватые отблески огня. Ей подмигнул Язваук, он крепко обнимал белокурую девушку, танцуя с ней на пятачке, достаточно разве, чтобы поставить ноги. Франциска подмигнула в ответ и улыбнулась с тем чувством радости, с каким путешественник, оказавшись на неведомых улицах чужой страны, где его на каждом шагу подстерегают опасности, встречает старого знакомого. Она почувствовала себя спасенной. Она еще могла выбирать.

Сойдя со ступенек, она окупулась в адский шум и ни разу даже не обернулась: я его придумала, говорила себе Франциска, этой прихотью она еще не поступилась, а путь через подвальное помещение со сводами и мерцающими на стенах красными отблесками оставлял ей достаточно времени решить, хочет она приблизить к себе свое творение или нет.

— Водка, два раза,— произнес мужской голос за ее спиной.— Или хотите переменить марку? — спросил он с опозданием. Барон Шульце стоял возле жены директора комбината; эта робкая серая мышь сидела как загнипоти-зированная на высоком табурете и смотрела ему в рот; он держал в руке бокал, полный вина, и выглядел абсолютно трезвым.

С бокалами в руках они протиснулись сквозь толпу танцующих, люди сзади напирали, возможно, их подталкивали другие, все смеялись и кричали, один упал на литавры, и все, за исключением ударника, пошли это забавным.

— Не бойтесь, сейчас эта давка кончится,— сказал незнакомец. Одной рукой он оперся о стену, за его спиной стоял неумолчный гул, и наклонился к Франциске.

— Троянович.

— Простите, как вы сказали?

Прошло некоторое время, пока она попяла, что он вышел из мрака неизвестности, что теперь она может обратиться к нему по имени или кому-то сказать о нем: господин Троянович, или: этот Троянович, или: некий Троянович...

Я была поражена, словно только что названное тобой имя бесповоротно сделало тебя частью реального мира, который я могу видеть, чувствовать, обонять, пробовать. Исходивший от тебя, несмотря на вечерний костюм, мыло, туалетную воду для волос, запах дизеля, запах водителя машины, постоянно имеющего дело с документами, анкетами, пропусками на завод, номерами машин, профсоюзными книжками, справками об уплате налога, ключами от зажигания, от входной двери, от шкафа... Шрамы на твоей шее, под правым ухом и по всему затылку я обнаружила позднее — вьюга маленьких белых рубцов. У них своя история, взамен которой я не могла придумать никакой иной: ни раны, полученной на войне, он слишком молод и не мог быть солдатом, ни несчастного случая или перестрелки во время схватки с бандитами или, может быть, какого-то происшествия, случившегося в послевоенные годы, взрыва, например, среди бела дня, во всяком случае чего-то необычного, выходящего за рамки обыденной, заурядной жизни, моей, скажем... Я не могла больше распоряжаться тобой. Я ничего больше о тебе не знала — в момент, когда ты мне представился, ты стал Неизвестной Страной, непроезжей (уходящие годы оставляют после себя тяжелый опыт и густые, тропические леса воспоминаний), с трудом поддающейся исследованию, да и то не до конца.

Он произнес тост по-русски, насколько она могла разобрать в этом шуме. Они выпили. Франциска опиралась о стену, на которой, отражаясь от красного станиоля, мелькали блики огня. Чтобы увидеть кого-нибудь, ей надо стать на цыпочки и выглянуть из-под его руки, которую он все еще держал вытянутой, оберегая Франциску, хотя теперь в этом не было нужды, так как все танцевали или толпились вокруг музыкантов и ожидали кларнетиста, который, наклонившись над стойкой, рассказывал жене ди-

ректора комбината анекдот, не отказывая себе в удовольствии довести до ее понимания самую соль остроги. В эту минуту, и как раз вовремя, барон Шульце помог ей сойти с табурета, расплатился и направился к ступенькам, а кларнетист ухмыльнулся, ну наконец, здесь он только мешал. Троянович смотрел им вслед. Шульце разрезал толпу, как щука стаю мелких рыбешек.

— Вы знаете его? — спросила Франциска.

— Мы интимные враги.

Щелчком он выбил из мятой пачки две сигареты самого дешевого и нестерпимого сорта, который ей когда-либо приходилось курить. Она чуть ли не задохнулась от кашля.

— Мужайтесь, леди, — сказал он. — Курите «Кенти» — прелестные сигареты. «Кенти» — это для мужчин, которые управляют жизнью. Кто курит «Кенти», не боится атомной бомбы.

— Вы работали в рекламе?

Он молчал и курил.

— В газете? — воскликнула Франциска.

— И там тоже, — сказал он недружелюбным, запрещающим дальнейшие вопросы тоном, который она уже знала, как и замкнутое лицо, дверь захлопнулась, и она оказалась по другую ее сторону. Так как он ничего более не говорил, а водку они уже допили и погасили окурки сигарет, она первой сказала: «Пойдемте!» — однако негромко или недостаточно решительно, во всяком случае, он пропустил это слово мимо ушей. И заговорил о ней, о фрау Лишкерханд, о ее работе и, следовательно, о Нейштадте, который назвал пещерным логовом телезрителей, городом неиспользованных возможностей, — пример градостроительного краха, строго добавил он и так взглянул на Франциску, словно именно ее считал ответственной за этот крах. Протестовать было бесполезно: он тотчас же обрывал ее, повышал голос, хотя и без того говорил слишком громко, как человек, привыкший выступать перед классом или многочисленной аудиторией. Крах, утверждал он, ибо город не выполняет возложенных на него функций, не способствует, а препятствует развитию коммуникабельности, не объединяет, а разъединяет жителей, работающих в различных отраслях.

Ампутированный город! Он с силой выдохнул дым, с опозданием заметил, что забыл о Франциске, и протянул ей смятую пачку сигарет, а затем спичку, но рассеянно,

не прерывая беседы, по существу представлявшей собой монолог, лекцию, рамки которой он раздвинул необычно широко, унесясь в далекое прошлое, в древний Вавилон, Афины, Рим, Византию, описал дугу сквозь века и страны, избрав из столиц нового времени (последнее он понимал исторически) Лондон, Берлин, Петербург, подвергнув попутно анализу такие важные процессы, как индустриализация, урбанизация, организация рабочего класса, становление революционных традиций, и в заключение вновь вернулся к Нейштадту — городу-спальне, сказал он с язвительным ударением на последнем слове. Его указательный палец целился во Франциску. Заметила ли она, как чутко реагирует язык, создавая для определенного явления словообразование, которое уже в себе самом содержит критику этого явления? Разоблачающее слово: за городом, который характеризуется подобным образом, признается право на выполнение только одной функции — он предоставляет жилище, место для сна, дверь, которую можно запереть за собой, возможность заняться давно известной игрой — в семейную жизнь, протекающую между столом и кроватью, не более.

Кларнетист брел в полусне через бар к своему месту, и люди уступали ему дорогу. Он едва держался на ногах. Волосы свисали у него на лоб и на глаза с красными прожилками. Некоторое время он тянул волынку и бездельничал, возможно со злости, от желания подразнить скучающую публику, затем из дымного воздуха выловил нужные ему трезвучия, лениво поиграл ими, отбросил прочь, и они, вылетев из его длинных усталых пальцев, взвились вверх и растаяли.

— Шафхойтлиг тоже сдал,— сказал этот Троянович, знающий, казалось, всех на свете.

Кларнетист топнул ногой. Сейчас вы кое-что услышите... Франциска обернулась, словно ее позвали по имени. Поразительно чистый и глубокий звук произвал шум в зале, и все ее существо трепетно откликнулось на этот призыв: да-да. Когда незнакомец говорил о Берлине, она не сразу поняла, зачем ему это понадобилось. Но, окинув беглым взглядом прошлое, увидела точку, где линии пересекались, Шафхойтлиг, некий Троянович, две мыслино проведенные в системе координат линии жизненных путей, пацарапаншье на карте страны — зоны, Восточной Германии, республики. Пути ветеранов лет тридцати — сорока, которые встречались на станциях Зоза, Брухштедт, Висмут,

Сталин-аллее, Шварце Шумпе и встретятся вновь в Шве-  
те, Боксберге и бог знает где, на какой-нибудь сегодня еще  
не существующей электростанции, в еще не проектируе-  
мом городе. Итак, точка пересечения: Берлин. Она не  
спрашивала когда. Когда же все-таки? Они знали друг  
друга еще в пору, когда мы переводили «Bellum Galli-  
cum»<sup>1</sup>, разбирали «Ифигению», рисовали красный, белый,  
розовый почечвет и стирали с классной доски красный, бе-  
лый, розовый мел. Они построили все плотины и все за-  
водские трубы, привели в порядок все печи, уложили все  
трубопроводы, проделали всю геркулесову работу в мире,  
пока мы на большой перемене выбегали во двор, пили  
молоко, а на уроке танцев разучивали медленный  
вальс.

Она встала па цыпочки, никто уже не танцевал, и она  
могла разглядеть его лицо, но не глаза. Троянович больше  
ничего не говорил. Музыкашты играли, как обычно, по  
тихо, на то время, которое петрезвым рукам и губам тре-  
бовалось, чтобы найти нужную мелодию, они отпускали в  
путь кларнетиста одного, по длинной пустынной дороге,  
по которой не осмеливались следовать за ним, по дороге  
слепых певцов и покинутых молодых женщин, ищущих  
своих мужей, мужчин, проклинающих дождь, голод и эту  
дорогу, исполненных страха и надежды, бредущих на из-  
раженных ногах, позволь нам вернуться домой, о позволь  
нам вернуться домой, дорогой всех черных и белых людей,  
несущих блюз на кончиках своих башмаков, в воде и вод-  
ке, в почтовых ящиках и под подушкой. Он боролся, в му-  
чениях, с дрожащими коленями взбирался вверх, втянув  
голову в плечи, словно чья-то рука пригибала его к зем-  
ле, и жаловался каждому, кто хотел его слушать: пуст  
мой дом, и порой мне кажется, пуст весь мир...

Троянович сердито нахмурил лоб, словно бы оскорб-  
ленный непристойным зрелищем. Они вырывают себе серд-  
це из груди. Внезапно девушка показалась ему выше, лицо  
ее более худым, жарким, страстно самоотверженным. Но в  
ней чувствовалось и какое-то внутреннее сопротивление.  
Нет, он вовсе не хотел быть свидетелем экзотического во-  
сторга, которого не понимал, более того, не разделял. Он  
понял, что ошибся, никто его не ждал здесь. Однажды она  
показалась ему трогательной, тогда днем, в субботу, ког-  
да наклонилась над своей сумкой, беззащитная перед ли-

---

<sup>1</sup> «Галльская война» Юлия Цезаря (лат.).

цом всех злых духов (ее лицо я мог бы прикрыть ладонью). Итак, ошибка, к счастью, ничего непоправимого не произошло. И все же он чувствовал себя чем-то растревоженным: промелькнувшей тенью, повеявшим на него холодком, мыслью о том, как легко ему удалось оказаться в стороне от этой и всяких иных историй.

— Что? — спросила она протяжно, хриплым голосом. — Он кое-что умеет, слышите?

Жидкие, почти недовольные аплодисменты. Кларнетист скорчил гримасу, он вспотел, и капли пота, как слезы, стекали с его висков и носа.

— Сожалею, на меня это не действует, — сказал Троянович.

Он смотрел на ее рот, на зубы между полуоткрытыми губами, и на душе у него было так, словно в последнюю минуту он ускользнул от какого-то рискованного предприятия. Теперь он мог позволить себе повторить неудавшийся комплимент в измененной редакции, прозвучавший так: фальшивые драгоценности не идут к вашей мальчишеской головке, и сказанное еще украсил прилагательным — к вашей красивой мальчишеской головке, — и положить руку ей на затылок, проверить двумя пальцами форму ее головы под коротко остриженными волосами.

На подвальной лестнице появился Шафхойтлин.

— Он ищет меня, — сказала Франциска.

Троянович последовал за ней, неприятно удивленный этой поспешностью, словно ее ждал тиран отец (или ревнивый любовник?).

Между тем ему делала знаки и улыбалась молодая женщина. Троянович кивнул. Они вместе, подумала Франциска. Женщина, светловолосая, мускулистая, рослая, походила на баскетболистку. Она пожала Франциске руку. Он рассказывал ей обо мне... малютка тогда, ты знаешь, чуть не попала под мою машину... Они сидят за столом, в комнате, обстановку которой я не могу себе представить (книги, радиола, грациозные смуглые таитянки?), он углубился в газету, ты читала, спрашивает он, в М. строят спортивный зал, между прочим, сегодня я встретил эту, ты-знаешь-уже, Линкерханд, говорит он, острота напрашивается сама собой, они вместе смеются над девушкой, у которой две левые руки <sup>1</sup>...

<sup>1</sup> По-немецки Линкерханд — левая рука.

Франциска с сияющей улыбкой смотрела на Шафхойтлина, он медленно, чуть пошатываясь, спускался по ступенькам.

— Извините,— сказала она Трояновичу и его баскетболистке.

Шафхойтлин стоял на ступеньке, как на краю болота, испытывая скорее отвращение, нежели страх, в случае необходимости он, исполняя свой долг, перейдет болото вброд.

— Нам вас недоставало,— сказал он.

В прокуренной преисподней он не обнаружил ни одного знакомого, за исключением водителя самосвала и якобы школьного товарища Линкерханд, который скользнул по нему невидящим взглядом и отвернулся. Тем не менее Шафхойтлин чувствовал себя неспокойно, как иной раз по утрам, когда пытался восстановить уже стершиеся картины своего сна. Он силился вспомнить имя этого человека, чтобы увидеть лицо, которое тот, казалось ему, намеренно скрывал под маской драчуна.

Франциска пожала плечами.

— Понятия не имею! Какое-то польское имя.

— Но вы достаточно долго были вместе,— резко сказал он.

Она взглянула на него, и сердце его затрепетало, как пойманная птица.

— Идете танцевать! — приказал он и решительно положил руку на ее талию. Он не знал, какой танец играют музыканты, но ноги его двигались в ритме, вывезенном Европой с Карибских островов.

Он женат, думала Франциска, этого следовало ожидать, мужчина в его возрасте... я, однако, не рассчитывала, на групповом портрете между возможными партнерами еще никогда не фигурировала супруга, а эта женщина из тех, которые ему нравятся, хотя и не рыжая, но крупная, очень крупная, настоящая валькирия, с длинными красивыми ногами, с этим нельзя не согласиться, и, безусловно, симпатичная — крепкое, сердечное рукопожатие — и наверняка дельная, несмотря на слабо очерченный подбородок... К черту, терпеть не могу эти светлые лица, похожие на сдобные булочки, не выношу это встряхивание руками, такое сильное, будто мы вместе только что выиграли футбольный матч. Две фигурки, барахтающиеся на зеленом поле, в полосатых костюмах, напоминающих заключенных, колорадского жука и к тому же де-

рущихся за мяч. Только этого не хватало. Она не могла не рассмеяться и прижалась лицом к пиджаку, поглотившему и смех, и вздохи... Если здесь и состоялся матч, то я проиграла его еще до того, как свисток судьи возвестил о его начале.

Раздался звон гитары, але-гоп, и бич, щелкнувший над головами, поставил на колени послушное стадо и затем вновь подбросил его вверх. Цирковой номер, сборище сумасшедших, думал Шафхойтлин. Потные лица казались ему тупыми, их взор обращенным внутрь, их улыбки кривыми. К чему все это? Он крепко держал свою партнершу, та трепыхалась как рыба, ей хотелось освободиться, уйти от его объятий, от его рук, скользивших по гладкой зеленой чешуе. «Ваши современные танцы». Это было ни к чему: ваши. Вы. Вы молодежь. Вы другие. Она согласилась. Из желания пощадить его, подумал он, но чувство недоверия быстро рассеялось, он впдел полосу тумана над морским берегом, сплошь залитым солнцем, меловые скалы, жемчужного цвета дымку на горизонте, волны и бурлящую пену — белые губы, жадно целующие прибрежный песок... Юношей ему приходилось жить в палатке у моря, одному, о кемпингах тогда еще не знали, тоски по лагерной и кочевой жизни себе не представляли (тем более по жизни современных кочевников — с телевизором, предметами домашнего обихода в количестве, достаточном для индейского племени из ста человек, салоном из полотна и алюминиевых трубок и желанием быть ближе к природе, любезно готовой идти навстречу и доставить в жилую палатку нужную долю романтики). В поездах на ступеньках, крышах и буферах вагонов люди лепились, как муравьи на палочке, обмазанной клеем. Он ехал на велосипеде двести сорок километров до берега моря с палаткой, раскрашенной в маскировочные цвета, в зеленых и коричневых пятнах, военный трофей; отверстие, обожженное по краям осколком грапаты, служило окном и было аккуратно заделано пластинкой из плексигласа — тоже военный трофей, остаток расплавившейся застекленной кабины бомбардировщика — бабочки, пойманной на окраине города в перекрестье прожекторных лучей, огненных столбов и серного цвета.

Он разбил палатку на опушке леса, под дюнами, на должном расстоянии от таблички «Запрещено», наклонившейся над растущей на дюнах жесткой травой, но теперь уже не рычащей, а лишь вздыхающей заплаканными бук-

вами. Прибрежные гвоздики дрожали на ветру. Цвел чертополох, его цветы раскрыли свои фиолетовые глазки, окруженные венчиком серебристых ресниц. Вечерами... силуэты сосен как надломленные зонты... нет, это были очертания холма у Остии<sup>1</sup>. Сосны, пинии, он охотно рассказал бы ей о них. А вы? Вы любите море? Куда вы уезжаете на лето? Мы, мы остаемся дома. Уютно. Сад. Проводить отпуск где-либо дорого, особенно на взморье, и трудно в дождливые дни, дети ноют, их одолевает тоска... В прошлом году мы ездили на Гарц, приличный спокойный пансион, перед окном высокая скала, окаменелое грозное облако, вечно неизменное...

Страх на паучьих лапках пробежал по его спине. Так вот живем. И некому пожаловаться. Палатка зарыта под холмами золотистого песка, дюны перемещаются, моря высыхают, и там, где бурлящая пена покрывала берег яростными поцелуями, теперь на потрескавшейся почве громоздятся отбросы моря, клубки водорослей, копыта животных, обломки кораблей, кости, янтарь, высохшие рыбы глаза, раковины, утратившие свой нашептывающий голос... будто море больше не является чем-то существующим постоянно потому, что для меня оно — прошлое, думал он растерянно, будто вещи исчезают из мира потому, что я ими больше не владею... В июле она поедет к морю (одна?) в спальном вагоне поезда, следующего на курорт, увидит, как и оп когда-то, водную гладь, зеленую, свинцово-серую, медно-красную в зависимости от освещения, небо, полукруглые белоснежных скал, все это осталось. Но кое-что отсутствует, не вызывая ни в ком сожаления: пестрая палатка, юноша, босой, в коротких брюках из ткани для военной формы... Нет, жаловаться необходимо! Со всей силой своего возмущения он прижимал ее к себе, ее тело, приводившее в трепет его всего целиком, она была полностью погребена под его массивными плечами, он обнимал ее, свою безумно смеющуюся, бесконечно печальную, высокомерную, всезнающую, наивную, умную, неблагоприятную, сомневающуюся, верующую, дерзкую, нетерпеливую юность... легенду о своей юности, которую он сотворил в эту самую минуту и в которую теперь верил, чтобы поверить самому себе: я все могу изменить, все могу начать сначала. С молодой возлюбленной, произнес внутри иронический голос, но он его не слышал.

<sup>1</sup> Древнеримская гавань.

Когда танец кончился, он не осмеливался взглянуть на нее. От смущения говорил резко. Пошли в бар! Он взял ее за талию и посадил на высокий табурет у стойки. Лицемерно-престодушно она выразила свое восхищение силачом, двумя пальцами разламывающим на цирковой арене подкову.

— Какой вы сильный! — прошептала она. Что ж, хорошо, он улыбнулся. Такая уж она, ничего не поделаешь. Он почувствовал себя лучше. Они наблюдали за окружающими и разговаривали. О чем? Безразлично. Ее голос, ее улыбка, как в течение всего дня за перегородкой. Ее глаза цвета меда. Ее брови, воспетые персидским поэтом. Здесь приятные веселые люди, веселый полонез... змея со страшными узловатыми суставами, извиваясь, ползет по ступенькам вверх и вниз, на стульях и под столами... Коньяк подействовал на него как лекарство. Чудодейственная Франциска. Можешь продолжать, подсказывал ему желудок. Он в порядке, в форме, как сказали бы у него дома.

Ему ничуть не помешало появление Язваука, поклонившего через буфетную стойку свою римскую голову, прекрасный Мориц, расставшийся со своей длинноволосой блондинкой и рассказавший — для легковверных — путаную историю о возлюбленном или прощенном, нестати прощенном бывшем возлюбленном, о горилле, о волосатом снежном человеке, о боксере, чемпионе мира в тяжелом весе. Влажный блеск его глаз, стилизованные скорбные жесты произвели на Шафхойтлица впечатление, и его огорчала Франциска, отпускавшая пренебрежительные остроты. Бедный парень, казалось, он все это принимает близко к сердцу...

— Который час? — спросила Франциска.

— Третий, — отвечал Шафхойтлиц.

— Уже?

— У нас есть время до четырех, — сказал он. Если она и дальше будет так много пить, через час она готова, подумал он, но не мог решиться ее остановить, призвать к умеренности, чтобы, чего доброго, не испортить ей настроение. И лишиться себя надежды, услышал он в себе тот же иронический голос, проводить ее домой, возможно в ее комнату (она устала и от усталости нежна)... Как бы по рассеянности он взял ее бокал и выпил. Язваук провел пальцем по ее шее, вниз по позвоночнику.

— Нет, она не жепципа, — произнес он печально.

Она повернулась и смотрела на лестницу.

— Знаешь, милочка, — сказал Язваук, — мы только что говорили о том, что ты не женщина.

Шафхойтлин вытянул шею, не желая упустить ни слова, он гладил ее волосы, короткий мягкий мех, и, сидя так, в неудобной позе, наклонившись вперед, с застывшим от напряжения лицом, слышал их голоса, словно радиоспектакль, доносившийся из соседней комнаты, через полуоткрытую дверь, их диалог перед шумовой кулисой, *небольшой зал, ночь, танцевальная музыка*, совершенно идиотский, по его мнению, диалог, и ему непонятный, так как он слишком поздно включился, в середине спектакля. Несколько секунд он был обеспокоен, когда Язваук говорил о каком-то связном... Тайная полиция? Таинственный связной — с кем?

— Великолепная фигура, — уверял Язваук.

— Ах. Да? — спросила она. — А я и не заметила.

— Она совершенно бесчувственна, — жаловался оп своему бокалу. — Не заметила... Какие плечи! Какие бедра!

— И прелестный зад, — добавила она сухо. — Знаешь, что я думаю! Ты просто притворяешься, на самом деле тебя тянет работать налево.

Тут вмешался Шафхойтлин, которого неотвязно преследовала мысль о подозрительном знакомстве с упомянутым связным... Они озадаченно на него уставились, потом расхохотались, долго не могли успокоиться, покатывались со смеху, раскачиваясь на своих табуретах. В заключение к ним присоединился и Шафхойтлин, он понял, что смеются не над ним, был бы повод для смеха. Язваук прикрыл рукой рот и усики. Вопрос к армянскому радио, начал оп. Шафхойтлин подхватил...

Он сам был больше всех потрясен своим поступком и своим успехом, побуждавшим его к рассказам о вопросах, заданных почтенному армянскому радио, которые он и слышал-то лишь краем уха во время перерывов на совещаниях и конференциях. Рассказывал он обстоятельно, по соль анекдота до слушателей не доходила, сначала потому, что он сам ее забыл или в свое время не понял, потом намеренно, с хитрецей, он был в ударе и смеялся над тем, что их смешили остроты, бившие мимо цели или обнаруживавшиеся слишком рано, а также над собственным, теперь уже притворным смущением. О да, пяти у него в руках, этих марионеток он еще заставит плясать, их смех

уже не вызывает у него головной боли и не будет мучить его завтра, когда он его услышит за стеной своего кабинета.

Теперь он даже радовался присутствию третьего лица, без которого он, возможно, давно бы потерял дар речи или начал расспрашивать ее и сам говорить о личном, о том, что осталось скрытым от нее в тот вечер на шоссе, говорить о себе — до той самой страшной минуты, когда он увидит утливое выражение на ее лице и глаза, подернутые тусклой пеленой скуки, или будет унижен словом добродетельного сестринского участия. Присутствие других делало его смелым: на глазах у многих ему казалось безобидным, беря бокал, коснуться кисти или обнаженной руки соседки. То, что он при этом краснел, не было видно в темно-красном свете этой адской декорации, Франциска же делала вид, что ничего не замечает, и не убирала руки, чтобы не сконфузить Шафхойтлина. Эти прикосновения не были для нее ни тягостны, ни приятны, разве что вызывали беспокойство серьезные усилия, которые он затрачивал на флирт. Зато по крайней мере он не играет в сердцеда или пачальника в роли «я-ведь-тоже-всего-лишь-человек-пастроения», или командированного, который в полудночный час готов использовать подвернувшийся случай...

Шафхойтлин в командировке. Она представляла себе его вечера, убогий номер в гостинице, пансион где-то на Розенталер-платц, Вильгельм-Пик-штрассе, Рейнгардштрассе, умывальник и под зеркалом в торжественном параде кисточка для бритвы, зубная щетка, зубной эликсир, мыльница из желтой или серой пластмассы, на столе — клетчатая скатерть цвета брандмауэра в осенний дождь, тяжелая стеклянная пепельница и в ней окурок рядом с огрызком яблока, целлофановый шарик — смятая оболочка коробочки с таблетками, а у окна, напротив, кровать с отброшенным одеялом и его самого, сидящего на краю кровати в домашних туфлях, читающего протоколы совещаний или отпечатанный на гектографе основной доклад (если он ложится на кровать, он снимает туфли, возможно и носки, разглаживает брюки точно по складке и вешает на специальную вешалку для брюк, предусмотрительно захваченную из дому), итак, читающего при свете сорокаваттной лампочки под плиссированным розовым абажуром... а небо над городом окрашивается в ало-цикламенный цвет, трамваи взвизгивают, в фойе театров слы-

шится первый звонок, перед зеркалом девушки в туфлях на высоких каблуках вкальвают в прически-башни сверкающие пряжки, шелестят партитуры, под вежливо-учливой бурей аплодисментов склоняется одетая во фрак спина дирижера, на мосту Вайдендамм и в домах на берегу зажигаются яркие огни, отражающиеся в черной воде, и звуки, издаваемые множеством шагов на тротуаре, сливаются в чавканье гигантской, прожорливой пасти... Без отвращения рассматривала она его красную шею, капли пота на висках, где уже начали редеть волосы. Можно делить и делить его на части, думала она, но всегда останется какой-то неделимый остаток. Возможно, раньше у него было другое, более приветливое и ласковое лицо (с болью и в муках доводилось ему сдирать с себя кожу), но, безусловно, никогда не было у него коллекции лиц, которые по желанию — многие говорят: по необходимости — можно было бы менять.

Теперь он вновь походил на молодого человека, который однажды вечером зашел к ней в комнату с зашдевелившимися бровями под боярской шапкой, взволнованный своим приключением в белых дюнах и радостный, покуда не заметил, что стоит в луже растаявшего снега, и не замолк... это мгновение повторилось, стыдливое отступление, когда Язваук прошептал:

— Почему вы наконец не перейдете на «ты»? — Он пододвинул им два бокала. Шафхойтлин молчал, потом поднял бокал, сквозь него посмотрел на свет.

— Налито как положено, господин Шафхойтлин, — сказала Франциска.

Они посмотрели друг на друга.

— За вас, Франциска, — облегченно улыбаясь, сказал Шафхойтлин, словно им только что грозила опасность утратить нечто большее, чем форму обращения.

Барменша через их головы обслуживала стоящих сзади, которые так кричали, словно они умирали от жажды, и, как кастаньетами, щелкали мелочью, которую держали в руках. В суতোлке пьяный толкнул Франциску и чуть не сбросил с табурета, но Шафхойтлин крепко ее держал, уже не сознавая, держит ли ее или сам ищет точку опоры. Взяв ее за плечо, он ощутил под пальцами трогательную ямку пониже ключицы, в то время как стойка и вращающиеся фонарики — головы людей кружились вокруг него, качались, уносясь куда-то вверх. Вдруг все остановилось, и он почувствовал, что ему дурно. Франциска соскользнула

с табурета. Его рука повисла в воздухе, когда же он медленно, с запозданием обернулся, опасаясь нового приступа дурноты, Франциску уже заслонила чья-то спина и широкие плечи.

Ты вернулся и утвердил реальность своего существования вместо призрачного присутствия, которое я для тебя спроектировала (за цинковой стойкой, улыбаясь, будучи слегка пьяной, утомленной усилиями больше тебя не ждать), твоё живое тело из плоти и крови, кожи, пахнущей потом и дизельным маслом, головы, полной мыслей, бьющегося сердца — вместо силуэта случайного прохожего на улице, графического наброска модели, у которой одни лишь контуры, белое, местами заштрихованное пространство, точки вместо глаз, геометрические линии вместо плеч и вет губ, с помощью которых можно произнести слово привет. Ты пришел и попросил у меня второй танец, зачем? Я уже не доверяла: ни себе, ни тебе. Возможно, это было написано на моем лице, когда я увидела тебя стоящим у бара. Он прочел желанье в моих глазах, он сжался... Я чувствовала себя так, будто танцевала в алых туфельках королевы. Простой любезности я бы тебе не простила... Когда он наконец начал говорить, голос его звучал жестко, то ли от досады, то ли от робости. Франциску удивило и позабавило провозглашение им сомнительного права на вмешательство в личную жизнь и его, Трояновича, уважение к границам чужих территорий. Она подняла брови и пробормотала: да, но? — испуганная серьезным выражением его лица.

Он сморщил лоб и смотрел на нее сверху вниз, как ей показалось пренебрежительно, и внезапно на нее нахлынула волна печальной неуверенности, ощущение вины, как раньше, когда мать делала ей замечание или, сидя во главе стола, молча наблюдала за ее манерами, мимикой, разговором, ожидая, когда Франциска из сотни возможных проступков совершит какой-либо один, от скуки, или от нетерпения, или из чувства рокового юмора, но всегда готовая поплатиться наказанием, словно между ними было заключено соглашение о ежедневно совершаемых прегрешениях и ежедневно получаемых упреках (ты слишком бледна, или: у тебя на лице странный румянец; под подушкой ты спрятала роман, который мы считаем для тебя неподходящим; ты неряшливо причесана; ты о чем-то умолчала, или: ты выболтала то, о чем следовало умолчать; тебя видели на улице с молодым человеком, которо-

го мы не знаем; ты носишь красный пояс к голубому пла-  
тью; ты бранилась и его имя упоминала все...).

— Вы понимаете, конечно,— сказал Троянович,— что этот назидательный вздор о невмешательстве я рассказываю потому, что готовлюсь к нападению... Порой я не очень активный наблюдатель того, что вы, боюсь, назовете судьбами,— и потому спрашиваю себя, почему, как нарочно, сухие педанты, трезвые, тяжелые на подъем или очень тихие люди, отцы семейств, принципиальные и знакомые с трудностями жизни, такие, как наш друг Шафхойтлин, внезапно теряют голову и попадают в сети капризной, своенравной особы.

Она остановилась.

— О нет, я не назову это судьбой и не заплачу от умиления, когда ваши старые, серьезные мужчины сходят с ума и начинают вести себя как глухари на току... Я нахожу это просто смешным,— сказала она с брезгливостью, противоречащей ее словам.

Он молчал. Франциска не смотрела ему в лицо. Обиженная и несчастная; сама не зная почему, она не могла выговорить то, что сказала бы другому: что она от души хотела бы никогда не поставить Шафхойтлина в положение, которое кто-либо нашел бы смешным или заслуживающим сожаления.

— Для вас это только каприз,— помолчав, сказал Троянович,— для него же катастрофа, называемая беспорядком.— Он не отпускал ее, и они стояли обнявшись и неподвижно, как пара, заколдованная во время танца.— Видите ли, он честный человек, который все подсчитывает, но не действует, руководствуясь расчетом, человек долга, добросовестно выполняющий свои обязанности, но не зараженный честолюбием чиновника... во всяком случае, насколько мне известно, он никогда не докучал миру какими-то особыми, якобы сделанными им открытиями... и я допускаю, что его семейная жизнь протекает так, как было запланировано, когда он женился,— впрочем, тогда он был членом Союза свободной немецкой молодежи, хотя уже вышел из этого возраста, она тоже, живая, веселая девушка, красивая, насколько я в этом разбираюсь,— и уже тогда почти наверняка было предусмотрено, что лет через десять у него будет приличный коттедж, книга записи домашних расходов и шестеро славных ребятшек...

— Четверо,— сказала Франциска.

— ...итак, четверо воспитанных детей, аккуратно вы-

полняющих свои несложные обязанности по дому и имеющих средний балл успеваемости в школе 1,5<sup>1</sup>... Представьте же себе, каковы будут последствия, если человеку, никогда и капли в рот не бравшему, вы — я понимаю, лишь забавы ради — вольете в глотку бокал девяностопроцентного спирта. Простите. Мне с моими метафорами так же не везет, как и с комплиментами.

— Нет, у вас просто феноменальная способность унижать других, оставаясь чертовски возвышенным, — возвышенным надо всеми. Я действительно не понимаю, какое вам дело...

— Между мужчинами существует своего рода братство, которое... но в этом вы ничего не смыслите. И мне не нравится, когда я вижу, как начинают игру, в которой с самого начала предрешиено, кто проиграет.

Он говорил спокойно, не насмешливо, как обычно, даже не раздраженно, и это огорчало ее больше всего. Он совершенно ко мне равнодушен... Она не была готова к боли, испытываемой ею при этой мысли, к возмущавшей ее боли, которую намеренно усиливала, чтобы казнить себя.

— И потому вы меня увели?

— Да.

Значит, не ради меня. Я была смешна каждый раз, когда мы встречались, и по-дурацки вела себя из боязни быть смешной... Ответ, па который она сама его вызвала, снова превратил ее во взъерошенного лисенка, прятавшего под столом свои неуклюжие лапы, — лисенка, с которым Вильгельм отказывался идти по улице: Дарвин бы на тебя порадовался — какая паходка, недостающее звено, а ну, катись-ка отсюда... Посмотри она на себя сейчас в зеркало, она обнаружила бы одни недостатки: фигура костлявая, рот слишком большой, волосы рыжие, как у лисицы, глаза бледно-желтые, змеиные глаза, фу-ты, черт! Она была в отчаянии. Нет во мне ничего, что он счел бы достойным любви...

Не стоит, сказал он, объяснять, что он не руководствовался личными мотивами, ревностью, например, вам нужно развлечься, хорошо, заигрывайте с этим красавчиком, ему вы сердце не разобьете. Излишне и бестактно. Ее печаль перешла в гнев. Она высвободила руку, которую он все время держал.

---

<sup>1</sup> Высшая отметка в немецкой средней школе — единица.

— Вы проводите меня к моему месту или оставить вас здесь одного? — Она хотела, чтобы ее голос звучал холодно и решительно, но у нее перехватило дыхание и она начала заикаться.

— Как вам угодно, — сказал он. — Боюсь только, что вы окажетесь в более неловком положении, чем я, когда оставите меня здесь. — Невозмутимое лицо. Да, для него это не имеет значения, подумала Франциска. Троянович, пораженный ее бледностью, хотел положить конец этой сцене, которая становилась для него мучительной. — Дайте руку, я провожу вас. Вы правы, мне нет до этого дела, меня это не интересует, и я сам не понимаю, почему я уже давно чувствую, что вы провоцируете меня на идиотское выступление в пьесе плаща и шпаги. Не следует жить выше своих возможностей. Довольно, леди, достаточно того, что вы однажды уже побудили меня играть роль, к исполнению которой у меня нет ни желания, ни таланта.

— Я, я вас не просила. — От ярости она опять начала заикаться. — Я бы скорее откусила себе язык.

Он молчал. Два красных пятна выступили на выдающихся вперед скулах. Он держал Франциску за локоть. Молодые люди на ступеньках погребка рычали «Испанское небо», у стойки кто-то пел об уютном светопределении «Нам недолго жить осталось, нам недолго жить осталось», они взяли друг друга под руки и раскачивались, а молодая женщина, потряхивая черной гривой волос, взяла под руку Шафхойтлина, и он уступил ей свою руку, как предмет, ему не принадлежащий.

— До свидания, — сказала Франциска.

Троянович медлил, вдруг, чем-то удрученный, наклонился к ней и тихо произнес: «Не обижайте его», — так спокойно и просто, что это ее обезоружило. Она посмотрела в сторону Шафхойтлина, на его спину, на утес, который не шелохнулся, когда женщина с черной гривой с размаху наскочила на него слева, потащила за собой и вдруг убежала куда-то направо. Франциска покачала головой.

— Вы, наверно, ошиблись. Десять лет... За это время он обзавелся роговой оболочкой, и ни один листик цветущей лианы не опустился на его плечи.

Он недоверчиво посмотрел на нее. Поразительная неосведомленность. Они стояли в нескольких шагах позади Шафхойтлина, в людской толпе, которая непрерывно кру-

жилась и колыхалась, словно взбитая какой-то гигантской веселкой, но, когда Шафхойтли повернул голову, его взгляд сразу же безошибочно нашел Франциску, будто она была здесь одна-одинешенька — последний пассажир в зале ожидания после полуночи. Потом он увидел шофера, его лоб, калмыцкие глаза, которые он узнал, как узнают изображение на старой пожелтевшей фотографии... Он обернулся, выпил — из бокала, уже давно пустого.

Троянович пожал плечами. Кому задавать вопросы, кому возражать? Невинность белых цветов терновника, шипы которого расцарапали ему руку. Невинность камней, о которые он в кровь разбил себе ноги. Невинность египтянки, взор которой устремлен на него ее младшей сестрой, младше на тысячелетия. Сестры, хотя она совсем не похожа на пухлую розовато-коричневую черноглазую девушку на той картине, тревожно подумал он, ибо то был повод к воспоминаниям: один из залов галереи, картина, напротив высокое окно, лучи яркого осеннего солнца, дробящиеся в сотне мелких стекол, церковная крыша, каменный апостол, открывающий двери рая, солнечные блики на паркете, осторожный стук каблучков Анשמари, ее рука, тень от которой падает на глаза (в другой руке у нее каталог, она прилежно, доверчиво и с большим интересом читает, делая пометки), шуршат жалюзи, и золотые искры на раме гаснут, серый бархат на стенах тускнеет, густая тень ложится на уста жещы Потифара и заставляет их умолкнуть, еще одна полоса тени падает на ее шею, третья — на высокую грудь... Терпкий аромат сентябрьского дня, когда он описывал ей похожую на ребенка жещу Потифара, от которой сбежали козленок, собака и прекрасный Иосиф, непонятно почему, она ведь только сказала: приходи, поиграй со мной, улизнул, оставив в ее руках свой плащ...

Глаза ее сверкнули злостью.

— Наш Иосиф наверняка бы капитулировал, чтобы сберечь свой плащ... Пожалуйста, дайте мне одну из ваших мерзких сигарет.

Она вдохнула дым, не закашлявшись, как в прошлый раз.

— Темное дело, и Библия довольно быстро с ним разделяется. Мне думается, Иосиф, сам того не сознавая, стремился к этому искушению. — Она стряхнула пепел на пол. — Он пришел в дом, когда она была одна, приблизил-

ся к ней так, что она могла коснуться его одежды, и вдруг отпрянул, ибо в последнюю минуту у него мелькает мысль, чем он рискует: прекрасное положение в доме Потифара, должность, карьера, — презрительным тоном, удивившим Трояновича, сказала она. Спрашивая себя, действительно ли она имела в виду библейского юношу, он молчал и смотрел на нее с большим любопытством, чем обычно.

— Бедная жена Потифара, — сказала она через некоторое время. — Возможно, она его любила... Есть одно место в этой главе, всего только несколько слов, и знаете, они меня тронули. Там сказано... — Она остановилась, опустила веки и, хотя помнила наизусть каждое слово, произносила текст медленно и неуверенно, словно расшифровывала надпись на стене, выбитую когда-то острыми клинообразными буквами, которые за многие годы дождь размягчил и сделал округлыми. — Там сказано, он не послушался ее, желавшей, чтобы он спал с ней и оставался подле нее... Понимаете? — Она смотрела на него. Ей пришлось запрокинуть голову, хотя он стоял перед ней слегка согнувшись, как частенько стоят высокие люди. Она хотела, чтобы он находился близко, рядом с ней... — Поэтому я всегда думала, что она влюбленная, а не просто озорная, легкомысленная, а под конец и мстительная женщина.

— Вопрос интерпретации, — пробормотал он, чтобы что-то сказать, отвлечь ее внимание от пальцев, которыми он в раздумье ощущивал собственное лицо, крепкие скулы — от солнца, танцев и выпитого копыяка они стали цвета осенней листвы, — а также щеки, более короткую и полную пижнюю губу и уголок рта, углубленный коричневой тенью, падавшей на него.

Она вновь посмотрела на спину Шафхейтлина и волну черных, как тушь, волос, падавших на его согнутую руку.

— Пожалуй, она вот-вот сядет ему на колени, — сказала Франциска рассеянно, все еще находясь под впечатлением той сомнительной истории с искушением, и смутилась, когда Троянович громко рассмеялся. — Вы паходите это глупым, да? Всего несколько слов... они и впрямь ничего не доказывают, — добавила она, совсем упав духом.

Он откинул голову и расхохотался.

А ведь это он первый заговорил о жене Потифара... Просто шутка (потом он поделится ею со своей супругой?). Она злобно посмотрела на его рот. Он говорит че-

ресчур громко, чересчур громко смеется. Она увидела щербинку в его верхней челюсти и покраснела. Кончиком языка провела по своим зубам, словно ей было необходимо удостовериться, что все они целы и невредимы, казалось, она проверяет их на вкус, допрашивая свои забывчивые нервы о вкусе крови, о боли в челюсти и в рассеченной губе; лишь на основании опыта они могли ответить: да, ему было больно. Она с радостью ощутила острый укус раскаяния. Ей хотелось бы отказаться от прежних мыслей, от своего прежнего злобного взгляда.

Он перестал смеяться, так как неверно понял причину ее смущения. То, что он чувствовал, он назвал бы прощеским состраданием, если бы придавал значение словам да и самому этому чувству, которое было ему знакомо по меньшей мере столько же, сколько эта фрау Линкерханд. Новой была неспособность облечь его в слова (позднее он научится этим словам, но с большим трудом, чем породившим их чувствам, и редко будет произносить их — из благоразумия, из боязни, что от слишком частого употребления слова любви потеряют свою силу?), новым было и чувство, которое возбуждали в нем кожа, поры, капиллярные сосуды на кончиках пальцев, сосуды, прочерчивавшие овальный изгиб век. Он был потрясен: длинным путем от уголка глаза до висков, никогда не грезившимся ему прикосновением, которое он не мог сделать небывшим, превратив его в шуточный жест. «Слезы, леди?» — сказал он как бы в шутку, приложив палец к уголку ее века, чтобы снять непролитую слезу.

— Ты совсем готова, милочка, — сказал Язваук. Она задела бокал, со звоном покотившийся по стойке. Франциска, взглянув на свои руки и отвечая на немые вопросы черных глаз слева и серых глаз справа, сказала:

— Мы беседовали на библейские темы.

Язваук хихикнул.

— Она совсем, совсем готова, — сказал он, обращаясь к Шафхойтлину, тот молчал.

Он расплатился. При этом проявил такую осмотрительность, что взял Язваука с собой, пусть видят, если кто-либо это интересуется, что они втроем вышли из бара, втроем покинули бальный зал. Ковальские уже ушли, но все равно она уже опоздала, думала Франциска, на целых двадцать лет опоздала для шерстяного шарфа, белого или голубого, для материнского тепла; ты отпущена на свободу.

Только уже в гардеробе Шафхойтлин заметил, что барменша его обсчитала. Он повесил пальто на куклосомнамбулу с гибкими целлулоидными руками, на ее локоть нацепил сумочку и последовал за ней, Олимпией, колдовского слова для которой он не знал.

Утренняя заря, серый конь с розовой гривой до самого горизонта. Фонари поблекли, красное неоновое «Б» над бензоколонкой стерлось, как губная помада. Они глотали утренний воздух и едва держались на ногах, с трудом переводя дыхание, словно залпом выпили по стакану ледяной воды. Франциска оперлась о ствол каштана, ладони, лицо прижала к коре дерева, уже зная не знавшего о последней паре и о всех других, ранее побывавших здесь, о жилах, напрягшихся на шее женщины, о ее лице, протянутом для поцелуя, и о том, как мужчина опирался о дерево, а целуя ее, смотрел на часы.

Как бы ей не стало дурно, думал Шафхойтлин. Всю тяжесть ответственности он привнимал на свои плечи. Путь через весь город они проделали пешком, автобусы еще не шли, свет в кухонных окнах, позевывающий мужчина в нижней рубашке, поблескивание алюминиевой бутербродницы, звон будильника, грузовая машина под брезентом, утомленное от бессонной ночи лицо человека, пронзительный гудок, возвещающий очередную смену...

Сквозь ветви каштана Франциска видела жемчужного цвета небо, робкие листики и бутоны, сверкающие, как надкрылья майских жуков. Она громко вскрикнула. Такой крик издавал ее красивый друг, когда бешено мчался по бетонному шоссе, а деревья со свистом и звоном лопнувших струн мчались мимо них: мы летим! Она распростерла руки, обнимая утро, каштан, его дарованную самой природой спокойную уверенность, будущее сверкание его белых со светло-розовыми пятнами свечей, и ветер, вздымающий и уносящий вдаль персидского архитектора из далекой сказки ее детства, и коня с голубой шкурой на боках и огнем позолоченной гривой.

Ночи уже прохладны. Когда во всех других окнах темно, я вижу меж стволов сосен поблескивающий огонек. Твое окно, свет твоей лампы, падающий на бумагу, на строки, написанные тобой (что ты описываешь? Многоквартирный дом, его дворы, каракули, папарапанные мелом на стене, солнечные блики — между одиннадцатью и двенадцатью дня — на горшках с луком и геранью в крохотном садике, разместившемся на кухне пятого этажа, или сосны, которые мы будем позднее рубить, их красные стволы, колонны, пламенеющие в лучах вечернего солнца?), и на твои руки. Я умираю от тоски по тебе. Искушение — идти к тебе, постучаться в твоё окно; в лесу будем мы любить друг друга, на твоём плаще, который ты расстелешь на жестком вереске... Искушение — сбежать от моей работы, от отчаянной попытки написать книгу, от вида сотни книг, на корешках которых имена Гропиуса, Райта, Корбюзье, Мумфорда, Нойтра, и от бессилia сформулировать свои мысли или страха перед собственным бессилием.

Нет, я не приду, подчиняясь дисциплине, и ты не придешь, также подчиняясь дисциплине, которая тебе дается легче, чем мне, и я думаю порой об этом, словно обиженная невыполнением обещания и в то же время огорченная тем, что ты сдерживаешь данное нами обещание, хотя ты также видишь свет в моем окне и знаешь, по меньшей мере догадываешься, что я жду тебя... между бараками всего сто метров, их разделяет полоса песка, отнюдь не бурный поток, но, несмотря на это, ты остаешься по ту сторону: только мужчина, кажется мне, может быть таким разумным и, когда занят, думать лишь о своей работе... При этом я была бы еще больше огорчена, во всяком случае встревожена, если бы ты пришел, бесцеремон-

но, на что тоже способен только мужчина, не считающий работу женщины столь же серьезной, как его собственная, ожидающий пайти распростертые объятия и счастливое лицо, это обязывало бы меня предъявить ему таковое, хотя как раз в это время я размышляю о статистике самоубийств среди местного населения, но мне помешали и я выведена из состояния равновесия, к тому же меня мучает совесть, ибо ты, я вижу, надел, как бы случайно, тот плащ, наш плащ... хотя он не является сигналом или условным знаком, как, например, вывешенное в окне белое полотенце, и я не могу именно теперь требовать, чтобы ты выслушал мои соображения о разных способах самоубийства, таких, как прыжок из окна, газ, слишком большая доза снотворного.

И если все же ты являешься лишь в виде изображения, картины, а не в образе живого человека, виноваты в этом слова — дом, дерево, мост, тротуар, дорога, эти и другие, наделенные властью, как волшебное слово «сезам», расщепляющее утесы, раскалывающее горы и являющее нам сокровищницу, полную сосудов с рубинами, и молочно-белыми питками жемчуга, который струится между пальцев... Я пишу «дерево» — в связи с деловыми соображениями, касающимися, к примеру, озеленения городов, и внезапно, помимо моей воли, всплывают воспоминания: весна, вечер, аллея старых лип, мост, тогда еще деревянный, через маленькую речушку, запах гнили, исходящий от воды, смешанный с ароматом цветущих лип, твоя рука на перилах, искалеченный палец, который я хотела бы излечить поцелуями... или: летний день, яблона на скошенном поле, я думаю, рожь, светлая солома, твой мотоцикл у обочины дороги, покрытый тонким слоем пыли, как листья яблона, как наши голые ноги и трава на живье.

Я пишу «дорога» — и из сотни дорог, которые с быстротой молнии набегают, пересекаются, вливаются одна в другую, медленно выходит на передний план, как если бы она запечатлелась в памяти ярче других, дорога, по которой ты идешь мне навстречу: магистраль, жилой массив красного цвета, перед ним обычный газон с необычной каймой анютиных глазок, у края дороги на столбике желтая табличка — автобусная остановка (и анютины глазки приходят мне на ум: желтые-желтые, как рапс, яркого, солнечно-желтого цвета), широкая дорога, бетонная гладь, выглядевшая огромной, ибо никого на ней не было.

Спрятаться или избежать встречи было невозможно, единственным спасением могло стать расписание автобусов, которого, впрочем, за разбитым стеклом не оказалось. Я внимательно читала что-то на пустой доске, водила даже пальцем, чтобы показать, насколько я занята, то-роплюсь и не расположена к беседе, и едва ответила на твое приветствие, по-моему оскорбительно холодное, хотя и вежливое: ты вынул при этом руки из карманов. Ты не обернулся, я знаю, так как обернулась я и смотрела тебе вслед. Впервые я увидела твою походку... Будь со мной Язваук, я употребила бы слово «секси» — тоном, каким говорят о женщине «пикантная» или о «шевроле» — «сказочные сани».

Однажды в каком-то отеле я увидела проходящего через холл негра. Возможно, гарлемский негр, танцор из ревю, костюм, как у Спортинга Лайфа<sup>1</sup>, в крупную зеленую и красную клетку, насколько я помню, причем самого модного покроя, туфли канареечного цвета. Если бы не Регер, сидевший рядом, я как зачарованная побежала бы за ним через весь Берлин. Он шел всем корпусом, каждый его шаг представлял собой плавное, свободное движение, проходящее через маленькую овальную голову, мускулы плеч, спину, бедра, длинные ноги, отбивающие шаг пятки и пальцы ног. Ступни чуть повернуты внутрь. Пума, танцующая степ. Ты смеешься. Как описать его? Гибкий, да, танцующий, это тоже, действительно своего рода степ, но скользящий, он словно двигался в двух несовместимых ритмах, однако в целом походка была совершенной. Костюма потрясающей расцветки я уже больше не замечала. Регер со свойственной ему профессорской прямоотой сформулировал то, что я видела или представляла себе; он намеренно использовал грубое, даже вульгарное выражение для ощущения, которое я не считала более для себя возможным. Три года супружества так меня испортили, что я могла восхищаться только телами, изваянными в мраморе, камепным Давидом или Аполлоном, Амуром и Психеей, обнаженные, но целомудренные, и по сравнению с их поцелуем поцелуй благочестивой монахини по пакалу чувственности кажется извержением вулкана. Мрамор и полубоги в бронзе — это я признаю, но только без мужского естества, без игры мускулов под белой или черной кожей, без теплоты тела (кошка Регера, трущаяся о мои ноги,

<sup>1</sup> Персонаж оперы Гершвила «Порги и Бесс».

вызывает у меня отвращение). Я сочла Регера жестоким. Я говорила об эстетике, он улыбался: я слышала его лукавый смех, замечала его откровенное злорадство, как всегда, когда он видел, что кого-либо раскусил или одурачил.

Когда я смотрела тебе вслед, я не сразу о нем подумала (твоя походка иная, волнующая, но иная), тем более о сравнении с тем негром, который, впрочем, был не из Гарлема и не танцор, исполняющий степ или буги, а африканец — я узнала его, присутствуя на приеме, — руководитель делегации, специалист по внешней торговле, житель Ганы, я думаю, а может быть, Берега Слоновой Кости? В том, что у меня возникло такое же ощущение, как тогда в холле гостиницы, я призналась себе лишь позже, сидя в автобусе, первом, который здесь остановился, и следовавшем совсем не по нужному мне маршруту... На другой день я уже не хотела признаться себе в том, что наблюдала за твоей походкой, и поставила крест на воспоминаниях о коммерсанте кофейного цвета. Я наблюдала за Язвауком, инженерами из бюро, незнакомыми мужчинами на улице: они оставляли меня холодной. Я могла бы увидеть тебя и уклониться от встречи. Утешение, способное озадачить: ты не прибыл из Ганы, ты местный житель, согражданин, твой дом в Нейштадте, следовательно, ты доступен...

То, что они теперь встречались чаще, было естественно, потому что Троянович уже несколько недель как переехал из лагеря — барачного поселка, расположенного в лесу вблизи комбината, — в город, в квартал, где проживали строительные рабочие, временное пристанище: у дверей измазанные глиной резиновые сапоги, на подоконниках бутылки с молоком и масленки, два-три человека в комнате, остаться одному невозможно, разве что в конце недели, когда уезжают домой те, у кого есть дом, например жена и дети в Берлине, в городке на Гарце или в одном из северных округов.

Добрый день. Добрый вечер. Он бы остановился, если бы Франциска замедлила шаг или улыбкой дала понять о своем желании поговорить. Она отсчитывала камни мостовой. Фасады домов отбрасывали назад, как эхо, биешие ее сердца. Однажды она проехала мимо него в открытом спортивном автомобиле, и Язваук положил ей руку на плечи, словно это было между ними заране договорено на случай, если им повстречается Троянович. Ее шелко-

вая косынка развевалась на ветру, зеленый майский флажок, ее триумф: вы видите, я делаю то, что вы мне советовали, и мне это нравится. Но она не осмелилась обернуться, чтобы не быть рапенной его равнодушным.

Она охотилась за потерянной душой Гертруды. Троянович постоянно читал свои газеты, журналы и брошюры. Он пащупывал, не прекращая чтения, свою чашечку кофе, рюмку коньяку, который не выпивал, только вдыхал его аромат. Франциска находила это тщеславным, как и его едва заметный поклон, когда она, входя, кивала ему, отделенная пространством, более широким и холодным, чем Млечный Путь. Она страдала, когда он бросал на нее рассеянный взгляд, ей казалось, она ему докучает, и она страдала от его приветливости, которую принимала за иронию. Она шла через зал, словно преследуемая педобрым взглядом Якоба, задевала боком за столик, спотыкалась о чьи-то сапоги, роняла перчатку.

По вечерам, если было тепло, фрау Хельвиг открывала дверь на террасу. При свете электрических ламп, похожих на светящиеся головки ящериц, молодая ярко-зеленая листва сверкала, как на детском рисунке. Расстилавшаяся впереди и погруженная во тьму площадь напоминала озеро, воду которого бороздит кильватерная колонна чужеземных лодок, оставляющая неизгладимый пенный след — тропинку через газон, протоптанную множеством людей.

Франциска молча сидела возле Гертруды. Дома спали, не опуская век. Еще один день прошел... Время тянулось невообразимо медленно, время мчалось стремительно. Там, где сегодня сидит чужой человек, еще вчера сидел твой хороший знакомый. Едва открыв дверь, она взглядом искала тех, кто находился здесь вчера: фрау Хельвиг в белом переднике, Гертруду, милиционеров. В Гертруде она была уверена. Пять милиционеров, входивших в состав одной бригады, уехали в Росток, в район Люттен Клейн. А некий Троянович? Каждый раз, когда он разворачивал газету, могло быть, что он в последний раз находится близко от нее, в ее жизни. Движение, которым он отодвигал чашку, дребезжание фарфора могли, подобно третьему звонку, предвещать отъезд и разлуку без прощания. Навсегда.

Ей не доставало перекочевавшего в Шведт Фредди, его разбойничьей шляпы на спинке стула или на крюке от картины, не доставало Оленика, он жеңился, получил

квартиру и по вечерам не столько водит, сколько носит по улицам свою хромую девушку, ныне ффрау или миссис Дэвис, и маленького мулата, подрастающего в ее чреве. Недоставало даже бледного главаря бандитской шайки, конечно, она по нему не скучала, но, не видя его, о нем спросила. В ответ кто-то сложил пальцы решеткой. Год, за воровство. Нет, за кражу со взломом. Нет, за воровство: подвал был не заперт, люди слишком легкомысленны.

Вспыхнувшая было ссора дала Трояновичу повод подойти к их столику. (Он наблюдал за нами из-за своей шторы, из-за газеты, сквозь черные строчки букв.) Гертруда умолкла, скандальная сцена не разыгралась. Как это ему удастся? — думала Франциска. Пойдемте, обратился он к Гертруде, не любезно и не резко; он ее не уговаривал, предоставляя ей самой решать, подчиниться или нет. Она встала и лишь у вешалки, уже просунув одну руку в рукав пальто, попыталась оказать сопротивление, повернулась к посетителям — клоун с кукольными ресницами и пуделыными локонами — и продекламировала: семь лет я все это терпела... Голос как хрипящая труба. Троянович держал ее пальто, то ли терпеливо, то ли безучастно; когда на второй строфе она загнулась, он ей подсказал. Франциска вонзила в ладонь ногти. Закачу ей оплеуху. Раздались насмешливые аплодисменты.

Молча шли они по площади, Гертруда между ними. Кончиком туфли Франциска отбросила лежащий на дороге камешек.

— Что нового на архитектурном фронте? — спросил Троянович.

— Вазы для цветов, — буркнула Франциска.

— Революционное новшество, — рассмеялся он.

— Переворот, — подтвердила она.

Ее робость прошла. Пять часов совещались о цветочках, они там сошли с ума, будто у нас одно только дело — заседать, сказала Франциска. Она разругалась с Кёппелем, затем с Шафхойтлином, от гнева стала несправедливой, неделовой, как сказал Шафхойтлиц, вынужденный призвать ее к порядку. Она увлеклась и все представила в очень драматических тонах: нескончаемая болтовня шаманов, знахарей, ведьм и шарлатанов. Цветы и березы — хорошо, очень хорошо, именно здесь, где в трех шагах от последнего дома наталкиваешься на фантастический пейзаж, такой можно увидеть, только катапультировавшись на Лулу. Но это же пластырь на искривленный позвоноч-

ник, воскликнула она. Лирика не заменит нам точного анализа, исследования, планирования! Озелененный поселок — покрашенный труп!

Узкая тропинка между огороженными участками газона заставила их поменяться местами: теперь они шли рядом, на шаг позади Гертруды.

— Итак, на стол конференции вы бросили покрашенный труп — наилучший способ завоевать симпатии ваших коллег, — заметил Троянович.

— Мины у них всех были кислые, — согласилась она, — за исключением Ковальского — вы его знаете. Он сидел за нашим столиком, когда вы... Ковальский — единственный человек, который рискнул бы на смелое выступление. Но Шафхойтли... Вы говорите, он учитывает реальное положение вещей. Плохо учитывает: дешевые компромиссы предпочитает радикальным изменениям. Временные меры... Например, эти магазинчики, бетонные сараюшки, которые обошлись нам дороже, чем универсальный магазин, — продолжала она сводить с ним счеты, пункт за пунктом. Извращенная бережливость, сказала Франциска, она раздобыла все документы и материалы, в том числе и те, на которых стояла пометка «конфиденциально» (так именно и сказала: «раздобыла», не указав, каким образом), и запомнила сотни различных цифр.

Она не замечала ни молчаливости Гертруды, которая тащилась впереди, угрюмая, но исполненная ревности, ни молчаливости этого господина Трояновича. Она строила планы, отвергала то, что существует сегодня, но не имеет права на существование завтра, забыла, что стыдится своих больших рук, и в ночном небе, зеленоватом от света фонарей, рисовала дуги, чаши, орнаменты, костлявыми пальцами отбрасывала прочь жилые кварталы, эти комфортабельные казармы... Радикально! Это слово она повторила много раз, — слово, подстегивавшее его к возражениям. Впрочем, он ничего не говорил, озадаченный тем, что она безоговорочно требовала: пусть выкажет свою заинтересованность, — и еще более озадаченный тем, что ему нравился ход ее мыслей, предпосылка, из которой она исходила: ни его и никого другого ничто не должно интересовать больше, чем планирование городов, градостроительство как мировая проблема номер один; он не перебивал ее и, только когда они уже стояли перед ее домом, рекомендовал во время следующих заседаний быть лучшим тактиком и проявлять меньше темперамента.

Она восприняла это как упрек: за недостаток такта, подумалось ей. Гертруда пошла к двери, звеня ключами.

— Пстой, я иду! — крикнула ей Франциска. Она опустила руки, которые только что в воздухе сгибали сталь, а бетон месили, как воск. — Я провожу ее наверх и п-пойду через ч-чердак, — добавила Франциска, каждый раз умиравшая от страха, когда ей вечером приходилось идти этим путем. Тут рядом, рассказывали девушки, один повесился, между стропилами: открыли дверь, он от порыва ветра возьми и повернись, а его ноги...

Она улыбалась водителям, которые на грузовиках и автокранах встречались ей на шоссе или на строительной площадке. Гудки, оклики! Ее сердцу были милы шоферы, их машины, шорох колес, размалывающих песок. Она улыбнулась Трояновичу еще до того, как узнала его, — водителю, пытавшемуся объясниться с ней по азбуке Морзе: алло, куколка! Троянович в белой сорочке с серебристо-серым галстуком, одетый по-воскресному, за рулем. Он поднял руку с подогнутым большим пальцем, два пальца приложил к виску: приветствие, которым обмениваются мужчины. Он, кажется, меня имеет в виду... Разве он не поехал медленнее? Груды камней в кузове, желтых, как янтарь, блестели на солнце. Меня или какую-то другую юбку, подумала Франциска.

Избалованная, захваленная блестящей дипломной работой, закрепившая за собой положение лучшей ученицы Регера, она чувствовала себя уверенно лишь в окружении вещей и мыслей, имеющих прямое касательство к ее профессии. За этой границей она была ранима, застенчива, ей все еще слышались голоса из отмершего мира, которые ставили ее на одну доску с ремесленницей. Голос хитрой и жестокой матери, ее муштра, ее злобная критика, ее желание поработить дочь, привязать к дому, семье, окружающей среде и если не воспрепятствовать ее бегству, то всячески его затруднить. Когда девятнадцати лет Франциска ушла из дому, она была убеждена, что у нее скверный характер, дурной вкус, что она малопривлекательна и не в состоянии справиться с практическими сторонами жизни (быть практичной: «не дать кому-либо себя использовать» — изречение фрау Линкерханд). Она начисто перечеркивала все успехи Франциски. Твой профессор — впрочем, он весьма неважного происхождения, из низов, — выскочка, да, известные манеры, но ты об этом, конечно, не имеешь понятия, твой профессор оказывает тебе пред-

почтеннее? Для нас это не ново, к сожалению, об этом уже поговаривают... Ты поправилась ффрау Н.? Ну так она ведь тебя еще не знает, у тебя обманчивая внешность, дитя мое. Франциска думала о себе как о постороннем человеке: она не может нравиться, ей надо слишком многое скрывать...

Но работе она отдавалась безраздельно, забывая о своем боязливом, угрожаемом «я», которое порой от нее отделялось, подстергало наступление вечера, ощущение одиночества, звучание определенной мелодии или внезапно выступало из глубины зеркала. Даже в бараке на краю города — она была недовольна им, так как, по ее выражению, покрывалась там плесенью, — она сохраняла уверенность в себе, была деятельной, и это связывало ее с другими. Она, которая краснела, обливалась потом и приходила в отчаяние от кемистости скверно настроенной продавщицы, смело вступала в спор с Шафхойтглипом, главным архитектором города, со своими старшими коллегами, бесстрашно встречая снисходительные улыбки озлобленных иронических взрослых или слушая чей-то голос, вдруг зазвучавший резко, язвительно и авторитетно (авторитет посвященных).

Она не ощутила и твое смущения, когда встретила Трояновича на стройплощадке, где светило солнце и гулял ветер, вздымая тучи сухого песка: она приветствовала его как хозяйка дома. Она сидела у окна ресторана между распахнутыми оконными створками, двумя стеклянными страницами, на одной из которых белыми буквами было написано «*Да здравствует 1 Мая*», на другой нарисована обнаженная женщина с гигантскими грудями, сдвинутым в сторону пупком и бедрами архаической Венеры.

Колеса самосвала описали полукруг на песке. Франциска сдвинула на лоб защитные очки. Он не остановится. Нет, остаивается. Она была ослеплена яркостью красок, буйным светом майского дня, голубым небом, солнечными бликами на рельсах подъемного крана и бампере грузовика, желтыми цветами дрока, спежковой белизной сорочки Трояновича. Ее пальцы с содранной на сгибах кожей были покрыты толстым слоем цементной пыли. Опять штурмовщина? Нет, просто контроль, сказала она весело с высоты своего подокошника. На пей были мужская сорочка в клетку и джинсы. Он увидел измятые брюки, следы смолы и штукатурки, красные пятна на сгибах

пальцев и удовлетворенно улыбнулся: она улизнула со своей банки, убежала от чертежной доски, от чертежей, ударов весла, направлявших громоздкий корабль — вперед или только по кругу?

— Вы так ходите на работу? — Серебристый галстук, запонки, которые явно выбирала женщина. — Вы же одеты как на вечеринку... — Шквальный ветер поднял в воздух тучи песка. — Самый ветреный и сухой кусок земли, который я когда-либо видела. Летом здесь, должно быть, сущий ад... У нас дома дождь идет почти каждый день. И туман до полудня... Как вам нравятся наше новое творение?

Он глянул вверх. Ему не хотелось вместо новой детали картины — пальцев женской ноги с коралловым лаком на ногтях в маленьких, почти детских сандалиях — рассматривать панораму, виденную бесчисленное множество раз: будущую площадь, песок, взвихренный ветром на песчаном поле, посреди которого вздымался островок черной пахотной земли, два ряда строящихся домов с отверстиями для будущих окон, прямую линию крыш из гофрированного асбеста, слепые фронтоны поставленных наискосок зданий.

— Поговорим лучше о погоде, — сказал он. Он сморщил лоб. Молча глядя на нее, он мысленно закончил ее быстрый и бессвязный рассказ: во всем этом она не принимала участия, и отвел ее подозрение — он-де хочет уклониться от ответа, дабы не оказаться невежливым. Сигарету? Она вытерла ладони о брюки. Прикосновение к жесткой ткани заставило ее вспомнить о грубом холсте, из которого делают палатки (для рабочих, занятых на дорожных работах), о шершавости бетонных плит, лестниц без перил, по которым она поднималась с этажа на этаж, о комнатах без дверей, кухнях без запаха лука, хлеба, жареного мяса.

Родился дом. Она прикасалась к его стенам, его каменному телу. Обходила коридоры, пустые помещения, видела сверкающие в лучах солнца столбы пыли, раскрывала окна, наслаждалась прохладой лоджии, зернистой кожей нагретой солнцем стены между двумя балконами, материалом, в котором была воплощена система линий и соразмерность отдельных частей здания, где под точно пригнанным и приваренным потолком жизнь обретет приют и защиту... Она тоже к этому причастна, сказала Франциска Трояновичу, который, тщетно пытаясь зажечь на ветру

спичку, повернулся к ней спиной, все-таки причастна: составляла чертежи, этим так или иначе приходится заниматься (обычная работа, приспособление типовых проектов), затем внесла предложение (расцененное Шафхейтлинном как подстрекательство к поджогу), далее высказывала мысли, которыми не позволила пренебречь, хотя план уже был утвержден, изменения считали невозможными, а также нежелательными.

Она наклонила голову над дрожащим огоньком спички, почувствовала запах дизеля, вблизи увидела шрам, пересекающий большой палец, тыльную сторону кисти и под сдвинувшейся манжетой дельтообразное скопление жилок и тонкие светлые волосы.

— Но не в этом смысле, — сказала она, учащенно дыша, — причастна, да, но я не сообщница этого композиционно-архитектурного преступления. Там, дома... понимаете, профессор Регер всегда говорил: стройка для вас должна быть важнее возлюбленного.

Он молчал и курил.

— Здесь, в этом предприятии конфекционного типа... — продолжала она пренебрежительно и повторила, так как хотя он молчал, но кивнул, как бы соглашаясь с ней: — Конфекцион. Строительство сегодня? Выпуск изделий массового производства. Архитектор сегодня? Поставщик, не имеющий отношения к готовому изделию. Его трудовая мораль: выполнение заданных показателей плана. Дело его чести: сдача чертежей в установленный срок.

Видел ли он, спросила она Трояновича, видел ли он когда-нибудь на строительной площадке архитектора? И хотя он кивнул, сама отвечала — нет. В бюро работа протекает без всякого увлечения.

Он бросил окурок.

— Это консерватизм, — сказал он.

Франциска широко раскрыла глаза.

— Консервативны вы и ваш профессор, высказывания которого звучат красиво, но не содержат в себе ничего, кроме чисто иррационального момента: именно это делает их столь привлекательными, апостолов же, его цитирующих, — непригодными для работы в современной промышленности.

Ей казалось, что она слышит Шафхейтлина. Шафхейтлиц, произнес Троянович, но не пренебрежительно, как Франциска, конечно, обидно, что такой человек, как он, не двигается с места, законсервированный поватор, песно-

собный выстоять против таких, как Регер (и вы, леди!), и потому не менее виновный в том, что за двадцать лет строительство стало последним бастионом традиционализма и цеховой организации труда.

Так просто с этим примириться она не могла. Он вынужден был дать объяснения, втянуться в дискуссию, которая была ему не по душе (вместо ни к чему не обязывающих «как дела», покуривания сигареты, разговора о погоде, чудесной, хотя и чересчур сухой, возможны пожары, особенно при таком ветре, последний год лесные пожары часты, но вам, конечно, это неизвестно), вероятно, не по душе и ей, подумал он и сказал: не принимайте этого всерьез, не стоит. Он пожал плечами и взглянул на часы, отчего у нее едва не остановилось сердце. У каждого своя работа. Стройка — это, конечно, важно, а водитель самосвала — человек маленький, но изредка он позволяет себе роскошь думать, без особого, правда, интереса и, уж конечно, без охоты дискутировать. Она начертила в воздухе модель дома.

— Но я ведь говорила о конкретном строительстве. Гевандхауз, например...

Ее глаза сверкали. Сейчас ей не надо было смотреть на него снизу вверх, их лица находились на одной высоте, и она не поддавалась чувству робости, несмотря на рассеянное выражение его лица, рассеянное, но вежливое, и насмешливо кривившиеся губы. Ей настойчиво хотелось, чтобы он ее понял. История с висячей лестницей. Западное крыло, выхваченное из тьмы глубокоизлучателем под сенью защитного навеса. Благоговейное впечатление от взмывающих кверху ромбов в своде купола. Дополнительные задания, кропотливая работа, к примеру оконные детали (которых позднее никто не замечает, в лучшем случае воспринимая их в совокупности, дающей ощущение гармонии). Вообще эти проклятые окна, сказала она, в конце концов, они мои, однажды утром я вижу их при боковом освещении, они, скажем прямо, не потрясают, гордиться тут нечем, по тем не менее приходишь в хорошее настроение...

Но этого он не может (или не хочет) понять, кривит губы, пытается укрыться под маской непостижимой, нестерпимой заносчивости, что она воспринимает как явный обман, укрыться за своей мнимой тождественностью с водителем самосвала. Троянович. Кого он пытается обмануть? Меня? Самого себя? Во всяком случае, это насто-

ронный, которого не сдерживают или не воодушевляют чувства, пусть даже сантименты.

— Вы не строитель, — сказала она. — Ваша работа, ваш самосвал со щебнем и бетоном, ваш руль не более как реквизит для театрализованной легенды... — Троянович зевнул, прикрыв рукой рот. — Вы играете роль, но не выдерживаете ее до конца. Уже ваша манера разговаривать, выражения, которые вы употребляете... все это слишком хорошо, слишком естественно, у слушателя, будьте уверены, это не вызывает уважения к столь способному самоучке. Или вы считаете меня дурочкой? Играть предомной роль мелкой сошки, простого человека, которого ни с того ни с сего осеняют талантливые мысли... От-т-вратительно...

— Отвратительно, — сказал Троянович. — Ну хорошо. Что еще?

Она встала на подоконник. Он хотел уйти, но остался: из-за детской сандали, в которой, словно клешни дикого животного, шевелились пальцы.

— Шафхойтлин знает вас. — Она лгала без запинки. — Сначала он не был уверен... он говорит, вы сильно изменились.

Троянович осклабился.

— Не я изменился, меня изменила резиновая дубинка.

Примула, пришло ей на ум, вокзалы, Лертеровский вокзал?

— Он проболтался, это мне действительно неприятно, — сказал Троянович, огорченный настолько, что уже не мог скрыть своего огорчения, упомянул о статьях, которые фрау Линкерхауд читать не стоит. Почему? Потому что они написаны чертовски плохо, в стиле пятидесятих годов, героическая халтура, или, точнее (так как речь идет о Сталин-алле), кондитерская журналистика, — статьи, которые Шафхойтлин, чего доброго, вырезал и подшил.

— При его любви к порядку, — пробормотала Франциска, ничего не зная о статьях, якобы плохо написанных, древних (пятидесятих годов!), пожелтевших от хранения в архивах, свидетельства существования некоего журналиста Т. и прославленного — за какие подвиги, в каких словах? — Шафхойтина. Она находила это невероятным. Герой и воспеваящий его, их имена рядом на газетном листе: и надо же было ей стать сегодня свидетельницей встречи этих двух бывших...

Любопытство, которое вызывал в ней незнакомец, удовлетворение от того, что она его перехитрила, погасли.

Она не задавала вопросов. Когда Троянович начал уверять, что доволен, так как независим, на своем самосвале он хозяин, у него одно только желание — чтобы ему не напоминали о прошлом, она молчала, подавленная, казалось ощутив горечь утраты. Бывший. Она вдыхала аромат осенней листвы, хризантем, тиса, мокрого от дождя. Опустив веки да еще укрыв глаза защитными очками, пыталась быть слепой, чтобы лучше слышать. Он говорил без фальшивой бойкости, без пыла человека, вынужденного в чем-то убеждать самого себя. Его голос разочаровал Франциску, ей хотелось увидеть более мрачные краски, под шлаком и пеплом обнаружить поток красной лавы и ощутить что-то вроде подземных толчков, но при всем желании (ибо она все еще хотела, пусть даже с некоторыми поправками, видеть свое создание испытанным, отважным рыцарем, который не страшится ни черта, ни смерти) в голосе этого человека не слышалось ничего, кроме желания смотреть на себя со стороны, иронического отношения к жизни, которого он последовательно придерживался, да разве что происхождения из двух разных областей, диалекты которых смешиваются: берлинский, что для ее слуха городской жительницы звучал покровительственно дерзко (Берлин был еще рыбацким поселком, когда с нами поддерживал отношения весь мир), и восточно-прусский, гипертрофированный, различимый в медлительно-протяжных гласных, в отдельных диалектных словечках, которые он иногда употреблял в немецком литературном языке, Франциска хоть и замечала их, по оставляла без внимания... только позднее научится она по определенным словам из того или иного диалекта судить о его настроении, чувствах, в которых он не хотел признаться ни ей, ни даже себе...

Она достаточно хитра и никогда не даст ему понять, что видит его насквозь, но меньшей мере многое понимает, она молчит и улыбается, когда он скептически говорит о чувствах, отказывает, руководствуясь доводами разума, в какой-либо просьбе на диалекте, которого слышался в пору летнего отдыха среди Мазурских болот, в тамошних дремучих лесах, на языке своей матери, которая, прожив сорок лет в Берлине, говорит, как давпо-давно в Николаплене. Впрочем, от сыновей и мужа (он родился и вырос в Сувалках, но вот уже тридцать лет считал себя корен-

ным берлинцем) понемножку пахвталась берлинского жаргона, но прибегает к нему лишь изредка, чтобы посмешишь своих шалопаев. Мать у нас — как из хрестоматии, говорит ее младший сын, и вместо объяснения в любви добавляет: из очень старой хрестоматии, так что Франциске сразу представляются руки, передник, запахи — свежеспеченного пирога, овечьей шерсти, из которой она вяжет куртки для библейского сонма сыновей и внуков, букетик лаванды в бельевом шкафу и шерстяное платье, в котором она по воскресеньям ходит в модельный дом то ли баптистско-апостольской, то ли анабаптистской секты. Вот лица ее Франциска никогда не видела, фотографии ее не имеется, поехать в гости невозможно, ибо Кройцберг находится по ту сторону, за стеной, отсюда фрау Троянович не выезжала сорок лет. Многоквартирный дом, где она живет, как бы стал ее селом, с соседями во дворе, на лестнице, магазинчиком в подвале. Катая белье, она без умолку болтает, пробует свадебные пироги, качает детские коляски, возлагает на гроб усопших еловый крест, украшенный восковыми розами. Это ее село. Правда, дома здесь повыше, сад, конечно, поменьше: полочки для цветов да горшки с луком перед кухонным окном. Курфюрстендам и Фридрихштрассе — две разные страны, ее мальчики — аргонавты, по возвращении домой они рассказывают легенды.

Там, где она, там и Николаикен, и потому не из упрямства, не из тоски по родному дому, не из неумения приспособиться она бережно хранит свой язык, ведь за истекшие годы она потеряла так много: девичью косу, сбережения на черный день, швейную машинку (куплена в рассрочку и не была полностью выплачена) и тем самым работу на дому в качестве перчаточницы. Пощаженный было Нимфенбург, погибший затем от взрывной волны, сгоревшие от зажигательной бомбы, угодившей в дом, мебель, кресла и то, что еще раз удалось приобрести, а под конец она еще потеряла зубы и тонкая талия отошла в область преданий (война позади, она голодала, война продолжается, хотя и без голода, и она наверстывает: два раза в неделю печет пироги, по воскресеньям торт и, несмотря на то, что за стол садятся всего двое, варит полный котел ботвы со свиным желудком, после сорока лет супружества она, хотя и не окончательно, потеряла своего честного мужа — он, правда, всегда находит дорогу домой, по сотни вечеров и много ночей проводит бог знает

где, отец семейства без семьи, который вдруг отказался стареть мирно и безропотно, как она... Одиннадцать сыновей родила она, пять из них потеряла (невозместимая утрата), их отняли у нее фюрер, война, генерал Зима, генерал Венк и Берлип (рейхстаг), четверо в Восточной Германии, по ту сторону, говорит она, в ГДР — поправляет ее старый муж, вечный спорщик, как будто, изменив название, можно хоть на дюйм что-то передвинуть, приблизить или удалить (Тюришгя, Лаузитц так же далеко или так же близко, как Трептов или Нидершёнхаузен), как будто имя может облегчить ожидание или ускорить получение поздравительного письма ко дню рождения, семейной фотографии, открытки из Ялты или сделать излишним беспокойство об одном, другом, третьем и последнем, самом молодом, — малыше, который бездельничает на какой-то малозатяжной стройке в Нейштадте, где возводятся дома, крыши которых можно достать вытянутой рукой, этот малыш ростом сто восемьдесят девять сантиметров, из братьев самый высокий. О них он не упоминает, ибо нет пока разговора о личном, о Николаикене, лесах, где он проводил отпуск (населенных зубрами, лосями, комами), и уж тем более о Кройцберге, Китце, семье, братьях, находящихся на востоке и на западе, их делах, должностях, успехах и о том, что только самый юный из них не занимает никакой должности и не добился успеха, что он, так сказать, заблудшая овца. Благодаря своей работе, которой он не нахвалится (физический труд на свежем воздухе!), он оказался крепче других, не нуждается в санатории, ему не угрожает инфаркт, здоров (приступы малярии не в счет), беззаботен, *доволен*, как он сообщает в открытке, присланной на пасху, и в письме, полученном к рождеству, и в чем он теперь заверяет ффрау Лишкерханд.

— Может быть, просто смирился, — сказала она.

Его взгляд натолкнулся на очки, застывшие черные выпуклые глаза насекомого. Он забыл цвет ее глаз (зеленые, карие? — подумал он вскользь), повторив: *смирился?* — по безмолвно, как вопрос, обращенный к самому себе, а не к этой упрямой особе, которая тем не менее ему отвечала, повторяя слова, вычитанные из какой-то древней книги:

— «Вы создасте пустыню и называете ее миром».

— Ну, ну, ну, — сказал Троянович, делая вид, что принимает ее слова за шутку, однако сравнение пашел пенод-

ходящим, библейские изречения здесь вообще неуместны, приведенные слова о пустыне он приписал кому-либо из пророков или древних властителей — Моисею, Соломону, Иеремии — ошибочно, об этом он узнаёт позднее: от Франциски, которая находится под впечатлением его эрудиции, порой даже подавлена ею, и потому теперь в восторге от его ошибки — бреши в этой крепостной стене знаний, и возможности со своей стороны его поправлять или даже поучать, и эту возможность она немедленно использует и с неменьшим рвением, словно речь идет о соглашении, предусматривающем прекращение испытаний ядерного оружия, начинает комментировать содержание изданных Моисеем законов, взаимоотношения Соломона и царицы Савской, Давида и жены его военачальника Урии. О богах, богинях, полубогах, нимфах и фавнах она рассказывала как о своих хороших знакомых и близких родственниках, когда-то казавшихся ребенку могущественными и всезнающими, теперь же видимых насквозь со всеми их причудами, трюками и фокусами. Перед букетом нарциссов она излагала легенду о юноше необыкновенной красоты, влюбившемся в свое отражение в водах ручья, умершем от страстной любви к самому себе и превратившемся в прекрасный цветок, а увидев в окне горшок с гиацинтами, вспоминала предание о мальчике Гиацинте, заколдованном друге детских игр Аполлона. Франциска бегло цитировала римских авторов, казалось, через плечо рыжеволосого человека, сквозь лупу, увеличивающую страницу до размеров мраморной плиты и надписи на памятнике, читала фразы из Цицерона, Катона, Горация, Вергилия, Овидия, Ювенала... Имена, всего лишь имена для Трояповича, паренька с заднего двора, окончившего только восьмилетнюю школу, затем неполную среднюю (из двух лет пребывания в ней большая часть времени была потеряна из-за воздушных тревог, бомб, службы в гитлерюгенде, эвакуации в Мазуры, бегства через покрытый льдом залив, трудного пути к дому, в крепость Берлин), и снова бомбы, служба в гитлерюгенде, арест и содержание под стражей среди подонков, потом спекулянт, ученик средней школы (полгода), несовершеннолетний крестьянин на пяти моргенах бранденбургского песка, активист Союза свободной немецкой молодежи, студент рабоче-крестьянского факультета, зачитывающийся Марксом, а не Катуллом: Катуллу придется пока что отложить, читаю позд-

нее, а в ту пору, сама понимаешь, надо было заниматься многим другим.

Это Франциске ясно, она хорошо себе представляет биографию, характерную и для тысяч других (но это не ее биография), знает густонаселенные дома, задние дворы, так называемые садовые домики, на третьем дворе, но без сада (сама она никогда не жила напротив брандмауэра, никогда не играла под окнами кухни, на асфальте среди мусорных баков), и довольно хорошо представляет себе, преимущественно по книгам, социологический характер подобного рода биографий: беженцы, переселившиеся в большой город, отец — чернорабочий у Сименса, потом квалифицированный рабочий; мать — прислуга у господ — помолвлена (встречи с женихом разрешены два раза в неделю, выходной по средам и субботам, посетители на кухне нежелательны), ко дню свадьбы она уже на третьем месяце беременности; дедушка, сорок лет бывший батраком, и бабушка, которая в случае необходимости может каракулями нацарапать свое имя, Генриетта Лукайт, и отец отца, который уже кое-чего добился, он дежурный на железнодорожном переезде, в захолустье, полунемецком, полупольском городишке, где не останавливается ни один поезд, и, наконец, одна ясно очерченная фигура на фоне этого семейно-исторического мрака — вечно пьяный прадед, в свое время слывший чудилой и веселым собутыльником... все эти персонажи известны Франциске разве что по романам, романтическими остаются их семьи, окружающая среда, представить себе все это она может, но своими глазами она такого не видела. Я понимаю, говорит она, и тем не менее рассказ Трояновича ее удивляет, кажется, это говорит человек старше ее не на семь, а на семьдесят лет, многоопытный, познавший чуждую ей и суровую действительность, которая лишь изредка пересекается с «ее» действительностью (например, почти в бомбоубежище, голод, разграбление барж, тогда, в мае, у меня все еще стоит перед глазами Вильгельм, наверняка тоже участвовавший в грабеже, в изодранной одежде, он с видом победителя швырнул отцу большой кусок масла и крикнул: «Эти никогда ничего не понимают!»).

Задела ли она его своим мнимо библейским изречением? Нет, говорил он себе, вспоминая их разговор, до чего же он был противно болтлив, думал Троянович еще за рулем, потом улыбнулся: надо же, она гладит свои джинсы, и принял твердое намерение покончить, но с чем? — ны-

ми словами, уклониться от начала. Не искать встреч, избегая по мере возможности даже случайных. Дело вовсе не трудное, думал он, неоднократно на протяжении последующих недель проезжая мимо фрау Линкерханд, которая, впрочем, ни разу не была одна. Это облегчало ему выполнение наложенного на себя запрета — только приветствовать ее жестом, если она бросит взгляд на кабину водителя, но машину не останавливать, из кабины не выходить.

Несколько раз он видел ее с Язвауком (дама с левреткой) и часто, слишком часто с Шафхойтлином, идущим на полшага позади нее, слегка раскачиваясь, коренастым, угрюмым, лишь редко веселым, всегда с недоверчивым, подозрительным взглядом: ее телохранитель, думал Трояпович. Он уже выглядит смешным... Но совсем не смешным показался он ему в сцене, увиденной им сквозь ветровое стекло, немой фильм, пятисекундный спектакль с двумя действующими лицами, разыгрываемый (если бы только разыгрываемый!) в конце главной улицы, на пустыре, где в июле и октябре организаторы массовых зрелищ устанавливают свои палатки и карусели, где располагаются циркачи, и разбросанный на арене песок, перемешанный с опилками, напоминает о манеже и наездниках, а пестрые куски ткани и картонные стаканчики — о ярмарке. Шафхойтлин стоял, повернувшись боком, почти спиной к фрау Линкерханд, которая в чем-то его убеждала, он качал головой, а она, продолжая говорить, коснулась его руки своей рукой, вот и все, что произошло.

Трояпович сжал губы. Он не подал виду, что узнал их, что видел лицо Шафхойтлина, беззащитное и до такой степени обнаженное, что оно казалось оскальпированным. Картина запечатлелась в его памяти, хотя он давно позабыл ее или из скромности постарался утаить от самого себя. Первую боль, которую причинила ему возлюбленная, он даже не воспринял как боль. Он не принимал в расчет безрассудных чувств, таких, как ревность, и, даже будь он влюблен, не нашел бы никакого повода для ревности, ни в нетерпеливом жесте без тени нежности — дружелюбие и только (люди говорят о профессиональных делах, их мнения не совпадают, с чем-то они не соглашаются, она оживлена, потом нетерпелива, берет его за руку — да послушайте же вы! — пожимает ему руку певольно и без всякого умысла, думая — об этом говорит выражение ее лица, — думая лишь о деловом, совершенно не заботясь о

том, что в это время творится в душе другого, для которого ничто уже более не происходит непреднамеренно, ибо в каждом прикосновении, взгляде, настроении, даже в цвете ее блузки, в красной или черной ленте он ищет и надеется увидеть какой-то смысл и значение), но именно то, что внесло бы успокоение в душу влюбленного, для Трояновича послужило поводом проехать мимо фрау Линкерханд, как мимо незнакомого человека.

В том, что два дня спустя она сидела в его кабине, виновата была его вежливость, отнюдь не непоследовательность. Еще издали он узнал ее волосы и клетчатую мужскую сорочку среди группы дорожных рабочих, до пояса обнаженных, босых или в деревянных башмаках и портянках, с загоревшими почти до черноты плечами. Он высыпал свой груз щебня и развернулся. Ему навстречу, неся сандалии в руке и хромая, шла Франциска, подавшая знак остановиться.

— Вы обратно в город? Подвезете меня?

Он молча отворил дверцу кабины. Рабочие смотрели на них.

— Сегодня с дворцовой гвардией?

— Они прокладывают нашу восточно-западную трассу.

Франциска высунулась из окна кабины и кивнула молодому человеку, кивком же ответившему ей. Его волосы, вьющиеся за ушами и на затылке, выцвели на солнце и стали почти белыми, а на груди на цепочке болтался гранатовый крестик.

— Он прочел всего Дюма. Теперь читает Золя. Я обещала ему «Жерминаль».

— Не забудьте, — сказал Троянович.

— Нет, конечно.

Франциска насторожилась, увидев холодное выражение его лица, и спросила себя, что она опять сделала неправильно.

— Итак, он читает Дюма, — сказал через некоторое время Троянович. — О чем еще он вам рассказывал? Вероятно, грустную историю: подружки нет, всегда в пути, почи в вагончиках, пивная, изредка кино, к счастью, есть Дюма, несмотря на это, он в чем-то ощущает недостаток, иногда от этой бродячей жизнью просто пресыщен...

— Пресыщен? Нет, ему нравится его образ жизни, он еще долго не устанет бродяжничать. Подружка? Во всяком случае, постоянной нет, иногда встреча с девушкой, если так получается, но о женитьбе не думает.

На нее произвел впечатление парень с амулетом на груди — впечатляющей груди — или, может быть, его жизнь, которую Троянович знал не хуже, чем города и дороги, встречавшиеся в ее рассказе, довольно точном, хотя и взволнованном (тоской, желанием?), о скитаниях по стране, о сооружении плотины на Балтийском море, об автостраде под Лейпцигом, о дорогах в Мекленбурге и Тюрингии, о жизни в вагончике, о субботних вечерах, о танцах раз в неделю, если вблизи оказалась деревня, о пьянках — они должны быть (говорит мушкетер), о воскресеньях, когда отсыпаются или как-нибудь проводят время: играют в скат, стирают носки, читают, — ехать домой незачем, да и не тянет; парня с амулетом, к примеру, ждет замужняя сестра, а может быть, и не ждет, если ее муж, зять этого парня, солидный человек, не желает ничего слышать о цыганском образе жизни...

Ее рассказ Троянович слышал краем уха, отчасти от рассеянности, отчасти из-за шума мотора, заглушавшего ее слабый голос. Но больше пищи для раздумий, чем сам рассказ, давали ему вливающиеся в ее монолог придаточные предложения, различные пожелания и ее взгляд сквозь ветровое стекло, устремленный на далекую точку в нескончаемой синеве горизонта. Он умолчал, однако, о том, что думает о желаниях, горизонтах и той далекой точке (всегда одинаково далекой и одинаково близкой). Там, где магистраль выходила на безлюдную площадь, он притормозил и открыл дверцу, молча, как и в первый раз.

— Спасибо, — сказала Франциска.

Она сделала несколько шагов по раскаленной сковороде-шоссе.

— Садитесь-ка назад в машину, — послышался голос рядом с ней. Она стала пораненной погой на подножку, он подал ей руку. — Босиком через весь город... Объяснить толком, в чем дело, вы, конечно, не можете.

— Я, видите ли, тренируюсь: сегодня в роли римской матроны. Жена Брута поразила себя кинжалом в бедро и молча переносила боль, а жена Петуса...

— Так не пойдет, — сказал Троянович и улыбнулся. Она подтянула правую ногу. — Запоза еще торчит. — Франциска побледнела при виде пальца, покрытого запекшейся кровью, ногтя, отливавшего фиолетовым цветом, и кожи над ним цвета сливы. Потом отвернулась, сказав: очень уж неаппетитно.

Троянович порывлся в своем портфеле, настолько потрепанном, что его можно было принять за наследие рабфактовских времен, и среди газет, блокнотов, кусков проволоки, порошков хины по соседству с термосом нашел изящный футляр (подарок женщины?) со швейными иглами, катушкой ниток, пилочкой для ногтей, ножницами и пинцетом. Он прокалил иголку. Нет, нет, сказала Франциска, пожалуйста, только пластырь, для маскировки, из-за Шафхойтлина, который никогда не отпускает ее на стройку без педантичных наставлений о необходимости соблюдать правила безопасности и остерегаться водителей грузовых машин и самосвалов. И все-таки, если она запаздывает, он уже видит ее раздавленной грузом, сорвавшимся с подъемного крана, попавшей под автомобиль, изнасилованной в сосновой роще.

— Думайте о жене Брута, — приказал Троянович, вонзив ей иголку в кожу. Он был, как обычно, в белой сорочке, но из-за жары ослабил узел галстука и закатал рукава до локтя. Франциска рассматривала его округлую руку, сужавшуюся к запястью: очертания кипрской вазы, подумала она.

— У вас красивые руки.

— Потешьте лучше свой взор ландшафтом, — резко сказал Троянович, его раздражало то, что он обычно ценил в женщинах и отсутствие чего у большинства из них ощущал болезненно, а именно — деловитости, соблюдения дистанции, пусть даже там, где роль играют чувства. Чувство? Признание, каким пользуется сооружение с хорошими пропорциями. — И отвыкайте легкомысленно оперировать различными понятиями, — добавил он, казалось досадуя не столько на нее, сколько на себя. Но главное — на произвольное употребление печетко сформулированных понятий. — Красота, например, — сказал он, склонившись над ее ногой и пытаясь ухватить пинцетом завозу, что ему никак не удавалось. — Красота, столь часто описываемая, воссоздаваемая, анализируемая, чьи приметы и действие многократно испытаны, по сей день не получила общепризнанного определения, в лучшем случае существуют лишь приблизительные попытки ее определить, в известной мере подкупающие, при более же глубоком изучении вопроса...

— Ну что, ухватили? — мягко спросила Франциска.

— Терпение, леди. Итак, подкупающие попытки, однако за всем этим фейерверком и модной фразеологией вы

вновь обретаєте старого Лаокоона,— уверенно продолжал он, быстро и ловко орудуя пинцетом и красивыми хромированными (или посеребренными?), но, к сожалению, затупившимися щипчиками, которые Франциска с удовольствием вместе с футляром выбросила бы в окно.— Я бы пошел дальше и готов утверждать, что после Лессинга и Бёрне ничего стоящего на эту тему не было сказано.

— Ну и что? Что из этого? Не думаете ли вы, что красота лучше воспринимается, если у нас под рукой есть ее определение, по возможности кратко сформулированное, в виде лаконичной фразы, которую наш профессор...

Внезапно она умолкла и повернула голову. Троянович осматривал окровавленную занозу.

— Солидная штука, не думаю, однако, что это наиболее рациональный способ очистки от мусора строительной площадки. Извините. Ваш профессор...

— Шивкель (бог знает, чем он заслужил право на эту фамилию<sup>1</sup>), профессор Шивкель диктовал нам: красиво то, что наиболее полно соответствует своему назначению. Шивкель,— иронически воскликнула она.— Он изобрел формулу, но за всю свою жизнь не построил ни одного приличного здания.

— Позвольте,— прервал он ее,— я не настаивал на определении и уж меньше всего — на механическом применении незыблемых правил...

— Ах так, почему же вы тогда спорите со мной?

— Я последний, кто спорил бы о вкусах, ибо в конце концов все это сводится к вкусу. По-моему, каждый может...

— Каждый, но не я? Почему я не могу назвать что-либо красивым без того, чтобы не подвергнуться критике с вашей стороны?

Он был неприятно удивлен ее враждебным тоном, пытался объяснить, что возражает только против определения красоты, и, так как она молчала, добавил: о критике не может быть и речи. Она молчала. Почему? У него действительно не было желания ломать себе голову над причинами ее дурного настроения. Несмотря на это, его слова прозвучали как извинение, он сам это слышал, когда повторил, что вовсе не думал заниматься придирчивой критикой, ибо поддался слабости поучать (которую знал за собой), обвиняя себя в педантичности, он тем не менее

---

<sup>1</sup> Schinken — по-немецки ветчина.

клял комическую и непривычную роль человека, приносящего женщине извинения за ее дурное настроение.

Она смотрела мимо него, на площадь с разваливающимися лачугами, на манежный круг, посыпанный грязно-желтыми опилками, деревянную стену, перед которой валялись наметенные ветром обрывки плакатов, видела облака дыма на горизонте, три из них цвета охры над невидимыми отсюда трубами старой брикетной фабрики и одно белое — беззвучно плывущее в небе.

— Здесь мы построим центр города. — (Его она больше не слушала.) — У нас есть шанс... я имею в виду город или Шафхойтлина с его группой. Если проект не обкорнают в округе, не вмешается институт в Берлине или какая-либо важная персона, призванная решать задачи более сложные, нежели жилищное строительство... «Мы» — я сказала так по привычке, извините, это было неправильно и легкомысленно. — Она рассмеялась и продолжала: — Вы и педантичность? Скомканные газеты, окурки и обгоревшие спички на полу, небрежно разбросанные повсюду кучки пепла от сигарет, прикрученная проволокой дверная ручка, часы, болтающиеся, как талисман, на зеркале перед кабиной водителя... Ой, я опаздываю! Шафхойтлин! Где пластырь? — Она поблагодарила и вышла, он наклонился над освободившимся рядом сиденьем, чтобы закрыть дверцу машины. — До завтра, — сказала она.

— Да. До завтра, — отвечал Троянович.

Она не хотела хромать, пока он смотрел ей вслед, и шла не хромя. Припадать на ногу она разрешила себе лишь по дороге к бараку, идя через кладбище, где приветствовала каменного ангела. Добрый день, Аристид. Добрый день, моя безмолвная любовь. Она помылась в туалете, помещении без окон, с деревянной перегородкой, над раковиной, на которую налипли остатки кофейной гущи, светлые, каштановые и седые волосы.

Язваук встретил ее возбужденно и защелбетал:

— Старик совсем спятил. Быстрее переоденься, ты еще успеешь. — (Сегодня чертежница отмечала свой уход с работы.) — Пятнадцать чайных роз, и-зу-ми-тель-ных. Новой сотрудницы не предвидится, нам придется работать сверхурочно, это же катастрофа. Желтые розы от старика, да, и он сам их купил, я же говорю, он спятил.

Шафхойтлин дарит цветы. «Как мило», — заметила Франциска, стоя за полураскрытой дверью платяного шкафа.

— Ты прелестно загорела,— заметил Язваук, который не подсматривал, но и не отводил взгляда с интимностью дамского портного.

— Я была на стройплощадке.

— Два часа, двадцать три минуты и пятьдесят четыре секунды — спорим, старик точно засек время. Будь осторожна со своей кожей при таком ветре. На стройплощадке... Зачем тебе это?

— Ах, Мориц...— сказала она.

— А потом тебе, женщине... среди этих мужчин, говорят, они неотесанные, но славные люди и прилично себя ведут — все это пустая болтовня.— (Он вспомнил свою практику, работу на стройплощадке, которая для него ассоциировалась с купальней, пропахшей хлором, и школьными товарищами, они сталкивали его в воду и окунали с головой.)

— Меня там еще никто не шлепал по заднице,— сказала она холодно.

Фрау Крупкат налила ей кофе.

— Эти чудесные розы,— сказала она,— от коллеги Шафхойтлины, можете себе представить?

Ей было около сорока, начинающая седеть блондинка, прекрасный цвет лица, как всегда, она выглядела здоровой, несмотря на полный тоски взгляд, появившийся у нее в последнее время. Можно было бы предположить, что она предается благочестивым размышлениям, если бы ее не выдавала крайняя бледность лица, которой она была обязана поздно свершившемуся чуду — выпуклому животу, который сегодня вместо обычного белого халата обтягивало шелковое платье. Она уволилась, перешагнула Рубикон, халат упакован: от нее уже пахнет молоком и корицей. Мой муж так рад, говорила она. Он хотел ребенка, как... право, даже не знаю. Пятнадцать лет. Брак без детей, это... Мы так счастливы.

— Да,— сказала Франциска.— (А я каждый месяц дрожала от страха, считала дни, давала зарок: больше не позволю ему прикоснуться к себе.) — Когда вы снова приступите к работе?

— Муж говорит, для меня это слишком много, ребенок и работа.

Да. Франциска раздавила кусочек сахара в тепловатом кофе. Она была одурманена ароматом роз, томлением, исходящим от нежных цветов, окаймленных развернутыми листьями. Чудесные розы. Да, как искусственные.

— К тому же у нас все есть,— добавила ффрау Крупкат.— Муж котельщик на комбинате, вдвоем мы зарабатывали тысячу двести в месяц, новая мебель, стиральная машина, в этом году купили автомобиль, правда подержанный, но в прекрасном состоянии, F-6, господин Крупкат его отремонтировал, поставил новую резину, покрасил, все после работы и наилучшим образом, вы же знаете, мужчины любят что-то мастерить, а уж он в этих делах так аккуратен, и в хозяйстве тоже душа-человек, но аккуратен — чтобы нигде ни царапины, он и виду не подаст, ах нет, чтобы когда слово сказал или тем более поругал, боже упаси, сам возьмет тряпку, щетку, он понимает: слишком много для женщины — работа, сверхурочные, домашнее хозяйство, и все у нее идет, скорее шло как по маслу, теперь будет по-другому, добрым тоном сказала ффрау Крупкат, расставила в порядке тарелки и чашки, вернула розы в плотную чертежную бумагу и огляделась вокруг, словно в помещении, из которого только что все вывезли. Ничего не забыла?

— Вы пришли последней, ффрау Линкерханд.— На тарелке одиноко лежал кусок торта с кремом.— Угощайтесь, прошу вас,— сказала ффрау Крупкат. Ее подбородок дрожал.— Выпейте еще чашечку, кофе можно подогреть, я быстро, только одну чашечку...

Франциска погасила сигарету.

— Вам плохо? Боже мой, а я курю... какая я идиотка... Язваук отвезет вас домой...

Ффрау Крупкат покачала головой. Она наклонилась над сумкой.

— Ведь это такая перестройка в жизни,— сказала она тихо.

Вечером в девять Шафхойтлин постучал в перегородку. В бараке они были одни. С шумом захлопнулся ящик стола, заскрипел отодвинутый стул. Франциска слышала рядом шаги и радовалась им, как идущий по темной улице человек радуется тени, промелькнувшей за последним освещенным окном. Шумели деревья. В полной тишине двигался вперед громоздкий корабль, на котором двое людей несли свою нелегкую вахту.

Она открыла окно — подышать свежим вечерним воздухом, послушать сверчков, их космический концерт, сигналы, подаваемые спутником, радиосигналы с неба и из травы. Три шага темноты разделяли две полосы света, падающие из окон на дорогу и живую изгородь.

Шафхойтлин в своей комнате облокотился на подоконник.

— Кончайте работу, на сегодня довольно.

— Вы тоже еще работаете, я не устала, да и что мне делать дома?

Да, но, отвечал Шафхойтлин, то, что он сегодня отпускает ее с работы, она не должна рассматривать как... Он искал нужное слово, казался смущенным, она же быстро сказала: засчитайте мне это за завтрашний день. Он медлил с ответом. Значит, договорились? Не возражаю. Он ни о чем не спросил. Он никогда не спрашивал, для чего вам это нужно? Это мне в нем нравится, думала Франциска, скажи она это вслух, он бы оживился, возможно, а потом заговорил бы (о строительстве, о практике, о жизни), может быть, это пробудило бы в нем воспоминания о золотых пятидесятых годах, когда он слышал свист, а потом уже запоздалый грохот реактивных истребителей, воздушная волна ломала деревья, срывала кресты с часовен, крыши с бараков, и во всем этом, вероятно, видел гибель, которую они несут старому миру. Из двух освещенных полос их внезапно укоротившиеся тени исчезли, одна направо, другая налево.

Слова заверещали сверчки. Шафхойтлин облокотился на подоконник.

— Что вы хотели сказать?

Она улыбнулась вымученной улыбкой.

— Что-нибудь поэтическое насчет тихого и мирного вечера.— От окна она отошла в глубь комнаты.

Через минуту-другую к ней вошел Шафхойтлин. Он недовольно потянул носом. Вы что, бумаги жгли? Франциска отвернула гибкую лампу. Сигареты, новый сорт.

— Вы слишком много курите и слишком мало едите,— сказал Шафхойтлин. Он может предложить ей пару бутербродов, к сожалению, они немного зачерствели, зато с ливерной колбасой, которую сейчас можно найти только в деревне, у мясника в Уленхорсте, например, он сам ее делает с разными приправами...

— Ливерная колбаса! Дайте сюда, я умираю с голоду.— Она набросилась на бутерброд, как на неведомый плод, гранат из восточных сказок. Шафхойтлин стоял у чертежной доски и пристально на нее смотрел.

— Вас легко сделать счастливой,— сказал он, пытаюсь придать своим словам иронический оттепок.

— Если бы вы знали, как мы когда-то завидовали де-

ням, у которых был настоящий отец... я имею в виду отца, который каждое утро уходит на работу, берет с собой пакет с бутербродами, а, возвращаясь вечером, иногда приносит обратно бутерброд с ливерной колбасой... Ах, а пастушеские бутерброды?

О них он не имел представления, так как не знал парня, пасшего коз на лужайке у реки, которому всегда дивились юные Линкерханды, добивавшиеся его расположения, завидовавшие его пастушеской жизни и тому, что он не ходит в школу, вендом же этого счастливого существования и были как раз пастушеские бутерброды, его обычный обед. Вильгельм даже отдал свой перочинный нож за этот чудо-бутерброд: два толстых куска хлеба с тонким слоем топленого жира посередке...

Лицо Шафхойтлина помрачнело, он счел уместным заметить, что тот парень скорее заслуживает сожаления, а вся история с пастушескими бутербродами совсем не забавна (вопрос точки зрения!), Франциска кивнула и сказала, что эта история чертовски похожа на историю с королем, которому из того, что он в своей жизни ел, всего вкуснее показалась яичница в хижине бедного угольщика, а он ведь привык питаться анапасами и рябчиками.

— Но история на этом не заканчивается, — продолжала она звенящим голосом. — Через много лет они встретились на агрономическом конгрессе в Москве, Вильгельм и тот юноша — пастух, ставший вице-президентом Академии наук, директором института и создателем установки для откорма крупного рогатого скота. Как вам это нравится?

— Ваш брат ведь, кажется, физик, — с сомнением произнес Шафхойтлин.

— Ну хорошо, если хотите знать правду: бедному мальчику еще не было восемнадцати, когда он убил своего отца, к сожалению — я говорю «к сожалению» лишь из драматургических соображений, — и не перочинным ножом Линкерханда-младшего, а самым обыкновенным топором. Отсидел положенный срок, подался на запад и завербовался в Иностраный легион.

— Это вы только что придумали, — заметил Шафхойтлин.

— Нет. Жаль, все начиналось так идиллически... Чудная пора детства! Луга вдоль берега, анемоны — или анемоны я тоже выдумала? — пастух со стадом коз... Да, я забыла об одной его слабости, он производил вивисекцию на жабах... — Она скомкала пергаментную бумагу. — Спа-

сибо за бутерброды. Вот видите, люди получают все, что пожелают, правда иногда с запозданием, — сказала она смеясь, теперь уже над ним, так как он поднял брошенный ею комок бумаги, разгладил и сложил. Он сделал это машинально, по привычке, под взглядом глаз, его зачаровавших, ослепивших даже, глаз, которые меняли цвет от ярко-желтого до золотисто-коричневого. Для них он отыскивал эпитеты в никогда им не написанных письмах, во время езды в автобусе, за прополкой клубники, за расчисткой своего садика, только не за столом в кабинете: здесь долг был сильнее чувства, он мог (пока еще) сосредоточиться на своей работе и сразу начинал раскаиваться, что нарушил свой долг, если его внимание отвлекалось, то же самое он испытывал на совещаниях или при очередном просмотре газет за неделю.

Шафхойтлин не ведал, в лучшем случае лишь смутно сознавал, находясь как бы в полусне, как сильно он страдает и как глубока его боль. Какие-то муки еще можно было спутать с физическими недомоганиями, сердечную тоску с раскаленным шаром в желудке... Он подавлял возникающее в нем порой желание уяснить самому себе свое состояние. При этом он испытывал нечто вроде того, что ощущал перед тем, как решил предать гласности обнаруженные им мошеннические проделки в строительном комбинате: разлад между честностью и боязнью последствий, опасения нажить себе врагов и причипить вред другим или, как в данном случае, привести в замешательство и огорчить других.

Происшедшие в нем изменения его сотрудники заметили раньше, нежели он сам. Он стал несколько доступнее, разговаривал в менее жестком тоне, более тщательно выбирал выражения, а временами проявлял осторожное участие в делах своих подчиненных, не имеющих прямого отношения к их служебным обязанностям: розы для фрау Круппат все еще обсуждались как сенсация. Приметы того, что он изменился (возможно, лучше бы сказать: некоторые его свойства проявились вновь), ни в ком не вызвали подозрения, что здесь замешаны причины личного характера, чувства, непозволительная связь. Подобное предположение, высказки его кто-нибудь, показалось бы настолько абсурдным, что даже не вызвало бы в ответ ленивой остроты. В служебные часы и в присутствии других Шафхойтлин относился к Франциске, как к любому другому сотруднику: не любезнее и — по такти-

ческим соображениям — не холоднее; поступать иначе ему запрещало чувство справедливости.

В те вечера, когда они оставались одни, он вел себя сдержанно, не делая никаких попыток сблизиться с ней. Он ждал, он надеялся обрести падежду, находил ее и вновь терял, так же быстро и неожиданно, как менялись настроения Франциски, непредвиденные скачки от одной темы к другой, лишепные, по мнению Шафхойтлина, всякой логики, так как он не мог уловить связи между ними, между всеми этими образами и впечатлениями, сменяющимися друг друга с быстротой молнии. Он как бы ощупью охотился за хорьком, чья шкурка и зубы взблескивали и тут же гасли, он терял след и, одураченный, неуклюже поворачивался в полосе рассеянного, тусклого света.

Дома он казался себе загнанным и измученным, однако был зорким и внимательным и долго не мог уснуть: он восстанавливал в памяти их беседы, поправлял и отшлифовывал ответы, которые он на самом деле давал слишком поздно или не давал вовсе. Он ощущал прилив бодрости, чувствовал себя отвергнутым, осчастливленным и оскорбленным, еще и еще раз вспоминал происходившее, по-своему толкуя ту или иную фразу, интонацию, с какой она была произнесена, и свое объяснение (редко правильное) ее настроению в данный момент, сомнительному удовольствию от рассказываемых ею маловероятных историй, ее молчанию, которого он боялся больше, чем насмешки над собой. Ее молчание, его мучительные попытки завести разговор о Регере... собственно, это был монолог, ибо Шафхойтлин лишь подал реплику, как бы между прочим задал вопрос (письмо, написанное характерным крупным почерком, открыто лежало на столе): вы с ним очень близки? С выбором слов ему не везло. Сделанная с самыми добрыми намерениями попытка выказать свое сочувствие и настроиться по отношению к Регеру на миролюбивый лад, который все-таки, думал Шафхойтлин, сильная личность... Франциска хранила молчание: она уединилась в сфере, где Шафхойтлин просто не существовал.

Позднее ему казалось невероятным, что именно он прочел не ему адресованное письмо, правда всего лишь одну строку, но эту последнюю строчку он прочел трижды: обнимаю тебя, моя (далее стояло слово, которое он не мог разобрать). Острая боль в желудке. Моя... любимая? Возлюбленная?

Проснувшийся в нем Яго вытолкнул его в коридор. Новости из округа, сообщил Кёппель: академия проявляет интерес к Нейштадту. Академия? Шафхойтлин был неприятно удивлен. Академия — это господин Регер, сказал Кёппель тихо и, как всегда, улыбаясь. А Нейштадт имеет теперь известную притягательную силу для... И так далее. Сплетши. Нельзя допускать, чтобы он распространил слухи (ведь речь, несомненно, идет именно о слухах, надо надеяться), или лучше игнорировать...

В пять, когда Гертруда ушла, он раскрыл папки с перепиской за прошлый год и обнаружил подшитое в ноябре письмо Регера с чрезмерно хвалебными рекомендациями. Фанфары. Слишком помпезно, подумал Шафхойтлин, слишком ярко, и весь этот человек слишком яркий, его внешность обманчива, ведь должна же она это заметить. Ее улыбка — растроганная, насмешливая, нежная? — когда он упомянул о рекомендательном письме в тот, Первый, день; она сидела там, на стуле, наискосок от стола, и прижал бы ее за студентку третьего или четвертого семестра. Почему он отпустил ее именно в Нейштадт, в провинцию, если она такая одаренная, как он пишет: высокоодаренная личность. Может быть, расставание стало необходимым, так как угрожала опасность скандала? Каким чувством было продиктовано его письмо к шанхайцу? Регер именует его любовным уважением: к своей (слово неразборчиво) ученице.

Шафхойтлин захлопнул папку. Он не узнал ничего, что не было бы ему известно раньше, включая почерк, который позволяет себе господин профессор. Любовное уважение. Ну конечно. Пустой звук, широкий жест, все это хорошо знакомо. Письмо, где не содержится ничего, кроме тщеславия мастера, который, расхваливая свою ученицу, свое создание, по сути, занимается самовосхвалением.

Он сумел воспротивиться желанию говорить о Линкерханд, но не устоял перед искушением прислушаться к тому, о чем говорят в столовой или шепчутся сотрудники в коридоре: конечно, о ней, о ком же еще? И кого же, как не ее, имел в виду Кёппель, сидевший за соседним столиком и сказавший: она не остановится ни перед чем. Шафхойтлин, помешивая ложечкой свою диетическую кашу, беспокойно повернулся в сторону разговаривающих, из-за стука ножей уловил лишь обрывки фраз, касающихся особы, имени которой не было названо, которая все, решительно все сделает, чтобы обеспечить себе карьеру. Нет,

это неправда, подумал Шафхойтлин. Статки за соседним столиком смеялись. Кёппель таинственно шептал: какой талапт — с нужным человеком в нужное время. Дай ему в морду, услышал он откуда-то издалека голос давно исчезнувшего двадцатилетнего парня в застиранных бумажных штанах. Но его призвали к порядку. Шафхойтлин заглотал свое жидкое варево. Не обращать внимания, приказал он себе. Забыть.

В тот вечер ему вновь нехстати пришли в голову те же мысли, когда Франциска сказала:

— Люди получают все, чего желают, и я получу свой проект, от вас, держу пари?

Шафхойтлин массировал руку. О проекте центральной части города, сказал оп, окончательное решение еще не принято, поэтому надежда на получение заказа преждевременна. У него не хватило смелости взглянуть на нее, увидеть ее рот, ее улыбку, предназначенную для него, нужного человека, нужного здесь, в Нейштадте.

— Повлиять на исход дела не смогу, вопрос решается в окружных организациях.

— Но ведь вы архитектор города.

— Не более чем уполномоченный.

— Но ответственный, — сказала она резко.

Он вздохнул облегченно, хотя и разочарованно, но признаться себе в этом не хотел. Она не стремится его завоевать. Так как он плохо разбирался в женщинах, то имел лишь смутное представление о средствах, к которым они прибегают, чтобы сделать мужчину сговорчивым и добиться вопреки его протестам выполнения своих безрассудных желаний: флирт или слезы, другое не могло ему прийти на ум. Ответственный, это верно, сказал он немпого погодя, но связанный решениями, плановыми заданиями, объективными условиями. Он устал. Франциска болтала ногами. Да-да-да. Заиграющая пластинка. Ответственный, по не имеющий права на самостоятельные решения, сказал он, объясняя вновь, в сотый раз, свое положение.

Франциска болтала ногами. Регер в своих письмах называл Шафхойтлина «мелкой душошкой» или «олицетворением посредственности», а в последнем письме было сочное выражение, сначала ее восхитившее, а позднее расстроившее, — «бегун на короткие дистанции». Только перечитав свой ответ, она заметила, что взяла «бегуна на короткие дистанции» под защиту, пусть осторожно (чтобы не вызвать недовольствия Регера?), хотя, рисуя его

портрет, она позволила себе ироническую витиеватость стиля, тем не менее без серьезного желания позабавиться и выставить его в смешном свете, она показалась самой себе школьницей, которая на фотографии достойной, хоть и скучной особы подрисовала усы, для чего? От этого, сколько бы ты ни старалась, человек не станет смешным: даже в котелке и с намалеванными пленительно-длинными девичьими ресницами он смотрит на тебя честно и серьезно, портит тебе игру, и в конце концов ты вынуждена повернуться к нему спиной.

Она спрашивала себя, почему она держит сторону Шафхойтлина, против своего учителя? Какое-то мгновение она стояла в нерешительности перед почтовым ящиком под зловонным дыханием зимнего ветра, гнавшего по улицам густой запах серы. Когда желтая крышка ящика захлопнулась, ей вспомнился один из вечеров последней осени: она шла, чуть согнув плечи, умышленно, как тогда, когда на них лежала рука Регера. По пути к своему блоку, крепко сжимая в кармане связку ключей, она ставила ему в упрек его упоение от собственных идей, от своего экспериментального бюро, концертного зала, аттракциона для туристов... Здесь, здесь вы бы не выдержали и трех месяцев... Попробуйте поработать, как Шафхойтлин, в районном городке, в роли начальника, еще не утвердившегося на своем посту, с горсткой работников, затравленного сроками сдачи многочисленных объектов, засыпанного заявлениями по поводу гаражей и садовых участков, жалобами на то, что не вывозится со дворов мусор, не мощены улицы, не хватает детских яслей... Маленький человек в градостроительстве, игнорируемый академией, обходимый инстанциями, принимающими решения, без связей (без таланта показать самого себя), никогда не слышавший слова похвалы, никогда нигде не упоминаемый, ибо само собой разумеется, что он выполнит план первого, третьего, четвертого кварталов. Ибо мы просто строим жилища, подумала она, внезапно разгневавшись на Регера.

Она забыла, что сама выбрала Нейштадт, чувствовала себя обманутой, словно ее учитель не выполнил обещания. *Ты будешь.* Он предсказал ей будущее. Годы, проведенные у него, казалось ей теперь, были полны предвкушения радости, как в том из ее снов, когда она поднималась на холм вверх по лестнице, оставшейся в ее воспоминаниях снежно-белой из пористого, как бы пенистого, камня. По-

ложение, в котором она очутилась теперь, ее озадачивало. *Я есмь. Кто?*

— Такова реальность,— громко произнес Шафхойтлин. Искушение, минуты сомнений миновали. «Я просто переутомился»,— подумал он.

— Вы делаете все возможное, я знаю,— сказала Франциска.

Он недоверчиво посмотрел на нее: пет, это не насмешка. Он не знал, как ему следует это понимать, молча смотрел, как она заперла бумаги в ящик стола, перекинула через плечо ремень сумки, подошла к шкафу, глянула в зеркало, пригладила брови, насторожилась, словно ее внезапно окликнули, и, держа пальцы у висков, подошла вплотную к зеркалу.

— О боже,— сказала она... Ее лицо растаяло, кожа сползла со скул, невредимым остался только лоб над глазами. Когда-нибудь ты осмелишься войти. Что увидел Вильгельм на серой от ракушек стене? Она прослушала голос за спиной. Лучше бы подумала о том, как ты должна жить, сказал Вильгельм. Но ведь я это знаю, отвечала она быстро и пылко. Вильгельм засмеялся.

— Голова болит? — повторил свой вопрос Шафхойтлин.

Она воткнула Йорикку в зубы цветок мака.

— Нет, ничего.— Она обернулась.— Господин Шафхойтлин, мне хотелось бы кое о чем вас спросить...— Франциска медлила. Шафхойтлин покраснел. Она искала наиболее точные слова для вопроса, который только что казался ей совсем простым.

— Достаточно ли этого? — переспросил он ее.— Чего именно?

— Того, что здесь, и вообще.— Она запнулась.— Как вы живете... Как проходит день, и другой, и год... То ли это, что вы себе представляли, когда только начинали?

Он смотрел на нее, не понимая.

— Где? В Нейштадте?

— Ах пет,— сказала она грустно.— В школе или еще раньше, когда вы осознали, что вы — *личность*... что вы пришли в этот мир и должны будете его покинуть, прожив шестьдесят или семьдесят лет, если не случится войны, рака, автомобильной катастрофы... итак, семьдесят лет, если повезет. И когда вы знали, что жизнь принадлежит вам, как вы хотели ею распорядиться?

Шафхойтлин молчал, зачем этот ни к чему не ведущий разговор, думал он, времяпрепровождение для двадцатилетних. Франциска прислонилась к шкафу и внимательно смотрела на него.

— Вы исходите из ложной предпосылки,— сказал Шафхойтлин через некоторое время сухо и в то же время радуясь, что она ждет его ответа,— что кто-то где-то может быть хозяином своей жизни и, следовательно, волен распорядиться ею всецело по своему усмотрению. Вы существуете не только для себя одной, а, скажем, для общества... В наше время... с тех пор как мы создали государство, в котором возможно, более того, необходимо личные интересы согласовывать с общественными.

— Да, конечно,— пробормотала Франциска. Она была разочарована. Он уклоняется, говорит общими фразами, не о себе.— Это не ответ, а программа.

Шафхойтлин заложил руки за спину.

— И хорошая программа. Вы настроены скептически. Почему? — Он видел ее лицо, как тогда, через глазок, когда она полагала, что никто за ней не наблюдает. Он беспокоился о ней.— Я принесу таблетки, у вас болит голова.

— Нет, нет,— сказала она нетерпеливо.— Спасибо,— помолчав, добавила она.— Я думала, понимаете, по-моему, так страшно, что у человека только одна-единственная, неповторимая жизнь и нет ни малейшего шанса начать ее сызнова и по-другому, если в конце жизни он убеждается, что прожил ее неправильно.

Так как он ничего не ответил, лишь поднял плечи, она подумала: для него не может быть и речи о неудавшейся жизни. И сказала, чтобы проверить: значит, вы довольны? И получила ожидаемый ответ: человек никогда не бывает доволен. Ну и отлично, холодно проговорила она.

Она выключила рабочую лампу, осмотрела комнату, не замечая Шафхойтлина, и вышла. Он последовал за ней по коридору. Она обернулась: ее глаза искрились гневом.

— Вы не доверяете мне, вы никому не доверяете, наверно даже самому себе.

Они шли через кладбище, мокрая трава хлестала их по ногам. Шафхойтлин раздвигал ивовые ветки, как занавес, сделанный из бус, и пропускал вперед Франциску, которая случайно коснулась его.

— Извините,— сказал он и увидел, что она, кого-то приветствуя, подняла вверх два пальца. Шафхойтлин посмотрел через ее плечо.

— Мой друг Аристид,— сказала Франциска.— Мы не можем с ним разговаривать и потому великолепно понимаем друг друга.

Черноватый мох делал более глубокими складки на скульптуре и покрывал, как плесенью, склоненную шею и перья на крыльях из песчаника. Безвкусица, нашел Шафхойтлин, благочестивая халтура. Она щелкнула своей не гаснувшей на ветру зажигалкой, выбросившей длинный язычок пламени, и мерцающий луч света упал на лицо ангела. Довольно противная физиономия.

— Посмотрите на него. Сама кротость, верно? А ведь был замешан в небесном бунте... Держку пари, под целомудренным покровом у него наверняка есть копыто.

Шафхойтлин невольно бросил взгляд на потрескавшийся край ангельских одежд.

— Да погасите вы свою зажигалку,— сказал он раздраженно.

— Козлиное копыто, как у его шефа...— Она тихо засмеялась.— Вы уже догадываетесь... пахальный господин в шляпе с петушиным пером, в красном плаще, хромой, с черной бородкой и очень бледный... Но почему бледный? Он же весь был соткан из огня... ангел света, пока его не свергли.

Он мог лишь смутно видеть ее лицо. Выждать.

— Свергли,— повторил он.

— Ибо он критиковал своего *господина*. Фактор, вызывающий беспокойство. Заносчивость... Библия замалчивает падение Люцифера; оно не вписывается в красивую историю сотворения мира и его творца, который вечером осматривает все сделанное за день и видит, что это хорошо... Ну а теперь,— сказала она, и плечи ее дрожали от сдерживаемого смеха,— теперь вы будете размышлять, что я хочу этим сказать, не так ли? Просто легенда, господин Шафхойтлин.

Она дважды заставила вспыхнуть язычок пламени и погасила его. Черты лица ангела изменились: казалось, он нахмурил брови, гримаса искривила губы, на шее пульсировала вена. Горячая от пламени зажигалка почти обжигала пальцы.

— Бензин хорошо пахнет,— сказала она.— Знаете ли вы некоего Трояновича?

— Статс-секретаря? Так, немного, по конференциям,— отвечал осторожно Шафхойтлин. Вероятно, она намекает

на определенные связи, на полезное знакомство в министерстве?

— Ну, статс-секретаря я представляла себе несколькими.

Он облегченно вздохнул.

— Вы имеете в виду директора завода синтетических материалов. Насколько я знаю, это его брат.

Она села на цоколь.

— Дальше. Вы можете предложить еще одного Трояновича?

— Главного редактора. Тоже брат, — отвечал Шафхойтлин.

Преуспевающий клан, сказала Франциска. Итак, три брата. Четвертого, если он существовал, Шафхойтлин не упомянул. Она прижалась головой к коленям Аристиды. Среди листьев плюща шуршали ящерицы. Днем они грелись в лучах солнца на могильных плитах, их тельца, от маленькой змеиной головки до нервного кончика хвоста, украшали пятнистые полосы под цвет камней и мха, и глаза их, точно вкрапления кошачьего золота, мерцали на плитах... Сад за типографией, штокрозы, беседка, увитая ломоносом. Она вызывала в памяти картину сада. Тщетная попытка уйти от действительности: равнодушно взирала она на нечеткую фотографию предметов, утративших свое очарование.

Вдруг ей страстно захотелось утвердить день сегодняшний, каждое его мгновение, отрезать себе пути к отступлению. Я обменяю гостиницу на родной дом, подумала она.

Шафхойтлин присел на край цоколя. От земли, цветов, влажной травы исходил горький, усыпляющий аромат. Он вытянул ноги, откинул голову и высоко вверх увидел свод, образованный густым переплетением ветвей, и звезду, сверкающую в листе.

Франциска указала на небо.

— Там, к югу, видите, над городом свет. — Она говорила сдавленным голосом.

— Это пожар, — пробормотал Шафхойтлин.

Пожары летом так же неотвратимы, как мухи и тучи комарья. Вспыхивают они на старых брикетных фабриках, тлеют отвалы пустой породы, луч солнца, отраженный осколком стекла, воспламеняет сухие сосны. Он ни разу не повернул головы. Пожар. Работа в бюро. Его оставили наконец заботы и тревоги, он хотел одного — пусть продлит-

ся это мгновение, эта усталость, это приятное происшествие, покой, вдыхаемый им вместе с горьким ароматом.

— Это не пожар.— Она вспомнила путешествия ночью по железной дороге, крошечную тьму за окнами вагона, словно поезд мчался сквозь туннель, и чувство радостного ожидания, когда на горизонте возникал молочный, мерцающий свет, постепенно разливающийся по небу, предвещающая приближение города, чужого вокзала, задолго до того, как поезд замедлит ход и мимо вагона проплывут фонари, шлагбаум и пригородные дома.

Впервые над новыми улицами она увидела сиреневую дымку и небо в отблесках многочисленных огней.

— Город.— Она была взволнована.— Господин Шафхойтлин, это город.

Шафхойтлин молчал. Пусть продлится еще немного эта темнота, эта листва, тепло ее дыхания, которое он ощущал на своей шее...

— Над этим — этим дурацким поселком, — сказала Франциска.— Послушайте, господин Шафхойтлин, мы не можем допустить, чтобы у нас отобрали проектирование центральной части города. У нас еще есть шанс.

— У нас, — повторил Шафхойтлин.— В тысяча девятьсот семьдесят втором, а по более осторожным оценкам, в семьдесят пятом. Десять лет.

Тогда мне будет примерно столько же лет, сколько ему сейчас, подумала Франциска.

— Через десять лет вы давно позабудете о существовании Нейштадта.— Он потерял звезду в гуще черной лакированной листвы.— В конце ноября истекает срок вашего договора.— Своим плечом он почувствовал, что она пожала плечами.— И вы вернетесь к Регеру.

— Нет, я останусь здесь. Вы этого не знали?

— Но, — глухо сказал Шафхойтлин, — когда вы это решили?

— Только что. Минуту назад.

Она встала, сделала знак Аристиду. До завтра. Заскрипели решетчатые двери. За оградой садоводства цвели розы. Бетонное полотно дороги расстилалось перед ними серым бархатом.

— Давайте стащим несколько роз? — предложила Франциска.

Минуту назад, думал Шафхойтлин. Необходимо се предостеречь. Не поступайте опрометчиво. Хорошенько все обдумайте. Центр города — журавль в небе. Никакого

обязательства не существует. Его охватил страх. Разве я ей обещал что-нибудь? Одна необдуманная фраза, и она уже надеется бог весть на что.

— Конечно, мы приветствовали бы такое ваше решение, — сказал он сдержанно.

Она стояла на цыпочках и смеялась. Шафхойтлин огляделся по сторонам.

— Но только одну, — прошептал он, перегнувшись через изгородь. Шипы исцарапали ему руку.

— Алая роза, самая алая из всех, — сказала она, — алая, как кровь, как плащ тореро на арене, как солнце на заре, как имена поэтов. Гарсиа Лорка. Маяковский. Неруда.

Она медленно вертела розу меж пальцев.

— Это сегодняшнее прощание. Фрау Крупкат опечалена... Вы купили ей цветы. — Она взглянула на него, и сердце его сжалось. — Украденные пахнут лучше, вы не находите?

Магистраль Восток — Запад пересекала две предполагаемые улицы. На канате, огораживающем строящуюся дорогу, развевались красные вымпелы. Дорожные рабочие поливали бетон, они были в резиновых сапогах на босу ногу. Из рукава, лежащего в стороне, струилась на песок вода.

— Я старше, чем вы думаете, — сказал парень с графовым крестиком. — Мне двадцать семь. А вам?

— Тоже. Скоро.

Он улыбнулся недоверчиво.

— Пять лет можете смело отбросить.

— Благодарю, — сказала Франциска.

— «Жерминаль» я читал еще в школе, но тогда это была тощенькая брошюра.

— Из соображений нравственности в издании, предназначенном для школьников, они изъяли все неприличные места.

— Я не потому читаю Золя, — отвечал он.

Франциска бросила взгляд через плечо. Самосвал все еще был на том же месте, где стоял четверть часа назад, у края котлована. Она видела руку шофера и газетный лист. Ей захотелось запустить пальцы в белокурые, вьющиеся на затылке волосы. В случае, если этот Тройнович

посмотрит сюда, оторвавшись от газеты, подумала она. Или просто так, потому что они цветом напоминают растущий на песке чертополох. Они беседовали о «Сне», который оба находили скучным. Слишком много святых. Но как он описывает шитье: словно всю жизнь вышивал ризы и стóлы золотом, пурпурным и белым шелком. Вообще в работе он знает толк, почтительно сказал парень.

Солице искрилось в красных камнях, и Франциска поклонилась, чтобы получше разглядеть грапатовый крестик, на самом деле — выпуклую грудь и шею, на которой крестик висел. Он доступен, он ждет, достаточно сказать: верните мне книгу, в среду вечером я дома. Она представила себе его объятие, твердые мускулы, его грудь, крестик, вонзившийся в ее кожу, и его лицо над своим. Ее смущало, что она могла себе это представить без страха и отвращения, как прежде. Забытая боль, которая теперь в ней затягивалась, была ясной и недвусмысленной, как внезапный острый голод после болезни, сумрачных дней, проведенных за опущенными шторами. Она ни от чего не отрекалась. Но почему? — спрашивала она себя. Почему теперь, сегодня? Что изменилось? Она прикрывала глаза, словно ослепленная солнцем.

— Вы не носите кольцо, — сказал он.

— Когда смотришь на ваши дороги, слезятся глаза. Гофрированная сталь.

Он сделал вид, будто тоже разглядывает серовато-белые полосы, простирившиеся за канатами ограждения.

— Это зависит от бетона.

— Конечно. Или от сроков. Или бог знает от чего.

— Вы замужем?

— Ну да, — ответила Франциска невнятно.

Он погружал пальцы в песок, его мокрые ноги и икры под закатанными джинсами высохли на солнце.

— Почему же вы тогда не носите кольцо? — спросил он через некоторое время.

— Потеряла.

Они взглянули друг на друга, потом на небо, где как по заказу в этот момент появились три реактивных истребителя, точно выстроившиеся клином, за которым они наблюдали излишне долго. Ваша книга, сказал юноша. А Франциска ответила: «Ах, это не к спеху». И подумала: он действительно выглядит моложе, двадцать два, не больше.

Не спеша она прошла по стройплощадке к самосвалу. Из-за своей газеты Троянович сказал:

— Приятно наблюдать, как вы поощряете интерес Тарзана к литературе.

— Тарзана! — сказала она сердито. — Он, между прочим, не обезьяна.

Троянович уронил газету.

— Кто говорит об обезьяне? — возразил он озадаченно. — Дитя мое, неужели вы никогда не видели ни одного фильма о Тарзане? Молодой лорд, правда выбитый из привычной колеи, спит на пальмах вместо того, чтобы спать в палате лордов, но он благороден и красив. Не видели? И книг о Тарзане тоже не читали? Книжки эти, милое дитя, составляли духовное богатство немецкой молодежи до сорок пятого.

— Ах, тогда, — сказала она протяжно.

Это «ах, тогда» он потом не раз услышит от нее, тон такой, словно она говорит: до нашей эры.

Да, тогда, отвечал он, и выражение его лица изменилось, это было давно, он не подумал, что она моложе, на несколько лет, число которых, однако, следует засчитывать вдвое, втрое, а то и вдесятеро, но каким образом? Ведь это же пошлость, именно это утверждает каждое поколение, это говорил еще старый Лукайт, мой дед, лежавший в окнах под Верденом, правда всего несколько недель, но он говаривал: паренек, это было все равно что много лет, и мой прадед, скакавший верхом у Марс-ла-Тура, и пан Троянович после неприятностей с рыцарским орденом... итак, она моложе, и какие-то книжки ей, конечно, неизвестны (хотя с Тарзаном она могла бы столкнуться и позднее, по крайней мере в кино, за восточные марки на Пестдамерплатц), многие романы, фильмы, персонажи, события, которые ему хорошо знакомы, для нее всего лишь история, чего доброго легенда, если они относятся к тому периоду времени: *до сорок пятого*.

— Но брошюрки про Буффало Билла я еще застала, а они были раньше. И бомбы.

Троянович наморщил лоб.

— Вы слишком много думаете о войне.

— Потому что она не окончилась. Ни на один день нельзя забыть о войне и гитлеризме. Руины в моем городе. Остов церкви святой Анны. Процессы. История Симона Визешталя, разыскивающего Эйхмана по всему свету. И поляк в лифте отеля «Амбасадор», слышавший нашу

немецкую речь... Свастики на синагоге. Это было там, да. Но люди, которые в Терезиенштадте<sup>1</sup> непременно хотели сфотографировать печи,— это же наши люди, причем довольно молодые. Снимок крематория в качестве сувенира... Сопровождающий нас чех в те годы сам был в этом лагере. Он ничего не сказал. Он, знаете ли, был очень вежлив...

Трояпович молчал. Он открыл дверцу машины, Франциска села рядом с ним.

— В город? — спросил он. Но еще некоторое время сидел неподвижно, положив руки на руль, Франциска смотрела на него сбоку, пытаясь мысленно реконструировать его профиль, вписать в это не узнаваемое Шафхойттлином лицо другой нос, может быть более прямой и узкий, возможно с горбинкой.

— Нет ли у вас с собой вашей старой фотографии?

— Даже две. Одна нагишом, со спины, на медвежьей шкуре.

— Тогда вторую,— сказала Франциска.

Он нашел фотографию в потрепанном паспорте, между старыми билетами в кино, денежными купюрами, водительскими правами, разными заметками, марками об уплате членских взносов в добровольные общества: групповой снимок, десять молодых людей, некоторые с темной кожей, двое с узким разрезом глаз и плоским носом, китайцы, корейцы, камбоджийцы? Низкорослые, выглядевшие двенадцатилетними мальчиками рядом с пегром в белом одеянии, напоминающем тогу. Другие, которые сидели или лежали, словно пародируя фотоснимок членов какого-либо союза, были в широких брюках и синих блузах членов Союза свободной немецкой молодежи, лишь один— в пиджаке свободного покроя по моде тех лет и с галстуком, повязанным широким узлом.

— Редакционный штаб. В дни фестиваля мы издавали газету... Марсель, Ким Кен У, Вальтер — теперь на руководящей работе в «Нойес Дойчланд», Рей Миллер, Мойзе, еще один Ким. А вот это Хосе, снапец, поэт божьей милостью. Двадцать пять лет за государственную измену. Рядом,— продолжал он сухо,— мой уважаемый брат.

— Главный редактор?

Итак, ей это уже известно.

---

<sup>1</sup> Чехословацкий город Терезин, в котором в годы гитлеровской оккупации находился известный концлагерь — Терезиенштадт.

— Нет, статс-секретарь и — скажу вам по секрету, леди, — ваш будущий министр.

— А вы водите самосвал, — сказала она. Троянович ухмыльнулся.

— Единственное, что мы ценим друг в друге: мы оба неподкупны.

А вот это вы, говорили ее глаза, ее улыбка, ее палец с желтым от табака ногтем, которым она прикоснулась к ветхой бумаге, крайний слева. Вот этот, с галстуком. То же, совсем не изменившееся лицо, длинные падающие на лоб волосы, те же калмыцкие глаза, сильно выступающие над впалыми щеками скулы, молодой, слишком строгий, несмотря на улыбку, угрюмый, подумала Франциска, теперь он выглядит иначе (иначе — нет, просто полицейская дубинка разбила ему нос), несмотря на это, я бы его цапнула и через двадцать лет.

— Раскольников, — сказала она, — да, таким я всегда представляла себе Раскольникова. Одержимый.

Он взял у нее из рук фотографию и положил в паспорт. Он пастороженно присматривался к самому себе, молодому человеку, больше мальчику, нежели мужчине, с которым у него общес только имя, сходство, как с младшим братом, и говорил о себе, об этом изображенном на фотоснимке случайном родственнике, идущем своим страшным путем:

— Радикал, это будет точнее. Левый экстремист.

— И честолюбец, — сказала Франциска.

Она отважилась и зашла слишком далеко. Хотя он и не замкнулся в себе, как обычно, тем не менее ушел от ответа, ничего не сказав о сравнении с Раскольниковым, вознаградив ее рассказами из жизни редакции, которые ее насмешили и вызвали желание услышать побольше. Что ж, хорошо. Надо быть любезным, думал он. Расстояние, и не только временное, облегчало ему рассказ об исторических событиях, послевоенном периоде, строительстве, парламентах, Берлине, молодежи мира, ее оптимизме, выразившемся в песнях и танцах, как сообщал немецкий корреспондент, танцевавший с сознанием собственного долга вместе с ними, вместе с ними приседавший на корточки в жизнеутверждающем народном танце «*Лауренсия, дорогая моя Лауренсия*», ее революционный подъем, ее героизм... Редакторы (кроме, разумеется, Хосе, испанского поэта), корреспонденты газет обходятся небольшим запасом слов, но зато каких! Слова — гранит, фразы — мо-

нументы... или мавзолеи, сказал Троянович. О свершенных тобой героических делах ты узнаешь лишь от других, в связи с награждением грамотой, медалью, орденом на получение пары обуви из свиной кожи. Было ли что-либо героическое в том, что писались статьи, читались гранки, не спали по ночам, в лучшем случае — три часа сна под утро на письменном столе с пачкой газет под головой, голод, нестираные носки, работа на строительстве в несколько смен, драки с полицией Штумма, чтение корректуры испанского текста без знания хотя бы одного слова по-испански? Такова была тогда наша работа, говорит он теперь, во всяком случае, заслуживало медали вождение редакционного автомобиля, «опель» 1924 года, у него не было дверец, а рулевое управление чертовски часто заедало; обычная, уже ожидаемая (порой лишь инсценируемая) авария всегда происходила вблизи сада загородной виллы или у палисадника буржуазного дома, и мчащийся по немыслимой кривой и лишней управлению «опель» ломал заборы, живую изгородь и розовые кусты. Славный старый автомобиль! Перед разгневанными владельцами домов, выступающими с жалобами или угрозами, представлял Раскольников с его мрачным челом апархиста. К черту ваши заборы, зарешеченные владения, подстриженные газоны, на которые может ступить только ваша нога, где только вы, окопавшиеся за вашими изгородями, за деревянными, стальными, коваными барьерами, защищающими вас от неимущих и обездоленных.

Он до сих пор еще не забыл эмалированную табличку на стене многоквартирного дома в Кройцберге, около кухонного окна его владельца, жившего на первом этаже передней части дома. *Квартирная плата — здесь! Постучать и ждать!* Никаких *пожалуйста* для пролетариев с заднего двора. Ждать и платить (за комнату и кухню, туалет во дворе, всегда забитый клозет на шесть семей).

Он курил и смотрел в ветровое стекло машины, украдкой взглядывая в зеркало: в его рамке видна была бровь, глаз под длинным овалом века, висок; и вновь подумал: ее лицо я мог бы прикрыть одной рукой. Историю с «опелем» она находила забавной, и он признавался себе в том, что именно так ее излагал, ибо ему нравились ее смех, ее манера слушать, соблазнившая его рассказать о себе. Порисоваться, подумал он, так разукрасить всякие истории, чтобы романтическое представление о существовавшем некогда Трояновиче не уничтожить, а утвердить: Расколь-

ников, с патронной лентой через плечо вместо спрятанного под пальто топора.

Он ругал себя за кс.детство, которое было для него ново и отвратительно; но он был не в состоянии сопротивляться янтарно-желтому, блестящему от напряженного внимания янтарю в зеркале, возможно, и фотографии, старым соратникам, Марселю, Хосе, Мойзе в его белой тоге, однако отретушировал па снимке изображение молодого человека со впалыми щеками, который действительно уже тогда был строг и любил поучать, а также честолюбив (не карьерист, для этого он был слишком уверен в себе: когда его, самого молодого в штабе, назначили главным редактором, ответственным за выпуск газеты, он принял это назначение, не чувствуя себя польщенным и не предаваясь раздумьям или опасениям), но аскет, каким он предстает на снимке? Нет, сказал Троянович, и рассказывал о том, как они обедались в существовавших тогда коммерческих столовых, описывал достойные Гаргантюа пиршества, во время которых поглощались шницеля, стойвшие недельного гонорара, не забывал упомянуть привлекательных девушек, любовь на одну ночь, приятные и ни к чему не обязывающие встречи.

— Ах, да? — сказала Франциска.

Теперь он включил зажигание, должен был смотреть вперед. Редакция, временно, стол, два стула в комнате под крышей, седьмой этаж, мрамор до второго, гипс до третьего, после четвертого отваливающаяся штукатурка, остатки дома среди руин, некогда Шерль, Моссе, Ульштейн (раньше в этом квартале размещались редакции журналов и газет, ну да вы этого не знаете), а на стульях и на полу газеты, рукописи, гранки, на бельевои всревке влажные фотографии; заседания здесь невозможны и пепужны, считает главный, здесь работают оперативно. В Берлине что-то произошло, был ты при этом или не был, все равно пиши, комментируй, описывай. Например, Троянович в пламенной статье рассказывал о приеме комсомольцев, который на самом деле не состоялся, во всяком случае не так, как он был описан за столом ночью накапуше этого события, дело происходило отнюдь не при ярком солнце и голубом небе (шел проливной дождь) и на другом вокзале, в присутствии совсем не тех лиц, какие были предусмотрены по плану, встречали их с гвоздиками вместо роз, пели «Небо Испании» вместо «Молодой гвардии», что

поделаешь? Газета должна выходить, должна быть актуальной, догонять и обгонять время.

Он снял у Раскольниковых длинные волосы, снабдил его вместо патронной ленты авторучкой и красным карандашом. Никаких иллюзий, леди. Журналист, автор заголовков, звучащих как лозунги. Самый удачный (и оказавшийся последним): они печатали выступление Иисуса Альвареса — делегата из Латинской Америки, Бразилии, Эквадора? — полный текст, на первой полосе он над тремя колонками дал жирным шрифтом шапку: *«Иисус обращается к III парламенту»*.

Так как он преследовал единственную цель — развлечь ее, он умолчал о последствиях и беседе, состоявшейся по этому поводу, полученном выговоре за сомнительную остроту, газетную шапку, подходящую для западной прессы, а не для органа нашего союза, насчитывающего миллион членов, об упреках своего брата, обвинявшего самого себя в отсутствии достаточной бдительности и отмежевавшегося от друга юности Г.— родство здесь не в свет — и публично высказавшего то, что потом вошло в характеристику младшего брата, хранящуюся в отделе кадров: зазнайство, цинизм.

Франциска пыталась определить, сколько ему было лет, когда он переехал из Берлина в деревню, оттуда обратно в Берлин, с запада на восток, из Кройцберга в Лихтенберг, спекулянт, потом крестьянин-переселенец, активист Союза свободной немецкой молодежи, работник городского комитета в окружном центре (сгоревший магазин, *Склад чулок Шм...* — это все, что можно было прочесть на вывеске, укрепленной над фанерной дверью), потом в управлении земли. Примерно шестнадцать, подумала она, может быть, он подделал год своего рождения, наконец, его никто об этом и не спрашивал, кто знает, тогда все было возможно.

Она подвинулась ближе, к окну машины. Восточнозападная магистраль. Подъемные крапы. Качающаяся в воздухе стена комнаты. Она высунула из окна руку навстречу ветру. Катание на лодках. Парк в центре города, пруд и на нем гондолы (мы могли бы изменить русло нашей речушки), голубые лодки... Она уже не думала о том, чтобы подсчитывать годы. Итак, в шестнадцать в управлении земли, из чулочного склада на виллу фабриканта, настоящая феодальная крепость с башенками, по цеотепливаемая. Зимой они все сидят, секретари, руководящие и

ответственные работники, в музыкальном салоне у железной печурки, пожирающей голубые ели из господского, теперь принадлежащего народу парка, дискутируют, телефонируют, пишут доклады, организуют митинги, агитационные выступления, создают агитбригады и ожидают жену председателя, являющуюся душой всего аппарата, черноокую красавицу (они дети эмигрантов, председатель и еврейка Рут, выросшие в Англии), ждут прелестную, всегда готовую прийти на помощь Рут, которая приносит целый котелок еды, иногда горох или бобы, но чаще всего пудинг: английские друзья, знакомые, товарищи, приносящие или присылающие свои дары, считают, по-видимому, что в Восточной Германии ничто не ощущается так болезненно, как отсутствие порошка, из которого готовят пудинг.

Голос его потеплел, когда он упомянул Рут. Уважение? Любовь? И это было все, подумала Франциска: эмалированная табличка на проходном доме, немного теплоты в голосе при упоминании о Рут, несколько строк из биографии, все изложено абсолютно безлично, без всяких эмоций, место рождения, образование, выполняемая работа — больше она ничего о нем не узнала. И почувствовала себя обманутой. Рассказывает, чтобы о чем-то умолчать, что-то скрыть. Он не принимает меня всерьез. В этих словах она свела воедино, обобщила все, что смутно сознавала: он лишь издали показывал ей интересную игрушку, развлекал ее, отделялся от любопытной девушки анекдотами, рассказ об исторических событиях подменял легковесными историйками и забавными приключениями (он даже не верит в мой интерес к истории, например, берлинского вопроса, расколу Германии, созданию нового государства — ГДР, октябрьским дням, ведь он был при этом, был свидетелем событий, о которых я только читала и слышала от учителей).

Она повернулась к нему, резко, быстро, окинула его взглядом, которого он еще не знал. Он подумал: она упряма. У него сжалось сердце, когда она сказала:

— Пожалуйста, остановите машину.

— Здесь? — спросил он с сомнением в голосе. Справа виднелся ряд строящихся домов, еще без дверей и лестниц, слева проходила железная дорога с двумя рельсовыми путями, чуждыми, казалось, этому песку и соснам, грядам холмов, самосвалам, окруженным растрепанными и карликовыми березами с бледно-зелеными листочками, не похо-

жими на те воспетые поэтами высокие, стройные деревья, чья листва и шелковистая кора похожи на подвенечную вуаль.

— Здесь, — сказала Фрапписка.

Троянович остановился. Он был рад от нее отделаться. В тот момент, когда она соскакивала, он суммировал все, что ему в ней не нравилось: смена настроений (заслуживает сожаления Шафхойтлин, вынужденный работать с такой капризной женщиной), дурная привычка смотреть в рот говорящему, ее профессиональный эгоизм, утонченная невинность или невинная утонченность, а когда она брела по песку перед радиатором машины, он к этому еще добавил: складка на джинсах, смешная, но характерная деталь, волосы как лисий мех и прямо-таки до неприличия здоровые зубы.

— Одну минуту, — воскликнула она. — Пожалуйста. — Он не тронулся с места.

— Как вам угодно, — ответил он с запозданием, любезно-иронически.

К сожалению, этого она уже не слышала. Она направлялась к отгороженной цепью бетонированной дороге. Троянович закрыл паспорт с лежавшей в нем фотографией и, как всегда, когда случайно обнаруживал ее между бумажными деньгами, разными документами и оплаченными счетами, подумал о том, что давно пора ее выбросить, и, как всегда, не сделал этого, ибо не любил мелодраматических жестов: разорвать фотоснимок и клочки развезать по ветру.

Когда-то, несколько лет назад, он расстался с молодым человеком, студентом, в котором горел холодный огонь. Медленное освобождение, почти незаметное, без возмущения, без острой боли.

Сегодня он расстался с ним вторично, с легким чувством сожаления, которое скорее относилось к маленькой Лиикерханд. Тот, кого вы называете Раскольниковым (впрочем, если обращаться к именам, уж лучше Дон Кихот), существует лишь в вашей фантазии, возможно, еще в памяти Мойзе, Кима, Марселя и еще, возможно, как один из сотни воскрешенных образов там, ночью, в камере, за тюремными стенами в Мадриде.

На какое-то мгновение она помедлила перед цепью и табличкой, воспрещающей вступать на дорогу. Затем перешагнула через цепь и пошла по дороге, первые три шага как по льду, дальше уверенно, твердо постукивая каблуч-

ками. О сладкая забывчивость, подумал Троянович: именно в эту минуту она громко окликнула его и помахала рукой. Идите сюда!

Он остановился перед заграждением.

— Не бойтесь, бетон прочный, — сказала Франциска, и еще раз: — Идите сюда, — словно там его ожидало чудо. Он хотел сказать, что его останавливает не страх — он сам в состоянии определить, затвердел ли бетон, а на запрещающие таблички, письменные угрозы и предупреждения он не обращает внимания и считает их несуществующими, если находит излишними, необоснованными, просто каверзными, — и что для него эта бетонированная дорога значит не больше, чем какой-нибудь канал на Марсе.

— Здесь чудесно. Как на новом континенте! — воскликнула Франциска, и с ее лица он перевел взгляд на протянутую к нему руку.

Ему удалось и нарочито рассеянная мина и ленивый шаг через цепь; а почему он теперь держал руку Франциски в своей, он не знал. Он выпустил бы ее немедленно, при малейшем поданном ею знаке; он обхватил пальцами ее крупную шершавую руку осторожно, как экзотическую птицу. Поймал он ее? Или она к нему залетела? Этого Троянович не знал.

Итак, пошли. Франциска смотрела вниз, на свои ноги, на дорогу, по которой еще не ступала нога человека, и думала о вагончике и юнге, чье имя осталось неизвестным, о Вальгельме, о «волге», о флагманском корабле «Санта Мария» и молодом парне с гранатовым крестиком, который не будет упомянут ни в одном учебнике истории, и о январском дне, о раннем утре или позднем вечере в бюро Шафхойтлина, печь наверняка холодная, комната бесприсветно серая, режуща яркий свет только на письменном столе, он освещает макушки и лбы — вьющиеся волосы Шафхойтлина, огненно-рыжие Ковальского, черные, как бы покрытые лаком Язваука. Они склонились над планами улиц, собираясь внести какие-то исправления, вот поворот улицы, невидимо нанесенный на карту красным от холода пальцем, рука в варежке его удаляет, и красный от холода палец снова, на этот раз зримо и совершенно отчетливо, как шрам, наносит его на чертеж, и она вспомнила ту минуту, когда подняла голову и увидела белое окно все в ледяных кристалликах, в которых играли тысячекратно преломленные лучи солнца, она впервые увидела ледяные узоры не как фантастический каприз природы,

холодный мираж тропических лесов, а как конструкцию, созданную на основании строго определенных принципов, являющуюся для структур образцовой, предельно упрощенной и приспособленной для более хрупкого строительного материала: она украшала фасады орнаментами, площади и магазины бетонными решетками, которые разделяют, не разъединяя и отбрасывая тень на газон.

Это было в январе. Позавчера. Она была поражена, не испугана, как в бюро Шафхойтлина, когда в окно ворвался аромат цветущих лип. Город разрастался, приезжали новые люди, уезжали знакомые, быстро строились стены и возводились этажи домов, стремительно, как в трюковом фильме, рождались новые улицы, ей казалось — в темпе, подгоняющем время. Шрам на карте: утрамбованный, катаный, отлитый свод, реальный, как холмы, березы, маленькая твердая рука Трояновича; настоящее, уже включающее в себя будущее бедного пейзажа: дома, магазины, рекламы, развернувшие палитру своих красок от светлокрасного до малинового, от бледно-голубого до фиолетового, и глаза, и шаги, и серебряный блеск алюминиевой кожи, зонтики, излучающие свет витрины, кино, глаза Татьяны, грешная грива Брижит Бардо на стеклянных дверях, автомобили, следы их шин как сплетение черных транспарантов, еще влажных от типографской краски.

Маленькая смолокурная печь покосилась, наполовину ушла в песок. На стыках бетонных плит под лучами летнего солнца плавилась смола. Десять лет, десять зим, и я буду видеть следы на снегу, расшнуровывать почерк автомобильных шин. Она пожала ему руку.

— Как вы себя чувствуете?

— Как Колумб или Кук. Кто там еще есть? Нансен... — Он был озадачен и внимательно посмотрел на нее. — У вас талант быть счастливой.

Это мне уже говорили. Последний вечер, разграбленная библиотека, совиные глаза за толстыми стеклами очков. В то же мгновение (позднее они расщепляли эти мгновения как знак беспримерного и чудесного согласия), когда ей вспомнился отец, пучки седых волос, портрет в серебряной рамке, Троянович спросил, знает ли она издательство Линкерхауд, и она ответила: да, издательство и все семейство, даже хорошо знает, слишком хорошо...

— Дочь этого дома, — сказала она, задетая его молчанием. — Однако экспроприированная, если это вас успокоит. Лишенная наследства революцией.

— Чепуха, — сказал он и улыбнулся. — Это было очень солидное издательство.

— И всегда аполитичное, — добавила она язвительно. Старая рана все еще причиняла страдания. Его похвала. Она покраснела от гордости: за традиции дома, семейное предприятие, столетний юбилей, фирменный знак, герб буржуазии. — Солидное, да, конечно, я думаю, — продолжала она равнодушным тоном. — Теперь они в Бамберге. Мой отец... он мог бы и дальше здесь работать, получить лицензию. Но он ни разу не пытался. Никаких дел с варварами. Они расплавили его медные клише... Какой-то поборник нового, считающий революционным делом — расправиться со всей старой феодальной рухлядью, замками, соборами, памятниками, если не зарядом динамита, то по меньшей мере уничтожив их изображения. Для отца это было катастрофой, просто хуже некуда. Продолжения он не хотел. Так это было, — сказала она в заключение.

Говорит о нем как о мертвом, подумал Троянович. Они пошли обратно, держась за руки, как если бы просто забыли отпустить друг друга или упустили удобный момент, когда расставание не мучительно для одного из них или для обоих.

— Жаль, — сказал он, когда они подошли к ограждению.

— Чего жаль?

Он перешагнул через цепь (удобный повод, чтобы отпустить ее руку), пожал плечами.

— Что я лишен чувства возвышенного.

Она откинула голову назад. Какая она маленькая. Ему было неприятно, что, разговаривая с ним, она должна смотреть на него снизу вверх. Он согнул спину и втянул шею, высоко подняв плечи. Я все ей испортил. Он чувствовал себя виноватым.

— Эта ваша первобытная романтика, — сказал он резко. — Сожалею, но не могу так восторгаться, как вы.

Лишь взмахом своих крыльев-ресниц она ответила «нет», и он почти с отчаянием подумал: кого она видит перед собой?

— Понстипе, я пожелал бы вам другого спутника.

— А я — нет, — отвечала Франциска.

Он коснулся пальцем уголка ее века.

— У вас глаза огненной жерляпки, — произнес он, увидел ее неподвижный взгляд и, пытаясь как-то исправить положение, повторил обиняками то, что сказал в танце-

вальном зале, нет, с комплиментами ему не везет. Ибо это должен был быть комплимент, уверял он, и не получился лишь по недоразумению, так как он хотел избежать употребления другого слова, сравнения с дорогими минералами, в которых плохо разбирается, с александритом, бериллом, топазом.— Вы сами пришли бы к этому, если бы когда-нибудь увидели жерлянку.

— Никогда.— Она дышала ровно.— И не слышала, как они кричат... говорят, это напоминает колокольный звон.

— Колокола под водой,— пробормотал он.— Жерлянки, они бы вам поправились. Грустные, заколдованные... На Мазурах... у старого Лукайта в погребе...

Кто именно обитал в том сельском погребе, она так и не узнала. Он умолк и закрыл ее глаза поцелуями. Под ее веками взорвалось солнце. Он поднял ее над цепью и держал на руках на высоте двух футов над землей, крепко прижав к груди. Его губы целовали уголок ее рта, подбородок, шею и ямочку под ключицей. Бедное дитя, шептал он, poor child. Ей хотелось ничего не слышать, оглохнуть. Вежливые, выражающие сожаление слова обжигали. Она выскользнула из его объятий. Каменная плотина, плавившаяся под ее сандалиями, усмирила ее, ей надо было сделать усилие, чтобы твердо стоять на ногах. Она видела белую ткань, манжету, овальную перламутровую запонку. Он ждал. Она покачала головой, и Троянович склонился к ней и нежно поцеловал, словно на прощанье, голубую жилку у локтевого сгиба.

Возможность, с которой я никогда не считалась: нас могут уволить и прогнать.

С него станется, с этого плешивого, ты его еще не знаешь. Этот тон сегодня днем, «вы» вместо «ты» и «коллега», голос острый как бритва... Чужак, возглавляет строительство три дня, и уже он чего-то домогается, уже все его терпеть не могут. Ты, наверно, видел его, Бен, его нельзя не заметить, рост по меньшей мере метр девяносто, человек твоего возраста, но уже лысый. Громадные челюсти, губы пухлые и паглые.

Старики ухмылялись, когда он впервые появился в строительной конторе. Фантастично. У этих начинающих слабость к специфической одежде, грязь под ногтями, запахнутый ворот, волосы на груди. Новичок, как говорится. Работал инженером, кое-какие похождения, любовные связи или не поладил с шефом и взбучивался, наградой за что дивилась ссылка в леса, испытание на прочность. Эта шляпа с большими полями — «стетсон», сапоги, засаженная кожаная куртка, голос медлительно-ленивый, но жесткий: кино, и он в costume из театрального реквизита играет роль, роль героя, Юл Бриннер на стройплощадке. Довольно небрежности и халтуры. Смехотворно... Но строгий, очень строгий, говорили уже на другой день, когда появились машины и транспорт заработал так четко, как никогда прежде. Он решил свою первую задачу, причем без всякого шума, сопутствующего герою. Больше никакой потери времени на ожидания, никакой игры в скат, потому что новичок, кажется, вытаскивает машины из своего кармана, одну за другой, как фокусник.

Мозг плановика под голым черепом? Рвущийся к своей цели через все препятствия, бросающий на протяжении полугода все резервы на фронт, потом уходит, получив ор-

дена и награды, или остается, ослабевает, незаметно приспособливается, сотрудничает, возможно, занимается личными делами, как предыдущий? Или... можно себе представить и то, что он идет на риск вызвать к себе антипатию и кладет конец вредным обычаям и ставшему привычным надувательству — я хотела бы, чтобы он оказался твердым человеком с крепкой головой, хорошей головсй, которая нам здесь нужна и потребовалась бы и дома (дома: Нейштадт, рядовой, не имеющий своего лица послока?), да, вместо Шафхойтлина человек — такой, как этот новый, который вовсе не новичок и не авантюрист, не золотонскатель или искатель счастья, не отправленный в ссылку и не усталый от сидения в конторе, а бывший руководитель строительства в Фечау, Пумпе, Люббенау, специалист по новостройкам, организации работы в не исследованных еще областях, закладке фундаментов — а значит, для Нейштадта все-таки непригодный, — итак, стреляный воробей, но я этого еще не знала, когда он днем, широко шагая, вошел в столовую, как один из «Великолепной семерки», весь в кожаном, смуглый от загара, подошел к нашему столику и, так как не было свободного стула, поском сапога лениво перебросил к себе стул от соседнего столика, и я спросила: а шпоры вы носите только по воскресеньям? Но он не расслышал меня из-за шума голосов, дребезжащих посуды, стука пластмассовых стакапчиков и тарелок, над которыми он громко сопел, будто первый раз был в столовой и ел из этой посуды, сдвинул на затылок шляпу и спросил: разрешите? — почти вежливо, он бросил взгляд, который говорил тебе, что, во всяком случае, это он сам себе разрешил. Глаза у него очень светлые, водянисто-серые.

Он поставил локти на стол, подпер руками подбородок и смотрел на меня не дерзко и не особенно любезно, просто так, как смотрит мужчина на женщину. Теперь я предпочла бы грубость... Итак, госпожа коллега, сказал он. Кому вы хотите досадить тем, что лопатой сгребаете здесь песок?

Это неожиданно меня задело, притворяться было бессмысленно, и я сказала, пусть не сует нос не в свое дело, а лучше позаботится о том, чтобы лопата стала на стройке излишней и не нужно было вручную перебрасывать большие массы земли, работа как во времена фараонов, но он не уклонился и сказал как бы вскользь: договоримся, будто, кроме машины, он захватил с собой несколько экска-

заторов и гусеничных тракторов и в любой момент может вытащить из кармана. А тогда, сказал он, станете ненужной и вы, госпожа коллега... если только не будете варить кофе и бегать с жестяным кофейником по стройплощадке.

Что ж, поработать уборщицей тоже было бы неплохо, сказала я и тут же пожалела о сказанном, потому что вдруг, сама не знаю отчего, показалась себе жалкой под взглядом этого Юла Бриннера (водянисто-серые глаза, я уже говорила? Они, как вода, могут менять окраску не в зависимости от освещения, а изнутри, из самых глубин) и потому что я могла взглянуть на себя его глазами, теперь, когда при повторении сцены я поняла суть происходящего, и настолько сильно, что ощутила нечто вроде отращения при мысли о том, что каждое чувство лишь однажды, в первый раз переживается как новизна и что мгновения повторяются, словно жизнь состоит из небольшого количества таких мгновений и сцен, подобно тому как дом состоит из некоторого количества строительных элементов, готовых деталей, которые можно, конечно, варьировать, но в определенных границах. Другие персонажи, помещавшиеся ролями: на моем месте некий Троянович, а вместо Юла Бриннера я сама... тогда, когда я спрашивала тебя, прямо-таки умоляла, предлагала будущее — возвращение как возможность будущего, — ты отделивался шуткой и не видел или не хотел видеть, как ранило меня твое равнодушие.

...Иногда я впивалась в Гертруду ногтями, намеренно, чтобы сделать ей больно. Примитивная месть, боль за доставленную мне боль, ибо как органическую боль, острее, чем та, какую могут причинить пять ногтей, я ощущаю бессилье, безмолвный протест, возмущение, заглушаемое молчанием, будто толстым слоем ваты. (Умалчивать о ком-либо: это не просто слово, это может быть своего рода казнь.) И когда я дала тебе пощечину, неумело и неловко, эта женщина была всего лишь поводом, а подлинной причиной была твоя неопределимая и, как мне тогда казалось, твоя неприступная безучастность и твоя манера как бы стоять возле самого себя, иронически, скучливо, безропотно, и это расточительство, которое имел в виду и Юл Бриннер, когда он в столовой наклонился над столиком и сказал, что это наказуемо и он наложил бы взыскание на начальника стройки, если бы тот взял уборщицу с дипломом. Не знаю, почему это должно вызывать у меня смех... возможно, мне вспомнилась сцена из фильма, какой-то

гротеск, в котором определенную роль играет жестяной кофейник... Он только смотрел, я улыбалась: теперь на очереди были пощечины. Естественно, дело ограничилось желанием шлепнуть меня по заду... угрозой, носившей отнюдь не покровительственно-списходительный характер и звучавшей грубо. Впрочем, про зад он не сказал...

Другие были, к счастью, заняты едой, или устали, или пелюбопытны. Они не знают и не спрашивают, откуда мы прибыли, ты и я, и почему мы вместо Берлина, Дрездена, Ростока находимся здесь у черта на куличках, в месте, которое еще даже не имеет имени, строят лишь предположения, намекая обычно: интеллигенты, произнося это слово пренебрежительно, смылись или их прогнали за какую-нибудь аферу. Мораль. Любовная история. Ну хорошо. Обычные остроты, которые со временем прекращаются. Задают косвенные вопросы, отвечать на которые не обязательно. Более молодые любопытны, но молчат, боясь оказаться бестактными, старые же строители привыкли ничему не удивляться, им знакомы совсем другие типы (в их рассказах всегда присутствует сумасшедший военный летчик, кавалер рыцарского креста, у которого после третьей рюмки сдают нервы и он со своим пикирующим бомбардировщиком входит в штопор и орет, орет... и уволенный учитель, который с маленькими девочками... и студент с политическими анекдотами, и писатель, ищущий материал для будущих произведений, геронческое бумагомарательство, говорят старики), они ворчат па тебя, как на любого другого, однако показывают тебе всякие приемы и ухватки... и уж совсем не интересуются, кто ты такой, местные жители, безвозрастные крестьяне с рюкзаками, которые приезжают па велосипедах из своих деревень, собирают по дороге грибы и ягоды и заготавливают корм для кроликов, подбирают на дороге каждую щепочку, работают не разгибая спины на стройке и дома, где откармливают свиней, выращивают овощи, ухаживают за своим домиком, не позволяют себе бутылку пива к обеду и скуны даже па слова (у многих и не поймешь, на каком языке они говорят — на немецком, польском или лужицком), копят деньги, экономят, для чего?

Как всегда, в один прекрасный день ты принят: ты принадлежишь коллективу. Прошлое не в счет. Защищаться излишне, так как никто тебя не обвиняет... Пока не появляется такой вот лысый, полагающий, что ты заслуживаешь наказания, как и руководитель стройки, кото-

рый тебя терпит, и начальник отдела кадров, который тебя принял и упрекает тебя в том, что ты и сама знаешь: учеба, экзамен, диплом. Не хватает только, подумала я, чтобы он подсчитал все затраченные на меня деньги, словно я чистопородный и очень дорогой рысак, владелец которого рассчитывает, играя на бегах, вернуть затраченные им деньги в десяти- или стократном размере... Нет, о цене речи не было.

В то время как наши проектировщики работают на износ, добавил он.

Индустриальное строительство не моя специальность, сказала я, он в ответ: так же как и то, чем вы занимаетесь сейчас.

Правда, сказала я, как будто это могло служить основанием и возможным извинением для дезертирства (так ты назвал это однажды: дезертирство, трусость перед лицом врага). То, что он ничего не хотел знать о причинах, меня устраивало. Примечательно, теперь я не могла бы привести ему ни одной... или не могла бы их членораздельно сформулировать, так, чтобы он не мог их легко отбросить как сентиментальный вздор. Во всяком случае, об износе можно вести речь... Вы не едите шпатель? — спросил он. Я отставила тарелку. Спасибо, я сыта.

Он вонзил жестякую вилку в жирный кусок мяса. Вы разрешите, сказал он, с опозданием, как и прежде, и тут же забыл обо мне, я видела это по тому, как он расправлялся с едой, крошил мясо, давил картофель в коричневом соусе, подносил ко рту и заглатывал, не жадно, но достаточно громко, с голодным удовольствием, с наслаждением, в котором участвовали все пять чувств, и удовольствием было смотреть, как он ест, я наблюдала за ним и представляла себе, как в один присест он пожирает дюжину голубей или зубами и пальцами разрывает на части жареных кур, облизывает крылышки, выбрасывая за плечо мелкие кости, облизывает губы, тут же протягивая руку за следующим куском или за голубем и молча и основательно предаваясь смертному греху чревоугодия... Держу пари, он подливает водку в шампанское и выпивает огромное количество пива, ему это вкусно и полезно, у него здоровое сердце, легкие, печень, почки и желудок, и, пока не наступила зима, он валит на вереск поправившуюся ему девушку, с удовольствием любит ее, ничего не привирая ей о своих чувствах, а самое позднее, думается мне, когда ударит первый мороз, он рассорится не на

жизнь, а на смерть с начальником стройки, если он сам еще не начальник, — можно себе представить. Бен, позволь мне так думать, что он похож на человека, портрет которого я набросала, пока он сидел за столиком, новый начальник строительства, чью фамилию я не запомнила, так как она очень распространенная, кажется Шмидт или Шульце? Итак, Юл Бриггер, как его называли в первый же день, едва он сдвинул на затылок свой «стетсон» и показал голый череп, не бритый, абсолютно голый, загорелый, но кажущийся бледным по сравнению с медно-красным лбом, — и, наверно, он получал клички и на других стройках, не очень остроумные, но неизбежные, после этого вестерна — ты еще помнишь? — где герон так эффектно падают с лошадей... прозвище, которое к нему пристанет, как к тебе «док», это я слышала на стройке, даже в управлении, когда один инженер сказал: док плаширует в секторе «В», и все знали, о ком речь, так легко связываются с людьми определенные образы.

Новый начальник строительства... Я наблюдала его за едой. Только и всего. Несмотря на это, я не осмелилась сказать ему: хватит с меня работать на износ... Причем это правда... во всяком случае, я могла убедить себя и считать это правдой.

Нельзя забыть, как однажды Ковальский, тихо стоя за дверью, сказал: «Мы замерзли» — без возмущения и шума, как обычно, и не удрученно. Копстатация. Замерзли. Но Ковальский это знал, противился этому, он и Граббе, маленький горбун, помнишь, в то время как другие, да, конечно, они выполняли свою работу, и многие очень хорошо, каждый день делали и дополнительную работу, ругались, также говорили, что работают на износ, когда поджимали сроки, накапливались сверхурочные, предсказывали всякие ужасы, причем самые современные, например инфаркт миокарда... Нет, Бен, не это меня тревожило, сердце и нервы устояли и могли бы еще долго выдерживать... Первая сердечная боль, первый укол как бы тупой иглой испугали меня меньше, чем дуновение холода, дыхание стужи, которым пахнуло на меня в тот момент, когда я завязывала надет с книгами и журналами, присланными мне в свое время Регером. Я отсылала их обратно, книги, в которых прочла лишь отдельные места, журналы, которые я быстро перелистала, к сожалению, нет времени, необходимо довольствоваться тем, что принимаешь к сведению: планы реконструкции Алекса, строительства высот-

ных домов в Хельсинки, статью Нойтры, сообщение о фресках в Мехико.

Время... Или уменьшилось любопытство? Или тебя больше не интересует титаническая фреска, мерцающий голубовато-стальным цветом фасад, дом, террасами уходящий ввысь, хитро придуманная жилая гора, ты отвращаешь от них свой взор, и они больше не занимают твои мысли, и все это для того, чтобы защититься от сознания собственной несостоятельности? Чтобы не думать о том, что сказал Шафхойтлиц: нельзя игнорировать реальные факты. Девятьсот квартир в этом году. Чтобы не подыскивать слова, на которые сможешь опереться, слова-костыли вроде: благоразумие, долг, необходимость. Чтобы не быть вынужденной согласиться, что твои претензии к самой себе становятся все скромнее...

— Мы не удовлетворяем претензий, мы просто работаем, — сказала она Шафхойтлицу. Она засунула большие пальцы за кушак, оставив вспотевшие ладони. Блузка прилипла к телу. После грозы земля дышала паром, и паром, казалось, дышали дощатые полы барака и стены, нагретые июньским солнцем. Теплица. Глядя на окна, она мысленно приказывала голубым орхидеям, жирным стеблям венерины башмачка, багряным, словно сделанным из воска листьям цветов фламिंगо насытиться благодатной влагой. Она бросила связку бумаг Шафхойтлицу на письменный стол. — Не претензий, а требований, — поправила она сама себя.

Гертруда стучала на машинке. Веки у нее опухли, как будто она плакала. Опять надралась, сказала Франциска, стараясь избегать взглядов, которые ее искали и помышиному ускользали, когда она горбилась, словно под чьей-то назойливой рукой. Франциска вежливо и с нечистой совестью уклонялась от строптивой любви своей подруги с чудовищным лбом и пренебрегала своими обязанностями, выступлениями на пропахшей ливом арпе. Извините, сказала она, у меня работа.

Шафхойтлиц позволил себе ослабить узел галстука и засучить рукава сорочки.

— Как понимать то, что вы сказали относительно требований? — Он повторил свой вопрос.

Франциска пристально смотрела на его запонки, лежащие в коробочке на столе. Серебряные запонки, овал из перламутра. Их подбирала его жена. Шафхойтлиц проследил за ее взглядом.

— Подарок, — пробормотал он.

— Слишком женственно, — сказала она пренебрежительно, покраснела и повернулась к нему спиной. Споткнувшись на пороге, суеверно сделала три шага назад, а потом ногой захлопнула за собой дверь.

Шафхойтлин произнес в сторону пишущей машинки:

— Боюсь, фрау Линкерханд чересчур перегружена. — Словно он должен был извиниться за нее перед свидетельницей — Гертрудой. Косвенный вопрос, который он еще раз, но уже в иной форме, осмелился поставить перед этой мнимо глухой особой. Из принципа, говорил он себе; он всегда избегал разговоров со своей теперешней секретаршей о ком-либо из сотрудников. Так как Гертруда, казалось, ничего не слышала и сквозь кукольные свои ресницы ничего, кроме клавиатуры пишущей машинки, не видела, он удовольствовался тем, что заметил: коллега Линкерханд переутомилась.

Франциска оказалась права, отсутствие фрау Крупкат очень чувствовалось, новая сотрудница не появлялась, всю чертежную работу ввалили на молодых, и прежде всего на Франциску, так как Язваук на три недели уехал в Альбек. Он любил время еще до разгара сезона, пляж, где не играют в мяч несколько тысяч идиллических семей, а вместо расплывшихся мам порхают с обручем юные девы, парами, подружки, из которых одна красива, другая же — лишь фон для ее красоты. Восхитительно неловкие создания. Они мчатся за мячом, и рыцарь Язваук, жертвуя собой, спасает мяч, прыгающий по ледяным волпам... Свою бедную, оставшуюся на работе милочку он утешал открытками с видами замков-санаториев на берегу по-южному синего моря. Франциска улыбалась строю проставленных им восклицательных знаков. Жаль. Она прикрыла ладонью глаза и не видела больше пება, деревьев и солнца, лучи которого отражались в круглом окне часовни. К вечеру у нее разболелась голова, лежащий перед ней чертеж расплылся, линии утратили четкость. В десять постучал в перегородку Шафхойтлин. Он был угрюм, его мучили заботы, которыми он с пей не делился, и она ни о чем не спрашивала; она старалась пропускать мимо ушей слухи в столовой, намеки Кёппеля на определенные, это значит неопределенные, при известных обстоятельствах возможные решения на более высоком уровне.

Несколько раз они ходили в «Голубь» пить водку. Двойную порцию, сказал он фрау Хельвиг, сегодня мы ее

заработали. Они обратили на себя внимание, так как прислонились к стойке. В пивной набираются дурных привычек. Они принесли свои рюмки к столику, за которым сидела молодая супружеская чета. За полчаса супруги вдвоем произнесли ровно пять слов, она: пора, пойдем, а он: официантка, пожалуйста, получите!

Стулья за столом, где всегда сидели милиционеры, пустовали. Неотесанные Большие Братья, кто знает, на какой они стройке, в какой пивной они теперь наводят порядок — здесь, это видно, слышно, чувствуется, они стали лишними. Шушуканье, затем пронзительный крик и женский смех донеслись с террасы из-под неблещего сейчас тента, который завтра к полудню вновь обретет свои яркие краски. В вазочку для мороженого фрау Хельвиг поставила стебелек четырехлистного клевера. Шафхойтлин нашел, что это приятно и спокійно. Да, съезь спокійно, сказала Франциска. Семейный ресторан.

Игроки в скат, любители выпить, бандиты, дебоширы и холостяки перебрались в новый жилой комплекс, в пивную, временно действовавшую среди немощеных улиц, песка и строительного мусора, ей еще не угрожали порядок, нормальная жизнь, супружеские пары, галстучки, чашечки кофе, запрещающие таблички, перешептывания, дети, пьющие лимонад, зонты от солнца и хрупкие стулья. Многие потянулись в пивные старого города. И Гертруда за ними, словно привязанная к своим мучителям. В пять она просунула голову с пуделистыми кудряшками в дверь. Франциска покачала головой. Гертруда прошептала хриплым голосом: хорошо было, когда у нас была лавка. Но у нас ее больше нет, заметила Франциска. Один раз она топнула ногой и закричала:

— Но вы же видите!

— Вы губите себя, — сказала Гертруда.

— Каждый на свой лад, — ответила Франциска.

В «Голубе» она опять встретила Трояновича. Тот же столик, что и в первый вечер, в ноябре. Две рюмки с коньяком. Никаких газет. Светловолосая женщина сидела сбоку, вытянув ноги в проход, красивые длинные ноги, которые она без всякого кокетства положила одну на другую. Увидев Франциску, он чуть поклонился, но не прервал разговора. О книге, это она расслышала, когда он новысил голос, опровергая возражение, которого не последовало. Она призвала на помощь мать и повиновалась ее приказам. Сердце ее разрывалось в клочья, но она спо-

койно болтала с господином Шафхойтлином. Испытай меня, ненавистная паставница, ты не сможешь ко мне придраться. Будь у меня под рукой зеркало, кто знает, я, возможно, увидела бы лицо под снежно-голубыми волосами, двойной ряд красных камней вокруг шеи — кровавый рубец. Нам это знакомо... Вальпургиева почь? Она раздвоилась, губы что-то произносили, отвечали, смеялись (больше всего над самой собой, трагическая актриса с прусской выправкой), слух улавливал то, что произносил тот голос — столичный диалект, точно построенные фразы, рецензия, правда остроумная, но злобная (я читала книгу, которую он холодно изничтожил тут, он был прав, не прав же он был потому, что наслаждался собственным остроумием). Никаких возражений. Женский голос о себе не напоминал. Ее улыбка? Кому подает она знаки через головы сидящих рядом? Забыла. Не забыла ее рукопожатия тогда в баре. Сердечное. Действительно сердечное, крепкое рукопожатие. Даже темя сомнения не пробежала по ее лицу. Его жена, подумала Франциска. Это его жена, прислушивающаяся к тому, что он говорит, восторженно или только терпеливо? Конечно, она знает своего мужа.

Шафхойтлин взял ее за руку. Боюсь, у вас жар, эти теплые вечера коварны, дверь открыта, вы неудачно сидите, на сквозняке. Ей хотелось, чтобы он не отнимал руки. Сочтут их за парочку... Она не пожелала пересест на другое место, и, когда они выходили, она сделала так, чтобы не видеть тот столик, за которым находился «голос», только один, ведь она имела право так думать, ибо второй не пророчил ни слова. Он один, и слова его были обращены ко мне... А если бы он был не один? Она возмущалась собственным творением, она сама его придумала, ибо он был пужен ей как брат, образ, быть может, прообраз, как пекий шанс, и то, что ее творение обрело самостоятельность, усиливало ее муку, к тому же, оно требовало собственного, не подверженного чужому влиянию прошлого и, что еще хуже, втягивало в игру другую нежелательную особу.

У двери она обернулась, увидела его, теперь он умолк, но опоздал поклониться, так как в этот момент клал сахар в кофе, увидела светловолосую баскетболистку, реальную, живую, никакое колдовство не могло заставить ее исчезнуть, улыбающуюся. Сердечная улыбка для меня, маленькой приятельницы мужа.

Она и в самом деле мила, ко всему еще и это, мила, та-

кую, правда, нельзя обидеть, думала Франциска, но тем не менее кое-что ей все-таки устроила — убила ее на глазах восьмидесяти — ста свидетелей, расстреляла в кинотеатре, точнее, в школьном зале, где по средам и пятницам крутили фильмы (в Нейштадте в этом году еще не было кинотеатра, в конце июня, когда все это происходило).

Она обходила стороной «Голубь». Ах, там скучно, говорила она Шафхойтлину, тем не менее не могла избежать того, что светлыми ночами их пути пересекались, она встречала обоих каждый вечер — точнее, два или три раза на протяжении двух недель, — видная пара, оба высокие, и, если Троянович держался плохо и шел несколько наклонившись вперед, она шла прямой походкой, делая длинные шаги. Он вел ее под руку.

Франциска ногами отбросила простыню, эту давившую свищевую плиту; не поверив собственным глазам, она спрашивала у оконной рамы, у оранжевого месяца, у неба, сверкающего вспышками сварочных аппаратов: неужели он не покраснел, хоть немного, хоть едва заметно под загорелой кожей? Не сделал движения, будто хотел поднять руку — отогнать воображаемую мошку, пригладить волосы, — чтобы незаметно убрать свою руку? Ах, нет. И во все он не должен был этого делать. Она думала о незнакомце, который, целуя женщину, смотрел на часы, мимо ее опущенных век. Или — он не должен это делать как бы нечаянно. Она требовала рыцарского поведения и плакала потому, что он вел себя по-рыцарски: он не освободился от руки женщины во время их встреч. Он отказывает мне в надежде.

Березы, дорога, заградительная цепь? Я отыщу их, я должна убедиться, что они существуют. Поставить ногу на зыбкую почву действительности. Она вспомнила забавные и досадные недоразумения, неверие окружающих, когда она утверждала, что ей знакомы никогда ею ранее не виденные лица и пейзажи, или настаивала, что уже слышала ранее, слово в слово, происходящую в данную минуту беседу. Это тебе пригрезилось. Да? — говорила она вежливо. Замешательство, овладевавшее ею, когда она узнавала комнату, в которой никогда раньше не была; совпадало в точности все, вплоть до рисунка обоев, до узора на покрывающей круглый стол скатерти филейной работы.

Безответные поцелуи, его губы на ее щеке. Пригрезилось? Она сомневалась. Несомненной, однако, оставалась секунда, когда взорвалось солнце. Франциска нажимала

кончиками пальцев на веки, она хотела вновь повторить мгновение, которое в тот майский день, ей это сейчас пришло на ум, также было лишь повторением: делать звезды, так я ребенком называла эту игру при погашенной лампе, когда, зарывшись лицом в подушку, я на внутренней стороне век видела стремительно несущийся поток огненно-красных и белых метеоритов.

Возвратился Язваук и бронзовыми от загара руками обнял свою милую. Ну как я выгляжу? Замечательно, я же говорю: Виа Венето, пробормотала она, прижимаясь губами к нейлону, к загорелой коже у открытого воротничка сорочки. Она нарушала их товарищеские отношения, не подозревая об этом, когда во время их объятий обнимала другого. В бюро запахло морем и морским ветром. Первые дни, малютка, были просто у-жас-ны-ми... Солнечный ожог, кожа в клочья, неудавшаяся ночь любви. Но затем... эти девушки, подружки, одна красotka, другая, н-да, по фигура! И ведь надо было ее утешить, не правда ли? Ты с обеими? — закричала Франциска.

Из чистого альтруизма, сказал Язваук, из самых благородных мотивов: чтобы не разрушить девичью дружбу. От смеха Франциска чуть не упала со стула. Только, пожалуйста, без деталей, Грипсхолма я уже читала.

Лишь сейчас, когда она всплеснула руками и расхохоталась, он заметил, что она изменилась. Бледная, глаза огромные. Горе? Что ты, просто устала, работа по ночам (если б еще хоть была работа, из-за которой стоит убиваться), все время в конторе, на площадке не была давным-давно... Значит, это серьезно, по-настоящему, сказал Язваук. Он взял ее за подбородок. Желтые бездонные глаза озадачили этого знатока жещици, он сделал вид, будто разгадал причину катастрофы. Ты, наверно, обнаружила седой волос? Только одип раз, сказала она серьезно, единственный волос, в день, когда мне исполнилось двадцать пять. Расплата за неудачное супружество. И, пожав плечами, добавила: дешево, не правда ли? Я его вырвала.

Язваук сделал шаг назад: он предчувствовал жестокую двусмысленность. Счастье, сказал он, что я не... что мы не... Опыт, от которого он себя уберег: оказаться проигравшим, быть оставленным. Вырвала. В его бумажнике (кожаном, с выгравированной монограммой) было полно фотографий; но теперь у него не было больше желания, сидя за письменным столом, рассматривать девушек в библиотеке, демонстрировать свои успехи. Успехи, доставшиеся

ему слишком быстро, слишком легко. Франциска включила транзистор. Послушай, Пнаф. Мир прекрасен, милорд.

Теперь ты снова думаешь: хорошо бы съездить в Париж, сказал Язваук. Ах, Мориц, сказала она. Я знаю Париж, просто мой Париж уже сто лет, как умер, что же касается градостроительства, то я о планах барона Османа знаю больше, чем о Мальро... Крик Пнаф: милорд, милорд! Ты только прислушайся. Кто приходит тебе на ум? Бальзак. Бедная Эстер. Всклипывания гризетки ночью, над дымящимися в жаровне углями... Она выключила радио. Или она плюет на этого парня, сказала Франциска, и уходит с другим. Язваук склонился над столом. Если между нами, малютка...

— Да? — сказала она ледяным тоном.

Он молчал, отвернувшись к окну. Какой профиль! Она восхитилась линией, идущей от лба к носу, как раз в тот момент, когда он забыл выставить себя для обозрения. Я оскорбила его, он раним, он друг.

— Смешно, мне недоставало тебя, Мориц.— Она была благодарна ему за его молчание и печальное выражение лица, не рассчитанное на зеркало и публику.— Тебя, твоего транзистора и твоего знаменитого кофе,— сказала она.

— Правда?..— спросил он.

— Правда.

Они помирились, когда над колбами, как алхимики, отвечивали кофе, какао, соль. Язваук положил ей руку на затылок.

— Так плохо, малютка?

— Очень печально,— сказала она.

После обеда он разговаривал по телефону с приятельницей. К сожалению, сегодня задержусь — да-да, итак, до завтра, душа моя. Положив трубку, он вздохнул.

— Прогуляйся, отдохни несколько часов.

Желая оказать Франциске услугу, он предоставлял ей свободу, с которой она не знала, что делать. Куда пойти? Есть мороженое под зонтиками у фрау Хельвиг? Она сидела одна на террасе над гладким ковром расстилающейся перед ней площади. Пыльная зелень, жепщина в черном платке, сверкающие косы. Ей захотелось обратно к своему столу, на свою банку. Улицы, стук роликовых коньков, перекресток, пантомима полицейского в белых парукавшиках, с палочкой, взмаху которой повинуются грузовики, «волги», «вартбурги», «грабанты». Поток велосипи-

дистов, десятилетние мальчишки в трусах, склонившиеся над рулем, как гонцики: они едут в лес, к мертвым котлованам со стоячей водой, на поверхности которой плавает слой жирной сажки.

В половине пятого на шоссе загрохотали заводские автобусы; на трех остановках в течение нескольких минут были видны кучки людей с портфелями, которые быстро таяли и растекались, всасываемые первым, вторым и третьим жилыми комплексами и торговыми рядами, узкими дорожками между блоками, подсохшими тропинками и каймой молодого кустарника. Белоснежная таволга уже стала серой. В колючей мелкой заросли распускались цветы японской айвы. *Spiraea thunbergii*... *Chalumeles japonica*... Она медленно брела вниз по улице и бормотала себе под нос: Японика, упоника... Глаза Важной Старой Дамы. Одета в серый шелк сообщница, которая не старится. Будь ты на моем месте, ты знала бы, что делать, выкинула бы какую-нибудь штуку, чтобы пробудить эти дома, раскрасить эти симметричные камни мостовой, прыгнуть из преисподней до самого неба, танцевать на дороге, изогнуть нанесенные на чертеж улицы, начертить в синеве неба «*Мы протестуем*», и тогда с легким шуршанием раздвинутся гардины, взовьются кверху шторы в окнах, и на балконах появятся лица, прически, яркие блузки и флажки, как на первомайской демонстрации, и дети, точно стаи мотыльков, вылетят из дому, между тем как расколдованный экран телевизора будет мерцать по-прежнему и дикторша или спортивный комментатор поведут беседу с фигурантами и пустыми креслами.

Она подошла к третьей остановке — напротив пустышной площади. Ни скамейки, ни навеса. Она присела на край тротуара... Бесконечно усталая от ходьбы, словно прошла пешком всю Фридрихштрассе, пересекла Александериплац и еще прогулялась по Франкфуртераллее. На траве перед последним блоком двое играли в бадминтон, еще дети, оба в кожаных шортах, длинноногие, неуклюжие, с пещарагащными коленями. Из окна кухни женщина крикнула им:

— Уйдите с газона, сопляки, сколько можно говорить.

Мальчик еще раз послал в воздух белый волап, девочка поймала его рукой, и они, как будто наигрались досыта, ушли, медленно волоча ноги по траве. Девочка заложила волосы за уши. На окно кухни они даже не посмотрели.

Я хотела бы стать похожей на нее, бесстрашной, неверующей и веселой... Я даже не умею использовать подаренные мне несколько часов. Польза, полезно, с пользой. Всегда я на службе. Она, она сумела бы насладиться июньским вечером, часы которого как плоды, выжала бы их сок, вкусила бы их аромат. Жить, это она умела, и брать (но не принимать). А что, если бы был возможен обмен — судьбой, временем, жизненным путем? Ах, я не знаю. Может быть. Нет. Ни дома, ни книги, ни дерева, которые свидетельствовали о том, что она есть, что она была, только фотографии: красавица в купальном костюме на берегу Северного моря, всадница на фоне Везувия, матрона в серебряной рамке. А я, думала Франциска, мое имя, мое сердце, форма век, которую кто-то пальцем очертил на моем лице...

Ее спугнули шаги. Парочка. Они пересекли площадь, молодой солдат размахивал сумочкой своей жены или приятельницы. Франциска уткнулась лбом в колени. Я уже вижу призраки. А если бы это были они и если бы они у меня на глазах шли по улице, взявшись за руки, и он бы размахивал ее сумкой на ремне?

История другой Франциски, которую она рассказывала через полвека... Я говорила уже, что была у нее такая странная манера: смеяться плечами? И так, время: перед первой мировой войной. Кельн. Драматический театр. Декабрьский вечер, я так ясно представляю его себе, на улице снег, свет фонарей, пролетки, извозчики в длинных пальто, зайи девевские лошади в шорах с торбой для овса на морде напоминают ряженых на карнавале. А внутри? Конечно, хрусталь и плюш или красный бархат, люстра, которая торжественно поднимается вверх, блистательные дамы в перчатках до локтя, а в их ложках привычный театральный реквизит: веера, мужчицы, бинокли, вечерние маято... Так мог бы начинаться детектив: в антракте после второго акта фрейлейн Ф., вооруженная кишжалом, провикает в уборную знаменитой молодой актрисы, отбившей у нее какого-то господина с эспаалькой, усами, бакенбардами, похоронечными в альбоме с выцветшим переплетом из фиолетового шелка.

Нет, скажи серьезно: ты хотела ее убить?

Конечно, та *petite*<sup>1</sup>, сказала Важная Старая Дама. Она исполняла главную роль в «Даме с камелиями», публика награждала ее аплодисментами, особенно усердст-

<sup>1</sup> Моя малютка (франц.).

вовали мужчины, настолько, что лопались по швам их белые перчатки. После второго акта я вышла из ложи и отправилась за кулисы...

С ножом в руке?

Quelle idée! <sup>1</sup> В ридикюле, разумеется. Режиссер проводил меня к ее уборной. Я распахнула дверь, увидела ее сидящей перед зеркалом, а в зеркале увидела ее глаза... зеленые, дитя мое, цвета морской волны, под черными, не подрисованными бровями совершенной формы. Она обернулась, пеньюар (или это была легкая шаль?) соскользнул с плеч — боже мой, что за плечи! — воскликнула Важная Старая Дама. Она как бы сияла с того вечера пласт времени, словно открыла медальон, привычным жестом, во всяком случае без малейшего усилия, достаточно чуть лишь коснуться ногтем пружинки его замка, и крышка из тонкого золота отскочит, взору предстанет сверкающая, не поблекшая за пятьдесят лет миниатюра — лицо и плечи, длинная нежная шея, взбитые у висков и на лбу волосы, черные, как оперение дрозда... так рассказывала моя бабушка: черные, как у дрозда, и пышные, как облако.

Я представляю себе сцену в театральной уборной: фрейлейн Ф. в платье со шлейфом и наброшенным на плечи боа из страусовых перьев, дама, которая вдруг теряет, не зная, куда девать руки, куда девать ридикюль, где спрятан патетический и излишний теперь кинжал; драма уже сыграна, причем совсем не так, как ожидалось, драма без слов, такая же короткая или чрезмерно длинная, как обмен взглядами в зеркале. Она побеждена, так потом она сама это назовет. Артистка! Ей все это знакомо: удивление, восторг, восторженные поклонники ее искусства, меценаты, цветы, корзины цветов, в которые вложена карточка, или бонбоньерка, или бархатный футляр, и визитеры, проникающие к ней за кулисы, девочки-подростки с альбомами для автографов, экзальтированные мужчины, светские бездельники, завсегдатаи кулис — и все-таки мне показалось, тут она смутилась. Необычный визит. Никто первым не начинает разговор, она должна импровизировать, казаться занятой, спешить (антракт вот-вот кончится), но еще задать вопрос, набрасывая шаль.

— Что вам угодно?

— Ваша дружба, Madame, — говорит фрейлейн Ф. и бросается в ее объятия.

<sup>1</sup> Что за идея! (франц.)

Так могло быть. Если ей поверить. Так или иначе — несомненно: дружба на всю жизнь. Да, но, сказала я, а как же твой любовник? Важная Старая Дама пускала дым колечками к потолку, улыбалась и молчала.

Кёльц, Кёльц и моя прекрасная подруга, сказала она темного погодя. Мы вместе путешествовали, писали друг другу письма (романы, элегии, шифрованные признания, полные тайн письма молодых женщины), когда у нее были ангажементы в Гамбурге, Вене, Берлине, она с огромным успехом снялась в немом фильме, в своей королевой роли «Дамы с камелиями», трогала до слез миллионы людей, потом публика ее забыла, невероятно быстро и так глубоко, как если бы между примадонной немого кино и новыми звездами, этими развязными девицами с мальчишеской стрижкой в брюках апаш, пролегла длинная череда войн, мод, стилей, революций, то есть сама история и специфические эпохи, как между Фанни Эльслер, которую в ее время называли божественной, и Мари Вигман, вокруг одного имени которой... да, детка, для тебя это всего лишь имена, я же видела, как танцует Вигман, и молодая Палукка, и эта замечательная молодая негритянка... Жозефина...

— Бейкер, — сказала я.

Спасибо, сказала моя бабушка. Жозефина Бейкер, да, в скандальном костюме... прикрытая всего лишь кожей от банана... Очищенный черный банан, сказала она, и глаза ее сверкали от удовольствия. Но это сюда не относится, Фрэнцхен... Что же касается моей бедной Лианы: она вернулась в театр, еще раз имела успех, самый большой успех в ее жизни, а на другой вечер после премьеры окончательно провалилась в пьесе до той поры неизвестного автора — еврейского писателя, как выяснилось, об этом горлачили в театре беспующие толпы, сброд, который заставили играть определенную роль и представлять *народ*, давая волю хорошо оплаченному возмущению, об этом же сообщала так пазываемая пародная пресса и крикливый дегеперат, выступающий с разоблачением «комедиантки». Имплементница, недостойная произносить на немецкой сцене слова, написанные немецким писателем... Она уехала за границу, как бы на отдых, на несколько месяцев. Швейцария. Франция. Париж. Она еще не ощущала себя эмигранткой. Она возвратится назад, в Берлин, скоро, в ближайшее время. Это безумие не может продолжаться долго... Оно продолжается: в этом безумии есть

своя метода. Это долгое-долгое путешествие, хотя и кружным путем, ее неудержимо влечет к морю, в портовый город. Марсель. Беженцы в гостиницах, в сотнях бюро, через которые необходимо пройти, в гавани, на пароходах. Плавание. Америка. Новый Свет: как назвала она в первом письме страну, о которой три года спустя вежливо и равнодушно, не сентиментально и достаточно решительно отзовется самым уничтожающим образом... Решительно, да. У них есть такое выражение — поправь меня, Фрэнчхен, сказала Важная Старая Дама, которая не очень была сильна в английском. Take it easy.

Это верно?

Да. Не смотри чересчур серьезно на вещи. Или: не принимай все близко к сердцу. Что-то в этом роде.

Никаких ролей, никаких шансов получить роль. Ее язык, ее возраст... Очень сожалеем, миссис такая-то. И все это с бодрой ухмылкой, если не с ободряющим похлопыванием по плечу. Take it easy, повторила она с таким выражением, будто сообщала о случае людоедства, потом встала со своего бархатного кресла, казалось, ей внезапно помешал свет лампы, она должна была даже прикрыть глаза, а я думала, спектакль окончен, и последний акт — ах, его десятки раз читали или видели в фильмах; декорации известны: комната в гостинице (или в мебелирашках), металлическая кровать, раскрытое окно во двор (или на лестничную клетку), веревки для белья, протянутые от окна к окну, занавеску треплет ветер (или она обвисла, и ты понимаешь, что там знойно, душно, пахнет кошками, отбросами, догтем, щелочью и испарениями из китайской прачечной) и — камера нацелена на кровать — пустая трубочка от таблеток, стакан и свесившаяся с кровати рука, словно восковая, ладонью кверху; можно себе представить и музыку, звуки которой ударяются о стены каменного ущелья — двора, в конце тридцатых годов Дюк уже Великий человек, Элла, поет у Чика Уэбба, вечный Фрэнк Синатра завоевал Америку и отель на Тридцать второй улице в Нью-Йорке.

Это было в Лос-Анджелесе, сказала Важная Старая Дама.

В воскресенье, сказала я, после обеда, где-то между пятью и семью.

Она бросила на меня пронзительный взгляд. В твоём возрасте, деточка, совершенно не подобает спать, в какой

день недели и в котором часу... Я об этом читала, сказала я робко.

Мальчик и девочка сидели на ступеньке перед дверью, зажав ракетки между колен. Франциска шла обратно через второй жилой комплекс, к школе. Она прочла киноафишу: «Альба Регия». Дверь в зал уже была заперта.

— Ну только для вас,— сказала билетерша и отдернула портьеру. Бледная, с морковно-красными волосами, и Франциска вспомнила, что в один из зимних вечеров она была у нее в консультационном пункте. Настроение у Франциски переменялось.

— Помню, помню, желтые подушки, и так далее,— сказала она с довольным видом.— Вам понравилось?

— Ну конечно же, спасибо,— ответила билетерша.— И мужу тоже. Здесь порог, фрау Линкерханд.

Неразличимые в темноте лица обернулись на свет из открытой двери. Франциска ощупью искала стул. Белые паруса на Мюггельзее. С ткацких станков льются непрерывные потоки ткани, похожие на раскатанное тесто. Плотина, пенящиеся каскады воды, девушки в сапогах, чья-то грудь в орденах, березы и таежные цветы. Шапки взлетают в воздух. Ток для Сибири. Отдыхающие на берегу Балтийского моря. В гостях. Матч с участием команды ГДР. Свист в последних рядах. Сапожник! Спокойно, произнес мужской голос. Вечно эта ребятина. Они смеялись и громко кричали, выражая свое недовольство. И это футбол? Хромые утки. Отправьте их на пенсию! И старика там впереди. И всех этих бездельников. Безобразие! Люди оборачивались, Франциска тоже, она думала: совсем как мы тогда, и обязательно в последнем ряду, где темнее всего, орали, потому что были среди толпы, и по-идиотски хихикали, когда экран предвещал появление любовных сцен, уже знали: томный взгляд, и тут вступает музыка, скрипки или гитара, а если сильная страсть, то целый оркестр. Она оцепенела. Этот профиль. Мужчина рядом с ней внимательно смотрел прямо перед собой, казалось, не обращая внимания на шум в зале. Он положил руку на спинку стула, и Франциска могла бы коснуться ее плечом, если бы немного подвинулась вправо.

— Добрый вечер,— сказал он, не глядя на нее.

— Добрый вечер, господин Троянович,— сказала она тихо.

Это случайность, я не искала места рядом с ним. Вскоре зажегся свет, и светловолосая женщина наклонилась

вперед, пожала Франциске руку и сказала, вообще слишком жарко, чтобы идти в кино, но он, он настоял.

— Ради Самойловой? — спросила Франциска.

— Ради фильма, — ответил он неприветливо.

Я нахожу ее очаровательной, сказала Франциска светловолосой женщине, мимо Трояновича, вежливого, хотя и докучливого незнакомца, который откинулся на своем стуле, насколько это было возможно и с ничего не выражающим лицом слушал то, чего не слушать не мог. Белочка, вы помните? И это утро в Москве, поливальная машина, и березы, которые кружатся и кружатся, и журавли в небе, и ах, все это после геронических картин-лубков, такой фильм, берущий за сердце, я его три или четыре раза смотрела и плакала, боже мой, когда солдаты, помните, после войны, и она, с цветами в руке, на вокзале, ищет того, кто не вернулся... Прекрати, прекрати же наконец, они примут тебя за пьяную, думала она, а между тем, задыхаясь, продолжала говорить, заикалась, и ей казалось, она стоит рядом с собой и присматривается к себе как к знакомой, поведение которой ее мучает. В отчаянии смотрела она в лицо, на котором не отражалось даже неприятное удивление. Почему вы не прервете эту сумасшедшую? Раздвинулся занавес. Манекен грозил публике: снова носят шляпы. В последнем ряду завывал транзистор. *Come back, baby*<sup>1</sup>. А ее улыбка, когда она эти цветы дарит другим. И влюбленные, они танцевали Тенн-Тенн-Теннесси-вальс. Игрушечный автомобиль вдребезги разбивался, налетая на дерево у шоссе, среди обломков барахтался человечек с челюстью Фернанделя. Такой может смеяться. Пока не поздно: страхует KASKO.

Промежуток между рядами стульев был очень мал, и женщина вынуждена была вытянуть ноги в сторону, прижимаясь коленом к ноге Трояновича, и Франциска старалась туда не смотреть.

— Ужасное кино... как тот рассадник блох в Лейпциге, помнишь, возле забавного кафе, в котором ты всегда свои лекции?.. Он предпочитает работать в кафе.

Троянович молчал; на скулах выступили красные пятна. Теперь она говорила о виденных ими русских фильмах. Мы, говорила она, и Франциска полагала, что «мы» она употребляет слишком часто, намеренно подчеркивая слово, которое его и ее объединяет под одной оболочкой.

<sup>1</sup> Вернись, бэби (англ.).

Мы: наши воспоминания, наша комната, наше кафе, наше кино, наш Лейпциг. Она смотрела на него. Правда? — спрашивала она, на нас произвело сильное впечатление, правда, словно она не доверяла своему впечатлению, если одновременно такое же впечатление не вынес и он. «Чистое небо». «Судьба человека». «Карусель».

— «Карусель» — венгерский фильм, — сказал Троянович резко. Она только улыбнулась и пожала плечами, ну что ж, хорошо, пусть венгерский, сказала она беспечно, из благоразумия, из уступчивости?

Если я забуду все виденные когда-либо фильмы, «Альба Регия» останется в памяти как формула заклинания в моей первой книге сказок, как первая считалочка, выученная нами на улице. Ты сидел возле меня, положив руку на спинку стула, и я видела твой профиль и светловолосую голову, которая склонялась к твоей голове (она что-то шептала — или это был лишь повод, чтобы коснуться губами твоего уха, твоей шеи?), и незнакомый горед, его переулки и подвалы, где люди торопливо шептались, и мужчины с недоверчиво замкнутыми лицами, и немецкие мундиры, и девушка... пет, Бен, с ее смертью я не могла смириться. Она была так молода, и я хотела, чтобы она спаслась, я страстно желала этого, хотя знала, что мы сидим в школьном зале перед экраном, на котором движутся изображения, и что голоса, записанные на пленку, произносят текст, предусмотренный в сценарии так же, как и смех, и всхлипывания, и крики... там отмечены ужасные крики, все это я знаю, но я должна зажать рукой рот, чтобы не закричать самой, — знаю, что демонстрируется судьба, на которую я никак не могу повлиять: то, что произошло, произошло независимо от моих желаний и надежд.

Я все время чувствовала твою близость... лишь однажды я потеряла тебя: когда она танцевала с немецким солдатом, улыбаясь, улыбаясь, танцевала, когда речь шла о ее жизни, переходя из одних рук в другие, и кружилась, и рядом кружились лица, все быстрее, она летала среди рук, выставивших из мундиров, и мне казалось, она кружится уже давно, целую вечность, и я подумала, им следовало бы положить этому конец, мне стало плохо дурно, вместе с тем я дрожала при мысли о том, что наступит мгновение, когда танец закончится... Он закончился. Что произошло потом? Забыла. Монтаж и смена кадров: катастрофа еще раз отодвинута.

Не знаю, в какой момент твоя рука легла на мое плечо, сомневаюсь, что и ты это знаешь. Я сомневаюсь, что это твоя рука... Контур твоего профиля, та же поза, что была до того, как выключили свет, человек пришел в кино и случайно оказался моим соседом: непостижимо, что он взглянул на меня, сделал какое-то движение, и вяло свисавшую со спинки стула и словно не принадлежавшую ему руку протянул или чуть-чуть поднял, всего на несколько сантиметров — преодолевать большее расстояние здесь не было нужды.

В зале можно было задохнуться от жары, и твои пальцы были горячими и чуть влажными. О нет, мне это не было неприятно... Кожа, которая дышит и становится горячей, гарантировала реальность происходящего; твоя рука, которая стремилась ко мне, сомнений в этом больше не было, держала меня, но без нажима (без претензий на обладание), и у меня на душе было так же, как потом, спустя месяц, когда ты укрыл меня под своей курткой, защищая от дождя и сверкающих голубых молний.

Освобожденный город. Радист с красной звездочкой на шапке. Знамена. Пропыленные знамена под гусеничными цепями, колесами и лошадиными копытами. Билетерша раздвинула портьеру, и свет летнего вечера, настывшее восторжествовало над поблекшими изображениями на экране, Нейштадт — над Альба Регней. Стук отодвигаемых стульев и певнистый говор — кто-то уже поднялся, а кто-то протискивался к выходу, заглушали голос девушки, бесплотный голос, который вел радиопередачу: последнее ее послание товарищам. Троянович не двигался с места; теперь он впервые посмотрел на Франциску. У нее на глазах были слезы.

— Да, — сказала она, — но я не понимаю... Где она осталась? Умерла?

— Вероятно, — отвечал Троянович.

Женщина встала и пробиралась к центральному проходу; она обернулась к ним.

— Но ведь она еще говорила, — пробормотала Франциска.

— Художественный прием, дорогая, — сказал он по-прописки, как обычно, даже не назидательно. Франциска покачала головой. Нет, сказала она: она отказывается верить, что молодая женщина, ее тело, лице, рот уже не существуют и что в день победы ее не было среди боевых товарищей, которые даже не могли установить, где имев-

но отсутствует: никто не знал ее настоящего имени, только код и голос, теперь умолкнувший навсегда.

— Была война,— сказал Троянович,— и она погибла; когда, как — этого я не знаю, и для истории причина гибели также не имеет значения; бомба, казнь или шальная пуля.

— Не имеет значения,— повторила она.

— Для истории, рассказанной в этом фильме, если быть более точным.

— И все же. Нет, я ее смерти не приемлю.

Он оставовился.

— Послушайте,— пачал он строго, внезапно выражение его лица изменилось, он запрокинул голову и расхохотался.— Вы невозможны.— Он повторил это несколько раз: невозможны. Он вынул носовой платок и слегка коснулся ее век и уголка глаза.— Но вы в самом деле плачете, дитя мое... Сколько раз вы смотрели Ромео и Джульетту? Три раза? Клянусь вам, они не поженятся. Но окажись мы в театре в четвертый раз, я бы предложил: уйдем отсюда, не будем смотреть последний акт, и я оставил бы вас во власти ваших грез, в мире без войны, без яда и кинжала, помирите семьи Капулетти и Монтекки и учредите счастливую многодетную семью.

— Еще хуже. Джульетта постоянно беременна, а Ромео с Меркуцио вечно пропадают в пивной,— певнятно пробормотала Франциска, утирая глаза платком Трояновича, пахнущим табаком, дизельным маслом и туалетной водой.

— Следующий фильм я хотел бы смотреть с вами,— сказал он.

— Когда?

— В пятницу, если вас это устроит.

Как бы по рассеянности она сузла его платок в карман юбки. Женщина через головы людей делала ему знаки, как в тот вечер в баре, и Франциска вновь подумала: они подходят друг другу. Она покраснела.

— Я не спросила, какой фильм будет в пятницу.

— «Все по домам»,— отвечал Троянович.— Грустная комедия, если верить критикам, почти Чаплин, как утверждает восхищенный рецензент, во всяком случае, фильм заслуживает внимания, и, смотря его, фрау Линкерханд вволю посмеется и поплачет.— (Ты действительно сказал: вволю.)

Он наклонился к ней: он говорил тише обычного, но

не доверительно, как если бы речь шла о какой-либо тайной договоренности. И не было нужды в том, чтобы Зигрун погрозила тебе пальцем — пардон, Зигрид (для меня она все равно остается: Зигрун, валькирия), итак, чтобы она погрозила тебе, точно мальчишке, застигнутому врасплох, с лукавой улыбкой, которая меня смутила больше, чем то, как она на меня посмотрела и тут же отвела свой взгляд, растерянно, словно я менялась у нее на глазах: например, менялся цвет моих волос и глаза из желтых становились черными.

Что бы я могла тогда сказать о ней, если бы, к примеру, меня о ней расспрашивал Язваук? Волосы светлые (но не обесцветенные), фигура баскетболистки, сильное рукопожатие; о почти мужской физической силе свидетельствуют выпуклые мускулы на руках, широкие плечи и походка, твердые и в то же время гибкие икропозные мышцы, это видно, когда она идет на высоких топких каблуках, когда лодыжки кажутся более узкими, а ноги более длинными. Язвауку я бы сказала: знаешь, такие ноги могли бы быть у балерины.

Профессия? Преподавательница физкультуры, надо думать, а второй предмет у нее — история или русский язык.

И еще, решительное рукопожатие — оно вполне соответствует грубоватому облику и манерам — производило впечатление (на меня, во всяком случае), что она быстро и с открытой душой идет навстречу людям, простодушная и предполагающая простодушие в других, ей чужды грусть и меланхолия, дурное настроение... но здесь мы вступаем в щекотливую область предположений. Что я могу предьявить Язвауку — это газетное фото, довольно удачный, хотя и не очень четкий снимок. Молодая женщина наших дней, такой могла бы быть подпись под фотографией, или: веселая, уверенная в себе, хороший специалист... Это она, сказала бы я, в первый раз ее увидев; теперь, в зале, я спрашивала себя: она ли это?

Сегодня я знаю немногим больше, чем тогда, ты не любишь говорить о других женщинах, ни о Зигрид, ни об Линемари. Твоя рыцарская, твоя невыносимая молчаливость... О Зигрид я узнала лишь следующее: преподавательница физкультуры и русского языка, хороший товарищ, с пей можно красть лошадей, ехать на мотоцикле по нелепой дороге, в дождь и снежную бурю или разбить палатку в лесу, в крайнем случае спать под открытым

небом, без тревог, нитя, страхов перед муравьями, кабанми и лесными духами. А дальше? Что еще? Ты молчишь, ты предаешь меня во власть моей фантазии, я должна предполагать, догадываться, представлять себе... А представлять себе, Бен, много больше, чем знать. Слишком большое пространство, я не могу вынести его пустоты, и оно станет невыносимым, если я попытаюсь заполнить его образами, фразами, объятиями, улицами, взглядами, кафе, постелями, травой и морем... Я умираю от ревности, а ты говоришь: забыл. Ты не притворяешься, ты не хочешь утешать и уговаривать; без улыбки и сожаления ты констатируешь: я забыл.

Один только раз ты сам заговорил о ней, с уважением, как о другом мужчине, может быть бывшем друге студенческих лет, чьи достижения достаточно высоко оценивают: когда она стала директором четвертой средней школы и поступила заочно на исторический факультет... это было спустя короткое время, всего через какой-нибудь месяц после несчастья. Ее несчастья.

Ядреная: так бы я охарактеризовала ее Язвауку. Что не вписывалось в ее образ: боязнь вынести собственное суждение, не подтвержденное прежде тобой, ее желание свое «я» заменить падежным «мы». Она была твоим эхом и стала бы, кто знает, твоей тенью. На какое время? Пока ты не обернешься и не увидишь, что это твоя тень, от которой ты требуешь: смотри, не разучись жить без меня; не будь от меня зависимой; любовь не должна быть убыточным делом, и пельзя за нее расплачиваться частью своей индивидуальности.

Возможно, ты не скажешь «убыточным делом». Употребишь другое слово, более мягкое или более жесткое, изменишь выражение, но не требование. Я слышала его, я предупреждена. Никогда не буду я твоей тенью... Но я плакала о тебе, и мое сердце изранено, и я знаю, что может наступить конец любви и что каждый день, каждый час и теперь, в это мгновение, кто-то говорит: я больше тебя не люблю, или: мы ошиблись, и что расстаются люди, которым разлука казалась невыносимой когда-то, месяцы или годы назад, когда пачилась вечность, неизменная страсть на всю жизнь. Только не разучиться жить без тебя... А если ты меня оставишь? Если придет день, неожиданный, хоть и сотни раз предвосхищенный, если, мой любимый... не знаю, буду я умолять тебя, или обвинять, или скажу «прощай, Бенджамиш» таким голосом,

словно мы расстаемся лишь до завтра, я не знаю, что будут делать мои руки, обвинят или оттолкнут тебя в этот день, когда это «могло-бы-произойти», в день, когда я, быть может, узнаю, что такое отчаяние.

Посмотри на меня, Бен, посмотри на меня теперь. Иногда мне пужно мужество, чтобы сказать: я люблю тебя. Предостережение: капля горечи, которую я чувствую на твоих губах, когда ты целуешь меня.

Но хотела ли бы я одной чистой сладости, безмятежного покоя, неизменности того, что есть? Да. Так, как желают, чтобы хлеб рос на деревьях, а в ручьях текли молоко и мед — недоверчиво и с предчувствием пресыщенности.

Книга. Вкус сока грейпфрута. Риск любить тебя... Ты молчишь. Почему со мной не может случиться то, что случается с другими?

Я вижу ее очень смутно, женщине старше меня на семь или десять лет, носящую мое имя, но я могу поместить ее в качестве немой фигуры в спектакле, где разыгрывается история любовного треугольника, начавшаяся в одном кинотеатре вечером в половине десятого... Я вижу морщинки у глаз, еще больше опустившиеся уголки рта и чувствую, как трепещет ее сердце в моей груди. Она догадывается и уже страдает?

Женщина за тридцать: мне любопытно, что пережила она в эти семь или десять лет. Конечно, работа и — я падеюсь за нее — успех, зримый, как улицы в новом городе, как светокопии чертежей с ее подписью, эскизы, планы городского квартала... Другой мужчина, ах нет, ничего серьезного, непродолжительный роман с товарищем по работе, ее муж, итак, это господин Троянович, ничего не заметил, во всяком случае ничего не сказал, впрочем, он привык, что она поздно возвращается домой, усталая, но в чудесном настроении или измученная, и при этом свирепая: проклятая лавочка, кричит она, брошу все к чертям, боже мой, почему ты везде раскидываешь свои окурки? Слушай, если я с тобой, замечательная идея, ты... Ребенок? Возможно. Дочь (пока что мы хотим назвать ее Рут или Марией), маленькая сестра, наконец-то, ее так хотели иметь одиннадцать братьев Трояновичей... Что еще? Мне приходит в голову одна деталь, имеющая значение только для нее: она вновь отпустила волосы почти до плеч, небрежно причесанные на пробор; она наматывает пряди на палец, если задумывается или ждет, как

теперь, стоя между рядами стульев (у меня раньше была привычка, обдумывая в школе задачу, накручивать волосы на палец), она ждет тебя и незнакомку, сегодня еще одну, в будущем уже другую в Пьесе-Трех-Персонажей, она мне не улыбается, прошло десять лет, она не отдает себе отчета в том, что это повторение, кроме того, Бен, мы поменялись ролями, и мы жили в других городах... забыт зал в Нейштадте, забыта некая Зигрид.

Нет, сцена в кино не заслуживает улыбки... или у озера на черном от сажи песке... Зигрун, грозящая тебе пальцем, как невоспитанному мальчишке, ах нет, это вовсе не было смешно, и еще сегодня я чувствую стыд (за нее, за себя?), и, когда я допускаю повторение странной игры у озера, меня охватывает нечто вроде ужаса, как тогда, когда танцевал Шафхойтлин, этот маскарад в бараке, Шафхойтлин топал ногами и потел под маской черта, страшной безглазой маской, с пастью и длинными клыками, а она смеялась, смеялась беззвучно.

Она взяла твою руку, она взяла тебя, пойдём, сказала она, пойдём, волчонок. Она слилась с тобой в одно целое от плеч до бедер. Вас называют волчонком, господин Троянович, а как, когда вы остаетесь наедине, я имею в виду вдвоем... Я шла сзади вас и пристально смотрела на ее спину... на эту гору мускулов, костей и мяса, спину великанши, которая расширяется и растет, зал уже слишком узок, я задохнусь, буду сплющена о стены, я уже чувствую, как мне сдавливают ребра, жадно ловлю воздух, и тогда она поворачивает голову, уголком рта торжествует победу, мы-мы-мы... ах, она милая, она может себе позволить пожертвовать толику нежности, окутывающую вас как плащ, оторвать клочок от его полы и небрежно швырнуть мне, малышке, неуклюже шагающей за вами... И тогда я ее застрелила.

Почему же ты не смеешься, Бен? Я говорю слишком быстро, да, я слышу это. Я заикаюсь? Это не имеет значения... сейчас... сейчас... Отведи руку от глаз, Бен; не тебя — меня ослепило белое пламя. Я была вне себя... это ложь или полуправда, я не могу говорить вразумительно, если ты прятешь свое лицо, как будто я на самом деле... Воображаемое убийство, ничего более, на глазах у сотен людей, которые его не видели, и я была около себя, преступник и иронический свидетель, говорящий: кино в кино. Я ненавидела ее, я сходилась с ума от ревности... И все-таки я ясно помню, в это мгновение мне приходит

на ум слова и обрывки фраз, которые... нет, я их не повторю: жаргон Джерри Коттона или комиссара Икс просто смешон, я прошу тебя, отведи руку от глаз, это кошмарный жаргон, видишь, я должна теперь еще и смеяться, это было забавно, и, возможно, я бы действительно ее застрелила, если бы у меня был револьвер, если бы мы жили в другой стране, в другое время... Если бы.

На улице я вежливо пожелала доброй ночи, какие-то подростки задирали нас, мне пришлось посторониться — удобный повод, чтобы не заметить протянутой руки, твоей или ее.

По пути домой я вспомнила, что мы говорили очень тихо. В пятницу. «Все по домам». Мы уже обманываем ее, этим шепотом, посещением кино, которое от нее скроем... надеждой, что скроем. Твой носовой платок я засунула под подушку, пет, подумала я, жалкий, мелкий обман, на это я не пойду.

Утром скомканная простыня лежала на полу, меня прикрыло небо, оно было голубое, как стеганое одеяло на моей детской кровати, я подтянула колени и улыбалась, сама не зная чему. Я была счастлива, как будто проснулась после того, как видела мой самый любимый сон... белая лестница, мы взбегаем наверх, легко, как на крыльях. Лестница, которая называется ожиданием... Теперь я окончательно проснулась, но душа все еще была полна этой радостью. Солнечные лучи скользили по моим коленям, и я рассматривала свои колени и ляжки, погу, которую ты держал в своих руках... В этом году мне исполняется двадцать семь. Гладкая кожа, твердые, как прежде, мускулы, но пониже левого бедра метина, как уже побледневший шрам.

Летнее утро вечно молодо. Что такое десять лет для солнца, для деревьев, лишенных памяти? Голубые ели в нашем саду, яблони, отбрасывающие короткие фиолетовые тени... Я угасла, я трава и земля, мое тело ничего не ощущает, как мякоть зеленого яблока в листве. Я не должна думать о сочинении на третьем уроке. Я не должна слышать голос Вильгельма. Четыре, пять, шесть. Навязчивый голос. Вставай, можно упасть, но нельзя дать судьбе досчитать до девяти. Семь. Восемь. Закачались стебли, на траве серовато-серебристое мерцание росы. Вильгельм протягивает мне руку. Восемь с половиной, говорит он. Я должна некоторое время держаться за яблоню, но покаут мне не засчитали.

Вильгельм опрокинулся павзничь, прижав руки к телу. Он лежит в траве и смеется: падать тоже надо уметь. На террасе ветер перелистывает страницы растрепанной тетради; на серой бумаге занимаются физкультурой манекены, демонстрирующие поколениям школьников самозащиту без оружия. Помогли себе сам, тогда тебе поможет бог, говорит Вильгельм. Этим летом мне семнадцать... О Бен, если бы еще раз вернуться к той поре, пробежаться босиком по нашему саду, по росе, к экстатической алоэ клумбе мака...

На капикулах Цыган был у нас, мы упражнялись на перекладине, на которой обычно выбивали ковры, у Джанго, когда он подтягивался, дрожали руки. Он был дерзок, но нежен и закрывал глаза, когда Вильгельм в парке изображал злого духа или агента в черных очках, который хочет тебя «убрать». Он думал, я для Вильгельма всего лишь боксерская груша, они обращаются к ней с назидательной речью, нанося одновременно жестокие удары. У Джанго сестры не было, и он не слышал подлинного текста, скрытого за боксерским жаргоном. Может быть, сейчас он его услышал бы, с тех пор как ходит по городу со своим сыном, крепко держа его за руку. Тогда он закрывал глаза и кричал, этот рыжий варвар ее убьет.

Она учится не дать себя убить, говорил Вильгельм, но Джанго не мог расшифровать текст и утверждал, Вильгельм — клоун, с его проклятой рыжей головой, полной чертей и агентов, а девушке никогда не придется парировать удар в область печени.

Мы посмотрели друг на друга, Вильгельм и я, он положил мне руку на голову, и на мгновение лицо его стало мрачным и печальным, как в тот день, когда он швырял стаканы об стену.

Назад. Куда? В мир детства, который никогда не существовал... не в эту павзию ярко раскрашенную картинку, под никогда не остывающим солнцем с желтыми языками пламени. Эдем, которым мы никогда не владели... Но яблоки были, это точно, и брат у меня был... Теперь я часто вижу его во сне. Аэродром, реактивный самолет, Вильгельм на трапе, в меховом пальто, как тогда, перед поездкой в Дубну, он кивает или это ты поднимаешься теперь по скрипящим ступенькам? Мы идем друг другу навстречу, лицо, лицо, которое я в тот вечер видела в пивной, однако теперь, несомненно, лицо Вильгельма, он бле-

ден, а на его пальто, на груди я вижу прожженные дыры. Потом все расплывается и исчезает, как обычно во сне, идем, идем и не доходим, и на площади бушует горячий ветер, и мне страшно, мы опаздываем, машина трогается, мы должны лететь, если мы сегодня не улетим, мы упустим что-то страшно важное. Мы: мой брат и я.

Где ты, Бен?

...В это июньское утро в Нейштадте я впервые за долгое время снова с удовольствием смотрелась в зеркало, мне хотелось работать, немедленно, своими руками немедленно создать нечто зримое и доступное испытанию... Дома надо бы строить так, чтобы от одной только мысли проектировщика воздвигались стены... или по меньшей мере чтобы по приказу, по желанию, переданному по радио, блоки и лестницы связывались, прилаживались, как будто они такие же легкие, как мячики на водяной струе... и я, homo ludens<sup>1</sup>, заставляю их плясать... послезавтра или в следующем столетии, на стройплощадках с фантастической техникой, по сравнению с которой монтаж с помощью кранов и вертолетов будет представляться непосильным трудом, применявшимся в каменном веке.

Было еще очень рано, и я села у окна и набросала эскиз моего молодежного клуба, пятый или десятый, по считая каракулей на салфетках, на газетных полях, подставках для пива, но первый, который показался убедительным мне и должен был убедить Шафхойтлина. В доме был слышен плеск воды в раковинах. Один приемник кричал громче другого, Фредди Квинн, над Филиппинами разбился самолет, волнения в Конго, Браззавиль, инцидент на Геллисаретском озере, повышенная опасность лесных пожаров. Кока-кола. Напалм. Фредди Квинн. Напалм. На мостовой разбилась бутылка с молоком. Время уехать отсюда, думала я, слушая Восток и Запад, лозунги и шаги, хлопанье дверей и музыку, которая мне не мешала. Резня в африканских джунглях, а также война в Азии мне тоже не мешали. В другой стране падали бомбы. Человек навистывал в ванной. Маленькая Аннетта собирала клубнику в уленхорстском саду. Я натянула тент над внутренним двориком, где танцевали и играли на гитаре.

Порой я пыталась представить себе обугленные руки, но это никогда не были мои руки, черные, лишенные пальцев обрубки.

<sup>1</sup> Человек забавляющийся (лат.).

За ночь в комнате не стало прохладнее, а солнце вновь припекало. Мне очень нравилось чертить у раскрытого окна. Нравилось до того момента, как я почувствовала, что мне трудно в этом доме жить. Сумасшедший дом, и люди здесь сплошь сумасшедшие: или одинокие, или бродяги, или застенчивые и высокомерные индивидуалисты, или просто люди, которые ждут. Я пресытилась жизнью в зале ожидания. Я подумала: я сыта временной жизнью, продолжением всех этих лет временной жизни в родном городе (заявление об уходе, а затем прощание ничего не изменили). Я подумала: мне следовало бы жить так, как живут другие, — в нормальном доме, среди нормальных людей, у которых есть дети, нормальный рабочий день, и время после работы, и друзья, соседи, кухня, телевизор, альпийские фиалки, отпуск, проводимый на Балтийском море, яблочный пирог, школьные тетради, выполнимые желания и планы на сентябрь и на следующий год. Если это то, что ты называешь нормальным, сказала я себе.

Несколько пареньков из блока шли по газону, держа под мышками палки, словно связки шкур, сорочки они стянули на груди узлом, а один, несмотря на жару, был в черном бархатном жилете. Он оглянулся, посмотрел вверх на окна и приложил два пальца к полям шляпы, и юнопа подле него также оглянулся; у него были поразительно белые зубы и изогнутый не слишком большой нос. Я с удовольствием смотрела на его профиль, если он не поворачивался ко мне правой стороной с застывшим, белою-мутным глазом. Его звали Мальте. Он отправился к морю, потом случилась история с глазом, и он начал работать на стройках, ездил по стране, от Рюгена до Лаузитца и затем опять на побережье. Он был искусен в любой работе и очень уверен в себе, что вкупе с его манерой говорить, растягивая слова, как говорят на побережье, и выслезшим округлым лбом придавало ему достоинство старого работника, хотя ему еще не было и двадцати пяти.

Я знала и других ребят, вечерами мы стояли на улице перед домом, образуя полукруг возле коменданта, прислонившись к дверям со скрепящими на груди руками, и кто-нибудь один бросал из окна ножки в открытым лезвием: лезвие с широкой тушой стороной поворачивалось в воздухе над шеей или рукой коменданта и отскакивало как от камня, но лезвие с тяжелым лезвием падало острием вверх, и двое мальчишек или стояли вертикально, дрожали

и опрокидывались, не поцарапав кожу. От ребят пахло пивом. Они были немногословны. Никогда не было известно, будут ли они здесь на следующий день, они называли другие города и другие стройки, словно имели отношение ко всем стройкам, а не только к той, где работали в данный момент. Они именовали себя «Горох», «Большой» и «Мистер», и, кроме Мальте, я не знала настоящего имени ни одного из них: знакомиться, называть себя — это уже означало сближение, попытку завязать добрососедские отношения, задержаться здесь надолго.

Я смотрела им вслед, видела их тени на горелой траве, и я чувствовала себя как иной раз у насыпи, ночью, когда гудящие рельсы и дрожащая земля предвещали приближение скорого поезда... Сноп искр, пролетающие мимо окна, колеблющиеся силуэты людей, сетка с апельсинами, синий свет в купе, где спят, путешествуя во сне, незнакомые люди, которых поезд везет к неведомой мне цели, и потому я могу дать ей любое название, например пункт Ипсилон, и могу перенести ее в любое другое место, все вперед, вдаль... а когда красные фонари исчезали в темноте, я думала, что этот поезд и не должен вовсе куда-то прибывать; казалось, он находится в непрерывном движении: чтобы быть все время в пути... и приблизительно это же я чувствовала, видя, как Мальте и плотник пересекают площадь, и на какой-то миг я поняла, что со мной происходит; потом я это забыла.

Среди измятых простынь я нашла твой носовой платок и взяла его с собой на работу, а когда Язваук вышел, я развернула его как письмо, которое без конца перечитывают, хотя уже знают его наизусть... Позднее я всегда хранила у себя под подушкой твой носовой платок, больше всех мне нравился один, большой, в желтую и голубую клетку, и это ты, кажется, назвал его платком грез, защищающим от призраков и дурных снов. Но со времени нашего отъезда, с тех пор как я сижу на этой походной кровати... (почему чужая комната, кровать, на которые укоризненно поглядывают сосны за окном?)... Ах нет, это ничего не значит, платок грез предаю забвению, как и слова тайного языка, понятного только нам обоим. Как проявления нежности, например поцелуй у сгиба локтя. Как талисман прошедших лет, франк с просверленной дырочкой, динар или шестипенсовик на ремешке от часов...

Написанный от руки кипоплакат в окне школьного зала что-то лепетал по-итальянски, а под местом, которое

занимал немецкий подзаголовок, между скобками справа и слева, прописными буквами и конечным слогом, прислонившись к стене, скрестив ноги и меняя их время от времени местами, стоял Троянович, засунув руки в карманы, и курил: таким увидела его Франциска, в позе ленивой, почти провокационной, таким хотела она его увидеть, неприятным, уверенным, что она придет, и неуязвимым ее отсутствием, — человеком, который не ждет, а просто проводит время в позе преувеличенно невозмутимого и насмешливого ожидания.

Она пришла с опозданием, ее сердце учащенно билось, в голове вертелась заранее приготовленная первая фраза, приветствие, которое она произнесет после спокойного рукопожатия, высматривает ли он ее, один ли он, а что, если он не один? Он курил: по крайней мере вынул из кармана руки.

— Хелло, леди, — сказал он.

Она видела красные пятна у него на скулах.

— Хелло, — сказала она, — я очень рада.

Он отодвинул портьеру, и она прошла под его высоко поднятой рукой. «В золотые ворота проходите, господа», — пели маленькие девочки на школьном дворе. Первый пройдет, второй пройдет, третий в плен попадет. На пороге она оглянулась. Вечернее солнце было ослепительно густого красного цвета, она почувствовала, что наблюдает сейчас особую, может быть, совершенную и законченную картину, которой в будущем дополнит свои слова. Вечернее солнце в расплавленной раме школьного окна. На площади саженец липы шелестел одиннадцатую листиками из пламени позолоченной бронзы.

Мы вместе идем в кино, изумленно думала Франциска. Зал, полный нетерпеливых теней. Морковно-красные волосы. Порог, фрау Линкерханд. Запавес зашуршал и раздвинулся. Что вы сказали? Большой приз. Вот как, Канны или Венеция? Это она не расслышала. Он пришел, он сидит возле меня. Но чудо его присутствия померкло, он сидел молчаливый и мрачный, вселяя робость в Франциску, которая любила, сидя в кино, сосать карамельки, шептаться с соседом, толкнуть его локтем, ей доставляло удовольствие растворяться в этой темной, теплой толне, в ее смехе, ее дыхании. Его волосы поседел. Старый, шатающийся на свету человек, ему минимум столько же лет, сколько Вильгельму. В его голове бродят мысли, мне неизвестные: мы не можем их разделить.

Они встретились вновь в стенах одной итальянской казармы. Свистели пули, пулеметная очередь взметнула вверх брызги песка, солдаты побежали, а подростки в последнем ряду разразились громким смехом. Франциска и Троянович переглянулись. Им это смешно, сказала Франциска. (Прогулка, как зайцы, разбегающиеся девочки.) Действительно странно, пробормотал Троянович. (Раскалывающийся лед в заливе.) На этом все было кончено. Ей не хватало его руки, но она уже училась у него, она думала, это не повторится.

Троянович искоса наблюдал за ней. Она не разочаровала его. Широко открытые глаза. Чужая жизнь полностью ее захватила. Солдат возвращается домой. Она идет с ним через туннель, и снаружи, уже на свету, она оглядывается, чтобы посмотреть, где другой, и Троянович, еще не увидев дальнейших событий, уже знал, что произошло с маленьким лейтенантом: они бросили нас на произвол судьбы. Он улыбался: это было то, чего он ожидал и ради чего ее пригласил или пригласил себя в качестве свидетеля — его забавляло, говорил он себе, что она не может сопротивляться миру движущихся картин, он мог наблюдать ее на расстоянии, отделявшем ее от экрана и маленького лейтенанта, и внезапно его коснулась, как в тот вечер в баре, тень сожаления, как легко удавалось ему сохранять нейтралитет в этой и всякой другой истории.

Едва кончился сеанс, взвыл чей-то транзистор. У двери столпилось много людей. Троянович положил руку ей на шею, и они не двигались с места, пока бурлила и постепенно таяла окружающая их толпа, из зала они вышли последними. Небо было бледное, как в час предрассветных сумерек, и воздух казался наполненным многоголосым рокотом, хотя на улице не было ни души. Окна стояли настежь, к одному из них прислонилась женщина, возле ее плеча мерцал огонек сигареты, но державшей ее руки не было видно.

— Это туннель, — сказала Франциска, — оглянешься вокруг, и ничего.

— Надеюсь, вы не в таком положении.

— Я вне коллектива.

— Вы принадлежите к коллективу. И могли бы иметь союзников.

Она пожала плечами.

— Например, Шафхойтлина, — сказал он.

— Которого вы называли консерватором.

— Извините: законсервированным новатором.

Они подошли к дому и стояли у двери, Франциска, не желавшая говорить о Шафхойтлине, сказала вскользь: «А в чем разница?» — а Троянович ответил: «Не притворяйтесь, будто вы не видите разницы». Они пошли дальше вокруг дома, опять вернулись к двери, и Троянович говорил, обращаясь к вечеру и Франциске, поучительно и иронически, о типе законсервированного новатора, он провоцировал протест, чтобы возражать ей, обвивал ее фразами, потоком фраз, опутывал сетью утверждений и доказательств, которые тут же, на ее глазах, выворачивал назизнанку, подвергал сомнению, теперь уже не назидательно, но испытующе, с желанием ее запутать, сбить с толку, коснуться той стороны ее существа, которая его беспокоила и трогала, которую он про себя называл смирением, не смотря на то что она казалась ему твердой как камень.

Франциска больше ничего не сказала. У нее пропала охота идти рядом с ним, она замкнулась в себе, огорчилась, рассердилась, потом опять огорчилась, вдыхая запах хризантем и тиса. За кухонным окном караулила толстуха в розовой пижаме. Ну и пусть. Она пошла вверх по лестнице. Троянович за ней. От смущения он зевал, прикрывая рот рукой. Франциска принесла бутылку водки и две рюмки. Себе она налила до краев и выпила, затем подвинула бутылку к нему. Она была умышленно невежлива и наслаждалась своей невежливостью, приводившей Трояновича в смущение, и после второй рюмки сказала:

— Отвратительная манера анализировать людей. Если мне иногда хочется выпить рюмку водки... Мне это представляется вивисекцией.

Троянович вертел в руках свою рюмку.

— А между тем на Шафхойтлина вам наплевать.

— Да,— сказал он.

— Вероятно, вам на всех наплевать.

— Да.— Лицо его было лишено всякого выражения.

— Ну что ж, если вы можете так жить... Да и не мое это дело. Ну что ж. Выьем еще по одной? — Ее печаль улетучилась. Она смотрела на него с любопытством.— Вы что, волк-одиночка? Я таких еще не встречала. Салют.

— Салют,— сказал он. Остальное он прослушал. Он расхаживал по комнате, интересуясь висящими на стенах картинами и фотографиями. Высотные дома. Здания, напоминающие птиц плейстоценового века. Криполипы на гравюре из Гезандхауза. Подсолнухи цвета бронзы. Арль.

Улица, как ручеек, на самом дне железобетонного ущелья. Манхэттен? Нет, Москва, сказала Франциска. Вы знаете Москву? Не очень хорошо, отвечал Троянович, и Франциска опять подумала: бывший. Цветного наброска Якоба он не заметил, даже не пожал плечами, обошел молчанием, и Франциска из-за его спины взглянула на набросок робко и уныло, впервые усомнившись в этих зеленых и коричневых тонах, теперь вдруг поблекших, в этой некогда звонкой гиперболе.

— По Бартоку, — пробормотала она. — Может, для вас Барток мало что значит? — Он портит мне удовольствие от моих картин. Нет, ничего объяснять не буду, чтобы не оправдывать Якоба...

Он долго стоял перед одной польской литографией. Руины в гетто. Он был поражен. Почему? Он больше не садился; у стола выпил свою рюмку, как случайный гость в ресторане, последний и уже нежелательный гость незадолго до полудня.

Вечер окончен, думала Франциска: чудо он ей задолжал. И сразу ей стало страшно остаться одной. Зов, будто звучат сирены заблудившихся кораблей. Молнии на краю белой, наполненной голосами ночи.

Ему бы теперь проститься; он ушел бы домой без ощущения того, что им что-то упущено. Он остался, ибо она этого хотела, она дала ему предлог: Польша, польские книги, страстная педеля. Евреи в Польше. Я совсем потеряла голову, сказала она. Он по-прежнему стоял у стола, руки в карманах, курил и беспокойно щурил глаза, заинтересованный ее дурной привычкой пристально смотреть в рот говорящему.

В доме наступила тишина. Может быть, они вспомнили о правилах внутреннего распорядка и всякого рода запретах? Так или иначе, Троянович говорил тише, Франциска прислушивалась к звукам, доносившимся из-за стен и снизу, пыталась принять непринужденную позу, несмотря на прямую спинку казенного стула, смущалась оттого, что Троянович стоял, в то время как она сидела, ученица перед учителем, забыла под столом свои туфли и переходила с места на место, но неуверенно, как когда-то в ателье Якоба, этого волшебника. Она стала у окна, засунув большие пальцы за кушак, варварская упряжь, считал Троянович, он вдруг запутался в чаще придаточных предложений: он увидел хрупкую талию, опасную линию, сбегаящую к твоим манящим бедрам... писал он ей в кафе

в одной из своих записочек, позднее, когда пальцами и губами уже разведаль эту страну бурой листвы и легкими прикосновениями рисовал на бедрах возлюбленной месяц, смеющихся лисиц, облака над полями, причудливые арабески — невысказанные имена.

Он был потрясен, как будто впервые заметил, что она не принадлежит к неопределенному третьему полу. Он повторил свою фразу, упрямо повторил высказывание против тишины, против представившейся возможности, против приключения, которого не искал. Вне себя Франциска высунулась из окна. Жара может свести с ума, сказала она. Ее голос звучал необычно. Голос, услышать который он ожидал, другой, но знакомый: знакомый, как эта ситуация, думал он. Это было так обыкновенно, что он разочаровался, ибо уже то, что они ночью оказались вдвоем в комнате, казалось, что-то изменило в их отношениях.

Он наполнил обе рюмки и тоже подошел к окну. Он вновь почувствовал себя в безопасности. Милая маленькая девушка с милой фигурой и милой манерой пить водку в изрядных количествах. Он поднял рюмку.

— За будущий год в Варшаве! — сказал он.

— Было бы хорошо, если бы мы встретились, пан Троянович, — сказала Франциска. Они чокнулись. — В воскресенье, в десять, в кабачке у Вауды. — Оба рассмеялись.

— Хорошо, в воскресенье в десять.

Они прислопились к окну, шили и говорили о Вауде Варской и Курилевиче, польских плакатах, фильме «Пепел и алмаз», о Цыбульском, человеке в черных очках, «Письмах к папи Z», о запутавшемся в своих мечтаниях Полянском, о будущем кинематографа, пока еще находящемся в кокоше.

После полуночи они проголодались и отправились на кухню. В буфете они обнаружили яйца, помидоры и черствый хлеб. Троянович настаивал на том, чтобы приготовить омлет: он действовал энергично и двигался важно, как человек, понимающий, что выпил слишком много, а Франциска наблюдала за ним как сквозь витрину, за милым молодым человеком в кухонной декорации, который вел себя, как подобает милым молодым людям, священнодействующим у плиты; ей не было до него дела, и она весело смеялась над песенками прелестной жепы садовника, над тем, как сердито выговаривал он ей за то, что банки от приправ оказались пустыми, за погнутую сковородку и за весь ужасный беспорядок на кухне.

— Не имеет значения. Кухни будут ликвидированы, — заявила она. — Дома будущего. Кухни-гиганты. Ресторан на двадцатом этаже.

— Жилая машина для интеллектуальных холостяков, — изрек Троянович. — Вы игнорируете семью.

— Семьи также будут ликвидированы, — сказала Франциска.

— Мелкобуржуазный радикализм!

Она вспомнила о тревожном одиночестве ее воскресных вечеров и о зимнем вечере, когда на кухне сидел Шафхойтлиц, об исписанном столе, о лампе под абажуром с бахромой из черного бисера, о букете пионов, и вдруг ей стало необыкновенно хорошо; она почувствовала себя в безопасности, как тогда у выхода из кино, когда Троянович положил ей руку на шею.

Он закрыл газ и снял с плиты сковородку, а Франциска пошла в комнату закрыть стол. Рядом с тарелками она положила накрахмаленные салфетки с монограммой Важной Старой Дамы и в довершение воткнула в пустую бутылку розу. Возвращаясь после работы домой, она обычно ела свой ужин второпях и рассеянно, читая газету или книгу; случалось, на нее находили приступы волчьего аппетита, и тогда она ложкой ела ананас из консервной банки, заглатывала полфунта колбасы, вытирала пальцы о дышсы, а жирную бумагу бросала в корзину с чувством удовлетворения, словно этими ярко выраженными дурными манерами мстила за муштру, которой подвергалась в детстве: пустая консервная банка дребезжа, с грохотом вкатывалась в сверкающий хрусталем мавзолей.

Троянович внес сковороду и несколько ломтей хлеба. Увидев накрытый стол, вздернул брови.

— Обычно я всегда ем одна, — защищалась Франциска; она покраснела и выглядела несчастной.

— Poor child<sup>1</sup>, — пробормотал он, провел рукой по ее волосам, как бы утешая, гладил волосы, этот липкий мех, кожу, шею, послушную его руке, посмотрел ей в лицо, увидел вблизи ее рот и ее губы, потом он уже ничего не видел, он думал: апельсин? — и вдыхал аромат апельсинов, табака, острый, сладкий, влажный, чувствовал ее дыхание на своих губах, «да» и «иди, иди ко мне», в то время как она ладонями отталкивала его. Он отпустил ее. Что-то в выражении ее глаз его насторожило. С кем она меня путает?

<sup>1</sup> Бедное дитя (англ.).

— Дайте сигарету, — сказала Франциска, однако держала руки за спиной, он зажег сигарету и сунул ей в рот. Это все, что я могу для тебя сделать. Он почувствовал себя лишним. Вспомнил, какое выражение глаз было у нее тогда, у цепи ограждения. Не я имелся в виду, подумал он.

Через некоторое время она выбросила сигарету в окно. За столом она была вежлива и любезна и поддерживала разговор, а Троянович говорил: да, леди, и: нет, леди, и в какой-то момент, когда это ему надоело, а с уходом он опоздал, она спросила:

— Почему вы меня поцеловали?

— Потому что вы этого хотели, — ответил Троянович.

Она посмотрела на него задумчиво.

— Вы уверены, что я этого хотела?

— Только что я был уверен.

— Да? Вы очень вежливы с женщинами, не правда ли?

Он положил сигареты в карман и встал.

— Недоразумение, — сказал он холодно. — Извините.

Она проводила его до двери, и он один спускался по лестнице в надежде, что ему не надо будет возвращаться за ключом от входной двери. Франциска стояла некоторое время в коридоре и прислушивалась к шагам на лестнице. Он должен вернуться. Когда наружная дверь захлопнулась, она заплакала от ярости. Потому что я этого хотела... Наглый пес. Он мог бы из вежливости со мной переспать... со мной или с любой другой...

Она отнесла посуду на кухню. На столе между яичной скорлупой и просыпанной солью лежал серый столбик пепла, прожегший дерево, я подумала, он просто все разрушает, и снова заплакала... ибо чувствовала себя околдованной... и потому, что ты повсюду разбрасываешь окурки, не прилагаешь никаких усилий, чтобы поправиться, и никого к себе не подпускаешь... и потому, что на все, что составляет мой мир, ты смотришь так, будто это тебя не касается, и потому, что говоришь с этим безличным, в известной мере абстрактным удовольствием... и потому, что меня отталкивало и в то же время привлекало это проявление независимости, которой я никогда не добьюсь (так я называла это тогда: пезависимость).

Я пустила на тарелки горячую воду (на тарелку, из которой он никогда больше не будет есть), потом я навела в кухне порядок и нашла записки, помнишь, серебряные,

с овалом из перламутра. Ты отложил их в сторону, когда закатывал рукава, и забыл. Женщина, которую я на один вечер вычеркнула из памяти, напомнила о своем существовании, оно было бесспорно, как и вещи, его утверждающие. Я не могла уснуть, воробьи шумели на крыше, я очень устала, меня мучила жажда, я вышла на кухню выпить стакан воды. И выбросить в мусорное ведро эти проклятые запонки.

В субботу у нее состоялась беседа с секретарем организации Союза свободной немецкой молодежи; он доводился бургомистру племянником и так же, как его дядя, недоверчиво, почти растерянно смотрел на новый город, это стремительно растущее богатырское дитя. Утопия, сказал он о проекте товарища Линкерханд, дом, который мы никогда не сумеем полностью использовать. Его бюро находилось на первом этаже виллы из клинкерного кирпича; Франциска видела сад с посыпанными гравием дорожками и розовые кусты, привязанные к зеленым планкам. В углу комнаты стояли знамена. Восемьсот выпускников школ в этом году, более тысячи в следующем, сказала она, в течение десяти лет клуб расползется по швам. Она убеждала его: здесь строится большой город, крупный центр!

Он начал медленно кивать головой. В перспективе, сказал он, видимо, с облегчением, ибо употребил слово, название хитроумной игры рельсов с их далекой, всегда далекой точкой пересечения. Большой город, да — но это он еще не может (или не хочет) себе представить. Длительное сопротивление ее озлобило. Вы все еще мыслите категориями лужицкого торгового села! Молодого человека звали Юрием, происходил он из семьи Кубитцев и в том, что касалось лужицких сорбов, занимал твердую позицию. Франциска с треском захлопнула за собой дверь.

— Я опять все сделала неправильно, — признавалась она Язвауку.

— Но вы уж чересчур чувствительны.

Принц тихо дышал на свои ногги. Ах вы, пруссаки, сказал он со вздохом.

После обеда дом впал в дремоту, как больной с высокой температурой. Франциска письменным излагала идею молодежного клуба, о чем ее никто не просил, старалась обеспечить себе приоритет: в бюро цепляли соревнованию идей. Информация из столовой.

Она слушала пластинки. Шопен, вальс в воображаемом концертном зале. Волосы пятнадцатилетних дам па-

дают на лоб. На белые сорочки и загорелые шею юношей опустились черные бабочки. Входную дверь она заперла, на звонки не реагировала. Бедная Гертруда. Застывшие кукольные ресницы у дверного глазка. Звонок прозвенел еще дважды. Ступай в монастырь, кукла. Франциска зажимала пальцами уши, ей казалось, она слышит дыхание спаружи, перестукивание через стены камер.

Пластинка еще кружилась, но безмолвно; концертный зал, пары, внутренний дворик под летним звездным небом, библиотека и кафе сбросили свои краски, огни, размеры; Франциска видела лишь имена предметов, слова, написанные ее почерком, почерком архитектора с отработанными круглыми литерами, который легко подделать. Я должна была отпереть дверь.

Она прижалась лбом к оконному стеклу, пыль, часовые стрелки расплавились, ни один листик, ни одна прядь волос не напоминали о ветре, открывался ли когда-либо небесный кран? За домами и соснами, за скелетом крестьянского дома громоздились черные, как асфальт, тучи, похожие на громады гор, словно застывшие навека. Двери на балконе были закрыты, желтые шторы вызвали представление о кубиках льда в бокалах с лимонадом, солнечных полосах на стене и простынях и влажном сне влюбленных. Три часа пополудни. Она слышала нежный шорох песка.

Когда в пять снова позвонили, она перечла заключительные фразы и направилась к двери, покачиваясь, будто со сна, босиком, в закатанных ботинках.

— Извините, — сказал Троишвили глухо, — я вам помешал...

Еще держась за дверную ручку, она смотрела на него через полуоткрытую дверь, словно искала в памяти имя знакомого когда-то человека.

Она не ждала. Он знал об этом уже два часа, она не ждала, но поразило его это только сейчас, как будто сейчас это случилось с ним, именно с ним, а не с кем-то другим, кого он заставлял путешествовать по узким строкам своей записной книжки, по вспоминавшейся улице, по точно описанной лестнице — с нашим человеком... Готовый ее увидеть вопреки самым разумным намерениям, наш человек придумал повод, чтобы обмануть не ее, а самого себя... Его сердце билось глухо, неравномерно, и одной рукой он должен был опереться о притолоку.

Он пришел сюда уже во второй раз; два раза — это,

слишком часто, подумал он. Кто сидел в последние часы рядом с ним за столиком в «Голубе»?.. когда она на тебя смотрит, думал *наш человек*, не своими обычными глазами, а скорее глазами той египетской дамы, взглядом, который обострен опытом тысячелетий... Он сравнил фрау Липкерханд со своей воображаемой соседкой по столу, дополнив образ крупными мальчишескими руками, каплями пота в ямочке у шеи, собранными на макушке волосами. Взъерошенные перья бойцового петуха, подумал он.

— Почему вы смеетесь? — спросила Франциска.

Он перестал доверять своему лицу, своему голосу. Он смеялся? Потому что вы такая, какая вы есть (по этим слов он не произнес). Потому что воображаемая спутница из «Голубя» вовсе не соперница подлинной фрау Липкерханд: у него не сложился ее образ, поэтому он не дождал ни приукрашивать, ни приуменьшать.

Франциска собирала разбросанные на столе листы бумаги. Она выглядела усталой и счастливой. В нем заговорила ревность. Стопка исписанных листов, плахи — чего? — панорама ее надежд, на которую она не даст ему взглянуть. По собственному побуждению, не спрашивая, она еще раз завела пластинку, которую он уже слышал, стоя за дверью. Шопен, ну да, романтический пафос, светские салоны, другой мир. В кармане куртки он нащупал свою записную книжку... и под бледным небом, когда наступает новый день — или новое столетие? — *наш человек* удивленно разглядывает свою руку, зажигающую спичку тем же движением, что вчера, как будто в этой руке с ее узловатыми и обезображенными пальцами (обезображенными — это прискорбно, подумал Троянович), как будто в этой руке с ее неловкими копчиками пальцев не заключалось теперь познание ранее неизвестной части вселенной... Сегодня на рассвете. Видел ли я в действительности на площади жеребенок, его развевающуюся на ветру гриву? Дугу красной гривы... Дугу, рискованный прыжок в доселе ему неизвестное совершили пальцы *нашего человека*, когда нащупали ребра под девичьим пуловером... Он пытался вспомнить, была ли вчера в пуловере фрау Липкерханд. Какого цвета? Забыл.

— О боже, — сказала Франциска, изменившись в лице; он отвел глаза. Он слышал фортепианную музыку, прелюд, несомненно блестяще исполненный. Она сияла иглой с пластинки. — Довольно, — сказала она хриплым голосом. — Я безумно устала... Это чудесно, но меня это уни-

вает. Я чувствую себя виноватой и ничтожной. Ничтожество. Уйти, не оплатив долг,— эта мысль отравляет душу.

— Да, конечно,— пробормотал Троянович, на которого самобичевание наводило скуку. Он думал о записной книжке в кармане и удобной минуте, чтобы прочесть ей о *нашем человеке*, который стоит в мертвой тишине на лестнице в течение нескольких минут с надуманным предложением и своей решимостью, которая просто смешна — ибо стоит он перед запертой дверью,— положить конец этим двусмысленным отношениям; еще раз ее увидеть, но в последний раз, поговорить с ней, упомянуть о предполагаемом отпуске в Несебыре, с тем чтобы произнести наконец имя: Зигрид, она не просто другая... женщина, которую он любит, убеждает себя *наш человек*, любовью, выдержавшей испытание в течение пяти лет и, может быть, именно потому верной и надежной... Да, он прочтет ей и это, две странички, где он объясняет свою (уже сомнительную) любовь и защищает Зигрид, которую он тем не менее в последнем абзаце называет прекрасным товарищем... Он утаит похвалу... она не без его помощи получила должность, о которой *наш человек* — не признаваясь в этом — мечтал для себя... его самодовольная похвала, тотчас же им вычеркнутая, но слишком поздно, он уже предал женщину, когда писал эти строки. Действительно ли он создал ее? Без всякого воодушевления он сказал:

— У вас еще все впереди.

— Дешевка,— сказала Франциска.— Концовка поучительного трактата. Такую фразу можно на протяжении всей жизни нести перед собой, истрепанное, но прочное знамя... О нет, нет. Другие в моем возрасте уже написали книги, или открыли частицу Икс, или изменили русло рек. Продолжать жить, только надеясь на будущее, на магический двухтысячный год? Проекты будущего создаются в настоящем, для меня это значит: в настоящее время, сегодня, теперь... Шопен умер, когда ему было тридцать девять... Жизнь, имевшая смысл.

— А она бы не имела его, если бы певчий господин Шопен умер, не оставив после себя дюжину-другую прелюдий? — спросил Троянович. Он почувствовал себя оскорбленным, словно она одновременно оценивала и его жизнь, видя или не видя в пей смысла.— Вы исходите, таким образом, из предпосылки, что каждое человеческое существование пуждается в оправдании, по мере возможности основанном на творческих достижениях.

— Да, — сказала она без колебаний. — Просто существовать — это столь же много и столь же мало, как жизнь какой-нибудь личинки.

— Альтернативное мышление шестнадцатилетней девушки, — сказал Троянович. — Между творцом и личинкой есть тысячи разновидностей... тысячи возможностей значительного и целесообразного существования.

Соль земли. Она сидела и качала ногой. Троянович позволил себе улыбнуться улыбкой взрослого человека над нетерпеливым ребенком.

— Вы живете опасной жизнью, фрау Линкерханд... Вы сами ограничиваете свою свободу, именно свободу выбора между многими возможностями, так как для себя вы видите только одну задачу (говорить об идеалах мы лучше предоставим экзальтированным крикунам вроде Карла Моора). Вы сосредоточены на достижении одной-единственной цели и делаете ставку на победу. Вы не можете позволить себе поражение: для вас и впрямь было бы катастрофой оказаться где-то на третьем месте...

— Черт побери, это верно, — сказала Франциска, а Троянович мысленно добавил: но для себя вы не принимаете в расчет ни поражения, ни третьего места.

Она опустила на колени и сняла пластинку с диска.

— Тридцать девять лет, — сказала она. — Мерзко. — Она взглянула на него снизу вверх и улыбнулась. — К счастью, художники и архитекторы живут долго, как деревья...

У него перехватило горло, он не посмел отвечать. Возле отворотов открытой блузки он увидел ямочку у шеи, очертания груди, резкую границу между загорелой и светлой кожей и золотисто-коричневую тень между грудей.

— Фрау Линкерханд, — сказал он, и вдруг: — Франциска. Нет, не смотрите сейчас на меня... Сегодня после обеда вы были дома...

— Я была дома, работала и считала себя безумно талантливой, а потом какой-то идиот оторвал меня, и тогда я почувствовала себя как после попойки... — Она прикусила язык.

— Ах так. Сожалею.

Франциска покраснела и агрессивно сказала:

— Если вам понадобились ваши дурацкие започки, можете поискать их в мусорной яме.

Одно мгновение он был озадачен, затем расхохотался: она ревнива и бесхитростно это показывает, и лишним был

его предлог, который под дождем покроется ржавчиной на мусорной свалке за чертой города, мы поедem за город, мы поедem в сосновые леса и к мертвой шахте, где вода лазоревого цвета (я не плаваю, попытайся не увидеть в этом ничего смешного), мы поедem в Дрезден, к кунающимся нимфам и к толпе маленьких амуров, и в Берлин, и в Лейпциг, бесстрашное путешествие в прошлое, и все-таки университет и аудиторию мы обойдем стороной, я уже рассказывал тебе о бунте в баре? Как пазывалась та улица, скорее переулок? Там находилось кафе, в котором я постоянно бывал, мы шли на риск, на встречу с жизнью со всеми ее условностями.

Он видел, что от смущения у нее на глазах выступили слезы, и сказал: это ничего, взяв ее за руку, как бы желая утешить, это ничего, сказал не слишком протяжно, с гласными, округлыми, как цветы в садах Николаикена.

— Не надо. Пожалуйста,— сказала Франциска.— Ужасные лапы.

— Я думаю, вы знали, что я вернусь,— произнес Троянович обычную и как бы заученную фразу, но прерывистое дыхание выдавало его, он ждал, чтобы то мгновенное неуверенности перед запертой дверью повторилось, и крепко держал пойманную птицу, ее руку, вымазанную тушью и чернилами, ее пальцы, которые не доверяли, сопротивлялись, вытягивались, искали, бездействовали и наконец угнездились.— У вас красивые руки,— сказал он.

— С вами я никогда не чувствую, что что-то пачкается,— сказала Франциска.

Он поцеловал ее руку и ладонь.

— А вы могли бы этому научиться? — спросил он, и Франциска сказала:

— Может быть,— она затрепетала,— да,— сказала она.

«Повернитесь. К окну. Они стояли у окна, было три часа, когда наш человек вышел на улицу», — читал он в тетради, перелистывая странички от второй до пятой, с заметками: восемь миллионов убитых (одни миллион восемьсот тысяч немцев). Крупн: 2 миллиарда. «ИГ Фарбен-индустри»: 6,26 миллиарда. Скобки. *Инцидент исчерпан.* Удержание из заработной платы в мае? Паскаль: человек — это тростник, самый хрупкий из всех существующих, но это тростник мыслящий... Собрать факты о непользовании S 100 в карьере В! Почитать о религии. Меррежковский, Планк, Эйнштейн. Спиноза. Кто этот человек с лицом ардекина у Пикассо? Маккиавелли отмечает,

что все вооруженные пророки одерживали победы, а все безоружные терпели поражение. Поперек страницы: *дуга есть только часть окружности.*

...готовый вопреки всем доводам разума снова с ней увидаться, читал он, и Франциска думала: история, мужина и девушка, смесь различных чувств — рассудка, протеста, сомнения, осторожного счастья, а кто я? Девушка, персонаж в этой истории, не спрошенный автором, *она существует, она имеет мои волосы, красная дуга (но нет жеребенка на площади этого города, гривы, развевающейся на ветру), глаза, жена Потифара, волчьи зубы, кого он видит перед собой? Кого видела я утром в зеркале? И то, что произошло в этой комнате, на кухне, на лестнице, происходило, возможно, по-иному, ибо он по-иному об этом вспоминает, я не знаю твоего имени, как я могу обратиться к тебе, любовь моя? Она выглянула из окна, облака поднялись выше, небо стальное, почти черное, и в косых лучах солнца из стальных прутьев ажурной решетки подъемного крана брызгами летели серебряные искры, а дома казались лишенными глубины, нетронутыми белыми плоскостями с остро очерченными линиями.*

Кто он такой, *наш человек?* Сам себя он именует здоровыслящим, не расположенным к приключениям, в другом месте: восторженным рабом своего разума. Тем не менее он совершил рискованный прыжок в доселе певедомое, в тот момент (так кажется ему, когда он оглядывается назад, описывая это в «Голубе»), когда его пальцы под девичьим пуловером нащупали ребро, которое завершает и одновременно открывает грудную клетку: и примечательно, как этот хрупкий паццирь ее беззащитности вызвал у *нашего человека* чувство ответственности, которое, угнетая, согревало его...

— Перестаньте. Прошу вас, — сказала Франциска.

...ее глаза — эллиптические озера, и на дне их он увидел другого, кого она подразумевала и на кого он хотел походить.

— Пожалуйста, — сказала Франциска. — Дальше не нужно, пожалуйста. — Вымысел, думала она, он придумывает нас, силуэты, вырезанные из ткани наших грез.

В комнате потемнело, внезапно хлынул дождь, сильный дождь хлестал по окну, дождь плотный, как стена из матового стекла. Троянович продолжал говорить, не повысил голос, несмотря на бешеную барабанную дробь по металлическому карнизу и кирпичам, он читал быстро и не-

внятно, как скептически размышлял наш человек, с одной стороны — новые горизонты, выигрыш, с другой стороны — украденное счастье (у кого украденное? На это он ничего не ответил), и перешел на свой небрежный берлинский диалект, он был оконфужен обилием сердечных слов, признаний, которые он, когда писал, сделал ей или самому себе, нуждался в дерзком и хвастливом диалекте, чтобы быть в состоянии произнести следующую фразу: наш мир кажется мне прекраснее, и сегодня мне стало важнее его сохранить и усовершенствовать, — фразу, запечатлевшуюся в памяти Франциски, хотя он никогда ее не повторял, обещание, которого она от некоего господина Трояновича ожидала так же мало, как, например, ребяческого обещания: я достану тебе звезду с неба.

Она обернулась. Белый ливень, барабаны, барабаны, звуки голоса, он был несказанно одинок среди весело шумящих гостей, тетрадь в переплете из черной искусственной кожи, на котором его пальцы и большой палец, расщепленный глубоким шрамом, оставили влажные отпечатки, идет дождь, я перехожу по перекату написанных слов, она протянула руку и отняла у него записную книжку.

— А как это было в действительности? — спросила она.

— Я был невыразимо одинок, — повторил Троянович. Он снял очки и потирал покрасневшие веки; он щурил глаза, как близорукий человек, беспомощный без очков, без этих зеленоватых стекол в проволоочной оправе, которые, думала Франциска, не исправляют близорукость, а скорее нужны для того, чтобы скрыть слишком острый взгляд.

— Я пришел, так как... — Он зашулся. Еще не названы имена, Зигрид, Несебыр, у него еще есть свобода выбора назвать их или умолчать (умолчание всего лишь отсрочка, тем не менее выигрыш во времени), его мир еще за пределами этой комнаты, которую окружает дождь, плотная пелена дождя, расставания не произошло. Он избрал умолчание и отсрочку и ощутил горькую веселость оттого, что начинает будущее с компромисса. — Основание столь же непрочно, как и предлог, — сказал он. — Вас не было дома, досадно, беспокойство, испорченная вторая половина дня, три часа — мертвое время. Когда я шел по улице, я видел вас стоящей у окна... Я... я был оскорблен, я хотел верить, что ошибся. Я зашел в пивную напротив, всего на несколько минут, выпить рюмку коньяку... только чтобы дожидаться вечера и увидеть свет в вашем окне.

Вечереет, я мерзну, мне хочется, чтобы город укрыл меня плащом из огней, голосов, запахов. Лагерштрассе. Серп луны над просмоленной, крышей. Забор из сосен. Я жду, когда вспыхнет свет лампы в твоём окне и появится надежда, что ты пишешь... что ты ещё пишешь свою книгу, которую мы называем романом, пока что романом, используя это название как вспомогательное слово для твоих догадок о пяти братьях Т. (пяти вместо маловероятных и сомнительных одиннадцати: такую библейскую ораву может себе позволить только действительность). Почему ты не разрешаешь мне прочесть хотя бы одну главу? Чего ты опасаться, Бен? Ты молчишь или уклоняешься. Теоретизируешь по поводу того, что такое роман и как протекает процесс его создания; объясняешь, что не можешь знакомить меня с фрагментами одной-единственной главы, так как это неизбежно поведет к недоразумениям; говоришь о сомнительности попыток, создавая роман, подчинить себе действительность: однако я ожидаю сведений о пяти братьях на Востоке и на Западе, о доме казарменного типа в Берлине-Кройцберге, о развилке пяти дорог, о путях, ведущих в Трейтов, Гамбург, Серпухов, Дамаск, Нейштадт, и о самом младшем, которого ты называешь Диконом, также временно, примеряя имя, как примеряют пальто перед зеркалом у портного, но это маскарадный костюм, позднее ты к нему привыкаешь и носишь его, как Юл Брипнер свою кожаную куртку, свою вторую кожу... ожидаю сведений о Джопе, или о тебе, или о третьем, которого я назвала Бенджаминном, который на тебя похож, но с тобой неидентичен, — не предчувствовала ли я уже в тот февральский день, когда резко затормозил самосвал и ты выпрыгнул из кабины, или в баре, этой пренсодней из станицы (ах, вспомни-

ешь ли ты игравшего блюз пьяного музыканта?), или, самое позднее, тот день в июне?.. чтобы дожидаться вечера, сказал ты, и увидеть свет в вашем окне. О Бен, сотня вечеров, прошедших со дня расставания, разумного решения, размолвки... Я видела тебя под окном, с высоко поднятыми плечами, руки в карманах, будто ты мерзнешь, ты прислонился к клену, потом его срубят, так же как свесут крестьянский дом... Я бродила по улицам, без цели, однако все время оказывалась перед твоим домом, через пезашторенное окно видела угол шкафа и кусок потолка, на который падал свет, яркий овал, он казался кругом, если смотреть с другой точки, из-за твоего плеча... по воскресеньям... мы лежали в постели и курили, по соседству стонал и ворчал во сне старик... я любила эту лампу, ее абажур из пергамента, грубый шов и тепи от его шток в полосе света, запечатлевшейся в памяти, когда я умирала в твоих объятиях, это нежное нематериальное изображение, которое можно заставить исчезнуть одним нажатием пальцев и которое тем не менее в моей памяти заняло более прочное место, нежели камень, дерево, металл.

Мне холодно, Бен. Теплые ночи в июне и в июле, один год или десять лет назад, это не имеет значения, мы были счастливы, были ли мы счастливы? Тогда, когда ты снова и снова мучил нас обоих апализмами и попытками всему давать определения, ибо тебе нужно слово для того, чтобы назвать Нечто или начало этого. Нечто, которое я для себя воспринимала как естественное явление, как светлый дождь в тот день, когда ты мне сказал: «Мне кажется, я в вас влюбился».

Однажды, следующим летом, все еще сомневаясь, ты сформулировал это так: затянувшееся прощание.

Иногда я читаю записи в твоей книжечке, которую я отобрала у тебя, надолго ли? Не помню... в твоих объятиях, руки обвились вокруг твоей шеи, я чувствовала шрамы, крохотные углубления на коже, было, по-видимому, уже темно, когда, прикоснувшись пальцем к твоим губам, я прочла твою улыбку и не произнесенные тобой слова... заметки *нашего человека* я, должно быть, потеряла и, чем закончилась история, узнала лишь на другой день из мяттой, валявшейся под столом раскрытой книжечки... высокоморальный конец, в правильности которого *наш человек* дал себя убедить: ибо дуга есть лишь часть окружности, пишет он, и боль другого — слишком дорогая цена. Бел-

летристическая концовка, прокорректированная действительностью.

Я пытаюсь расшифровать зачеркнутые фразы (надежда наиболее ясно услышать твой голос там, где ты умалчиваешь), разгадать смысл одной заметки. «ИГ Фарбен-индустри». Паскаль. *Инцидент исчерпан...* Та же фраза, которую Юл Бриннер произнес вчера... Не знаю, почему я тебе не рассказала, что вечером я пошла с ним в деревню, вернее, поехала, у него новый мотоцикл, и свою первую поездку он совершил в пивную, мы выпили там водки, хлебной или какой-то другой, сидели за столиком с тремя трактористами, которые не смолкли, полные недоверия, перед пришельцами и не перешли демонстративно на лужицкий язык. Мартин, Повол, Юрий. Он уже знает по именам всех жителей села. У него своя манера завладеть людьми, не любезная, не вежливая, скорее небрежная, так как он кончиком сапога подтягивает стул, присаживается, не спрашивая, нравится ли это тебе, и так смотрит на тебя своими узкими водянисто-светлыми глазами, что тебе кажется, будто он положил руку не только на спинку твоего стула, но на всю твою жизнь. Он поставил всей компании по кружке пива, и они говорили об электростанции, о женщинах, о пиренейских овчарках, об осенних полевых работах, потом они азартно играли в скат, а я сидела рядом с ними и спрашивала себя, зачем этот сухарь взял меня с собой. Садитесь. Крепче держитесь за мой пояс — в том же топе, в каком сейчас приказывал: пейте, ешьте, а один раз: ешь, и так осталось «ты» вместо «вы», но без имени.

На обратном пути я снова крепко держалась за пояс его куртки. Он ехал с недозволенной скоростью, ветер больно резал лицо, несколько раз мотоцикл заносило на песчаной дороге. Куртка с острым запахом кожи... Спиная, за которой чувствуешь себя в безопасности.

Он остановился в открытом поле, на половине пути между деревушкой и стройплощадкой, в двухстах шагах от гостиницы «Глухарь» с покосившейся вывеской, выщербленными ступенями и зарослями крапивы до ставней на окнах. Неизбежный покойник на пути... Мы затопили села и перепахали леса. Судьбы, да, конечно. Мы слишком чувствительны. Упорная борьба за каждую изгородь, каждый палисадник, яблоню, розовый куст, наш домик, тогда в Нейштадте, когда нам необходим был широкий фронт строительных работ для возведения пятого

жилого комплекса... И вовсе не сентиментальное путешествие к мертвому «Глухарю». Он хотел показать мне другое: фабрику, где строятся дома, смех да и только, малюсенькая поточная линия, траншеи для прокладки кабеля, смеситель, пять жилых блоков, которые я видела в первый раз, я знала, конечно, что здесь строится поселок, но всегда обходила стройку, может быть умышленно, кто знает, и шла кратчайшим путем через лес.

Нейштадт в миниатюре, возможно, это выглядело еще печальнее при голубоватом свете луны. Где-то хлопала дверь. Ветер гулял по жнивью. Юл Бриннер сидел на мотоцикле, ногами упираясь в землю; я видела его кожаную спину, он ничего не говорил, смотрел прямо перед собой, и я подумала: я знаю теперь, зачем он взял меня с собой и почему здесь остановился. Днем в столовой, ты знаешь, мы сидим за одним столиком, так уж получилось, наши постоянные места, и говорим о градостроительстве, во всяком случае, он прислушивается и выжидает.

Он молчал, только дверь стучала на ветру. Внезапно сердце у меня сжалось, словно в промелькнувшем мимо окне вагона я увидела лицо... ночь, окно, то лицо, мое зеркало, в котором я увидела мир, ты, ты одна, пел высокий женский голос, поезд следует дальше, я опоздала на поезд, Бен, я стояла на проселочной дороге, и я чувствовала себя глубоко несчастной от тоски по дому, и думала о снах, которые возвращаются ко мне каждую ночь, аэродром, вокзал, город, высоко вверху на холме...

Юл Бриннер сказал: пора, и я вскарабкалась на сиденье, держалась за его плечи, ни о чем не думая, как до этого на Лагерштрассе, когда он подхватил меня, почти что поймал, чтобы кружным путем привезти в поселок строителей электростанции, которые придут после нас и вместе с женами, детьми, кроватями, телевизорами въедут в эти безрадостные жилища, которые он сейчас показывал как упрек мне, ибо, держу пари, это было задумано как упрек или по меньшей мере вмешательство, и довольно бесцеремонно... итак, я, ни о чем не думая, держалась за его плечи и вдруг увидела близко перед собой его рот, плотоядные челюсти и глаза, плоские при лунном свете и блестящие, как вода горных рек, текущих по каменистому руслу. Кварц или кремень. Он перебросил руку через плечо и на мгновение, короткое, как во сне, положил ее тыльной стороной ладони мне на лицо. Больше ничего не произошло.

Он повернул ключ зажигания, мотор взревел, но он еще не трогался с места, а я сказала: спасибо. Я все видела. Но это не мое дело.

Мы возвращались обратно лесными дорогами, искореженными гусеницами тракторов, на Лагерштрассе он меня посадил. То, что я поблагодарила еще раз, было излишне, я сама это поняла. Он сдвинул шляпу на затылок, поднес два пальца к виску, где светлая кожа резко контрастировала со все еще медно-коричневым лицом, хотя лето давно прошло, и сказал: полагаю, инцидент исчерпан.

В моей каморке, лежа на походной кровати, я перечла свою рукопись, наскучившую мне. Страницы как вялые листья. Пепел мыслей и желаний. Заклинание, относящееся к облику нового города... но то, что я вчера или год назад видела, планировала, отвергала или защищала, теперь теряет свои четкие очертания и отодвигается вдаль, в неизвестность, воспоминания тускнеют, опыт становится менее конкретным, нет больше материала, который можно использовать; или мне не хватает близости, которая мне тогда мешала, разочаровывала меня? Я по ту сторону, Бен... Бегство или продуманное отступление, инцидент? Возможно, то, что произошло, я позднее назову этим легковесным именем: весна-лето-осень в пограничном крае, где говорят на двух языках, закончились с ничейным результатом (пора раздумий, сказала бы Важная Старая Дама, опустив нечестивые глаза на крестик, болтающийся у нее на животе, смеясь одними плечами), бессонные ночи над книгами, статистическими материалами, заметками о Нейштадте, наши ночи в вересковых зарослях, мы любили друг друга на твоем плаще, я целовала твои веки, когда ты спал, когда я тебе или самой себе рассказывала о мертвых детях, уложенных под вишневыми деревьями, и о Джанго, танцевавшем босиком перед кафе, освещенным розовым светом, и о персидском зодчем, и об одном человеке, которого я придумала и назвала Бенджаминном, и чью записную книжку я вчера перелистывала, сознавая свою вину и полная надежд.

Сделанная карандашом и поблекшая запись в книжке говорила о том, что она относится к давнему времени, иначе я могла бы предположить злое колдовство, когда в этот вечер впервые прочитала слова: *Инцидент исчерпан*, между Крупном и Макиавелли, нацарапанные в особом настроении, но теперь приобретающие большое значение

для меня... огненные буквы на стене... неопределенная угроза, для меня? Для нас? Если бы ты не был Беном, если бы ты не нашел Джона, если бы твоя книга осталась ненаписанной, если бы я жила с фантомом, хоть и была предупреждена... Страшная память, она запечатлела твои слова и теперь спустила их на меня как свору собак... Я могу жить с тобой, сказал ты, но не могу жить с тобой и с твоим представлением обо мне. Шепотом или в горячем споре, с горечью или шутя? — не могу вспомнить, не знаю также, действительно ли я слышала то, что сразу же предала забвению, то, что было брошено вдогонку: я защищаю безнадежное дело, если должен утверждать себя перед созданным тобой образом. Но яблоныя, запах сена, крохотный лягушонок, колокола сельской церкви, твои губы на моей руке у сгиба локтя, я счастлива, мы счастливы, однажды мы набрали на лисью пору, однажды ты в грозу укрыл меня под своей курткой, однажды мы лежали на опушке леса, я видела травы, красные колосья пшеницы, твою руку, небо, дрожащее марево, тишину, твою руку, жесткие травы, и я думала: это мир на земле, тень пробежала по ржаному полю? Я слышала гудки, перед тем как из-за верхушек деревьев показался вертолет и повис в небе, похожий на насекомое, что-то высматривая, услышала еще гудок, затем третий, дальше к югу, на брикетной фабрике, и еще один, и следующий, гудки все ближе с востока, с запада, севера, со стороны карьеров и фабричных крыш, и ощущала запах нагретого солнцем плеча, и мои губы у тебя под мышкой, приглушенный крик: почему, почему? Пожар, деточка, пожар, горят леса, позднее мы узнали о поджоге, кавистрах с бензином, факелах, найденных около комбината и рудника, позднее мы видели призрачный лес, черные сосны, березы со сморщенными листьями, ветви как желтые кости, сожженную траву, хлопья пепла, гошимые ветром.

Газеты сообщали о самом жарком лете за последние девяносто лет, о засухе во всей Европе, тропические температуры, иссякающие реки. Баржи дремали, зарывшись в песок высохшего русла. Один из наших сотрудников собирался перейти вброд Эльбу, вода в ней была не выше колен.

Мы задыхались под плоскими крышами барака. С края крыши стекала расплавленная смола; на траву падали вязкие черные слезы. В полдень мы убегали в топь кладбища, в этот крестьянский сад, где цвели дрок и шток-

розы. Под деревьями росла дикая наперстянка, и здесь, в вялой теплоте, пахнувшей землей и молочаем, мы бросались на траву, покрывающую осевшие могилы, курили и спали. Ковальский в рубашке, распахнутой на волосатой груди, чесался, как заболевший от жары дог. Его друг сидел на границе освещенного пространства, там, где уже начиналась тень, опустив одно плечо, подтянув к подбородку острые колени, как будто его знобило, и смотрел на ящериц, выползавших на могильные плиты и гревшихся на солнце; он был застенчив и молчалив, кроме тех случаев, когда его спрашивали о кошках, о парусном спорте или о стадионе где-нибудь в Риме, или в Ростоке, или у Полярного круга, ибо он знал все о стадионах мира и, когда говорил о них, оживлялся и приобретал в эти минуты какое-то особое, свойственное неполноценным людям, несколько печальное очарование.

Шафхойтлин, как обычно, отсутствовал: он и после обеда сидел в бараке, решив держаться по-прежнему стойко, разрешая себе в крайнем случае слегка отпустить галстук, однако часто в июле по утрам приходил в бюро с запозданием, с подпаленными кудрявыми волосами и бровями, довольный молодой человек, от которого пахло дымом, потом и приключениями. Обязанную носовым платком руку он держал за спиной. После обеда, зайдя в его кабинет, Франциска увидела обожженную руку и белые набухшие пузыри. Он посмеялся ее рвению начинающей сестры милосердия. Он поблсднил, когда она, крепко держа его руку, проколола влажный пузырь от ожога. Излишне, сказал он резко.

— Видите ли, — заметила Франциска — правая рука вам все-таки очень пужна.

Он внимательно разглядывал ее лоб и брови, надломленные во взмахе крылья. Подозревал ли он что-то, какую-нибудь сумасбродную затею? Что-то в ее глазах, сверкавших желтым блеском и твердых, как янтарь, напомнило ему об одном вечере перед балом, о разговоре, который между ними не состоялся, но он предчувствовал, что она его запроектировала и на протяжении недель вела эту беседу про себя, упорно опровергая любые возражения. Его беспокоили ее совершенно четкие представления об обязанностях адъютанта, он видел в этом угрозу принципу, которого строго придерживался: все проходит через мой стол, и какую-то секунду, полный панического страха, думал о диверсии, интригах (Редер! Академия!), хитро-

умно задуманном отстранении его от работы. И он твердо сказал:

— Но ведь это не принято.

А еще через два дня Франциска уже устраивалась в узкой комнатке, которую приемная отделяла от кабинета Шафхойтлина. Двери между этими тремя комнатами были открыты, и она могла видеть Шафхойтлина, сидящего за своим столом, и говорить с ним. Им приходилось кричать, когда Гертруда громко и злобно стучала на машинке: она не одобряла переселение Франциски, хотя и безмолвно, изнуренная скукой или жарой; ноги ее были опущены в стоящий под столом таз с холодной водой, и босыми мокрыми ногами она шлепала по полу, к порогу налево и к порогу направо, передавая различные материалы, как передают объявления войны.

В полдень Франциска спала в тени кладбищенских деревьев. Открыв глаза, она увидела стоящего перед ней на коленях Язваук, который утром, щебеча и целуя ей руки, простился с ней, как перед дальней дорогой. Он смотрел на нее, словно увидев у нее на шее забавный и фатальный знак, который выжиг косматый полуденный бог. Он нашел, что она изменилась,— уже изменилась, сказал он, Франциска, усмехнувшись, сказала: да, уже четыре часа вблизи от власти.

— Ты смеешься,— заметил Язваук,— а для тебя это кое-что значит, и я не хотел бы знать, как тебе удалось уломать старика.

— Я располагала более сильными аргументами,— сказала Франциска, и Язваук описал в воздухе на уровне ее груди две окружности, заметив: неопровержимыми. Увидев ее холодный взгляд, он пожалел о своей остроте, которую она безмолвно отбросила как неприятное наскокомое. Он терял подругу и сообщницу в войне, которая велась в бюро против начальника за перегородкой. Она защищала Шафхойтлина, его репутацию неподкупного человека, он должен был оставаться неподкупным, и не хотела достигнутым быть обязанной его слабости.

Действительно, если бы велся протокол ее разговоров с Шафхойтлином, в нем содержались бы только деловые соображения, дискуссии между двумя коллегами, обсуждавшими мотивы за и против перемещения одного из сотрудников. Что не было бы занесено в протокол: удобный повод покинуть барак вместе с Шафхойтлином, в этот вечер они уходили последними, автобуса уже не было, воз-

вращение домой пешком, летний вечер, живая изгородь из боярышника, охотничье терпение ястреба в небе, пронзительные крики детей на берегу мутной от глины речушки, в зарослях ивняка, пена тысячелистника, трубы магистрального газопровода, похожего на потягивающуюся на солнце змею, алые маки с черной сердцевинкой, боли в сердце и одышка у Шафхойтлина, когда он взбирался к железнодорожному мосту, покрытые копотью перила, их руки рядом, когда он смотрит на город, на его дома, украшенные красными, зелеными, голубыми балконами с мачтами антенн, завитки цвета меди на затылке, и слышит голос, который Якоб называл темно-коричневым.

Троянович ждал уже целый час у крестьянского дома, под надутыми газетными парусами. Бои в районе Газы. Мелина Меркури на Бродвее. Студенческие демонстрации против приезда шаха. Семь часов. Кроваво-красное небо угрожающе нависло над городом. Я жду, я очень жду, новое удивительное ощущение.

Она торопливо шла по улице, Троянович сложил газету, нарочито рассеянно шурил глаза, это ему еще удалось, она кинулась к нему. Подумайте только! Шафхойтлин, он будет, я буду, я так счастлива. В ее бурной радости сторело чудо. Смешно было бы теперь сказать ей: я беспокоился о вас, впервые я о ком-то беспокоюсь, вы делаете меня другим человеком.

— Поздравляю,— сказал он сухо. Он вновь почувствовал, что живет не по средствам, во всяком случае на деньги, взятые взаймы. Ревность, она взята взаймы из романов. Долги, чтобы купить мотоцикл из вторых рук.

— Вы не рады,— с упреком сказала Франциска.

— Нет-нет, почему же,— возразил Троянович,— рад, как каждому разумному решению.— Он вел себя так, словно речь шла об идее и решении Шафхойтлица. Франциска носком туфли что-то чертила на песке.

— Он ведь только уполномоченный,— заметила она. Троянович насторожился, снял зеленоватые очки и смотрел на Франциску из-под полуопущенных век.

— Вы высоко метите.

Она отвернулась.

— Ах нет. Так или иначе, я скоро возвращаюсь к Ресеру.

Он взял ее за подбородок и пробормотал: poor child. Терпение, сказал он себе. Опять он что-то сделал неправильно, что? Он должен это понять, она молчит, и так кон-

чается всегда, если он не идет на уступки, если он тоже молчит, пока они у входной двери или на углу не распрощаются, словно навеки. Она стала капризной и легкоранимой, одно насмешливое слово вызывает у нее слезы, она огрызается, они спорят, как враги, о книге Гранина, о несчастном случае на комбинате, о Гюнтере Грассе, о восстании негритянского племени ибо, о том, что предпочтительнее — иметь возможность взять машину напрокат или «каждому-собственный-трабант», об идиотской ярко-красной штукатурке в третьем жилом комплексе: они уже давно защищали не мнения, но свою независимость от мнения другого. Вы против, потому что я за это, кричала Франциска. Она становилась упрямой из боязни увидеть мир его глазами.

Троянович вежливо прислушивался, по с выражением сомнения на лице, когда они говорили о городском центре, существующем пока что только на бумаге. Слишком много энтузиазма. Слишком много имен, людей — для него безымянных и безликих, для нее — знакомых, друзей, противников, ежедневно на протяжении восьми или десяти часов. Он видел ее среди неизвестных ему величин, в переплетении отношений, сотканых из прочных или хрупких нитей, в стране, где еще говорили на остром и пламенном языке его университетских лет и границы которой он не мог или не хотел переступить, выдворенный, добровольный изгнанник — этого он сам больше не знал. Как всегда, переход границы совершился и возвращение не принимается в расчет, говорил он себе, домашний очаг обретен где-то в другом месте, и человек доволен (примирен, пришло ему на ум это мнимобиблейское слово), и смешны, даже тягостны некогда близкие, столь хорошо знакомые слова и высокие требования его возлюбленной, ее ожидания, чувства, снабженные стрелами с красным оперением, какими стреляют дети.

Он обнял ее за шею. Пойдемте. За крестьянским двором у подгнившего сарая стоял мотоцикл.

— Это ваш?

— Наш, — сказал Троянович. Он закрыл поцелуями ее глаза, не должны они были видеть его смущение. Признание, но полуправда: он дарил ей загородные прогулки, голубое озеро и маленькие березки, себе — бегство, гарантию от неприятной встречи, обнимающие его загорелые руки, когда они мчатся, разрезая воздух, невидимые Зигрид, которую он называет своей подружкой, напрасно, друж-

бы она не приемлет, для нее, кажется, ничего не изменилось, неизменны ее терпение, сердечность, вкусный ужин (новыми являются только маленькие кашапки на острых палочках, неумело паложенные голубые тени на веках, над которыми она сама вынуждена смеяться, да еще вспышки чувств, бурные сцены их близости, когда в любовном экстазе она кусает его и царапает ногтями), она его знает, говорит она, он и эта пылкая маленькая особа, нет, этого она просто себе не представляет, это не может быть серьезно, это ненадолго, и она ждет, уповая на прожитые вместе годы, тяжелые годы (она владеет собой и не напоминает ему о том вечере, когда он пришел к ней одинокий, злой и растерянный, освобожденный из заключения, разведенный, человек без профессии, и она прищипала его, ни о чем не спрашивая, и накрыла стол, и постелила постель на кушетке, и взяла его к себе, крепко держала и удержала), она знает, почему он вечерами смотрит на часы, и не заставляет его лгать, не устраивает ему сцен, она действительно великолепна, и, когда однажды она наконец расплакалась, Троянович этому почти обрадовался, потому что он должен был говорить, оправдываться, преуменьшать значение случившегося, хоть это и бессовестно по отношению к маленькой Линкерханд (но у него нет выбора, Зигрид плачет), а когда она впервые упрекает его в неблагодарности, он может искать ссоры, но, увы, ничего не получается, ибо Зигрид не желает участвовать в игре: я отравлюсь газом, говорит она, а он говорит, что не выносит мелодрам; и все-таки он, бесспорно, напуган и сконфужен ее слезами, неожиданной слабостью и роковой фразой, произнесенной ею совсем не драматически, теперь он действительно впадает, теперь ее вымогательство мучает его, как собственное преступление; он ни в коем случае не может оставить ее одну в этот вечер — после стольких лет, говорит он, прошу тебя, поговорим серьезно, но она слышит только то, что хочет слышать, «мы, эти годы», и воспринимает это как обещание, ужасное недоразумение, которое он не осмеливается разъяснить, дабы ее не унижить, и если он ее целует, то делает это из жалости, а если спит с ней — из вежливости, и, пока веселая подруга Зигрид неудержимо уходит в прошлое, теплая светловолосая плоть празднует примирение.

Он забыл о ней на потрясающе долгом пути, который проделали его губы, целуя овальное углубление ее век.

— Сегодня вы щедры свои самые красивые глаза,—

сказал он. Франциска неуверенно улыбнулась. Нежные прикосновения, мягкий голос ее испугали: он пытался быть вежливым и был скован, как в присутствии третьего лица, другого Трояновича, который наблюдал за ним на расставании и был в меру удивлен. Он прижал ее лицо к своей груди, он весь дрожал от напряжения, стараясь молчать и не повторять: мне кажется, я в вас влюбился.

В тот июньский вечер, когда они стояли перед входной дверью, внезапно смущенные светом, что зажгли на лестничной клетке, внезапно охваченные нетерпением, как у поезда, который никак не может отойти, Троянович спросил: завтра?

Франциска намотала его галстук себе на руку. Нет. Теперь идите. Нет, еще минуточку. Но ваша жена, сказала она.

— Мы не женаты, — сказал Троянович.

Сердце ее сжалось, она подумала, он должен был сказать: она не моя жена. Дождь перестал, под уличным фонарем блестели лужи, зеленые, будто лакированные кусты и ручейки, с чавканьем уходившие в песок.

— Предстоит разлука, — сказал Троянович.

Возможно, он употребил безличную форму для того, чтобы ее пощадить; Франциска слышала: он лишил ее права голоса.

Удивительные любовники. Они не были на «ты», и Франциска избегала называть его по имени: Вольфганг.

Он приходил каждый вечер, всегда под каким-нибудь предлогом, с новой книгой, журналами и новостями, касающимися города и городского строительства, упорно не хотел чувствовать себя по-домашнему в ее комнате, не садился, говорил о делах, о строительстве и строителях, непрерывно курил и выдыхал дым, издавая при этом резкий звук, выражающий пренебрежение; в течение двух недель не упоминалось имя другой женщины, которая, кто знает, репетировала свою второстепенную роль, или надеялась на чудо, или затрудняла расставание своим великодушием, отчаянием.

На лестнице он обнял ее за шею. Какая вы крошечная! Он все еще поражался этому. Стоя одной ступенькой ниже, он медленно целовал ее глаза и виски, прикасался губами к ее руке у сгиба локтя, и Франциска смотрела на его сложенную голову и волосы с уже заметной сединами, и ее сердце сжималось. А что будет завтра? Но она поспрашивала, и он ничего не обещал, он быстро шел по улице, высоко подняв плечи, не оглядываясь.

Она страдала от его замкнутости, но и начинала ее любить как некое преимущество, возвышающее его над другими. Однажды он вернулся, стремительно пересек освещенную лужку перед входной дверью, не глядя на Франциску, обнял ее, судорожно обхватил; на какое-то мгновение ей удалось поймать его взгляд, и она увидела глаза, блестящие, будто от слез.

— Я вдруг испугался, что вижу вас в последний раз... Нет. Когда я видел вас там, у двери, вы выглядели такой маленькой, такой незащищенной... Я хотел бы... думаю, я был бы счастлив, если бы вы нуждались во мне. Помните об этом,— добавил он изменившимся голосом.— Я сказал это один раз и никогда больше не повторю.

Два дня спустя, в воскресенье вечером, она встретила их, Зигрид и Трояновича, вышедших на воскресную прогулку, они с ней поздоровались, она с ними тоже, как со случайными знакомыми, очень мило, с улыбкой, лишь за углом ее охватил страх, как резкий удар, нанесенный сзади под колени; в ее памяти, как фотоснимок, возник образ двух людей, сплетенные руки, пятна на выдающихся скулах, и смазанно, тускло другое лицо, и очень четко рука, которая украдкой отдернулась и затем опять вернулась на место.

Мужчина в синих тренировочных штанах поливал из шланга мостовую, машину и детишек, маленьких акробатов на грохочущих роликовых коньках; перед соседним блоком какие-то люди мыли две машины, мыли их, вытирали, а на ступеньках и на скамье перед входной дверью сидели молодые женщины в передниках или коротких летних платьях, руками прижимая к животу розовое вязанье. Франциска стиснула зубы. Я убью его. Между кактусами сверкали глаза кошки, скучливо ловившей мух. В нижней части улицы запах жареного картофеля смешивался с сернистым запахом, доносившимся с завода. За окнами кухня шипело сало. Вечер в деревне... Ей так захотелось растоптать эти заборчики, огораживающие газон и дорожку к дверям, эти низенькие решетки из березовых пеньков, проволоки и планок, выкрашенных в зеленый цвет, и впервые с холодным злорадством подумала она о неодолимости этого поселка, жизнь которого будет такой же короткой, как жизнь города золотопекателей: дети тех, кто бегает сейчас на роликовых коньках, будут работать в других городах, когда экскаваторы выкопают свои зубья в недра этой улицы, дома будут рушиться, превра-

щаяся в пыль и дым, а на этом месте поднимутся и разольются воды, и над бывшими некогда площадями и кварталами города, над Винетой<sup>1</sup>, по которой не звонили колокола, и над утонувшими воспоминаниями о детских волчках, автолаке и асфальте, угольных пластах, цветах айвы и стуке тарелок в преддверии ужина будут скользить легкие яхты под белыми и оранжевыми парусами.

На перекрестке движение регулировала девушка в белых нарукавниках, ее пальцы работали ловко и быстро, как у музыканта, бьющего в бубен. Ее шапочка, лихо сдвинутая набок, казалась парусом на лакированных волнах. Она впервые стояла на перекрестке, волнуясь и улыбаясь, как ученица в школе танцев, я представляла себе, как она перед зеркалом укладывала волосы, примеряла шапочку, готовясь к выступлению перед стоящей на тротуаре публикой, я остановилась у края тротуара и наблюдала за девушкой, которая с горделивой и взволнованной улыбкой управляла этой массой велосипедистов и послушных ее знаку автомобилей, и на какое-то мгновение ваш образ потускнел, вытесненный цветным фильмом этого уикенда. Короткий фильм: шуршание шин и людской говор замерли на соседних улицах, небо стало пепельного цвета, вспыхнули похожие на головы ящериц дуговые фонари, казалось, они склонились ниже над притихшей бетонной плотиной, рекой, теперь уже несудоходной, где вскоре воцарится мертвая тишина.

Мушкетер тронул Франциску за локоть. Какое-то время он перешитительно стоял в ожидании на углу, перепробовал мысленно несколько обращений и фраз, с которых следовало начать разговор, теперь ему пришлось на ум просто: пришли на свидание? Сквозь открытый ворот пейлоновой сорочки, узлом связанной на груди, как свежая рана, ныла грапатовый крестик. Франциска покачала головой, у нее перехватило горло, и она не могла произнести ни слова, она вновь ощутила, еще острее, чем в тот день, когда он бродил босиком по влажному песку, соблазнил, исходивший от его гладкой кожи, вьющихся на затылке волос, отливавших серебристым цветом чертополоха, от запаха пота и деревянного, нагретого жарким солнцем жилого вагона.

Ее замешательство ободрило его.

---

<sup>1</sup> Винета — легендарный, поглощенный морем, населенный славянами город на острове Волин.

— Чем занимаются вечером в этой деревне?

— Можно смотреть телевизор. Можно спать.

Он бросил на нее недоверчивый взгляд.

— Где ваш муж? Тоже потеряли? Как и кольцо — вы сказали, вы его потеряли.

Она одна, она лгала ему. Рабочий на строительстве дорог: бродяга. Для такой девушки, как она, он не представляет интереса. Несмотря на это, он следовал за ней, потом рядом с ней — упрямо, но не дерзко — по пустынным улицам: как вы можете тут жить, сказал он.

— Перестаньте меня выспрашивать, — сказала Франциска.

На узкой тропинке среди кустов он коснулся ее руки, ее обнаженной руки, которую она не отняла. Он учтиво говорил о книгах.

На террасе «Голубя» он остановился за стулом Франциски, ожидая, пока она сядет. Какой-то пьяный крикнул ему через раскрытую дверь: Пауль. Он принес со стойки коньяк и сигареты. Стемнело, пушистые ночные бабочки бились о круглые фонари. Пауль поставил бутылку на стол, о книгах он больше не говорил.

— У вас золотистые глаза, — сказал он.

— Глаза жерлянки, — сказала Франциска; она уже начала шепелявить, спотыкаясь о согласные. — Бедняжки, их заколдовали... Кто ютился на Мазурах в сельском погребке? — Она оперлась локтями о столик. — Вы славный парень, Пауль. Знаете, я была чертовски подавлена. Слишком много заборов, и все такое, вы понимаете?

— Нет, — сказал он, — и дело не в заборах. Хотите мороженого?

На шарике мороженого красовался трубочист в цилиндре, с лестницей из фольги, обвитой ленточкой с надписью.

— «Много счастья в жизни!» — прочла она вслух и засмеялась. — Послушайте, Пауль, вы имеете представление о том, что такое счастье?

— Не знаю, — отвечал он. — Мне нравится смотреть, как вы едите мороженое.

— Ты ужасно мил, — сказала Франциска.

Он наклонился над столом, и она поддалась искушению запустить пальцы в его жесткую светлую гриву.

— Не давай стричь себе волосы, Самсон. Почему ты не хочешь говорить со мной о счастье? У тебя ведь обычно целая куча вопросов.

— Ешь свое мороженое, — сказал Пауль. — Ешь мороженое, а я буду на тебя смотреть.

Они пересекли в темноте площадь, вдыхая аромат лугов, слушали стрекотание сверчков, направились к давно умолкнувшему фонтану, и Франциска бросила трубочиста в солоноватую воду, тони скорее, благовеститель, сказала она и вскочила на парапет из некогда светло-зеленого, теперь же покрытого мхом, скользкого кафеля, широко распростерла руки, готовая к так и не произнесенной прочувствованной речи, обращенной к сонному фонтану, заспанным домам, глухому бетону, покачнулась, но удержалась, ее крепко держали руки Пауля, славный парень, его лицо, которое я забуду, незаметное лицо в толпе, и все же милое, немного вульгарное, так, мимолетность, и, в то время как ее пальцы узнавали жесткие, вьющиеся на затылке волосы, она, точно дымный воздух, вдыхала начало забвения, которое сделает его образ тусклым, нереальным, превратит не более чем в стилизованное воспоминание, по она еще оборонялась, она должна была вырвать у будущего несколько дней или часов, вырвать время для них обоих назло Трояновичу, и она вздохнула от нетерпения, нет, теперь, теперь, на потрескавшихся губах, в жаре и влажности, в пресловатой сладости облепихи придет наконец то конечное мгновение, в котором воедино сольются надежда, вожделие и недоверие: он все еще держал ее, но вежливо поддерживая, нет, сказал он, так нет, ты ведешь нечестную игру, не согласен, в качестве компенсации и суррогата — не согласен. Такой нужды в этом у меня нет.

Она дала ему пощечину, они озадаченно смотрели друг на друга, смущенно улыбаясь. Пауль взял ее руку и сказал:

— Я не отпущу тебя одну домой.

В ее блоке жалобно ныла гармошка; рядом грубо ссорились, от пронзительного жецкого визга у нее зазвенело в ушах. На лестнице он поцеловал ее.

— Ты плачешь. Не надо. Пожалуйста. Не думай больше об этом.

— Не потому. Не только... — La Paloma и ссорящиеся голоса заглушили ее шепот. День отъезда. Снег. Безголовая Ника. Старый рынок. Окаменелые фламинго. Гармошка внезапно смолкла с криком ошалелой от любви кошки.

— ...вдруг посреди Старого рынка мне почудилось, что

я могу летать и... вообще все, и я подумала, я буду строить красивые и благородные дома, для людей с красивыми и благородными мыслями...— сказала она.— Знаешь, мне чертовски хочется переспать с тобой.

— Да,— сказал Пауль.— Не думай больше об этом.

— Знаешь, многие наделены удивительным талантом привязываться к совсем неподходящим людям.

— Да, такое бывает.

Они виделись еще несколько раз на восточно-западной магистрали. Поздним летом дорожно-строительный отряд двинулся дальше, и там, где стоял жилой вагончик, теперь ржавели консервные банки, а песок некоторое время сохранял более светлую окраску, как незагоревшая кожа. Пауль написал ей письмо, отправленное, судя по почтовому штемпелю, из района Потсдама. Дороги. Дюма. Твои глаза. Вечера. Где-то надо быть дома. Иметь девушку, которая тебя ждет. Франциска ему не ответила и больше писем не получала.

Вечером Троянович стоял под кленом, не смотрел вверх на ее окно, только стоял здесь, держа руки в карманах, рыцарь Тогенбург<sup>1</sup>, сколько времени он это выдержит? — думала Франциска, стоя за гардиной, она смеялась над ним, ах, только в первый, второй, третий вечер; ее мстительная насмешливость, гнев, который она пыталась оживить в себе воспоминанием о сплетенных руках, гасли от его молчаливого терпения, на которое она сама обрекала его. Она пожаловалась Язвауку: он меня доконает.

Когда на автобусной остановке они неожиданно оказались друг против друга в бледно-зеленом предвечернем свете, у нее перехватило дыхание. Автобус ушел, и они сидели на скамейке у окошка в будке для ожидающих пассажиров. Под их ногами хрустели осколки стекла. Троянович сунул ей в рот сигарету... я видела твою руку, она словно держала весь мир передо мной, как в одном из тех причудливо отшлифованных хрустальных шаров, в которых отражается лишь то, что ты любишь и чего себе желаешь, и я открыла в ней никогда не виданные города, названия которых звучат как заклинание, и синегрудых голубей на фронте здания, и купола на Биби-Ханум, и поле трепещущих на ветру анемонов, и совершенные пропорции построенного Шинкелем замка в О., и каштаны в

---

<sup>1</sup> Имеется в виду герой баллады Шиллера «Рыцарь Тогенбург».

заросшем саду типографии, и синий, как бы подернутый ипеем виноград, и пламенеющие золотом при свете утренней зари купола-луковицы храма Василия Блаженного... незабываемое мгновение, когда я почувствовала, что ни я, ни ты не сможем отворотить того, что должно произойти, и все совершится, неудержимо, словно здесь вмешалась какая-то чуждая энергия.

Он умолчал об ожиданиях под кленом, о своей Тогенбургской вахте. В его волосах прибавилось седины. Впервые он позволил себе нескромность заговорить о Зигрид в раздраженном тоне: она требует, чтобы мы показывались вдвоем, демонстрировали безупречные отношения — кому, людям, фрау Липкерханд?

— Ах нет,— тихо сказала Франциска,— она вас любит.

Он пожал плечами, как бы в ответ на замечание, лишнее логики. Дальше он не продолжал, и она ужаснулась холодному вниманию к женщине, которую больше не любят и которую все же шадят, не предают, к женщине с ее навязчивыми чувствами, навязчивой надеждой, помогающей ей терпеливо выжидать, упорно отстаивая свое место.

— Вы жестоко последовательный человек,— сказала Франциска, не подозревавшая о столкновениях и компромиссах в его прошлом. Она не хотела в нем сомневаться, она пропустила мимо ушей его предостережение: никто не может жить без компромиссов.

Ее вера в его стойкость мучила Трояповича.

— Не могу добиться, чтобы вы меня поняли,— сказал он,— так как я не в состоянии... так как мужчина должен быть не в состоянии говорить о некоторых житейских обстоятельствах.

— Я бы хотела ничего не представлять себе,— сказала Франциска.

— Не представляйте себе ничего, ничего, кроме...— Он помедлил, словно перед опасным прыжком.— По почкам я бодрствую, спов я вообще не вижу, лежу с открытыми глазами и думаю о вас... Поймите, о вас думает моя правая рука, каждый ее палец вспоминает прикосновение к теплой коже на вашем затылке... Я кладу на диск пластинку, каждый вечер одну и ту же... Шопен, я слушаю Шопена, ибо надеюсь, что и вы в это же самое время — эгоистическая надежда,— что вы не спите, не убежите от меня, далеко, в мир грез, где вы не услышите имен, ко-

торые я вам даю, никаких прелюдов, никакого Нового Света.

— Я буду слушать Новый Свет,— сказала Франциска,— в то же время, когда слушаете вы.

Тем не менее иссушали душу вечера, когда он не приходил, было испорчено жаркое воскресенье на озере, где их свел случай, Язваук хотел незаметно организовать отступление, но слишком поздно, Франциска уже захлопнула дверцу машины и сказала:

— Почему? Они нас видели, а меня в детстве учили, как надо вести себя в подобных случаях.

Время перематывалось в обратном направлении, снежно-голубая башня волос, глаза, как два ружейных дула, наблюдали за Франциской, которая с брюзгливым господином Трояновичем болтала о погоде и устаревших, но, к сожалению, еще необходимых брикетных фабриках, густые тучи клубились над озером и пляжем, защищенным острыми, как клинки, камышами. Она разделась и осталась в белом бикини, и Троянович смотрел вдаль, поверх воды.

На озере у самого берега стояли лодки с опущенными парусами, похожие на спящих лебедей.

Скрытая защитными очками, Франциска оценивающим взглядом рассматривала баскетболистку, стягивающую пуловер со своих мужеподобных плеч.

— Ага, у нее жирная спина,— прошептала она Язвауку. Тот молча лежал на прибрежном песке. Зигрид бросилась в воду, она плавала и ныряла, как дельфин; ее купальная шапочка, зеленый шарик, танцевала на медленно покачивающихся волнах, словно подернутых масляной пленкой и отливающих слабым мерцающим светом. Язваук погладил маленький живот своей подружки, твоя кожа, сказал он, блестит, как черный жемчуг. Троянович спал или притворялся спящим.

Зигрид — Диана, дева — прокладывала себе дорогу через камыши, отряхивая влажные волосы. Она щекотала Трояновича травинкой, шаловливо поддразнивала, зашурывала с ним, игра в догонялки без догоняемого, ах, уже больше не Диана, а гном-нереросток, дурачащий публику своими играми. Эта роль не по ней, подумала Франциска, чувствуя стыд и жалость, какие вызывает актриса, которая забыла свой текст и импровизирует, но как фальшиво, как неуверенно, однако держится и ждет, пока, смилостивившись над ней, опустится занавес.

Свежий вечерний ветер поднял крылья парусных лодок. Когда смолкли транзисторы, в камышах послышался крик выпи. Язваук вдруг вспомнил, что у него свидание, и они свернули почерневшие от копоти одеяла. Мы остаемся здесь, сказала Зигрид. Машину забрасывало на крутых поворотах, принц бранился, а Франциска, видевшая его глаза в зеркале, держала язык за зубами.

Троянович вывел мотоцикл с крестьянского двора. У шлагбаума им пришлось остановиться, он обнял колени Франциски, они слушали шум проходящего поезда, жимолость пылала вокруг будки обходчика, потом, наклонив головы, они проехали под шлагбаумом, промчались мимо деревни (ее судьба уже решена, ее спесут экскаваторы, раздавят их гусеницы, она еще не подозревает или не верит, что это свершится, как будто шиферные крыши, фруктовые деревья, душевные сараи являются гарантией неизменности), Франциска обхватила Трояновича руками, и они мчались по шоссе среди свекловичных полей, которые благословляла богородица в голубом плаще, мимо овлиных полей и сверкающих в лучах вечернего солнца распятий с кроваво-красными, покрытыми лаком ранами.

Куртка Трояновича развевалась и хлопала на ветру, деревья скользили вдоль линии горизонта, под колесами хрустнула какая-то деревянная решетка, краски неба, полей, кустов смешались, как мокрая тушь. Он едет слишком быстро: будто хочет нас погубить. Она не могла потом припомнить, чтобы в эти минуты испытала страх, возникло только чувство нереальности происходящего, словно с незаметно возрастающей скоростью они двигались в какой-то абстрактной местности. Неизвестно, чье лицо она увидит, если тот, сидящий впереди, обернется, повернет шею, — безымянного вестника, выполняющего задание, чье именно, с какой целью? Когда они опрокинулись на проселочной дороге, в глубоком, но щиколотку, песке, она не почувствовала ни страха, ни боли, но продолжала лежать с закрытыми глазами, притворилась мертвой, устранилась от него, удалилась на ничейную землю, здесь все так просто, ощутила она, нам не нужно разговаривать (не нужно лгать), мне не нужно тебя расспрашивать — о твоём долгом прошлом, тень которого пала на паш вечер и на шею вестника, бедный возлюбленный, однажды назвавший себя: довольный человек.

Троянович поднял мотоцикл, лежавший на ее согнутой ноге, и она слышала, как он волочит его по земле, слышала его шаги и шелест травы и неожиданно, как крик птицы, случайно залетевшей и заблудившейся в чужом лесу, всхлипывающий стон. Моя любимая, дитя мое. Он стал на колени, поднял ее голову, он баюкал ее на своих руках, и она открыла наконец глаза, с помутненным сознанием, сожалея о расставании с тишиной, его нежным страхом и травмами, разлетающимися как стекло на мелкие части, и только тогда она ощутила боль от порезов на коже. Почему ты хотел нас погубить? — сказала она, и он ответил холодно и насмешливо, как обычно: боюсь, я неумелый водитель.

Ее эскизы увяли в ящичке письменного стола, и она отказалась до позднего вечера засиживаться в бараке. Троянович ждал ее у крестьянского двора. Они ездили к маленьким озерам, к затопленным шахтам с отвесными берегами, в пригородные сосновые леса, в степь, где рос дикий люпин с его фиолетовыми, за одну ночь угасающими свечами; они видели покрытые копотью поселки брикетных фабрик, астры с налетом черноты среди серо-черной травы и горные карьеры, ступенчатые, расположенные, как виноградники, террасами, окруженные заржавевшими рельсами, между которыми росли березы и кусты лещины; они останавливались, и тогда Троянович объяснял ей, а если нужно было, чертил на песке залегание пластов, устройство тех или иных сооружений, способы осушения почвы, выдачи угля на-гора и механизм соединения мостов, которые позднее, с наступлением темноты, с установленными на них светильниками мерцают на дне долины как стальной дом, жилище-машина, странное и тем не менее вызывающее ощущение уюта сооружение, как сияние ярко освещенных окон.

В прохладном вечернем воздухе смешивались ароматы люпина, сена и полыни. Мотоцикл увязал в песке, скользил по дороге. Троянович обнял ее колени. Не торопитесь, я еще успею вас потерять. Она его подгоняла, ей хотелось, чтобы волосы развеялись на ветру, как красная грива жеребенка, о котором она грезила. Прижавшись к его спине, она покрывала поцелуями раздуваемую ветром куртку. Он крикнул ей через плечо:

— Вы мое великое приключение! — Сарац, деревянная башенка сельской церкви, под гоштовой кровлей звонил колокол. Мотоцикл лежал на меже. — Я больше не

знаю, кто я такой,— сказал Троянович. Франциска вздохнула. Колокол, аромат сена, вечное анализирование.— Нет, я не ищу причин, почему я в вас влюбился, хотя считаю глупым рассматривать любовь как божественное вдохновение, не отрезвленное рассудком, не сопровождаемое обычной попыткой подвергнуть испытанию небесный дар... Вы — мое приключение.

Она педовверчиво усмехнулась, я, думала она, приключение в жизни этого много бродившего по свету человека?

— Но я ненавижу эскапизм,— продолжал он,— вы же эскапада, которой я не должен себе позволить... вы вводите меня из моего мира, из моей жизни, которую я себе выбрал, в которой устроился и был счастлив — если употребить привычное для вас слово, только слишком привычное.— Он оперся на локти и посмотрел вниз на Франциску.— Ты не ведаешь, что творишь... Во всем огромном мире ты как дома...

— Не дома: в пути,— сказала Франциска, и он зевнул, прикрыв рот рукой.

— В пути,— повторил он,— истрепанный беллетристический обман, название для назидательных сочинений. Вы разочаровываете меня, дорогая, если вам нечего предложить мне, кроме клише целого, во всяком случае, заботливо склеенного мира.

— А что вы можете этому противопоставить? Вашу надменную покорность судьбе, ваше счастье маленького человека?.. Но я вам не верю,— сказала она со страстью в голосе,— вы обманываете себя, зачем? Я не знаю, я ничего о вас не знаю. Твое страшное молчание...— Она притянула его к себе, прижалась лбом к его лбу.— Если бы я хоть один раз могла прочесть, что там, внутри... Нет, не целуй меня. Не так. Пожалуйста. Не трогай меня... Поэтому, что я не хочу,— сказала она так же твердо, в свою очередь решив быть скрытной и молчаливой.

Задолго до того, как ему стало известно о существовании Вольфганга, которого ее друзья называли красавчик-идиот, клана Эксов, зятьев-экспроприаторов, о почти после развода, он уже знал ступеньки лестницы, ведущей в кирпичную виллу, официально опечатанную входную дверь, Важную Старую Даму, ее ожерелья, ее соленые шутки, красное бархатное кресло, и голубые ели, и грядки с маком, и человека с глазами совы в его книжном склепе, и церемонные поцелуи руки молодого фон Вердера, и стену в комнате Вильгельма с портретами Эйнштейна и Отто

Гана. Знал он их? Во всяком случае, получал сведения о них, зашифрованные послания из мира, столь же мало ему знакомого, как Франциска жилище во дворе дома в Берлине-Кройцберге: они обменивались своими воспоминаниями-фотографиями, раскрашенными листками из календаря, игрой-головоломкой под названием «раньше», в которой, правда, недостает кубиков, раздобыть которые уже невозможно, и картина предстает многократно искаженной, благодаря и времени, и тому, что желаемое принимается за действительное.

— Николаикен, — произнесла Франциска медленно, как название восточного города, лежащего на древних караванных путях. Она дивилась огромной семье из одиннадцати братьев. Сравнение с библейским сказанием напрашивалось само собой, и она назвала его, последнего и самого младшего, Бенджамином, сначала только шутки ради в связи с его выдумками о себе, а потом называла так все чаще, радуясь имени, которым до нее его никто не называл, Бенджамин, нежно-сокращенно — Бенц, и в конечном счете оно за ним осталось; он его принял.

Имена, которые он ей давал, превращали Франциску в крохотное пушистое существо, свернувшееся в клубочек у него под мышкой, нашедшее убежище под его протянутой рукой, папоминающей выпуклый свод, и это было то, чего я тогда хотела, не правда ли? Защищенность, как под шерстяным шарфом фрау Ковальской, как с Вильгельмом в то мысленно воскрешенное летнее утро, как под шатром твоей непромокаемой куртки, под которой ты укрывал меня в грозу, и я слышала биение твоего сердца и чувствовала твое дыхание. Твое лицо и твои волосы были мокрыми от дождя, гроза прошла стороной, еще некоторое время шел дождь, при косых лучах уже показавшегося солнца... я сказала тебе, что я счастлива (я не знала другого слова, и оно мне не было пужно, счастлива или грустна, любовь или отчаяние: тогда я обходилась небольшим количеством слов, математикой из сказки, разделяющей все в мире на доброе и злое), и ты сказал: это все, что я могу тебе дать, и, может быть, в этом заключается мое представление о счастье — давать кому-либо то, что я могу, вместо того чтобы путаться в системе требований, выполнить которые я не в состоянии.

Нет, я не понимаю, что ты имел в виду. Только сегодня, с опозданием, с опозданием, с которым, возможно, уже ничего нельзя поделать... Система требований — не

показалось ли это мне тогда столь же естественным, как мои собственные чувства? Я верила тебе... ах, Бен, мой малый запас слов, гербарий клише, в котором шуршат спрессованные, подернутые тонким слоем пыли листочки слов... Итак, доверие: к тебе и ко мне... как будто достаточно протеста «Вы зря расточаете свои силы!», чтобы Троянович и Бенджамин, человек и нарисованный мной его образ слились воедино: нестигаемый человек, который безболезненно, как омертвелую клеточную ткань, отбрасывает прошлое; будто ты в состоянии из неверного, обманного существования замкнутого индивидуалиста выйти, перешагнуть через него так же невозмутимо, с такой же непринужденностью, с какой ты перешагнул через цепь ограждения на той дороге, на которую я вступила как на новый континент, Васко да Гама в синих джинсах, ты улыбаешься, я вижу, не глядя на тебя, ты все еще улыбаешься, но я чувствую, что внутренне ты весь застыл, это защита от драм, патетики, напыщенных слов, обернись, Бен, оглянись, прежде чем мы потеряем из виду друг друга...

Разве я требую от тебя того, чего бы я не потребовала от самой себя? Погасить долг — Бен, если бы я могла, не заикаясь и не декларируя, выразить то, что чувствую, что за свою жизнь я должна заплатить, за эту биологическую случайность, дар, о котором я ничего не просила, — дар, отнюдь не щедрый, скорее заем, выданный на неопределенный срок... Ладно уж, не спрашиваю тебя о твоей книге, сегодня, во всяком случае.

Этот поселок при лунном свете, стучащая на ветру дверь... Я думаю, наступит день, когда я возненавижу Юла Бришера.

Письмо от Шафхойтлина. Его педагогический почерк, местами, впрочем, как бы стертый, словно малоразборчивые буквы призваны затушевать мысль, сделать фразу допускающей различные толкования. Пожелания его укутаны в коллективное «мы»: мы надеемся, что вы снова... Вкрапленная шутка, обращение «мой адъютант». Вскользь он сообщает, что в зоологический сад привезли двух малешких медвежат и пантеру, при этом он знает или надеется: я уловлю смысл, скрытый в этом гибком слове, первом в цепочке слов и образов — ярких камней, наизащипных моей памятью. Пантера, Рильке, парк, наши прогулки после совещания, фламминго, на ножках розовых в изящной позе (ах, последующие строчки он забыл), стихи, Омар Хайям... или другой персидский поэт, не помню, ни в одной книге я этого стихотворения не нашла: о любви к одному-единственному человеку, подобной воде фонтана, струей взмывающей вверх и потом миллионами капель падающей на других.

Желтые листья парят в воздухе, день в конце сентября (а ты был в Несебыре), мы возвращались после совещания в замке, в зале под великолепными сводами, где часами шел спор о рисунке для напиво в детском саду, о социалистической тематике, космических полетах, юных пионерах, фанфарах, необязательности, ибо ни к чему не обязывающими объявили Кёппель и барон Шульце лукавое солнце, сказочного петуха, взлетающие до неба качели, проект Древица, за который я голосовала, за который потом голосовал и Шафхойтлин: не потому ли, что он представил себе, как понравится Аннетте качели и забавные зверьки? Или потому, что его мучила совесть? Нет, не в его духе было заглаживать вину перед художником, тем

более перед его женой, бывшей фрейлейн Менцель... я не рассказывала тебе об этой девушке? Товарищ Менцель, секретарша Шафхойтлина, над которой он учинил суд за аморальное поведение, во время этой процедуры он сидел, а она стояла, беременная, в ею самой сшитом свободном платье, стояла перед столом судьи, и так бы и продолжалось, не будь при этом Ландауера, безмолвное участие которого в происходившей дискуссии заключалось в том, что он предложил ей стул.

Давняя история, и она пришла мне на ум лишь позднее, в парке, опавшая листва шуршала на усыпанных гравием дорожках, и мы видели маленьких горных козочек, грациозно опускавшихся на колени перед своей водопойной колодой, а я думала о рисунках для детского сада, о фрейлейн Менцель, о столе, за которым восседали праведники, и хотела спросить Шафхойтлина, как бы он повел себя сегодня в аналогичном случае... но вместо того сказала: странно, вы теперь другой, не тот, каким были раньше, и он спросил: как другой? И я отвечала: отзывчивее... или благосклоннее к отзывчивости, доступнее, может быть, не знаю, как всегда у меня это прозвучало неловко, вообще не принято так разговаривать адъютанту со своим начальником, и, так как он молчал, остановившимся взглядом смотрел сквозь проволочную решетку, стоял неподвижно, только массировал руку с бородавками, я смутилась и от смущения стала болтливой, топом, не терпящим возражений, перечислила ему свидетелей, которые тоже заметили эту осторожную и все-таки явную перемену, правда, при этом я умолчала о дерзких комментариях в столовой, о колкостях Язваука и предложила более конструктивное объяснение того, что произошло: повысилось качество руководства, в коллективе создан благоприятный рабочий климат — заимствованные из газет формулировки на тот случай, если он будет опасаться потерять свой авторитет.

У него покраснела шея, но он ничего не сказал, мы пошли дальше и увидели волка, скрестившего передние лапы, славного, как сторожевой пес, и парочку сычей в шпире, и наконец Шафхойтлин остановился перед вольером, чирикающим, визжащим, свистящим и порхающим, подняв и слегка повернув голову, словно собирался с духом, словно школьник, вызванный к доске, и он ответил мне устами этого Омара или Али, ничего не объяснив и ничего не добавив, просто прочел стихи, без выражения, о фонтане

и струе воды, которая взлетает и дугой падает вниз, а я смотрела на его подстриженный затылок над воротничком сорочки и думала, не бреет ли ему жена затылок каждое утро, и еще я подумала, что это прекрасное стихотворение и что он уже никогда его не повторит: никогда больше не позволено будет взгляду проникнуть в его потайной ящик, где он сберегает то, что теперь касается только его одного, а потом вынет ключ и будет носить его при себе, как будто в ящичке хранится какой-то секретный документ.

Один только раз... может быть, мне пригрезилось, его влажное лицо, наклонившееся над моей кроватью, через релинги моего корабля, с высоким бушпритом, похожим на вытянутую голову мчащегося в стремительном галопе коня... я сплю или у меня жар, его лицо отражается множество раз, как в зеркалах, я его назвала Беном?.. ты снова был здесь, в городе, но от меня неизмеримо дальше, чем если бы находился на пляже в Несебуре или в горах Памира...

Итак, его письмо: информация, о которой я не просила. Центр строит универмаг, над проектом работают в Лейпциге, по на оформление фасада, пишет он, мы могли бы повлиять. Приманка? Довольно тощая. Центр же города должен быть, или вероятно, или возможно, будет готов в следующем году или годом позднее. Первые строительные сооружения на Манеженплатц. Звучит педурно, не правда ли? Вторая приманка пожирнее: утверждены или почти утверждены ассигнования на строительство театра в сумме двенадцати миллионов марок. Двенадцати. Смехотворно. Сарай, используемый для самых разнообразных целей — для театра, кино, концертов, конференций, с отвратительной акустикой, деревянными стульями, гардеробами, напоминающими монашеские кельи, если вообще... Как будто он мог соблазнить меня своим городским центром, планы которого сто раз обсуждались, отвергались и составлялись вновь... А если даже и так, что будет собой представлять этот центр? Несколько домов, стандартный ресторан, площадь для демонстраций и обычный сигарный ящик для Совета и окружного руководства... А улица, по которой мне хотелось бы флаирировать, полная жизни, дышащая улица, стоглазые линии тротуаров и витрин, где можно быть одной, но среди людей, где один шаг, один взгляд может стать началом истории, которая, возможно, будет написана, а возможно, уже будет закончена до того, как

ты написала только первую фразу; а мой пассаж под стеклянным небом? Эскизы сделаны и перечеркнуты, то, что намечено, можно в лучшем случае увидеть в модели, белой и привлекательной, на какой-то выставке... или — война нервов, непрестанная борьба с организациями, ведущими капитальное строительство, борьба за каждую лавочку, молочный бар, кафе-мороженое...

Когда я сделала витрину на магистрали, каким неповоротливым оказался наш аппарат, какие надо было прилагать усилия, изобретать пути, организовывать телефонные звонки, сочинять разного рода докладные записки — и все для этого милого пустячка, маленькой светлой бусинки в серо-каменном ожерелье... а в одно прекрасное утро я нашла витрину разбитой, и осколки целый день валялись на мостовой, когда я проходила мимо, у меня на душе было так, словно в меня попал крохотный кусочек волшебного зеркала, как в той сказке о кривом зеркале, разлетевшемся на тысячи осколков: кому в глаз попадет хоть крохотный осколочек, размером не более песчинки, тот увидит все в искаженном свете... Некоторым людям осколок такого зеркала попадает в сердце, и тогда происходит ужасное: их сердце уподобляется куску льда... История Снежной королевы, ты помнишь, и маленького Кея, растоптавшего розы: они безобразны, сказал он, и полны червоточин. Таким вот, безобразным и источенным червями, казался мне порой весь город, я ненавидела его, как в тот воскресный вечер, когда я встретила вас, и ты поспешно отдернул руку, лежавшую в руке другой женщины.

Я ненавидела однообразие его жилых массивов и улиц, названия которых были приведены на табличках на двух языках (несмотря на это, люди, разыскивавшие пужный им дом по определенному адресу, путались, как в лабиринте), площади, остававшиеся не замощенными на протяжении ряда лет, осенью утопали в вязкой грязи, а весной сильные порывы ветра вздымали тучи песка, и массы потных людей, наполнявших магазины по окончании рабочего дня, толнящихся у касс, где ты обязан предъявить для осмотра свою сумку — «не дожидаясь напоминания», как гласят объявления, — вой гудков днем и ночью, машины с громкоговорителями, извергающими музыку, главным образом марши, кричащие плакаты на стенах, а не на афишных тумбах, гремящая реклама футбольных матчей, районных спортивных соревнований, лучших испол-

пителей модных песенок и призывы «Национальной стройки» экономить воду.

Но какова была неожиданность, как была я горда в тот вечер, когда мы сидели у ног ангела Аристида и впервые увидела в небе отблески огней!.. Настроение? Пожалуй, да. И оно. Но никаких дьявольских осколков в глазу. Я могла смеяться над заборами, пережитками ревности, свойственной собственникам, которые я нахожу странными и ненужными, как миши-драконы Галапагосов; поборники оград, возможно, кто знает, приехали из деревень или маленьких городков, они привыкли огораживать свой сад, свой клочок земли. Я была растрогана, увидев на газоне елочку, мирно соседствующую с автомобильной шиной, покрытой ярким лаком и окружавшей клумбочку львиного зева; беременных женщин, чьи дети будут жить в чужих городах; мужчин, прибывающих на очередную смену в переполненных автобусах и разрабатывающих уже истощенные угольные пласты глубокого залегания: они знают, наступит день, когда компьютеры определят дальнейшую судьбу города, а следовательно, судьбу его обитателей, место их будущего жилья, их новые профессии — шахтер, к примеру, станет работником химической промышленности, — несмотря на это, они устраиваются прочно, словно навсегда, рожают детей и сажают деревья, пустынные, поросшие травой участки превращают в сады: они создают для себя родину.

Несколько раз мне довелось сопровождать делегации из Финляндии, Польши, Франции, профсоюзных деятелей, которые в книге отзывов оставляли хвалебные записи: комфорт для рабочих. Низкая квартирная плата. Здоровый город. Мы пожимали друг другу руки, они благодарили, я благодарила. В убогом кабинете Шафхойтлина мы пили кофе, который нам пожертвовал Язваук из своих личных запасов; чашки Гертруда одалживала в другом учреждении, фарфор, фаянс, пластмассовые бокалы. Ломкие стулья, железная печурка, мне было стыдно из-за тусклой окраски стен. Так мы принимаем гостей, сказала я Шафхойтлину, однако времена первых поселенцев давно прошли, Зола — романтическое воспоминание людей вашего поколения, а Брухштедт в лучшем случае подстрочное примечание в учебнике истории.

— Но наши средства нам не позволяют, — сказал Шафхойтлин. Он прижал руку к животу, он уже давно не пытался скрывать от меня болезненные приступы гастрита,

однако не допускал ни особого внимания к себе, ни жалости. — Вы ведь нас давно уже списали со счетов, — вдруг сказал он. — Герои позавчерашнего дня...

— Лучше, когда обходятся без героев, — сказала я. — А что же произошло с романтикой?

— Легенды сегодняшних кандидатов на инфаркт, — сказал он с усмешкой, которой я у него еще не знала; пожалуй, я предпочла бы каменное выражение лица. Гертруда шумно убирала со стола фаянсовую и пластмассовую посуду. Подождав, пока она выйдет из комнаты, Шафхойтлици сказал: — Те самые, которые вы будете рассказывать вашим детям... Тяжелый труд в тяжелых условиях...

Я думала о вашей редакционной мансарде, о тебе, об «опеле», обладающем классовым инстинктом, я была сыта этой темой и сказала: сегодня руководители наших торговых организаций выпьют бокал шампанского у ярмарочного стенда, принадлежащего Круппу. Вы же на вашей стройке на Сталини-аллее ставили своим гостям на стол бутылку водки, а человека от Круппа не пустили бы на порог, тем более в качестве гостя, но это было давно, в каменном веке.

Он переменялся в лице, словно услышал что-то подозрительное: каменный век или Сталини-аллее — название, внушающее опасения и вызывающее беспокойство, почему — я не понимала: я еще не прочла тогда твою статью о прославленном новаторе Ш., напечатанную на желтой, как пергамент, газетной бумаге пятидесятих годов.

Чтобы отвлечь его, я перевела ему комплименты Пьера в книге отзывов, его благодарность, выраженную в стиле обращения к великой нации. Этот Пьер был человек маленького роста с нахальным и грустным лицом уличного мальчишки, он очень мне понравился, мы все время сидели рядом, в автобусе и позднее в бюро, и Шафхойтлици обращивался к нам множество раз, слишком часто, и спрашивал: что он сказал? А я переводила первое, что мне приходило в голову: он говорит о городских предместьях, зодческих идеях Марло, о Шагале в парижской опере, и наш переводчик держал язык за зубами, только глаза его смеялись.

Он не называл Нейштадт лучезарным городом; тем не менее в его галльском тексте говорилось о сверкающем солнце, достоинстве и здоровье города. И подвись — ваш товарищ Пьер Лафарг.

— Здоровый город, ну конечно. Французы вежливый народ, — сказала я.

— Вежливый? Этот навязчивый молодой человек? — сказал Шафхойтлин.

Живая жестикуляция, безвозрастное лицо оливкового цвета, слишком пухлые губы.

— Ему по меньшей мере сорок пять; он сражался в рядах маки. — (К этому я чуть было не добавила: когда вы вместе с другими еще маршировали в рядах гитлерюгенда.) — Очаровательнейший из деятелей в области коммунальной политики, каких я когда-либо... Впрочем, мы действительно беседовали об этих красных предместьях. Кроме того, он похож на Бельмондо.

— Кто такой Бельмондо? — спросил Шафхойтлин.

Профсоюзных деятелей мы возили по городу в микроавтобусе, гостей более высокого ранга — на взятой взаймы «волге», показали им фасады, копвейер, подъемные краны, бригадиров в белых шлемах, снабженных радиотелефонами, квартиру — отнюдь не первую попавшуюся: книжный шкаф и новая мебель являлись обязательным условием, и, кроме того, в квартире, на которую пал выбор, за свеженакрахмаленными занавесками хозяйка дома ждала условленного «случая», с передником в качестве необходимого атрибута, надетом на одно из нарядных, если не на самое нарядное платье, вода для кофе уже бурлила, тоже случайно, нет, вы не помешали, пожалуйста, если хотите посмотреть, как мы живем, мой муж, к сожалению, во второй смене, да, на комбинате, работает на прессе, для повышения квалификации, во всяком случае на горных разработках, да, мы довольны, да, мы уже чувствуем себя как дома (прежняя родина Эспенхайн, Бёлец, Цвенкау, темные облака дыма затянули воспоминания об обветшавшем доме в поселке — мокрые стены, уборная на улице); правда, нам все же не хватает садика, зеленого горошка, розовых флоксов, вишневых деревьев, вообще-то мы очень довольны, не квартира, а мечта — две комнаты, ванная, кухня с встроеным оборудованием, квартплата пятьдесят семь марок, включая отопление, да, мы так благодарны, наше государство, говорит мой муж... Мы демонстрировали детское счастье и гигиену... То, чего наши гости не видели, — драки в дни выдачи зарплаты, пьяные, а в дни традиционных выпивок их было такое количество, что на них уже никто не обращал внимания, и дети не глазели разинув рты, испуганно или украдкой хихикая, если один

из них стоял, прислонясь к фонарному столбу, и медленно сползал на мостовую; машины «скорой помощи» с включенными сиренами; детские банды, ворующие в магазинах конфеты, мятные лепешки, сигареты; детей приводили к родителям, гневным, сторающим от стыда, не желающим верить в то, что произошло, и растерянно ждущим ответа на вопрос «зачем?», ибо их ребенок в этом не нуждался, он мог получить конфету, не прибегая к опасным авантюрам, стоянию на стреме, воровству.

До нас доходили слухи, редко перераставшие в точную информацию, слишком редко, по моему мнению, ибо то, что здесь происходило, касалось нас, планирующих и строящих город, и было нашим кровным делом: это наша вина, сказала я Шафхойтлину, а он пожал плечами и ответил: ваши суждения всегда так безапелляционны! Любовная тоска, плохая отметка, неудачи на работе — и уже короткое замыкание, самоубийство, бегство для слабохарактерных, позвольте, вы же не можете ответственность за это возлагать на архитекторов.

Могу, думала я, но не могла объяснить ему все, что было мной проверено, записано, подтверждено цифрами и статистическими данными. Ну а ночные нападения? Я вспомнила о моем смехотворном оружии, связке ключей в кармане брюк. Все равно крик о помощи не долетит до Уленхорста, сказала я, чтобы взволновать его. Позавчера, среди бела дня, у пивной в третьем жилом комплексе прикончили одного парня. Четверо против одного, а кругом стояли и смотрели человек двенадцать.

Он уперся ногами в землю. Слухи. Папикерство.

— Парень из нашего дома, — сказала я. — Я знаю его просто как Мальте. Такой спокойный тип, с побережья... Они пробили ему череп: навряд ли выживет.

— И при этом были люди? — спросил он через некоторое время.

Мужчины.

Он еще сомневался? Он, он бы, конечно, вмешался, думала я, независимо от того, кого избивали, его друга или неведомого ему Мальте; он бы рискнул, не считая это чем-то особенно смелым, тем более безрассудно отважным.

Бывают вечера, сказала я, когда воздух предельно насыщен... я вся напряжена, мне тоскливо и странно, как перед грозой... Люди пожилые — у телевизоров. По пятницам кино закрыто. В пивной, что в старом городе, танцевальные вечера не устраиваются. На углах маячат под-

ростки со скучающими лицами, хотя в руках у них воют транзисторы, а рядом длинноволосые девицы. Они скучают? Я не знаю о них ничего, не знаю, о чем они думают и говорят — если они вообще когда-нибудь говорят, — чувствую только, что-то готовится.

Люди стояли и смотрели, проговорил Шафхойтлин глухим голосом с одышкой, как во время приступа, сомнительно, чтобы это несчастье, возможная смерть некоего Мальте, трогала его больше, чем тебя или меня газетное объявление в траурной рамке; от чего он и вправду страдал (и почему он ввязался бы в драку), так это от нарушения его собственных законов, более строгих, нежели законы государства. Нет, сказал он с таким выражением на лице, как будто у него на глазах прочные ступы превратились в кулисы, в парус, раскачивающийся на сквозняке, рисунок, сделанный грубыми мазками, дающий вблизи искаженное изображение того, что на расстоянии предстает как организованное пространство, пейзаж, город, комната, но вовремя отступил, спасся от карикатурного беспорядка, восстановив пущую дистанцию, — нет, сказал он еще раз: это единичный случай.

Мальте умер на следующей неделе. Виновные были впоследствии осуждены; один уже раньше имел судимость за нанесение телесных повреждений, об остальных коллеги ничего не знали, ничего особенно хорошего и ничего особенно дурного. На работе они смутьяны, сказал бригадир, а чем они занимаются после работы, в общежитии, не мое дело, что, я должен их привязывать? У нас неплохо зарабатывают, молодым парням не о ком заботиться, вечерами они в пивной — драки, конечно, это бывает, но такое непостижимо, несчастный случай. Кто именно ударил Мальте головой о мостовую, установить не удалось: обвинения ссылались на то, что были пьяны, свидетели (соучастники, сказала Франциска) давали неясные показания, противоречили друг другу или притворялись, что ничего не видели.

На похороны Франциска пошла с комендантом, застенчивым учителем и несколькими плотниками. У Мальте не было родственников, кроме единственного брата, который ограничился тем, что прислал венок (далекое путешествие с острова Рюген, это понятно, тем более летом, в разгар сезона) и в надписи на черной ленте заверял, что память о нем сохранит навеки.

Гертруда идти на похороны отказалась.

— Ненавижу кладбища. Возьмите с собой вашего господина Ивановича, он часами дежурит у двери, дожидаясь вас понапрасну, а для этого у вас нашлось время.

— Мальте был нашим соседом, — сказала Франциска.

— Моим не был. Ни соседом, ни другом. Никем. — Она отвела глаза. — Вы проявляете заботу о человеке, только когда он мертв.

Ее хриплый голос опровергал то, что произносил торжественный баритон приглашенного комбинатом оратора: вы, вы, ты, Франциска. Цветущая молодая жизнь, провозглашал оратор. Плотники потели в своих бархатных жилетах. Небольшое кладбище, несколько десятков могил. (Статистические данные свидетельствуют, что средний возраст жителей города Н. — двадцать семь лет; по тем же данным, в Н. самый высокий процент детского населения.)

В раскрытую могилу Франциска бросила букет алых роз.

Его звали Мальте, и вечерами, когда комендант показывал свои фокусы, я сидела рядом с ним, мне было приятно смотреть на его профиль, если он не поворачивался ко мне своим беловато-мутным глазом, а уходя, он говорил «привет» своим певучим голосом жителя побережья, раньше он был моряком, но об этом он не рассказывал, он вообще был скуп на слова, была ли у него девушка? где он вырос — в рыбацкой деревушке, между хижинами с камышовыми крышами и роскошными сапаториями на «Промеnade», дюнами, поросшими жесткой травой, и музыкальным павильоном в форме раковины? искал ли он в детстве яштарь, окаменелых морских коньков, мечтал ли пойти прибитые к берегу обломки судна, чинил сети, смолял лодки? Кто пожалеет о его отсутствии? *Незабвенный* — лента венка блекнет на солнце, в один прекрасный день он уехал бы, как сотни других до него, и был бы забыт так же, как они: какое-то место в людской памяти ему обеспечивают обстоятельства его исчезновения, убийство в драке, история, которую будут рассказывать, приукрашивать, подвергать сомнению, дополнять разными деталями, когда мертвый давно уже потеряет свое имя и будет просто случаем из тех первых лет, строкой в неписанной истории города.

Учитель добросовестно бросил на гроб три лопаты земли. Оратор поспешил незаметно удалиться, предварительно пожав Франциске руку, возможно введенный в заблуждение алыми розами, а затем ушли и плотники, Франциска

и комендант еще помедлили у могилы, и комендант сказал:

— Да, так оно и бывает... Один раньше, другой позже... Да, так вот. — И когда никого уже не было видно вокруг, нагнулся и медленно бросил три гостя земли на розы и деревянный гроб.

Они шли между рядами могил, и комендант вполголоса читал на плитах — визитных карточках из песчаника, мрамора, дерева — имена своих бывших постояльцев. Никого старше тридцати. Антон, этот тоже жил у меня, котельщик, двоих в последнюю минуту удалось спасти, да, несчастный случай на производстве... Фридрих Карл, это вы должны были знать. Отравился газом... причины точно не известны — любовная тоска? Наверно, но он не оставил ни записки, ни единой строчки, большинство пишет перед этим письма, некоторые даже несколько... Рёдер... погодите минутку... Рёдер, да, один из первых, немного чудаковатый, пожалуй, со своим мотоциклом палетел на шлагбаум. Остались жена и двое детей, только-только получили ордер на квартиру. Жена все-таки переехала сюда, хотя бы из-за квартиры и пенсии — вдова шахтера, ну она, конечно, утешилась, теперь у нее четверо малышей, один от грузчика с мебельного фургона. Она контролирует укладку рельсов, тоже нелегкая работа для женщины, все время на улице, в ветер и непогоду с рупором в руках...

Довольно. Хочу домой. Перед одним холмиком, еще открытым венками, она вздрогнула. Коричневые гвоздики, увядшие гладиолусы, скомканные, как папиросная бумага, и табличка, надпись золотыми буквами *Гертруда*. Никакой реплики коменданта. В городе слишком много новых людей, разве можно знать каждого.

Мы сидели в той же комнате, думала Франциска, словно все, что существует сегодня и случится завтра, уже стало прошлым: раскрытые двери, разговор или стычка с Шафхойтлинном через голову Гертруды, неусынного стража, она стучит на своей пишущей машинке, ненадолго останавливается и снова продолжает стучать, мокрые следы ее подошв, когда она шлепает по полу, из упрямства, так как Шафхойтлин не выносит, когда в бюро появляются тазы с водой, сотрудницы дефилируют с полуобнаженной грудью, а мужчины с распахнутыми до пупа сорочками, когда он видит вялость и сонливость днем, слышит стенания по поводу жары, этих отвратительных барачков и

невыносимых условий труда. Между прочим, прокатные станы летом не прекращают работу; доменщики, сталевары работают при семидесяти градусах жары. Невыносимые условия? То же самое он слышит зимой, отвратительные бараки, холодные как лед ноги, заочевевшие пальцы не могут удержать рейсфедер и чертежный карапдаш; при этом жарко пылают чугунные печки, во всех комнатах включены рефлекторные лампы, расточительно расходуются электроэнергия, грубо нарушается режим экономии.

Чувство собственной вины заставило ее на какое-то мгновение со страхом отождествить неизвестного ей ребенка пяти лет (она определила это, увидев на табличке даты рождения и смерти) с живой Гертрудой. Живой, во как? Это легко себе представить: у себя в комнате она лежит, уставившись в стену. В пивной в старом городе над ней смеются, она ругается последними словами, от страха становясь злобной, как загнанная зверь. Иногда, довольно редко, ее можно встретить у фрау Хельвиг, где она пьет кофе маленькими глотками, оттопырив мизинец, одетая, как дама с запада, в нейлон или джерси, — брат еще шлет посылки, этот босс одного землячества изгнанников, лишенных своей профессии, глашатай, бросающий клич: «Домой в Гумбинен!», шлет рождественские посылки сестре, живущей на Востоке: на рождество, говорит Гертруда, они чувствуют угрызения совести и вспоминают обо мис, как о бездомной кошке... Наш сочельник в «Голубе», холостяки, бумажная елочка на стойке, Гертруда предложила мне сигарету «Пэлл-Мэлл», повторила древний ритуал, предложила раскурить трубку мира, предложила дружбу... свою ревнивую, смиренную, строптивную дружбу, которая гнала меня в пивные, впутывала в неподобающие истории; отвечала ли я на нее? Возможно, во всяком случае пыталась, одинокая сама, чужая в этом городе, искавшая опеки, но нашедшая подопечную...

Ее заговорщически-доверительный шепот, когда она увидела на моем запястье шрам: вы тоже? Нет, никогда, мы не сестры. Причудливое сочетание сочувствия и гнева: гнев не на Гертруду (хотя она сама отказалась от моей помощи), а на обстоятельства, на людей, на войны, на беженцев, на сплетение событий, сумму их мы называем судьбой, слово, которое Бен не хочет слышать, судьба, предпринятые ею негодные попытки спасения, охота за потерявшими душами, ах, он высмеивал меня, как будто я лейтенант Армии спасения в форменной фуражке и с

сборником псалмов в руке... но иногда я впивалась ногтями ей в тело, она не защищалась, она отказывается, не желает, чтобы ее спасали... он не прав, она нуждается в ком-то или во мне: вы проявляете заботу о человеке, только когда он мертв, сказала она сегодня днем; угроза или просто констатация? — без горечи, подумала Франциска, без возмущения, и это самое страшное.

Командант сказал, словно угадав ее мысли:

— Те, которые больше всего об этом говорят, ничего над собой не сделают. Но другие, те как бы оставляют после себя должников, вы понимаете... вы, мол, что-то упустили, опоздали.

И пусть всего на один только час, думала она. Мы видимся каждый день, но я потеряла ее из виду. Защищаясь, она говорила себе: моя работа, сверхурочные, специальная литература, я не успеваю. И Бенджамин — господин Иванович, сообщает Гертруда, когда он звонит, — Бен, которого я жду каждый вечер, как Суламифь на своем ложе... он всегда приходит словно в последний раз и уходит, даже не кивнув на прощанье, лишь однажды ночью он вернулся, я видела у него на глазах слезы, я хотел бы, чтобы я был вам нужен, сказал он... наши поездки по шоссе, между полями ячменя и пастбищами и непорочными Марьями в голубых одеждах... Бен, возможно, сказал бы холодно им, провически: отведите ежедневно один час для проработки темы: «Будьте-добры-друг-к-другу». Пометка в календаре, беседа с кадрами касательно заботы о душе в двадцать часов в «Голубой мыши».

Они перелезли через окаймлявшую кладбище живую изгородь.

— Когда мне пришлось покинуть цирк, — сказал командант, — я тоже думал: теперь всему конец. Плечи. Растяжение сухожилий, надеялся обойтись без врача. Но эти боли... Для публички надо быть в форме, не дать что-либо заметить, улыбаться, улыбаться, поклон, тун, сильный человек, а потом в фургоне можешь выть от боли. Накинь халат и пропусти нару рюмочек... Приходилось вам бывать в цирковых фургонах? Неплохая штука. И уютная. Только во время каждой посадки вся посуда вдребезги. Ну и зарабатывали за сезон большие деньги, восемь месяцев до зимнего перерыва, ежедневно два представления, а потом плечи, и как ултермап... трупные больше не нужны. Прощай, цирк. Что теперь, на конопшню? Нет. Подсобным рабочим? Уже не как артист, но с этими типами,

которые здесь бездельничают, грубый, неотесанный народ или совсем еще желторотые мальчишки, желающие что-то испытать в жизни. Тогда уж лучше быть комендантом, к примеру... Да, и следить за внутренним распорядком,— внезапно добавил он вполголоса.— Конечно, если бы все мои жильцы были такие, как вы... но и вы должны держаться этих правил, хотя бы из-за других.

Она попыталась засмеяться.

— Кажется, я не дебоширка.

Беспомощный великан. (Знаешь, это был действительно человек большого сердца.)

— Я очень сожалею, из-за вас, честно говоря... но мужчины приходят, иногда до полуночи...

— Все очень невинно,— сказала Франциска краснея.— Мы разговариваем, порой он даже не садится, надо ведь иметь возможность где-то поговорить, и если вы что-то подозреваете, то ничего такого нет...

— Будет, будет,— сказал комендант,— я хорошо в этом разбираюсь, такие вещи я вижу с закрытыми глазами.

— Но ведь господин Шафхойтлин тоже бывает у меня.

— Ах, Шафхойтлин — это совсем другое дело,— заметил комендант, словно речь зашла о бесполом существе, но не пренебрежительно, а скорее с уважением.— Достойный человек,— добавил он,— в своем роде.

— А господин Троянович тоже, конечно, совсем другое дело и человек недостойный.

— Теперь вы становитесь язвительной,— сказал он печально,— поверьте, я последний, кто упрекнул бы человека в том, что он сидел, подумайте сами, куда бы это завело меня с моими парнями, я вовсе не собираюсь уточнять, кто в чем провинился и сколько их, отбывавших срок в исправительных лагерях, но работавших на комбинате, на сооружении рельсового пути, на отвалах горной породы,— в общем, майских жуков, которые потом здесь осели.

— Майских жуков? — беззвучно переспросила она.

— Из-за желтых полос.— Он вздохнул.— Так, наверно, было нужно, эта окантовка одежды и вшитый желтый кусок материи, хождение всегда только строем, конвой с карабинами и одна или две овчарки... но этого некоторым образом стыдятся и стараются скорее пройти мимо — можете ли вы себе представить? — воры, убийцы, совершившие преступления против нравственности, все это пре-

красно сознаешь, и, несмотря на это, видеть заключенных, когда сам находишься на свободе...

Молчание, запоздалый испуг упали как решетка между ней и словесным потоком, усердием коменданта, который слишком поздно увидел, что она ни о чем не подозревала и только сейчас все поняла: он смотрел на нее сверху вниз, бедная малютка, она прибыла сюда совсем из другого мира, из мира затишья (война? — в худшем случае детские воспоминания как о грозе), родители, придающие большое значение хорошим манерам и соблюдению приличий — не играй с уличными детьми, средняя школа, экзамен на аттестат зрелости, высшее учебное заведение, диплом, подобающая и хорошо оплачиваемая работа: ровный путь, никаких срывов; анкета, безупречная, как напечатанный в газете портрет, признанная, желательная и отмеченная как типичная, если после двоеточия, за которым следуют данные о социальном происхождении, будет указано, что отец — рабочий; биография, краткая, в полстранички, которую она, не задумываясь, не покраснев и не используя завуалированных оборотов речи, сразу же может написать, а что касается майских жуков, заключенных, для нее это иностранные слова; он сказал:

— Неужели вы не знали?

— Почему же, — сказала Франциска, — конечно, знала.

Она думала: вот отчего он ненавидит дрессированных собак. Его отвращение, когда я рассказывала ему о доге Регера; его строгое осуждение людей, имеющих дрессированных собак: слабые характеры или фельдфебели по натуре, они наслаждаются, когда могут отдавать приказы, вкушать власть, видеть перед собой хотя бы животное, которое перед ними пресмыкается. Она вежливо сказала:

— Пожалуйста, не беспокойтесь, в будущем мы будем строго придерживаться правил внутреннего распорядка. Бегать по улицам, просиживать в ресторанах, торчать в подъездах, как семнадцатилетие.

Крепкие у нее нервы, подумал комендант. Правила распорядка — и это одну минуту спустя после ужаса, охватившего ее, когда она узнала, что ее друг находится в заключении. Прозакладываю свою голову против старой шляпы, что он ничего ей об этом не говорил: «Конечно, знала». Да, таковы женщины. Они поддерживают своего друга или мужа, все равно, что бы он ни натворил. Политический, сказал он как бы в утешение, умалчивая о

том, что сам думает о политических с того дня, когда сваял со стропил этого чокнутого Либшера: чувствительные интеллигентшишки, они либо просто конченные люди, либо, как первые христиане, гордятся своим мученичеством, либо непостижимо, чудовищно равнодушны, как Троянович — он тоже где-то застрял, сказал комендант Франциске, ему нет никакой необходимости работать водителем самосвала в этой чертовой глуши, ему, с его связями! Один брат в министерстве, другой в посольстве в Москве...

— Этого он никогда не сделает, — сказала Франциска, — использовать связи он считает бесчестным.

— Во всяком случае, он мог бы добиться реабилитации, — отвечал комендант, — но его это меньше всего беспокоит, хотя, по слухам — впрочем, все они так говорят о себе, — его обвинили неправильно, произошла ошибка.

И Франциска выдала свою неосведомленность, спросив его, а может быть, себя:

— А если ошибки не произошло?

Ветер сотрясал яблони вдоль шоссе. Франциска надкусила зеленое, твердое, как дерево, яблоко и выплюнула. Через забор сада свешивались черновато-красные мальвы; она вспомнила дни рождения в далеком детстве, цветные фонарики, ярмарку, бумажные розы в тире. Она поздоровалась со своим ангелом, добрый день, моя безмолвная любовь; под высокими строгими деревьями она как-то отдалилась от близкой, уже зримой действительности (крыши барачков за оградой блестели, будто мокрые от дождя), словно вступила в чуждое ей, но узнавшее, знакомое по сновидениям место, слушала тишину, дыхание спящего Пана, нерешительно протянула руку и коснулась края одежды, ниспадающей складками на ноги (или на копыта?) статуи: это моя рука, это я, это камень, прохладный в тени деревьев, это каменная фигура, которую я назвала Аристидом, забыла почему, я могу без страха смотреть ему в лицо, на рот, на губы, которые он не будет кривить, его разбитый нос, Беп, осторожно, не думать об этом! Жара, кладбище, вертолет, лесной надзор, запах пожаров, весть о некоем Трояновиче, майские жуки, я одурела от жары, крыши потеют смолой, Шафхойтлин ждет, да, мы похорошили Мальте, вани «единичный случай»... Она взяла себя в руки, вычеркнула из памяти исправительный лагерь, истории людей, покоящихся под мраморными плитами, цирк и правила внутреннего распорядка.

— Ну что там было? — спросила Гертруда, словно ожидая рассказа о свадебном торжестве, и Франциска сказала:

— Невеста вся в белом и подружки в розовом, что же еще? — и захлопнула за собой дверь. На ее столе скопилось гора записок, писем, еще писем, посланий, которые Гертруда принесла за последние два часа, вернее, швырнула ей на стол: был опрокинут оловянный стаканчик, в котором Франциска держала карандаши, перья, кисточки, на самый край стола отесили бабочку с тушью отпечатанные на гектографе циркулярные письма и заключения районной санитарной инспекции, вазе для цветов явно угрожали жалобы домохозяйственного комбината и жалобы от населения (не вывозят мусор, не мостят улицы, не хватает мест для стоянки автомашии, в школе нет физкультурного зала, кинотеатра все еще нет), жалобы владельцев автомашии, требующих постройки гаражей, некоторые — хотя бы одного, лично для него, данного владельца автомобиля, жалобы от владельцев садовых участков, до которых дошли слухи, что они в скором времени будут изгнаны из своих садиков, от своего с таким трудом возделанного, обводненного и засаженного клочка земли.

Франциска вздохнула. Каждый день одно и то же: жалобы и заявления, бумажный хлам, в один прекрасный день я сама превращусь в клочок бумаги, совсем не так представляла я себе работу адьютанта, перспективы? ответственность? возможное влияние? (а как далеко простирается влияние Шафхойтлина на процесс градостроительства?), он хоть и делит работу со мной, но жирную рыбу — решение главных вопросов — оставляет за собой, мне же достается только мелкая рыбешка.

Она продиктовала Гертруде несколько писем: нет, строительство гаража в настоящее время планом не предусмотрено, возведение собственных гаражей не разрешается, указание управления районного строительства, за нарушение такой-то штраф, краткий перечень запрещенных сооружений, с дружеским приветом, подпись.

— Вы же знаете, это бесполезно, — сказала она в заключение, — они все равно строятся, где и как хотят, из ворованных материалов, и никого это не беспокоит.

— Машина стоит больших денег, — сказала Гертруда, — люди долго их копили, а теперь их любимца мочит под дождем.

— Я не волшебник, — проворчала Франциска. — Паль-

ше напишите то, что вы уже наизусть знаете, только вежливо: весьма сожалеем и т. п., садовые участки должны быть ликвидированы, весной начинается подготовка местности для застройки.

Гертруда сложила руки на клавишах машинки.

— Нет. Вы никого не жалеете, вам наплевать, что людям придется бросить свои участки.

— Это же территория стройки, вы отлично знаете. Что же, прикажете экскаваторам обходить их грядки?

— Вы-то нет, вы не будете обходить ни грядок, ни людей. Будь вы начальником здесь, в конторе,— она указала на прикрытую дверь кабинета Шафхойтлина, который должен был слышать ее громкий и грубый голос,— тот, он просто деревянный, вы же как бетон. Что вы знаете о других людях и о том, что доставляет им радость? У вас, у вас только теории в голове и школьные идеалы, представь вам свободу действий, вы построите чертовски шикарный город, целиком из стали и стекла, в котором люди будут замерзать как собаки.— Франциска хотела запротестовать, но Гертруда не дала ей и рта раскрыть:— Изюм вы заготовили крупный, но тесто для пирога, который хотите испечь, еще не замешено... Вот так, это то, что я давно хотела вам сказать.

По выражению ее лица, по тому, как она нахмурила лоб, на который свисали пуделиные кудерьки, Франциска поняла, что Гертруда сама озадачена.

— Хорошо, теперь вы высказались,— ответила она с притворным равнодушием,— но какое все это имеет отношение к владельцам садовых участков?

— В субботу у них был праздник, они развесили цветные фонарики,— сказала Гертруда изменившимся, то скливым голосом.— Везде гирлянды красных и желтых фонариков, и музыка до глубокой ночи... Как день рождения в большой семье... но я только издалека, через забор, мы для них чужие...

— Ужасно трогательно,— сказала Франциска.— Большая семья... Тем не менее они стоят нам поперек дороги.

Праздник с фонариками. Добрососедские отношения через заборы, которые я отвергаю намеренно и пренебрежительно, по теоретическим соображениям, из-за коммуникаций, близости, общения: мещанские радости после работы... А что, если Гертруда права? Внезапно у нее переменилось настроение, она обвиняла себя в нетерпимости. Что я действительно знаю о людях? Их желаниях? Разре-

женный горный воздух идей урбанизма. Диктатура моих собственных желаний и представлений...

Как одна семья, это и Бенджамин говорил, когда решил себе бросить взгляд в прошлое, в детство, он рассказывал о зеленых колониях в Берлине, о маленьких домиках с садом вдоль линии городской железной дороги, о воскресных прогулках с отцом и братьями «на лоно природы», вино из крыжовника, полька, которую играл граммофон перед уютным домиком-беседкой, позднее он служил пристанищем беглецу, бывшему соседу по садовому участку, которому дядя Трояновича — галантерейщик, человек, далекий от политики, как он сам говорил о себе, — предоставил убежище на три или четыре дня; случай, как сотни других, такая хибарка, увитая виноградом, частенько бывала местом встречи для нелегальных, сказал Бен; достопримечательная, чисто берлинская глава истории рабочего движения.

— Ну пишите же, — сказала Франциска, — и оставьте вашу жалость.

Потом ее позвал Шафхойтлин, и они вместе поправились в одну из городских организаций, где решался вопрос о месте для стоянки автомашин, это отвлекло ее от мыслей о Трояновиче; только вечером, оставшись одна в своей комнате, она еще раз мысленно повторила то, о чем ей рассказал комендант, и ждала, что это вызовет в пей те же чувства, что и днем, по тщетно, Франциска пожалала плечами: бывший заключенный, ну и что, подумала она.

Долгий светлый вечер, небо абрикосового цвета. Комендант лежал на земле, доска поперек груди, и один из тех, что тогда бросал пожи, наезжал на мотоцикле на доску, пружинившую на его ребрах, как на стальной подпорке. Комендант дышал ровно. Назад на мотоцикле, и еще раз на доску. Парень кусал губы от злости и ехал очень медленно, колеса неуверенно двигались по доске.

Трояновичу надоело смотреть на это испытание силы, он прошел мимо собравшихся, не поздоровавшись. Твоя походка, твои плавные движения... Горячая волна, хорошо знакомая и забытая боль, желание положить руки на твои бедра, губы на твою кожу, под мышку, ощутить вкус соли, лепельные завитки волос... Он сел возле нее на ступеньку лестницы. (Ступенька, на которой сидел Мальте.) Как всегда, опрятно одет. Серебристо-серый галстук. Плетеные сандалии, польские. Отутюженные брюки. Перед ее глазами промелькнул фотоснимок, кадры из фильма, в се-

рой колонне шагающих людей она искала человека с его лицом. Троянович в этой ужасной одежде с желтой полосой. На лбу круглая шапочка? Наголо остриженная голова?

Он подал ей, как цветок на стебле, вырванные из журнала две странички. Нойтра, об окружающей среде, сказал он, к сожалению, это только фрагмент.

— Спасибо,— отвечала она рассеянно.

Аплодисменты коменданту и мотоциклисту, который вдруг повернулся спиной к публике, низко согнувшись, словно в изнеможении. Франсиска складывала бумагу, вот парус, бумажные поручни корабля, а вот и кораблик. Два или три года его жизни растрчены впустую: скрыты, утаены, подумала она. (Безрассудное, страстное желание все знать о нем, которое он только разжигает своим молчанием.)

— Я полагал, Нойтра будет вам интересен,— сказал Троянович.

— Безусловно,— заметила она, сразу же обидевшись на него за то, что он не догадался, что ее волнует и о чем она хотела бы услышать. Она играла бумажным корабликом, лежавшим у нее на колесах. Нойтра вместо Бенджамина, эссе вместо истории о себе. Он встал.

— Мы в неважном настроении,— сказал он,— мне можно удалиться?

— Как вам угодно.

Он способен на это, он уходит — на сегодня, навсегда? — думала она, но не веря и не испытывая горечи: разлуку навсегда невозможно себе представить. Он поклонился. «Убирайся к чертовой бабушке,— процедила она сквозь зубы, когда он уже повернулся к ней спиной, — или к своей Зигрид». Ревность как желанный предлог для ярости, душившей меня, почему я не могла бы сказать это членораздельно, только смутно подозревала то, что сегодня вижу ясно, но с грустью и уже без ярости: твой интерес к моей работе ни к чему тебя не обязывает, как и все, что ты читаешь, слышишь, знаешь, о чем ты говоришь или споришь (спор как риторическое упражнение), о Нойтра и градостроительстве, генетике, теории поля, Сартре или Гароди, о святом семействе, орбитальных станциях, кибуцах, военном путче в Боливии, гиннопедии и социологических исследованиях... ты всегда информирован, всегда рассуждаешь со знанием дела, но ты не способен или просто не желаешь чем-либо себя связывать... Ты прини-

маешь в себя мир, но мир проходит через тебя, заслужив разве что острое словцо, и то, что постоянно происходит, кажется, происходит с единственной целью предоставить тебе возможность это прокомментировать, книги рассыпаются и превращаются в макулатуру, идеи — в глупость и пошлость, планы — в хлопья пепла на ветру, сожженные холодным пламенем скептицизма, который не принимает себя настолько всерьез, чтобы выдавать себя за подлинный скептицизм... и мне грустно смотреть, как ты взираешь на других, подвергая все анализу, я пугаюсь, одновременно восхищаясь изяществом, с каким ты вскрываешь суть характера, порой я даже вынуждена смеяться, когда ты кромсаешь своего кролика на части, остроумно, причем с большой проникательностью: остроумие и острый взгляд человека равнодушного и безучастного...

Ожидаю ли я еще выхода твоей книги, в надежде на тебя, или я уже не боюсь, читая, заблудиться в этой местности, обладающей ледяным холодом, среди калек и дураков, неполноценных созданий, которые лишь благодаря своим заблуждениям сроднились с людьми, некогда вставшими на твоем пути, — пути нашего человека, к которому ты примеряешь имя Джон?

Ах, Бен, что с нами происходит? Во рту у меня вкус пыли. Вереск осыпался, и твой плащ больше не греет. Остались неизменными твой голос, твоё лицо, твои жесты, твоя улыбка, резко очерченные губы, твоя рука и то, как ты кладешь мне ее на шею... ты такой, каким ты был, я это вижу, в то же время ты неудержимо становишься иным. Что это, изменившийся угол зрения, возвращение в прошлое, перемена света, ставящие под сомнение казавшиеся ранее достоверными образы людей и арены их действий, искажающие контуры предметов, делающие более светлыми и насыщенными краски? Ночью на аспидной доске неба я немедленно пишу: *люблю тебя*, а утром над стертыми буквами читаю вопрос: *кого?*

Прошла неделя, прежде чем он появился; впервые он ждал ее за городом у кладбищенской решетки, в кармане пиджака лежал его предлог для встречи — отпечатанный в типографии цветок, — подготовленные выражение лица и голос для шутки по поводу его визита к чертовой бабушке, и слишком поздно заметил, что Франциска не одна. То, что она покраснела, ее скованная речь вызвали в нем беспокойство; прошла неделя: потеря времени для него, выигрывш во времени для другого — может быть, он уже

помеха? Он поздоровался с Шафхойтглином, тот в ответ кивнул, также молча, но не был озадачен, как Франциска, только на одно мгновение окинул его пристальным взглядом человека, пытающегося вызвать в памяти какую-то ускользающую, но важную деталь из того, что привиделось ему во сне. Водитель самосвала и мнимый школьный товарищ этой Линкерханд (но его возраст, седые волосы изобличают ее во лжи), вечер в баре, когда ему показалось, что он узнал этот лоб, эти калмыцкие глаза, как на разорванной фотографии.

— Вы знакомы? — пробормотала Франциска и назвала имя: Троянович. Шафхойтглин сказал «нет», без обязывающих пустых фраз, не задавая вопросов о возможных родственных отношениях с двумя известными братьями или об одном известном молодом человеке, члене Союза свободной немецкой молодежи, одном из дюжины журналистов, которые в свое время под крупными заголовками публиковали материалы, всячески расхваливающие новатора Шафхойтглина и разукрашенные серебряной канителью пышных фраз.

Мой автобус. До завтра, фрау Линкерханд. Она долго смотрела ему вслед, слишком долго, решил Троянович.

— Ты выглядишь больной, — сказал он.

— Странно, у него походка моряка, — сказала Франциска. Свои опухшие веки она спрятала под защитными очками. — Да, мне действительно чертовски плохо.

У него сжалось сердце. Она страдает, но она выстоит (Шафхойтглин?). Слишком поздно, подумал он, чтобы наверстать упущенное за месяцы и сказать наконец без всяких колебаний: я люблю тебя, — и тем не менее добавил про себя: насколько я в этом разбираюсь.

— Я чувствую себя больной, — сказала она. — Этот город... или люди в этом проклятом городе...

Он снова вздохнул, он снова засомневался. Упущено? Любовь — слово, которое, к счастью, не было произнесено: он себя не выдал. Значит, город... Ничего по поводу его отсутствия, ничего о себе самой, ее чувствах (ждала она его, беспокоилась о нем, хотя бы в один из семи вечеров?), излишни его опасения потерять ее. Но вместо облегчения им овладело чувство обиды: я не могу потерять то, сказал он себе, чем никогда не владел.

— Этой ночью изнасиловали девушку, — сказала Франциска.

— Я уже слышал,— отвечал он, пораженный ее бледностью и волнением, которые показались ему несоразмерными этому известию (незнакомая девушка; происшествие, сегодня всех взбудоражившее, а завтра уже забытое).

— Но в городе, под окнами, на глазах этих...— Она заикалась, задыхаясь от гнева.— Ах, если бы я вдруг вообразила, что и ты у какого-то окна... Нет.— Она с силой оттолкнула его руку.

— Твой целостный мир,— сказал он, но без обычной прониц.

— Наша вина. Моя вина,— сказала Франциска. Она не противилась, когда он взял ее под руку, как бы для поддержки, они прошли кусок вниз по шоссе, на ветру, под дождем падающих с деревьев маленьких твердых яблок, Франциска толкала ногой перед собой зеленые шарики, Троянович дал ей время успокоиться, и немного погодя она могла, хотя и заикаясь, говорить об этом.

— Нет у тебя оснований чувствовать себя виноватой.

— Но я чувствую себя виноватой,— возразила она.— Мы заперли их в комфортабельных одиночных камерах, добрососедские отношения не поощряются... Спи спокойно, гражданин: то, что происходит на твоей улице — я сказала: улице? Трудно расставаться с милыми старыми словами. Ах, наши мечты о прекрасном обществе: студенческие мечтания, они разбиваются от соприкосновения с действительностью; наши проекты неоспоримы, конечно,— жилища, жилищные комплексы для тысячеголовой семьи... Музыка будущего, по мы уже слышали ее, мы слышали и понимали Регера, у которого учились, что архитектор проектирует не только дома, но и отношения, контакты их обитателей, общественный строй. И вот оказались несостоятельными...

— Переоценили себя,— поправил ее Троянович,— безмерно высоко оценили значение и влияние архитектуры. Отнесем это за счет вашей молодости,— сказал он, уже охваченный нетерпением и стремясь кощить этот разговор: семь дней, семь вечностей, его бессонные ночи, не считая изматывающих сцен с Зигридом; они поменялись ролями, теперь говорит она, но мысли ее далеки от него, она, видимо, не подозревает о его желании целовать миндалевидные веки, тени в уголках рта, чувствовать обнимающего его руки во время езды на мотоцикле. Добродушная улыбка

ка, которая должна была показать, что она соглашается с его заключительной фразой, была явно запоздалой.

— Да, а теперь мы уже взрослые,— сказала она,— а взрослые научились подчиняться установленному порядку, отречься, быть благоразумными — ты бы так это назвал, правда? — отмахнувшись от идеалов как от иллюзий... А если вы правы, ты и Шафхойтлин? Порой я чувствую себя такой усталой... или назад, к Регеру, в экспериментальное бюро, строить бумажные города...

Нет, она не заметила ни его нетерпения, ни его страстного желания, отвела ему роль слушателя, статиста на заднем плане, мимика и жесты которого должны соответствовать монологу, произносимому у рампы, и он входил в эту безгласную роль, смотрел на ее руки, в которых она вертела яблоко, но не на лицо, близкое и недоступное за стеклами очков, неподвижными черными глазами насекомого, итак, слушал: Шафхойтлин, отказываться, не отказываться, город в трудном возрасте? — и играл роль сочувствующего. Играл? Он уже позволил взять себя в плен, подыскивал доводы (новый облик города, без традиций, с одинаковой социальной структурой) и готов был упрекнуть ее в том, что она принимает желаемое за действительное, в ее абсолютности: все или ничего, и вдруг, как ядро в треснувшей скорлупе, неожиданно открыл для себя суть своего упрека и понял, почему он любит ее, что отвержен к ней именно из-за ее абсолютности, ее требовательности к себе и к миру и редкой способности страстно отдаваться любимому делу, увлекаться, мечтать или печалиться.

Она жаловалась на Шафхойтлина: не один уже раз он осмеливался говорить о «единичном случае», не думал, казалось, ни о каких изменениях, боялся риска, на первом плане у него были соображения экономического порядка, то, что он считал необходимым, он был глух к планам, которые называл утопическими, а своего адъютанта превратил в мальчика на побегушках, предоставив ему заниматься садиками, гаражами, надоедливыми посетителями: не потому ли, что не хотел отказывать людям сам?

— Эти люди, уже успевшие кое-что поднакопить, владельцы мелких предприятий, только и думают, как «дать тебе на лапу». Сделайте для нас исключение, фрейлейн, и вот вам пятьсот марок чистоганом, посулил мне один тип, выдававший себя за торговца галантерейными товарами, при этом он на «татре» рыщет по стране, скупая

всякое старье... Я и не знала, что могу быть такой грубой.— Она рассмеялась, вспомнив свой разговор с хитроглазым торговцем в потертой куртке.

— Сними наконец эти противные очки, я хочу видеть твои глаза,— сказал Троянович, она повиновалась, но рассеянно, и он подумал, что теперь ее глаза того цвета, какой он хранил в своих воспоминаниях, желтые, как янтарь, без этого холодного блеска, и он мог бы прикоснуться к ним как к необычному камню.

— Но когда я отказалась подчиниться распоряжению секретаря районного комитета... Шафхойтли вмешался. Последний из праведников — червяк. Пересмотреть, исключение для Первого... Ты смелый человек?

Он увидел, как вдруг оживились ее глаза, она захватила его врасплох, стоит ли отвечать, она рассчитывала на него, уже отвела ему определенную роль в осуществлении задуманного ею дерзкого мероприятия: положить конец дикому строительству, вместо пустых угроз снести несколько гаражей, ты мне нужен, поведешь бульдозер, мы должны только дождаться, когда шеф уйдет в отпуск.

Она насторожилась. Замкнутое выражение лица, красные пятна на скулах. Засомневались? — спросила она насмешливо, и он поклонился, всегда к вашим услугам, торжественно заверил он ее, положив руку на сердце, он кривлялся смущенно и неловко, надеялся, что она не заметила его испуга при слове «отпуск», надеялся на отсрочку, на все еще возможный компромисс.

Она обняла его. Она сияла. Спасибо, Бен. Ты великолепен.

— Не забывай это,— сказал он, спрятав свое лицо, покрывшееся предательскими красными пятнами, у нее на шее,— и прости меня.

Простить — что? Он целовал ямочку на шее, дугообразную границу между темно- и светло-коричневым на ее груди.— Твои настроения, например... Целая неделя без тебя, я занимаюсь несвойственными мне делами, шью и слушаю сентиментальную музыку, ты, только ты... прогоняешь меня как собаку, за что?

— Я и сама уже не знаю,— сказала Франциска задыхаясь, она обвила руками его шею, россыпь белых шрамов: следы давней пересказанной истории.

— Поедем домой?

Она была рада и в то же время подавлена: впервые он ее комнату назвал своим домом, как раз тогда, когда она

его потеряли. Она пожала плечами. Парочка без крыши над головой, одна из тысячи других, — не придавай значения, еще долго простоят лето. Но она взвизгнула, услышав шуршание в сухом вереске на склоне холма, и клялась, что видела чешуйчатую кожу и плоскую змеиную головку, и побежала к обочине, Троянович немного погоди пошел за ней.

— Ты все еще думаешь об этой девушке? — спросил он.

И о Вольфганге Эксе, добавила она про себя, и о той секунде, когда он запер за собой дверь. Как мне объяснить тебе, что тогда произошло, в первую почь мнимой свободы? Именно сегодня, сегодня, когда я сама себе вынесла приговор, мы оказались несостоятельными, когда я усомнилась в своей профессии? Притвориться, что испугалась змеи, чтобы отвлечь себя от большего страха: оказаться несостоятельной и в любви... Если бы я отважилась не только намекать на известный опыт, переживания, от которых нельзя избавиться, и называть тебя водителем самосвала тоном, по которому ты мог догадаться, что твоя игра разгадана и давно поставлено под сомнение твое тождество с маленьким человеком на стройке, за которого ты себя выдаешь, и наконец задать тебе рискованный вопрос. Я вынудила тебя к исповеди, так как сама всячески ее избегала, я страшилась смотреть в прошлое, увидеть события как в тусклом, потрескавшемся зеркале, у самой грани нереального... Но лагерь был реальностью, о которой можно было поведать: поведать мне.

Ждал ли ты этого вопроса? Небольшой район, где мы живем, «бывшие» в моем блоке, комендант, его память, эта хроника живых и мертвых...

Никакого ухода в молчание. Благоприятный момент: тебе тоже было что скрывать, возможно, ты хотел открыться мне в ответ на мое признание: три недели отпуска — это опасно близкое будущее, а четыре года заключения принадлежат прошлому, которое ты просто списал в архив, как в судебной палате Лейпцига списали в архив дело Т.

Списал в архив, во всяком случае ты так сказал, и сухим, как архивные документы, был твой рассказ, к которому я должна была бы подшить тот давний групповой снимок, чтобы вновь обрести того молодого человека, рядом с Мойзе, Марселем и испанским поэтом, Раскольниковым с длинными, падающими на лоб волосами, внахлестными ще-

ками и широкими скулами (одержимый, сказала я, а ты, взглянув на себя как на случайного родственника, чья жизнь давно откололась от твоей: радикал, левый экстремист), чтобы иметь возможность представить мне студента Т., в то время как другой Троянович, старше того на десять лет, дал для включения в протокол следующие показания.

Рабочий парень, выросший в Кройцберге, в третий год войны эвакуируется на Мазуры, бегство через замерзший залив, Берлин, голод, попытка заняться спекуляцией, но неудачная, ничего у него не выходит, при облаве вместе с двумя братьями арестован и сидит три дня и три ночи в подвале; встревоженный отец вспоминает о своем крестьянском происхождении и переселяется в Бранденбург, крестьянин-переселенец на двух моргенах песка, сыновья ходят за плугом, который тащит единственная корова Алина; они изучают Мичурина и Лысенко, экспериментируют, несмотря на это, им удается выращивать лишь картофель, мелкий, как горох, зато буйно родит, паводняя поля, земляная груша, топинамбур, пеистребимая (Алина, топинамбур — завитушки, которые ты лишь позднее включишь в строгие рамки твоей истории); потерпев крах, семья возвращается обратно в Берлин, орава братьев разбегается на запад и на восток от еще незримой границы; Вольфганг Т., самый молодой активист Союза свободной немецкой молодежи, в составе районного руководства, потом земельного расклеивает плакаты, организует бурную предвыборную кампанию, в шестнадцать лет пишет речи для своего председателя; его направляют учиться на рабоче-крестьянский факультет, он пишет статьи в газеты, перевозит на вагонетке камни для Сталин-алле, пишет о строителях, героях, некоем Шафхойтлине («его почерк — это ряды новых домов»), ломающем старые нормы, возмутителе словкойства; он изучает историю, которая наводит на него скуку, после третьего семестра вылезает из обиталища мушкетера, из императорских склепов и избирает журналистику, повседневную борьбу, газету, используемую как трибуну.

В высшей школе он обращает на себя внимание своим остроумием, прощеским, при этом менторским красно-речием, мрачным рвением и анархистскими выходками. 17 июня его направляют на крупное предприятие в Лейпциге, он пробивается сквозь толпу, свой партийный значок не прячет под лацкан пиджака, кто-то швыряет гаечный ключ в агитатора, взобравшегося на верстак, он сто-

ит, и в то время, как кровь из раны струится по его лицу, рабочий паренек обращается с речью к рабочим. Слушателей озадачивают его аргументы, а еще больше остроумие, с каким он парирует реплики, они смеются, он убеждает, он выиграл: однако убедил ли он самого себя, не использовал ли свое красноречие как искусство, словно артист, стремящийся завоевать публику?

Он становится ассистентом, уже читает лекции, продолжая работать над дипломом, захватывает аудиторию, им восхищаются, хотя его не любят. Карьерист? Он слишком самоуверен, чтобы быть честолюбцем. У него есть противники: одни упрекают его в скептицизме, другие — в ортодоксальности.

На четвертом курсе у него роман с жепщиной старше его на восемь лет. Доцент Аннемари Лингнер замужем. Любит ли он ее? Он ведет себя довольно беспечно, в течение ряда месяцев об их отношениях никому не известно, так как они развиваются у всех на глазах. Когда же муж Лингнер обратится за помощью в партийную группу, их критикуют за аморальное поведение, требуют исправиться и вести себя честно. Не долго думая, они оформляют свой брак, можно сказать между двумя лекциями. (Свидетелей бракосочетания ты в протоколе не упоминаешь: твоя сокурсница и приятельница Аннемари Зигрид, комкающая свой носовой платок, — грубовато-веселая Зигрид, растроганная этой совсем неторжественной церемонией, пятиминутной речью к новобрачным в будничных костюмах?)

Год 1956. (Мы, мои сверстники, держали экзамен на аттестат зрелости, танцевали на выпускном вечере, в своем первом вечернем платье. «Белая бузина» — самая модная песенка года, школьный оркестр рискует играть ее в джазовом ритме; на капикулах мы бездельничаем; сына пастора, в будущем врача, в высшее учебное заведение не принимают, и он едет в Гёттинген, поездка без обратного билета; первый семестр, в тетради для записи лекций я вношу манифесты, декларируемые неким титаном Регером. Вольфганг Экс сколачивает мебель из ящиков. В коридорах университета студенты обсуждают XX съезд...) Т. в это время работает над диссертацией (вечерами, в маленьком кафе в Лейпциге, в старой части города: воспоминания Зигрид, интимная деталь, которую я могу здесь вставить). Он досаждает вопросами своим товарищам, навязывает им высказывания, несмотря на повторные предостережения: никаких вредных дискуссий! Он забрасыва-

ет работу над диссертацией, мраморный столик в кафе пустует; Аннемари встревожена тишиной в его комнате и застаёт его стоящим у окна, руки в карманах, плечи высоко подняты, словно он зябнет, — поза для него необычная, и необычно его нетерпимое отношение к Аннемари (ее взгляды на мир остались прежними, ее доверие не поколеблено); тщетны ее предостережения, и она беспомощна, чувствуя, как он отходит от нее, от себя самого, от любимой, им самим избранной профессии.

Он спорит с теми, кто остался непоколебим в своих убеждениях, кто не сомневается: у них в мозгу, говорит он, функционирует автоматическое устройство, легко переключаемое на любую установку, они проклинают сегодня то, чему поклонялись вчера... Критические высказывания он позволяет себе только на партийной группе, тем не менее рекомендуется бдительность: на лекциях этого слишком молодого, слишком остро по языку докторанта не бывает ни одного свободного места, сидят даже на подоконниках. Чего ждут от него студенты? В зале шум и крики, кричат сторонники одних взглядов, кричат противники, предатели, провокаторы, а он смотрит с кафедры на бушующий зал, глаза скрыты за зеленоватыми стеклами, и ждет, не удивляясь и не возмущаясь.

Но они вновь приходят на его лекции, лекции о публицистике. Сомнительные? Человек, который свои сомнения обращает против самого себя.

Доцент, скорее знакомый, нежели друг Т., почью покидает город: с Т. он простился, как обычно: через два дня он публикует в прессе Западного Берлина свое прощальное письмо к друзьям и соратникам, которые некогда разделяли его надежды на социалистическое будущее, его давно подозревают в организации подрывной группы, и он выпущен был бежать из невыносимого настоящего в небоеспособное будущее. Обвинения против «режима» разбавлены жалобами на потерю положения, дома, библиотеки из пяти тысяч томов. (Неповястно, почему в списке потерь отсутствует его беременная жена.) На требования отрезаться и занять определенную позицию по отношению к публичному выступлению ренегата Т. только пожинает плечами: прискорбно, что человек опускается ниже своего уровня. И больше тебе нечего сказать? Больше, товарищи, нечего.

Хотя си знает, что его считают другом доцента и подозревают в том, что он был посвящен в его планы, если не являлся соучастником, он посещает его жену, общения с которой теперь все избегают. Ее допрашивали, в ответ она плакала навзрыд и повторяла одну и ту же фразу, которую множество раз говорила Т., и единственную, которую в состоянии была произнести: я искала его целыми днями. Т. дает ей деньги, не обращая внимания на возражения и протесты Аннемари; он заходит настолько далеко, что ходатайствует перед деканатом об оказании ей помощи, по чьему поручению? Один из сотни вопросов, заданных ему, когда его арестовали и допрашивали.

Т. нечего оспаривать и не в чем признаваться; обвинение в том, что он был членом, если не главарем той группы, он отвергает, но без клятвенных заверений, почти безучастно, словно ему безразлично, верят ему или нет. (Интересует ли еще тебя молодой докторант Т.? В протоколе об этом ничего не сказано. Нет поддающейся проверке даты, позволяющей установить, когда ты с ним расстался и стал рядом с подследственным Трояновичем и смотришь на него как на черно-белое изображение в детективном фильме, удивленный тем, что он клише воспринимает как часть реальной действительности.)

Слушание его дела продолжалось три с половиной часа.

Приговор: четыре года тюрьмы. Т. отказывается от заключительного слова, уверений в невиновности или раскаяния. Плачет ли Аннемари? Он смотрит на высокие окна, поверх скамей и лиц присутствующих в зале.

Через три недели его отправляют в длительное путешествие: города, церкви, улицы, видные через решетку.

Т. работает в столярной мастерской вместе с ворами, убийцами, гомосексуалистами, учится игре в шахматы у одного профессора физики, который, знакомясь, вместо своего имени и звания представляется: шпионаж, пятнадцать лет; он сидит в одной камере со свидетелем Иеговы.

Письма Аннемари — ничего не значащие строки. Потом прекратились и они; последнее, служебное письмо, копия документа, отпечатанная светло-голубым шрифтом: заявление о разводе. Профессор-физик передвигает пешку, освобождает путь кою и в три хода объявляет Т. мат. Плохо, мой дорогой, вы сегодня рассеяны. Т. переворачивает доску. Следующая партия сыграна вничью. Т. ухмыляется. Преходящая слабость, профессор.

Через три года Т. переводят в исправительный лагерь недалеко от Н. Он валит деревья, перевозит на тачке щебень для фундамента будущего комбината, перетаскивает рельсы и строит железнодорожное полотно рудничного откаточного пути. Зигрид шлет ему письма из Лейпцига. Когда Т. освобождают, он едет к ней. Встреча с городом, как с первой возлюбленной, которая — вопреки всем литературным источникам — помолодела, вместо того, чтобы состариться. Он блуждает по улицам и переулкам, ищет свое маленькое уютное кафе и находит ресторан-автомат, сверкающие никеля, всеобщую спешку, салаты за стеклом; хотя с давних пор его привлекал к себе Мефистофель. Т. не спускается в погребок<sup>1</sup>, ему вдруг становится тоскливо от происшедших перемен или реставрированного прошлого, но перемены бросаются в глаза, от них пельзя уйти, прошлое его преследует, не Аннемери ли это, иной раз дама с каштановыми, иной раз со светлыми волосами, которую он заметил в проезжающем трамвае, увидел через витрину магазина или сидящую за рулем «вартбурга»? Он здоровается с доцентом, который вежливо отвечает на поклон, но не узнает его — или не хочет узнавать? — спрашивает Т. зеркало, висящее над раковиной в крохотной кухне Зигрид. Он не пытается отыскать друзей, их он хочет избавить от затруднительного положения, неприятных вопросов, себя — от страхов Рипа Ван Винкля<sup>2</sup>; четыре года вычеркнуты из его жизни, но не из жизни других (они успели получить степень доктора, новую квартиру, имеют детей, интересную исследовательскую работу), из жизни мира, страны, его города Лейпцига. Неизменной осталась, кажется ему, только Зигрид, словно ожидание также было своего рода заключением, временем, которое остановилось.

Институт? Там его забыли, он отвергает представляющиеся возможности, мысли о двери, которая, кто знает, может перед ним открыться, дверная щель, в которую он может поставить ногу, избирает забвение (из гордости, Бес, или из слабости?) и возвращается в Нейштадт. Штаб стройки паходится в той же убогой гостинице на шоссе, начальник отдела кадров рад каждому человеку, знакомится с документами, давно уже ничему не удивля-

---

<sup>1</sup> Известный в Лейпциге погребок, у входа — фигурка Мефистофеля.

<sup>2</sup> Герой одноименного рассказа Гривинга,

ется, ни бывшим товарищам, ни бывшим заключенным, хорошо, итак, принят. Т. работает на строительстве подземных сооружений, готовит участок для первой коксовальной установки, водит самосвал, получает свою зарплату, живет в бараке, в одной комнате с тремя строительными рабочими, которые сперва насмешливо, затем уже просто по привычке зовут его интеллигентом (очки, книги, газеты, журналы!), впрочем не надоедают вопросами, принимают его таким, каков он есть, подходящий парень, хотя и чудаковатый, не играет в скат, пьет вместо пива коньяк, на работу ходит в белой сорочке да еще с галстуком.

Зигрид выдержала экзамены, выхлопотала себе работу в Нейштадте, поехала вслед за Т., занимается спортом, преподает историю в школе на территории первого жилого комплекса будущего города, в классных комнатах, еще пахнущих бетоном и латексом.

Таков в общих чертах протокол. Между строк достаточно места для предположений, догадок, оговорок, для всяких «если» и «по», для сослагательного наклонения, ты имел бы, ты мог бы, если бы ты... однако, насколько я припоминаю, там не оказалось места для сострадания (или я впоследствии впесла коррективы в свои чувства, начала разбирать здание по камушкам, которые крошились у меня под руками?). Замешательство? Не так, как тогда на кладбище, когда комендант... скорее протест: против тебя, ибо ты примирился со своим положением, и одновременно сомнение: а как все происходило в действительности?

И дали, бесконечно далекие, как если бы нас разделяли не семь, а семьдесят, семьсот лет. Я вступила в твой рассказ, стояла в центре твоей истории, как в портке старого замка... Мне пришел на ум Морицбург, и непосредственно, стремительно быстро, словно за тобой с грохотом опустилась решетка, ты перешагнул из современности в историю, из жары в холод; снаружи цветущий парк, солнце на дорожках, отражение замка в воде (снаружи — мой целостный мир); внутри ледяной воздух, запах гнили, коляска, кони мертвы и зарыты, мертвы кучера, господа в замке, дамы и камеристки, и здесь стоишь ты, посетитель этого склепа, мерзнешь и подвергаешь сомнению существование прежних обитателей — вопреки рассудку, ибо зримы и осязаемы свидетели их существования: картины, камни, кресла, оружие, умывальный таз, чаша для пуши. Часы, которые еще тикают, бьют, показывают время тебе, как показывали там... и убегаешь, прежде чем

им удастся тебя поймать, удержать, до того как Сезам закроется, вдыхаешь аромат сада и запах воды, слышишь бранчливые голоса матерей, детский плач, голоса туристов (говорящих на саксонском диалекте) и шум автомобилей на близлежащем шоссе, шуршащие шин вместо цокота копыт, слава богу, ты снова в своем времени...

Мое время... Это верно, Бен, приключений, имен, событий, которые тебе хорошо известны, я не знаю, или они пробуждают во мне лишь смутные воспоминания, связанные со спорами между родителями, беседами с Вильгельмом, Джанго и фон Вердером, я сидела на школьной скамье, когда ты сидел на скамье подсудимых, по то, что случилось, случилось в моей стране, всего лишь позавчера, а не в далекие мифологические времена, и суд над тобой ты камнем взвалил на мою совесть... Ночные мысли, когда я безмолвно враждую с тобой и сама с собой: возможно, я несправедлива к тебе, становлюсь судьей над... осуждаю отступление, словно оно преступно (я тоже отступила, дезертировала в леса), требую, слишком многого требую от тебя, просто жду, что ты выступишь из своей собственной тени...

Почему мы с тех пор молчали?

Возможно, мы поступили неправильно, запечатав протокол и спрятав его под замок... я этого не знаю, Бен, но только чувствую, что происходит нечто угрожающее, ошибка усугубляется, на радушной и приветливой почве любви буйно разрастается сорная трава, я верю тебе, верю на слово, поверила слово в слово тому, в чем ты меня уверял: четыре года вычеркнуты из жизни. Вычеркнуты... как будто они прошли абсолютно бесследно или оставили следы не более глубокие, чем следы на прибрежном морском песке, которые первая набежавшая волна зальет, вторая лишит четкости очертаний, третья полностью уничтожит.

Если бы ты написал свою книгу, если бы ты мог того, другого, которого мы тихо называли давшим ему именем Джон, отделить от самого себя; омыть свое сердце, как говорили древние; взвалить на него тот груз, который теперь давит на твои плечи, и отделаться от него, твоего второго «я», превратив его в персонаж романа... я этого хотела, я надеялась, для тебя и для себя: чем дальше он уходит от тебя, тем ближе ты становишься самому себе.

Письмо шуршит у меня в кармане, я ношу с собой письмо Шафхойтлина, его приманку, его вексель на будущее города, я видела Манеженплатц, взрытую гусеницами машин, ограждение строительной площадки, возводимые фундаменты, бараки для строителей, занятых на подземных работах, жилые вагончики, над которыми вился дымок. Шафхойтлина я не видела: в пять часов утра...

Не спрашивай, почему я послушалась Юла Бриппера. Вчера вечером на Лагерштрассе... Осенний дождь, мы шлепаем в резиновых сапогах. Садись. Куда? Он смеялся над моими протестами — я барабанила кулаками по его кожаной спине, — размахивал шляпой, дождь хлестал по его голому черепу. Спрыгни попробуй! Дьявольская гонка по лесам, ямам с песком, выбоинам, корням деревьев, скользкому шоссе, несколько километров по автостраде, через предместье, мимо крестьянских домиков, груды кирпичей, бетоколонки, синевато-зеленого забора казармы, первая остановка, рельсы трамвая, переулки, улицы окружного центра, рыночная площадь, фонтан, рябина, универмаг, остановка под мигающими неоновыми буквами «Лолита-бар»: лучший дом на площади, говорит Юл Бриппер, по здесь необходимо быть при галстукe, говорю я перед запертой дверью и надменной вывеской, среди толпы, собравшейся на тротуаре, между нарядными, пышно разодетыми дамами и господами, в зеленоватом неоновом свете они ждут, ворчат, в то время как Юл Бриппер стучит и ему открывает человек во фраке с безукоризненным пробором... Начальник объекта? Швейцар «Уфа-фильм», если это не сам лорд, встречает парня в сапогах, как графа из соседнего поместья. На тротуаре бунт, неслыханно, почему ему можно, и в таком виде... казалось, это возмущает их больше всего: в таком виде! И фрак вежливо кланяется.

— Господа,— говорит он,— если бы вы выпили у нас столько бутылок сельтерской воды, сколько этот господин шампанского, вас впустили бы даже в кальсонах.— Он запер дверь, без улыбки, но по тому, как он подал Юлу Бригнеру руку, я поняла, что он впустил бы его и в том случае, если бы тот вместо шампанского пил одну сельтерскую воду, а мой начальник строительства говорил ему: «Франц» и «ты».

— Франц,— сказал он,— сперва водки для этой чопорной дамы.— После третьей рюмки я позабыла обо всем: с Юлом Бригнером ты можешь идти в деревенскую харчевню, и в самый фешенебельный ночной бар, и рядом с тобой всегда будет один и тот же человек, отнюдь не пытающийся играть какую-то роль, и там, где он находится, там его место, все равно на чем он сидит, на деревянном стуле или на обтянутом розовой кожей табурете на высоких ножках.

Франц колдовал за буфетной стойкой, теперь, в белой куртке, был весьма учтив, ни к чему не прислушивался и слышал клятвы, обвинения, исповеди с терпением, свойственным барменам и водителям такси, а когда люди тащевали, он стоял возле нас, склонив над бокалами с соломинками и столовым серебром свой неизменно ровный пробор, джаз громко играл, и в этом гуле они вдвоем говорили, кричали, перекрикивая друг друга: о комодах и каминных часах, ренессансе и барокко, церковных скамьях, Людовике Шестнадцатом, рисовали на салфетках ножки стульев, замки, орпаменты, дверные ручки, расписывали свою добычу, трофеи, обнаруженные на чердаках домов, в крестьянских дворах, охотничьих домиках и домах для престарелых, в заброшенных сараях: зачем? — подумала я, зачем строитель, перелетная птица, коллекционирует мебель, обзаводится имуществом, все это предполагает оседлый образ жизни... Позднее, когда мы мешали шампанское с нивом, конечно, это должно было произойти, варварская смесь, где-то позднее Юл Бригнер ткнул большим пальцем через плечо в неопределенном направлении.

— Тут у меня квартира,— сказал он.— Жены нет. Мебель.— А я подумала, и этот туда же, его здорово разобрано, хмель в голову ударил. Семейная история, очень доверительно, и ожидала, заранее тоскуя, очередной легенды об одиночестве: «такова-жизнь-c'est-la-vie»... он усмехнулся, посмотрел на меня светло-водянистыми, ясными глазами, не пьяный, не опьяненный предстоящим при-

знанием, не было израненного сердца... под кожей курткой.

— Ты ведь это хотела знать, — сказал он, — жены нет.

В три часа ночи он бросил на стойку крупную купюру, Франц спросил, нужно ли такси, просто для проформы, все-таки молодая дама... спасибо, мы верхом, сказал Юл Бригнер и одну из исписанных каракулями салфеток положил на денежную купюру, странно, что я не смеюсь, Франц, старина, те в Дрездепе надули тебя, addio.

Дождь перестал, морозный воздух, окоченевшими пальцами я держалась за пояс, уснула, в испуге проснулась, пахло серой, ветер доносил запах гнили, в предрассветных сумерках все выглядело блеклым, мне снились магистрали. Мавзеенплатц без следа арены, опилок, разорванных билетов, колеса вязли в песке, я сползала с седла, зацепилась за кожаный локоть, вместо живой изгороди из крапивы увидела забор строительной площадки, желтые автобусы, подвозящие рабочих очередной смены на близкой, совсем не в сновидениях виденной магистрали.

Вот мы и дома, сказал он. Нет, уже нет. А он, беззаботно: но должно быть, снова будет, держу пари? Пари ты уже проиграл, сказала я, а он высоко поднял меня, совершенно неожиданно, решительным и быстрым движением подхватив меня под мышки, и сказал: а по-моему, выиграл — и поставил меня на ноги, вот и твой дом, а если я тебя силой, жаль, что нет закона запрета влюбляться по уши и срока как за дезертирство... при этом он сидел в седле, скрестив руки, полный наглой уверенности от носка сапога до белой полосы под сдвинутой на затылок шляпой над загорелым лбом, ни малейшего следа пьяной ночи, в то время как я... Похмелье? Растерянность от неожиданного возвращения? Нахлынувшая тоска по дому? Я чувствовала себя усталой, чрезмерно раздраженной, раздраженной его уверенностью, и начала кричать, годами я мучилась, кричала я, годами надеялась, строила планы, спорила, зачем? Чего я добилась? Три гаража смяла гусеницами, оформила одну витрину, которую на другой же день разбили вдребезги, несколько удачных фасадов, бетонных арнаментов, незавершенная работа, здание клуба еще на бумаге, великолепный балает, да что ты понимаешь в этом, ты, со своей кожаной шкурой...

Кожаная шкура, сказал он, ясно, даже слоновая шкура, тогда как ты, можно сказать, без кожи, девица высокого полета, чувствительная, слишком много читала Шилле-

ра: идеалы, произнес он по складам. Взор обращен в заоблачные выси, а ноги спотыкаются о камни, зови их буднями, зови их нормами, законами... Я, я всегда одной ногой в тюрьме, но там, где строю я, дело идет, ибо я обхожу законы, и я должен их обходить, если они сдерживают, если препятствуют делу, ничего не попишешь, профессиональный риск, стройка идет, а я сижу, дешевая острога, знаю, и смотрю я на тебя, а ты ведь ее не видишь: диалектику, умница моя, диалектику революционных процессов... И так далее, говорит, говорит, сверху вниз, с высоты своего седла... К черту твою диалектику, кричу я, и не сиди здесь как герой вестерна, и не будь так уж уверен, что ты можешь за меня устроить мою жизнь, силой или болтовней. Почему ты вмешиваешься, пытаешься все переделывать на свой лад, считаешь себя вправе выбирать за меня?

Не из личных интересов, говорит он, все еще сверху вниз, но уже не в прежней нагмой позе. Небо окрасилось бледной голубизной, туманно-белые столбы дыма застыли в холодном воздухе, человек в нижней рубашке и тиковых брюках потягивался у дверей жилого вагона, вальс Мюзетты, сигналы точного времени, в многоэтажном доме погас свет, за тем окном на седьмом этаже, третьем слева, в той комнате, которую я обставляла, но в которой уже давно обитает другой... книжная полка до потолка из стали и простых досок; кресло-качалка; своя пишущая машинка, горы журналов; подпаленный абажур, падетый на большую круглую бутылку от вина; диван-кровать, на котором мы обнимали друг друга, а в это время непрерывно мерцал зеленый огонек радиоприемника, и параллельно нашим диалогам звучал патренированный голос диктора; резная рама, дубовые листья, раньше окружавшие подобно венку портрет Зигрид, а позднее мою фотографию; два плюшевых зверька, купленные на ярмарке кошки с глазами-бусинками, стоящие вплотную одна к другой, а когда мы были в ссоре, ты поворачивал их, и они стояли прислонившись друг к другу плюшевыми спинками — серой и черной...

Половина шестого, в этот час крихтит Ковальский, почесывает мохнатую грудь, бредет на кухню, я могла бы представить себе, что он варит кофе, печет булочки для своей жены, которая еще спит, ее белые волосы раскинуты на белой подушке... в этот час Шафхойтлин стирает с затылка мыльную пену, проверяет содержимое портфеля, заворачивает в пергамент бутерброды ( с ливерной колба-

сой от уленхорстского мясника), окидывает взглядом осенние астры, принимает парад придорожных кустов... вот в автобус, везущий очередную смену, втискивается маленькая, проворная, как белка, фрау Борнеманн, она знает всех на свете, болтает со всеми на свете, не лезет за словом в карман, ругает мужчин, своего мужа, который дома пальцем не пошевеливает, расхлябанных парней из своей бригады крановщиков, выкидывающих с ней всякие номера, потому что она работает на кране, строго соблюдая инструкции, ругает своих сыновей, старшего, у которого снова пелалы с полицией, но он ничего такого себе не позволит, чужие мотоциклы, притом такой способный, посмотрели бы его гравюры на линолеуме, и младшего, у которого один четверки, эти домашние задания, она должна была бы, но не может ему помочь, работает в разные смены, потом курсы... ругается она сочно, на саксонском диалекте, с удовольствием: спится ли ей еще сон, преследовавший ее годами, из ночи в ночь? — она пытается взлететь, взвивается вверх, запутывается в проволоке, тросах, сетях и падает, падает...

Если бы они мне встретились в эти полчаса на преобразившейся Манеженплатц, реальные, живые — мой коллега, Шафхойтлин, эта Борнеманн, лужицкий принц Язвук, продавщица книжного магазина, помнишь ее? — крупная блондинка, которая могла говорить только шепотом, какая-то болезнь гортани, морковно-рыжая билетерша из кино, комендант, продавщица, всегда оставлявшая мне кусок бауценского пирога с маком, с тех пор как я на том собрании — даже цыганского типа женщина, работающая на строительстве рельсового пути, даже инженер, терзавший меня духовой музыкой — марш Радецкого и богемская полька... если бы они... возможно, я побежала бы к нашим баракам на кладбище, замерзшая, без чемодана, портфеля, бумаг, постучалась бы в знакомую дверь, незнакомая секретарша на месте Гертруды, в комнату, для меня родную, как многоэтажный дом и магистраль, с педантично прибраным столом, маской черта с оскаленными клыками на шкафу, большой картой на стене, где когда-то в центре было белое пятно, а теперь начерчены дуги, линии и разные геометрические фигуры... но мне никто не встретился, и я осталась одна с моим печальником строительства, который со знанием дела осматривал котлован, фундамент, сплетение арматуры, а затем меня, словно я была предметом, частью этой стройплощадки: не из лич-

ного интереса, повторил он, в случае если ты это себе вообразила. Ты не мой тип.

А если, сказала я, а он в ответ: Док, я знаю. Тот, что бросает тебя в вереск... Ну хорошо. Большая Любовь, понимаю, это тебе свойственно: любовь к приключениям, к искателям приключений, тебе это импонирует, аутсайдер — или тот, кто себя за такого выдает.

Я ничего не ответила, села сзади, и он сделал медленный круг по площади, открой глаза, сказал он, как бы желая еще раз продемонстрировать мне этот ландшафт из камня и стали, организованный хаос, веря в то, что за этим загадочным, зашифрованным текстом, ничего не говорящим непосвященному, я увижу готовые здания, радующие глаз пропорции, возведенные дома, лестницы, но к этому добавил, хотя из-за треска мотоцикла его слова были едва слышны:

— Твой искатель приключений жалок, на самом деле он ведь просто мечтает о возвращении к героической жизни обывателя.

Мы едем обратно, безмятежное голубое утро, луга, покрытые ипсесом, мост, на котором тогда с Шафхойтлином... я обернулась, жилые кварталы, ну и что? Город как десяток других новых городов: бетонная дорога, часовня (он выбрал эту дорогу, словно нет трех других, выходящих на шоссе городских улиц, откуда он знает, что я каждый день шла этим путем?), зонты сосен, голые березы... а один раз он протянул руку через плечо, и его холодная рука согрелась на моем холодном лице...

Безмолвное прощание на Лагерштрассе. Начальник строительства торопится, утренняя смеха уже заступила. Док направляет свой бульдозер на южный склон, козырек спереди опущен, но за ветровым стеклом я еще могу разглядеть тебя, сигарета в уголке рта, серебристо-серый галстук, твое сосредоточенное лицо, когда ты подъезжаешь к пужному месту, неуклюже, рывками двигаются цепи, стальной трос напрягается, кирпичная стенка падламывается, пыль от штукатурки вздымается тучей...

Франциска кивнула ему. Довольно. Ребятишки пляшут вокруг развалин гаража. Вы за это заплатите, фрейлейц, сказала старьевщик и захлопнул дверцу своей «татры».

Анархизм, самоуправство, дикий поступок, сказал Шафхойтлин, положив загорелую за время отпуска руку на три письма с жалобами. Вы злоупотребили моим доверием.

Но разве вы согласились бы принять в этом участие?— спросила Франциска, и он указал на дверь, отвернув в сторону лицо, свое лицо начальника, на котором выступила усмешка старого бродяги.

Франциска кинулась к своему сообщнику и от удовольствия укусила его в обнаженное плечо.

— Все сошло хорошо... Все будет хорошо... Ага, мы наведем порядок! Старик в отпускном настроении... Бен! О чем ты думаешь, Бен? — Он уставился в августовское небо. — В отпуск я хочу поехать с тобой к морю. Сколько еще осталось? Постой, сегодня шестое... Две недели... — Она в раздумье нахмурилась: — Шестое августа... какой-то праздник? День рождения? Забыла...

Опа лежала на траве, широко раскинув руки. Пахло грибам и сухими сосновыми иглами и шкурой козлогорого бога, подумала она. Серая куропатка семенила по жнивью между хижинами, крытыми соломой. Звон колокола на сельской церкви.

...в восемь пятнадцать утра шестого августа 1945 года была сброшена первая в истории всех войн атомная бомба на Хиросиму, город на западе Японии, с населением около 450 тысяч человек. Это был попельник, и люди как раз шли на работу. Бомба была сброшена американским бомбардировщиком В-29 с высоты примерно 7200 метров. Самолет удалился, развив максимальную скорость, в то время как бомба, укрепленная на парашюте, медленно опускалась вниз. Она взорвалась над центром города на высоте около 660 метров. В течение нескольких секунд взрывной волной было разрушено 60 процентов города. Тысячи людей убиты взрывной волной ядерного взрыва или раздавлены рухнувшими зданиями. Многие другие погибли от ожогов, от пламени, от сильнейшего излучения огненного шара, образовавшегося в результате взрыва бомбы, ибо температура огненного шара была выше температуры солнца. Другие тысячи людей подверглись радиоактивному облучению и в течение нескольких дней умерли от лучевой болезни.

От взрыва бомбы в Хиросиме около 100 тысяч человек были убиты на месте и еще 100 тысяч человек получили тяжелые ранения (Лайнус Полинг, «Жизнь или смерть — атомный век»).

Колокол святой Анны, благовест всех церквей, ребенок прыгает через одиночный окон.

— Это мир, — сказал мой отец, и спял очки тем благо-

говейным жестом, ближе, о господи, к тебе, каким он обычно снимал цилиндр перед церковным порталом.

Она пригнула к глазам ветку можжевельника.

— Двадцать лет я представляла себе картину мира... Вишневые деревья. Бен... С сегодняшнего дня это, возможно, опушка леса, вереск, скошенное поле... Зачем путешествовать? Остаться здесь, лежать в траве, ты подставишь мне плечо, мы будем смотреть в небо и делать из облаков корабли, лебедей, драконов... Скажи что-нибудь, Бен.

Ни один спасительный компромисс не пришел ему в голову за последние две недели, напрасная мена — подробная исповедь за признание.

— Мы едем в Несебыр, — сказал он.

Уже поздно взять назад это «мы»; он закрыл рукой глаза, чтобы защитить себя от этого беззащитного лица.

— Пожалуйста, без сцеп, — сказал он резко, — я обещал ей, мы договорились еще несколько месяцев назад, задолго до того... итак, последнее путешествие, нет, не сентиментальный вояж, просто давно задуманная поездка, гостиница, билеты на самолет...

— С кем угодно, — сказала Франциска, — с кем угодно.

Она встала и тщательно счистила с платья сосновые иглы и травинки.

— Фрапц, — сказал он.

Она скрылась за темными очками, склонилась над мотоциклетным зеркалом и расчесывала волосы.

— Ну? — сказала она через плечо, он встал, потом опустился на колени и обнял ее ноги:

— Франциска, прошу тебя... Я не думал, что ты это так воспримешь...

Ее лицо мгновенно изменилось, стало диким, свирепым, губы скривились в беззвучном смехе, в безгласном крике, обжались острые клычки. Она подавилась словами, умолкла, так как не хотела заикаться, и выскользнула из его объятий, словно из пут гниющих водорослей.

Легла ли впервые теперь покорности на его лицо? Он не осмелился возражать, когда она сказала: хочу домой. Перед своим блоком она сразу же сошла, он забежал вперед и взялся за ручку двери. Просьба или попытка к сопротивлению? Франциска сказала «прощай», случайная знакомая, учитывая молодая дама, перед которой он должен был учтиво открыть дверь; а покуда она поднималась по лестнице, смотрел ей вслед: подколешные ямки с прожилками,

как на знакомом сгибе локтя; спина, теперь к ней уже не прикоснешься, как и к нежной шее, не прикоснешься к ее коже, к рыжеватой копне волос и лопаткам, похожим на крылья. Профиль, мелькающий над перилами, шаги, ее затихающие шаги на втором и третьем этаже.

У себя в комнате она несколько мгновений стояла неподвижно, перед ее глазами проносились кадры фильма: Несебыр, пляж, море, тела, тенты и — крупным планом — под полосатым красно-белым тентом две головы, совсем рядом, очень близко, одна светлая, другая поседевшая, лбы намазаны маслом для загара... она схватила со стола вазу и с силой швырнула ее об стену, вслед за ней полетела кофейная чашка, полупустая бутылка молока, со стола на пол посыпались книги и журналы, нет-нет-нет, это уже слишком, она рыдала, выла в подушку, задыхаясь от бессильной ярости. Я не хочу больше его видеть.

Больше она его не видела. Лицо, очертания высоко поднятых плеч под окном? Она задергивала шторы. Когда раздавались звонки, запирала дверь, затыкала руками уши, притворялась мертвой. Вновь до позднего вечера работала в бараке, открыв дверь в кабинет Шафхойтлина, который ни о чем ее не спрашивал и лишь однажды заметил, что у нее усталый вид: сверхурочную работу он использовал как предлог для того, чтобы ночевать в Нейштадте, провожать ее до дома, после краткой остановки у подножия ангела Аристиды, где он показывал ей мерцающие сквозь листву звезды, созвездия, плавающие в фиолетовом небе над городом: Марс, Малую и Большую Медведицу, Кассиопею.

Они работали над моделью будущего центра: сердце нашего города, сказала Франциска, хотя, добавила она тут же, хотя в принципе речь идет о жалком решении градостроительной проблемы: ведь это центр, сердце, а вокруг мертвая ткань, сопные кварталы...

Синица в руках, сказал Шафхойтлин.

Она сажала деревья — вставляла тонкие лучинки в зеленый картон. Вы знаете, что я думаю о журавлях в небе? На дорожке между бараками послышался треск мотоцикла. Она побледнела. Шафхойтлин ниже опустил абажур лампы.

— Извините, — сказал он, — свет слепит вам глаза.

Они прислушивались, говорили о театре, прислушиваясь, не проедет ли мотоцикл, который давно уехал или стоит у дверей? Франциска сказала:

— Театр — это опять же журавль, а небо высоко, и если бы мы сначала кино... Странно, я до сих пор не знаю вашего имени.

— Хорст. — Он потирал руку с бородавками. — Я не люблю свое имя... Орел, пикирующие бомбардировщики, тесно сомкнутые ряды, вы понимаете. Нет? «Хорст Вессель» и т. п. Хорст. Вы можете привыкнуть к этому имени?

— Почему же нет? Я никогда не пела «Хорст Вессель», и вообще... — сказала и быстрым движением смущенно погладила его руку, больше не вызывавшую в ней отвращения.

В обед Язваук всегда подсаживался к ее столику в столовой, тоже обходясь без вопросов или намеков, он рассказывал анекдоты, и Франциска складывала губы в любезную улыбку. Однажды он вдруг остановился, недосказав самой соли анекдота, взглянул на нее из-под опущенных ресниц: она опять любезно улыбнулась. Он убрал со стола ее тарелку, она ни к чему не притронулась.

В субботу он подъехал на своей спортивной машине к дому Франциски, поставил ее между несколькими «явами» и «панониями». Коридор был не заперт, он постучал к ней в комнату, услышал чересчур громкую музыку, народная песня — Мексика, наверно, или Гавай? — и сквозь дверную щель увидел наполовину выпитую бутылку водки, локти на столе, поднятое кверху лицо, скорее слепок, сделанный из коричневого воска, копию некогда хорошо знакомого лица. Ты, только ты, жаловался певец.

Язваук постучал еще раз, Франциска задрожала, взглянула на дверь с таким выражением лица, что Язваук смутился, как если бы застал ее в чьих-то объятиях.

— Ах, это ты, — сказала она.

Он снял иглу с пластинки, а Франциска голосом школьницы, декламирующей стихотворение перед публикой, горестно произнесла по-английски: «Ты, только ты виноват, что я пью, ты наполнил мою жизнь скорбью, и ты причина моего отчаяния».

— В дым пьяна? — спросил Язваук. Она покачала головой.

— Надень другое платье, то черное, итальянское... Дорогая, обещаю тебе для твоей выставки дюжину рисунков, на которых Нейштадт будет выглядеть так, что Нимейер и смотреть не захочет на свою Бразилию... Или две дюжи-

пы. Безвозмездно. А мои сверхурочные стоят дорого... Накрасила губы.

Он повез ее в окружной центр. Она послушно двигалась среди декораций запланированного развлечения, бар двадцатых годов, резные перила, пальмы, мраморные столики. Они танцевали всю ночь. Под утро он привел ее к себе. Она села на многогрешный диван, плотно сдвинув колени, как после урока танцев.

— Ты окаменела,— сказал Язваук,— и, наверно, пазываешь это самообладанием.

— Хотел бы ты сейчас переспать со мной, Мориц? — спросила она.

— Нет. Уже нет. Так не хочу,— сказал он более мягко.— Попробуй уснуть.

Он снял с нее платье и повесил на спинку кресла. Она показалась ему еще более худой в черной комбинации, плечи более костлявыми, ямка под ключицами более глубокой. Он укутал ее в зеленоватое шерстяное одеяло, улегся рядом с ней, обнял ее, она горько заплакала. Язваук крепко держал ее, куда она не уснула.

В конце августа Франциска уехала в Аренсхооп. Уже через два дня она возненавидела курортную гостиницу, где гостей обслуживали соответственно их званию и марке автомашины и где было принято переодеваться к каждой трапезе. Променад служил помостом для манекенщиц, которых сопровождали пожилые мужчины, для известных представителей богемы, одетых эксцентрично, по почти одинаково — шорты, браслеты на ногах, янтарь, яштарь и янтарь, дамы в домотканых блузах с ожерельями из ракушек на жилистых шеях. На пляже играли в мяч; девушки, подружки, которых каждый вечер можно было встретить в кафе, натирали друг другу спины кремом; господа с брюшком и бледными ногами прогуливались вдоль моря — это полезно для здоровья — в закатанных брюках, на три шага впереди своих супругов. Франциска лежала в плетевой кабине с тентом и часами смотрела на море, его меняющиеся краски, от зеленой и голубой до свинцово-серой, и считала волны: говорят, каждый девятый вал заливает берег.

Она не вступала в разговоры с соседями по столу, уклонялась от всякого сближения, пропускала мимо ушей шуточные просьбы бросить назад пестрый обруч или мяч, оказавшийся у ее ног или подброшенный туда. Однажды она стояла в магазинчике за бородатым босым молодым

человеком, который курил те же вопиющие сигареты, что и она, и забрал последнюю пачку. Разделлм! — предложил он. Они вместе прошлись по променаду, он говорил с ней так, будто они знакомы давным-давно, высмеивал окружающее общество, его замечания были злыми и точными, она засмеялась и сказала:

— Вы говорите, как Георг Гросс рисует.

— Спасибо.— Он просиял.— Я художник. Еще неизвестный,— добавил он с решимостью юпоши, уверенного в том, что скоро прославится.

Он жил в палатке под обрывистым берегом. Вокруг палатки он устроил себе смешную рожицу из пайденных на берегу обломков, выброшенных морем сучьев, веток, похожих на птиц, на ящериц, на извивающихся змей. Франциска отказалась от церемонных трапез в курортной гостинице. Они готовили себе еду на спиртовке, и разборчивая Франциска хлебала рисовый суп с песком, скрипевшим на зубах: она разрешила себе еще раз, возможно в последний раз, возврат в студенческие годы, в пору веселой, неопрятной и беспокойной романтики.

На второй день он уже сказал ей «ты». Не стесняясь ее, он разделся и бросился в воду. Иди же! — крикнул он. Они поплыли голыми к песчаной косе, возвратившись на берег, лежали мокрые, с трудом переводя дух, на мокром песке, и художник рассматривал ее равнодушными глазами врача; он рисовал ее тело, руки, лицо, и она сидела тихо, пытаясь ни о чем не думать, разве что иногда вспоминая Якоба и его ателье и высмеивую Олимпию с черной бархоткой на шее, а когда она склонилась над его рисунками, увидела, что у него та же мапера рисовать, что у Якоба: будто он снимал с лица один слой за другим.

Их веселая дружба кончилась в тот день, когда он обнял Франциску, следившую за фыркающей спиртовкой, повалил на землю и поцеловал. Она защищалась зубами и ногтями, но он был большой и сильный, без труда удержал ее и сказал:

— Но я ведь в тебя влюбился,— с той же решительностью, с какой возвестил о своей грядущей славе, достижимой, ибо он ее хотел, как теперь эту девушку, и Франциска перестала обороняться, только насмешливо улыбнулась.

— Ты еще не дорос,— сказала она, и он выпустил ее, она возвратилась в гостиницу, через два дня, задолго до конца отпуска, уехала и на следующее утро явилась к Шафхойтлину.

— Я бы хотела вновь приступить к работе,— сказала она,— и мне нужна квартира.

Гертруда не скрывала своей радости по поводу отсутствия господина Ивановича: она полагала, что вновь обрела подругу. Но встретила начальницу, говорившую с ней хотя и вежливо, но холодно и довольно резко, намеков же — мы могли бы вместе провести вечер... — просто не понимала, работала по двенадцать часов в сутки, а по вечерам держала дверь на замке. Однажды та положила ей на письменный стол пачку «Пэлл-Мэлл».

— Спасибо, я привыкла к другой марке,— сказала Франциска.

Когда она переезжала, Гертруда стояла у окна, отдернув занавеску, но Франциска не обернулась, она шла между Шафхойтлингом и комендантом, которые несли ее чемоданы, лампу, свернутый ковер. День клонился к вечеру, в кухнях женщины, облокотившись на подоконник, рассматривали новую соседку, отстраняя детей, нельзя быть такими любопытными, да, это фрейлейн доктор.

В ее однокомнатной квартире громоздились ящики с книгами, секретер Важкой Старой Дамы, кресло и полки, которые она до сих пор хранила на складе в родном городе. Но новыми были окопные шторы канареечного цвета и занавеска, отделяющая кухонную плиту от комнаты.

— Мы позволили себе,— сказал Шафхойтлин,— коллеги... Мы надеемся, вы действительно будете себя чувствовать у нас как дома.— И он пожал ей обе руки, как на официальном приеме в братской стране, и Франциска сказала:

— Спасибо, вы все очень мило ко мне относитесь, давайте выпьем по этому поводу,— и подумала: как к больной.

У стены стоял, грубым холстом к комнате, портрет Олимпии, Шафхойтлин спросил: разрешите? — и перевернул его. Шея у него налилась кровью. Он ничего не сказал и вскоре отключился.

Франциска ходила в своем подъезде из одной квартиры в другую и представлялась: молодой супружеской чете, он и она округлые, румяные и похожие друг на друга, как брат и сестра; беременной женщине, которая, вероятно, когда-то была очень красива, подле нее вертелись четверо мальчишек, три красивые, уже несколько полные девочки держались на заднем плане, а в глубине коридора стоял человек, безгласный, тощий и маленький, словно он был

восьмым и самым застенчивым ребенком в семье; толстому инженеру, который орал, силясь перекричать грохочущее в комнате радио; шахтерской вдове с седеющими волосами, добродушной и запуганной, она не смотрела на Франциску, а через плечо бранила своих сыновей, трех долговязых, рыжих, веспушчатых парней, топтавших у зеркала, украшенного бумажными розами и цветными открытками, и с любопытством рассматривавших новую соседку; худощавому плотнику, вокруг которого пританцовывал белый шпиц (вот наш Асси, пет, у нас есть дети), и жене, по меньшей мере на десять лет старше его, эта веселая особа с небрежно покрашенными волосами и яркими клипсами в ушах беспечно выставляла напоказ морщинистую шею, войдите же, сказала она и сварила на кухне кофе, и Франциска чувствовала себя довольно уютно в этой кухне, такой же пестрой, как эта жепщина, и такой же разговорчивой, наполненной болтовней зеленых попугайчиков, верещанием и трелями канареек и красногрудых снегирей, а когда Франциска через некоторое время поднялась, плотник, безмолвно сидевший у стола, сказал: я должен вам еще показать голову щуки, которую я сам препарировал, самую огромную из всех когда-либо пойманных рыбаками нашего ферейна, и она восхищалась щучьим черепом с острыми, как иглы, зубами, а плотник сказал: если вам что-то потребуется — плинтус, штенсель, новая дверь в подвал, не стесняйтесь, я все сделаю.

Она представилась фрау Рёдер, вспомнила эту фамилию, историю, рассказанную комедантом (муж ее налетел на шлагбаум на мотоцикле; вдовья пенсия, работа на укладке рельсов, дети бог знает от кого), сквозь педоверчиво полуоткрытую дверь видела цыганские черты лица, обветренную кожу женщины, которой она дала бы лет сорок, и услыпала, едва дверь закрылась, громкие шлепки, детский визг, ругань, ах ты, дрянь, скотина: жепщина ругалась уже манипально, старая, заигранная пластинка, которую никто больше не слушает.

Напоследок она позволила к Борнеманам, представляться не потребовалось, они были уже знакомы с фрейлейн доктор, Франциска хотела поправить ее, но не успела, ее попросили войти, можно сказать, втащили в бедно обставленную комнату, без ковра, но зато с полками, полными книг, книги на столе и на старой кушетке, все тома Золя, понимаете, Золя мой самый любимый писатель, сказала фрау Борнеманн, и Макенессе, а вы читали последнюю

книгу Айтматова? Муж мой к книгам не прикасается, у него рыбки, и он возится со своими вуалехвостками и гуппи — это все, на что он способен, но если вам нужно что-то починить, это он сделает, тут он пожалуйста, для других всегда, только не в собственном доме, как все мужчины, но чашечку горячего кофе вы выпьете? А это наш старший, Йенс! Подай фрейлейн доктор руку, и ты тоже, Фред, — правую, надо правую, сколько раз тебе говорить, ну и маперы...

Она засеменила на кухню. Йенс подал Франциске измазанную тушью руку; ему было около пятнадцати, стрижка ежиком, а на шее на цепочке висел образок богородицы (сейчас у него очередное увлечение — католицизм, у этого олуха, кричала из кухни фрау Борпеманн), а Фред, первоклассник, с круглыми черными глазенками, забавно поклонился и подмигнул Франциске, затем появился сам господин Борпеманн, до этого возившийся со своим аквариумом в соседней комнате; он был в голубой майке, на груди, спине и плечах видны были густые волосы; он выставил левый локоть, серебро, сказал он, сустав из серебра, 17 июня в Лейпциге, на главном вокзале, мне пуля угодила прямо в локоть, и все же самое лучшее для меня время — это когда я был в армии, я стал бы офицером... Хотите взглянуть на рыбок и на раковины? Вы не поверите, на днях я открываю раковину, а в ней, истинная правда, жемчужина...

— Жемчужина, — закричала из кухни фрау Борпеманн, — не смеши меня бога ради, жалкую мутную капельку этот человек называет жемчужиной... А теперь похвастайся еще тем, что ты бригадир, и партийный секретарь, и третейский судья, разбирающий все ваши склочные дела, и тапдущь на всех свадьбах, а я возись дома, как будто мне за это платят, как будто я уборщица, а ты большой человек...

— Да заткнись ты, — сказал муж, по тихо, и пошел обратно к своему аквариуму, а маленький Фред скорчил гримасу и сказал как бы в утешение: они постоянно ссорятся, фрейлейн, Йенс же только пожал плечами — сконфуженно, равнодушно? — и вновь склонился над картоном, на котором он рисовал золотой пляж, кокосовые пальмы, катмараны в голубой бухте.

Фрау Борпеманн разлила кофе и бросила в чашечку Франциски два куска сахара. Черный, сладкий и горький, как говорят у нас в Саксонии. Она была еще меньше

и худее Франциски, на три или четыре года старше ее, под глазами у нее были гусиные лапки, преждевременные морщинки и шершавая кожа женщины, с детства занятой физическим трудом. Она успела переодеться, и теперь на ней была пестрая блузка с крупными яркими цветами, наверное, она сама перешила ее из старого платья. Она не была красива — седловидный нос и широкий, неправильной формы, рот, но, каждый забывал это, увидев ее выразительные серые глаза, узнав ее живой веселый нрав и слушая ее речь — грубоватую, но образную, густо пересыпанную словечками саксонского диалекта, что заставляло Франциску неоднократно спрашивать: простите, что вы сказали? — впрочем, это были единственные слова, которые ей удалось бросить в этот бурный поток слов, всего лишь несколько мелких камешков, которые тут же топули.

Через полчаса она уже знала всю жизнь фрау Бориеманн: шестеро детей — все от разных отцов (моя мать, говорю, как есть, была настоящая потаскуха); маленькая Эльза получает побоев больше, чем хлеба, она любит читать, но ее мать рвет чужие книги; в маленьком городке, где каждый все знает о каждом, дети этой особы подвергаются насмешкам и издевательствам, их избивают на школьном дворе, они дышат зловредным воздухом материнского дома и живут между собой как конка с собакой; старший становится эсэсовцем и позднее за военные преступления осужден в Советском Союзе; двое честными рабочими; один отбился от рук и перебивается случайными заработками; пятый сбежал, полиция его поймала и водворила в детский дом, он учится, сдает на аттестат зрелости, учится дальше и теперь на руководящей работе во внешнеторговых организациях, в области полиграфиче-ских изданий, прекрасные люди, у них машина, дом в Вильгельмеру, каждое рождество он присылает сестре открытку; Эльзе в четырнадцать лет пришлось уйти из школы, несмотря на хорошие отметки, она должна зарабатывать деньги (которые мать отбирает у нее до последнего пфеннига), работает на суконной фабрике, мастер хорошо к ней относится, дарит ей шелковые чулки, блузки, серьги, первый раз в жизни она получает подарки, и она благодарна за такое отношение; в семнадцать она беременна, покидает фабрику, где девушки пристально разглядывают ее живот: что ж, это должно было случиться, — видно, она все в мать; мастер дает ей деньги, но о женитьбе не может быть и речи; она отдает ребенка на воспитание, уезжа-

ет из города, работает в горной промышленности, уран, потом учеником слесаря на одном лейпцигском предприятии, вечера проводит на таццплощадках и наверняка погибла бы, вспоминает она сегодня, если бы благодаря совершенно невероятному случаю не нашла своего отца, бывшего моряка (который, Франциска может это себе представить, говорит фрау Борпеманн, все равно что сошел со страниц Джозефа Кюпрада), теперь он смертельно больной старик, который читает, рисует, пишет о своих путешествиях, только для себя, прекрасным почерком в школьной тетради. Она возит его по парку в кресле-коляске, они беседуют о книгах, чужих страпах, городах, гаванях, о детстве Эльзы; она переезжает к нему, забирает к себе маленького Йенса, который целыми днями играет у ног старика, слушает рассказы о приключениях Сипдбада и неуверенной рукой рисует гавани и корабли, хлебные деревья, китов, выбрасывающих фонтаны воды.

Эльзе двадцать три. Вечерняя школа, учеба? За плечами восемь классов, необходимость зарабатывать на хлеб, ребенок, больной старик, получающий ничтожную пенсию. Но у тебя способности, говорит отец. Кем быть — врачом, учительницей? Слишком поздно. Полеты во сне, каждую ночь, взлет, проволока и сетки, они всю ее опутывают, стремительное падение.

На предприятии новый партийный секретарь, этот Борпеманн с его согнутым серебряным локтем, смуглый, темноглазый. Ее товарки уже все об этом красавце знают: демобилизован из армии, разведен, ребенок остался у жены, холостяцкая квартира в Голтсе. Помещение, где через два месяца Эльза с веником и половой тряпкой в руках наводит чистоту, ликвидируя холостяцкий беспорядок. В армии он по крайней мере научился пришивать пуговицы и штопать носки. Она пререкается с ним из-за болтающихся пуговиц и из-за его партии, она не спрашивает ни его, ни себя, почему он выбрал именно ее, Эльзу, тощую, некрасивую, с внебрачным ребенком: она довольна, что теперь ей придется заботиться еще о третьем. Она снова беременна. Они женятся только после смерти старика. Ей опротивел этот город, она собирает свои пожитки, книги, школьные фотографии, подаренную соседкой детскую кровать для маленького Фреда и в портфеле из кожзаменителя тетради своего отца; они переезжают в Нейштадт, в эту квартиру — с ванной, с центральным отоплением и встроенной кухней! — с отделанной кафелем ванной, для нашего бра-

та, который всю жизнь жил хуже любой скотины, в лачуге на задворках, с уборной на улице, кухня — закопченная каморка, зимой стены покрыты льдом (по субботам мылись в бадье), комната — темный туннель с видом на брацдауэр, позднее в мансарде старика, куда через крышу просачивался дождь и вода струилась по стенам...

Она остается дома, она достаточно надрывалась все эти годы, она имеет наконец право отдохнуть... отдохнуть, говорит она с горечью, и губы ее складываются в кривую улыбку: дети, домашнее хозяйство, муж, притворяющийся больным, причем он берет на себя тысячу обязанностей, всегда зачинщик, всегда первый крикун, ни дать ни взять фельдфебель, Франциска сказала вполголоса: возможно, это ему нужно, чтобы не чувствовать себя инвалидом.

Допустим, сказала фрау Борнеманн. Она налила Франциске третью чашечку кофе. Надо же когда-нибудь выговориться... Франциска украдкой посмотрела на часы. Половина седьмого. К семи она уже знала всю хроникку этого дома, координаты дружбы, натянутых отношений, антипатий между различными семьями, от первого до четвертого этажа, знала, кто уже за неделю до полочки идет одолаживать деньги, знала, что один из рыжих олухов Козловских паходится в связи с пышной румяной женщиной с четвертого этажа (когда этот Зепкбайль, этот ничемный человек, ничего не подозревая, работает в первую смену, этот пареня заползает в нагретое гнездышко); что у шженера две машины, «вартбург» и «трабант», одна для служебных поездок, и он мошенничает при подсчете причитающихся ему денег за проезженный километраж; что фрау Рёдер непольных тридцать, а здоровье подорвано и нервы никуда, ходит неряхой, но детей содержит в порядке, балует, засыпает игрушками, эти нахальные сопляки, которые уже теперь потешаются над ней, так как она едва пишет и читает по складам, — балует, но жестоко избивает за ложь, за малейшую нечестность, сама она честнейший и порядочнейший человек на свете, готовая сдать в бюро находок ифеннинг, поднятый на мостовой; она теряет голову, если ее младшая стяпает в магазине соску, а старший украдет у нее деньги из кошелька, только он давно уже ее не боится, наносит ответные удары, «свилья» — кричит он ей... бедная женщина, она не может забыть своего мужа: единственный, кто всегда хорошо ко мне относился, говорит она, и ведь он был умница, прекрасно читал и писал, даже хотел выучиться на экономиста; что Стюэсы с перво-

го этажа очень славные люди, жена хорошая хозяйка, хотя каждый год беременна, одному богу известно, откуда он выкопал эту дикарку, она ведь самая настоящая дикарка, и красота у нее дикая, девочки все в нее, черноволосые, тринадцать и четырнадцать, а выглядят как семнадцатилетние и каждый вечер стоят на лестнице с целой кучей поклонников; молодая женщина на третьем этаже не донашивает детей, у нее уже было два выкидыша, они симпатичные и тихие люди, она секретарша, он слесарь на комбинате, он вместе с Борнемапом посадил перед домом розы, они помещаны на цветах, да, в жизни не бывает, чтобы все было хорошо: «трабант», холодильник, стиральная машина, телевизор, не квартира, а игрушка, но, когда другие ставят в календаре красный крестик, они ставят черный...

Франциска была захвачена всем услышанным. Благодаря отдушине между ванной и кухней она стала свидетельницей семейных раздоров, веселого пения в ванной, рассказов о том, как прошел рабочий день, что будет на ужин, узнала про любовные игры румяной фрау Зенкбайль с рыжим парнем, который в ванной третьей сплуну, слушала бескопечную болтовню о деньгах, детях, соседях, об аварии на брикетной фабрике, о кино и телевидении, о том, что-будем-делать-в-воскресенье.

Через три недели фрау Рёдер запыла у нее десять марок (в день полочки она сразу, не заходя в магазины, их вернула), Франциска запыла у Борнемапов муки, Борнемапы заняли у Франциски яйца, она впервые схлестнулась с инженером из-за грохочущего радио, все соседи под самыми неожиданными и удивительными предложениями побывали у нее и осмотрели ее квартиру и непристойную Олимпию, которую ей тем не менее простили (художница, что вы хотите... но в остальном вполне нормально), Беккер, плотник, сколотил ей новую дверь в подвал, она болтала на лестничной клетке с его веселой женой, кое-как выкрашенной в блондинку, знала по имени ее попугая и собирала в столовой косточки для ее шница, мирила Борнемапов, в двадцатый раз выслушивала рассказ о тщетных попытках взлететь во сне (ей казалось, она слышит в этом волнение и тревогу, страстное желание вырваться отсюда). Домашние события, жалобы на мигрень, упреки в адрес городских властей — заедает скука, нет кино, — она не смеялась больше над выставленной перед каждой дверью флотилией туфель, саног, детских башмачков, а

однажды ночью ее чуть было не сбросили в пролет лестницы: она выскочила спросонья, босая, желая прийти на помощь (кому?), когда кругленький румяный Зенкбайль слишком рано возвратился домой, занял свое место в постели занятым и стал избивать рыжую парочку, гоняясь за ними вверх и вниз по лестнице. Франциска увидела на стене брызги крови и стала звать полицию, за что против нее ополчились трое мужчин (швырните эту пахальную бабенку через перила!), а вдова Козловская между тем стояла у своей двери и причитала: а я это знала, с парнями одно только горе, я это знала, а Борнеманн, тощий мужичица и плотник в кальсонах и халатах бросились на место происшествия — слишком поздно, так как только что захлопотало и вдребезги разбилось зеркало, на которое падал и сильно порезался любовник, фрау Зенкбайль закричала «убивают», а ее муж, внезапно отрезвев, побежал за пластырем, обе семьи скрылись за дверью и до утра в знак примирения пили водку.

Воскресенья... Стук кастрюль. Аромат жаркого. Мытье машин. Послеобеденный отдых. А дальше? Куда? Напротив, на спортивной площадке, орет громкоговоритель, сквозь переплетение тополиных ветвей видны черно-зеленые и красно-белые фигурки, они бегают, мечутся туда-сюда, кувыркаются. Детский духовой оркестр. Дикие вопли, стоп, вырывающийся из сотен орущих глоток: го-о-ол. Йепс на велосипеде едет к озеру. Плотник ушел на рассвете, с рюкзаком и удильцем. Его жена надевает зеленые, как жабы, клинсы и разгуливает по улице. Фрау Борнеманн лежит на подоконнике, и на чем свет стоит ругает малышей, топчущих газон. Три смуглялки прислонились к тополям и дают возможность трем трубадурам в техаках разыгрывать из себя бит-ансамбль.

Франциска стоит у окна и смотрит на фронтоп соседнего блока: ей не хватает скелета крестьянского дома, клена, боится почувствовать тоску по человеку под кленом, темному, как кора, по красной тлеющей точке — сигарете. Она рисует: линии. Она читает: буквы. Троянович купается в Черном море. Она лежит в постели, курит, пьет водку, ставит пластинки «Послеполуденный отдых фавна», «Прелюды», «Грек Зорба». Бен принимает солнечные ванны в Песелбуре. Слушать «Ты, только ты» она себе не разрешает. Лежит, уставившись в потолок, и поняла бы, если бы посмотрела на себя в зеркало, что у нее сейчас тот же взгляд, какой был у Гертруды в ее каморке.

Она идет к Борнеманнам. Хозяйин опять играет где-то роль третейского судьи, посидим уютно вдвоем. Кофе — черный и сладкий. Эльза, как всегда по воскресеньям, в яркой, с крупными цветами блузке, выцветшей под мышками. Что я могу еще себе позволить? Бесплатная прислуга. Франциска терпеливо выслушивает, со стеклянными от скуки глазами, рассказ о том, как сегодня утром убежало молоко, кастрюля чуть не сгорела, плита... Спасает ее отец Горно. Вы любите Бальзака? Еще бы! — восклицает Эльза. Порой ее серые глаза так блестят, что все лицо выглядит помолодевшим. Франциска дает ей несколько томиков Бальзака из своей библиотеки; она приносит также блузку и летний пуловер. Нет, это я не могу принять... Мне они уже узки, говорит Франциска. Фрау Борнеманн натягивает на себя пуловер и надевает на шею нитку дешевого искусственного жемчуга. Они пьют мятный ликер, и вдруг Эльза начинает плакать, рыдает, и слезы катятся по лицу, губы кривятся и дрожат, родись я на десять лет позднее, говорит она, я бы имела возможности, которые сегодня имеет каждый... Я снова пойду работать, я могла бы учиться заочно — Эльза, говорил мой отец, Эльза, у тебя есть способности.

Она достает из шкатулки свидетельство об окончании школы. По всем предметам, кроме правописания, самый высший балл, что же касается математики, по математике я всегда была первой ученицей. Да, говорит Франциска, идите на комбинат, а потом, может, и в вычислительный центр. А деньги нам не помешают, говорит фрау Борнеманн, и уже планирует, рассчитывает, забыв про свои домашние неурядицы, вспоминает отца, учителей, школьное время, потом они рассматривают фотографии: это я, а эта теперь на западе, у нее магазин модного платья, этот стал врачом, мечтает создать новую Ламбарене<sup>1</sup>, а эта малышка в блузе Союза свободной немецкой молодежи, нет, не школьная подруга — наша преподавательница латыни, эта фотография, когда мы сдавали на аттестат зрелости, боже, у нас еще косы, а когда мы шли в кино смотреть фильм для взрослых, забавно, мне никто не верил, приходилось волосы зачесывать наверх и надевать шелковые чулки, шелковые? У нас их уже не носят, первые нейлоновые мы получали из Западного Берлина, а кто это? Франциска прячет снимок под кучей других фотографий. Мой бывший

---

<sup>1</sup> Больница Альберта Швейцера в Африке.

муж. Красивый все же. У нее пропадает охота рассматривать фотографии, юность на глянцевой бумаге, пятнадцать лиц, пятнадцать эскизов, пятнадцать ожиданий, схваченных объективом. Нет, никого другого, говорит она. Одна. Одного раза с меня достаточно. Она отставляет лишнюю рюмку, из которой пила ликер. Довольно. Мне еще надо работать.

Вечером до нее доносится стук посуды, брань у Рёдеров, болтовня на лестничной площадке, музыка из транзисторов, визг тормозов — это инженер остававшиает машину у дома, треск мотоциклов (по Бец, это я знаю, Бец, наверно, все еще в Несебыре?), за стеной телеспектакль, для нее — радиопостановка, она глотает таблетку спотворного, завтра понедельник, постепенно приходит забвение, я рада, что понедельник, я рада, что...

На автобусную остановку она прибегает в последнюю минуту, не оборачивается, когда на дороге грохочут самосвалы, а шоферы сигналият ей: алло, красotka! Она избегает оживленных улиц, не заходит в универмаг, ни разу не заглянула в «Голубь» к фрау Хельвиг, боялась встречи и жаждала ее, не хотела, чтобы он разыскал ее, и была оскорблена, что до сих пор он не сумел ее выследить, не нашел подходящего случая. Она вся дрожала, когда вечером слышала шаги за собой. Сейчас. Эхо на улице дурачило ее. Какой-то незнакомец ее обогнал.

В один из октябрьских вечеров перед ее дверью стоял человек, он не включил свет на лестнице, в полумраке она разглядела только выдающиеся скулы, перебитый нос, очки в проволочной оправе. Она прислонилась к прилолке, онемев, потрясенная до глубины души. Он нагнулся, чтобы взять чемодан. Рыжие волосы. Всем телом она прильнула к нему. Вильгельм! Он поцеловал ее в лоб.

— Ты смотришь на меня, словно я воскрес из мертвых. А между тем в прошлом году я послал тебе письмо.

— В прошлом году, урод!

Она испугалась, увидев при свете лампы его лицо, бледное и постаревшее, с воспаленными глазами, а он погрузил пальцы в колючу ее волос.

— Ну и путешествие, — сказал он, — я устал, мадам, покажи мне мою постель. — Он упал на кушетку, лицом вниз, и сквозь скрещенные руки бормотал: — Не будем говорить о броске из Викува в Шёлефельд, это пустяки... Но от вокзала в Нейштадте до твоего дома... Тезей без армидиной шити. У тебя горе, Францези?

— Я приготовлю тебе ужин,— сказала она.— И раздобуду у кого-нибудь надувной матрац.

Когда она возвратилась, он уже спал, она нагнулась над ним, глядя на его беззащитное пепельно-серое лицо. И вдруг схватила себя за горло. Мой большой брат, могучий, как Иисус Навин, остановивший солнце...

Франциска погасила свет и легла на матрац, прислушиваясь к его дыханию.

— Ты плачешь,— сказал Вильгельм.

— Нет. Ты голоден?

— Я устал... Франц,— сказал он немного погодя,— ты всегда терпеть не могла мою жену... и все же я думал, что должен тебе сказать... Инга беременна.

— Ты мог бы написать об этом.

— Переговоры в Берлине,— сказал он вскользь,— два свободных дня, мне захотелось...

Внезапно, как прежде, ее охватил страх, но она не смела спрашивать, и Вильгельм молчал, но после долгого молчания — она уже подумала, что он уснул,— он сказал:

— Дай мне твою руку.— Она протянула руку, он взял ее, обхватил, сжал пальцы с отчаянной силой человека, который страдает от боли и хочет заглушить свой крик.

— Я иду к тебе,— сказала Франциска и села возле него, подтянув колени, а он укутал одеялом ее ноги.

— Но не спрашивай меня ни о чем,— процедил он сквозь зубы,— слышишь, ни о чем не спрашивай.

Она пальцем обрисала дугу над его лбом, два круга вокруг его глаз.

— Вспомни бедного Йорика,— сказала она.— И вечер, когда Джанго... я пришла к тебе на кровать... твоё идиотское радио, Би-би-си, боже, спаси королеву... в темноте я ощупывала твоё лицо, череп, глазные впадины... впервые я ощутила дыхание смерти...

Ее пальцы узнали выпуклый лоб, высокие скулы.

— Как вы друг на друга похожи,— сказала она, и Вильгельм, довольный, что она отвлеклась, тихо засмеялся.

Я так и подумал, увидев твоё лицо в дверях: ты ждала другого. Признавайся, Францхен. Он обманул тебя, надо отколотить любовника? Велдетта? Но она не смеялась, уткнувшись лицом ему в плечо: я ненавижу его, я хотела бы, чтобы его уже не было на свете, я ненавижу его, потому что я больна им. И Вильгельм баюкал ее в своих руках, я пойду к нему, сказал он, а Франциска выпрямилась

и крикнула: ты этого не сделаешь! Но она знала, что он это сделает и что она этого хочет.

При утреннем свете он выглядел еще бледнее, еще худее, Франциска хлопотала в кухонной нише; скрытая желтой занавеской, я рискнула задать запрещенный вопрос, обиняками и довольно неловко, я ничего не понимаю в твоей работе, сказала я (и действительно, я ничего в ней не понимала, не имела ни малейшего представления о плазме высоких температур, стабильной термоядерной реакции, над которой работает его группа, которую они впервые будут наблюдать, пусть даже в течение нескольких секунд, — ах, самое сильное, самое прекрасное мгновение их жизни, один день в ближайшем будущем, пройдет два или три года, и дело, сравнимое разве что с подвигом Прометея, с днем, когда он похитил огонь у богов...), устройства, над которыми вы работаете, я знаю только по фильмам, а ваши исследования только по книгам, романам, документальным сообщениям, но я знаю достаточно об этих проклятых лучах, о возможных несчастьях. Я прислушалась, Вильгельм ничего не ответил и не шелохнулся. Кофе полился через край, жег мне руку, и я вскрикнула, а Вильгельм расхохотался, домашняя хозяйка подвергает себя большей опасности, чем физик-ядерщик, и, продолжая смеяться, начал читать лекцию, приводя статистические данные о разных несчастных случаях: капкап, силки, опасности домашнего хозяйства, подстерегающие на каждом шагу женщину; если ему верить, все это куда страшнее, чем научный центр с его стальными дверями, свинцовыми камерами, счетчиками Гейгера. Продолжая болтать и бахвалиться, он вошел в кухонную нишу и, роясь в выдвижных ящичках буфета, сказал, правда как бы между прочим, обинячивая коробочки с пряностями, действительно, когда мы еще здесь работали, мы были молоды и легкомысленны, возможно, что тот или иной получил свою порцию рентген, что за хозяйство, где же тут мука? Затем он пашел муку и насыпал мне на руку, мука на пузырь от ожога, домашнее средство Важной Старой Дамы — ты еще помнишь? — суетился и вел себя как клоун, балансировал с чашками и тарелками, и я думала, как мы с ним близки, как похожи друг на друга, даже в способности за почь набраться сил для того, чтобы принять решение: он решил молчать.

Я пришла домой ранее обычного, Вильгельм спал, спутанные рыжие волосы унази на лоб, изрезанный мориципа-

ми, словно он и во сне раздумывал над какой-то формулой. Однако, проснувшись, он был очень весел — перемена произошла мгновенно, как если бы он одним рывком освободился от угнетающего его мрака, — и, когда пили кофе, он рассказывал о Дубле, о своих русских, английских и французских друзьях, о молчаливом, необыкновенно прилежном молодом китайце, о водных лыжах на Волге и своей сокровенной мечте поработать в академгородке под Новосибирском у профессора Будкера — гениальная голова, сказал он, и я подумала, что за все время после обеда он ни словом не обмолвился о себе, ни разу в первом лице, все время говорил только о нас, мы, папи устройства, паши исследования, и внезапно я увидела его таким, как много лет назад, и вспомнила его и себя в его комнате, похожей на монашескую келью, в кругу друзей, этих юных гениев, новых Эйнштейнов и супер-Планков, изъяснявшихся на колдовском языке, и Вильгельм улыбался, не грустно, но и не насмешливо, как над сумасбродством, свойственным молодежи, нет, сказал он, я не стал великим ученым, не совершил открытий, делающих переворот в науке, и никогда не будет эффекта Линксерханда... мне уже далеко за тридцать, мой поезд ушел, и очень вероятно, что время Великих Одиночек уже позади и время принципиально новых открытий в физике... не слишком ли я разочаровываю тебя, моя честолюбивая сестренка? Хороший работник в хорошем коллективе, не больше и не меньше...

Наступили сумерки, и он сказал, ему хочется пошататься по улицам, но запретил мне идти вместе с ним, и я не возражала (не подозревала ли я уже тогда, какую улицу, какой дом он ищет?) и осталась, ждала, сидела и смотрела на часы, на иронически усмехающиеся стрелки и медленно тускнеющий циферблат, сидела в темноте, пока он возвратился. Один? — подумала я, когда он позвонил и кулаком забарабанил в дверь: он был один и от него пахло копытком; какое сходство, сказал он, бросив пальто на спинку стула, даже жутко, как будто видишь свое отражение в зеркале. Оп, видимо, был очень доволен, действительно замечательный человек, сказал он, и я сказала: вероятно, он принадлежит к категории людей, которые усвоили твою проклятую кваптовую механику, и Вильгельм, все еще ничего не замечая, подтвердил: верно, классный парень, и передал их разговор, длившийся очень долго, теория поля, синтез элементарной частицы 105... интересно. Я умираю от нетерпения, кусаю губы, не хочу спра-

шивать (Он был один? Как он выглядит? А обо мне вы?..), Вильгельм продолжал говорить, к черту все элементарные частицы на свете, наконец прервала я его, от тебя пахнет водкой, говорю я сварливо, и Вильгельм сердится, подумашь, две или три рюмочки коньяку, он озадачен, ухмыляется, говорит: маленькая идиотка, он сидит в комнате у окна, без света, тягучая сентиментальная музыка, он был не то чтобы пьяный, ну, хватит с тебя?

Он сидит у окна, он пьет... Он был один?

Один.

В предрассветных сумерках она проводила Вильгельма на вокзал. Цепляясь за кирпичные стены домов, тянулись кверху жалкие побеги дикого винограда, на желтых по-осеннему листьях осела копоть. Серая платформа, серые крыши, хрипящие громкоговорители, голос, объявивший на немецком и лужицком языках: подходит скорый, следующий в Берлин. Вильгельм мерз и плотнее застегнул шубу на груди... стоял в открытом меховом пальто у трапа, кричал то, чего я не слышала из-за шума ракетного двигателя, солнце блестело на песущих плоскостях «ТУ». «Моя рыжая горилла,— сказала Франциска,— привет твоей жепе», поезд подошел, «я забыл,— сказал Вильгельм,— привет от твоего...», двери раздвинулись, «мы хотели, я хотела, приезжай, желаю тебе», Вильгельм вошел, стоял у раскрытой двери, шевелил губами, ничего не слышу, пар шипел, ветер гнал облака дыма на перрон, я не вижу тебя, Франциска вспрыгнула на подножку, они обнялись, брат мой, твой ли голос я слышала, соскакивая со ступеньки?

Она кивнула проезжавшему мимо пустому окну, а потом поплыли окна, колеса, хвостовые сигнальные фонари, и она пошла обратно по шаткому перрону и шаткой колеблющейся лестнице наверх, ничего не видя, мимо Шафхойтлина, который ждал ее у вокзала, последовал за ней и проделал весь долгий путь до города, так ее и не окликнув.

Около одиннадцати пошел дождь, морозящий непрерывный осенний дождь, красные деревья потеряли свой цвет, дождь погасил блеск ярких окон часовни, привел в дурное настроение каждого, кроме Язваука, который на полную мощность запустил свой транзистор, пока Шафхойтлин обоими кулаками не забарабанил в перегородку. Гертруда слонялась в обвисшей юбке, неподвижные кукольные ресницы обрамляли покрасневшие глаза, она выдерживала

из машинки не законченные ею письма и ругалась как сапожник.

— Ваша подопечная, — сказал Шафхойтлин из-за двери, — заходит слишком далеко... полупьяной является на работу.

— Впервые, насколько мне известно.

Шафхойтлин ожидал возражений, говоря о том, что собирается ее уволить, и был неприятно удивлен, возможно разочарован, когда Франциска пожала плечами.

— Как вам угодно, — сказала она равнодушно.

Подслушивала ли ее Гертруда? Она больше не бранилась, сидела тихо за своей машинкой, растопырив над клавиатурой пальцы. Франциска чувствовала взгляд Гертруды на своем затылке — в совершенно определенной точке, казалось ей, — и, очутившись у себя в комнате, невольно потерла пальцами кожу на затылке. Я думаю, в этот момент я уже предчувствовала, что со мной происходит, а узнала это в тот же вечер в кабинете Шафхойтлина... Он стоял перед картой, висевшей на стене, указывал линейкой на заштрихованные места будущих автомобильных стоянок. «Рыжий молодой человек», — сказал он, а я: «Стоянки надо располагать подальше от центра», а он: «Вы сегодня утром провожали его на вокзал...»

Мой брат, сказала я, и Шафхойтлин упомянул о шубе, как будто только она его и удивила, а я сказала:

— Он вечно мерзнет и вечно чувствует себя усталым, — Шафхойтлин обернулся и посмотрел на меня. У меня перехватило дыхание, я видела Вильгельма, каким он был вчера, лепельно-бледным, волосы на лбу растрепаны... — Он постоянно засыпает, вы понимаете? Он спит. — И Шафхойтлин пристально посмотрел на меня, нет, он этого не понимал, и его полная неосведомленность ранила меня, я думала, мой брат болен, я потеряла любимого, я в ссылке, я отправила себя в ссылку в этот маленький городок, в этот убогий барак, работаю как сумасшедшая, жалкая кропотливая работа, а все они просто ничего не понимают, и все дергают меня: Гертруда, Борнеманны и Шафхойтлин, каждый по-своему, — и внезапно у меня возникло злобное желание отомстить, оскорбить другого, и в то же время я хотела, чтобы мне все стало безразлично, и ты, и моя жизнь здесь; при этом я ощущала, что оба эти желания мизерны и недостойны и мизерно то, что я себя жалю по той причине, что жизнь обошлась со мной не так, как я ожидала, не любезно и не великодушно, и почувст-

вовала себя несчастной и все-таки засмеялась, показала на маску черта и спросила:

— Для чего эта страшная рожа?

— Отпугивать, — сказал Шафхойтлин, — демонов и злых духов. Древний обычай в этих местах. Капуи Нового года, пасха, день солнцестояния, кое-где усупение богородицы — никогда не упускается удобный повод для того, чтобы поспраздновать, устроить процессию, не говоря уж о карнавале.

В Уленхорсте, рассказывал он, как и во многих близлежащих деревнях, живут в основном католики, карнавалы их весьма примечательны, три дня никто не работает, три дня все танцуют; он рассказывал о пасхальных обрядах, хоругвях, о песнопениях молодых парней верхом на конях (помнишь, Бен, в деревушке В.: расшитый шелк, тяжеловесные корни, Gloria, верховая езда вокруг церкви, в которой я однажды... перед которой мы обнаружили плиту *Иисус взывает к тебе* и объявление викария, предостерегающее прихожан от посещения известного английского фильма, где как нечто само собой разумеющееся показаны добрачные связи, и тем более от просмотра одного советского фильма о физиках, и действительно, в зале кинотеатра мы сидели одни-одинешеньки... и о забастовке, которую устроила вся деревня во время уборки урожая, потому что бургомистр — конечно, в этих местах чужой, партиец, ясно, замаскированный дьявол — через всю сельскую уллицу повесил полотнище: «И без бога, и без бога соберем мы урожай». Забастовка, крестьянский бунт, в день поминовения мы видели, как они шли в свою церквушку, жепцины в черных шерстяных платьях, мужчины в тяжелых, пахнущих сундуком костюмах.

— И они танцуют в таких вот масках? Наденьте ее. Пожалуйста.

Шафхойтлин колебался.

— Хоть один разок, — сказала я ласково.

Он снял маску со шкафа, сдул пыль с рогов и клыков, надел ее на голову, а я сказала:

— А теперь танец. Просто несколько шагов. Пожалуйста, Хорст. — И он начал кружиться, притонивая погой, человек в приличном костюме, при галетке, с головой чудовища, нестро-зеленой, красной, черной, безглазой, клыкастой, я смотрела на этот страшный танец и теперь знала то, что мне следовало знать о себе, и мне хотелось, чтобы я могла сорвать с него маску и вновь обрести его лицо, но

я боялась, что это будет уже не то лицо, какое было несколько минут назад, и я не могла больше это вынести, у меня шумело в голове, дрожали руки; сказала я что-нибудь, закричала? Он остановился и снял маску: дурацкая картопляя, грубо размалеванная штука: он вытер пот со лба и спросил:

— Я вас палугал?

— Простите меня, — пробормотала Франциска, Шафхойтлин повернулся к карте и немного погодя сказал:

— Вы больны, я отвезу вас домой. — Он открыл шкаф, в кабинете было тесно, они стояли близко друг к другу, увидели себя в зеркале, и Франциска потупилась.

Два дня она с трудом тащилась на работу, ее лихорадило, все воскресенье проспала и в понедельник утром пришла с опозданием. Перед домом стояла машина Язваука. Шафхойтлин шел ей навстречу.

— Десять минут назад вам позвонили. Гертруда... с ней несчастье. — Он взял ее под руку и повел к машине. Она поклонилась к переднему сиденью и повернула руку так, чтобы он видел шрам на запястье. — Она знала как... вот сюда... Шплом, говорила она.

— Газ, — сказал Шафхойтлин.

Перед домом стояла санитарная машина; двери уже были закрыты. Несколько девушек собрались на тротуаре, они становились на цыпочки, стараясь поверх матового стекла заглянуть в машину. Врач «Скорой помощи» говорил с комедантом. Это был высокий человек, волосы на его маленькой голове смахивали на птичий пух. Шафхойтлин вышел, и Франциска последовала за ним, не обращая внимания на просьбы Язваука, который остался сидеть за рулем, и отворачиваясь от красного креста.

— По меньшей мере восемь часов, — сказал комедант. — Сегодня утром... девушки разъехались по домам. Мы ее обнаружили только сегодня утром. И всегда-то в воскресенье, — мрачно добавил он.

Франциска спросила холодным, почти ледяным голосом:

— Соответствует ли это также вашим наблюдениям, доктор?

— Франциска! — сказал Шафхойтлин.

У молодого врача был усталый вид. Она повторила свой вопрос, врач взглянул на нее, прошу, сказал он, и они вошли в подъезд, он облокотился о перила и закурил.

— Простите, — сказал он и подал пачку сигарет Фран-

циске.— На работе уже двадцать часов... вы были с пей дружны?

— Меня интересует статистика самоубийств среди живущих в новых домах.

— Вы знаете, что я не могу сообщить вам никаких данных.

— Ясно. Не получу их ни от кого. Никаких точных сведений.— Она вдохнула дым и так сильно закашлялась, что у нее на глазах выступили слезы. Потом присела на ступеньку. Врач растоптал ногой окурок.

— Вам, безусловно, приходилось над этим задумываться,— сказала она.— Вероятно, вы знакомылись с письмами, какими-либо папками... если у вас было на это время...

Он кивнул, внимательно вглядываясь в ее неестественно блестящие глаза.

— Мерили вы сегодня температуру?

— Я чувствую себя великолепно,— сказала Франциска.

— Мужчины, подобные вам, прославили Пруссию,— сказал врач. Она встала, крепко держась за перила.

— Вы могли бы подняться со мной наверх? — И пошла по лестнице, он следовал за пей, двумя ступеньками ниже. Окна на кухне были распахнуты пастежь. В передней и на кухне еще чувствовался легкий запах газа. Кухонная табуретка валялась на полу, Франциска пагнулась и поставила ее на место, к столу. Тем же прежним ледяным тоном она спросила.— Письмо? Какая-нибудь записка?

— Ничего,— ответил врач.

Она огляделась. Стандартная мебель. Засаленная плита. Грязные чашки в раковине. Стопак с медом. На окне занавеска.

Под окном, несколько выше плинтуса, стена была пцаранапа, бледные голубые царапины, липпы и параболы, похожие на неразборчивые буквы. Следы твоих постей, ты защищалась, от кого защищалась? Возле плиты Франциска упала, врач подхватил ее и спес вниз по лестнице.

Я пытаюсь вспомнить последующие три дни, лица, тени, произносимые шепотом слова... Моя комната: корабль с высокими бортами, я лежу на палубе, жарко. на море небольшая волна, и в то же время вижу все это со стороны, издали, сидя на лестнице, ведущей к морю, вниз, в море, и волны перекачиваются через мои ноги, и я знаю нестрые флаги на мачте и бушприт корабля, изогнутый,

как лебединая шея. Я перелистываю мою книгу сказок и ищу эту картинку: увы, в клочья разорваны флаги, потгами растерзан корабль, обезображены лица, невредимой осталась лишь головка русалочки в венке из белой морской пены.

Они ничего не понимают... Темно. Они задернули шторы. Положили на мои веки тяжелые как свинец пфенниги. Необходимо раздвинуть шторы, распахнуть окна, кричать... Моя вина: я оставила ее одну, это моя вина. Иногда кто-то склоняется ко мне, перегнувшись через религии, лицо, мокрое от пота или от слез. Я зову тебя, Бен! Это не твое лицо. Я звала тебя по имени, а ты не пришел.

На четвертый день к ней пачало медленно возвращаться сознание. Не без сопротивления покидала она прочно и мягко обволакивающую ее стихию, в которой струился то светло-, то темно-зеленый свет и возникали воздушные пузыри, как маленькие белые шарики, брошенные усталой рукой.

У ее постели сидел Шафхойтлин. Фрау Борнеманн мыла пол. Шафхойтлин украдкой снял с руки траурную повязку и сунул ее в карман. Ее веки дрогнули; в мутных желтых глазах он прочел страх и недоверие. Он пытался шутить как добрый дядюшка, но это ему не удалось; он сказал деловито:

— У вас была высокая температура. Грипп. Вы долго спали.

Она повернулась лицом к стене.

— Я что-нибудь говорила?

Он колебался. Фрау Борнеманн делала ему знаки, выразительно шевеля всеми десятью пальцами и усиленно артикулируя губами.

— Раз... один раз вы сказали, что при каждом шаге вам казалось, что вы ступаете по острой ноже.

— И все?

— Все,— ответил он уверенно.

Стоя пододвинули к ее постели. На столе, в маленьком черном кувшинчике, стояла орхидея, сочетание сиреневых, белых и фиолетовых брызг.

— Это принесли вам,— сообщила фрау Борнеманн.

— Без визитной карточки?

— Он приехал на мотоцикле и вынул орхидею из-под своей куртки.

— Выбросьте ее,— сказала Франциска.

— Но ведь она стоит не меньше пятнадцати марок...

Франциска раздавила орхидею рукой, почувствовала лопнувшую кожу и мясистую мякоть, у нее сжалось горло, ее вырвало, Шафхойтлин поддержал ее и своим платком вытер ей рот.

Через неделю она приступила к работе. В приемной находилась незнакомая молодая женщина. Никто не упоминал имени Гертруды, щадя Франциску? Или по забывчивости? Девушка с кукольными ресницами исчезла, окончательно, исчезла, как будто никогда не существовала. Франциска сидела за своим столом и прислушивалась к бойкому стуку машинки. Если мне придется слышать это каждый день, каждый день с утра до вечера... Она привыкала к новому ритму машинки и к новому, более тихому голосу, которым новая секретарша говорила, обращаясь к господину главному архитектору.

Его кабинет тоже показался Франциске новым или чем-то изменившимся, откуда она не заметила, что чего-то здесь не хватает: маска черта больше не ухмылялась со шкафа. Шафхойтлин стоял перед своей картой, заложив руки за спину, и сухо сказал:

— Строительство городского центра отложено на неопределенное время.

Франциска опустила на стул.

— Нет, это же моральное убийство. Вы не можете так поступить.

На миг его лицо утратило выражение вынужденного спокойствия, а голос — служебное равнодушие.

— Я, я, я, — сказал он, вспыхнув, — как вы думаете, не с большим ли удовольствием я бы сам занимался строительством именно так, как мы это себе представляли, работая долгими вечерами на протяжении многих месяцев? Думаете, мне не хотелось бы, как Ландауеру, прогуляться потом по моему городу, посетить театр, посидеть на террасах, посмотреть на людей и иметь возможность подумать: а ведь это дело твоих рук, для этого ты жил, и тебе стоило жить... Думаете, мне чужды ваши мечты — только потому, что я разучился их декларировать? Десятки раз я сидел здесь, как вы сидите теперь, и вынужден был пережить множество разочарований, и вы еще десятки раз будете так сидеть, и вы научитесь прижимать удары безпатетических криков... Займитесь своей работой. И пожалейте, никаких дискуссий. Решение принято высшими инстанциями.

Она послушно пошла в свою комнату; она вела себя

спокойно всю вторую половину дня. Один раз он видел ее стоящей перед белой моделью, она передвигала одно спиральное деревце, и, когда она подпjala голову, он встретил твердый взгляд желтых глаз, он не поверил в ее спокойствие и покорность. Он ничего не сказал. Незаметно прикрыл дверь в свой кабинет, услышав, как она рядом диктует письма; бургомистру, районному и окружному руководству, письма бесполезные, Шафхойтглин это знал и заранее предвидел ответы — отсутствие у строительных организаций производственных мощностей, другие обязательства, более важные объекты, — знал еще до того, как напечатанные на служебных бланках и должным образом оформленные, они поступили к его адъютанту.

Ей не известен объект более важный, писала Франциска в ответ на эти письма, чем тот, которого ждут сорок тысяч человек, ждут годами, — годами им обещают магазины и кинотеатры, обнадеживают радужной перспективой. Ответы становились более скучными, их тон более резким. На просьбы лично ее выслушать отвечали отказом. Она стала назойливой. В старом городе она встретила бургомистра: он перешел на другую сторону улицы. Глиняное лицо барона Шульце из окружного руководства при встрече с ней принимало ледяное выражение: щука пробивалась через стаю мелких рыбешек и плыла дальше. Оставьте эти попытки, говорил Шафхойтглин, подождите, через два или три года... Она затонала погами. Нет, сегодня.

Она написала для окружной газеты статью, которую не напечатали. Ей позволил редактор. Вы разжигаете недовольство среди наших людей. У него был молодой голос, говорил он очень горячо и энергично, и Франциска положила трубку на стол и закурила, до нее доходили лишь обрывки слов, благоразумие и современная ситуация, она выглянула в окно, за которым висела серая пелена дождя, и через некоторое время бросила трубку на рычаг, да заткнулся ты, сказала она.

Шафхойтглин постукивал по столу шариковой ручкой, радиогамма и шифрованное порицание. Новая тихая секретарша ничего не видела и не слышала, ее затылок и спина казались прозрачными, никаких препятствий для того, чтобы обменяться взглядами; она превосходно печатала, варила превосходный кофе и была такой же безличной, как канцелярский шкаф; Франциске недоставало Гертруды, ее грубого голоса, ревнивой тирании, стучащей с переборами машинки... Мы остерегались упоминать ее имя.

Шафхойтлин раздвигал мокрые голые ветки, когда они шли через кладбище. Дождевая вода струилась с крыльев и одежд моего ангела. Я чувствую себя так, сказала я, словно мне отрубили руки и заткнули рот. Я что-то лепечу, и никто меня не слышит. Темнело рано, и мы видели огни города на горизонте, дуги голубых огней сварки. Шафхойтлин сказал: скоро надо выкапывать клубни георгинов и убирать в погреб луковицы гладиолусов. Решетчатая дверь закричала на ржавых петлях. Затяжной дождь. Ветер гуляет в голых кронах деревьев, длинное-длинное бетонное шоссе, черное от дождя. Тот, у кого еще пег дома, сейчас уже его не построит, сказал Шафхойтлин. Мы подняли воротники пальто. А тюльпаны? — спросила я из вежливости. Тюльпаны остаются в земле, и нарциссы, и крокусы. Всю дорогу он рассказывал о своем саде.

Иногда на моем столе оказывался букет хризантем или темно-лиловых астр.

Казалось, он был глух к моим жалобам, по тем не менее я могла бы поклясться, что, когда две недели спустя к нам в барак заявился главный редактор газеты и зашел ко мне в комнату, это случилось не без его участия. Редактор вылез из забрызганной грязью машины, маленький, седой, прихрамывающий: Отто Лаубфингер, но все его звали Ханс, и сам он представился как Ханс: его псевдоним тех лет, когда он находился на нелегальном положении, он сам выбрал это имя, и оно стало такой же частью его существа, как кусок пересаженной клеточной ткани, и, наверное, фамилию «О. Лаубфингер» под написанными им передовыми статьями он воспринимал лишь как псевдоним старого знакомого.

Это был энергичный, громогласный человек, он сразу же завладел помещением, Шафхойтлином, тихой секретаршей и мной, но не было в нем шумной приветливости кое-кого из старых товарищей, которые вылезают из своей «волги» с улыбкой, заранее заготовленной для братского поцелуя, словно они только вчера вместе расклеивали на станциях метро призывы к восстанию или еще сегодня работали молотом или мастерком.

Мы поехали в кафе в старом городе. Замечательно, каркнул Лаубфингер и свернутой в трубочку рукописью статьи хлопнул Францеску по плечу, здорово, я помещу это... Я. Моя газета. Коньяк он пил как воду. Тыльная сторона ладони на обеих руках была покрыта маленькими круглыми шрамами — Принц-Альбрехт-штрассе... тебе это

ничего не говорит... при допросах они своими сигаретами... Вы, вы бы не выстояли, как мы тогда... в общем, я это напечатаю в воскресном выпуске.

Франциска набрала побольше воздуха в легкие и под столом прижала зажженную сигарету к руке, и, покуда они говорили о рукописи, правили отдельные фразы, покуда она смеялась над какой-нибудь остротой О. Лаубфингера, или Ханса, она с силой вдавливала в руку уже погасшую сигарету. Ребяческое бахвальство, игра в индейцев, позднее она будет этого стыдиться и еще чаще обычного прятать свои руки в карманы или под стол. О. Лаубфингер правил рукопись красным карандашом, смягчить, каркал он, ничего особенного, не задирайся, всего две-три фразы, ты и так достаточно большому количеству людей наступишь на мозоль. Мне, мне уже нечего опасаться, моя партизанщина всем известна, скоро от меня отделаются, еще один орден на грудь и гордая перспектива — место кассира в клубе ветеранов...

И добавил (не ослышалась ли она?):

— Пора освобождать место вам, молодежи.

— Спаси нас господи от этих моллюсков и в вашей редакции и вообще, — буркнула она. — Уж лучше престарелый партизан. — Рука у нее болела. Внезапно ее лицо как-то осунулось, глаза ввалились: с ним уже все ясно, подумала она, старый человек, переживший самого себя. Не видит ли он себя сейчас ее глазами, в это короткое мгновение, длящееся не больше, чем вспышка магии? Он сунул в карман красный карандаш.

— Как хочешь: здесь ничего не будет изменено или смягчено. Но знай, тебе придется за это заплатить... — И в то время как его рука, подвергая Франциску искушению и предостерегая, потянулась опять за красным карандашом, он спросил: — Что случилось?

— Все в порядке, — сказала она, О. Лаубфингер, кивнув, свернул рукопись, и они распили еще бутылку коньяку, и лейтенант Ханс еще раз прошел по разрушенным улицам Мадрида, и в одной из трамвайных Эбро он поднял свой стакан, воскликнув: «Salud, camaradas» — и строительные рабочие, сидевшие за соседними столиками, смеялись и кричали «Salud», а О. Лаубфингер встал из-за стола вздыхая, одну руку прижал к пояснице, исполненный достоинства прошел вдоль фронта строительных рабочих, а на улице дал Франциске пощечину — ты знаешь за что, сказал он.

— Да, конечно, — отвечала Франциска, и он торжественно поцеловал ее в обе щеки, словно африканского гостя у трапа самолета: — Это за то, что ты не моллюск, — по зашпунлся на трудном слове и, споткнувшись, прислонился к каменной стене. — Ветеран, — простонал он, — а на прощание еще один орден и персональная пенсия...

В субботу она прочла в окружной газете свою дискуссионную статью. Борнеманны принесли ей последнюю розу с куста перед дверью.

— Здорово вы им всыпали.

Кому? — подумала Франциска. Шафхойтлина? Себе самой? На улице с пей здоровались незнакомые люди. Ее останавливали, с ней заговаривали. Спасибо, фрау Линкерханд, когда-то это надо сказать. Полная женщина из булочной, которую Франциска не узнала, так как на пей не было шапочки и белой куртки, жала ей руку:

— Если опоздаете, я всегда отложу для вас парочку бауценских маковых пирогов.

Франциска спасалась бегством от благосклонности своих сограждан, но не могла убежать от выражений псевдодовольствия, если не гнева своих коллег. В понедельник утром у входа в барак мимо нее прошли не поздоровавшись два архитектора и статик, они смотрели мимо нее, словно она пустая черная доска для стенной газеты. Ковальский, казалось, куда-то торопился и все же уделил Франциске минутку; он почесывал свой рыжий щетинистый подбородок: вы, можно сказать, нанесли нам удар в спину.

— Разве так можно сказать?

— Моя жена просила передать вам привет, к сожалению, — пробурчал Ковальский.

Шафхойтлин был в командировке, лужицкий принц сообщил, что простужен: в обед Франциска сидела в столовой одна за столиком. У трех пустых стульев и у засаленной скатерти она допытывалась, в чем ее вина. Обрывался разговор сидящих за столиками, мимо которых она проходила? Они говорили обо мне... У двери она споткнулась — как под взглядом чародея Якоба.

Шафхойтлин, возвратившийся в среду из командировки, не заметил, казалось, газеты, которую какой-то добродушитель положил ему на стол — статья и фамилия Линкерханд были аккуратно обведены красным карандашом, — не обратил внимания и на грудку писем, которую переслал Франциске О. Наубфингер. Она ожидала замечания, на-

праспо. Впрочем, она была счастлива, окрылена и полна задора; она маршировала в первой шеренге отряда из трехсот бойцов. Фауфары вперед!

Как-то она обнаружила письмо, написанное знакомым почерком, в известной ей мапере, все с маленькой буквы, в том числе и подпись: в. трояпович. Она устояла перед соблазном прочесть его письмо, найти в нем привет или, что еще хуже, не найти между строк ожидаемого приветствия. В течение двух дней двери, соединяющие три комнаты, были наглухо закрыты. И все-таки она опасливо оглянулась в своей барачной комнатке, прежде чем поднесла спичку к письму, которое загорелось и, слегка потрескивая, сморщилось, в пепельнице еще раз вспыхнуло, превратившись в легкие хлопья пепла, лениво, как серые голуби, взлетевшие от вздоха поджигательницы, торжественно справившей свою черную мессу. Ты должен быть изгнан, ты должен угаснуть, и почерк твой должен угаснуть, и воспоминание о твоём почерке в записной книжке, где наш человек клялся в верности овальным векам, предрассветным сумеркам и жеребенку с красной гривой.

В пятипду она уже не выдержала: сейчас ей были бы милее ссора, выговор, только не это свинцовое молчание. Она бросила письмо Шафхойтлина на стол:

— Триста, все одобрительные, можно сказать восторженные... или почти все, за исключением дюжины дураков, которые любой жалкий сарай находят восхитительно прекрасным, ибо он завоевание социализма.

Шафхойтлин перетасовал, словно карты, десять или двенадцать писем, написанных на вырванных из тетради листках в клетку и в линейку.

— И с этим вы намерены построить Новый Город?.. Бумага.

— Эти люди хотят гордиться своим городом.

— Все еще мечтательница, все еще ученица своего великого учителя, — сказал он, — по его выпуклые глаза были печальны, усталость углубила складки вокруг рта. — Хорошо, я их просмотрю.

Она была уже у двери, когда он окликнул ее. Сейчас, подумала она. Он раскачивался на каблуках.

— Вы подготовите наше дискуссионное сообщение на конгрессе.

Она надеялась, но не очень рассчитывала, что ей удастся в декабре вместе с Шафхойтлином поехать на конгресс в Берлин (не за особые заслуги, думала она: просто же-

дательны женские кадры). Страх и радость вспыхнули в ней одновременно. Она скрыла охватившие ее чувства.

— Какую точку зрения,— спросила она дерзко,— какую версию строительства нашего города должна я изложить: вашу или свою?

Поза Шафхойтлина выражала упорство и решимость.

— Мы договоримся,— сказал он.

Когда в зале заседаний конгресса Франциска поднималась на ораторскую трибуну, она дрожащими руками расправила компромиссный текст своего выступления. В зале смеялись, но благожелательно: малышке пришлось стать на цыпочки, но все равно между блестящими эменными головками микрофонов видны были только волосы, похожие на лисий мех, и широкий, низкий сейчас влажный от пота лоб. Она пачала заикаясь. Слепили вспышки, жужжали телекамеры. Она посмотрела вверх на купол, усыпанный разноцветными светящимися точками, затем сповала вниз, в зал, она искала курчавую голову в шестом ряду, Шафхойтлин слегка махнул ей рукой — на счастье, и стала читать, уже не заикаясь, первые страницы, хороший доклад о хорошем городе, красном и гордом, социалистическом городе, читала и думала, как обычно: преподадено красиво, и они это понимают, они специалисты, они все прекрасно знают, и им скучно (они действительно скучали, Франциска видела, как они читали газеты и рисовали чертиков, колыхающиеся ряды каштановых, белокурых, седых голов), она вдыхала усталость делегатов конгресса, их нежелание слушать доклад после ночи, которую они провели в «Липденкорсе» или в «Москве», в крайнем случае в «Пудельбаре» или в «Коралле», провинциалы — в Доме кино, где они послушали рассказов об Экке Шалле, а может быть, даже сидели в баре рядом с самим Вольфом Кайзером<sup>1</sup>, да, тем самым... внезапно ей вспомнились ночь, бал и все, что там происходило, рассуждения о бессмысленности слов «город-жилище», и она отодвинула в сторону листки доклада, не читала больше по писаному, как это было предусмотрено, не оставила камня на камне от этого вероломного слова, говорила со страстью, увидела напряженное внимание на лицах, утомленных заседаниями, те, что лениво рисовали в блокпоте, теперь что-то быстро записывали, усордые читатели газет отложили их в сторону, она разорвала хороший доклад и хо-

<sup>1</sup> Известные немецкие актеры.

роший план строительства поселка и двинулась наконец в атаку, несмотря на вспышки и кино съемку, решила даже ударить кулаком по кафедре — девиз, главный тезис этого конгресса: «Строить по-социалистически — значит строить эконолично», в ответ на что послышались сначала жидкие, а потом горячие, даже бурные аплодисменты. Спускаясь с ораторской трибуны и пробираясь к своему месту, она видела стол президиума, покрытый красным сукном, а также седые или лысые головы господ за столом, повернутые к господину председателю, и, лишь когда председатель осторожно, как будто его руки были из стекла, захлопал в ладоши, вежливо зааплодировали и они. (Головы и рук Регера над красным сукном, к сожалению, не было видно: он бы горячо аплодировал своей любимице и в ее лице самому себе, он бы ни в коем случае во время перерыва не отвел ее в сторону, как это сделал председатель, давший ей понять, что она стала несколько агрессивной, и вежливо, как человек пожилой и умудренный опытом, пергаментными губами сделал молодой коллеге несколько благожелательных предостережений, но и дело приговаривая: «Дитя мое...») Итак, Регер, шумливый титан, отсутствовал, он паходился — или пребывал, как сообщалось в информационном бюллетене — в научной командировке в Москве и Самарканде.)

Шафхойтлин сидел, съежившись в своем кресле, как ученик, боящийся попасться на глаза учителю и быть вызванным к доске, он повернул голову, словно его шепот отпосился к его соседу, а не к Франциске.

— Вы не придерживались нашего конспекта, — без упрека, с опечаленным лицом, что ее обезоружило.

И только когда последний оратор под перекрестным огнем фотокамер осторожно спускался с трибуны, перешагивая через петли извивающихся кабелей, она осмелилась потянуть Шафхойтлина за рукав.

— Никакого отлучения грехов?

Он сидел скорчившись, прижав одну руку к животу. Подождал, пока оратор («Молодой человек из свиты Регера», — услышала Франциска голос у себя за спиной) закончил свое сообщение о путешествии, сопровождаемое демонстрацией цветных диапозитивов — многоэтажные дома в Кирупе, голубоватые стальные фасады, — и в затемненном зале Шафхойтлин, неуклюже повернув голову на толстой шее, обратил к ней свое лицо и печальные, как бы выцветшие от времени глаза:

— Ладно уж, Франциска, — сказал он, — ничего, даже хорошо, что все получилось именно так.

В фойе, где было многолюдно, они потеряли друг друга из виду. Кто-то толкнул дверь с круглыми сверкающими, как золото, ручками величинной с тарелку, и Франциска застучала каблучками по асфальту улицы, мимо луж, в которых отражались огни пассажира, светофоров, дуговых ламп, автомобильных фар, световых реклам и электрических лампочек, унизывавших высокую, чуть не до неба слку, она вдыхала сухой и холодный декабрьский воздух и увидела, спокойно и невозмутимо, словно ждала его именно здесь, в зарпее условленный час, идущего ей навстречу седоволосого человека, который, высоко подняв плечи и засунув руки в карманы, не шел, а скорее плелся, пересекая улицу между радиаторами машин, не глядя по сторонам. Потом она больше его не видела, и он больше ее не видел, а у края тротуара они столкнулись, упали друг другу в объятия, и Франциска сказала: наконец-то, а Бен сказал: идем со мной. И Франциска пошла с ним, не спрашивая, куда они шли, один раз Франциска осталась на мосту Вайдендамм, потом они сидели на скамейке в крохотном садике, который вырос на месте бывших здесь когда-то жилых домов, на земле, усыпанной обломками кирпичей и мусором; они слышали шум проезжавших мимо машин, и голоса, и шаги идущих по Фридрихштрассе, и музыку, доносившуюся из флигеля, одного из трех еще сохранившихся здесь, этого я никогда не забуду, в стене было только одно-единственное окно, а за ним люди собрались на вечеринку или организовали нечто вроде концерта, современный джаз с Телопасом Монком и прочее, в окне за шторой я увидела чей-то силуэт, и внезапно из этого освещенного квадрата полилась освежающая, горячая музыка, играли на фортепиано, и меня охватило страстное желание оказаться среди этих людей, возможно студентов, очутиться там, наверху, или ощутить себя неразрывно связанной с семьей, друзьями, определенной местностью, страной, и я подумала, что все, над чем я когда-либо работала, вытекало из этого моего страстного желания, из стремления совершить что-то большое, чего я все еще не достигла.

Потом они пошли дальше, по улицам, которых Франциска не знала. У одного многоквартирного дома Троянович остановился. Над аркой ворот слабо светилась вывеска

«Медвежий угол», — впрочем, от нее уцелело только шесть букв.

В коридоре мимо них прошмыгнула кошка. Комната была холодной, чудовищно высокой, и при свете сорокаваттной лампочки обои, вероятно зеленые, теперь казались серыми. В комнате, больше напоминающей зал, тянулись шкаф и комод со стоящей на нем фарфоровой миской, украшенной нежно-розовыми водяными лилиями, а посередине, в самом центре, с высоко взбитыми перинами стояли чванливо и надменно лицемерно-порядочные и поразительно непристойные кровати — двусмысленный реkvизит на полупустой сцене.

— Мне холодно... — сказал Франциска. Если придет хозяйка, если контроль... о боже, только бы он не вздумал помочь мне раздеться... Она бросилась на постель, все еще дрожа от холода, был свет, потом мрак и темнота, серое окно и в окне фиолетово-красное небо, она куда-то погружалась, затем оказывалась на поверхности, ее крепко держали руки, ее кожа узнала эти руки, все пальцы и каждый из них, их грубые кончики, шрам на большом пальце, отсутствующую фалангу, она ласкала кожу и волосы, ласкала бедра... меня бросило в жар, когда я увидела твою походку, твои пластичные движения... и она подумала: наша радость была чрезмерной, почувствовала: наше ожидание было слишком долгим.

Подумал ли, почувствовал ли в это мгновение то же самое Бей? Они оторвались друг от друга, это было нестырливо, кожа и волосы больше не соприкасались, они лежали рядом, и Франциска сказала:

— Не придавай этому значения, Бей. — И он сказал «нет», и она провела пальцами по его скулам, по лбу и глазам. — Ты плачешь, Бей, — пробормотала она, спрятав лицо у него на шее, и заплакала сама... в ту минуту, когда мои слезы струились по твоей шее, я думала, что никогда не чувствовала себя такой счастливой, как в этой неуютной комнате на этих скрипящих кроватях.

Прощай, Беч. Когда ты пойдешь это письмо, я буду на пути в Н., возможно недалеко от моста и кладбища, возле домов, плывущих под мачтами антенн, с флагами лестрых балконов — ах, к сожалению, эти флаги не в мою честь, не в честь дезертира, который просит о свисхожде-нии, обращаясь к толстой шее и аккуратно выбритому затылку (ибо Шафхойтлин не удостоит меня взглядом), — дезертира, который хочет получить новые заказы и предлагает мпролюбие и уступки, — нет, только не это, никакого гнилого мира, никаких компромиссов, которые ты потом сама себе будешь извинять тем, что ты стала наконец взрослой, научилась порядку, если не подчиненно, как это и положено человеку, когда ему около тридцати — возраст, который, я как-то слышала, называют возрастом Христа.

Беч, Беч, и сердце у меня падает, горло сжимается, и карадаш валится из окаменевших пальцев: внезапно мне снова пришло на ум, почему я тебе пишу. Прощальное письмо как по готовому образцу. Когда ты получишь это письмо... Записка самоубийцы: мне и вправду кажется, пока я пишу эти строки, что жизнь моя оборвется в тот миг, когда я заклею этот конверт, или что с того дня, как я отсюда уеду, мне останется только работа и работа, как тщетная попытка заполнить странную пустоту...

Прости мне минутную слабость: я возвращаюсь к Шафхойтлину, но не растерянной и не сломленной. Я написала книгу, чтобы бросить ее в пасть этой фабрики домов в Н. и позволить ее уничтожить. Он должен, должен найтись, мудрый синтез Сегодня и Завтра, ушлого блочного строительства и веселой живой улицы, Необходимого и Прекрасного, и я нашла на его след, может быть, я высокомерна и, увы, часто слишком робка, но однажды я найду этот синтез.

О боже... только еще одна дорогая моему сердцу картина: как я смогу жить без обруча света на потолке, без сладостного, отдающего гарью запаха волос у тебя под мышками, без твоих бедер, твоей спицы, на которой я пальцами писала стихи, без твоих твердых рук. Они обнимали меня, шутливо оберегая, они заставили меня познать мое тело — меня, мои плечи и бедра, грудь и живот — и, наконец, познать страсть, о которой я читала в книгах... это был крик, еще недоверчивый, в нашу первую или вторую ночь, мой прерванный и недоверчивый крик, когда я мчалась по какому-то переулку, между раскаленных южным солнцем стен, без единого окна, лишь узкие, зарешеченные ворота, пробегая мимо, я вижу дикие цветы, кусты лавра, дерево с гранатово-красными плодами...



